ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА



Я. Н. ЛЮБАРСКИЙ



ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОРИКИ И ПИСАТЕЛИ



СЕРИЯ

ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА



ИССЛЕДОВАНИЯ

Я. Н. ЛЮБАРСКИЙ



ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОРИКИ И ПИСАТЕЛИ

Издание второе, дополненное

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2012

УДК Ш5(0)421
ББК 877.3.09
Л93

Любарский, Я. Н.

Л93 Византийские историки и писатели / Я. Н. Любарский. — СПб. : Алетейя, 2012. — Изд. 2-е, доп. — 504 с. : ил. — (Серия «Византийская библиотека. Исследования»).

ISBN 978-5-91419-682-7

Второе издание сборника трудов известного ученого-византиниста Я. Н. Любарского состоит из статей, публиковавшихся в разные годы в России и за рубежом, дополнено работами автора, вышедшими в свет уже посмертно. Это не систематическая история византийской литературы, однако большинство статей связано между собой и тематически, и концептуально. Публикуемые здесь статьи — одна из первых попыток увидеть в литературе Византии, богатой интереснейшими памятниками и оказавшей огромное влияние на всю средневековую и в особенности древнерусскую культуру, целостный эстетический феномен.

Обновлен, уточнен и расширен библиографический раздел. Издание предваряется очерком профессора С. А. Иванова.

Книга адресована не только специалистам, но и всем интересующимся византийской историей и культурой.

УДК Ш5(0)421
ББК 877.3.09

На форзацах: слева — Страшный суд (Национальная библиотека, Париж. Миниатюра из Евангелия. Третья четверть XI в.);
справа — Император Никифор Вотаниат, Иоанн Златоуст и архангел Михаил (Национальная библиотека, Париж. Миниатюра. XI в.).

ISBN 978-5-91419-682-7



ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике опубликованы некоторые из моих статей, печатавшихся в разных изданиях на протяжении многих лет. Я отважился собрать их под одной обложкой по следующим соображениям.

Во-первых, некоторые работы выходили в сборниках и журналах, сейчас труднодоступных не только зарубежному, но и российскому читателю. Однако основная причина заключается в другом. Поскольку главным предметом моих изысканий стали византийские историки, сборник приобрел определенное тематическое единство. Более того, работы оказались связаны между собой не только тематически, но и концептуально. Произведения византийских авторов всегда интересовали меня не как источники сведений о событиях, быте или языке той или иной эпохи, а как явления культуры и литературы. Сейчас такой подход — явление уже не столь редкое, но когда я делал в науке свои первые шаги, к трудам византийских историков, да и не только историков, обращались почти исключительно как к кладовой исторических фактов.

Всегда трудно и даже как-то «неприлично» оценивать собственные труды, но мне кажется, что в моих статьях, в большинстве случаев посвященных вполне конкретным проблемам, просматривается некая общая линия, общий взгляд на развитие византийской историографии VI–XII веков.* Последнее обстоятельство, вероятно, может служить еще одним оправданием для появления этого сборника.

* В самом сжатом виде мое понимание истории византийской историографии представлено в начале статьи «Сочинение Продолжателя Феофана: хроника, история, жизнеописания?» (печатается в этом сборнике), а также в статье «Проблема эволюции византийской историографии» (в кн.: Литература и искусство в системе культуры. М.: Наука, 1988). В более или менее связном виде я пытался изложить свои взгляды на развитие византийской историографии в спецкурсах, которые читал в недавние годы в университетах Петербурга и Мюнстера (Германия). Мне

Как ни странно, наука о византийской словесности испытывает сейчас дефицит не только в хороших критических изданиях текстов и конкретных исследованиях, но и в общих концепциях. Если в некоторых областях филологии и истории наблюдается уже известный «переизбыток» теорий, умножающихся в последние годы главным образом под влиянием постмодернистских тенденций, то в науке о византийской литературе ситуация обратная. Все созданные до сих пор, даже самые полные и надежные, руководства по византийской литературе построены по одному принципу — в виде собрания расположенных по жанрам и в хронологическом порядке очерков творчества отдельных писателей, историков в том числе. Попытка связать между собой то, что, на первый взгляд, кажется несвязанным, иными словами, предложить некую концепцию развития хотя бы одного жанра византийской литературы, может способствовать созданию в будущем научной **истории** (я специально выделяю последнее слово) византийской литературы. Конечно, мои взгляды могут быть оспорены, но ведь, как всем хорошо известно, именно спор рождает истину.

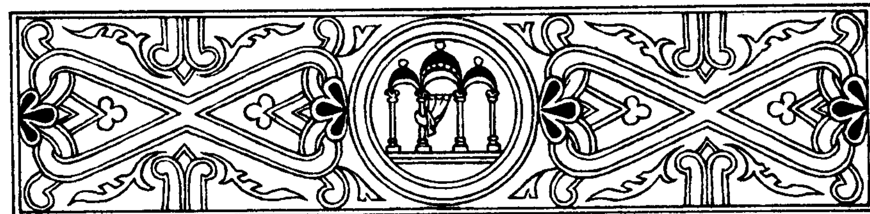
Сборник обращен прежде всего к российскому читателю, поэтому из моих статей, печатавшихся на иностранных языках, здесь выбраны только три, посвященные наиболее общим и принципиальным вопросам.

Я не стал менять текста большинства статей и ограничился только, там где это необходимо, указаниями на наиболее важную литературу, вышедшую уже после их первой публикации. Сборник начинается со статей, посвященных отдельным писателям, завершается работами более общего содержания. В приложении помещена статья, написанная совместно с профессором К. А. Долининым. С разрешения соавтора я включил ее в этот сборник, ибо нельзя исключить, что использованный в ней метод изучения историографических памятников может оказаться в дальнейшем достаточно перспективным.

Все написанные по-английски статьи были отредактированы Ю. А. Клейнером, которому приношу свою благодарность.

Я. Любарский
Санкт-Петербург, февраль 1998

кажется также, что довольно точно суть того, что я думаю о развитии византийской историографии, передала в своем обзоре литературы на славянских языках по византиноведению Ирен Сорлен, см.: *I. Sorlin*. Bulletin des publications en langues slaves // Travaux et Mémoires. 1994. Vol. 12. P. 534–537.



«ХРОНОГРАФИЯ» ИОАННА МАЛАЛЫ
(проблемы композиции)*

Умножающиеся с каждым годом в числе публикации, посвященные Иоанну Малале, в подавляющем своем большинстве трактуют вопросы частные и узкоспециальные. Их результаты редко имеют бесспорный характер и, как правило, подвергаются сомнению оппонентами. Как и в начале нашего века, «Хронографию» Иоанна Малалы с полным правом можно назвать «загадочным» произведением.[1] Учитывая отсутствие критического издания как сохранившегося в единственной рукописи греческого текста,[2] так и славянского перевода, вряд ли в ближайшее время можно ожидать выяснения многочисленных спорных проблем, касающихся источников Малалы, личности автора, методов его работы и способов обработки материала.

Вместе с тем вставшая перед современной византинистикой задача создания полнокровной истории византийской литературы (именно истории, а не ученого справочника!)[3] делают правомерным и иной подход к «Хронографии» Малалы: анализ его сочинения как

---

* Статья напечатана в «Festschrift für Fairy von Lilienfeld» (Erlangen, 1982) 411–429. С момента выхода этой статьи (равно как и следующей в этом сборнике, также посвященной Малале) появились значительные исследования об этом писателе, главные из которых опубликованы в *Studies in John Malalas*, ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott (Sidney, 1990). Весьма важно опубликование комментированного английского перевода Малалы: *The Chronicle of Malalas*, a Translation by E. Jeffreys, M. Jeffreys and R. Scott (Melbourne, 1986). Для исследования творчества Малалы имеет значение также издание: *Истрин В. М.* Хроника Малалы в славянском переводе (репринтное издание материалов И. М. Истрина). Подготовка издания, вступительная статья и приложения М. И. Чернышевой. М.: Джон Уайли энд санз, 1994.

литературного феномена, звена — при этом первого известного нам звена — в цепи византийской исторической литературы.[4] На литературные особенности «Хронографии», конечно же, обращалось внимание. Но даже в последнем и, наверное, лучшем из общих очерков, посвященных творчеству писателя, Г. Хунгер рассматривает «Хронографию» как один из многочисленных образцов византийских хроник, не без оттенка пренебрежения охарактеризованных ученым как Triviallitenatur.[5] «Хронография» Малалы и в действительности обладает всеми признаками этого литературного рода, тем не менее при таком подходе исчезает сама возможность даже поставить вопрос об эволюции важнейшего для византийской литературы жанра.

При всей суровости диктата жанровых законов формы византийской литературы не остаются одинаковыми и неизменными. Не в последнюю очередь влияла на них индивидуальность писателя. Конечно, средневекового хрониста Малалу нельзя считать «индивидуальным автором» в современном смысле слова. Но именно ему — родоначальнику «безличной» хронографии, как ни одному из его последователей, свойственно ощущение индивидуального авторства. Исторический материал для Малалы не Gemeingut, а четко закреплен за историками-предшественниками. Иногда Малала приводит даже ссылки на несколько источников, что заставляет предполагать возможность контаминации сведений (45.3 sq., 53.10 sq., 157.18 sq. etc.), при этом он часто сопоставляет версии, указывает на их соответствие или, наоборот, противоречие (162.13 sq., 220.16 sq. etc.), иные из них отвергает как маловероятные (204.5). В одном же случае у Малалы можно обнаружить начатки «исторической критики»: сведения, взятые им у Флора, — утверждает Малала, — заимствованы последним у Тита Ливия (211.2–3). Без сомнения, все подобные заявления необходимо воспринимать cum grano salis. Мы не знаем, сочинения каких историков и каким образом использовал хронист.[6] Судя по наблюдениям некоторых ученых, переработка ряда источников имела характер сумбурный и малоосмысленный.[7] И тем не менее обостренное ощущение чужого авторства заставляет и в самом Малале предполагать не полуредактора-полупереписчика, фигуру типичную для более позднего периода, а созидателя, чье произведение достойно самостоятельного художественного анализа. Не говорим уже о том, что в отличие от большинства более поздних хроник произведение Малалы — единое, принадлежащее одному автору сочинение, самостоятельное художественное целое. Насколько нам известно, никто еще ни в средние века, ни в новое время не пытался оспаривать авторства

Малалы или принадлежность ему тех или иных частей произведения.[8]

При анализе художественной природы «Хронографии» вопрос о композиции едва ли не главнейший. Одним из первых создает Малала историческую конструкцию, столь же грандиозную, сколь и фантастическую, содержащую столько же искусных построений, сколько ошибок и вымысла. Веками отработанные античными авторами приемы организации исторического материала оказываются бесполезны для писателя, в поле зрения которого попадает не история ограниченного региона в ограниченное время, не биография или кампания императора, а история, охватывающая всю известную ойкумену и все время от сотворения человека.

Как нетрудно заметить даже при беглом чтении, в композиционном отношении «Хронография» Малалы четко разделяется на две части. Первая — до установления империи Октавиана Августа (Мал., 225.13), вторая — от начала императорской истории Рима и до неожиданного обрыва произведения.[9] Во второй из частей — четкое построение «по императорам», в первой — невероятный конгломерат событий из библейских преданий, греческой мифологии, истории Ассиро-Вавилонии, Персии, царского и республиканского Рима, Македонии и Египта.

Однако и в «невероятном конгломерате событий» первой части есть своя логика и законы построения. Прежде всего она дробится на большие разделы, каждый из которых посвящен одной большой теме. Вот эти разделы: 1. Библейская история «от Адама» (Истрин. Первая книга, с. 5–16). 2. Древнейшая мифологическая история (Истрин. Первая книга, с. 16 — Мал., 56.11). 3. Израильская история (Мал., 57.1–149.14). 4. Ассирийская и персидская история (Мал., 150.1–170.3). 5. История Рима периода царей (Мал., 171.1–188.4). 6. Македонская история. Александр Македонский и диадохи (Мал., 192.1–213.3).

Упомянутые разделы существуют не сами по себе, а различными способами сочленены с соседними. Завершая раздел 2, Малала упоминает об уничтожившем идолопоклонство Аврааме, и имя это позволяет ему перейти к истории Израиля (Мал., 55.6; 57.1 сл.). Доведя израильскую историю до царя Иоакима (Мал., 149.13), Малала рассказывает о завоевании страны Навуходоносором, что и составляет вполне естественный переход к ассирийской истории. Упомянув в контексте ассирийской истории о потомках Энея в Италии (Мал., 170.3), историк логично переходит к Ромулу и Рему, начиная таким образом раздел об истории Рима периода царей. После

завершения истории царского Рима следует небольшой промежуточный раздел (Мал., 188.5–191.5), в котором перечисляются правители и события разных регионов, а упоминание там персидского царя Дария III позволяет сделать естественный перенос повествования к покорившему Персию Александру Македонскому, а затем и к диадохам. Этот (шестой) раздел завершается сообщением о римском завоевании (Мал., 212.3), что уже в свою очередь дает повод начать рассказ о Риме периода Юлия Цезаря и далее. Таким образом, во всех случаях связь между «разделами», то бишь повествованиями о «царствах», имеет, так сказать, объективно-исторический характер: столкновения держав, завоевания, генеалогические связи, наконец, хронологическая последовательность делают переход от одного к другому закономерным и логически обоснованным.[10] В целом такое сочленение частей создает впечатление единства и преемственности исторического движения. Если не теоретически, то практически в композиции «Хронографии» Малалы находит отражение утвердившаяся уже у Помпея Трога и поддержанная и развитая у средневековых историков мысль о том, что в определенные моменты в результате борьбы или божественного вмешательства на авансцену истории выходит тот или иной народ, то или иное царство.[11]

Посвящение каждого раздела одному определенному народу или царству вовсе не означает, что в поле зрения хрониста попадают исключительно события их истории. Скорее, наоборот, действие (если можно так назвать хроникальные заметки Малалы!) гораздо чаще переносится в другие регионы, чем остается в пределах основного. Покажем это на примере одного раздела, так называемой «израильской истории».

Каждый из заголовков приведенной ниже схемы фиксирует время (периоды правления царей, судей etc.) израильской истории. Под заголовками следует перечисление эпизодов и сообщений из истории других регионов.

I. **Авраам и его потомки, 56.1–59.19**
Гесиод (Греция), 59.5–7
Царь Энделех (Ассирия), 59.8–11
Фараон Нахор (Египет), 59.12–19

II. **Израильтяне в Египте, Моисей, Иисус Навин, Финеес, 59.18–67.7**
Философ Эндимион (Кария), 61.2–14
Царь Огиг (Аттика), 61.22–62.6
Царь молоссян Аид, 62.7–63.3

Царь Эрехтей (Ассирия), 63.4–5
Отступление об истории аргивян, 68.1–69.4[12]

III. **Судьи израильские, 69.17–70.10**
Прометей, Эпиметей, Атлас, Аргус, Девкалион (Греция), 69.19–70.10

IV. **Варак, 70.11–72.15**
Кекропс и его потомки (Афины), 70.14–72.15

V. **Гедеон, 72.16–76.9**
Поэт Орфей, 72.16–76.9

VI. **Фола, 76.10–79.18**
Состязание Марсия и Аполлона (Греция), 76.10–77.2
Геракл и аргонавты (Греция) 77.3–79.17

VII. **Елон Завулонянин, 79.18–81.14**
Фригийские цари, 79.20–81.14

VIII. **Самсон, 81.15–86.18**
Царь Лапаф и его потомки (Египет, Пелопоннес), 81.17–83.6
Царь Дардан (Фригия), 83.7–8
Цари Абант, Прет и потомки (Аргос), 83.9
Философ Демокрит, врач Гиппократ (Греция), 85.3–12
Атрей и его потомки (Пелопоннес), 85.13–17
Минос (Крит), 85.18–86.11
Борьба Геракла с Антеем (Греция), 86.12–17

IX. **Жрец Илий, 86.19–90.8**
Потомки царя Миноса, 86.20–88.10
История Федры и Ипполита, 88.11–90.3
Царь Еврисфей (Пелопоннес), 90.4–8

X. **Царь Саул, 90.9–17**
Царь Алет (Коринф), 90.11–14
Учреждение Олимпийских игр, 90.15–17

XI. **Царь Давид, 90.19–143.8**
История Троянской войны, 91.1–143.3

XII. **Царь Соломон, 148.9–15**

XIII. **Царь Ахав и другие, 143.16–22**
Гомер, 143.20–22

XIV. **Царь Езекия, 144.1–149.3**

XV. **Манассия, 149.4–11**
Создание Родосского колосса, 149.7–11

XVI. **Иоаким, завоевание Иудеи Ассирией, 149.12–150.12**

Уже беглое знакомство со схемой обнаруживает парадоксальный факт: в разделе, озаглавленном нами «израильская история»,

события этой истории занимают ничтожное место, лишь небольшие подразделы о царях Соломоне и Езекии не сообщают никаких иных событий, помимо фактов истории Израиля. Во всех прочих случаях об израильской истории говорится очень мало или вообще ничего, но зато приводятся сведения и сообщения из других регионов: Ассиро-Вавилонии и, главным образом, Греции. При этом именно события израильской истории, а вернее смена правителей, судей, царей являются композиционной рамкой повествования, представляют собой своего рода хронологические пометы для рассказа о событиях всемирной, чаще всего греческой, истории, последние же как бы оказываются самим «наполнением» образовавшейся конструкции. Эти функциональные различия четко закреплены лексически. Если сообщение о смене владык Израиля начинается с маловарьируемого клише μετὰ δὲ x ἡγεῖτο τοῦ Ἰσραὴλ y, то сообщения о иных событиях вводятся ἐν δε τοῖς χρόνοις τοῦ χ с модификациями. Длина этих функционально однородных сообщений произвольна: от нескольких строчек до пятидесяти двух страниц боннского издания. Последнее относится к рассказу о Троянской войне (Troica), композиционно представляющему собой сообщение о событиях, имевших место при царе Давиде (самому Давиду посвящено всего 8 строк!).

Точно такая же схема построения и те же самые лексические клише сохраняются и в других разделах. В повествовании об Ассиро-Вавилонии, например, роли меняются, чередование ассирийских, вавилонских и персидских правителей составляет жесткую рамку повествования, а рассказ о событиях еврейской и греческой истории оказывается уже в роли «наполнителя». Именно благодаря описанному композиционному приему «Хронография» Малалы превращается в синхронизированное (пусть и фантастическим образом!) повествование об истории ойкумены.[13]

С началом второй половины «Хронографии» (время правления римских и византийских императоров) композиция произведения претерпевает определенные модификации. Если в первой части Малала делал попытку в относительном единстве рассказать об истории всей ойкумены, непрестанно «перебрасывая мосты» между событиями из разных регионов, то отныне предметом его внимания становятся исключительно события римской (далее византийской) истории. Эпизоды же из истории других регионов рассказываются главным образом в тех случаях, когда по характеру своему они непосредственно связаны с историей Рима или Византии. Если в первой части Малала считал возможным опускать правителей ряда регионов, заполняя образовавшуюся лакуну фразами типа: «После X царствовали многие

другие до Y», то отныне повествование ведется без каких бы то ни было пропусков.[14] При этом отмечается время правления даже тех императоров, которые занимали трон всего несколько месяцев, а то и дней, и решительно ничем себя проявить не успели. О них сообщается только факт восшествия на престол и смерти. Малала как бы выполняет свой долг хрониста,[15] фиксирует время, но оставляет его пустым и бессобытийным (Мал., 290.6 сл., 295.6 сл. и др.).

На все повествование второй части как бы накладывается жесткая, пусть и с пустыми ячейками, хронологическая сетка, пунктуально размеренная периодами царствований. Еще четче, чем раньше, линии этой сетки отмечены устойчивыми словесными формулами, допускающими теперь уже совсем незначительные вариации. Каждое царствование вводится неизменным клише μετὰ δὲ τὴν βασιλείαν x ἐβασίλευσεν y и завершается одной из модификаций τελευτᾷ ἰδίῳ θανάτῳ (νόισῳ, βληθείς, νοισήσας) или ἐσφάγη и др. Не только начало сообщений о новом царствовании, но и эпизоды внутри разделов, посвященных одному императору, четко отмечены устойчивыми лексическими клише. Можно совсем с небольшой натяжкой утверждать, что в этой части «Хронографии» содержится определенное число повторяющихся формул, вводящих или раскрывающих сообщения и эпизоды. Не утомляя читателя многочисленными примерами, укажем лишь на несколько наиболее часто встречающихся клише. Среди них надо различать чисто хронологические или вводного характера формулы (ἐν τοῖς χρόνοις τῆς αὐτοῦ βασιλείας... ὁ αὐτὸς βασιλεύς..., τῷ δὲ x ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ... ἣ μόνον δὲ ἐβασίλευσε) и формулы, вводящие или даже раскрывающие сообщения определенного содержания (ἔπαθεν ὑπὸ θεομηνίας..., ἔκτισε δέ..., ἐτυράννησαν..., ἐμαρτύρησεν..., ἐπεστράτευσε δὲ κατὰ..., ἐγένετο διωγμὸς μέγας τῶν χριστιανῶν etc.). Почти все упомянутые (и неупомянутые) формулы встречались и в первой части «Хронографии», но здесь они как бы концентрируются все вместе, дабы в совокупности своей составить костяк или своего рода каркас исторического повествования.

Само собой разумеется, такое построение «Хронографии» оказывается возможным при двух условиях. Во-первых, из бесконечной череды исторических событий историк выбирает только эпизоды определенного содержания. Иными словами, степень избирательности хрониста по отношению к историческим фактам чрезвычайно велика, сито, через которое они просеиваются, имеет очень маленькие ячейки... Во-вторых, аналогичные или однотипные сообщения выливаются в одни и те же или совсем маловарьируемые словесные формулы. Хронист как бы предполагает лишь одну возможность для

выражения определенного содержания. Естественно, что при этом содержание сообщений или эпизодов как бы «генерализуется», обобщается, все частное особенно скрадывается и нивелируется.

Любопытное в этом отношении наблюдение было сделано над формулой ἔκτισε δέ... В. Вебером [16] и подкреплено новым материалом Г. Дауни.[17] Упомянутая формула, согласно этим ученым, не столько обозначает сооружение тех или иных зданий, сколько вводит сообщение о всякой императорской строительной деятельности, включая постройку новых зданий, восстановление разрушенных, завершение недостроенных, расширение существующих и т. д. Под κτίζειν, по Г. Дауни, следует понимать что-то вроде обобщенной формулы типа to have to do with building operation.

Таким образом, ἔκτισε для Малалы нечто большее, нежели просто глагол, выражение это вводит и обозначает сообщения особого рода, вызывает ассоциации, выходящие за рамки его этимологического значения, определяет специальный раздел императорской деятельности, классифицирует эпизоды определенного типа.

Подобная же «классифицирующая» и «генерализующая» функция характерна и для многих других упомянутых и не упомянутых нами словесных формул. Ἔπαθεν ὑπὸ θεομηνίας обозначает всякого рода стихийные бедствия, чаще всего землетрясение, ἐτυράννησαν употребляется для сообщений о любых возмущениях против императорской власти, от покушения на его жизнь во дворце до народных восстаний целых провинций, ἐγένετο διωγμὸς μέγας τῶν χριστιανῶν служит для эпизодов о всевозможных гонениях на христиан и т. д.

Итак, многообразие исторических событий подразделяется на ограниченное число «рубрик», каждая из которых, выполняя роль композиционного элемента, обозначает целый класс однотипных явлений. Можно сколько угодно сетовать на «монотонность», «скованность», лексическое и синтаксическое однообразие Малалы-писателя, пришедших на смену разнообразию и художественной раскованности античных историков, но нельзя отрицать, что эта монотонность, стремление к классификации и применению одних и тех же словесных формул — не столько результат падения художественного мастерства, сколько неотъемлемое свойство исторического и художественного метода средневекового хрониста (вряд ли можно проводить в применении к Малале какую-нибудь грань между тем и другим!). Заметим, что подобная же тенденция к рубрикации и генерализации характерна и для «соматопсихограмм» — своеобразных портретов, которыми Малала снабжает большинство упомянутых им римских и византийских императоров. Характеристики эти

всегда находятся на неизменном месте, вводятся одной и той же формулой ἦν δέ и построены на перечислении без всякой внутренней связи нескольких стандартных и неиндивидуализированных признаков внешности и характера императора.[18] Принципы построения микрохарактеристики императора и целого произведения оказываются весьма сходными!

Периодическое построение одних и тех же формул, строгая рубрикация рассказа задают тон всему произведению, создают впечатление (возможно, заранее рассчитанное) «мерного шага истории», в которой, по сути дела, ничего нового не случается, а только сменяют на троне один другого императоры и следуют непрерывной чередой однотипные события и эпизоды.

Именно во второй римско-византийской части «Хронографии» весьма ярко проявляется наиболее общая и характерная черта, свойственная композиции большинства средневековых литературных жанров: появление композиции-схемы, как бы извне накладываемой на художественный (исторический) материал. У некоторых жанров (гимнографии, например) эта схема определяется явлениями внелитературного ряда, чином литургии и т. п., у других (агиографии) она как бы сама образуется в процессе развития жанра, конституируется в жесткий каркас, организующий и формирующий содержание. Этой схемой-каркасом для Малалы и позднейших хронистов оказывается ритмизованное сменой императоров время — время, максимально освобожденное от субъективной авторской трактовки, объективированное, не поддающееся ни уплотнению, ни растяжению, очень редко возвращающееся назад, но мерным шагом двигающееся вперед.

Если античный историк компоновал факты в зависимости от своей концепции, авторской воли, художественных принципов, наконец, созидал, говоря современным языком, «модель мира», заменяя объективно-историческое время субъективным, то Малала старается выстроить несвязанные между собой исторические факты в строгой (вернее, кажущейся ему строгой) хронологической последовательности, приближая повествовательное время к объективно-историческому.

Не следует, однако, думать, что композиционная схема второй части «Хронографии» Малалы абсолютно жестка и не подвержена никакой модификации. Чем ближе придвигается повествование ко времени жизни автора, чем больше материала оказывается в его распоряжении,[19] чем живее, наконец, оказываются его реакции на этот материал, тем чаще внутри схемы появляются эпизоды, построенные уже не по временно́му, а по тематическому принципу, эпизоды,

события которых сцеплены между собой уже не хронологически, а тематическими, а иногда и причинно-тематическими связями. Приведем отдельные примеры. В Антиохии клир убивает своего епископа Стефана как несторианина. Вместо него патриархом рукополагается Каландион, но и его антиохийцы прогоняют как несторианина. Наконец по просьбе народа и клира император сажает на патриарший престол Петра, который и оставался на нем до конца своих дней (Мал., 381.2–13). Разновременные события объединены здесь в один эпизод явно по тематическому принципу. Другой эпизод касается войн императора Юстина с персами и занимает уже три страницы боннского издания. Вот его содержание. Лазы отлагаются от Персии, их царь принимает христианство и корону от императора Юстина. Узнавший об этом персидский царь Кавад шлет упреки Юстину и натравливает на Византию гуннов. Благодаря хитрому маневру Юстину удается возбудить гнев Кавада против гуннов. Кавад убивает их предводителя и многих воинов и заключает мир с Юстином (Мал., 412.16–415.21). Не «отбиваемый метрономом» такт времени, а логическая последовательность и тематическое единство оказываются пружинами действия в этом эпизоде. Можно привести пример, когда действие в подобного типа эпизоде затягивается на десятилетия. Юный Феодосий воспитывался вместе со своим другом Павлином. С помощью сестры Пульхерии и при содействии Павлина Феодосий женится на Афинаиде и возвышает Павлина. Феодосий способствует приходу к власти в Риме Валентиниана III и женит его на своей дочери Евдокии. Феодосий ревнует жену Афинаиду к Павлину. Афинаида покидает Константинополь и умирает в изгнании (Мал., 352.7–358.4). Действие приведенного эпизода продолжается более пятидесяти лет. В нем не только сохранена логическая последовательность событий, но имеются и «сквозные» персонажи: помимо самого Феодосия и Афинаиды, еще и Павлин, играющий определенную «сюжетную» роль. Таким образом то, чего не хватает сочинению в целом, явно присутствует в отдельных его эпизодах.[20]

И тем не менее подобные эпизоды скорее не правило, а исключение, своего рода «бунт материала» внутри жесткой хронологической схемы, накладываемой автором на историю. Сам Малала еще не ощущает противоречия между тематическим характером эпизодов и строгой временной конструкцией хроники, или, выражая мысль в терминах западной средневековой историографии, не знает противоречия между ordo naturalis и ordo artificialis, о котором столь часто рассуждали европейские хронисты.[21] Для последующих хронистов это противоречие станет очевидным, отсюда мелькающие по страницам

византийских хроник извинения перед читателем или призывы к самому себе вернуть повествование назад, возвратить его к исходному пункту и т. д.

К концу повествования хронологическая сетка не только не снимается, но, напротив (главным образом уже в XVIII книге), становится еще регулярней, а ее ячейки значительно сужаются.

Прежние вводные формулы постепенно вытесняются единообразной ἐν αὐτῷ δὲ τῷ χρόνῳ,[22] но и эта формула к концу рассказа о Юстиниане (после с. 480) замещается все более дробными временными указаниями типа ἰνδικτιῶνι и μηνί: равномерные «удары метронома» все учащаются, отсчитывая уже не целые царствования, а годовые и месячные промежутки. Таким образом, императорская хроника (Kaiserchronik) постепенно превращается в анналы, если только под «анналами» можно подразумевать не строго погодную хронику, а перечень событий, снабженный иногда годовыми, а иногда и месячными пометами. Появляется и весьма характерная именно для анналистической формы система, когда одно и то же событие, длящееся в течение нескольких лет или месяцев, разлагается на части и излагается под разными хронологическими пометами.[23]

При свойственной всей «Хронографии» «средневековом типе» композиции ее построение в различных частях отличается заметным разнообразием: регионально-генеалогический принцип, синхронное построение, композиция Kaiserchronik и, наконец, анналистический метод — таковы основные способы расположения исторического материала в сочинении Иоанна Малалы. Если при этом учесть эпизоды, построенные по тематическому принципу, и частые хронологические расчеты времени «от Адама», можно утверждать, что в «Хронике» Малалы как бы в эмбриональной форме заложены все композиционные методы, свойственные византийской хронографии последующих эпох.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Загадочной» назвал «Хронографию» Малалы в 1912 г. К. Глейе: *Gleye C.* Ein Beitrag zur Charakteristik des Malalaswerkes // Pädagogischer Anzeiger für Rußland. 1912. N 6. S. 360.

[2] Недостатки существующих изданий уже неоднократно отмечались. Мы пользуемся последним из них: Ioannis Malalae chronographia / rec. L. Dindorf. Bonn, 1831 (далее Мал.). Утерянное в оксфордской рукописи начало «Хронографии» издано по парижской рукописи Виртом и В. Истриным.

Пользуемся публикацией последнего: *Истрин В.* Первая книга «Хроники» Иоанна Малалы // Записки имп. Акад. наук. Сер. 8. Т. I. № 3. 1897. Только книги, посвященные римским императорам, удовлетворительно изданы: *Schenk A. von Stauffenberg.* Die Römische Kaisergeschichte bei Malalas. Griechischer Text der Bücher IX–XII und Untersuchungen. Stuttgart, 1931.

[3] См. об этом: *Kazhdan A.* Der Mensch in der byzantinischen Literaturgeschichte. Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. 28. 1979. S. 1 ff.

[4] На важность «Хронографии» Малалы как литературного памятника указывал уже К. Крумбахер, писавший, что «сочинение Малалы настолько же ничтожно само по себе, насколько важно для истории литературы, поскольку оно — первый известный нам образец важного для истории культуры и литературы жанра христианско-византийской монашеской хроники» (*Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Litteratur. München, 2. Aufl., 1897. S. 326).

[5] *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 1. München, 1978. S. 257 ff; 319 ff.

[6] «Академический вопрос о прямых источниках Малалы неразрешим, так как таинственные авторы (на которых ссылается Малала. — *Я. Л.*) для нас совершенно неизвестные величины. Эта проблема безо всякого вреда для исследования Малалы может остаться без ответа» (*Schenk v. Stauffenberg.* Kaisergeschichte. S. 510). «Вред» на самом деле, конечно, огромен, однако проблема при нынешнем состоянии источников действительно неразрешима.

[7] Трудно было бы перечислить все унизительные отзывы, которые Малала, как историк, заслужил у новых исследователей. Их кульминацией можно считать конечный вывод уже упомянутой статьи К. Глейе: «В сочинении Малалы мы видим лишь отражение некоего много выше его стоящего труда, который бессмысленно сокращал совершенно необразованный и лишенный здравого смысла человек. Такой труд, как “Хроника” Малалы, не заслуживает того, чтобы к нему применять обычные методы источниковедческой критики» (*Gleye G.* Ein Beitrag... S. 362).

[8] Сомнение вызывала лишь вторая половина последней XVIII книги, посвященной Юстиниану. Еще Гельцер предположил, что конец XVIII книги — это приложенная к сочинению Малалы константинопольская городская хроника (*Gelzer H.* Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie I.II. Lpz., 1885. S. 12 sq.). Эта точка зрения сразу же вызвала энергичные возражения со стороны Е. Патцига. См.: *Patzig E.* Unerkannt und unbekannt gebliebene Malalas-Fragmente. Abhandlungen zu dem Jahresberichte der Thomasschule zu Leipzig. Lpz., 1891. S. 25 ff.

[9] По согласному мнению большинства исследователей, в единственной сохранившейся рукописи текст обрывается незадолго до конца «Хронографии». Возможно, что действие было доведено до 574 г. См.: *Haury J.* Johannes Malalas identisch mit dem Patriarchen Johannes Scholastikos? // BZ. 9. 1900. S. 342.

[10] Нетрудно обнаружить, что границы наших «разделов» и книг, на которые разделил «Хронику» Малалы его средневековый редактор, в большинстве случаях совпадают. Исключение составляет лишь книга V (Troica), включенная нами в раздел «Израильская история», см. об этом ниже. Редактор мог не заметить композиционной сопричастности Troica к разделу об израильской истории. Возможно, что редактора заставило выделить Troica в отдельную книгу ее тематическая отграниченность и чрезмерно большой объем раздела об истории Израиля.

Несколько искусственный характер имеет только граница, установленная нами между первым и вторым разделами. Библейскую и греческую историю (мифологию) Малала рассматривает совместно, устанавливая генеалогические связи между персонажами той и другой. Границей служит воцарение Зевса Пикоса, родоначальника династий греческих правителей.

[11] См.: *Эйкен Г.* История и система средневекового миросозерцания. СПб., 1907. С. 569 сл. *Ritter M.* Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den führenden Werken betrachtet. München; Berlin, 1919. S. 61 ff.

[12] Этот пассаж представляет собой относительно редкое отступление от принятой композиционной схемы. Малала возвращает действие к прерванной им истории аргивян (Мал., 28.1–30.3) и доводит рассказ до Иисуса Навина и Финееса, т. е. как раз до того хронологического пункта, от которого началось отступление.

[13] Несколько иной тип построения обнаруживается лишь во втором «разделе», озаглавленном нами «Древнейшая мифологическая история», где соблюдается регионально-генеалогический принцип и прослеживается история генеалогических ветвей потомков Зевса Пикоса. Вот схема этого раздела: I. Гермес и его потомки (Египет). *Истрин.* Первая книга, с. 17. Мал., 23.1–27.18. 2. Инах и его потомки (Аргос). Мал., 28.1–34.14. 3. Персей и его потомки (Ассирия), Мал., 34.15–39.11. 4. Кадм и его потомки (Беотия). Мал., 39.12–53.14. 5. История идолопочитания, Мал., 53.15–56.11. В каждом из перечисленных разделов после того как прослежена история предыдущей генеалогической ветви, действие возвращается назад, что четко отмечается формулой ἐν τοῖς προειρημένοις χρόνοις. Любопытно, что подраздел, озаглавленный нами «история идолопочитания», строится по тематическому принципу и охватывает все регионы.

[14] Исключение составляет лишь пропуск времени правления нескольких императоров между Антонином Каракаллой и Валерианом (Мал., 295). Однако этот пропуск объясняется, видимо, небрежностью писца на какой-то из стадий развития рукописной традиции.

[15] Малала, хранивший почти полное молчание по поводу целей и задач истории, тем не менее считает нужным заметить, что «хронографу следует отмечать, сколько лет царствовал каждый царь» (Мал., 429. 5–6). Этому принципу он следует во второй части «Хронографии» неуклонно и не пропускает ни одного правителя!

[16] *Weber W.* Studien zur Chronik des Malalas. Festgabe für Adolf Deissmann zum 60. Geburtstag. Tübingen, 1927. S. 40.

[17] *Downey G.* Imperial Building Records in Malalas // BZ. 38. 1938. S. 2 ff.

[18] См.: *Schissel O. v. Fleischenberg.* Die psychoethische Charakteristik in den Porträts der Chronographie des Joannes Malalas // Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. 1909. Bd. 9. S. 428 ff.

[19] Как можно понять из плохо сохранившегося предисловия к «Хронографии», события, начиная уже со времени императора Зинона, Малала описывает по устным рассказам. (*Истрин.* Первая книга. С. 5).

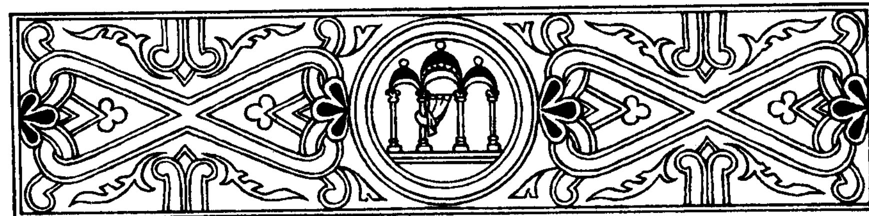
[20] В. Вебер выразил общепринятое суждение, когда писал, что в «Хронографии» Малалы «отсутствуют знание о последовательности событий, чувство их порядка, обработка материала в его единстве, внутреннее членение сообщений» (*W. Weber.* Studien... S. 66).

[21] См.: *Schulz M.* Die Lehre von der historischen Methode bei den Geschichtsschreibern des Mittelalters (VI–XIII Jhdt). Berlin; Leipzig, 1909. S. 48 ff.

[22] Не исключена возможность, что в полной редакции «Хронографии» на месте ἐν αὐτῷ δὲ τῷ χρόνῳ стояли точные даты. См.: *Brooks E. W.* The Date of the Historian John Malalas // The Englisch Historical Review. 1892. 7.

[23] Выберем только один пример из многочисленных аналогичных: Юстиниан отправляет к персам посла Гермогена (445.17–19), царь Кавад принимает Гермогена (447.22–448.2), Гермоген возвращается к Юстиниану (449.15–18). Посольство Гермогена «разделено» в рассказе на три сообщения.





ГЕРОИ «ХРОНОГРАФИИ» ИОАННА МАЛАЛЫ *

«Хронография» Иоанна Малалы принадлежит к числу произведений, оказавших наибольшее влияние на историографию христианского Востока. Переведенная на славянский и грузинский языки,[1] она широко использовалась в исторических компиляциях многих авторов.[2]

Причины такой широкой популярности произведения, по мнению многих современных ученых, сумбурного по содержанию и художественно беспомощного, еще предстоит изучить, ясно однако, что как по содержанию, так и по форме «Хронография» максимально отвечала вкусам средневековых читателей.

Дошедшая в единственной, к тому же очень сокращенной рукописи [3] «Хронография» еще почти не исследована с точки зрения исторического и художественного методов ее автора, хотя задача создания научной картины византийской историографии требует именно такого изучения.

В опубликованной мною статье [4] делалась попытка охарактеризовать принципы композиции «Хронографии». Нижеследующие заметки — продолжение этой работы.

Ни один элемент художественного произведения (композиция в том числе) не существует в изоляции от всех прочих. Способ построения исторического, как и любого другого, сочинения и метод изображения героев находятся в тесной взаимосвязи.[5] Античная историография создала сложные и многообразные формы зависимости между персонажами и композицией произведений. Герой, раскрывающийся в ходе повествования, герой, определяющий собой последовательность рассказа, наконец, биографический способ подачи материала — все

* Опубликовано в *Кавказ и Византия*, вып. 6 (Ереван, 1988), с. 110–119. См. также примечание к предыдущей статье.

эти формы развились в античности на долгом пути от Геродота до Тацита и Плутарха,[6] и все они оказались непригодными для первого известного нам средневекового византийского хрониста Малалы. В произведении, развитие событий которого не имеет внутренних пружин, а подчинено накладываемой извне хронологической схеме, герой оказывается не двигателем действия, а его придатком. И хотя повествование ведется обычно в активных глагольных формах, его герои играют роль «формального подлежащего»: никакие их свойства и качества не оказывают заметного воздействия на события.

Спектр чувств, которые испытывают персонажи Малалы, до предела ограничен и сужен, их можно легко перечислить. Герои весьма часто «гневаются» (ἀγανακτεῖν и причастия от него встречаются постоянно, реже — ὀργίζειν), довольно часто «влюбляются» и «любят» (обычно мифологические персонажи, но иногда и исторические, например, Мал., 363.3), изредка «радуются» (Мал., 454.14), «огорчаются» (Мал., 95.22), «боятся» (Мал., 353.4), «безумствуют» (Мал., 350.20).

Связь между «чувством» и «действием», им вызванным, как правило, непосредственная и мгновенная. «Разгневавшись (ἀγανακτήσας), царь совершил нечто», — построенные по этой схеме фразы рассеяны по всему произведению.

Точно так же весьма ограничен набор определений, которыми наделяются персонажи (мы пока не говорим о так называемых соматопсихограммах, о которых речь впереди). Мужчины весьма часто «мудры» (σοφός), «очень мудры» (πάνυ σοφός, σοφότατος), женщины — «красивы» (εὔπρεπής), «очень красивы» (εὐπρεπεστάτη). Если σοφός и εὔπρεπής имеет чуть ли не характер постоянного эпитета, то остальные определения встречаются значительно реже, а некоторые из них и вовсе по одному разу, их нетрудно перечислить.[7]

Иногда эпитеты просто сопровождают появление того или иного имени, иногда свойство, ими обозначаемое, влечет за собой значимые для действия последствия. Но и в данном случае действие соединено со свойствами персонажей связями непосредственными и «мгновенными»: имярек полюбил такую-то как красивую (ὡς εὐπρεπῆ), император приблизил такого-то как мудрого (ὡς σοφόν). Конструкции такого рода с ὡς встречаются нередко.

Собранные вместе примеры упоминания «чувств» и «свойств» персонажей могут создать впечатление чего-то значимого для повествования Малалы. На самом деле это не так. Рассеянные на всем пространстве сравнительно большой по объему «Хронографии», они в лучшем случае играют роль дополнительной пружины отдельных

моментов действия, в то время как главная, если не единственная двигательная сила — мерный ход времени, запечатленный в строгой хронологической сетке, о которой говорилось в упомянутой моей статье. Об этих «дополнительных пружинах» и вовсе не стоило бы говорить, если бы в процессе развития византийской историографии они не имели тенденции превращаться в основные...[8]

Обращает на себя внимание, что как «чувства», так и качества, которыми наделяет автор своих персонажей, имеют самый обобщенный, абстрагированный, так сказать, родовой характер, представлены в самом что ни на есть «стерильном» виде, не имеют никаких уточнений и «акциденций». В этом смысле эпитеты, выражающие свойства героев, равно как и «чувства», им приписываемые, играют такую же генерализующую роль, как и многочисленные формулы-клише, обозначающие в «Хронографии» группу однотипных явлений.[9]

И тем не менее, как это ни покажется парадоксальным, Малала принадлежит к числу тех авторов, которые дают наиболее развернутую и детализированную характеристику своих персонажей, мифологических, исторических, библейских. Эти характеристики, получившие меткое наименование соматопсихограмм,[10] состоят из нескольких эпитетов, описывающих внешние и нередко внутренние свойства героя. Они сопутствуют появлению ряда мифологических персонажей (первая из них — характеристика Федры, Мал., 88.16), учащаются в разделе Troica [11] и продолжаются с некоторыми пропусками в части, посвященной римским и византийским императорам. Соматопсихограммы римских и византийских императоров располагаются, за редчайшими исключениями, на строго фиксированном месте, непосредственно вслед за сообщением о воцарении императора и числе лет его царствования, и всегда вводятся одной и той же формулой ἦν δὲ..., таким образом составляя устойчивый структурный элемент рассказа.[12] О том, насколько непременной составной частью повествования об императорах становится соматопсихограмма, свидетельствует тот факт, что в иных рассказах вообще ничего не содержится, помимо сообщений о воцарении и вклиненной между ними соматопсихограммы.

Будучи устойчивым элементом рассказа, соматопсихограммы и сами организованы как некие структурные единства. Мы называем их структурными единствами потому, что построены они по определенному фиксированному порядку: начинаются с нескольких эпитетов, характеризующих внешность, и кончаются чаще всего определениями психоэтического свойства (в среднем от одного до трех). «Внешние» эпитеты почти без исключения начинаются с характеристики

роста («высокий», «маленький», «средний» и т. д.), телосложения («худой», «широкоплечий», «массивный» и т. п.). Последовательность дальнейших эпитетов свободная, хотя и тут можно установить некоторые тенденции. Что касается определений внутренних качеств, то, как это было отмечено ранее,[13] на первом месте регулярно ставится эпитет общего содержания, применяемый к большому числу персонажей, за ним следуют более редкие, а то и единожды встречающиеся во всем сочинении.

Круг свойств, на которые обращает внимание автор, равно и эпитеты, их обозначающие, вполне обозримы и в числе ограничены. Ниже приводятся черты внешнего портрета и те определения, которые выбираются для их характеристики (в скобках дано число употреблений того или иного эпитета).

Рост: μακρός (22), κονδοειδής (17), διμοιριαῖος (15), εὐμήκης (6), εὔηιξ (3), μέγας (3).

Телосложение: λεπτός (16), εὔθετος (5), εὔογκος (3), πλατύς (3), παχύς (2).

Длина, курчавость волос: ἁπλόθριξ (15), οὐλόθριξ (12), κονδόθριξ (10), οὖλος (8), ἀναφαλάς (5), ὑποφαλακρός (3), φαλακρός (2).

Цвет волос, седина: μιξοπόλιος (16), ὁλοπόλιος (9), πόλιος (6), ὑπόξανθος (4), ξανθός (3), πυῤῥόθριξ (6).

Глаза: εὐόφθαλμος (21), μεγαλοφθαλμος (8), μικρόφθαλμος (6), ὑπόγλαυκος (5), γλαυκός (4), γλαυκόφθαλμος (2).

Нос: εὔρινος (23), ὑπόσιμος (8), μακρόρινος (7), σιμός (3), στρεβλόρινος (3), ἐπίρινος (2).

Лицо: πλάτοψις (12), μάκροψις (6), λεπτοχαράκτηρος (6), ἀνθηροπρώσοπος (4), στρογγύλοψις (3).

Цвет кожи: λευκός (23), μελάγχρους (17), πυρράκης (5), λευκόχρους (4), εὔχρους (3), μελίχρους (3), ὑπόπυρρος (2).

Борода: δασυπώγων (12), εὐπώγων (10).

Грудь: εὔσθητος (8), εὐθώραξ (4).

Остальные свойства (характеристика рта, губ, ног, живота, сосков, бровей, голоса, прически) встречаются по одному-два раза, и количество эпитетов, их определяющих, естественно, тоже невелико. Устойчивый характер носят в тексте Малалы не только отдельные эпитеты, но и некоторые более распространенные формулы, применяемые к внешности персонажа (такие, как οἰνοοπαὴς τοὺς οφθαλμούς. ὁλοπόλιος τὴν κάραν καὶ τὸ γένειον и др.).

Э. Роде назвал саматопсихограммы Малалы образцом византийской безвкусицы. Стремясь обелить византийцев, некоторые ученые «перелагают вину» за действительно малоэстетичные по современным критериям соматопсихограммы на Светония и других поздне-

римских историографов, в чьих сочинениях действительно встречаются типологически сходные характеристики. Фюрст даже пытается возвести их к сухим описаниям лиц в деловых текстах египетских эллинистических папирусов, описаниям, метко охарактеризованным им как Polizeiliche Signalement.[15] Вряд ли надо искать столь дальние истоки соматопсихограмм Малалы. Подобные описания спорадически появлялись во многих жанрах античной литературы и были «каталогизированы» (εἰκονισμός, χαρακτηρισμός) риторическими учебниками.[16] При нынешнем состоянии источников вряд ли удастся однозначно решить проблему их происхождения.[17]

Вполне, однако, очевидно, что в художественной системе «Хронографии» Малалы эти соматопсихограммы не инородная, а самая что ни на есть органичная часть, хотя под «органичностью» следует в данном случае понимать не связь характеристики с окружающими элементами, а, напротив, ее полное отсутствие. Как и все прочие элементы «Хронографии», соматопсихограммы существуют как бы в совершенной изоляции, абсолютно «отключены» от своего окружения. Есть и другая причина, по которой соматопсихограммы органичны для «Хронографии». Характеристики персонажей «Хронографии» обнаруживают внутреннее композиционное сходство со всем произведением. Стиль художественного мышления автора проявляет себя одинаково и в целом, и в его частях. В самом деле, если жесткая хронологическая сетка подчиняет и формирует исторический материал «Хронографии», то строгая структура соматопсихограмм таким же образом ранжирует свойства ее персонажей. Если в «Хронографии» в целом многообразие событий реальной истории трансформируется в ограниченное число эпизодов, выраженных, как правило, маловарьируемыми формулами, то в соматопсихограмме все многообразие свойств персонажа «рубрицируется» немногочисленными эпитетами, при этом почти каждый из них как бы генерализирует определенный аспект внешности или внутренних качеств героя («малорослый», «худой», «великодушный» и т. п.).

Эпизоды «Хронографии», говорим мы, никак взаимно не связаны и механически примыкают один к другому, тем более асиндетичны эпитеты, входящие в состав соматопсихограмм. Малала так же не видит связи между отдельными историческими фактами, как не замечает взаимообусловленности человеческих свойств и качеств. Каждый эпитет имеет самодовлеющее значение и никак не сопряжен с соседними.

Соматопсихограммы — органичная составная часть «Хронографии» еще и благодаря своей полной эмоциональной нейтральности

и безоценочности. В этом смысле определение их как Polizeiliche Signalement как нельзя лучше отражает суть дела. Так, например, ассортимент эпитетов, прилагаемых христианином Малалой к персонажам мифологическим, историческим и библейским, везде примерно один и тот же. Отсутствие у мифологических героев некоторых эпитетов — не более как простая случайность (нет, например, у них определения μιξοπόλιος, зато встречается ὁλοπόλιος, нет φαλακρός и υροφαλακρός, зато встречается синонимическое ἀναφάλας и т. д. Замечено было уже ранее, что портреты и характеристики Одиссея и апостола Павла весьма схожи.[18]

Не только мифологические «языческие» герои и библейские персонажи наделены схожими характеристиками (это еще можно было бы объяснить «античными симпатиями» живущего в переходную эпоху автора!), но и императоры — гонители христиан, традиционные «злодеи» последующей византийской хронографии — обладают у Малалы тем же фондом эпитетов, что и все остальные герои. В качестве примера можно привести соматопсихограммы Домициана, Нумериана, Диоклетиана, Максимиана.[19] Большое число эпитетов, начинающихся с εὐ, наличие таких определений, как φιλόσοφος ἄκρος (Домициан) или ἐλλόγιμος (Юлиан Отступник), могли бы даже создать впечатление «положительной характеристики» гонителей христиан, если бы соматопсихограммам вообще пристали такие классификации, как «положительные» или «отрицательные». Само собой разумеется, никакой связи между характером соматопсихограмм и описываемыми далее действиями героев не существует вовсе. У Малалы нет даже намека на Schwarzweißmalerei последующей византийской хронографии.

«Нейтральность» соматопсихограмм — отражение эмоциональной нейтральности стиля исторического повествования Малалы вообще. Если позднейшие хронисты весьма часто декларировали принцип изображения исторических событий sine ira et studio, но практически делали все для его нарушения, то Малала, ни словом о нем не упоминающий, на деле воплощает его в «Хронографии». Принцип, ставший в дальнейшем сознательным, но не воплощенным идеалом, для Малалы — еще неосознанная реальность. Все повествование Малала ведет почти на одном уровне, воистину «добру и злу внимая равнодушно». Отрицательные определения у Малалы вообще крайне редки и весьма однообразны (например, μυσερός — Мал., 35.7; 39.8; 491.20, изредка δυσσεβής), а «положительные» или представляют собой простую «констатацию факта» (как эпитеты, начинающиеся εὐ в соматопсихограммах), или же являются официальными эпитетами римских и византийских императоров (θειότατος, εὐσεβής). Даже о таких злодейских акциях, как гонения и мучения христиан, Малала сообщает, как правило, в клишированных формулах, без слова осуждения (наиболее частая формула: ἐγένετο διωγμὸς μέγας τῶν χριστιανῶν). «Равнодушие» Малалы особенно бросается в глаза при сравнении его описаний с аналогичными сообщениями других, более поздних хронистов: Феофана, Симеона Логофета, Георгия Монаха и других.

«Объективность» Малалы простирается до того, что о персонажах, которым по всем христианским канонам положено подвергнуться строгому осуждению, писатель говорит с явным уважением и даже похвалой. Так, «философа» Тиресия, «утвердившего среди эллинов учение о том, что "все в мире происходит само собой и непредвиденно"» (τό αὐτομάτως φέρεσθαι τά πάντα καί απρονόητον), Малала именует «богатым и имуществом, и достоинством, и мудростью» (Мал., 40.4 сл.). Осужденный же как язычник Исокасий, по Малале, «со славой исполнял многочисленные должности» в Антиохии и «был весьма учен» (Мал., 370. 1 сл.). Напомним, Малала пишет при Юстиниане, закрывшем Афинскую Академию и запретившем преподавание языческим философам! Порой содержание рассказа вступает в резкое противоречие с «объективным» тоном его изложения, противоречие, производящее на современного читателя впечатление парадоксальное, не без оттенка зловещего комизма. Повествуя, например, о зверской расправе, учиненной антиохийскими прасинами над иудеями при императоре Зиноне, историк так заканчивает свой рассказ: «...и донесли царю Зинону о безбожном деянии (ἀσέβημα), учиненном прасинами над иудеями. И разгневался царь на прасинов в Антиохии, говоря: "Почему только мертвых иудеев жгли, и живых иудеев нужно жечь"» (Мал., 389. 19 сл.). Расправа над иудеями для Малалы — ἀσέβημα, тем не менее людоедские слова Зинона передаются как бы совершенно равнодушным рассказчиком. Несовместимость самого факта и мелькнувшего было его осуждения с абсолютно «объективной» передачей сентенции Зинона невольно придает отрывку трагикомический эффект. Даже такой излюбленный мотив христианской хронографии, как гнев божий на неправые поступки людей, весьма редок у Малалы (см.: Мал., 484.4). Единичны также и ссылки на дьявола, побуждающего человека к дурным поступкам (см.: Мал., 473.6; 474.8). Встречающийся же постоянно термин θεομηνία (божий гнев) — не более как синоним для стихийного бедствия, чаще всего землетрясения. Разделяющий христианские мировоззренческие установки и владеющий (как это показывают единичные примеры)

основными приемами мышления и словесными клише христианских писателей, Малала воздерживается от их применения expressis verbis, сохраняя объективный и безэмоциональный тон повествования.

Было бы, видимо, преувеличением вслед за Е. Патцигом полагать, что сухому объективному стилю хрониста Малалы вообще чужда всякая оценочность, которая только приписывается ему воображением новых ученых.[20] Однако прямые суждения Малалы действительно проявляются в «Хронографии» не как элемент стиля, а как противоречия или выпадения из него.

Не исключено, что некоторые из этих крайне редких оценок — следы использованных источников (см., например, слова о Юлии Цезаре, который «царствовал в гордости и самовластии» — Мал., 213.22). В иных случаях оценки высказываются не прямо, а в виде своего рода оговорок. Именно так, очевидно, следует расценивать, например, замечание о царице Феодоре, которая совершила нечто «наряду с другими своими благими делами» (μετὰ καὶ τῶν ἄλλων αὐτῆς ἀγαθῶν — Мал., 440.14–15). Приведенные слова — единственная прямая (но косвенно выраженная!) похвала царице, к которой автор, вероятно, относится весьма положительно.

Именно этот объективный безэмоциональный стиль весьма затрудняет определение авторской позиции Малалы и порождает споры исследователей о мировоззрении писателя.[21] Именно этот стиль характерен и для соматопсихограмм персонажей Малалы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Славянскому» Малале посвящена большая литература, приведем только *Шусторович Э. М.* Хроника Иоанна Малалы и античная традиция // ТОДРЛ. XIII. 1969; *Удальцова Э. В.* Хроника Иоанна Малалы в Киевской Руси // Археографический ежегодник за 1965 г. М., 1966. О грузинской версии см.: *Gleye C. E.* Die grusinische Malalasübersetzung // BZ. 22, 1913. S. 63 ff. Никаких других сведений о грузинской рукописи Малалы получить не удалось.

[2] На византийской почве Малалой широко пользовались, например, Пасхальная хроника и Феофан Исповедник, которые подчас дают более полное и лучшее чтение, нежели дошедшая до нас рукопись «Хронографии» Малалы. Возможно, непосредственно сочинением Малалы пользовался и армянский историк Моисей Хоренский. Подробно см.: *Weierholt K.* Zur Überlieferung der Malaloschronik. Stavanger, 1965.

[3] Издана Ioannis Malalae Chronographia ex rec, L. Dindorfii. Bonn, 1831 (далее Мал.).

[4] *Любарский Я.* Хронография Иоанна Малалы (проблемы композиции). См. с. 7–20 настоящего сборника.

[5] Наиболее выразительно о взаимообусловленности элементов и приемов стиля (в широком смысле) художественных произведений пишет В. М. Жирмунский: «...один прием требует другого приема, ему соответствующего» (*Жирмунский В. М.* Задачи поэтики. В кн.: Теория литературы, поэтика, стилистика. Л., 1977. С. 34).

[6] См.: *Bruns I.* Die Persönlichkelt in der Geschichtsschreibung der Alten. Berlin, 1898.

[7] Παρθένος, σώφρων, ὡραῖος, πολεμικός, φιλότιμος, συνετός, περιβόητος, ἐλλόγιμος, εὔστολος, δίκαιος, γενναῖος и некоторые другие. Как нетрудно видеть, эти эпитеты имеют самый общий, «генерализирующий» характер.

[8] Иначе думает Е. Гэрлинг, открывающий у Малалы и концентрацию внимания на герое, и искусство рисовать характеры (например, Кадма и Мелхиседека), и даже интерес к психологическим переживаниям героев (см.: *Görling Å.* Mythos und Pistis. Zur Deutung heidnischer Mythen in der christlichen Weltchronik des I. Malalas. Lund, 1980. S. 13 ff). Простое обращение к цитированным Е. Гэрлингом пассажам убеждает, насколько безосновательна подобная модернизация.

[9] См.: *Любарский Я.* Цит. соч. С. 419.

[10] См.: *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur, der Byzantiner, I, München, 1978. S. 322.

[11] В Troica соматопсихограммы в большинстве своем идут подряд, «единым списком» (Мал., 104 сл.). Как появился этот «единый список», предположить трудно. См. об этом: *Fürst J.* Untersuchungen zur Ephemeris des Diktys von Kreta // Philologus. 1902. Bd. 61. S. 594 ff.

[12] По мнению Е. Патцига, первоначально портреты сопутствовали появлению всех персонажей «Хронографии», их исчезновение в ряде случаев — результат переработки первоначального текста (*Patzig E.* Рец. на: *Fürst I.* Untersuchungen... BZ. 13. 1904. S. 178).

[13] См.: *Schissel O. V. Fleischenberg.* Die psychoetische Charakteristik in den Porträts der Chronographie des Ioannes Malalas // Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte, 1909. Bd. 9. S. 428 ff. Статья целиком посвящена «психоэтическим» эпитетам у Малалы.

[14] *Rohde E.* Der griechische Roman und seine Vorläufer. Leipzig, 1876. S. 151. Anm. 1.

[15] *Fürst J.* Untersuchungen... S. 375 ff.

[16] См. об этом: *Misener G.* Iconistic Portraits. Classical Philology XIX. 2. 1924.

[17] Е. Патциг отвергает все попытки определить источники «портретов» Малалы. «Я вижу портретиста в самом Малале», — категорически заявляет ученый. *Patzig E.* Рец. на: *Barier Đ. Í.* Über die Quellen der ersten vierzehn Bücher des Malalas // BZ. X. S. 608 ff.

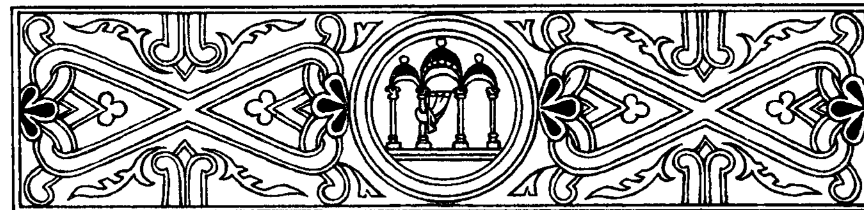
[18] См.: *Patzig E.* Рец. на: *Fürst J.* Untersuchungen... // BZ. 13. 1904. S. 179.

[19] См.: *Мал* 262. 12 сл., 303. 6 сл., 306. 10 сл., 311.6 сл.

[20] *Patzig E.* Der angebliche Monophysitismus des Malalas // BZ. 7. 1898. S. 115 ff.

[21] В качестве примера можно привести породивший разногласия между исследователями вопрос о «монофизитстве» Малалы, см.: *E. Patzig.* Der angebliche Monophysitismus. Права З. В. Удальцова, отказывающаяся видеть в «Хронографии» выраженные следы монофизитских взглядов автора. См.: *Удальцова З. В.* Мировоззрение византийского хрониста Иоанна Малалы // ВВ. 32. 1971. С. 13 сл.





ФЕОФАН ИСПОВЕДНИК И ИСТОЧНИКИ ЕГО «ХРОНОГРАФИИ»

(К вопросу о методах их основания) *

Византийская историография — это в значительной мере литература вторичная. Исторический писатель получал здесь материал большей частью не из документов, воспоминаний, рассказов или личных впечатлений, а находил его в «готовом», жанрово оформленном обличье — в хрониках, историях и других сочинениях. Именно поэтому вопрос о приемах и способах переработки трудов предшественников в применении ко многим византийским писателям превращается в проблему их исторического и одновременно художественного метода. Знание этих приемов важно как для историка, добывающего факты и вынужденного пользоваться «вторичными источниками», так и для литературоведа, изучающего пути преломления материала в сознании средневекового автора. Можно предполагать, что история развития методов освоения византийскими писателями трудов их предшественников (если она когда-нибудь будет создана!) существенно способствовала бы созданию научной картины византийской историографии в целом.

* Опубликовано в сб. «Византийский временник», 45 (1984), 72–86. Положения этой работы были в дальнейшем развиты в статье: *Ljubarskij Jakov N.* Concerning the Literary Technique of Theophanes the Confessor, *Byzantinoslavica*, 56 (1995), 317–322. С момента выхода статьи появилось несколько исследований, посвященных творчеству Феофана, главные из них: *Speck P.* Das geteilte Dossier. Beobachtungen zu den Nachrichten über die Regierung des Kaisers Herakleios und seiner Söhne bei Theophanes und Nikephoros (Bonn, 1988); *Rochow I.* Byzanz in 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes. Quellenkritisch-historische Kommentar zu den Jahren 715–813. (= Berliner Byzantinische Arbeiten. Bd. 57). Berlin, 1991.

Изучение приемов компиляции имеет большое значение и потому, что процесс превращения материала в литературное сочинение — по сути дела процесс творчества историков — протекает здесь как бы на элементарном уровне; ведь средневековый писатель имел перед собой не безбрежное море жизни и не хаос фактов, а вполне упорядоченный и легко обозримый материал, уже подвергавшийся обработке. Сопоставляя то, что «входит» в созидательную деятельность историка, и то, что получается «на выходе», современный исследователь может попытаться проникнуть в творческий процесс в его простейшей форме.

Заслуга постановки проблемы на материале творчества Феофана Исповедника принадлежит советскому византинисту И. С. Чичурову.[1] Именно он перенес основное внимание с традиционной проблемы — *что* заимствовал хронист для своего произведения — на вопрос о том, *как* он это делал. В компиляторе Феофане И. С. Чичуров видит не ремесленника, действующего методом ножниц и клея (совсем недавно так охарактеризовал Феофана К. Мэнго),[2] а писателя, обрабатывавшего материал предшественников, исходя из определенных идеологических и эстетических установок.[3] Своими исследованиями И. С. Чичуров «открыл» проблему, в дальнейшем обсуждении которой мы и собираемся принять посильное участие.

В «Хронографии» Феофан использует не менее десяти более ранних сочинений, однако мы остановимся лишь на тех случаях, когда его источники находятся в нашем распоряжении в оригинальном или близком к оригинальному виде. Начнем с анализа характера переработки Феофаном «Истории» Феофилакта Симокатты, поскольку, во-первых, Феофан использовал почти все сочинения Феофилакта, во-вторых, потому, что при переложении Феофилактовой истории Феофан применяет почти все имеющиеся в его распоряжении приемы освоения источника.

Нет сомнения в том, что сочинение Феофилакта было предварительно прочитано и в какой-то мере изучено Феофаном. Об этом свидетельствует прежде всего хронологическое «выравнивание» текста Феофилакта. Материал «Истории» Феофилакта, содержащий немало «забеганий» вперед и отступлений назад, не мог быть механически переложен Феофаном, а должен был подвергнуться непременной переаранжировке историком, придерживавшимся строгого погодного изложения. Такая переаранжировка, весьма детальная и в основном точная, действительно была им произведена.

Феофан излагает «Историю» Феофилакта не с ее начала, а с середины Третьей книги (Феоф., 244; 13 = Симок., 128.23),[4] как раз с того места, где ее автор совершает экскурс во времена императора Юстина. Изложив это отступление и подойдя к воцарению Маврикия, Феофан и на этот раз обращается не к началу повествования Симокатты, а рассказывает о коронации и женитьбе Маврикия (Феоф., 24–27) и лишь затем принимается за пересказ начала труда Феофилакта, сообщая о внешнеполитических событиях и о взаимоотношениях Византии со славянами и аварами. Если Феофилакт рассказывает последовательно о кампании против каждого из этих народов, то у Феофана события «перемешаны» и расположены в хронологическом порядке. Уже эта хронологическая перестановка материала предполагает определенную предварительную работу эпитоматора над текстом своего оригинала.

Используя «Историю» Феофилакта в качестве основного источника, Феофан тем не менее обращается и к другим сочинениям, компилируя их сведения с данными Феофилакта.[5] Прежде всего уже при беглом сличении текстов Феофилакта и Феофана у второго из них обнаруживаются пассажи, отсутствующие у первого и совсем не связанные с контекстом рассказа. Из 27 выделенных нами пассажей такого рода в семи содержатся данные о постройках или переоборудовании церквей, зданий, сооружений (Феоф., 248.2–3; 248.5–8; 251.16–19; 161.13–16; 272.22–27; 274.22–24; 277.14–17). В одиннадцати сообщается о смерти, рождении, бракосочетании, усыновлении, короновании, рукоположении императоров и патриархов и т. п. (Феоф., 247.28–31; 248.9–10; 248.13–14; 251.22–24; 251.25–252.4; 252.5–13; 252.24–25; 267.26–28; 271.28–32; 283.35–284.3; 284.3–6). Во всех остальных случаях тоже передаются эпизоды из жизни императорской семьи или события сугубо константинопольские. Характер заимствованных эпизодов заставляет думать, что Феофан использовал какую-то неизвестную нам хронику, автор которой концентрировал внимание на внутренней жизни двора и столицы. Возможно даже, что то была константинопольская городская хроника, существование которой предполагали некоторые ученые.[6]

До сих пор говорилось о совершенно новых сообщениях, отсутствующих у Феофилакта и вставленных в текст хроники Феофана из какого-то другого источника. Имеются, однако, случаи иного рода, когда в повествовании Феофана, в целом базирующемся на Феофилакте, появляются фактические подробности, отсутствующие у последнего. Приведем несколько наиболее ярких примеров. 1. Проб назван у Феофана патрикием (265.23), в соответствующем же месте Феофилакта его имя упоминается без всякого титула (Симок., 168.14 след.). 2. Каган направляет Приску, по Феофану, 400 повозок с продоволь-

ствием (278.21), Феофилакт никакой цифры не называет (Симок., 267.17). 3. Приск отправляет, согласно Феофану (278.24), индийские пряности кагану, в то время как последний находится в Сирмие. У Феофилакта нет речи о Сирмие (Симок., 268.2). 4. Узурпатор Фока, утверждает Феофан (289.22), прежде чем явиться во дворец, провел два дня в храме Иоанна Крестителя — Феофилакт ничего об этих двух днях не знает (Симок., 303.12). 5. Перед казнью Маврикия, согласно утверждают Феофан и Феофилакт, были убиты сыновья императора (Феоф., 290.1 = Симок., 305.4). Однако лишь первый называет число казненных — их было пятеро.

Число примеров можно легко увеличить, но определить пути, по которым эти дополнительные детали попадают в сочинение Феофана, непросто. Вполне вероятно, что некоторые из них вовсе и не являются «дополнительными деталями», а содержались в более полном манускрипте (по сравнению с дошедшими до нас рукописями Феофилакта), которым пользовался Феофан. На такую мысль наталкивает один из эпизодов, пересказанных Феофаном. Успокаивая народ, взволнованный восстанием войска, Маврикий устраивает конные ристания, во время которых, по Феофану, происходит диалог царя с прасинами и венетами (287.12 след.). При этом приводятся слова как прасинов, так и венетов. В дошедшем же до нас тексте Феофилакта «слово предоставляется» одним только венетам (Симок., 296.27), о прасинах же совсем не упоминается. Вряд ли можно себе представить, что этот цельный и законченный эпизод смонтирован Феофаном из разных источников, — скорее всего, он нашел весь его целиком в той рукописи Феофилакта, которой пользовался.

Кое-какие коррективы и дополнения наверняка вносятся Феофаном и из других источников. В отдельных случаях отчетливо видны следы некоторых из них.

Повествуя о том, как был нарушен мир императора Юстина с персами в 572–573 гг. (244.13 след.), и пересказывая данные Феофилакта, Феофан вслед за своим источником приводит две причины этого печального события. Первая связана с историей племени химьяритов, вторая заключается в убийстве персами тюркских послов, направлявшихся в Византию. Вторую причину Феофан излагает строго по Феофилакту, а вот говоря о первой, неожиданно оставляет его и приводит отрывок из сочинения Иоанна Малалы (Мал., 456.23 след.),[7] тоже повествующего о химьяритах, но в совершенно ином контексте, решительно никакого отношения к делу не имеющем (у Феофана речь идет о времени Юстина, у Малалы — Юстиниана). Феофан решил расширить и дополнить Феофилакта, но сделал это крайне неудачно.

Другие примеры обращения к иным источникам приводятся О. Адамеком, по наблюдениям которого ряд вставок Феофана в рассказ, заимствованный у Феофилакта, находит соответствие во фрагментах Иоанна Антиохийского, Георгия Монаха и Льва Грамматика.[8] Сходство между пассажами Феофана, с одной стороны, и Иоанна Антиохийского, Георгия Монаха и Льва Грамматика — с другой, по вполне вероятному объяснению О. Адамека, — результат использования ими некоего неизвестного нам «нового» источника. Вопрос об идентичности этого источника с тем, откуда заимствовал Феофан сведения о Константинополе и о царском дворе, остается открытым.

Однако ни предположительное использование более полной рукописи Феофилакта, ни привлечение иных источников никак не покрывают всех случаев расхождений Феофана со своим оригиналом. Нередко их причины коренятся в каких-то особенностях памяти Феофана, ассоциациях и аналогиях с другими похожими эпизодами, всплывающими в сознании хрониста. Приведем любопытную в этом отношении деталь. Пленные тюрки, по Феофану (266.34), имели на лбу знак креста, нанесенного черным пунктиром (διὰ μέλανος κεντητοῦ). В соответствующем месте Феофилакт ни о каком черном пунктире не упоминает (Симок., 208.15). Однако эта деталь всплывает через десятки страниц рукописи, уже в оригинальном и ниоткуда не заимствованном рассказе о Константине VI, велевшем начертать черным пунктиром (μέλανι κεντητῷ) на лицах плененных повстанцев слова «Ἀρμενιακὸς ἐπίβουλος» (Феоф., 469.13). Каким образом появляются подобные «переносы», определить очень трудно, ведь механизм их возникновения надо искать в тончайших областях человеческой психологии. Тем не менее некоторые заключения можно сделать, если сравнить тексты Феофана и Феофилакта в тех пассажах, где влияние других источников практически исключается и где Феофан остается «один на один» с Феофилактом. Как правило, для исследователя-историка все подобные отклонения от оригинала не более как досадная порча, искажения, ошибки не очень внимательного и не слишком аккуратного автора. И это действительно так, коль скоро подходить к сочинению Феофана лишь как к источнику исторических сведений. Однако выводы окажутся существенно другими, когда мы попытаемся оценить «Хронографию» Феофана как культурно-исторический памятник. Но прежде всего о характере самих этих ошибок.

Если отвлечься от элементарных lapsus memoriae самого автора или от частых ошибок в передаче имен и цифр, которые вполне могли быть результатом невнимания переписчика,[9] «промахи» Феофана сводятся в принципе к нескольким типам.

1. Феофан подменяет субъект или объект действия: Дарой, по Феофану (247.14), овладел персидский полководец Адормаан, по Феофилакту, — сам царь Хормизд (Симок., 131.25 след.). У Феофана к Даре прибывают ромеи во главе с Юстинианом, а рядом располагаются персы (250.18 след.). У Феофилакта все происходит наоборот (Симок., 134.29 след.). У Феофана войско поклялось не подчиняться императору Маврикию (261.1), у Феофилакта — отказалось принять военачальника Филиппика (Симок., 115.4 след.) и т. д.

2. В тексте Феофана происходят частые «хронологические сдвиги». По Феофилакту, во время бури корабль императора спасся и причалил к Даонии, там царь провел ночь, утром отправился в путь и к вечеру остановился лагерем. В эту ночь некая женщина родила урода, которого царь наутро велел уничтожить; затем он продолжает свой путь и через два дня встречает трех славян с кифарой (идет изложение этого эпизода) (Симок., 220.18 след.). Все упомянутые события заняли, по Феофилакту, четыре дня.[10] Те же эпизоды у Феофана происходят в два дня (Феоф., 268.14). Время нетрудно подсчитать по имеющимся в тексте обоих авторов указаниям. Такие временные стяжения у Феофана не редкость (например, боевые действия Приска против аваров у Феофилакта занимают двое суток, у Феофана — один день). Конечно, потеря одного-двух дней — мелочь, маловажная для историка. Однако временна́я переаранжировка событий подчас оказывается гораздо более существенной. Так, по Феофану (247.28 след.), заболевший Юстин усыновил и провозгласил Тиберия кесарем, а по прошествии двух лет, почувствовав облегчение от болезни, собрал синклит и клир и обратился с напутственной речью к Тиберию. По Феофилакту (Симок., 132.22), Юстин произносит свою речь одновременно с провозглашением Тиберия кесарем. Таким образом, Феофан как бы берет у своего оригинала факты и эпизоды, но по-своему организует их во времени. Впрочем, зачастую временна́я переорганизация бывает связана с искажением событийной стороны дела. Согласно Феофилакту (Симок., 266.10 след.), после кампании 598 г. Приск в течение 18 месяцев стоял с войском на Дунае, не совершив ничего достойного упоминания, и лишь через полтора года вступил вновь в борьбу с каганом. У Феофана (278.10 след.) ни о каких 18 месяцах нет речи: Приск в 598 г. (видимо, осенью) возвращается домой, а уже в марте следующего года возобновляет борьбу с каганом, надо полагать, вернувшись на Дунай из Константинополя.[11]

3. Феофан переставляет и по-новому сочетает между собой элементы рассказа. «Царь Маврикий, — пишет Феофан, — усыновив персидского царя Хосрова, отправил к нему своего родственника, мелитинского епископа Домициана вместе с Нарсесом, поручив последнему ведение войны» (266.13–16). В этом эпизоде, переданном фактически в одной фразе, весьма примечательно сочетались между собой три сообщения Феофилакта, не имеющие между собой ни хронологической, ни какой-либо иной связи (Маврикий усыновил Хосрова — Симок., 194.6; Маврикий отправил послом Домициана — 179.6; Маврикий назначил стратигом Нарсеса и поручил ему ведение войны — 192.6).

Следующий за только что приведенным эпизод борьбы Нарсеса с взбунтовавшимся персом Варамом построен по сходному принципу. «Варам же, узнав об этом (имеется в виду движение Нарсеса. — *Я. Л.*), расположился в месте под названием Александрина с намерением воспрепятствовать войску, движущемуся из Армении для соединения с Нарсесом. Дело в том, что Маврикий велел армянскому полководцу Иоанну Мистакону вместе с войском соединиться с Нарсесом, чтобы вступить в войну с Варамом. Ночью все ромейские войска соединились и построились против Варама. Варам же, охваченный страхом, разбил лагерь на горе» (266.18–26). Все детали этого сообщения Феофана без труда можно обнаружить у Феофилакта, упоминающего и место Александрину (в форме Ἀλεξανδρινά — Симок., 202.6), и войска Иоанна, пришедшие на соединение с Нарсесом (Симок., 203.24 след.), и ночь как время действия (Симок., 204.19), и, наконец, гору, на которой, видимо, располагалось войско Варама (Симок., 205.21.24). Однако детали эти находятся как бы в ином контексте. Александрина, например, — просто одно из мест по пути движения объединенного ромейско-персидского войска; ночью Варам собирался (но так и не осмелился) совершить нападение на ромеев и т. д. Феофан как бы разъединил нарисованную Феофилактом картину на отдельные компоненты, из которых затем создал совсем иную конструкцию, представил эпизод, перенеся его в иное время и поместив в иную топографию. Единственное сообщение, добавленное Феофаном, — это замечание, что Варам «был охвачен страхом».

Конечно, имеется в виду не сознательный процесс «разборки» конструкции Феофилакта и монтажа своей собственной, а воспроизведение текста оригинала так, как его понял и запомнил Феофан. Примечательно при этом, что, «забывая» из рассказа Феофилакта многое весьма существенное, не воспроизводя ни последовательности действия, ни его географии, Феофан фиксирует второстепенные детали, и в его повествовании они выходят на первый план. Эта переакцентовка происходит у Феофана на уровне как эпизода, так и отдельной

фразы. Знаменательно в этом отношении, что Феофан, как правило пользующийся паратаксисом, препарирует фразы Феофилакта таким образом, что извлекает содержание из придаточного предложения или причастной конструкции Феофилакта, опуская содержание главного предложения или основной части простого.

Каким образом могли возникнуть подобные ошибки, иными словами, какие условия написания «Хронографии» и способы работы Феофана могли привести к их появлению? Поставим также и более сложную проблему: какие механизмы мышления и памяти Феофана действовали при обработке оригинала историографа и как они привели к появлению столь сильных «искажений на выходе»?

Последние два из приведенных примеров «реконструкции эпизодов», думается, могут свидетельствовать только об одном методе работы: Феофан прочитывает (выслушивает?) значительные куски текста, которые затем воспроизводит по памяти. Именно поэтому его текст почти никогда не совпадает целиком с Феофилактовым, а в иных пассажах у обоих авторов не обнаруживается ни единого совпадающего слова. Только таким методом работы можно объяснить, почему детали, отстоящие одна от другой на несколько страниц современного издания, у Феофана вдруг соединяются и сочетаются между собой.

В добавление к уже приведенным присовокупим еще два примера. Возбуждая воинов против Хормизда, Варам, по Феофану (263.23), говорит о свирепости неприятеля, его жестокости, сребролюбии и страсти к убийствам. В передаче Феофилакта речь Варама не содержит подобной характеристики Хормизда, однако очень похожие определения находятся пятью страницами ранее — уже в форме прямой характеристики Хормизда Феофилактом (144.11). Феофан запомнил ее и вложил, к тому же весьма уместно, в уста Вараму. А вот другой случай. Персидский хардариган, по Феофану (256.14), зашел в тыл ромейскому войску безлунной ночью. Ни о какой «безлунной ночи» в соответствующем месте Феофилакта не упоминается, но она вовсе не выдумана хронографом. Эта ночь встречается у Феофилакта, только страницей ниже (86.17) и уже в другом эпизоде. Не станем нагромождать однотипных примеров: приведенных достаточно, чтобы проиллюстрировать способ работы Феофана, прочитывавшего (выслушивавшего?) большие куски текста Феофилакта, а затем передававшего его по памяти.

Итак, память Феофана фиксирует детали, элементы, подчас выстраивающиеся в его сочинении в новый контекст. При этом можно выделить несколько путей освоения историком всего материала. Об

идеологической обработке подробно писал И. С. Чичуров, показавший, как Феофан добавляет, а чаще опускает отдельные эпизоды и детали под влиянием своих представлений и убеждений. Укажем на наиболее типичные ходы мышления Феофана, не сводящиеся к идеологической обработке, а отражающие более общие приемы осмысления материала. Ряд элементов добавляется Феофаном «по шаблону». Историк использует клише, сложившиеся в историографии, в том числе и у Феофилакта, но отсутствующие в данном конкретном месте оригинала. Вот хотя бы несколько примеров: войско, провозгласившее Германа императором, поднимает его на щит (ἐπὶ ἀσπίδος ὑψώσαντες — 260.24). Татимер в пути предавался пьянству и роскоши (εἰς μέθην καὶ τρυφήν), пренебрегал осторожностью и в результате подвергся нападению славян (271.7). Ромеи вернулись на родину, взяв множество пленных (αἰχμαλωσίας πολλῆς ἐκράτησαν — 276.2; ср.: 259.5). Ни о каком поднятии на щите Германа, ни о каком пьянстве и роскоши Татимера, ни о каком множестве пленных у ромеев в соответствующих местах труда Феофилакта ничего не говорится. Все это попросту обычная у историков, в том числе у самих Феофилакта и Феофана, топика, сопутствующая указанным ситуациям. Как это присуще средневековому писателю, на конкретное событие накладывается обобщенный образ, так сказать, идеальная модель события, живущая в сознании писателя.

Было бы, однако, неверно сводить все изменения, вносимые Феофаном в текст Феофилакта, к непреложному воздействию клише. Весьма многочисленные новые элементы рассказа появляются в результате догадки, домысливания, более или менее оправданного контекстом рассказа Феофилакта. Так, император Маврикий, по Феофану (287.29 след.), называет причиной своих несчастий Германа и родного сына — Феодосия. Феодосий у Феофилакта в этом контексте не упоминается. Можно, однако, понять, почему его имя появилось в «Хронографии». Восставшее войско хочет, по Феофилакту (Симок., 298.3 след.), провозгласить императором либо Германа, либо Феодосия. Однако догадка Феофана вряд ли справедлива: в соответствующем эпизоде «гнева Маврикия» Феодосию отведена у Феофилакта совсем другая роль, чем та, которая уготована ему Феофаном. Феодосий стоит не рядом с обвиняемым Германом, а подле своего разгневанного отца (Симок., 298.26).

Другой пример. Согласно Феофилакту (Симок., 134.4 след.), император Тиверий отправил к персидскому царю мирное посольство, но в то же время готовил свое войско к войне. Судя по контексту и форме выражения, речь идет об одновременных действиях.[12]

Феофан же, принимая эти эпизоды за последовательные, делает вывод о том, что посольство Тиверия не имело успеха (250.14). Любопытно, что «домысливание» Феофана в одном случае относится даже к характеристике персонажа, вообще редко встречающейся у историка. Византийский полководец Роман, по его словам (263.11), «был украшен разумом» (συνέδει ... ἐκεκόσμητο). У Феофилакта такой характеристики нет, зато говорится, что Роман противопоставил хитростям своего противника Варама сообразительность (ἀγχίνοιαν — Симок., 125.5). Это замечание, без сомнения, дает Феофану основание говорить о разумности Романа.

Домысел из контекста как бы выявляет то, что содержится в потенции, но не выражено четко Феофилактом. Феофан не следует ему буквально, а, получив свое, иногда субъективно окрашенное впечатление от прочитанных (прослушанных?) эпизодов, излагает события уже в собственной версии. Нередко при этом события, упоминаемые у Феофилакта, подвергаются Феофаном определенной «логизации». Она касается прежде всего порядка изложения эпизодов. Приведем только один, но весьма показательный пример. После победы над Коментиолом, рассказывает Феофилакт Симокатта (Симок., 271.9 след.), войско кагана постиг мор, во время которого умерли семь его сыновей. Коментиол же тем временем прибыл в Константинополь, жителей которого обуял великий страх перед каганом. Некоторая алогичность рассказа в данном случае очевидна: почему, в самом деле, так боятся жители столицы, если войско кагана уже подверглось столь страшной болезни? Эту алогичность ощутил, видимо, и Феофан, исправивший порядок следования эпизодов у Феофилакта: сначала он рассказывает о страхе жителей, а затем уже о болезни, поразившей войско (Феоф., 279.15 след.).

Как можно было убедиться, метод компиляции Феофана — типично средневековый. Историк стремится исключить из процесса творчества всякое воображение, всякую фантазию, к которой византийцы вообще относились крайне отрицательно. Все изменения, все искажения на «выходе» — результат бессознательной или полусознательной трансформации материала оригинала, происходящей в результате воспроизведения по памяти. Многие по существу новые эпизоды оказываются построенными из старых элементов, скрепленных между собой новыми связями.

И тем не менее, анализируя литературные тексты, вряд ли можно вывести какие-либо правила без исключений. Иногда все-таки Феофан отступает от своего оригинала, руководствуясь, видимо, стремлением к созданию живой картины. Обращает на себя внимание прежде

всего его упорная тенденция переводить косвенную речь Феофилакта (и не только Феофилакта!) в прямую. Историк, который в подавляющем большинстве случаев опускает витиеватые речи персонажей, построенные по правилам риторики, краткие высказывания героев, переданные в форме косвенной речи, как правило, переводит в прямую.[13] A priori следовало бы ожидать обратного. В отдельных случаях воображение историка оживляет сухие сцены оригинала. Узурпатор Фока, по Феофану, делает вид, что хочет провозгласить Германа императором, тот, в свою очередь, притворяется, будто отказывается от императорской власти (289.4 след.). Последней детали у Феофилакта нет, но именно она придает образность всему эпизоду: оба персонажа, страстно желая власти, притворно от нее отказываются.

* * *

Хотя к «Истории войн» Прокопия Феофан обращается трижды (под 5961, 6026 и 6033 гг.), это сочинение лишь во втором случае используется достаточно широко и на значительном протяжении его хроники. Тем не менее если Феофилакт служил Феофану основным источником для изложения примерно тридцатилетней истории Византии, то весь эксцерпт из Прокопия (свыше 30 страниц в издании Де Бора — с. 186–214) занят лишь одним из двух эпизодов, приведенных под 6026 г. При этом как бы не имеет значения, что второй эпизод (а по порядку он, наоборот, первый!) рассказан всего в трех строчках... К тому же надо иметь в виду, что события, переданные Феофаном под одним годом, по его собственному исчислению, происходили приблизительно в течение 9 лет.

Только одно сообщение в целом на протяжении всего эпизода не восходит у Феофана непосредственно к Прокопию: рассказ о Велисарии, захватившем Рим и Сицилию и отправившем к Юстиниану Виттия с женой и детьми (205.24–28). В других случаях можно обнаружить лишь детали, не заимствованные из текста Прокопия. Вот главнейшие из них. Велисарий, по словам Феофана (191.29), велел префекту Архелаю и наварху Калониму приблизиться к Карфагену. В соответствующем месте Прокопия Калоним не упоминается (Procop., I, 388.5).[14] Феофан сообщает о приходе варваров (Procop., I, 514–520). Здесь можно предположить (подобно тому, как это было при компилировании Феофилакта) либо влияние другого источника, либо использование более полной рукописи Прокопия, что более вероятно. Впрочем, некоторые из «дополнительных сведений» вполне могли быть и результатом самостоятельных разъяснений хрониста или же попавших в текст маргиналий (например, что остров Сардиния

прежде именовался Кирносом — 198.16 и что полководец Соломон был евнухом — 202.7 и т. д.).

Передавая Прокопия, Феофан нередко пользуется уже описанным нами приемом: читает (слушает?) большие отрывки из текста своего оригинала, дабы затем по памяти изложить его содержание. Характерным признаком, указывающим на применение этого метода, опять-таки оказываются ошибки, аналогичные тем, которые отмечались выше. Только пересказывая по памяти, Феофан мог написать, что Велисарий велел отряду Иоанна следовать (παρακολουθεῖν — 192.11–12) за войском, хотя у Прокопия ясно говорится, что этот отряд должен был идти впереди него (Procop., I, 385.10). Только таким образом Феофан мог написать, что большинство вражеских архонтов перешло к ромеям (202.2), хотя в соответствующем месте Прокопия говорится, что все варварские начальники бежали, за исключением одного, действительно сдавшегося византийцам (Procop., I, 474.26). Ничем иным, как lapsus memoriae, нельзя, наконец, объяснить, что в эпизоде с поездкой в Сиракузы, рассказанном Прокопием, слугу товарища его детства замещает сам товарищ детства и т. д. (Феоф., 190.8; ср.: Procop., I. 374.8).

Как и при компилировании Феофилакта, мысль Феофана синтезирует детали, у Прокопия отделенные одна от другой многими страницами текста, воспроизводя верные, но не заимствованные непосредственно в первоисточнике картины. Гелимер, например, по Феофану (189.6 след.), послал на Сардинию против восставшего Годды своего брата, который и убил мятежника. В соответствующем месте «Истории» Прокопия (Procop., I, 363.25 след.) нет речи об убийстве Годды — о нем сообщается много позднее (Procop., I, 410.6)! Феофан же (предварительно прочитавший, следовательно, сочинение Прокопия!) помнит об этом факте и сообщает о нем сразу же при первом упоминании мятежника. В уже приведенном рассказе о посольстве самого Прокопия в Сицилию говорится о том, что он имел целью найти проводников в Ливию, чтобы флот мог неожиданно пристать к материку, поскольку войско опасалось морского сражения (189.28 след.). В соответствующем месте у Прокопия (Procop., I, 373.6) нет речи ни о поручении, данном Прокопию (найти проводника), ни о страхе войска перед морским сражением. Однако и то и другое взято из самого Прокопия. О страхе войска сообщалось ранее (Procop., I, 373.1), о характере же задачи Прокопия можно легко заключить по последующему описанию его действий в Сицилии. Пересказывая текст оригинала, Феофан помнит, о чем говорилось раньше, знает, о чем будет сообщено в дальнейшем, и в своем рассказе компилирует эти сведения.

Следует отметить, что таких «верно воспроизведенных» картин Феофан создал на основе текста Прокопия гораздо больше, нежели на базе повествования Феофилакта Симокатты. Первого он читает, видимо, сосредоточеннее, чем второго. В то же время, как и в случае с Феофилактом, Феофан подчас, сохраняя элементы рассказа своего оригинала, устанавливает между ними новые связи. Можно утверждать, что, склонный к паратаксису (не только в конструкции предложения, но и в самом характере мышления), Феофан предпочитает упрощать связи между элементами рассказа Прокопия. Чтобы пояснить эту мысль, приведем следующий пример. «Пуденций, — пишет Феофан, — восстал и захватил Триполи и написал Юстиниану, чтобы он отправил войско и взял город. Также и гот Годда восстал против своего господина Гелимера, овладел островом Сардинией и написал Юстиниану, чтобы прислал войско, полководца и взял остров» (188.32). В соответствующем месте у Прокопия сообщается, что Пуденций захватил Триполи, что Гелимер хотел наказать Пуденция, но ему помешало новое событие — восстание Годды (Procop., I, 359, 11 след.). Перенося на композицию эпизодов терминологию синтаксиса, Феофан заменил противительную связь оригинала сочинительной. Впрочем, не только в композиции эпизодов, но и в построении фраз Феофан довольно последовательно заменяет гипотактические конструкции паратактическими, явно предпочитая простые линейные сочленения причинным, временным, уступительным и прочим связям.[15] В этом смысле тенденция в построении отдельных эпизодов и фраз как бы дублирует основной композиционный принцип всей «Хронографии» — анналистический. Так же как события мировой истории сменяют одно другое, словно касаясь соседнего, подчиняясь лишь движению времени, отдельные эпизоды, а равно и отдельные фразы чередуются, сочленяясь посредством простого примыкания.

Эта тенденция коррелируется подчас и противоположной. Феофан не только ликвидирует связи, существовавшие в тексте его оригинала, но и создает новые, отсутствовавшие в нем. Прокопий, например, рассказывает о том, как ливийские земледельцы убивали рассеявшихся по стране ромейских воинов, а вслед за тем повествует о подвиге дорифора Диогена (Procop., I, 407.10). Связь между двумя эпизодами у Прокопия чисто хронологическая. Не так излагает этот эпизод Феофан, по рассказу которого, Велисарий, узнав о бесчинствах ливийцев, посылает на их усмирение дорифора Диогена. В ходе этой миссии Диоген и совершает свой подвиг (194.19 след.). Второй эпизод таким образом оказывается следствием первого, и сочинительная

связь — замененной консекутивной. Точно такая же замена происходит на следующей странице, где два отдельных сообщения Прокопия (Велисарий распял предателя Лаврентия и устрашил других предателей. Массагеты признались в сговоре с Гелимером) соединяются между собой союзом ὥστε (так что). И здесь сочинительная связь превращается в консекутивную (195.17).

Описанный прием, однако, отнюдь не единственный, используемый Феофаном для компилирования текста Прокопия. Во многих случаях он вытесняется другим, который удобно было бы назвать «методом текстовых блоков». Суть его заключается в том, что Феофан пересказывает не весь текст оригинала, а выбирает из него отдельные пассажи — «блоки», которые монтирует один с другим без существенных изменений. Такой метод чреват смысловыми потерями, поскольку в местах соединений часто остаются «незаделанные швы» и смысловые сбои. Вот отдельные примеры. Велисарий, по Феофану (204.3–11), покинул Карфаген и отправился в Сицилию. Узнавший об этом Юстиниан отправил в Ливию своего племянника Германа. Оба сообщения смонтированы из текста Прокопия (Procop., I, 495.14 след. + 497.1 след.). Однако будучи соединены вместе, они рождают смысл, отсутствующий в оригинале: якобы Юстиниан отправил в Ливию Германа, потому что узнал об уходе Велисария в Сицилию. На самом деле Юстиниан узнал об африканских делах, рассказ о которых у Феофана выпущен. Точно такое же искажение смысла налицо и в эпизоде, где рассказывается о Соломоне, который, «узнав об этом» (ταῦτα μαθών), быстро двинулся против варваров (206.4). Все дело в том, что у Феофана и Прокопия Соломон узнает о разных вещах. Недоразумение опять-таки происходит из-за механического монтирования «текстовых блоков».

В роли таких «блоков» чаще всего выступают фразы или их группы. Нередко, однако, Феофан монтирует между собой отдельные части, сегменты фраз, в результате чего также возникает отсутствующий в оригинале смысл.[16] Иногда вследствие столь «странного» симбиоза появляются предложения, значение которых можно выяснить, только сопоставив их с текстом оригинала.[17] Итак, во многих случаях Феофан компилирует свой текст из отдельных «блоков», фраз, а то и сегментов фраз, пользуясь при этом совершенно иным приемом, нежели тот, о котором говорилось при анализе его работы с «Историей» Феофилакта. Можно предположить, что в этих случаях Феофан не слушает, а читает текст своего оригинала. Этим, видимо, и объясняется появление ряда ошибок, возможных только при визуальном восприятии текста.[18]

Как ни различны между собой методы «пересказа по памяти» и «монтажа текстовых блоков», и здесь фантазия историка оперирует лишь готовыми элементами, сочетая их новыми, подчас неожиданными связями. Однако и здесь встречаются исключения, когда воображение Феофана дорисовывает отдельные эпизоды и сцены. Примеров таких немного, тем больше, однако, их значение. Так, вместо лаконичного сообщения Прокопия о том, что наварх Калоним «разграбил имущество карфагенских и чужеземных купцов, живших у моря», Феофан рисует более детальную картину: «Калоним разграбил суда, захватил много денег, ворвался в лавки и дома живших рядом с заливом и многих взял в плен» (193.22 след.). Степень фантазии автора бесконечно мала, если мерить ее масштабами античной или новой литературы, тем не менее сама возможность ее проявления заслуживает упоминания.

* * *

О соотношении между сочинением Феофана и «Хронографией» Иоанна Малалы судить несравненно труднее: имеющаяся в нашем распоряжении единственная оксфордская рукопись Малалы — не более как сокращенная версия, сделанная к тому же не слишком образованным и сообразительным редактором.[19] В ряде случаев «Хронография» Феофана доносит до нас более полный и лучше сохранившийся текст оригинального Малалы, нежели оксфордская рукопись его произведения. Тексты Феофана и этой рукописи подлежат сравнению скорее как два произведения, восходящие к одному источнику, нежели как непосредственно зависящие одно от другого. И тем не менее такое сопоставление необходимо для наших целей, во-первых, потому что Малала наряду с Феодором Анагностом служит Феофану источником для рассказа о многих десятилетиях византийской истории, во-вторых, потому что Малала совершенно непохож ни на Феофилакта, ни на Прокопия (это хроника средневекового характера, типологически близкая «Хронографии» Феофана), и, в-третьих, по той причине, что наряду с известными уже нам методами заимствования Феофан, перелагая Малалу, использует и несколько отличные приемы компиляции.

В разделах сочинений Феофана, так или иначе связанных с «Хронографией» Малалы, можно различить как части, в которых Малала служит основным источником, так и части, где фрагменты из Малалы оказываются вмонтированными в текст, заимствованный у других авторов (чаще всего Феодора Анагноста).

Анализ ошибок, которые допускает Феофан, перелагая Малалу, уже практически не добавляет ничего нового к сделанным ранее наблюдениям. Приведем наиболее выразительные из «промахов» Феофана. Следуя Малале, Феофан начинает рассказ о посольстве Юстиниана к персидскому царю во главе с Гермогеном и приводит — с небольшими отклонениями — соответствующее сообщение об этом Малалы (Мал., 178.27–29). Последний, однако, ничего не говорит о судьбе посольства, обрывает по своему обыкновению эпизод и переходит к следующему. Феофан же продолжает рассказ (178.30–179.14) опять-таки пассажем из Малалы, но использует при этом уже отрывок, относящийся совсем к другому времени и даже к другому посольству — во главе с Руфином (455.10 след.). Таким образом, Феофан «монтирует блоки», в результате чего соединяет два посольства в одно. Подобный «монтаж блоков» нередко, как мы помним, Феофан использовал, эксцерпируя Прокопия.

Другой пример содержит lapsus memoriae, естественный при пересказе по памяти значительных отрывков текста. Малала говорит о божьем гневе (θεομηνία), постигшем Аназарв (Мал., 418.6–8), а затем Эдесу (418.8–419.4), и при этом сообщает, что император Юстин, оказавший городу много милостей, переименовал Эдесу в Юстинополь. Феофан передает оба сообщения, однако переименование города в Юстинополь относит к Аназарву (171.14–28). Такого рода подмену деталей мы чаще всего встречали там, где Феофан перелагал Феофилакта Симокатту.[20] Таким образом, в работе над Малалой Феофан пользуется в принципе теми же приемами, что и при пересказе Феофилакта и Прокопия. И тем не менее, перелагая Малалу, Феофан столкнулся с сочинением, представляющим не целостный рассказ, пронизанный логическими и смысловыми связями, а конгломерат отдельных сообщений, лишь внешне примыкающих одно к другому. При этом (во всяком случае, в дошедшей до нас версии Малалы) большинство сообщений лишено хронологических помет, кроме самых общих — типа «в то же самое царствование» или «в то же время» (ἐν τοῖς χρόνοις τῆς αὐτοῦ βασιλείας, ἐν αὐτῷ δὲ τῷ χρόνῳ). Видимо, это обстоятельство заставляет Феофана не следовать порядку своего оригинала, как в большинстве случаев делается при передаче сочинений Феофилакта и Прокопия, а перетасовывать эпизоды-сообщения Малалы, подобно карточной колоде, по своему разумению.

Прежде всего Феофан, конечно, стремится расположить сообщения в правильном, а вернее, в кажущемся ему правильным хронологическом порядке. Тем не менее, обладая минимумом критериев для

оправданного хронологического расположения материала, он пользуется принципом, который на первый взгляд может показаться для него и вовсе неожиданным. Рассказав под 6016 г. о заступничестве Теодориха за ариан (169.19 след., рассказ восходит к Феодору Анагносту?), Феофан присоединяет обширное сообщение о преследованиях и резне, учиненной персидским царем Кавадом над манихеями (169.27–170.24). Это последнее сообщение заимствовано уже из Малалы (Мал., 444.5–19), причем Феофан резко «забегает вперед» (примерно на 38 страниц боннского издания!) и цитирует Малалу совсем не из того места, которое он передает в этой части своего труда. Что принуждает византийского хрониста привлекать столь далеко отстоящий эпизод из Малалы? Единственным оправданием тут может служить тематическое сходство эпизодов: рассказ об отношении Теодориха к арианам как бы «влечет» за собой рассказ об отношении Кавада к манихеям. Весьма знаменательно, что вслед за тем Феофан приводит сообщение Малалы (Мал., 422.14 след.) об императоре Юстине, разославшем указы, которые повелевали наказывать всех, устраивающих беспорядки и учиняющих убийства (170.24–28). Феофан совершает здесь грубейшую ошибку; сообщение Малалы, касающееся Юстиниана, он относит к Юстину. Более того, спутав Юстиниана с Юстином, Феофан утверждает, что последний взял в жены Феодору. Что же опять-таки заставляет Феофана снова перелистывать назад рукопись Малалы и при этом еще приписывать Юстину то, что «по праву принадлежит» Юстиниану? Думается, что здесь тоже играют роль тематические соображения. Рассказ о жестокой расправе Кавада над манихеями оттеняется сообщением о достойном и милосердном повелении благочестивого Юстина.

Таким образом, связь между эпизодами оказывается чем-то бóльшим, нежели простое примыкание, которое по праву считается основным композиционным методом анналиста Феофана. Явно тематические соображения играют роль и в тех нескольких случаях, когда Феофан концентрирует вместе эпизоды, заимствованные из разных разделов сочинения Малалы, а также Феодора Анагноста и Прокопия, эпизоды, которые лишены датировок, но содержат однотипные сообщения, будь то о событиях внешней или внутренней истории или, наконец, о всевозможных стихийных явлениях либо чудесах. Так, во всех эпизодах, примыкающих один к другому на протяжении Феоф., 171.14–173.1, говорится исключительно о стихийных бедствиях, Феоф., 176.17–27 — о внутренней истории, Феоф., 216.23–217.22 — о церковной истории, Феоф., 217.26–222.8 — о событиях внешнеполитических.

О «тематизме» Феофана свидетельствует, думается, и другой пассаж. Малала пишет: «В феврале десятого индикта епископ Рима Вигилий явился в Константинополь. В то же время Рим был захвачен готами» (Мал., 483.2–5). Передавая эти сообщения, Феофан меняет их местами: «В этом году Рим был взят готами и папа Вигилий явился в Константинополь» (225.12). Смысл этого небольшого изменения в следующем: Феофан, в отличие от Малалы, продолжает рассказ о папе Вигилии в Константинополе и о его взаимоотношениях с патриархом Миной и Юстинианом (225.13–28). Не касаемся сейчас вопроса, откуда Феофан заимствовал этот рассказ, — важно то, что он объединяет его в один эпизод, в то время как Малала рассеял его по трем разным местам.

Итак, перелагая Малалу, Феофан гораздо чаще, чем в других случаях, пользуется методом, который можно сравнить с приемами мозаичиста, прилаживающего один к другому кубики, взятые из более древней композиции. Метод мозаичиста, подчас с большой виртуозностью, Феофан особенно часто применяет в местах «стыков» источников, излагая историю эпохи, для которой в его распоряжении находилось не одно, а два и более исторических сочинения (чаще всего это случается там, где он кончает пользоваться каким-то источником, обращается к новому, но еще не переходит на него полностью). Этот же метод хронист применяет и там, где хочет изложить то или иное событие с наибольшей полнотой. Покажем это на примере рассказа Феофана о знаменитом восстании Ника (Феоф., 181.24–186.2).

Пересказывая Малалу и не найдя у него достаточно подробного рассказа о восстании, Феофан обращается к другой имеющейся в его распоряжении рукописи и выписывает из нее — весьма близко к тексту — содержащееся там сообщение о восстании Ника.[21] Не удовлетворившись, однако, краткостью и этого сообщения, он привлекает третье сочинение — «Пасхальную хронику» и начинает уже подробно повествовать о том же восстании. При этом Феофан рассказывает о распре на ипподроме (знаменитые «Акты Каллоподия») значительно более полно, чем она изложена в «Пасхальной хронике» (см.: Феоф., 181.32–184.2 = Пасх. хр., 620.4–13).[22]

Не ограничившись описанием народного возмущения на ипподроме («Акты Каллоподия») как повода к восстанию и дальнейшему «бесчинству черни», Феофан приводит и другую причину — он передает эпизод с двумя приготовленными к повешению зачинщиками, упавшими с виселицы и пытавшимися спастись в церкви св. Лаврентия. Отказ эпарха гарантировать спасенным безопасность вызывает возмущение народа (Феоф., 184.3–14). Феофан использует для этого рассказа «Хронику» Малалы, которую, было, оставил, обратившись к повествованию о восстании (Мал., 473.12 след.). После этого он вновь возвращается к «Пасхальной хронике» и уже по ней повествует о дальнейшем ходе восстания. Таким образом, рассказ о восстании Ника оказался составленным из четырех «блоков», заимствованных из трех разных источников, причем Феофан не правит один источник по другому, а берет из каждого готовые сообщения, нисколько не смущаясь тем, что подчас дважды (конечно, по разным авторам) повествует об одних и тех же событиях.[23]

* * *

Пересказывая Георгия Писиду (Феоф., 303.17–306.8 = Georg. Pis., pp. 17.139–41.297),[24] Феофан демонстрирует все отмеченные уже методы переработки источников. Поэтому детальное сравнение текстов оригинала и «Хронографии» Феофана вряд ли может добавить существенные штрихи к уже нарисованной картине. Чаще всего Феофан по памяти пересказывает сочинение Георгия Писиды, как всегда смещая в этом случае и по-новому комбинируя детали. Иногда, однако, он прибегает и к методу соединения «текстовых блоков», компонуя отдельные фразы из своего оригинала в новом смысловом контексте (см.: Феоф., 303.17 след.). Как и в остальных случаях, Феофан почти не правит текст Георгия Писиды по другим источникам, но, пользуясь «методом мозаичиста», комбинирует блоки из разных авторов. Применение данного метода приводит к тому, что Феофан дважды по разным источникам рассказывает об одном и том же событии. Пример — дважды повторенный рассказ об учениях, которые устроил своему войску император Ираклий. Впервые о них Феофан рассказывает по какому-то неизвестному нам источнику (Феоф., 303.12–17), вторично — уже с привлечением Георгия Писиды (Феоф., 304.3–11).[25]

Подводя итоги, заметим, что методы переработки Феофаном своих источников разнообразнее, чем это может показаться с первого взгляда. Собственно говоря, речь должна идти о трех главных способах, используемых византийским хронистом.

1. Феофан пересказывает по памяти и потому своими словами большие отрывки текста, нередко устанавливая новые связи между верно сохраненными деталями. К этому способу он чаще всего прибегает при переработке «Истории» Феофилакта Симокатты.

2. Феофан соединяет между собой отдельные «текстовые блоки» оригинала, выпуская соединяющие их пассажи; в результате такой операции нередко образуются новые логические и смысловые сочле-

нения между блоками. Этот метод чаще всего применяется при переработке текста Прокопия.

3. Феофан в совершенно новом порядке, по «методу мозаичиста», монтирует «текстовые блоки» из произведений одного, двух и более авторов. Этот метод чаще всего встречается при пересказе «Хронографии» Иоанна Малалы или в тех, не столь уж частых, случаях, когда события излагаются по двум и более источникам.

Историку, добывающему исторические факты из тех пассажей «Хронографии» Феофана, источники которых не сохранились, надо постоянно иметь в виду перечисленные особенности. Исторический факт, верная деталь могут быть поставлены Феофаном в совершенно иной логический, смысловой и хронологический контекст.

Промахи хрониста, не переставая быть обыкновенными ошибками не слишком внимательного компилятора, свидетельствуют одновременно о специфическом механизме мышления средневекового автора, в конечном счете отражающем особенности его исторического и литературного метода. Характеризуя последний, приходится учитывать, что Феофан не столь однозначен, как это может представиться при первом чтении. Композиция «Хронографии» в принципе атематична, и в то же время элементарное примыкание эпизодов сочетается в ней с их тематической группировкой. Феофан, как правило, стремится следовать оригиналу, однако это стремление не всегда распространяется на связи между эпизодами. Верность передачи факта и детали сочетается с некоторой долей фантазии в их группировке. Заданность метода, свойственная почти любому средневековому писателю, ослабляется индивидуальными писательскими приемами, строгость правила смягчается большим числом исключений.

Феофан — принципиальный систематизатор и системосозидатель. Различие версий одних и тех же исторических событий, противоречия в свидетельствах различных источников для него как бы не существуют или, во всяком случае, остаются за скобками его повествования. Принятая им версия должна молчаливо восприниматься в качестве единственно возможной.

В этом смысле приемы работы Феофана прямо противоположны методу святочтимого им его учителя Георгия Синкелла. Тот — историк, беспокойно ищущий истину (если, конечно, не ошибочно первое впечатление современного исследователя от этого очень мало-изученного писателя). Он постоянно делает выписки из произведений разных хронистов, повествующих об одних и тех же событиях, отказываясь сводить воедино противоречивые свидетельства. Обращаясь к различным источникам и заново рассматривая одни и те же

исторические или легендарные факты, Георгий Синкелл подчас приходит к взаимоисключающим выводам, которые нередко сосуществуют в его сочинении, так и оставшемся без окончательного редактирования.[26]

В отличие от Георгия Синкелла, Феофану «все ясно», его не посещают сомнения и колебания, он безусловен и категоричен, его версия событий как бы должна молчаливо признаваться единственно справедливой и правильной, однако картина истории, рисуемая Феофаном, типично «средневековая». Средневековому художнику целое всегда представляется в виде суммы деталей, связь между которыми может осуществляться лишь в некоей высшей сфере и не должна выражаться наглядно и зримо. Агиограф или энкомиаст, рисуя образ своего героя, нанизывает на одну нить (по принципу «ожерелья») звенья его подвигов. Историк или биограф перечисляет качества изображаемого им персонажа, которые так же свободно примыкают одно к другому, как исторические факты в сочинении хрониста-анналиста (характернейший пример — так называемые соматопсихограммы у Иоанна Малалы). Средневековый автор экфразы, описывая произведение искусства, не стремится передать целостное впечатление, а скрупулезно перечисляет составляющие его детали. Не потому ли и Феофан, сохраняя детали и факты из сочинений-источников, часто опускает их сочленения или даже устанавливает новые, произвольные связи?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Чичуров И. С.* Феофан — компилятор Феофилакта Симокатты // Античная древность и средние века. 1973. 10; *Он же.* Феофан Исповедник — компилятор Прокопия // ВВ. 1976. 37. Наиболее полно аргументация И. С. Чичурова представлена в монографии: *Чичуров И. С.* Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской исторической традиции (IV–начало IX в.) // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1981 год. М., 1983. С. 41 след. Близка к позиции И. С. Чичурова и точка зрения Дж. Фербера (Theophanes' Account of the Reign of Heraclius // Byzantine Papers. Australian Association for Byzantine Studies I. Canberra, 1981. P. 33 sq.). Австралийский ученый не упоминает и, видимо, не знает исследований И. С. Чичурова.

[2] *C. Mango.* Books in the Byzantine Empire, A. D. 750–850. In: Byzantine Books and Bookmen. Washington, 1975. P. 36. n 30. Ср.: *Mango C.* Who Wrote the Chronicle of Theophanes // ЗРВИ. 1978. 18. P. 9 sq. Простого

переписчика предшествующих историков видят в Феофане П. Шпек (*Speck D.* Kaiser Konstantin VI. Die Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigener Herrschaft. München, 1978. Bd. 1. S. 423), а также многие другие исследователи.

[3] См.: *Бибиков М.* Творческий мир византийской литературы // Вопросы литературы. 1982. № 1. С. 260 след.

[4] Феофан цитируется нами по изд.: *Theophanis* Chronographia / Rec. C. de Boor. Lipsiae, 1883. (Далее: *Феоф.*), Феофилакт Симокатта — по изд.: *Theophylacti Simocattae* historiae / Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1887. (Далее: *Симок.*).

[5] Проблему «других источников» впервые поставил еще в конце прошлого столетия О. Адамек, ряд выводов которого и поныне не потерял своего значения (*Adamek O.* Beiträge zur Geschichte des Byzantinischen Kaisers Mauricius. — Bericht d. Gymn. Graz, 1890). Автор настоящей статьи исследовал материал, еще не будучи знаком со статьей О. Адамека, тем не менее его выводы во многом совпали с заключениями австрийского ученого. В какой-то степени подобные совпадения — критерий объективности полученных результатов.

[6] См.: *Freund A.* Beiträge zur Antiochenischen und zur Konstantinopolitanischen Stadtchronik. Diss. Jena, 1882.

[7] Цит. по изд.: *Ioannis Malalae* chronographia / Rec. L. Dindorf. Bonn, 1831. (Далее: *Мал.*).

[8] *Adamek O.* Op. cit. S. 12 ff.

[9] Стратиг императора Маврикия именуется у Феофана Архелаем (247.13). У Феофилакта это Акакий, сын Архелая (*Симок.*, 131.21). Прежний стратиг того же царя у Феофана зовется Мартином (245.25), у Феофилакта — Маркианом (*Симок.*, 129.23). Гудуин захватил, по Феофану, двух опьяненных варваров (277.24), по Феофилакту же, их было трое (*Симок.*, 265.27). Войско, согласно Феофану (260.10), вышло навстречу Приску на две, согласно же Феофилакту, — на три мили (*Симок.*, 110.39). Ромеи убили, по Феофану (282.3), восемь, а не девять, как у Феофилакта (*Симок.*, 287.14), тысяч варваров и т. д.

[10] В этом эпизоде (как, впрочем, и в ряде других), помимо временнóго смещения, можно видеть также и географическую переориентацию событий. Так, по Феофану, все они происходят в месте высадки императора, т. е. в Даонии, между тем как, по Феофилакту, события эти случаются в разных местах по пути следования царя. О географических ошибках и неточностях Феофана подробно см.: *Чичуров И.* Феофан Исповедник — компилятор Прокопия. С. 64 след.

[11] Впрочем, с приведенным эпизодом не все так просто. В его описании у Феофана появляются детали, отсутствующие у Феофилакта. Помимо возвращения Приска, это датировка возобновления военных действий с каганом мартом 3 индикта, а также приход Приска к Сингидону (278.13–14). Не взяты ли все эти сведения из другого источника?

[12] ἐστρατολόγει τε καὶ πλήθη μαχίμον (*Симок.*, 134.9–10). С. П. Кондратьев в данном случае даже употребляет в русском переводе слово «одновременно», отсутствующее в оригинале, но вполне оправданное контекстом (*Феофилакт Симокатта.* История. М., 1957. С. 85).

[13] Из весьма многочисленных примеров приведем только несколько: *Феоф.*, 267.10 след.; 270.26 след.; 275.19 след.; 276.27 след.; 288.1 след.

[14] Сочинения Прокопия цит. по изд.: *Procopii Caesarensis* opera omnia / Rec. J. Haury. Lipsiae, 1905. V. I, II.

[15] Прокопий пишет: «Если бы Велисарий так не выстроил войско, велев воинам Иоанна двигаться впереди, а массагетам идти справа, мы не смогли бы избежать вандалов» (*Procop.*, I, 389.2 след.). Вместо условной конструкции у Феофана — простое сообщение о том, что Велисарий велел Иоанну двигаться впереди, а массагетам идти справа (*Феоф.*, 192.6 след.). Нельзя не отметить обычного для Феофана приема, когда передается только мысль, содержащаяся в придаточном предложении, и опускается заключенная в главном.

[16] Так, фраза Феофана ἐπεὶ δὲ οἱ φύλακες τὴν τοῦ Γονθάριδος τελευτὴν ἔμαθρν, Ἰουστινιανὸν ἀνεβόων καλλίνικον βασιλέα (215.9–10) скомпонована из двух частей разных предложений Прокопия: ἐπεὶ δὲ οἱ φύλακες τὴν Γονθάριδος τελευτὴν ἔμαθον, συνετάσσοντο τοῖς Ἀρμενίοις (*Procop.*, I, 550. 10 след.) и ξυμφρονήσαντες τοίνυν αυτίκα Ἰουστινιανὸν ἀνεβόων καλλίνικον (I, 550.13).

[17] См.: *Theoph.*, 195.8–11: ὁ δὲ Γελίμερ παραλαβὼν ἀμφοτέρους ἐπὶ Καρχηδόνα ἐχώρει καὶ ταύτην πολιορκεῖν ἐπειρᾶτο οἰόμενος τοὺς ἐν Καρχηδόνι προδιδόναι αὐτῷ τὴν πόλιν, καὶ Ῥωμαίων στρατιωτῶν οἷς ἡ τοῦ Ἀρείου δόξα ἤσκητο. Грамматическая связь καὶ Ῥωμαίων στρατιωτῶν οἷς ... с остальным предложением тут совершенно непонятна. Дело разъясняет соответствующая фраза Прокопия (*Procop.*, I, 419.10 след.): ... καὶ προδοσίαν τινὰ ἔσεσθαι σφίσιν ἐν ἐλπίδι εἶχον Καρχηδονίων τε αὐτῶν καὶ Ῥωμαίων στρατιωτῶν, ὅσοις ἡ τοῦ Ἀρείου δόξα ἤσκητο.

[18] χρῆμα у Прокопия (381.7) превращается у Феофана в χάσμα (190.18), ἄλμη (390.11) — в ἀλκή (192.18), ἀλκή (541.23) — в κάλλος (213.19) и т. д. Отдельные из этих погрешностей могли возникнуть, конечно, в результате невнимательности переписчика.

[19] Приведем, видимо, самый уничижительный отзыв об авторе этой дошедшей до нас версии: «В сочинении Малалы мы видим лишь отражение некоего много выше его стоящего труда, который бессмысленно сокращал совершенно необразованный и лишенный здравого смысла человек» (*Gleye G.* Ein Beitrag zur Charakteristik des Malaswerkes // Pädagogische Anzeiger für Rußland. 1912. N 6. S. 362).

[20] Не следует думать, что все изменения оригинала у Феофана непременно «порча», «искажения» и т. п. Можно привести случаи, особенно в разделах, где перелагается столь неточное и сумбурное по содержанию произведение, как «Хронография» Малалы, когда оригинал не только

не «портится», но, напротив, исправляется. Так, во многих местах, в том числе и в только что цитированном отрывке о посольстве Гермогена к персидскому царю, имя Кавада заменяется — и заменяется совершенно верно — на Хосроя. Кавада ко времени описываемых событий уже не было в живых! Можно указать и на другие случаи сознательного исправления текста. Например, по Феофану, беспорядки венетов начались в Антиохии (*Феоф.*, 166.26), в то время как Малала в этом же контексте пишет о Константинополе (*Мал.*, 416.6).

[21] Сообщение это дошло до нас в: Anecdota graeca e codd. manuscriptis bibliothecae regiae parisiensis / Ed. J. Cramer. 1839. II. P. 112.19–27. Данный отрывок сохранился в числе хроникальных заметок, приложенных в парижской рукописи к «церковно-историческому эпитоме» Феодора Анагноста.

[22] Пасхальную хронику цит. по изд.: Chronicon Paschale / Ed. L. Dindorf. Bonnae, 1832, I. Можно думать, что в дошедшей до нас рукописи этой хроники «Акты Каллоподия» сокращены; Феофан же пользовался рукописью, в которой они содержались в полном виде.

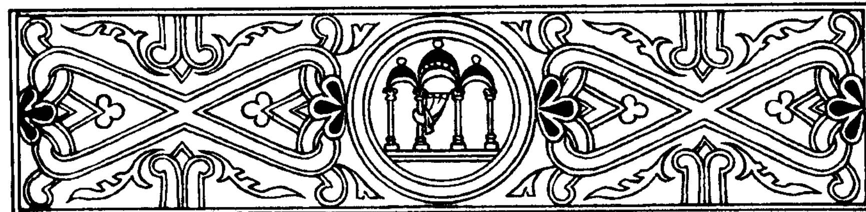
[23] Например, о том, как толпа спалила ксенодохий Σαμψών, сообщается *Феоф.*, 181.28 (по «Эпитоме») и *Феоф.*, 184.25 (по «Пасхальной хронике»).

[24] Георгия Писиду цит. по изд.: *Georgii Pisidae* Expeditio persica, Bellum avaricum, Heraclias / Rec. I. Bekkerus. Bonn, 1836.

[25] Многочисленные пассажи заимствованы также Феофаном из эпитомы «Церковной истории» Феодора Анагноста. Сравнение обоих текстов не прибавляет ничего существенного к сделанным выводам. Приведем лишь характеристику метода Феофана, данную издателем Феодора Анагноста Г. Ханзеном: «Способ использования (текста Феодора Анагноста. — *Я. Л.*) — не рабский. В отличие от многих поздних хронографов Феофан цитирует не буквально, а производит стилистические изменения, сокращения, перестановки. Встречаются также смещения и неточности» (*Theodoros Anagnostes.* Kirchengeschichte / Ed. G. Ch. Hansen. Berlin, 1971. S. XXIX).

[26] Весьма интересная историко-литературная характеристика сочинения Георгия Синкелла содержится в единственной, по сути дела, статье, посвященной его творчеству. См.: *Lagueur J.* Synkellos // RE, 2. R., 8. Hbd., s. v. . О противоположности метода Феофана и Георгия Синкелла см.: *Чичуров И. С.* Феофан Исповедник — публикатор, редактор, автор? (В связи со статьей К. Манго) // ВВ. 1981. 42. С. 85 след.





ЗАМЕЧАНИЯ О НИКОЛАЕ МИСТИКЕ В СВЯЗИ С ИЗДАНИЕМ ЕГО СОЧИНЕНИЙ *

С перерывом в восемь лет вышли два тома сочинений константинопольского патриарха Николая I Мистика. Первый том содержит письма патриарха, второй — прочие его произведения. Сочинения Николая Мистика изданы с завидной полнотой. Так, в сборник писем вошли не только те, что были опубликованы в свое время А. Маи, а затем перепечатаны в Патрологии Миня,[1] но и изданные еще в XVIII в. П. Лазери,[2] а также группа посланий, приписываемых магистру Симеону, но атрибутированных исследователями Николаю. Еще большей полнотой отличается второй том, где нашли себе место, помимо прочих сочинений, сохранившееся лишь в армянской версии письмо Католикосу Армении, так называемый «Трактат о тетрагамии», дошедший лишь в извлечениях и цитации Арефы, явно фиктивное письмо Николая мятежному Андронику Дуке, а также и некоторые из канонов, приписываемых патриарху. «Том единения» опубликован во всех своих частях, хотя многие из них — позднейшие вставки и добавления. Вопрос об авторстве подробно

* Опубликовано в сб. «Византийский временник», 47 (1986), 101–108. Статья была написана в связи с появлением книги: Nicholas I. Patriarch of Constantinople. Letters / Greek Text and English Transl. by R. J. H. Jenkins, L. G. Westerink // Dumbarton Oaks Texts. Washington, 1973, II; Niholas I. Patriarch of Constantinople. Miscellaneous Writings / Greek Text and English Transl. by L. G. Westerink // Dumbarton Oaks Texts. Washington, 1981, IV. Николаю Мистику посвящена кандидатская диссертация С. Н. Малахова, см. *Малахов С. Н.* Политическая идеология и социально-этические представления общества в конце IX — первой четверти X века по письмам Николая Мистика: автореферат. Екатеринбург, 1993.

разбирается во вступительной статье ко второму тому. Как в первом, так и во втором томе кратко, но весьма содержательно излагается рукописная традиция сочинений. Для издания, как и подобает в такого рода публикациях, использованы все доступные авторам рукописи. Введение, излагающее основные этапы жизни Николая, приложенные в конце обоих томов лаконичные резюме сочинений, а также краткие рассуждения об их датировке и адресатах, детальные индексы весьма облегчают пользование изданием.

Таким образом, впервые в распоряжении исследователей оказалось хорошо изданное собрание всех сочинений знаменитого патриарха, и это дает весьма редкую для византинистов возможность не только привлечь для целей своей работы то или иное произведение патриарха, но изучить их в целом и даже попытаться воссоздать образ автора.

Основная часть наследия патриарха — его письма. Византийская эпистолография давно изучается как исторический источник (ее недостатки в этом отношении хорошо известны), как риторический жанр (набор клише византийских писем детально расписан и систематизирован), однако весьма редко византийские письма рассматривались как человеческий документ. Допускалась, конечно, с многочисленными оговорками мысль, что в византийской эпистоле проявляются те или иные авторские черты, однако частное, индивидуальное, по общему признанию, тонет в обилии общих мест и, как категорически выразился современный ученый, «по письменным источникам мы можем судить скорее не об объеме чувств и мыслей, а о степени образованности отдельных представителей византийского, как правило, привилегированного общества». Знакомство с корреспонденцией патриарха Николая в сочетании с другими его сочинениями, тоже подвергавшимися значительному влиянию риторики, на первый взгляд подтверждает этот малоутешительный вывод. Почти весь набор хорошо известных клише представлен в его переписке. Письма пестрят уверениями в дружбе — φιλία, ἀγάπη. Воспоминания о старой дружбе и общении вливают в душу сладость (174.3).[3] Дары вдвойне сладостны, если они исходят от друга (168.2). Дружба может возникнуть даже на расстоянии, «заочно», по одной только молве о добродетели человека (45.1 и след.). Еще большее место занимает мотив «духовного единения». Духовная беседа (πνευματικὴ συνομιλία) проливает в душу еще большую сладость и ведет к еще большему единению, нежели беседа «телесная» (т. е. личные контакты) (см. 63.1 и след.; 118.1 и след.; 148.1 и след.). Сладостная беседа в письмах ведет к духовному единению (172.2 и след.) и т. д.[4]

В какой-то степени клишированы не только мотивы писем, но и их композиция. В большинстве случаев послание Николая начинается с утверждения некоей общей мысли, за которой следует реальное сообщение, просьба, рекомендация и т. п.[5] Не говорит ли это об особенностях сознания византийцев, для которых частность и деталь всегда представлялись подчиненными чему-то общезначимому и непреходящему?

Невелика и историческая информативность писем и других сочинений (за некоторыми исключениями, вроде письма № 32 — лучшего нашего источника по истории спора о тетрагамии). Иногда осторожный патриарх опасался передавать сообщения в письмах, поскольку они могли быть, видимо, перехвачены и использованы против него (133.50 и след.). В других случаях информацию устно передавал надежный письмоносец (71.1 и след.). Отдельные письма вообще носят чисто этикетный характер, в иных — о деле вообще не говорится ни слова, зато содержатся обширные рассуждения и наставления «по поводу». Лишь некоторые послания содержат ценные бытовые детали, восполняющие наши представления о «ежедневной» жизни византийцев. Так, некий Павел, принявший постриг, не прекратил отношений с женой (Николай спрашивает, насколько верен дошедший до него слух. — 140). Какая-то вдова основала после смерти мужа монастырь вблизи его могилы и живет там, вероятно, в качестве игуменьи, но подвергается преследованиям местного епископа (Николай просит патрского митрополита восстановить справедливость. — 43). Таких посланий, однако, очень немного. Сказанное вовсе не означает, что письма Николая казались бессодержательными их адресатам. Наличие или даже отсутствие этикетных формул свидетельствовало об отношении к ним патриарха, глухие для нас намеки тысячелетие назад звучали вполне отчетливо. Не случайно в этом отношении, что даже современным издателям удается датировать отдельные письма по содержащимся в них намекам с месячной точностью.

На первый взгляд столь же маловыразительна и стилизована личность самого автора. Говоря современным языком, в письмах Николая Мистика очень велика «избыточная информация» и до минимума сведен момент неожиданности. Реакции эпистолографа как бы заранее запрограммированы, и большей частью можно с уверенностью предполагать, что́ он напишет в той или иной возникающей ситуации, как откликнется на то или иное событие или сообщение. Поведение и эмоциональные реакции Николая предопределены нормами христианской морали: он всегда предложит уповать на Бога,

будет проповедовать долготерпение и милосердие и рекомендовать предпочесть награду в будущей жизни преходящим радостям посюстороннего бытия. Не менее стандартной является и форма выражения Николаем своих чувств. Как и все византийцы, он легко впадает в экстаз, рыдает, лишается дара речи (47.4 и след.; 48.4 и др.). Точно такую же «стандартную» реакцию мы встречаем и в единственной дошедшей до нас гомилии на падение Фессалоники, произнесенной патриархом с амвона Св. Софии в августе 904 г. (192). Захват города арабами объясняется божьей карой за множество прегрешений византийцев. Зависящая от жанра клишированность этого сочинения ярко проявляется при сравнении его с посвященным этому же событию произведением Иоанна Камениаты.

И тем не менее было бы, во всяком случае, поспешно даже сравнивать клишированные формулы (в широком смысле) византийских писем с мало что значащими, но обязательными фразами современной официальной корреспонденции. Византийские «стандарты» — не только удобные заимствования из античных письмовников и расхожей морали, но и выражение стиля жизни и мироощущения византийцев. Это те модели, по которым не только пишут, но и стараются жить византийцы.

Более или менее внимательное чтение писем Николая Мистика убеждает в том, что личностное начало выражено в них достаточно определенно. Письма Николая преследуют разные цели. Николай постоянно кого-то рекомендует и за кого-то просит: освободить от службы в войске (169), содействовать в делах сардскому митрополиту (180), освободить от солдатского постоя вдову его брата (170), не облагать новыми налогами поставщиков капусты столичного храма (152) и т. д. Большинство писем этой серии построено по одному принципу. Эпистолограф выражает уверенность, что для добрых дел адресат не нуждается в напоминаниях со стороны (τῆς ἔξωθεν παραινέσεως), но затем все-таки формулирует свою просьбу. Подчас патриарх гневно одергивает адресата. Так, Лев Силейский не оправдал надежд Николая: монахи, клирики и миряне жалуются на него непрерывно, Николай строго наказывает прекратить безобразия (117). Протасикрит Константин сместил назначенного патриархом архиепископа Неаполя: «Смотри, что делаешь... вечному суду обрекаю сотворившего сие», — не скрывает своего крайнего раздражения патриарх (146.9 и след.). Некий молодой не названный по имени правитель проявляет жестокость. «Не пренебрегай нами и не воображай, будто если ты юн, то по юности своей можешь воспарить в небо, — склюет тебя там птица», — заканчивает послание разозлившийся патриарх (165.25). Обращает на себя внимание старческое раздражение юношеской строптивостью (ср. 106, 166), а также нестандартный образ птицы, клюющей воспарившего в небо наглеца.

Подчас Николай выступает в роли утешителя. Наиболее впечатляющие из этого рода посланий — письмо Роману Лакапину по поводу смерти его жены (156). Конечно, и здесь хорошо известные утешения: Бог справедлив и ведает, что творит. Но каким изящным доказательством подкрепляет Николай хорошо известный тезис: если кому-то суждено остаться одному и в одиночестве нести горестное бремя, то уж пусть лучше это будет сильный мужчина, нежели слабая женщина (159.6 и след.).

Эти и многие другие «типы» писем без труда можно свести к перечисленным уже в античных письмовниках разрядам, однако подобное «сведение» мало чему может помочь, ведь приведенные Деметрием Фалерским и его последователями «типы» писем (в одном случае их число доходит до сорока одного!) практически охватывают все возможные эпистолярные случаи!

Письма Николая Мистика представляют их автора в различных жизненных ситуациях. Чаще всего патриарх теснимнесчастиями и чуть ли не находится на краю пропасти (пристрастие византийских эпистолографов к тому, чтобы любоваться своими горестями, хорошо известно). Николай живет в аду и чувствует себя даже хуже, чем его обитатели, ведь среди последних нет ни ссор, ни зависти, ни заговоров (133.29 и след.). «Я жив и не жив (ζῶμεν οὐ ξῶντες), не радуют меня солнечные лучи, и лучше мне было бы быть среди мертвецов» (138.8 и след.). Здоровье патриарха оставляет желать лучшего, мотив приближающейся смерти постоянно мелькает в письмах (57, 104, 109, 10).

Лишь изредка в письмах предстает перед нами благополучный патриарх, как правило, очень осторожно сообщающий о своем «благополучии»: «Ныне же, если в жизни можно говорить о чем-то лучшем, я пока нахожусь в лучшем состоянии» (154.5). Порой Николай Мистик считает возможным и пошутить, хотя его шутки вряд ли способны рассмешить современного читателя. Впрочем, они придают теплоту образу сурового патриарха и доставляют нам не частые образцы византийского юмора. Так, протоспафарий Лев, судья Пафлагонии, прислал патриарху в подарок овечий сыр. «Как можешь ты, судья, призванный карать за воровство, обворовывать овец?» — вопрошает Николай (127.7). Человеку, приславшему ему в большом количестве плоды из своего имения, Николай пишет: «Не знаю уж, то ли это начатки, то ли бóльшая часть, то ли весь урожай в целом» (168.10 и след.).

Разные типы писем и другие документы, вышедшие из-под пера патриарха, разные ситуации, в которых они пишутся, позволяют представить себе в общих чертах и самого автора. Попробуем выделить черты его «характера» и посмотрим, насколько складываются они в цельный образ. Прежде всего, патриарха отличает необыкновенное упорство в преследовании цели (сам Николай хвалит эту черту характера — εὐσταθὴς τρόπος — 136.1). Знаменателен в этом отношении, пожалуй, самый обширный цикл всей переписки — послание болгарскому царю Симеону. Отвлекаясь от конкретной политической подоплеки этих писем, можно утверждать, что лейтмотивом их служит идея мира. О мире просит Николай Симеона, за его нарушение грозит божьей карой, прелести мира расписывает, ужасами войны пугает. Николай увещевает, упрекает, униженно молит, наконец, Симеона. Этот цикл (разумеется, в переводе) вполне мог бы быть издан в популярном издании как один из интереснейших образцов «литературы в борьбе за мир» прошлых веков. Не менее упорен Николай и в других вопросах: борьбе с евфимианами, стремлении к единению церкви и т. д.

Упорство Николая в преследовании целей сочетается, однако, с гибкостью и приспособлением к ситуации, переходящими в своеобразный средневековый оппортунизм, возводимый им в принцип жизни и поведения. Со злом нужно бороться только в том случае, если это возможно, увещевает Николай аланского архиепископа (133.61), — в противном случае надо стараться не допустить лишь его распространения. В письме, видимо, к тому же адресату Николай уточняет свою позицию: надо действовать мягко и постепенно, проявлять максимум терпения, особенно если речь идет о представителях высшего класса (52.83).

Адресат другого письма (125), видимо, пожаловался Николаю на какие-то неурядицы. Что же делать, как не сносить все кротко и по возможности с умом применяться к обстоятельствам (τοῖς πράγμασιν συναρμόζεσθαι)! Ничего нельзя поправить сразу (ἐξ ἑτοίμου). Так повелось с давних пор и существует поныне. Таковы не только советы Николая, но и линия его собственного поведения. «Император против нас, — сообщает он Александру Никейскому, — что же нам остается делать в этих обстоятельствах, если, конечно, мы не предаем божью церковь» (71.10 и след.).[6] Впрочем, и это последнее условие отнюдь не всегда строго соблюдается Николаем: в трех письмах блюститель церкви и веры настаивает на налогах, которые церкви обязаны выплачивать государству. И наконец истинной декларацией оппортунизма звучат слова из послания 113: «Хороший кормчий с умом

старается избежать волн, готовых поглотить его, и не станет направлять судно на те, что могут его потопить. Врач, заботящийся о спасении больного, если нельзя того излечить полностью, старается облегчить болезнь...» (113.1 и след.).

Приведенные рассуждения весьма интересны. Византийская история дает нам примеры различных этических позиций ее деятелей: от несгибаемой жесткости и непримиримости до гибкости и терпимости (логическим продолжением которой подчас оказываются полная беспринципность и приспособленчество). Открытым выражением этой контроверзы является в XI в. конфликт между Пселлом и Михаилом Кирулярием. Последний (тоже патриарх) в этом случае занимает противоположную Николаю позицию.[7] Обращаясь к более близкой эпохе, напомним, что «терпимостью», несомненно, отличался и учитель Николая, глубоко почитаемый им патриарх Фотий,[8] напротив, Игнатий и Евфимий, по-видимому, были ригористами.

Можно предполагать, что «оппортунизм» чаще всего оказывается не изолированным качеством, а родовой чертой византийской интеллигенции, деталью мировоззренческого и этического комплекса, признаки которого обнаруживаются и у Николая. В их числе снисходительность к человеческим слабостям, которые заслуживают прощения (οἷα πολλὰ τὰ ἀνθρώπινα — весьма частая оговорка Николая, извинение «человеческого в человеке», см., например, 62.15), прощение, во всяком случае внешнее, обид (см. 83.7 и др.). Впрочем, проблема не столь проста, как это кажется с первого взгляда. В реальном своем поведении Николай отнюдь не всегда проявлял ту гибкость, которую проповедовал в письмах. Свидетельства тому — некоторые документы, вышедшие из-под пера патриарха, в которых отражаются перипетии и накал политической борьбы и интриг того времени. В известном документе (197), зачитанном по его приказу в мае 912 г. на синоде, собравшемся в катихумениях Св. Софии,[9] Николай обрушивает всю мощь своей риторики на поверженных уже противников — четырех митрополитов, при этом дважды говорит о «справедливой ненависти», которую навлекают на себя эти священнослужители.

Та же нетерпимость проявляется и в «Трактате о тетрагамии», сохранившемся в цитации Арефы: «А тем, кто утверждает, что не следует быть строгим к раз отступившемуся, скажем: из-за одного греха пришла в мир смерть, и не дал пощады Создатель из-за падения одного, но предал смерти» (199, XXVII). Сострадание (συμπάθεια), по Николаю, имеет значение не само по себе, а лишь в зависимости от его цели. Приемлемо лишь сострадание «ради Бога» (διὰ θεόν),

в ином случае оно достойно осуждения (κατάκριτός) (199, XXV). Таким образом, гуманному христианскому чувству как бы придается внеположенная ему цель — Бог, воля которого, конечно, определяется его земными наместниками. При такой «конкретизации» гуманизм очень легко превращается в свою противоположность. Точно таким же образом подвергается ограничению и «согласие» (συμφωνία), которое хорошо, лишь когда служит благой цели (48, XX). Столь ригорическая позиция Николая ведет непосредственно к практическим выводам. Как известно, патриарх без снисхождения осуждал «человеческую слабость» императора Льва. В связи с этим в том же «Трактате о тетрагамии» Николай с явной иронией по отношению к «человеколюбцам» заявляет: «Многие женатые мужчины не любят собственных жен и пылают страстью к другим женщинам, что же мешает “человеколюбивым этим законодателям” сочетать браком этих “пылающих” одновременно с несколькими женщинами?» (199, XXIV).

Нетрудно видеть, что в документах, отражающих позицию Николая в политических интригах своего времени, патриарх предстает в несколько ином виде, нежели в корреспонденции. Вряд ли объяснения надо искать в лицемерии или притворстве Николая. В жизненных перипетиях человеку, а тем паче государственному или церковному деятелю не так легко бывает сохранить даже вполне сознательно и искренне избранную им позицию. Вновь обратившись к Михаилу Пселлу, напомним, что этот один из самых просвещенных, терпимых и гибких византийцев в борьбе с Михаилом Кируларием не стеснялся приводить доводы, достойные заправского мракобеса.

По-видимому, к «комплексу интеллектуала» относится также признание человеческой активности, наряду с божественным провидением, причиной движения событий. Весьма четко эта концепция выражена в цитированном «Трактате о тетрагамии»: «Границы человеческой жизни не определяются необходимостью (ἀνάγκη), то есть судьбой, как у эллинов (ὡς ἡ τῶν Ἑλλήνων εἱμαρμένη), но зависят и от Создателя, и от свободной воли каждого из нас (τὴν ἑκάστου ἡμῶν προαίρεσιν), как это случилось с самого начала с первозданными...» (199, XXII). В принципе это утверждение вполне согласуется с христианской доктриной в ее восточном варианте, однако такое сопоставление «на равных» божественной воли и свободного человеческого выбора встречается не часто. Выраженная концепция — не только умозрительная теория Николая, но и этическая позиция. Весьма знаменательные рассуждения по этому поводу содержатся в письме, где Николай возражает тем, кто утверждает, будто отсутствие согласия в церкви оказалось причиной неурядиц в государстве. Отрицая наличие

такой связи и явно настаивая на «естественном» ходе вещей, Николай пишет: «В каждом деле прежде всего устанавливают цель, а уже затем ждут божьей помощи, никто из небрежно посеявших не соберет хорошего урожая, никто, не заложив хорошего основания, не построит добротного дома, и никто, не прилагая усилий и не бодрствуя, не сможет плыть в безопасности по морю» (75.46). Итак, божья помощь не отрицает, а, напротив, предполагает человеческую активность. Эта мысль, как, впрочем, и примеры, ее иллюстрирующие, живо напоминают рассуждения того же Михаила Пселла. Упрекая Константина Мономаха, целиком полагающегося на божественный промысел и потому пренебрегающего охраной собственной персоны, писатель XI в. пишет: «Никто из них (Пселл говорит об архитекторах, кормчих и воинах, о первых двух пишет и Николай! — *Я. Л.*), делая свое дело, не отказывается от упований на Бога, но первый возводит строения согласно правилам, другой кормилом направляет судно, а из людей военных каждый носит щит, вооружен мечом, на голову надевает шлем, а остальное тело покрывает панцирем».[10]

Возможность воздействия человека на ход дел не исключает, но, напротив, предполагает идею определенного «самодвижения» событий, исход которых часто оказывается противоположным человеческим намерениям. У Николая нет еще понятия судьбы — τύχη, в свое время заклейменной византийцами, но уже вновь восторжествовавшей у Льва Математика и Льва Диакона, однако именно Николаю принадлежат слова, что разумный человек не может не знать, что время имеет большую силу (μεγάλην ῥοπήν) и осуществляет человеческие расчеты вопреки воле рассчитывающего, а порой и к его досаде (40.13). Время выступает здесь в виде имманентной силы, распоряжающейся течением событий. Весьма любопытно в этом отношении появление в одном из писем Николая образа «колеса фортуны», понятия весьма редкого у византийцев, но чрезвычайно распространенного на Западе.[11]

Разумеется, речь идет не о секуляризации мышления и этической позиции, а о той разновидности христианских представлений, которую с известной натяжкой, используя современный термин, можно охарактеризовать как либеральную тенденцию в византийской идеологии. Тем не менее «либерализм» Николая простирается достаточно широко, охватывая не только личностные отношения, но и сферу государства, международных отношений, религии и т. д. Прекрасный образец в этом отношении — письмо Николая арабскому халифу в связи с жестоким обращением арабов с христианскими

пленниками (102). Конечно, послание имеет характер дипломатической реляции и, как всегда в подобных случаях, предполагает тенденциозный отбор фактов и аргументов, тем не менее его общее направление весьма знаменательно. Вот основные доводы письма. Правители обязаны не только положением своим, но и умом, справедливостью и нравственными достоинствами (φρονήσει καὶ δικαιοσύνῃ καὶ τῇ ἄλλῃ καλοκαγαθίᾳ) возвышаться над подданными (102.9 и след.). Племя византийцев всегда отличалось человеколюбием и добротой (τὸ τῆς φιλανθρωπίας καὶ ἐπιεικείας — 102.32), милостивое обращение с пленными — первейшая обязанность победителя (102.69 и след.). Византийцы не требуют от плененных арабов отказаться от их веры и предполагают такой же образ действия и с их стороны (102.131 и след.). Кстати, милосердия к пленным неоднократно требует Николай и от болгарского царя Симеона. Хотя (повторим еще раз) дипломатический документ не может обойтись без тенденционных передержек, мысль Николая Мистика предполагает существование неких надрелигиозных моральных принципов, следование которым равно обязательно для византийского императора и для арабского халифа. Религиозную терпимость Николая хорошо характеризуют и строчки из письма Николая тому же царю Симеону, где он упоминает своего учителя патриарха Фотия, который «любил твоего отца, хотя между ними стояло различие веры» (τὸ τοῦ σεβάσματος διατείχισμα — 2.21).

Для характеристики позиции Николая трудно подобрать лучшее определение, нежели христианский гуманизм, хотя последний и подвергался критике в византиноведческой литературе.

Отметим, что до нас дошли характеристики Николая, принадлежащие его современникам, вовсе не совпадающие с его самоизображением. Во враждебной патриарху Vita Euthymii Николай изображен злобным, коварным, бессмысленно жестоким, прямо называется «убийцей и грабителем». «Линия» Vita Euthymii возобладала и в новой историографии. Пожалуй, один лишь Н. Попов отмечает «чистоту нравов», «строгость к самому себе», сочетающиеся со снисходительностью к другим и справедливостью даже в отношении к врагам.[12] Уже Ш. Диль называет Николая «жестоким, страстным, злопамятным, способным страшно ненавидеть, никогда не забывавшим обид» и т. п.[13] «Его интеллект был высок, а душа, напротив, низка», — повторяет характеристику Ш. Диля другой французский ученый — Ж. Гей.[14] В этом же русле находятся и оценки одного из авторов обсуждаемого издания — Р. Дженкинса.[15]

Не станем спорить о душевных свойствах патриарха. Их оценка всегда по необходимости окажется субъективной. Для исторического

исследования важны не только эмоциональные определения, сколько выделение «ядра личности» — комплекса его этических и нравственных представлений, его идей, убеждений и принципов. Верно, конечно, что «в этом переменчивом калейдоскопическом мире одни и те же принципы означают разные вещи для разных людей в разное время»,[16] однако само появление тех или иных «принципов» — явление не случайное, а глубоко закономерное. Облик патриарха Николая, предстающий из его сочинений, — не более как самоизображение, его разбитый на сотни частей автопортрет, изображенный к тому же весьма тенденциозно. Тем не менее то, каким хотел себя изобразить Николай, глубоко знаменательно, это и есть выражение его «принципов». Весьма интересно было бы под этим углом зрения сопоставить эпистолографические собрания Фотия, Николая, Арефы и других, еще интересней было бы (если бы только позволил материал!) сопоставить личности «конфликтующих сторон» Фотия и Игнатия, Николая и Евфимия.

И еще на одну сторону сочинения Николая хотелось бы обратить внимание. Многие из посланий — прекрасные образцы риторики. К счастью, в последнее время начался постепенный пересмотр точки зрения, согласно которой риторика была лишь «пустозвонством» и «средством водить за нос доверчивых читателей».[17] Для Николая, как, впрочем, и многих других эпистолографов, риторика — средство воздействия на адресата; форма (при бедности содержания) значила, видимо, не меньше, нежели непосредственное сообщение. Особенно удаются Николаю короткие письма с их четкой двучастной композицией и благородным лаконизмом. Кстати, переводчики, как правило, стремятся передать особенности формы (что при «содержательности формы» византийских писем и документов не менее важно, чем изложение содержания), однако не всегда выдерживают этот принцип до конца. Так, некоторые весьма энергичные, построенные по принципу языковой экономии фразы Николая передаются английскими предложениями, содержащими в два, а то и три раза больше слов, чем в греческом оригинале. Причины понятны: помимо аналитического строя современного английского языка, это — стремление «дополнительными» словами передать все оттенки оригинала, однако обилие слов лишает фразу благородного лаконизма, свойственного греческому тексту. Не всегда также передается сопоставление однокоренных слов, столь характерное для византийской риторики.

К сожалению, в обсуждаемом издании очень скуп реальный комментарий,[18] отсутствует также сколько-нибудь подробная характери-

стика творчества Николая. Однако первое критическое, тщательно подготовленное и мастерски выполненное издание сочинений знаменитого патриарха — весьма существенный импульс к дальнейшему исследованию его жизни, деятельности, творчества.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Mai A.* Spicilegium Romanum. Roma, 1841. X. 2. P. 161–440; PG. T. III. Col. 27–392.

[2] *Lazeri P.* Miscellaneorum ex manuscriptis libris bibliothecae Collegii Romani Societatis Jesu. Roma, 1757. Vol. II. P. 549–553.

[3] Первая цифра в наших отсылках означает номер произведения, вторая — строку. В обоих томах принята единая нумерация сочинений.

[4] Об эпистолярной топике см.: *Karlsson G.* Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Uppsala, 1962.

[5] Наблюдение впервые сделано Дарузесом: *Darrouzès J.* Épistoliers byzantins du X^{e} siècle. Paris, 1960. P. 35.

[6] См. №№ 58, 92, 94. Два последних письма издатели датируют вслед за Грюмелем 920 г., не учитывая возражений против такого отнесения и попытки по-другому датировать эти письма в кн.: Две византийские хроники X века. М., 1959. С. 79 и сл.

[7] См.: *Любарский Я.* Михаил Пселл: Личность и творчество. М., 1978. С. 78 и след.

[8] *Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin. Paris, 1971. P. 204.

[9] Vita Euthymii / Ed. P. Karlin-Hayter. Brussels, 1970. P. 115.25 sq.

[10] *Psellos M.* Chronographie / Ed. E. Renauld. II. P. 34.27 sq.

[11] «Как мы видим, мирское колесо (κοσμικὸν τρόχον) не прекращает своего движения, но еще движется и всегда будет двигаться, возносясь вверх и вниз, пока существуют на земле человек и дела человеческие» (189.1 и след.).

[12] *Попов Н.* Император Лев VI Мудрый и его царствование в церковно-историческом отношении. М., 1892. С. 93 и след.

[13] *Диль Ш.* Византийские портреты. Харьков, 1909. С. 139 и след.

[14] *Gay J.* Le patriarche Nicolas le Mystique et son rôle politique / Mélanges Charles Diehl. Paris, 1930. Vol. 1. P. 94.

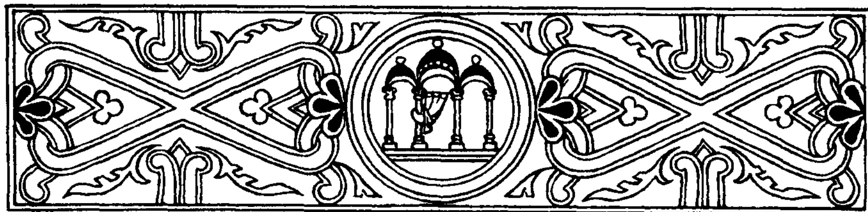
[15] *Jenkins R.* Byzantium. The Imperial Centuries 610–1071. London, 1966. P. 212 f. Впрочем, Р. Дженкинс неоднократно совершенно справедливо подчеркивает отсутствие у Николая какого бы то ни было фанатизма.

[16] Ibid. P. 225–226.

[17] *Hunger I.* Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz. — Österreichische Akademie der Wissenschaft, phil.-hist. Kl., Sitzungsber., 1972. Bd. 227. S. 7.

[18] Атрибуция некоторых писем, опубликованных в т. 1, вызвала сомнения рецензентов — см., например: Историко-филологический журнал АН АрмССР. 1976, 1 (72). С. 276 и след.





СОЧИНЕНИЕ ПРОДОЛЖАТЕЛЯ ФЕОФАНА: ХРОНИКА, ИСТОРИЯ, ЖИЗНЕОПИСАНИЯ? *

От Византии до нашего времени дошло множество биографий духовных лиц, так называемых «житий святых»,[1] но ни одного жизнеописания людей светских. Можно вполне основательно предположить, что такие жизнеописания создавались, но их рукописи в течение веков были утеряны — вероятней всего, потому, что жанр этот находился в ортодоксальной Византии на литературной периферии, да и образцов его было создано не так уж много.[2] Тем не менее жизнеописания (главным образом византийских императоров) нам известны, правда, не как самостоятельные жанрово оформленные биографии, а в составе исторических сочинений. Чем иным как не грандиозным жизнеописанием императора Алексея I Комнина является написанная его дочерью Анной Комниной «Алексиада»? По сути дела, серией царских биографий оказывается и знаменитая «Хронография» Михаила Пселла.[3] Историография вообще (и не только в Византии!) имеет тенденцию в определенных условиях превращаться в собрания жизнеописаний исторических деятелей. Этот процесс, однако, весьма непрост и заслуживает специального рассмотрения, тем более что связан он с такой важной проблемой, как изображение

* Статья опубликована в качестве приложения к книге: *Продолжатель Феофана.* Жизнеописания византийских царей. Издание подготовил Я. Н. Любарский (СПб.: Наука, 1992). В тексте статьи содержатся ссылки на русский перевод Продолжателя Феофана, опубликованный в этом издании. Продолжателю Феофана посвящено недавнее исследование *Signes Condoñer J.* El periodo del segundo iconoclasmo en Theophanes Continuatus, análisis y comentario de los tres primeros libros de la crónica (Amsterdam, 1995). Автор полемизирует с некоторыми из моих утверждений, см. мой ответ в *Byzantinische Zeitschrift.* 90 (1997). S. 162.

человека в византийской литературе. Для того чтобы его осмыслить, надо под определенным углом зрения хотя бы в самых общих чертах проследить историю византийской историографии, наиболее интересного, по единогласному мнению средневековых писателей и новых ученых, жанра византийской словесности. Задача эта не из легких, поскольку история византийской литературы (по объему дошедших произведений во много раз превышающая античное наследие) изучена крайне плохо. Дело не в том, что до сих пор остаются в рукописях многие тексты и в научный оборот не введены многие литературные факты, — главное, что не установлены связи и сцепления между жанрами, писателями, произведениями, нет еще научной истории литературы. Существующие компендиумы — скорее отличные справочники, нежели истории развития византийской словесности.[4] Причина этого заключается даже не в недостатке подготовительных частных исследований или тем более не в недостаточном научном уровне самих исследователей. Напротив, библиографические разделы византиноведческих журналов непомерно растут из года в год, а изучению византийской литературы отдают свои силы ученые высокой эрудиции и таланта. Дело в сложившемся и утвердившемся взгляде на византийскую литературу как на нечто недвижное, статичное и неизменное во времени и потому вовсе и не нуждающееся в историческом рассмотрении, взгляде, который, пожалуй, с наибольшей полнотой выразили три современных исследователя: англичанин С. Мэнго, немецкий — Х. Г. Бек[5] и наш отечественный — С. С. Аверинцев.

По мнению С. Мэнго (его обобщающая статья носит весьма характерный заголовок: «Византийская литература — кривое зеркало»),[6] все корни византийской литературы уходят в античную почву и потому между литературой и реальностью в Византии не было и не могло быть никакой связи. Ученый говорит даже о «дихотомии» литературы и реальности в Византии. Все литературные памятники существовали как бы изолированно, вне всякой связи один с другим, и потому не может быть даже и речи о каком-либо «идейном» или каком-либо еще развитии византийской литературы. Примерно ту же точку зрения со свойственной ему афористической образностью выразил и С. С. Аверинцев.[7] Поскольку его труды большей частью опубликованы по-русски и лучше известны нашему читателю, подробней остановимся на позиции этого ученого. В самом кратком и огрубленном виде ее суть сводится к следующему. В Византии, в отличие от Запада, не существовало и не могло существовать «ситуации спора», не было никаких более или менее четко выраженных

«позиций сторон», да и самих этих сторон не существовало тоже. Все как бы поглощалось всеобщей универсальной «школьной нормой», благодаря чему все византийцы писали «враз и об одном и том же». Из этого положения естественно напрашивался и следующий вывод. Если не было «позиций сторон» и «школьная норма» господствовала безраздельно, не могло существовать и никакого развития византийской литературы, включая историографию. И действительно, такой вывод делается самим С. С. Аверинцевым несколькими страницами позже. Византийская литература с самого начала существовала «готовой», и ей предстояло лишь «варьирование и всесторонняя реализация самой себя».

В подтверждение сказанного С. С. Аверинцев указывает на известные факты, когда по внутренним стилистическим и иным факторам оказывается совершенно невозможным датировать произведение, и одни и те же сочинения разные ученые относили к совершенно разным эпохам с диапазоном в четыре–восемь веков: драму «Христос Страждущий», созданную, видимо, в XII в., некоторые исследователи до сих пор приписывают Григорию Назианзину (IV в.), а сочинение Иоанна Камениаты «Взятие Фессалоники», всегда уверенно относимое к X в., было совсем недавно довольно убедительно передатировано XV в. Не станем пока оспаривать тезис об отсутствии у византийцев собственной позиции, к нашей теме он имеет пока косвенное отношение. То, что некоторые произведения византийцев почти не датируются по внутренним признакам, замечено уже давно, и их число можно было бы уже увеличить.[8] Однако не противостоят ли этим памятникам множество других, датировка которых вполне определенна? Не является ли факт появления таких «недатируемых» памятников общим свойством словесной культуры, замешанной на риторике, законы которой «вечны и вневременны» по самой своей сути? Даже античность, постоянно противопоставляемая Византии, знает такие примеры.[9]

Не станем далее опровергать эту позицию. Будем надеяться, что дальнейшие рассуждения послужат ей достаточным противовесом, хотя бы в области одного жанра византийской литературы — историографии.

Что касается историографии, то существует другой, далеко еще не преодоленный стереотип, восходящий к «отцу византийского литературоведения» Карлу Крумбахеру. Согласно воззрениям этого ученого, византийская историография на протяжении всех веков своего существования четко разделялась на два почти не смешивавшихся между собой жанра — «историю» и «хронографию», каждый из ко-

торых изначально имел вполне устойчивые признаки. Все, по Крумбахеру, различно в этих жанрах. «Хроники», изложение событий в которых подчинено строгому хронологическому принципу, начинались с сотворения мира, писались монахами (подчас малограмотными), адресовались широким монашеским кругам и не имели почти никакой связи с античной традицией. Они «тиражировались» в большом числе рукописей, сам их материал представлял собой своего рода «общее достояние», поскольку переходил из одного сочинения в другое, в результате чего разница между автором, редактором, а подчас и переписчиком становилась условной и трудноуловимой. Напротив, «истории» посвящены определенному отрезку времени, написаны светскими и весьма искушенными в античной образованности авторами, они имели сравнительно небольшие «тиражи» и были обращены к образованной элите византийского общества.[10] Подвергнутая уже более двадцати лет назад весьма основательной критике,[11] эта концепция тем не менее и поныне остается основой как для обобщающих трудов, так и для конкретных исследований. Так, например, Г. Хунгер, хотя и отказывается от раздельного рассмотрения «хроник» и «историй» и располагает те и другие в хронологическом порядке, тем не менее воспринимает их как два разных жанра, первый из которых — «тривиальная литература», нечто вроде средневекового кича, а второй — творение образованных авторов, восстановление античной традиции. Хотя Хунгер делает немало интересных замечаний о художественной природе ряда произведений, тем не менее в целом раздел об историографии остается, как и у К. Крумбахера, собранием маленьких монографий об историографах.[12] Вместо развития и сложного взаимодействия различных жанровых форм византийская историография и поныне представляется в виде двух застывших в своей неизменности линий, сохраняющих свои родовые черты с VI по XV вв.

Всякая попытка сломать этот стереотип наталкивается, однако, на трудности, заключенные в самом материале византийской литературы. Во-первых, с самого начала византийская историография, как и вся византийская литература, находится под сильнейшим воздействием античной традиции. Может создаться даже впечатление, что у византийской литературы не было своей архаики (равно как и периодов «классики» и «эллинизма»)[13] и что вся она — не более как затянувшийся декаданс античности. Постоянное античное воздействие как бы смазывает и делает плохо различимым процесс имманентного развития византийской историографии. Во-вторых, раз возникшие литературные формы, как правило, в дальнейшем не

исчезают, а как бы консервируются и продолжают свое существование чуть ли не до самого падения Византии, а иногда и дольше. В результате одновременно могут создаваться литературные произведения стадиально абсолютно различные. Так, например, в одном и том же XI в. были написаны столь совершенное и развитое в жанровом отношении сочинение, как «Хронография» Михаила Пселла, и почти одновременно — примитивная «Хроника» Иоанна Скилицы.

В VI в. (а именно с него мы начнем рассмотрение византийской историографии) две упомянутые линии четко противопоставлены в исторической беллетристике. Античность в это время еще не успела стать ни ушедшим прошлым, ни превратиться в объект ностальгического подражания, внешней имитации, ни в объект отталкивания. Хотя христианство к тому времени давно уже стало господствующей религией, в византийском образованном обществе было немало людей, живущих в атмосфере еще живой, а не реставрированной античной культуры. Именно в их среде возникли и читались такие исторические сочинения, как труды Прокопия, Агафия, Феофилакта Симокатты. Эти произведения не столько написаны по античным шаблонам, сколько «античны» по своему духу, отношению к историческому герою, стилю изображения исторических событий. Вряд ли стоит доказывать то, что лучше всего ощущается в непосредственном восприятии.

В разительном противоречии с трудами Прокопия, Агафия и Феофилакта Симокатты находится другое сочинение VI в. — «Хронография» Иоанна Малалы, с которого мы и начнем рассмотрение византийской исторической литературы. Это произведение новые исследователи не раз называли «загадочным». В нем и действительно все «загадочно», если только подходить с мерками античной или антикизирующей историографии. Прежде всего вопрос об авторстве хроники. Как правило, античный исторический автор — хорошо известная фигура с более или менее четкой писательской позицией. Что же касается Малалы, у нас фактически нет никаких достоверных сведений, кроме имени.[14] Если же говорить о «позиции» этого писателя, то ее может установить разве что исследователь с хорошо развитым воображением. Ученые приложили немало усилий для определения взглядов Малалы, однако их методы, отточенные на изучении классиков, привели к нулевому результату.[15] Но, пожалуй, более всего отличают «Хронографию» Малалы от сочинений современных ему «античных» авторов тематика, структура и метод изображения героя. На этом стоит остановиться подробнее, дабы на примере

одного сочинения показать специфику византийской исторической хроники.

Если Прокопий, Агафий и Феофилакт Симокатта писали о событиях близкого им времени, известных им как очевидцам, по слухам или современным документам, то Малала начинает свою историю от сотворения мира и доводит до своего времени, создавая грандиозную картину всемирной истории. Впрочем, эта картина столь же грандиозна в целом, сколь и нелепа (во всяком случае, с позиций традиционного подхода) в деталях. Немало исследователей потешались над фантастическими построениями и элементарной путаницей в сочинении историка, умудрившегося буквально поставить с ног на голову библейскую традицию, античную мифологию и древнюю историю. Веками отработанные античными авторами приемы организации исторического материала оказываются бесполезны для писателя, в поле деятельности которого попадает не история отдельного региона в ограниченное время, не биография или кампания императора, а история, охватывающая всю известную ойкумену и все время от сотворения человека. Это легче всего показать на анализе композиции «Хронографии».[16]

Как нетрудно заметить даже при беглом чтении, в композиционном отношении «Хронография» разделяется на две части. Первая — до установления империи Октавиана Августа, вторая — от начала императорской истории Рима и до неожиданного обрыва произведения. Во второй из частей — четкое построение «по императорам», в первой — невероятный конгломерат событий из библейских преданий, греческой мифологии, истории Ассиро-Вавилонии, Персии, царского и республиканского Рима, Македонии и Египта. Однако и в этом невероятном конгломерате есть своя логика и законы построения. Прежде всего она дробится на большие разделы, каждый из которых посвящен одной теме (библейская история «от Адама», древнейшая мифологическая история, израильская история, ассирийская и персидская история, история Рима периода царей, македонская история).

Посвящение каждого раздела одному определенному народу или царству вовсе не означает, что в поле зрения хрониста попадают исключительно события их истории. Скорее, наоборот, действие (если можно так назвать хроникальные заметки Иоанна Малалы!) гораздо чаще переносится в другие регионы, чем остается в пределах основного. Так, например, в рассказе об израильской истории о самой истории Израиля говорится очень мало, упоминается лишь о смене правителей, судей, царей. Эти сообщения, однако, оказываются как бы композиционной рамкой повествования, своеобразным каркасом,

наполняемым сообщениями о событиях других регионов, чаще всего Греции. Любопытно, что сообщение о смене израильских правителей может занимать одну или несколько строчек, между тем как изложение событий из других регионов, происшедших под этой хронологической пометой, обнимает десятки страниц. Благодаря такому искусному композиционному приему Малале как раз и удается построить синхронизированную (пускай фантастическим образом!) историю, вмещающую в себя не одну страну, не одно царство, не тем более правление одного императора, а всю известную тогда ойкумену. «Идея всемирной истории, — писал немецкий ученый, — присутствует в любой ничтожнейшей средневековой хронике, хотя ее нельзя найти у классических греческих и римских историков».[17]

С началом второй половины «Хронографии» (время правления римских и византийских императоров) композиция произведения претерпевает значительную модификацию. Если в первой части Малала делал попытку в относительном единстве рассказать об истории всей ойкумены, непрестанно «перебрасывая мосты» между событиями из разных регионов, то отныне предметом его внимания оказываются почти исключительно события римской и далее византийской истории. Если в первой части Малала считал возможным опускать правителей ряда регионов, то отныне из поля его зрения не выпадает ни один император. При этом отмечается время правления даже тех императоров, которые занимали трон всего несколько месяцев, а то и дней и решительно ничем себя проявить не успели. О них сообщается лишь факт восшествия на престол и смерти. Выполняя свой долг хрониста, Малала фиксирует время, но оставляет его пустым и бессобытийным.

На все повествование второй части как бы накладывается жесткая, пусть и с пустыми ячейками, хронологическая сетка, пунктуально размеренная периодами царствований. Еще четче, чем раньше, линии этой сетки отмечены устойчивыми словесными формулами, допускающими теперь уже совсем незначительные вариации. Не утомляя читателя многочисленными примерами, укажем лишь на несколько наиболее часто встречающихся клише. Среди них надо различать хронологические или вводного характера формулы («во время его царствования»..., «тот же царь...») и формулы, вводящие или даже раскрывающие сообщения определенного содержания («пострадал от гнева божия...», «соорудил...», «принял мученичество...», «выступил в поход на...» и т. д.).

Почти все упомянутые (и неупомянутые) формулы встречались и в первой части «Хронографии», но здесь они как бы концентрируются все вместе, дабы в совокупности своей составить костяк или своего рода каркас исторического повествования. Само собой разумеется, такое построение «Хронографии» оказывается возможным при двух условиях. Во-первых, из бесконечной череды исторических событий историк выбирает лишь эпизоды определенного содержания. Иными словами, степень избирательности хрониста по отношению к историческим фактам чрезвычайно велика, сито, через которое они просеиваются, имеет очень маленькие ячейки... Во-вторых, аналогичные или однотипные сообщения выливаются в одни и те же или совсем маловарьируемые словесные формулы. Хронист как бы знает лишь одну возможность для выражения определенного содержания. Естественно, что при этом содержание сообщений или эпизодов как бы «генерализуется», обобщается, все частное, особенное скрадывается и нивелируется.

Можно сколько угодно сетовать на «монотонность», «скованность», лексическое и синтаксическое однообразие Малалы-писателя, пришедшее на смену разнообразию и художественной раскованности античных историков, но нельзя отрицать, что эта монотонность, стремление к классификации и применению одних и тех же словесных формул — не столько результат падения художественного мастерства, сколько неотъемлемое свойство исторического и художественного метода средневекового хрониста.

Если античный историк компоновал факты в зависимости от своей концепции, авторской воли, художественных принципов, наконец, созидал, говоря современным языком, «модель мира», заменяя объективно-историческое время субъективным, то Малала старается выстроить не связанные между собой исторические факты в строгой (вернее, кажущейся ему строгой) хронологической последовательности, приближая повествовательное время к объективно-историческому.

К концу повествования, в тех частях, где рассказывается о современных Малале событиях, хронологическая сетка не только не снимается, но, напротив, становится еще регулярней. Прежние вводные формулы постепенно вытесняются единообразной — «в это самое время», но и эта формула в конце рассказа о Юстиниане заменяется все более дробными временными указаниями типа «в индикт такой-то» или «в месяц такой-то». Равномерные «удары метронома» все учащаются, отсчитывая уже не целые царствования, а годовые и даже месячные промежутки. Таким образом, «императорская хроника» постепенно превращается в анналы, если под анналами можно подразумевать не только строго погодную хронику,

но и перечень событий, снабженный как годовыми, так и месячными пометами.

В «Хронографии» Малалы как бы в эмбриональной форме заложены все композиционные методы последующей византийской хронистики. Регионально-генеалогический принцип, синхронное построение, анналистический метод, отдельные частные эпизоды, построенные по тематическому принципу, — все это используется в дальнейшем авторами хроник, все это в конечном счете — выражение «средневековой ментальности», четко противостоящей античному способу изображения истории.

«Хронография» Малалы оказалась «пионерским» произведением не только благодаря своей композиции. В неменьшей степени эта ее роль сказывается и в методах изображения исторического героя.

Античная историография создала сложные и многообразные формы зависимости между персонажами и композицией произведений. Герой, раскрывающийся в ходе повествования, герой, определяющий собой последовательность рассказа, наконец, биографический способ подачи материала — все эти формы развились в античности на долгом пути от Геродота до Тацита и Плутарха,[18] и все они оказались непригодны для первого известного нам средневекового византийского хрониста Малалы. В произведении, развитие событий которого не имеет внутренних пружин, а подчинено накладываемой извне хронологической схеме, герой оказывается не двигателем действия, а его придатком. И хотя повествование ведется обычно в активных глагольных формах, герои играют роль «формального подлежащего»: никакие их свойства и качества не оказывают заметного воздействия на события.[19]

Спектр чувств, которые испытывают персонажи Малалы, до предела ограничен и сужен, их можно легко перечислить. Герои весьма часто «гневаются» (ἀγανακτεῖν, и причастия от него встречаются постоянно, реже — ὀργίζειν), довольно часто «влюбляются» и «любят» (обычно мифологические персонажи, но иногда и исторические), «огорчаются», «боятся», «безумствуют».

Связь между «чувством» и «действием», им вызванным, как правило, непосредственная и мгновенная. «Разгневавшись (ἀγανακτήσας), царь совершил нечто» — построенные по этой схеме фразы рассеяны по всему произведению.

Точно так же весьма ограничен набор определений, которыми наделяются персонажи (мы пока не говорим о так называемых соматопсихограммах, о которых речь впереди). Мужчины весьма часто «мудры» (σοφός), «очень мудры» (πάνυ σοφός, σοφότατος), женщины — «красивы» (εὐπρεπής), «очень красивы» (εὐπρεπεστάτη). Если σοφός и εὐπρεπής имеют чуть ли не характер постоянного эпитета, то остальные определения встречаются значительно реже, а некоторые из них и вовсе по одному разу, их нетрудно перечислить.

Иногда эпитеты просто сопровождают то или иное имя; иногда свойство, ими обозначаемое, влечет за собой значимые для действия последствия. Но и в данном случае действие соединено со свойствами персонажей связями непосредственными и «мгновенными»: имярек полюбил такую-то как красивую (ὡς εὐπρεπῆ), император приблизил такого-то как мудрого (ὡς σοφόν). Конструкции такого рода встречаются нередко.

Собранные вместе примеры упоминания «чувств» и «свойств» персонажей могут создать впечатление чего-то значимого для повествования Малалы. На самом деле это не так. Рассеянные на всем пространстве сравнительно большой по объему «Хронографии», они в лучшем случае играют роль дополнительной пружины отдельных моментов действия, в то время как главная, если не единственная, двигательная сила — мерный ход времени, запечатленного в строгой хронологической сетке, о которой говорилось выше. Об этих «дополнительных пружинах» и вовсе не стоило бы говорить, если бы в процессе развития византийской историографии они не имели тенденции превращаться в основные.

Обращает на себя внимание, что как «чувства», так и качества, которыми наделяет автор своих персонажей, имеют самый обобщенный, абстрагированный, так сказать, родовой характер, представлены в самом что ни на есть «стерильном» виде, не имеют никаких уточнений и «акциденций».

И тем не менее, как это ни покажется парадоксальным, Малала принадлежит к числу тех авторов, которые дают наиболее развернутую и детализированную характеристику своих персонажей — мифологических, исторических, библейских. Эти характеристики, получившие меткое наименование «соматопсихограмм», состоят из нескольких эпитетов, описывающих внешние и нередко внутренние свойства героя. Они сопутствуют появлению ряда мифологических персонажей, учащаются в разделе о Троянской войне и продолжаются с некоторыми пропусками в части, посвященной римским и византийским императорам. Соматопсихограммы римских и византийских императоров располагаются, за редчайшими исключениями, на строго фиксированном месте, непосредственно вслед за сообщением о воцарении императора и числе лет его царствования и всегда вводятся одной и той же формулой ἦν δέ и,

таким образом, составляют устойчивый структурный элемент рассказа.[20]

Будучи устойчивым элементом рассказа, соматопсихограммы и сами организованы как некие структурные единства. Мы их называем структурными единствами потому, что построены они по определенному фиксированному порядку: начинаются с нескольких эпитетов, характеризующих внешность, и кончаются чаще всего определениями психоэтического свойства (в среднем от одного до трех). «Внешние» эпитеты почти без исключения начинаются с характеристики роста («высокий», «маленький», «средний» и т. п.) и телосложения («худой», «широкоплечий», «массивный» и т. п.). Последовательность дальнейших эпитетов — свободная, хотя и тут можно установить некоторые тенденции. Что касается определений внутренних качеств, то, как это было отмечено до нас,[21] на первом месте регулярно ставится эпитет общего содержания, применяемый в сочинении к большому числу персонажей, за ним следуют более редкие, а то и единожды встречающиеся во всем сочинении.

Круг свойств, на которые обращает внимание автор, равно и эпитеты, их обозначающие, вполне обозримы и в числе ограничены.

Э. Роде назвал соматопсихограммы Малалы «образцом византийской безвкусицы».[22] Стремясь обелить византийцев, некоторые ученые «перелагают вину» за малоэстетичные, по современным критериям, соматопсихограммы на Светония и других позднеримских историографов, в чьих сочинениях действительно встречаются типологически сходные характеристики. Один из исследователей даже пытается возвести их к сухим описаниям лиц в деловых текстах египетских эллинистических папирусов, описаниям, метко охарактеризованным им как Polizeiliche Signalement. При нынешнем состоянии источников вряд ли удастся однозначно решить проблему их происхождения.[23] Вполне, однако, очевидно, что в художественной системе «Хронографии» Малалы эти соматопсихограммы не инородная, а самая что ни на есть органичная составная часть, хотя под «органичностью» следует в данном случае понимать не связь характеристики с окружающими элементами, а, напротив, ее полное отсутствие. Как и все прочие элементы «Хронографии» соматопсихограммы существуют как бы в совершенной изоляции, абсолютно «отключены» от своего окружения. Есть и другая причина, по которой соматопсихограммы органичны для «Хронографии». Характеристики персонажей «Хронографии» обнаруживают внутреннее композиционное сходство со всем произведением. Стиль художественного мышления автора проявляет себя одинаково и в целом и в его частях. В самом деле,

если жесткая хронологическая сетка подчиняет и формирует исторический материал «Хронографии», то строгая структура соматопсихограмм таким же образом ранжирует свойства ее персонажей. Если в «Хронографии» в целом многообразие событий реальной истории трансформируется в ограниченное число эпизодов, выраженных, как правило, маловарьируемыми формулами, то в соматопсихограмме все многообразие свойств персонажа «рубрицируется» немногочисленными эпитетами. При этом почти каждый из них как бы генерализует определенный аспект внешности или внутренних качеств героя («малорослый», «худой», «великодушный» и т. п.).

Эпизоды «Хронографии», говорили мы, никак взаимно не связаны и механически примыкают один к другому; тем более асиндентичны эпитеты, входящие в состав соматопсихограмм. Малала так же не видит связи между отдельными историческими фактами, как не замечает взаимообусловленности человеческих свойств и качеств. Каждый эпитет имеет самодовлеющее значение и никак не сопряжен с соседними.

В классической «Истории византийской литературы» К. Крумбахера сказано: «Хроника Малалы настолько же жалка сама по себе, насколько важна для истории литературы: в ней (по крайней мере в известной нам традиции) впервые появляется важный с точки зрения истории культуры и литературы тип христианско-византийской монашеской хроники».[24] Немецкий ученый не совсем справедлив к Малале. «Жалким» его произведение может быть названо лишь с позиций ученого, чей вкус воспитан на образцах античной или новой литературы. Широкое распространение «Хронографии» в средневековье в разных регионах показывает, что византийцы и окружающие народы отнюдь не судили об этом произведении столь строго и безапелляционно. Не совсем точен К. Крумбахер и когда называет Малалу родоначальником христианско-византийской монашеской хроники. На самом деле Малалу с полным правом можно назвать отцом всей византийской историографии. И тем не менее ученый прав в основном: независимо от оценки «художественных» достоинств «Хронографии» ее историко-литературное значение огромно. Именно через «Хронографию» Малалы проходит демаркационная линия между античной и средневековой историографией. Отделяющая две эпохи демаркационная линия проходит и через другие произведения литературы, искусства, архитектуры VI в.[25] Речь в данном случае идет не только о мировоззренческих вопросах, но и о стиле в самом широком смысле этого слова.

В творчестве Малалы историография, «забыв» огромный художественный опыт, накопленный в античной литературе, вновь начинает свою историю, по сути дела, возвращается к стадии древнегреческих логографов и римских анналистов, с которыми, видимо, имеет определенное типологическое сходство.[26] В «Хронографии» и действительно есть немало «архаических» черт, свойственных ранним ступеням литературного развития: связанность произведения извне накладываемой формой-схемой внелитературного происхождения, эпически беспристрастное изложение материала (как ни парадоксально такое сравнение, можно вспомнить Гомера, одинаково восхваляющего греков и троянцев), наличие общих мест, словесных клише и даже своеобразных постоянных эпитетов как при изложении событий, так и при описании персонажей, и т. д. И тем не менее Малала — не древний логограф и не отрешенный от цивилизации полуграмотный переписчик, а человек, знакомый, пусть и в весьма своеобразной форме, как с античной традицией, так и (в вульгаризованном виде) с философскими, богословскими и политическими проблемами.[27] Вот почему «архаическая» форма не существует и не может существовать у него в чистом виде, как вообще не существует и не может существовать «в чистом виде» средневековая византийская литература, постоянно подвергающаяся то большему, то меньшему воздействию своей великой античной предшественницы. Возможно, здесь и надо искать разрешения ряда «противоречий», бросающихся в глаза современному читателю при чтении «Хронографии» Малалы.

Если в динамичной античности архаические формы исторических сочинений очень скоро превращаются в литературно развитую историографию (между Гекатеем Милетским и Геродотом и Фукидидом — десятилетия), то в средние века хронографический стиль консервируется, развивается хотя и в том же направлении, но весьма медленно, закрепляя на долгое время раз обретенные приемы изображения (между Малалой и «развитой» историографией XI–XII вв. — века!).

В VII в., с наступлением «темных веков» византийской истории, традиция «античной» историографии прерывается вовсе, в то время как «истинно византийская» хронистика развивается достаточно интенсивно. Вряд ли удастся проследить и связно изложить ее историю, ведь дошедшие до нас памятники — не более как отдельные звенья безвозвратно утерянной цепи, впрочем, для наших целей вполне достаточно и пунктирной линии.

Традиции Малалы не только развиваются, но, можно утверждать, усугубляются в так называемой «Пасхальной хронике» VII в., анонимный автор которой в значительной мере прямо опирается на сочинение своего предшественника. Это «усугубление» идет, однако, главным образом в одном определенном направлении. Как мы видели, «Хронография» Малалы была чудовищным конгломератом ученых поползновений, с одной стороны, и наивного творчества с чертами архаического стиля — с другой.[28] Как и следовало ожидать, в христианской, обремененной ученостью Византии первый компонент получил преимущественное значение.[29] Интерес анонимного автора концентрируется вокруг хронологии и ее точного исчисления. Это вполне можно понять. Время получает в «Пасхальной хронике» символическое и сакральное значение. Оно не безразлично к происходящим в нем событиям, а имеет к ним самое непосредственное отношение. Если для Малалы время служит прежде всего хронологическим каркасом, в который помещаются все события мировой истории, то для автора «Пасхальной хроники» время и его исчисление приобретают уже самодовлеющее значение, ибо только благодаря «точным» хронологическим расчетам вскрывается символическая связь событий.[30]

«Ученая» линия византийской хронографии окончательно восторжествовала в творчестве хрониста конца VIII–начала IX вв. Георгия Синкелла. Его сочинение — огромный компендиум, доведенный до царствования Диоклетиана и не законченный в связи со смертью автора, представляет настоящий кладезь раннесредневекового исторического знания, еще ждущий своего внимательного исследователя.[31] Подобно автору «Пасхальной хроники», Георгий основное внимание уделяет розыску и обоснованию исторических дат и установлению их символического, сакрального значения, однако делает это с эрудицией и тщанием настоящего средневекового экзегета, исследующего и опирающегося на десятки сочинений своих предшественников. Подобно Малале, Георгий Синкелл старается создать грандиозную конструкцию, в которой могла бы уместиться вся мировая история, однако в отличие от своего предшественника не обладает иллюзией абсолютного знания и потому в беспокойном поиске истины без конца возвращает назад повествование, по нескольку раз на основании разных источников рассказывает об одних и тех же событиях, делает длинные выписки из сочинений своих предшественников, громоздит одно на другое противоречивые свидетельства. Создается порой впечатление, что перед нами не законченное сочинение, а лишь его черновой конспект. Однако самое «идейно значимое» отличие Георгия Синкелла от Малалы заключается в том, что для последнего хронологической рамкой и «мерой» всех событий постоянно и непременно

является священная история. Вспомним, у Малалы эта рамка все время менялась, ее роль выполняли последовательно сменявшиеся «царства». Процесс сакрализации истории достигает у Георгия Синкелла своего апогея. В то же время Георгий Синкелл — скорей аналитик, нежели систематизатор, и его аналитические тенденции находятся в определенном противоречии с системосозидающей функцией византийской историографии. Тем удивительней, что самым последовательным систематизатором в византийской историографии оказался его ученик и почитатель Феофан Исповедник. Ученик совершил то, что тщетно стремился сделать, но не сумел (или не успел?) его учитель: изложить историю в строгой погодной, анналистической системе. Конечно, задача Феофана была несравненно легче, чем у Георгия. Историк не переписывает всю историю заново, а продолжает ее с того пункта, на котором остановился его наставник, и в поле его зрения попадают лишь события римско-византийского региона. Дело, однако, не столько в масштабе предприятия, сколько в организации и композиции его труда. Обозначенный у Малалы, намеченный у Георгия Синкелла анналистический принцип проведен у Феофана с завидной последовательностью.[32] В соблюдении этого принципа Феофан воистину непреклонен. Не останавливаясь перед явным насилием над материалом, он допускает немало хронологических ошибок, объединяет под одним годом разновременные события, пересказывая свои источники, нарушает сцепления фактов, устанавливает новые логические и временны́е связи между эпизодами, по принципу мозаичиста по-новому компонует текстовые блоки и делает все это ради анналистической систематизации исторического материала. В отличие от Георгия Синкелла Феофану «все ясно», его не посещают сомнения и колебания, он безусловен и категоричен, его версии и хронология событий должны молчаливо восприниматься как единственно правильные и надежные. Поскольку излагаемые факты представляются Феофану непреложно истинными, ему нет нужды, подобно своему учителю, указывать на источники,[33] а тем более сопоставлять их между собой. Более того, сам автор как бы исчезает из бесстрастного и максимально объективированного повествования. Феофан пишет на грани анонимности, утверждает И. С. Чичуров.[34]

Этот же исследователь, явно эпатируя знатоков византийской литературы, именует одного из самых традиционных писателей новатором, имея в виду не применявшуюся до Феофана анналистическую форму его труда.[35] В этом парадоксе, однако, заключена лишь одна половина всегда диалектичной истины. Феофан действительно новатор, поскольку первый (и кстати последний) воспользовался формой

строгой погодной хроники, столь обычной для средневекового Запада, мусульманского мира и Древней Руси, но уникальной в Византии. Однако Феофан и самый «средневековый» из византийских хронистов, в творчестве которого достигает своего пика «системосозидающая» тенденция, свойственная изначально византийской историографии.

Наиболее выразительная для медиевального способа исторического мышления анналистическая форма не пустила, однако, корней в византийской хронистике. Уже следующий за Феофаном хронист Георгий Монах возвращается к традиционной «императорской хронике», членя время не по годам, а по периодам царствования византийских василевсов. Впрочем, вряд ли следует очень акцентировать разницу между методами построения истории Георгия Монаха и, например, Феофана. По своей мировоззренческий основе они в принципе очень схожи. Оба автора как бы налагают на события мировой истории жесткую хронологическую сетку, хотя и с разными по величине ячейками: у Феофана их роль выполняет хронологический год, у Георгия — период царствования императора. Насколько методично и последовательно проводится этот принцип Георгием, видно хотя бы из того, что историк не пропускает даже царей, владевших престолом несколько месяцев и не совершивших ничего достойного упоминания хрониста. Хотя на выделенные в изданиях главки текст рукописи и не делится, тем не менее разделы, посвященные каждому императору, четко отграничены начальной стандартной формулой (после *X* царствовал *Y* в течение *Z* лет), после которой, как правило, следуют одна-две фразы об императоре, нередко включающие сообщение о его смерти. Затем Георгий Монах об императоре категорически забывает и излагает события без всякой связи с фигурой царя. Таким образом, василевс оказывается не более чем эпонимом, проще говоря, обычной хронологической пометой (наподобие календарного года у Феофана) для событий, с которыми он не объединен никакой внутренней связью. Сам рассказ строится в виде суммы рядоположенных эпизодов — сообщений, сочлененных простейшими соединительными звеньями типа «при нем», «в то время» и так далее.

Нетрудно видеть, что при всех внешних модификациях построение византийской хроники по существу мало изменилось за три века, отделяющих Георгия Монаха от Малалы. Не так много изменений можно обнаружить и в характере обрисовки персонажей. Если исторические события в известном смысле остаются атрибутами времени, то на долю героя приходится роль еще меньшая: как у Иоанна Малалы, он остается «формальным субъектом» действия. Впрочем,

такое утверждение нуждается в оговорке. Если характеристики Малалы в подавляющем большинстве случаев были совершенно нейтральны (апостол Павел и Одиссей характеризуются очень сходными эпитетами!), то в последующей хронистике по мере догматизации христианства все более утверждается принцип, который немецкие ученые обычно определяют емким словом Schwarz-weißmalerei, т. е. четкое разделение героев на «черных» и «белых», «злодеев» и «праведников», «положительных» и «отрицательных» без всяких полутонов и переходов. Своей вершины этот принцип достигает у Георгия Монаха.

Пребывание героя на периферии исторического повествования, несомненно, связано с самыми основами христианского миропонимания — представлениями о взаимоотношении человека и Бога, свободной человеческой воли и божественного промысла. В самом элементарном виде их можно охарактеризовать следующим образом (сделаем это, пользуясь примерами Георгия Монаха). Карающий судия Бог определяет течение земных дел, наказывает людей за грехи, вознаграждает за добродетели (Georg. Mon., 730.9). Почти всегда это именно Бог, а не его обезличенные субституты. Соотношение высшей силы, Бога и событийного ряда элементарно и однозначно: «вызовы» нарушителей божественного миропорядка влекут за собой более или менее быструю реакцию — «ответ» (мы в данном случае употребляем частый в теологической литературе и у историков термин ἀπόφασις) Бога. Впрочем, бывают и исключения, поскольку справедливый божественный суд может и не обладать для людей сиюминутной определенностью и ясностью. Арабы, например, овладели Сирией «по неясному суду божьему» (Georg. Mon., 707.17). Божественная воля проявляется, естественно, не только post eventum, не только в виде воздаяния за уже совершенные поступки, но и загодя, и тогда она сказывается во всевозможных предсказаниях, предзнаменованиях, чаще всего в виде необычных природных явлений и т. п.

И тем не менее в этой картине мира, где все, казалось бы, предопределено божественной волей, немалое место зарезервировано свободному человеческому выбору (προαίρεσις).[36] Именно своими поступками, своим собственным свободным выбором человек или обеспечивает себе спасение, или навлекает на себя божий гнев. Противопоставляя христианскую и мусульманскую веру, Георгий Монах утверждает, что, согласно первой, Бог не повинен ни в каком зле и самовластен человек в спасении своем и гибели (Georg. Mon., 703.21 сл.). Напротив, мусульманский пророк (его имя сопровождается изощренными проклятиями) приписывает божественному провидению все, что

только случается с человеком, происходит ли это по козням дьявола или по его собственному легкомыслию и дурному решению. Таким образом, несмотря на божественное управление миром, человек способен влиять на течение событий, ибо то или иное поведение должно вызывать соответственно разную реакцию, «ответ» Бога. Возникшие тут логические противоречия ни византийские богословы, ни тем более историки решать не пытались, но дурные порывы человеческой души приписывали козням дьявола, которому также отводилось соответствующее место в возглавляемой Богом иерархии (Georg. Mon., 669.1 сл.).

Итак, две, казалось бы, несоединимые идеи — власти божественного провидения и свободного человеческого выбора (извечная амбивалентность византийского сознания![37]) — мирно сочетаются в представлениях средневековых греческих хронистов. Но если первая — в конечном счете основа византийской «безликой», «безгеройной» историографии, то вторая окажет влияние на художественную ткань произведения несколько позже. Но об этом дальше.

Представленный здесь короткий обзор византийской историографии VI–IX вв. крайне неполон, его задача — хотя бы бегло охарактеризовать ту литературную традицию, к которой примыкало и которую в значительной мере преобразовало сочинение, известное под условным наименованием «Хронография» Продолжателя Феофана.

* * *

Полный текст «Хронографии» Продолжателя Феофана сохранился в двух рукописях, хранящихся в настоящее время в Ватиканской библиотеке. Одна из них составлена в XI в. (Vat. gr. 167), другая — в XVI в. (Cod. Barber. gr. 232). Впрочем, рукопись XVI в. — не что иное, как копия первого манускрипта, и, таким образом, известный нам текст базируется фактически на единственной, правда, достаточно древней рукописи. К сожалению, первый издатель текста Комбефис опубликовал в 1685 г. «Хронографию» не по ранней и оригинальной, а по поздней рукописи-копии, при этом не только воспроизвел все ее описки, но и прибавил кое-какие от себя.[38] Издание Комбефиса было без изменений перепечатано в «Боннском корпусе».

Даже при беглом чтении «Хронографии» становится ясным, что это сочинение — плод творчества не одного, а по крайней мере трех или четырех авторов. Лемма, предпосланная всему сочинению, явно заимствована из какой-то древнейшей рукописи, содержавшей лишь первые четыре книги «Хронографии». Видимо, не слишком вдумчивый редактор механически монтировал разные произведения.

Об этом же свидетельствует и сохраненная редактором отдельная лемма к пятой книге, так называемому «Жизнеописанию Василия», приписывающая составление этой части не кому иному, как императору Константину VII Багрянородному. Совершенно отдельную по происхождению часть представляет собой последняя, шестая книга, объединившая в себе рассказы о царствовании нескольких императоров. Таким образом, в том виде, в котором «Хронография» до нас дошла, это сочинение представляет собой типичный средневековый «летописный свод», в котором достаточно механическим путем объединялись разные произведения, между собой даже как следует не состыкованные. Кому принадлежат отдельные части этого летописного свода? Когда они были написаны? Кто был составителем всего произведения? Ответы на эти вопросы большей частью гипотетичны.

Составитель I–IV книг анонимен. Из предисловия нам известно только, что писал он по заданию византийского императора Константина Багрянородного, который сам «трудолюбиво собрал и обозримо изложил» весь материал истории, лишь «использовав руку» нашего автора. Иными словами, можно предположить, что автор — один из ученых секретарей Константина, императора, известного своими антикварно-научными и литературными занятиями, и что именно этому секретарю была поручена обработка собранного василевсом материала.[39]

Как уже отмечалось, автором «Жизнеописания Василия», согласно лемме, был сам Константин Багрянородный, хотя столь категоричное утверждение леммы не может не вызвать и определенных сомнений. Дело в том, что сам Константин в тексте «Жизнеописания» кое-где упоминается в третьем лице и к нему обращены неумеренные восхваления.

Время составления I–V книг — период единодержавного правления Константина VII Багрянородного (945–959 гг.), впрочем, некоторые данные заставляют предположить, что текст подвергся определенной редакции в более позднее время (см. с. 303, прим. 107).

Давно было замечено, что последняя, шестая, книга тоже не представляет собой единого произведения и, вероятно, написана двумя разными авторами. Ее первая часть (до рассказа о смерти и погребении низложенного Романа Лакапина в 948 г.) почти текстуально пересказывает редакцию В хроники Симеона Логофета и была составлена, видимо, в период царствования Никифора Фоки, поскольку называет его императором, а преемника Никифора Иоанна Цимисхия упоминает в качестве частного лица (см. с. 320, прим. 57).

Вторая часть шестой книги, неожиданно обрывающаяся на рассказе об эпизоде 961 г., явно написана каким-то современником событий и полна личных наблюдений и эмоций. Написана она, возможно, еще до 963 г., ибо, сочувственно отзываясь о Никифоре Фоке, ни разу не именует его императором.[40]

Начиная с прошлого столетия, не прекращаются соблазнительные попытки предложить на роль редактора свода или автора отдельных его частей известного деятеля X в., мистика (доверенного секретаря) императора Константина Багрянородного, эпарха Константинополя Феодора Дафнопата. Этот Дафнопат, упомянутый и в нашем тексте (с. 194), был автором нескольких дошедших до нас сочинений и, что самое важное, написал, по свидетельству Иоанна Скилицы, несохранившееся историческое произведение,[41] которое, видимо, сам Скилица и использовал. Все части «Хронографии» Продолжателя Феофана, включая даже принадлежащую Константину Багрянородному пятую книгу, разные ученые в разное время приписывали Феодору Дафнопату.[42] Уже это разноречие не позволяет сколько-нибудь определенно говорить о роли этого чиновного писателя в составлении свода Продолжателя Феофана. Подводя итог дискуссии, Г. Хунгер говорит, что в гипотезе об авторстве Дафнопата «коечто есть» («hat einiges für sich»).[43] Вряд ли при нынешнем состоянии источников можно что-либо прибавить к этому сверхосторожному замечанию.

Три части нашего сочинения весьма различны по своему характеру и стилю. Нет необходимости останавливаться здесь на характеристике последней части. Это — типичная византийская хроника, и почти все, что говорилось о предшествующей хронографии, в той или иной степени к ней хорошо приложимо.[44] Вспомним: византийская литература отличается удивительным консерватизмом, однажды появившиеся формы не исчезают, а продолжают существовать чуть ли не до конца самой Византии! Тем более интересно обратиться к анализу первых двух частей, составляющих столь разительный контраст к последней, шестой, книге и всей предшествующей хронографии.

* * *

Итак, первые пять книг нашего сочинения были написаны в середине X в. при дворе Константина VII Багрянородного. Царствование этого императора занимает часть длительного исторического периода конца IX–начала XI в., нередко именуемого эпохой «македонского ренессанса». Наименование это столь же устойчиво в исторической литературе, сколь и лишено смысла по существу. Определение

«македонский» происходит от названия правившей тогда «македонской династии», родоначальником которой был дед Константина Багрянородного Василий I. Что же касается «ренессанса», то под ним ученые понимают время восстановления античного знания и образованности, наступившее после веков «застоя» и «упадка». Впрочем, интерес к античной культуре в Византии периодически усиливался и возгорался, и «ренессансов» можно насчитывать немало. Некоторые исследователи доводят их число до пяти.

Оставляя в стороне потерявший в этом контексте всякую определенность термин «ренессанс», отметим, что в середине X в. продолжается подъем византийской культуры, начавшийся в первые десятилетия IX в. и сменивший так называемые «темные века» византийской истории.[45] Говоря о культурном подъеме, нельзя забывать, что речь в сущности идет о тончайшем слое константинопольской верхушки, главным образом государственных и церковных чиновников общим числом, вероятно, не более двух-трех тысяч человек, по уровню образования способных создавать и воспринимать литературные и ученые сочинения, писавшиеся на искусственно поддерживаемом и выученном ими древнем греческом языке. Именно этот слой создавала и воспроизводила весьма хрупкая система «высшего образования», базировавшаяся на частных, домашних «ученых кружках»,[46] а с конца IX в. и на основанном кесарем Вардой и находившемся под эгидой двора так называемом «константинопольском университете».

Интересы писателей и ученых этой поры имели ярко выраженный антикварный и систематизаторский характер. В поисках «мудрости» деятели культуры той эпохи обращались главным образом к наследию поздней античности и ранней Византии и высказывали при этом подчас столько же рвения в коллекционировании всевозможных свидетельств древних авторов, сколь и непонимания «духа античности» (если только это «понимание» мы можем приписать себе). Самым великим компилятором того времени был патриарх Фотий, самой великой его компиляцией знаменитая «Библиотека», или «Мириобиблион», — огромный свод из 279 статей, реферирующих, пересказывающих и частично цитирующих сочинения античных и византийских, языческих и христианских авторов. В конце X в. были составлены (мы называем только малую часть известных памятников) «Палатинская антология» — огромное собрание античной и византийской эпиграммы, своеобразный лексикон-энциклопедия «Суда», и то и другое истинные шедевры ориентированного на энциклопедическую компиляцию интеллекта.

Антикварный характер культуры, великое тщание в систематизации и собирательстве и в то же время удивительное отчуждение от духа античности заставило современного французского исследователя заменить термин «ренессанс» на несравненно более точный и содержательный в данном случае «энциклопедизм».[47]

Одной из самых характерных фигур среди ученых-эрудитов и энциклопедистов был император Константин Багрянородный — «заказчик» первых четырех и автор пятой книги Продолжателя Феофана. Обширной ученой, литературной и собирательской деятельности Константина благоприятствовала сама судьба. Вряд ли он смог бы столько сделать «по ученой части», если бы все годы (по византийским масштабам достаточно долгие), в которые носил царскую корону, действительно занимался управлением государством. Сын императора Льва VI Мудрого и его четвертой жены Зои Карбонопсины, он родился в 905 г. Уже в младенческом возрасте Константин стал объектом политической борьбы и придворных интриг. Патриарх Николай Мистик, возмущенный «незаконным сожительством» императора Льва с Зоей, поставил условием крещения ребенка изгнание из дворца его матери, а когда Лев нарушил соглашение, запретил ему доступ в церковь. Брак Льва и Зои был освящен новым патриархом Евфимием,[48] однако определенная тень «незаконнорожденности» осталась лежать на ребенке, делая его положение при дворе неосновательным и шатким. Уже пришедший к власти в 912 г. брат Льва Александр собрался оскопить Константина, чтобы навсегда преградить своему порфирородному племяннику путь к престолу. Возвращение из изгнания Зои Карбонопсины в 913 г. предоставило определенные гарантии безопасности девятилетнему царю, однако не смогло обеспечить ему на будущее реальной власти. Эту реальную власть получает вскоре энергичный полководец Роман Лакапин, выдавший в 919 г. за Константина свою дочь Елену. Для Константина начинаются долгие годы, когда он получал все предусмотренные церемониальным уставом почести, но оказался полностью отстраненным от государственных дел. И лишь после смерти Романа Лакапина в 945 г. сорокалетний Константин, обладавший номинальным царским достоинством уже в течение тридцати трех лет, наконец стал василевсом не только именем, но и на деле.

Вынести определенное впечатление об образе Константина VII на основании византийских источников непросто. Автор шестой книги Продолжателя Феофана представляет читателю классическую соматопсихограмму Константина, отдельные элементы которой плохо сопряжены между собой. Скилица и Зонара, свидетельства которых

восходят к одному источнику, сурово бранят Констанина как государственного деятеля, но прославляют его преданность наукам и привязанность к ученым людям.[49] В новой литературе не без оснований утвердился образ «ученого на троне», пренебрегающего практической государственной деятельностью и всецело занятого научно-литературными проектами. «Еще больше, чем у его отца Льва VI, ученый литератор брал в нем верх над государственным деятелем. Жадный до знаний книгочей, усердный исследователь с ярко выраженным интересом к истории, для которого научные и литературные занятия были единственной страстью, он был больше в прошлом, чем в настоящем. Он интересовался политическими проблемами и даже военным искусством, однако интерес его, как и в любой другой области знаний, был чисто теоретическим», — пишет о Константине Багрянородном Г. Острогорский.[50] Этот портрет несколько стилизован и скорей навеян чтением трудов Константина, нежели отзывами о нем современников. Автор шестой книги Продолжателя Феофана, видимо, не без оснований говорит о знании Константином ремесел. Курьезно отметить, что этот же автор в унисон со Скилицей и Зонарой свидетельствует о пристрастии Констанина к вину.

Длительное пребывание при дворе в почете, но без всяких реальных обязанностей и прав, легкость доступа к материалам библиотеки и архива, штат квалифицированных секретарей и, возможно, неудовлетворенное честолюбие — все это было хорошей предпосылкой для ученых и литературных занятий Константина. До нас дошло несколько крупных научно-литературных произведений ученого царя.

Выбирая для своих сочинений предметы нередко вполне практического свойства, Константин, как истинно средневековый ученый, трактует их чисто умозрительно. Сведения, которые он сообщает, почерпнуты не путем наблюдения и изучения, а благодаря чтению сочинений авторитетов. Такой характер имело прежде всего собрание исторических эксцерптов, где разделенные на тематические разделы содержатся фрагменты из старых исторических писателей.[51] В значительной мере умозрительный и систематизирующий характер имеют его историко-географический трактат «О фемах»,[52] этнографический справочник и одновременно руководство по ведению внешнеполитических дел «Об управлении империей» [53] и сочинение, известное под названием «О церемониях византийского двора».[54]

В целом Константин Багрянородный, а вернее, возглавляемый им круг ученых секретарей, создал грандиозный свод византийской практической учености, равного которому не знает ни византийская, ни западная средневековая наука.

* * *

Из «ученого кружка» Константина Багрянородного вышли и пять первых книг публикуемого нами произведения. События, которые в этих книгах трактуются, происходили за многие десятилетия до рождения их авторов, и естественным желанием всякого внимательного читателя является выяснить, откуда писатели брали исторический материал, как и какими методами его обрабатывали. При отсутствии каких бы то ни было других данных задача эта могла бы оказаться вполне безнадежной, если бы до нашего времени не дошло полуанонимное сочинение, именуемое обычно «Книгой царей» Генесия, рассказывающее о тех же героях и в большинстве случаев тех же событиях, что и Продолжатель Феофана. Это сочинение, как явственно видно из его предисловия, тоже было написано по заказу Константина Багрянородного, хотя историк и приписывает себе в его создании гораздо больше заслуг, нежели наш автор.[55] Удивление, однако, вызывает не идентичность героев и материала (в конце концов речь в обоих произведениях идет об одном и том же времени), а поразительное сходство в структуре и деталях обоих сочинений. Зачем потребовалось Константину Багрянородному заказывать разным своим ученым помощникам два весьма сходных исторических труда? Предполагалось даже, что недовольный результатом усилий Генесия Константин велел вновь переписать историю. Эта гипотеза относится безусловно к числу фантазий, однако сравнение двух произведений действительно может дать немало интересного.

Исследователи уже немало потрудились для выяснения взаимоотношения обоих текстов. Впервые обратившийся к этой проблеме Ф. Гирш,[56] а вскоре после него Д. Бьюри [57] считали текст Генесия первичным, а «Историю» Продолжателя Феофана его переработкой и расширением. Несколько десятилетий эта гипотеза оставалась господствующей в науке, однако уже в 1934 г. А. Грегуар решительно объявил ее устаревшей.[58] Бельгийский ученый явно поторопился: в том же журнале Byzantion четверть века спустя публикуются статьи Ф. Баришича, поддерживающего и развивающего концепцию Бьюри-Гирша.[59] На тех же позициях стоит такой крупный знаток источниковедческих проблем, как П. Лемерль.[60]

Отмежевавшийся от концепции Бьюри-Гирша А. Грегуар опирался на детальные сличения текстов обоих авторов, произведенные исследовательницами Вернер и Мишо (их работы остались неопубликованными), и полагал, что Продолжатель Феофана и Генесий пользовались общим источником.[61] Точку зрения А. Грегуара поддержал

и развил А. Каждан.[62] Наличие общего источника казалось настолько самоочевидным для П. Карлин-Хейтер,[63] что исследовательница не считает нужным даже приводить какие-либо доказательства, будучи озабочена лишь поиском возможных источников этого не дошедшего до нас *ОИ (так отныне для краткости будем мы именовать гипотетический общий источник первых пяти книг Продолжателя Феофана и Генесия).

Оставшаяся третья возможность (Генесий использует текст Продолжателя Феофана) тоже не осталась без внимания ученых. А. П. Каждан, в принципе разделяющий концепцию А. Грегуара, делает исключение для пятой книги Продолжателя Феофана — жизнеописания Василия, принадлежащего самому Константину Багрянородному, которая, по мнению ученого, непосредственно составила основу для повествования Генесия.[64] Как можно понять из рецензии А. П. Каждана на статью П. Лемерля, не исключает ученый такой возможности и для остальных частей произведения.[65]

Итак, три возможные гипотезы уже высказаны, они имеют поныне достаточно авторитетных защитников, и на долю современного исследователя остается лишь подкрепить новыми наблюдениями ту, которую он разделяет, и опровергнуть аргументы сторонников остальных.

Позволим себе, однако, не следовать скрупулезно за доводами своих предшественников из боязни заблудиться в массе аргументов и контраргументов, а попытаемся рассмотреть проблему в целом.

Прежде всего зададимся вопросом, какова на самом деле степень сходства между обоими памятниками на композиционном и лексическом уровнях. Чтобы выполнить первую задачу, мы пронумеровали эпизоды в порядке следования в сочинении Продолжателя Феофана, а затем представили их в той последовательности, в какой они встречаются у Генесия.[66] Вот результат.

Царствование Льва V:
4а, 5, 2, 3, 6, 4б, 7, 8, 10, 9, 12, 11, 13, 17, 15;
царствование Михаила II:
2, 4, 10, (25.38–25.50), 9, 11, 13, 15, 16 (35.68–77), 18;
царствование Феофила:
2, 21а, 25г, 21в, 28б, 31, 28а, 28г, 28в, 25, 30, 23, 33;
царствование Михаила III:
1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 13, 17, 18, 20, 21, 9, 22, 23, 25, 27, 29а, 29б;
царствование Василия I:
1, 2, 3, 6, 9, (78.42–79.47), 11, (79.53–79.68), (79.69–80.80), 17б, (80.84–81.14), 27, 23а, 28б, 28а, 23б, (88.66–90.27), 36.

Конечно, приведенные схемы весьма условны. Деление связного текста на эпизоды и «подэпизоды» не может не быть субъективным, в некоторых случаях эпизоды занимают несколько страниц текста, в других — несколько строчек. И тем не менее в целом эти схемы дают представление о соотношении композиционного построения обоих произведений. Как видно, у Генесия почти нет эпизодов, не имеющих того или иного соответствия с текстом Продолжателя Феофана. Напротив, весьма многие эпизоды последнего ни в каком виде у Генесия не встречаются (все «пропущенные» цифры в наших схемах соответствуют именно этим имеющимся у Продолжателя Феофана, но отсутствующим у Генесия эпизодам).

Порядок следования эпизодов (и, следовательно, композиция!) «царствований» Льва V, Михаила III и в меньшей степени Михаила II почти идентичен. В этих же биографиях у Генесия сохранены почти все эпизоды, встречающиеся у Продолжателя Феофана.

Более всего «пропусков» встречается у Генесия в «царствованиях» Феофила и Василия I (во второй части). Там же — наибольшее расхождение в порядке следования эпизодов.

Гораздо меньше соответствий у авторов обнаруживается на лексическом уровне. Подчас приходится поражаться, как оба писателя, излагая одни и те же события, до деталей соответствуя друг другу в содержании и порядке следования материала, порой умудряются не употребить ни единого общего слова (за исключением, естественно, артиклей, предлогов и т. п.). Единственный случай частых лексических совпадений на протяжении нескольких строк — конец биографии Василия I (ThC 352.1–6 = Gen., 91.29–32). И тем не менее лексические следы общности текстов, подобно знаменитому шилу, которого в мешке не утаишь, дают о себе знать.

Любопытно, однако, что лишь в редких случаях лексические совпадения оказываются полными. Большей частью речь идет об общих корнях при вариации частей речи, грамматических форм и т. д. Создается впечатление непроизвольности этих совпадений: авторы (или один из них?) читают (или слушают?) большие отрывки текста, а затем пересказывают их по памяти. Выскажем эту мысль пока в сверхосторожной форме, хотя перепутанный порядок следования эпизодов (в тех, естественно, случаях, когда их перемещение не диктовалось такими-то сознательными задачами писателя), казалось бы, тоже говорит в пользу такого предположения.

Однако какой из приведенных выше вариантов в состоянии наиболее удовлетворительно объяснить характер сходства между обоими текстами?

Теория Бьюри-Гирша, которую в недавнее время поддержали Ф. Баришич и П. Лемерль, представляется нам неприемлемой. Ведь текст Продолжателя Феофана примерно в два с половиной раза превосходит сочинения Генесия (примерное соотношение по объему 7 : 3) не только за счет новых эпизодов (их появление легко объяснить добавлением из других источников), но и благодаря сокращенной передаче Генесием эпизодов идентичных. Неправы Ф. Гирш и его сторонники, полагающие, что Продолжатель Феофана «расширяет» произведение Генесия за счет чисто словесного распространения текста. Продемонстрируем это лишь на одном примере, избранном к тому же достаточно произвольно: рассказе о дальнейшей судьбе свергнутого императора Михаила Рангаве и его родственников (ThC 19.15–20.21 = Gen., 6.88–6.1).

У Продолжателя Феофана мы встречаем следующие детали, отсутствующие у Генесия: Михаил был отправлен в монастырь на остров Плата, получил монашеское имя Афанасий и прожил в монастыре 32 года, вместе с ним в ссылке находились его сыновья Евстратий и Никита (19.21–20.3), супруга же Михаила была сослана в монастырь Прокопии (20.9–10). Естественно, перед нами отнюдь не «словесное расширение» текста Генесия. Конечно, теоретически можно себе представить, что новые сведения были заимствованы из какого-то другого источника, известны Продолжателю Феофана по слухам или, наконец, попали из маргиналий какой-то утерянной ныне рукописи Генесия. Однако таким образом можно было бы, вероятно, объяснить один или несколько случаев, «новые» же детали у Продолжателя Феофана — явление настолько систематическое, что отметивший этот факт Ф. Баришич, дабы спасти свой тезис о первичности текста Генесия и вторичности Продолжателя Феофана, предлагает неловкое объяснение: Продолжатель Феофана де проверял и добавлял текст Генесия... материалом его же источников.[67]

В этой ситуации казалась бы гораздо более естественной мысль о том, что «краткий» Генесий пересказывает «распространенного» Продолжателя Феофана. Однако и она не выдерживает критики. Уже давно замечено, что в ряде случаев Генесий более подробен и что даже в «сокращенных» частях систематически сообщает конкретные детали, отсутствующие у Продолжателя Феофана.

Те же причины, которые помешали нам признать в Продолжателе Феофана компилятора истории Генесия, не позволяют нам допустить и противоположную возможность («Жизнеописание Василия» никакого исключения в этом отношении не составляет).

Сторонники идеи «прямого взаимодействия» между текстами Продолжателя Феофана и Генесия могут сослаться на возможность заимствования нашими авторами сведений из посторонних источников или из устной традиции. Такие случаи наверняка имели место, но не они определили главное различие между произведениями.

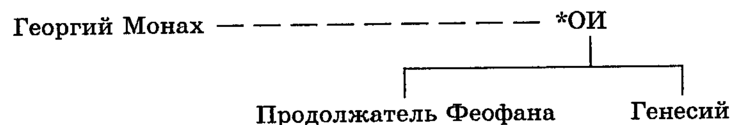
Итак, воспользовавшись элементарным методом исключений, мы пришли к единственному оставшемуся и возможному объяснению: использованию нашими авторами *ОИ. Действительно, только эта гипотеза удовлетворительно интерпретирует взаимоотношение текстов обоих писателей. То, что Продолжатель Феофана и Генесий с различной степенью подробности и подчас разными деталями передают одни и те же эпизоды, оказывается вполне естественным, если представить себе (а иначе и быть не может!), что каждый автор берет из *ОИ «свое добро», причем отнюдь не обязательно то же самое, что и его коллега.

Наглядный в этом отношении пример — рассказ об экспедиции Насара в период царствования Василия I (ThC 302.1–305.17 = Gen., 82.58–85.47). Близкое родство этих эпизодов у обоих авторов помимо почти полного совпадения содержания удостоверяется относительно частыми лексическими соответствиями. На фоне этой безусловной общности лишь заметней становится отсутствие некоторых деталей. По Константину Багрянородному, например, помогать «казни» дезертиров ромейского флота должен был Иоанн Критский (ThC 303.14 сл.). Насар, сжигающий сарацинские корабли, отдает избежавшие огня суда Мефонской церкви (304.11 сл.) (ничего этого нет у Генесия). У Генесия, напротив, имеется сообщение о численности экипажей сарацинских кораблей (83.94) и угрозах царя казнить не только ромейских дезертиров, но и их супруг, детей и родителей (84.30) (этих деталей нет уже у Константина Багрянородного).

Мы привели в качестве примера весьма близкие один другому эпизоды в обоих текстах. Однако степень сходства эпизодов бывает весьма различна, а подчас они фактически превращаются в разные версии. Характерный пример — рассказ об отношении Михаила III к конным ристаниям (ThC 197.10–199.7 = Gen., 72.47–73.55). И местонахождение эпизодов, и некоторые общие детали (Михаил занимается ристаниями во дворце вблизи храма св. Мамы, в его развлечениях участвует логофет Константин) выдают единое их происхождение. Однако все прочие детали в этих рассказах разнятся. У Генесия повествуется главным образом о том, как любитель ристаний Михаил опрокинулся на колеснице и чуть не погиб, у Продолжателя же Феофана рассказывается, как никакие самые неотложные

государственные обязанности не могли отвлечь царя от любимого развлечения. Другой пример явно родственных и в то же время весьма разнящихся эпизодов — рассказ о восстановлении иконопочитания Михаилом III (ThC 150.9–151.22 = Gen., 57.81–58.26).[68] Повествование *ОИ, видимо, было достаточно богато фактами, чтобы дать основание для появления генетически родственных, но столь не похожих один на другой рассказов.

Теория общего источника неожиданно подтверждается и следующим наблюдением. Некоторые эпизоды, встречающиеся одновременно у Продолжателя Феофана и Генесия, находят определенное соответствие в пассажах из сочинений других историков и агиографов X в. — Георгия Монаха, Продолжателя Георгия Монаха, Симеона Логофета в разных редакциях, Никиты (автора «Жития Игнатия») и др. Названные историки принадлежат к совсем иной хронографической традиции, нежели Продолжатель Феофана и Генесий.[69] Тем не менее какие-то точки пересечения между этими двумя хронографическими линиями в X в. были. Не наше дело углубляться сейчас в решение этого вопроса, ясно только, что родственность пассажей Продолжателя Феофана, Генесия и, скажем, Георгия Монаха — это следствие генетической общности пассажей Георгия Монаха и *ОИ. Графически это взаимоотношение можно представить следующим образом.



Пунктирная линия показывает, что характер связи не установлен (речь вообще, скорее, должна идти об общности отдельных эпизодов, генезис которой неясен). Как бы то ни было (и только это для нас сейчас важно!), отдельные пассажи упомянутых авторов дают какое-то представление о соответствующих эпизодах *ОИ. Теперь приведем лишь один из этих эпизодов в редакциях Георгия Монаха, Продолжателя Феофана и Генесия, при этом курсивом выделены слова, встречающиеся у Георгия Монаха и Генесия, разрядкой — у Георгия Монаха и Продолжателя Феофана, полужирным шрифтом — у всех трех авторов:

I. τράχηλον αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρχαίαν συνήθειαν *πεπατηκὼς* καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτοῦ χεῖρας καὶ πόδας καὶ οὕτως ἀνασκολοπίσας (Georg. Mon., 797);

II. ὁ δὲ γηθσμένῳ ποδὶ κατ᾽ αὐχένα *πατήσας* αὐτὸν χειρῶν ἄμφω καὶ ποδῶν στερηθῆναι κελεύει ἐπὶ κοντοῦ τε ἀναρτᾶσθαι πρὸς τούτῳ (Gen., 31.51–53);

III. ὁ δὲ τὸ δόξαν πάλαι τοῖς βασιλεῦσι καὶ εἰς συνήθειαν ἤδη ἐλθὸν πρῶτον τελέσας καὶ ὑποκάτω θεὶς τῶν ποδῶν, ἀκροτηριάζει τοῦτον καὶ πόδας καὶ χεῖρας ἀπαράσσει αὐτοῦ (ThC 69.12–15).[70]

Как видно, результат рассмотрения лексики получился такой же, как и при анализе исторических деталей: некоторые слова *ОИ заимствованы обоими авторами, другие одним из них, третьи, видимо, были вовсе опущены. Без допущения существования *ОИ тут уже не обойтись вовсе.[71]

Однако в чем причина того, что ряд генетически родственных эпизодов у Продолжателя Феофана и Генесия фактически превращается в разные версии? Оставим в стороне всегда существующую возможность заимствования сведений из каких-то посторонних источников, слухов, устной традиции и т. п.[72] Главная причина заключается, видимо, в способе, каким наши авторы (или один из них?) воспроизводили оригинал. Осторожное предположение об этом способе было высказано выше. Писатели прочитывали (прослушивали?) большие отрывки текста и затем лишь воспроизводили их по памяти. Новым доказательством именно такого метода работы наших авторов является анализ и классификация случаев расхождения исторических и других деталей между сочинениями Продолжателя Феофана и Генесия. Не беря на себя труд полностью перечислить все расхождения наших авторов, укажем только на некоторые, возникновение которых элементарно объясняется lapsus memoriae одного (или обоих?) из писателей, пересказывающих «без опоры на текст» большие пассажи *ОИ. Согласно Продолжателю Феофана, вскоре после убийства Михаила III ушла из жизни и предварительно постригшаяся царица Феодора. Василий I велел перевести останки Феодоры и ее дочерей в монастырь τῶν Γαστρίων (ThC 174.10 сл.). У Генесия в соответствующем эпизоде в названный монастырь переведена была живая Феодора с дочерьми, где они и были пострижены (Gen., 64.84 сл.). «Верный» (т. е. соответствующий *ОИ) вариант находится по принципу избрания lectio difficillior. Виновник искажения, следовательно, — Генесий, представивший упрощенную версию и допустивший здесь, видимо, и ряд других отступлений от *ОИ.

Количество подобных примеров можно продолжать почти бесконечно. У Генесия в рассказе о Василии I Илья Фесвит предсказывает императорскую власть младенцу Василию (Gen., 77.83 сл.). У Продолжателя Феофана Илью Фесвита мать Василия видит во сне (ThC 222.9 сл.). Опять-таки по принципу избрания lectio difficillior

признаем последнюю версию лучше отражающей *ОИ. Как это нередко случается, при устной передаче или при воссоздании событий по памяти происходит подмена субъекта или объекта действия.

Весьма распространенным расхождением у наших авторов является включение тех или иных эпизодов и деталей в разный хронологический или логический контекст. Приведем простейший и один из весьма многочисленных случаев. Завершая рассказ о деяниях Феофила, Продолжатель Феофана сообщает о многочисленных стихийных бедствиях, происходивших в его царствование (ThC 137.18–22). Заметка эта с контекстом не связана и представляет собой очень частое в хрониках указание на грозные явления природы. Именно эта заметка является у Генесия в «заключительной характеристике» Феофила, где, однако, стихийные бедствия непосредственно сопрягаются с бесчинствами императора (Gen., 52.75–53.80). Таким образом, Генесий создает логические связи, отсутствовавшие в *ОИ.

Любопытный пример «сдвига контекста» — рассказ об арабских войнах императора Феофила. Нетрудно подсчитать, что, согласно Продолжателю Феофана, Феофил провел пять кампаний против арабов.[73] Согласно Генесию, их было только две.[74] Последний опускает первую, вторую и четвертую кампанию. Причем, начав рассказ о борьбе Феофила с арабами и имея в виду первую кампанию, Генесий фактически рассказывает о третьей. Естественно, что события у Генесия оказываются в совершенно иной связи между собой, нежели у Продолжателя Феофана. И здесь нужно предполагать, что Продолжатель Феофана ближе к *ОИ,[75] ошибка же Генесия хорошо понятна, если принять во внимание тот способ, каким, как мы предполагали, перерабатывают наши авторы свой оригинал. После прочтения (прослушивания?) больших пассажей текста в памяти остаются факты и детали, а связи между ними как бы воссоздаются заново.

Такой способ воспроизведения прототипа зафиксирован в средневековой практике.[76] Об этом же свидетельствуют и наши наблюдения над методами работы Феофана Исповедника.[77]

После того как мы привели соображения в пользу зависимости от *ОИ, попробуем сделать еще один шаг и попытаемся хотя бы в самых общих чертах реконструировать, что представлял собой *ОИ.

До сих пор высказывалось два предположения: 1) *ОИ представлял собой историческую хронику; 2) *ОИ был собранием черновых материалов, отдельных заметок, выписок, подготовленных императором Константином Багрянородным или его секретарями.[78]

Не предрешая сейчас ответа на этот вопрос, постараемся восстановить в самом, естественно, общем виде контуры *ОИ и при этом

будем исходить из само собой разумеющейся предпосылки, что все общее, свойственное нашим писателям, так или иначе восходит к *ОИ, а все их различия — результат авторской обработки оригинала или влияния посторонних устных или письменных источников.

Прежде всего, *ОИ не был разделен на «царствования» отдельных императоров, как сочинения Продолжателя Феофана и Генесия. В пользу такого предположения говорят два довода.

Раздел материала между отдельными царствованиями у наших авторов не совпадает в двух случаях из четырех. «Царствования» Михаила III и Василия I у Генесия в отличие от Продолжателя Феофана объединены в одну книгу. Основанием для такого объединения является, видимо, факт совместного правления в течение года обоих императоров. Так и Пселл в «Хронографии» объединяет царствование Зои, Феодоры и Константина IX Мономаха. По-разному разделены и «царствования» Льва V и Михаила II. У Генесия история воцарения Михаила II (Gen., 19.83–20.1) отнесена к царствованию Льва V, у Продолжателя Феофана — Михаила II (ThC 40.14–47.7).

Можно думать, что каждый автор самостоятельно делил на разделы сплошное повествование *ОИ. На эту же мысль наталкивает и другое наблюдение.

Как у Продолжателя Феофана, так и у Генесия изложение истории каждого царствования завершается «заключительной характеристикой» императора, своеобразной модификацией известного еще с античных времен elogium'а. Любопытно, однако, что при совпадении почти всего остального материала нет ни одного случая соответствия между собой «заключительных характеристик».[79] Самое вероятное объяснение: в *ОИ этих «заключительных характеристик» не было вовсе, они созданы самостоятельно каждым из наших авторов для композиционного завершения новых единиц повествования — «царствований». Их в *ОИ и не могло быть, поскольку в сплошном повествовании для них не оставалось места...

Анализ «заключительных характеристик» наталкивает и на другой вывод, касающийся уже вопроса о том, какой из имеющихся в нашем распоряжении текстов (Продолжателя Феофана и Генесия) ближе к *ОИ. Речь прежде всего идет о том, сокращает ли «краткий» Генесий *ОИ или, напротив, расширяет его новыми данными «распространенный» Продолжатель Феофана. Если «заключительные характеристики» Продолжателя Феофана, как правило, представляют собой действительно обобщающие замечания о свойствах, нраве героя, то гораздо менее умелый Генесий чаще всего монтирует их из кратких сообщений о тех или иных поступках, видах деятельности

и т. п. героя. Причем эти сообщения в подавляющем большинстве случаев содержатся в основном повествовании Продолжателя Феофана.[80] Иными словами, многие данные *ОИ Генесий в процессе рассказа опускает, хотя и пользуется ими (в весьма сокращенном виде!) для построения «заключительной характеристики».

Итак, Продолжатель Феофана гораздо более полно передает *ОИ, нежели Генесий. К аналогичному выводу приходили мы и раньше: в большинстве приведенных выше примеров «искажения» *ОИ мы вменяли в вину Генесию...

Можно попытаться поставить вопрос и о том, который из двух авторов ближе к *ОИ в стилевом и языковом отношении. Проблема эта несомненно трудная, поскольку, как отмечалось, лексические совпадения весьма немногочисленны и кратки. Тем не менее и здесь кое-какие косвенные данные дают основания для заключений.

Решению вопроса о том, кто ближе в стилистическом и языковом отношении к *ОИ, Продолжатель Феофана или Генесий, мог бы помочь какой-нибудь третий текст, так или иначе восходящий к *ОИ (аналогичным образом привлекали мы выше пассажи из Георгия Монаха). Такого «третьего» текста не существует, однако его роль могут сыграть кое-какие дублеты у Продолжателя Феофана, вернее, совпадения пассажей у автора первых четырех книг Продолжателя Феофана и у Константина Багрянородного в «Жизнеописании Василия».

Повествуя о царствовании Михаила III, Продолжатель Феофана и Генесий сообщают историю назначения шутовского патриарха Грила и рассказывают о бесчинствах его и его свиты (ThC 200.15–202.4 = Gen., 73.56–66). Генетическая близость рассказов сомнения не вызывает, их положение на идентичном месте у обоих авторов непреложно свидетельствует о том, что эпизоды восходят к *ОИ. Но этот же эпизод (уже в третьей редакции, но опять-таки восходящей к *ОИ) встречается и в жизнеописании царя Василия (ThC 244.3–247.15). Логично предположить, что сходные между собой рассказы будут наиболее полно отражать версию *ОИ. Сходными же оказываются сообщения Продолжателя Феофана и Константина Багрянородного, живостью, эмоциональностью, образностью изложения и обилием деталей отличающиеся от краткого и сухого пересказа Генесия.

Аналогичным образом сохранились три редакции и эпизода убийства Кесаря Варды в Кипах,[81] и хотя в данном случае лексических совпадений у Продолжателя Феофана и Константина Багрянородного почти нет, их стиль и характер передачи сцен и здесь резко отличаются от суховатого рассказа Генесия.

Думается, что к *ОИ можно возвести и аналогичные пассажи ThC 208.18–21 = ThC 250.21–251.2. Конечно, основанному на трех примерах нашему выводу можно и не придавать универсального значения (не исключено, что в каких-то отрывках Генесий оказывается ближе к *ОИ, нежели Продолжатель Феофана), тем не менее, и у нас была уже возможность в этом убедиться, стилистика — не единственный аспект, в котором Продолжатель Феофана теснее примыкает к своему источнику.

Попробуем теперь ближе представить себе композицию гипотетического *ОИ. Обращает на себя внимание тенденция наших писателей и особенно Генесия приводить по две версии одного и того же эпизода. Наличие двух версий каждый раз четко отмечается писателями. Порядок расположения этих версий может быть одинаков (например, рассказы о битвах Льва V с болгарами,[82] история Феофоба),[83] а может и разниться (например, рассказы о Фоме Славянине).[84]

«Перепутанность» версий — результат того же метода воспроизведения больших пассажей текста оригинала, о котором говорилось выше. В приведенных примерах обе версии встречаются в том и другом сочинении. Имеются, однако, случаи, когда две версии дает только Генесий, а Продолжатель Феофана контаминирует их в одну.[85] При такой ситуации, естественно, более близким к оригиналу оказывается Генесий, а видоизменяет композицию *ОИ Продолжатель Феофана. Как бы то ни было, наличие двух версий в *ОИ сомнений не вызывает. Любопытны также случаи, когда в тексте одного из авторов обнаруживаются как бы «отдаленные отзвуки» иной версии, существование которой подтверждается другим писателем.

Вот примеры. Когда будущий царь Василий проводил ночь у монастыря св. Диомида, «какому-то монаху, — пишет Генесий, — или, как некоторые утверждают, самому настоятелю привиделся сон...» (Gen., 77.86–87). Оборвем цитату на середине, в данном случае важно только, что Генесию известна версия, будто сон привиделся не монаху, а настоятелю монастыря. Именно такой вариант и передает в соответствующем месте Продолжатель Феофана (ThC 223.15).

А вот противоположный случай. Продолжатель Феофана, сообщая о том, как Варда заключил Игнатия в тюрьму, добавляет, что тюрьма эта располагалась при храме св. Апостолов, но не «в великом и почитаемом, а в том, где находятся гробницы...» (ThC 193.21–194.1). Но как раз о «знаменитом храме св. Апостолов» в соответствующем пассаже и идет речь у Генесия (Gen., 71.10–11).

Создается впечатление, что *ОИ, к которому несомненно восходят эти двойные версии, содержал параллельные рассказы об одном

и том же событии, выписанные, вероятно, из разных источников. То, что *ОИ в какой-то своей части состоял из выписок из различных источников, как будто подтверждается и тем фактом, что в повествовании наших авторов содержатся цельные и композиционно законченные рассказы, наиболее ярким примером которых является эпизод с Феофобом. Рассказанный Генесием целиком (Gen., 37.4–43.3), он разделен у Продолжателя Феофана на три части (ThC 110.5–112.8; 124.16–125.15; 135.16–136.23). Ясно, что в *ОИ эпизод также был рассказан целиком (обратный процесс «сборки» рассказа из деталей представить невозможно!). Более смелые предположения о характере этих содержавшихся в *ОИ выписок вряд ли уместны.

Приведенные факты как будто наталкивают нас на уже высказанное утверждение, что *ОИ представлял собой не законченную и оформленную хронику, а подготовительные материалы, определенный набор выписок из разных источников. Но в категоричной форме такое утверждение вряд ли приемлемо. Не было бы ничего странного, если бы «набор выписок» был расположен в *ОИ в хронологическом порядке, которому бы и следовали наши авторы. Дело, однако, в том, что встречаются случаи, когда оба писателя в одном и том же месте, нарушая хронологический порядок, отступают в своем повествовании назад или забегают вперед. Эти отступления — несомненное отражение подобных же отступлений *ОИ, свидетельство определенного композиционного искусства и даже изощренности автора или авторов *ОИ. Так, приближаясь к рассказу о том, как Лев V взял в свои руки царскую власть, Продолжатель Феофана декларирует, что он возвращает повествование назад (ThC 21.5), дабы поведать о причинах, приведших к смене власти. Рассказав же о них, Продолжатель Феофана опять-таки весьма четко отмечает конец отступления («...однако же возвратимся вновь к истории» — ThC 23.17). В соответствующем месте сочинения Генесия обнаруживается не менее отчетливо композиционно выделенное отступление (Gen., 6.2–9.94). Хотя Генесий включает в это отступление материал большего объема, нежели Продолжатель Феофана, это сейчас не суть важно, очевидно, что такое же отступление содержалось и в *ОИ.

Из того же «царствования» Льва можно привести пример еще более изысканной организации материала, свойственной тому и другому памятнику и, следовательно, восходящей к *ОИ. Рассказав о победе Льва V над болгарами в 813 г., Продолжатель Феофана заявляет, что этот успех ужесточил нрав царя, который обрушил на подданных суровые кары (ThC 25.20). После этого следует рассказ о жестокостях Льва. Такой способ сцепления эпизодов через личность героя

(события изменяют нрав героя, это изменение нрава приводит к новым акциям) достаточно сложен и неожиданен для X в. Скорее, подобный поворот можно ожидать в следующем XI столетии от гениального Михаила Пселла.[86] Тем интересней, однако, встретить в соответствующем месте произведения Генесия точно такое же сочленение материала (Gen., 13.83), свидетельствующее о происхождении его из *ОИ.

Мы пришли, казалось бы, к трудно совместимым выводам: с одной стороны, *ОИ представлял собой набор выписок, сырой «материал для истории», с другой стороны, *ОИ был историческим произведением, скорее всего, хроникой с достаточно сложными композиционными ходами. Думается, однако, что эта несовместимость мнимая. Во всяком случае, в предшествующей византийской исторической литературе известно произведение, в котором упорядоченное изложение исторической хроники сочетается в ряде мест с набором выписок из разных источников (при этом нередко об одном и том же событии). Мы имеем в виду упомянутую уже «Хронографию» Георгия Синкелла, учителя и наставника Феофана Исповедника, непосредственным продолжением сочинения которого являются произведения наших авторов.

* * *

Уже из сравнения первых пяти книг Продолжателя Феофана и «Книги царей» Генесия можно видеть, что оба сочинения, во всяком случае, по формальным признакам продолжают традицию византийской хронистики, о которой говорилось в первой части статьи. Дело не только в том, что писатели продолжают историю Феофана, в свою очередь продолжавшего «Хронографию» Георгия Синкелла, и таким образом включают свой труд в цепь всемирного историописания. Сам метод их работы — пересказ сочинения предшественника (так называемого *ОИ) — типичен для средневекового хрониста.

Тем не менее уже при сравнении с Генесием начали выявляться черты, отличающие сочинения Продолжателя Феофана от среднего уровня византийской хронистики. Об этих «отличительных чертах», которые одни только и являются показателем литературного и исторического прогресса, и пойдет речь далее.

Определенные изменения можно отметить у Продолжателя Феофана в представлениях о двигательных силах и мотивах как исторического движения, так и поведения индивидуального человека. Конечно, писатель полностью разделяет идеи своих предшественников о Боге, «отвечающем» на «вызовы» человека и определяющем его судьбу. Эта концепция — «общее место»: основа основ христианского

мировоззрения и как таковая подвержена минимальным изменениям во времени и пространстве. Как и у его предшественников, божественное провидение у Продолжателя Феофана полностью направляет течение исторических событий, определяет судьбы и в конечном счете поступки людей. И тем не менее отдельные нюансы достойны внимания.

Прежде всего обратим внимание на некоторые прямые высказывания автора, вряд ли возможные для его предшественников. Собираясь приступить к рассказу о передаче власти Михаилом Рангаве Льву Армянину, писатель заявляет: «Вернем назад повествование и исследуем причину, побудившую их, будто по согласию, Михаила — вовсе отказаться от борьбы за царство, а другого — Льва, напротив, решительно и дерзко его добиваться. Ибо истинным образованием и наставлением в делах государственных я полагаю умение вскрывать причины как очевидные, так и сокрытые, без которых любая историческая книга, не знаю уж какую, может принести пользу» (с. 13).

Причины, побудившие Михаила и Льва поступать так, а не иначе, о которых рассказывается далее, — главным образом прорицания и божественное откровение. Но суть дела от этого меняется мало: Продолжатель Феофана четко сформулировал свое credo — идею причинной взаимозависимости событий и необходимости ее раскрытия для историка. Совершенно аналогичный смысл имеет и другое высказывание Продолжателя Феофана, содержащееся уже в разделе об императоре Михаиле III: «Воистину пусто и легковесно тело истории, если она умалчивает о причинах деяний» (с. 74).

Продолжатель Феофана не только декларирует, но в ряде случаев и действительно стремится к установлению каузальных связей, причем не обязательно всегда только в области божественной и провиденциальной. Наиболее яркий в этом отношении пример — рассказ об испанских арабах, покинувших свою родину в поисках новых мест обитания из-за скудости своей земли и ее большой перенаселенности.[87] Подобные декларации и начатки исторического детерминизма вовсе немыслимы в сочинениях хронистов прежних веков.

Ни Константин Багрянородный, ни неизвестный сочинитель первых четырех книг Продолжателя Феофана не «создавали системы» и не стремились согласовать между собой концепции провиденциализма и детерминизма. Вряд ли и современный исследователь обязан что-то додумывать за средневековых авторов и с высокомерием сына XX в. в очередной раз устанавливать мнимые противоречия в мировоззрении чего-то не додумавшего и чего-то не понявшего

писателя. Обе концепции находились как бы на разных уровнях сознания, существовали «не перекрещиваясь» одна с другой.

Хотя Продолжатель Феофана, конечно, полностью и не осознает противоположности этих концепций, тем не менее в некоторых случаях, оказываясь перед необходимостью предложить объяснение историческим событиям, сопоставляет обе возможности, пребывая в сомнениях, какой из них отдать предпочтение. Вот один из примеров. «Полководец..., — пишет аноним, — терпел поражения, то ли не хватало ему ума-разума и неопытен он был в ратном деле.., а может быть, по причине, которая выше нас».

Сами колебания автора в данном случае знаменательны. Его предшественники и современники, о которых шла речь, как правило, ни в чем не сомневались.

Как уже отмечалось, Продолжатель Феофана вообще — «сомневающийся» писатель, часто не знающий, какой исторической версии ему отдать предпочтение, и потому приводящий их все. Это позволило исследователям говорить о зачатках исторической критики у писателя.

Однако новые и неожиданные для византийской хронистики качества прежде всего сказываются в художественной структуре сочинения «Продолжателя Феофана», в его композиции. Об одной особенности композиции Продолжателя Феофана уже говорилось. «Сплошной» текст повествования *ОИ писатель делит на отдельные главы, посвященные разным героям-императорам. При этом Продолжатель Феофана неоднократно ссылается на предыдущие и последующие разделы (книги) своего труда, именуя их то βίβλος или βιβλίον (ThC 84.16, 174.16), то σύνταγμα (p. 40.15), то ἱστορία (p. 83.16). Относительная завершенность разделов еще более подчеркивается наличием в конце каждого из них заключительной характеристики героя, своеобразной модификации традиционного античного elogium'а, о котором уже говорилось. Тенденция создать в каждой книге композиционно завершенное повествование не только свидетельствует о стремлении писателя поставить в центр рассказа личность императора, но и дает нам право анализировать каждый раздел как законченный и самодостаточный текст.

Разговор об их композиции мы начнем с двух первых книг, посвященных царствованиям Льва V и Михаила II, дабы затем посмотреть, насколько универсальны и общезначимы для Продолжателя Феофана принципы их построения. Нет сомнения в субъективном стремлении историка построить свой рассказ в хронологической последовательности. Историк явно не знает времени свершения многих

событий, путает их последовательность, тем не менее твердо убежден в необходимости хронологического порядка. Особенно четко это стремление проявляется, когда оно приходит в явное противоречие с другой особенностью писателя — его подчеркнутой любовью к историческому эпизоду и исторической детали. События для нашего автора — уже не материал для заполнения пустых ячеек в хронологической сетке (как для Феофана, например), а приобретают самоценное достоинство. Продолжатель Феофана в отличие от большинства хронистов и значительно чаще, чем Генесий, «с удовольствием» останавливает течение рассказа, возвращает его назад, дабы поведать об истоках того или иного события, рассказать подробно о нем самом и, наконец, сообщить о его последствиях. Как правило, не забывает Продолжатель Феофана сообщить о дальнейшей судьбе упомянутых им людей (10.19, 76.9, 72.2 и др.), четко отметить окончание эпизода (78.1, 81,1, 83.13 и др.).

В точках пересечения этих противоположно направленных тенденций плавное течение рассказа нарушается и восстановлено может быть лишь волевым авторским вмешательством в текст. «Вернемся к истории», «но об этом расскажем позже» — такими и подобными им замечаниями пестрят разбираемые книги Продолжателя Феофана (см., например, ThC 21.14, 23.18, 47.15, 49.19 и др.).

Говоря о стремлении Продолжателя Феофана к хронологическому изложению, надо помнить, что время для него в отличие от многих других хронистов — не непрерывная линия, соединяющая две временные точки — начала и конца повествования, — а, скорее, некая последовательная сумма «отрезков» (периодов правления отдельных императоров), в начале и в конце нередко накладываемых один на другой. Интересно в этом отношении еще раз сравнить способ переработки *ОИ Продолжателем Феофана и Генесием. Если последний часто сохраняет структуру *ОИ, то наш писатель стремится превратить повествование в сумму рассказов биографического характера, ограниченных рождением (или восшествием на престол) и смертью императора. Наиболее отчетливо проявляется эта тенденция в разделе, посвященном Льву V. Как можно догадаться, гипотетический *ОИ начинался, как и положено хронике с «нормальной структурой», с воцарения Льва, а предыстория императора сообщалась в отступлении. Именно такую структуру и сохраняет Генесий. Продолжатель же Феофана биографически «выпрямляет» рассказ, начинает с происхождения родителей героя, сообщает о захвате власти и затем хронологически последовательно повествует о жизни Льва и событиях его царствования. Все сведения о происхождении и ранних

годах Льва, рассеянные у Генесия (и, видимо, в *ОИ) по всему повествованию, концентрируются Продолжателем Феофана в начале рассказа, так сказать, на своем хронологическом месте.[88] Таким образом, исторический материал *ОИ подвергается переаранжировке в угоду биографическому принципу. Не исключено, что следы подобной же переаранжировки сохранились и в следующем разделе, о Михаиле II. Хотя часть эта и начинается с воцарения Михаила, однако сразу же после этого сообщения у Продолжателя Феофана рассказывается о происхождении и воспитании Михаила (ThC 42.7–44.11). У Генесия подобного рассказа нет, тем не менее его рудименты сохранились в конце раздела об этом императоре (Gen., 35.68), и можно, следовательно, думать, что рассказ этот содержался в *ОИ. У Продолжателя Феофана он опять-таки оказался на своем «хронологическом месте».

Раздробив историю на серию разделов, посвященных отдельным императорам, Продолжатель Феофана — и это вполне закономерно — оказался в зоне притяжения другого жанра, который часто взаимодействовал с историографией, — риторики.[89]

В риторике издавна, с античных времен, культивировались литературные формы, предназначенные для похвалы (энкомия), или, напротив, поношения (псогос) персонажей. Характерной чертой всех видов этих риторических биографий была строгая рубрицированность их композиции. Стабилизировавшаяся уже в поздней античности схема (например, Афтония) предписывала упорядоченное следование определенных сведений о герое, перечисление жестко фиксированных его качеств. Нетрудно заметить, что в главных своих элементах рубрики Афтония выдерживаются в двух первых книгах «Хронографии» Продолжателя Феофана. Покажем это с помощью простой схемы.[90]

Схема Афтония	Книга «Лев V»	Книга «Михаил II»
I.1 Πατρίς (родина)	с. 6.4	с. 42.7–11
I.2 πρόγονοι (предки)	с. 6.4–5	—
I.3 πατέρες (родители)	с. 6.5–8	с. 42.13
II ἀνατροφή (воспитание)		с. 42.17–44.11
III πράξεις (деяния)	с. 23.19–40.3	с. 42.17–83.16
IV ἐπίλογος (заключение)	с. 40.4–13	с. 83.16–84.11

Одни структурные элементы риторической схемы существуют у Продолжателя Феофана в рудиментарном виде (например, πατέρες в разделе о Михаиле II), другие (например, ἀνατροφή в той же книге)

развиты достаточно хорошо, в целом же структурная схема энкомия — псогоса проступает в обоих случаях достаточно явственно.

Вряд ли следует думать, что Продолжатель Феофана сознательно и целенаправленно применял риторическую схему к своему повествованию. Многократно повторяемая в панегирических речах, энкомиастических житиях, она «жила в сознании» любого образованного византийца и в любой момент «готова была» облечь формой пригодный к тому литературный материал.[91]

Хронологическое следование и риторические структурные элементы — не единственные скрепы, соединяющие отдельные эпизоды в связное историческое повествование Продолжателя Феофана. Очевидное композиционное значение в разбираемых книгах имеет и идея провидения. Сама эта идея, конечно, не нова в византийской исторической литературе. Однако, кажется, впервые она начинает играть столь важную композиционную роль. Судьба Льва V и Михаила II предопределены заранее. Заранее предсказано их восшествие на престол, их смерть — расплата за нечестие и иконоборчество. Демонстрация этого — главная цель повествования Продолжателя Феофана. Однако карающая десница опускается на головы грешников не сразу. Между предсказанием и свершением, проступком («вызовом») и наказанием («ответом») проходит время, наполненное суровыми знамениями,[92] и именно это создает сюжетную напряженность и определенный драматизм повествования. Внимание читателя уже не концентрируется на хронологически распределенных событиях (как при чтении, например, «Хронографии» Феофана Исповедника), а поддерживается ожиданием исполнения предсказанного или наступления неминуемой расплаты. Таким образом, появляется у Продолжателя Феофана нечто вроде сюжета, движимого, правда, не человеческими взаимоотношениями, но божественной волей. В этом «сюжете» имеются свои опорные точки или, если угодно, сквозной мотив, поддерживающий развитие действия. Роль такого сквозного мотива в разбираемых разделах играет пророчество монаха из Филомилия. Впервые мотив это появляется в самом начале раздела о Льве V, когда знатный вельможа Никифор I Вардан, стремясь к царской власти, посещает некоего монаха из Филомилия. Последний, однако, пророчит царство не ему, а находящимся в его свите Льву и Михаилу (с. 7 сл.). Происходит, так сказать, «завязка сюжета». Пришедший к власти Лев желает отблагодарить монаха, однако тот к тому времени успел умереть, а живущий в его доме некто Симватий убеждает Льва отказаться от иконопочитания, т. е. совершить главный проступок его жизни, за который и должен он понести расплату. Таким образом,

«трагическая вина» Льва тоже, хотя и косвенно, связана с образом монаха из Филомилия. Дважды еще на протяжении рассказа о Льве вспомнит Продолжатель Феофана о предсказании этого монаха (с. 19, 20), дабы не позволить читателю забыть о провиденциалистском характере всего происходящего. Интересно, что мотив монаха из Филомилия не завершается в разделе о Льве V, а переходит в следующий, посвященный Михаилу II. Последний решается на узурпацию власти, лишь вспомнив об упомянутом пророчестве (с. 24). Страшась исполнения прорицания, решается выступить против Михаила и Фома Славянин (с. 26). Таким образом, сквозной мотив прорицания монаха из Филомилия создает дополнительные композиционные связи в разбираемых книгах «Хронографии» Продолжателя Феофана.

Итак, три основных композиционных приема удается вычленить при анализе построения двух первых книг сочинения Продолжателя Феофана: элементарную хронологическую последовательность, риторическую рубрикацию и, наконец, сквозной мотив, определенный идеей провидения. Такого сочетания мы не встречали в предшествующей византийской историографии. Но насколько оно оригинально, не заимствовано ли такое построение из *ОИ, о котором шла речь выше, тем более что композиция этого *ОИ, видимо, отнюдь не отличалась элементарностью? (см. с. 234 сл.). Попытаться ответить на этот вопрос можно, только вновь сравнив текст Продолжателя Феофана с соответствующими разделами «Книги царей» Генесия. Не станем говорить о хронологическом следовании: стремление к нему, во всяком случае, декларативное, — общее место любых историографических сочинений. Что касается второго приема, то и следа его не удается обнаружить у Генесия. Как уже говорилось, сведения о родине (πατρίς), роде (γένος), родителях (πατέρες), воспитании (ἀνατροφή), составляющие непременный структурный элемент энкомия — псогоса и находящиеся у Продолжателя Феофана, где им и положено быть, в начале, разбросаны у Генесия по всему произведению. Можно думать, что Продолжатель Феофана переаранжировал этот материал и расположил его в соответствии с риторическими правилами. Идея провиденциализма и связанный с нею сквозной мотив монаха из Филомилия имеются и у Генесия, и, следовательно, были заключены и в *ОИ. Знаменательно, однако, что у Продолжателя Феофана сей монах упоминается шесть раз, в то время как у Генесия всего три. Сюжетообразующую роль провидения у Продолжателя Феофана можно было показать на ряде примеров. Ограничимся одним: у Генесия, как и у Продолжателя Феофана, за характеристикой Льва следует рассказ о свержении этого императора Михаилом (Gen., 15.44

сл. = ThC 33.12 сл.). Однако если у Генесия — простое хронологическое примыкание эпизодов, то у Продолжателя Феофана свержение Льва представляется как закономерное возмездие за ересь нечестивому Льву.

Третья книга «Хронографии» Продолжателя Феофана композиционно весьма отлична от соответствующих разделов «Книги царей» Генесия. В ней много эпизодов, которых у Генесия нет вовсе, а те, что совпадают, нередко следуют у двух авторов в разном порядке (см. с. 227). Индивидуальное творческое начало в построении произведения, видимо, проявляется здесь весьма отчетливо. Но в чем же своеобразие композиции этого раздела?

Оба произведения начинаются с одного эпизода, в котором только что провозглашенный император устраивает собрание знати в Магнаврском дворце, где с помощью умело задуманной провокации избавляется от потенциальных заговорщиков (ThC 85.6–86.8 = Gen., 36.82–93). На этом следование *ОИ кончается, и Продолжатель Феофана дает серию эпизодов, за некоторым исключением не находящих аналогии у Генесия.[93] Все эти эпизоды — расположенные без всякого хронологического порядка сообщения о деяниях Феофила во внутригосударственной сфере или же о его человеческих привычках и свойствах. Вот их перечень.[94] 1. Справедливость Феофила (85.1–91.18). 2. Строительная деятельность (94.19–99.3). 3. Отношение к иконодулам (99.4–106.11). 4. Любовь к церковному пению (106.17–107.5). 5. Запрещение носить длинные волосы (107.6–13). Забота о дочерях (107.14–109.16). По сути дела они представляют собой не что иное, как «деяния» (πράξεις), непременную часть риторических биографий, уже встреченную нами при анализе предшествующих книг сочинения Продолжателя Феофана. Нарочито игнорирующие всякую хронологию, подобранные по эйдологическому принципу эпизоды эти, видимо, извлечены Продолжателем Феофана из иных частей *ОИ или даже заимствованы им «со стороны» и использованы для характеристики Феофила и его внутригосударственной деятельности. Следующая часть — πράξεις, в основном совпадающая с Генесием, и следовательно, перешедшая из *ОИ, уже имеет предметом внешнеполитическую историю. Прежде чем приступить к ней, приведем еще одно наблюдение. Лишив эпизоды хронологической связи, Продолжатель Феофана отнюдь не оставил их без всякого сочленения. Приведем два примера. Писатель рассказывает о строительной деятельности Феофила и между прочим сообщает, что последний, выселив из зданий блудниц, построил на освободившемся месте странноприимный дом. Так вот он обращался с блудницами, продолжает писатель,

впрочем, сам был покорен чарами служанки Феодоры (следует рассказ о небольшой интрижке царственного героя). Феодора снисходительно простила увлекшегося супруга, и Феофил соорудил новый дворец для своих дочерей (с. 44). Продолжается рассказ о строительной деятельности.

А вот другой случай, тоже касающийся Феодоры. Историк повествует о справедливости и нелицеприятности Феофила и приводит в качестве примера случай, когда царь велел сжечь корабль, принадлежавший его супруге, затем следует рассказ о самой Феодоре и ее родителях, далее повествуется о матери Феодоры Феоктисте, тайно от царственного зятя приобщавшей внучек к иконопочитанию, аналогично вела себя и сама Феодора (с. 43). Повествование вновь возвращается к теме справедливости Феофила.

Оба приведенных случая аналогичны. Перед нами типичное ассоциативное (или, скорее, тематически-ассоциативное) сочленение, когда рассказанный эпизод вызывает в памяти писателя другой аналогичный случай или рассказ, и повествование движется вперед не по временнóму и не по какому иному принципу, а по подобию и сопричастности материала. Отклонившись от главного пути, повествование, переливаясь из одного эпизода в другой и описав дугу, возвращается в конце концов на основную магистраль (справедливость — во втором примере и строительная деятельность Феофила — в первом). Этот метод по сути своей противоположен следованию жесткой временнóй схеме (как у Феофана), его появление — свидетельство раскованности мысли или, если угодно, воображения историка, следующего в рассказе своем не строгим предписаниям извне накладываемой схемы, а комбинирующего материал в зависимости от сиюминутных, иногда случайных и, во всяком случае, достаточно свободных ассоциаций. Знаменательно, что «раскованность», «свобода» композиции оказываются характерными для той части сочинения, где Продолжатель Феофана, видимо, отходит от своего источника.

Следующая заимствованная из *ОИ часть «деяний» (πράξεις), в противоположность предыдущей, строится по хронологическому принципу. Неважно, что Продолжатель Феофана имеет весьма смутные представления о хронологии, что пересказывает свой источник, скорее всего, по памяти и к тому же не очень точно: автор явно стремится построить повествование по временнóй схеме. Основу рассказа составляют пять последовательных походов императора Феофила против арабов, между которыми располагаются отдельные сообщения, сочлененные с окружающим текстом с помощью частицы

δέ или простейшей темпоральной связи (κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν, τότε и т. п.).

Своеобразие раздела о Феофиле у Продолжателя Феофана опять-таки четко вырисовывается при сравнении его с рассказом о том же императоре Генесия. У последнего — хронологически выдержанный (впрочем, весьма относительно) рассказ, заключенный между сообщениями о воцарении и смерти императора. У Продолжателя Феофана — практически построенные по риторической модели «деяния», сначала касающиеся внутренних, а затем внешних дел. Для «внешних дел» использован, видимо, пересказ соответствующих частей *ОИ. «Дела внутренние», скорее всего, скомбинированы из разнородных сообщений, где временны́е связи заменяются свободными ассоциациями.

Анализ четвертого раздела сочинения Продолжателя Феофана, кажется, мало что может дать для наших целей. Хронологизированный порядок следования эпизодов здесь почти совпадает с «Книгой царей» Генесия (см. с. 227). Можно подумать, что оба автора лишь повторяют композицию *ОИ. Внешнее подобие, однако, еще больше подчеркивает различие. У Генесия сообщения внутри- и внешнеполитической истории сочленены простейшим способом хронологического примыкания.[95] У Продолжателя Феофана на первый план выступает уже отмеченный нами метод ассоциаций, которые здесь оказываются особенно гибкими и разветвленными. Продемонстрируем различие между двумя авторами. В сочинении Генесия один за другим следуют два никак внутренне между собой не связанных эпизода: война с болгарами (Gen., 61.89–4) и распря между кесарем Вардой и Феоктистом (Gen., 61.5–64.83). Между ними — элементарное хронологическое сочленение («Прошло немного времени и...» — Gen., 61.5). Совершенно иначе у Продолжателя Феофана. История борьбы с болгарами «тянет» за собой рассказ о крещении болгар (с. 72). Последний эпизод есть и у Генесия, но стоит он там на своем хронологическом месте (Gen., 62.42–52). Между обоими событиями — дистанция в несколько лет, однако объединяются они именно в силу тематической близости. Если упомянутая пара эпизодов ассоциирована между собой «по этническому принципу» (в обоих случаях речь идет о болгарах), то следующий за ними эпизод присоединяется уже «по конфессиональному соответствию»: историк рассказывает о попытке обращения в истинную веру павликиан (с. 73). Рассказ же о павликианах совершенно естественно переходит в повествование об их союзе с арабами и о намерении царя Михаила выступить против последних (с. 74). В этом желании укрепляет царя кесарь Варда.

Упоминание Варды дает основание поведать о его распре с Феоктистом... (с. 74 сл.). На месте элементарного временно́го перехода в «Книге царей» Генесия («прошло немного времени и...») у Продолжателя Феофана оказывается довольно сложное сцепление «переливающихся» один в другой эпизодов. Еще более, чем с методом Генесия, контрастирует приведенный эпизод с принципами предшествующей историографии: не объективированное время, а объединенные в сложном сцеплении вокруг личности императора события составляют композиционную структуру сочинения. Что же касается времени, то оно «вытесняется на второй план» повествования, и его течение фиксируется лишь при необходимости. В анализировавшемся выше отрывке, например, сообщается, что рвущийся в поход на арабов Михаил успел между тем выйти из детского возраста (с. 74). Пока происходили сочлененные ассоциативными связями эпизоды, текло время.

Пятая книга «Хронографии» Продолжателя Феофана, известная обычно под наименованием «Жизнеописание Василия», занимает в произведении особое место. Она принадлежит самому императору Константину Багрянородному, была написана как самостоятельное произведение и лишь позже включена в состав «Хронографии». Вот почему книга эта обладает той композиционной законченностью, которой не может быть у других частей, входящих в труд Продолжателя Феофана. О форме своего сочинения сам Константин кое-что сообщает в предисловии. Приведем из него соответствующий отрывок. «Давно испытывал я желание и стремление всепомнящими и бессмертными устами истории вселить в умы серьезных людей опыт и знание и хотел, если бы достало сил, по порядку описать достойнейшие деяния самодержцев и их вельмож, стратигов и ипостратигов во все времена ромейской власти в Византии. Но потребны тут и время большое, и труд непрерывный, и книг множество, и досуг от дел, а поскольку ничего этого нет у меня, я по необходимости избрал другой путь и расскажу пока что о деяниях и всей жизни от начала до самой смерти только одного царя» (с. 91). Искренность оправданий царственного писателя вызывает подозрения. Трудно представить, чтобы у Константина Багрянородного, скорее ученого-энциклопедиста, нежели практического деятеля, не находилось времени для исторических штудий. Еще труднее допустить, что в императорской библиотеке не хватало книг для написания исторического труда (откуда же он делал тогда выписки для своих знаменитых «эксцерптов»!). Приведенная декларация, — скорее отговорка (может быть, перед самим собой!), нежели серьезные доводы. Желая поведать об

одном императоре — своем деде, пугаясь необычности своего намерения, Константин пытается оправдаться перед читателем за отступления от привычных жанровых форм. Все новое в византийской литературе нуждается в оправданиях и извинениях.

Собираясь писать в жанре истории, Константин старается выдержать хронологический порядок изложения, но, выбирая темой жизнеописание только одного, к тому же им безмерно почитаемого, героя, неминуемо, как это уже бывало, попадает в сферу притяжения другого жанра — риторики. Рассказ о Василии начинается с традиционного для энкомия сообщения о родине, родителях, воспитании и детских годах героя (91 сл.). После сообщения о провозглашении Василия единодержавным правителем начинаются, как и положено, πράξεις — «деяния» царя. Для большей наглядности приведем их схематический перечень, в возможных случаях вместе с указаниями на датировку.

1. 255.6–261.19	Василий занимается государственными делами	
2. 261.20–262.15	Василий занимается церковными делами. 8-й Вселенский собор	869/870
3. 262.16–263.2	Исправление законов	870–879 (время подготовки Прохирона)
4. 263.3–264.1	Мятеж Симватия	866
5. 264.1–265.2	Коронование Константина и Льва	
6. 266.13–271.10	Поход Василия против Хрисохира	871(868)
7. 271.11–276.10	Война с Хрисохиром, разрушение Тефрики	872–878
8. 276.11–277.4	Смерть патриарха Игнатия, рукоположение Фотия	
9. 277.5–17	Восстание Иоанна Куркуаса	
10. 277.18–284.5	Война с арабами, осада Адаты	878
11. 284.6–288.9	Поражение византийцев у Тарса	883
12. 288.11–313.20	Борьба с карфагенскими арабами	886–880
13. 314.3–316.12	Добродетели Василия	
14. 316.13–321.16	Василий благодарит своих благодетелей	Первые годы после воцарения?
15. 321.17–341.7	Строительная деятельность	
16. 341.8–344.8	Миссионерская деятельность	870–874
17. 344.19–346.4	Смерть сына Василия Константина	879
18. 346.5–348.9	Снижение налогов	
19. 348.9–351.21	Заточение в тюрьму сына Льва	886

Нетрудно заметить, что тенденция к хронологическому следованию, как и в предыдущих книгах, все время «вступает в соревнование» со стремлением историка непременно завершить и представить в целом эпизод-рассказ.

Завершенные по содержанию и композиции эпизоды все время разрывают нить хронологического повествования. В самостоятельную часть выделяется рассказ о строительной деятельности Василия (п. 15), «на одном дыхании» представляет писатель историю пятнадцатилетней войны Василия с карфагенскими арабами (п. 12) и т. д. Знаменательно в этом отношении, что рассказ о борьбе Василия с павликианами и его походах на Тефрику (п. 7), разделенный у Генесия на две части (Gen., 81.34–82.42 + 85.47–88.65), соединен у Константина Багрянородного в единое целое.[96] О том, что такой тип композиции вполне сознателен и, более того, составляет предмет размышления автора, свидетельствует и собственное его заявление. Сообщив о четырех сыновьях царя Василия, Константин присовокупляет к рассказу и сведения о судьбе его дочерей. При этом, однако, считает нужным оговориться, что эти события случились позже, но пусть они будут сообщены здесь, поскольку они «как по природе, так и по рассказу (ὥσπερ τῇ φύσει οὕτω καὶ τῇ διηγήσει) связаны с четверкой братьев» (с. 113). Тематический принцип одерживает верх над хронологическим! Именно этот тематический принцип, вторгающийся во временнýю цепь, и создает в большинстве случаев хронологические «сбои», хорошо видные на приведенной схеме.

Любопытней, однако, другое. На не слишком последовательное, но в целом хронологически выдержанное повествование накладывается иная композиционная схема. Вновь приглядимся к перечню эпизодов. В первых пяти пунктах речь идет о распоряжении Василия внутренними делами империи. В пунктах 6–12 описываются в основном внешнеполитические события его царствования. В пунктах 13–18 рассказ вновь возвращается к деяниям царя, в основном во внутренней жизни государства. При этом места переходов четко отмечены самим автором.[97] Видимо, речь здесь должна идти о той же риторической рубрикации, которую встречали мы и в предыдущих книгах. Константин повествует о деяниях (πράξεις) царя, разделенных на «виды»: деяниях внутригосударственных, военных и тех, которые он совершил «самолично» (αὐτουργός). Риторическая рубрикация не подменят хронологию,[98] а существует параллельно с ней, представляя собой дополнительное средство организации исторического материала.[99] Новая схема и в этом случае накладывается на уже существующую.

Один из излюбленных приемов классических филологов при анализе литературной формы — поиск модели. Ученые считают свой долг выполненным, находя или воображая образец, по которому творил или с которым соревновался древний автор.[100] Эта тенденция еще более утрирована специалистами по среднегреческой филологии, стремящимися (своеобразный комплекс неполноценности византинистов!) непременно найти модель в античной литературе. О попытке Александера свести структуру «Жизнеописания Василия» к схеме энкомия говорилось выше. Еще дальше пошел Р. Дженкинс.[101] Исследователь, прозорливо увидевший в «Хронографии» Продолжателя Феофана многое, в чем и поныне отказывает византийской словесности большинство ученых, тем не менее полагал, что различия между книгами историка определяются просто-напросто подражанием разным античным образцам.[102] Нахождению таких образцов и посвящена значительная часть упомянутой статьи американского исследователя. Стремление византийцев творить по «моделям», в том числе и античным, хорошо известно. Вряд ли, однако, идентификация «оригинала» может удовлетворительно объяснить своеобразие «копии». Тезис этот находит подтверждение и на примере «Хронографии» Продолжателя Феофана. Безусловно, на структуру труда Продолжателя Феофана, как справедливо отмечают исследователи, влияли и «Жизнеописания» Плутарха, и энкомии исократовского типа, а возможно, и «История» Полибия. Однако ни одним из этих влияний нельзя объяснить своеобразия композиции «Хронографии».

Анализируя построение этого сочинения, мы обнаружили в пределах каждой книги не один, а несколько конкурирующих композиционных приемов. Повторим главные из них: хронологическое следование, риторическая рубрикация или биографическо-энкомиастический принцип, ассоциативно-тематическая связь, и наконец, определенный идеей провидения сквозной мотив повествования. Почти все упомянутые приемы так или иначе объединяют эпизоды вокруг личности героя. Не переставая быть историей («Хронографией»), сочинение Продолжателя Феофана уже становится сборником биографий.

Любопытно отметить, как эта концентрированность повествования вокруг личности героя влияет не только на композицию всего произведения, но и на синтаксис многих предложений, проникает в саму языковую структуру сочинения. Фразы «Хронографии» Продолжателя Феофана изобилуют громоздкими причастными оборотами (так называемыми ablativus absolutus), в которых подчас «упрятывается» вся прагматическая история, в то время как действия или состояния героя-царя передаются предикатами в личных формах.[103]

Сочетание известных приемов порождает новое качество. Жанр, даже в консервативной византийской литературе, — величина подвижная и изменяющаяся, и первые пять книг Продолжателя Феофана представляют собой как бы фиксированный момент эволюции исторического рода среднегреческой литературы. Чтобы оценить место Продолжателя Феофана на пути этой эволюции, мы сравнивали «Хронографию» с современной ей «Книгой царей» Генесия. Оба сочинения восходят к одному источнику, но как по-разному оба автора сочленяют и компонуют свой материал!

«Книга царей» Генесия построена большей частью по традиционному для византийской историографии методу, а основывающиеся на том же историческом материале первые пять книг «Хронографии» Продолжателя Феофана — произведение по композиции новаторское (сколь ни парадоксально это понятие в применении к византийской литературе). Речь, видимо, должна идти о разнице не только творческих индивидуальностей, но и уровней исторического и художественного сознания. Вряд ли для этой эпохи следует проводить какую-то грань между тем и другим.

* * *

Итак, именно личность, ее биография в той или иной степени выступают в сочинении Продолжателя Феофана «принципом организации действительности»[104] и потому на первый план литературоведческого анализа закономерно выдвигается исторический персонаж, образ исторического героя. Мы столь подробно останавливались в начале статьи на персонажах Иоанна Малалы и других хронистов, демонстрируя подчиненную, периферийную роль исторического героя у ранних авторов именно для того, чтобы в конце концов постараться показать, какой путь в этом отношении прошла последующая византийская историография.

Проблемы человека в византийской литературе, методов характеристики литературных героев в настоящее время едва намечены.[105] Почти никаких соображений по этому поводу не оставили и сами византийцы. Само понятие «образ» (εἰκών, εἴδωλον, τύπος, χαρακτήρ), весьма важное в византийской философии и теологии, соотносилось с кругом совершенно иных представлений, нежели ныне этот весьма расхожий в современном литературоведении термин.[106] Лишь единожды из приведенных В. Бычковым примеров слово εἰκών употребляется (у Климента Александрийского) в значении, близком современному

понятию образ-персонаж. Да и на деле не видели византийцы своей задачи в «обрисовке образов» персонажей, в том числе и исторических.

Агиографы считали нужным в соответствии с существовавшими клише прославлять святость своих героев, риторы откровенно восхваляли их в похвальных речах — энкомиях или обличали в поношениях — псогосах, однако как восхваление, так и его антипод поношение — нечто принципиально иное, нежели «изображение образа». Труд этот, казалось бы, должны были взять на себя историки, но они вменяли себе в обязанность лишь изображать деяния (πράξεις) исторических персонажей или, наподобие риторов, одних восхвалять в качестве образца, других предавать проклятию, и только авторы риторических этопей (ἠθοποιία) до какой-то степени приближались к целям «обрисовки образов» в современном смысле этого выражения. Упомянутые этопеи, однако, никогда в Византии не выходили за рамки ординарных школьных упражнений.

Хотя «образ» существовал в Византии как бы на периферии литературного процесса, анализ методов его обрисовки представляет значительный интерес, особенно в жанре исторической биографии, где, как мы видели, он, возможно, неосознанно для автора становится формообразующим элементом, определяющим структуру произведения.

До сих пор мы не имели случая отметить, что наша «Хронография», вернее, первые пять ее книг, выполняют определенную идеологическую задачу. Константин Багрянородный, трудами и руководством которого создано было это сочинение, имел целью не только, как он сам декларирует, воспроизвести для памяти потомства и в поучение грядущим поколениям «унесенные временем» исторические события, но и нечто гораздо более конкретное и для него злободневное: утвердить право на престол и величие македонской династии, к которой сам принадлежал. Задача эта была не из легких. Обстоятельства прихода к власти основателя династии, деда Константина Багрянородного, были более чем подозрительны. Неграмотный крестьянин, сделавший головокружительную карьеру при Михаиле III, ставший его соимператором, а потом убивший своего благодетеля и захвативший его престол, был фигурой весьма одиозной даже в глазах византийского общества с его «вертикальной мобильностью», общества, приученного к неожиданным взлетам карьеры людей с самых низов.

Необычная трудность этой задачи определила и весьма решительные и смелые средства, которыми она осуществлялась. Константин

Багрянородный придумывает или, во всяком случае, разделяет фантастическую версию о мнимом царском происхождении Василия, изображает его возвышение как результат действия божественного провидения, а самого Василия — избранником божьим. В руках Константина было и другое испытанное и никогда не ржавеющее оружие для прославления своего царственного героя — унижение и попрание его предшественника. Этим оружием Константин Багрянородный и воспользовался с немалым успехом. Михаил III изображен в «Хронографии» воплощением всевозможного зла. Мы знаем, что в византийской литературе непосредственная практическая (в данном случае политическая) цель определяла и выбор литературных средств, и приемы ее воплощения. Как уже отмечалось, раздел «Жизнеописания Василия» своей структурой ничем не отличается от обычного византийского энкомия — похвального слова, задача которого возвеличить и превознести своего героя.

Не только композиция всего произведения, но и образ самого Василия построен по строгим, установленным еще в поздней античности законам энкомия, на долю автора которого оставалось лишь заполнить пустые ячейки схемы добродетелями и кое-какими конкретными особенностями жизни героя. Поэтому конструкция образа Василия наглядна и очевидна и не нуждается в каком-либо специальном анализе.

Иное дело фигура Михаила III — антипода Василия. Раздел, ему посвященный, трудно назвать прямым поношением — «псогосом», распространенным в византийской риторике и являющимся своеобразным «энкомием наоборот». Анонимный автор считает своим долгом «писать историю», но методы, применяемые им для унижения Михаила III, весьма своеобразны, по-своему уникальны в византийской литературе и заслуживают специального обсуждения.

Последнему представителю аморийской династии Михаилу III вообще очень не повезло в византийской историографической традиции. Писавшие о нем хронисты (в основном Продолжатель Феофана, Константин Багрянородный, Генесий) изображают этого царя мотом, пьяницей, страстным любителем и участником конных ристаний, ради них забывавшем о неотложнейших государственных делах, богохульником и святотатцем, окруженным компанией низкопробных шутов. Примерно такая же репутация утвердилась за Михаилом и в научной историографии XIX в. В 30-х гг. нашего столетия начался пересмотр этой позиции.[107] Лишь тогда было справедливо замечено, что византийским историкам X в. было выгодно чернить Михаила ради оправдания злодеяния его преемника Василия.[108] Добавим к

этому, что произведения упомянутых писателей, как это уже подчеркивалось, восходят к одному источнику, и, таким образом, все они фактически повторяют инвективы, однажды произнесенные в адрес последнего аморийца.[109]

«Реабилитация» Михаила III была завершена статьей Р. Дженкинса, специально посвященной образу этого византийского императора.[110] Американский ученый доказал литературное происхождение портрета Михаила; не реальные качества, а сочетания черт плутарховских Антония и Нерона составляют костяк образа византийского царя. Аргументы Р. Дженкинса основаны на убедительных лексических соответствиях и потому вполне доказательны. Можно было бы, по-видимому, считать проблему «закрытой», если бы не распространившееся в последнее время среди византинистов основательное мнение, что использование античной топики и лексики нисколько не мешает византийцам изображать современную им реальность.[111] Разделяя это убеждение и не подвергая сомнению основные выводы американского исследователя, попробуем тем не менее взглянуть на проблему с иной точки зрения.

Уже при первом чтении бросается в глаза, что образ Михаила обладает в произведении Продолжателя Феофана своей «концепцией». Пьянство, сквернословие, приверженность к игрищам, ристаниям и мимам, богохульство — все это, используя терминологию М. М. Бахтина, — «стихия низа», доминирующая в этом образе. Создается впечатление, что Продолжатель Феофана нарочито нагнетает низменные, как сегодня сказали бы, «натуралистические» детали для максимального снижения образа. Характерный пример: в числе приближенных Михаила оказывается человек, главным достоинством которого является умение задувать свечу ветром из брюха (с. 108; ср.: Ps.-Sym. 659.8 sq.). Воистину деталь, достойная Аристофана или Рабле! Обратим, однако, внимание на отдельные эпизоды.[112]

Рассказав о неодолимой страсти Михаила к конным ристаниям, заставляющей его забывать все и вся, Продолжатель Феофана заявляет, что и в других отношениях царь «нарушал приличие» (ἐξέπιπτε τοῦ πρέποντος), и приводит в качестве иллюстрации довольно необычную историю, которую здесь подробно перескажем (с. 85 сл.). Как-то раз Михаил встретил на улице женщину, крестным сына которой он был. Женщина шла из бани с кувшином в руках. Отослав во дворец находившихся при нем синклитиков, он вместе с «мерзкой и отвратительной компанией» отправился за женщиной, к которой обратился со следующими словами: «Не робей, веди меня к себе в дом, хочется мне хлеба из отрубей и молодого сыра». Не дав опомниться

удивленной и не готовой к приему женщине, он расстелил вместо тонкой скатерти еще мокрое после бани полотенце, открыв запоры, вытащил еду из скудных запасов хозяйки и стал угощаться вместе с нею и «был сам всем: царем, столоустроителем, поваром, пирующим» (βασιλεύς, τραπεζοποιός, μάγειρος, δαιτυμών — 200.3) и в этом «подражал он Христу и Богу нашему». Всю эту историю автор рассматривает как проявление тщеславия и «нахальной дерзости» императора (так мы за неимением лучшего варианта передаем греческое ἀλαζονεία).[113]

Не подлежит сомнению, что описанная сцена разыгрывается в компании мимов (μῖμοι καὶ γελοῖοι), в ее окружении царь находится постоянно (с. 104 и др.). Порождение языческой античности, мим, несмотря на гонения и проклятия со стороны христианской церкви, существовал во все века истории Византии, а возможно, ее и пережил.[114] В нашем распоряжении имеются довольно авторитетные свидетельства о распространении мима и его роли в царствование отца Михаила, императора Феофила.[115]

Однако что за сцену разыгрывает император перед изумленной своей кумой? Можно думать, что Михаил дает некое представление в стиле мимической игры. К сожалению, нам почти ничего не известно о содержании мимических спектаклей того времени, тем не менее отдельные намеки, содержащиеся в тексте самого Продолжателя Феофана, наводят именно на это предположение. Мы уже цитировали слова Продолжателя Феофана, что царь в разыгранной им ситуации исполняет роль столоустроителя (τραπεζοποιός), повара (μάγειρος) и пирующего (δαιτυμών). Лучший же наш источник о мимических представлениях — Хорикий в речи в защиту мимов (VI в.) перечисляет следующие мимические персонажи: δεσπότην, οἰκέτας, καπήλους, ἀλλαντοπώλας, ὀψοποιούς, ἑστιάτορα, δαιτυμόνας, σύμβολας γράφοντας, παιδάριον ψελλιζόμενον, νεανίσκον ἐρῶντα, θυμουμένον ἕτερον, ἄλλον τῷ θυμουμένῳ πραΰνοντα τὴν ὀργήν[116] (господа, рабы, торговцы (кабатчики?)), колбасники, повара, устроители пиров, пирующие, подписывающие долговые контракты, лепечущий ребенок, влюбленный юноша, другой — в гневе, третий — унимающий гневающегося). Нет сомнения: упомянутые персонажи — устойчивые типы мимических представлений. Из тринадцати упомянутых типов четыре так или иначе встречаются в приведенном нами отрывке Продолжателя Феофана. «Пирующий» (δαιτυμών) находит полное лексическое соответствие у Хорикия. «Повар» (μάγειρος у Продолжателя Феофана) назван у Хорикия ᾿οψοποιός, однако полная синонимия двух слов засвидетельствована тем же Хорикием.[117] Τραπεζοποιός («столоустроитель»)

у Продолжателя Феофана синонимичен ἑστιάτωρ Хорикия.[118] И наконец, как можно понять из дальнейшего текста Продолжателя Феофана, женщина, встреченная царем Михаилом, — не кто иная, как торговка (или «кабатчица» — καπηλίς). Слово же это встречается (в мужском роде) на третьем месте в списке Хорикия. Нет сомнения, что стабильные мимические типы, авторитетно засвидетельствованные для VI в., продолжали существовать и в IX в., при этом знаменательно, что в списке Хорикия они встречаются «кучно», как будто заимствованы из одного сюжета. Итак, император не просто «дурачится», а делает это по какому-то мимическому сценарию.

В действиях царя Продолжатель Феофана видит также и определенный богохульный смысл (он «подражал Христу и Богу нашему»). Издевательства мимов над Христом и христианскими догмами, обычные в первые века нашей эры, еще долго продолжались после утверждения христианства в качестве господствующей религии.[119] Факт столь поздних насмешек мимов над христианством уникален, однако сведения наши для этого периода столь скудны, что сие обстоятельство не должно вызывать удивления; надо считаться, однако, и с тем, что Продолжатель Феофана мог усмотреть насмешку там, где ее на самом деле не было...[120]

Возможно, имеют значение, не до конца нам пока ясное, и другие детали из приведенного эпизода. Вероятно, не случайно, что встретившаяся царю женщина возвращается из бани, да к тому же с кувшином и мокрым полотенцем. Баня как учреждение в Восточно-римской империи — наследнице античности — выполняла вполне почтенные функции, однако нам знакома ситуация лишь «верхнего культурного слоя»; не исключено, что в «низовом мире» бане была уготована прямо противоположная роль, тем более что отдельные намеки на это можно встретить и в византийской литературе,[121] а у славян баня определенно принадлежит «смеховому, кромешному миру».[122]

Перескажем близко к тексту следующий эпизод, на котором нам предстоит остановиться.[123] Пообещав рассказать, «как измывался Михаил над божественным, как выбрал патриарха из числа своих мерзких мужебаб, из них назначил одиннадцать митрополитов, как бы дополнив собой это число до двенадцати», Константин Багрянородный сообщает следующее. Михаил провозгласил патриархом некоего Грила,[124] которого украсил богатыми священническими одеждами. Одиннадцать человек он возвел в ранг митрополитов, а себя назначил архиепископом Колонии. Играя на кифарах, они совершали пародийные священнослужения. В драгоценные священные сосуды они помещали горчицу и перец и «с громким хохотом, срамными словами и отвратительным мерзким кривлянием передавали себе подобным».[125] Однажды вся эта компания вместе с восседавшим на осле Грилом повстречала на загородной дороге процессию, двигавшуюся с молитвословиями во главе с истинным патриархом Игнатием. Приблизившись, этот «сатиров хор» принялся под священную мелодию выкрикивать похабные слова и песни и «в гаме и сраме» дразнить патриарха, который со слезами на глазах молил прекратить поношение святынь и таинств. В другой раз царь пригласил мать сподобиться благословения от патриарха. На самом же деле Михаил усадил на трон все того же Грила, которому велел прикрыть голову. Не заметившая подлога императрица припала к ногам «патриарха», а тот «обратился к ней спиной и испускал из своего мерзкого нутра ослиные звуки».

Императорские забавы в этом случае гораздо менее невинны, чем в предыдущем эпизоде: Михаил не только пародирует литургию и христианскую обрядность (в частности, обряд святого причастия), но и само священное писание — двенадцать избранных митрополитов, конечно же, имитируют двенадцать апостолов.

«Столетия после утверждения христианства в качестве государственной религии, — пишет Г. Рейх, — и после того, как язычество было забыто, церковные соборы должны были запрещать мимам издеваться над обрядами христианской религии».[126] Как видим, издевательства эти продолжались и в IX в.

Наиболее интересная деталь из приведенного выше эпизода — назначение шутовского патриарха Грила (само имя Грил выбрано не случайно, оно обозначает в переводе с греческого «свинья»). По какому «стандарту» действует в данном случае император? Фигуры лжеепископа появлялись в византийских мимических представлениях и раньше. В частности, постоянно пародировавшийся обряд крещения требовал фигуры псевдосвященнослужителя. Такой псевдоепископ (ψευδεπίσκοπος) — герой мима — упоминается и в «Менологии царя Василия» (PG 117, 114).

Однако карнавальный характер приведенного эпизода указывает на иной, хотя и близкий по характеру, источник: на ту область широко распространенной обрядовой игры, которая связана с «перевернутыми отношениями» и, возможно, восходит к греческим Крониям и римским Сатурналиям.[127] Традиции Сатурналий продолжались в средневековой Европе главным образом в знаменитом «празднике дураков» (festum fatuorum, festum stutorum), разыгрывавшемся в рождественскую неделю в церквах Франции, Германии, Нидерландов и других стран.[128] Различные сословия праздновали его

в разные дни после Рождества. В ряде случаев церемония сопровождалась выбором лжеепископа, которого в процессии с пением препровождали в церковь, где он, облаченный в священнические одежды, служил пародийную мессу, сопровождаемую непристойными речами и песнями. Иногда клирики появлялись в церкви в масках животных, женщин, сводников, шутов и т. п. Вместо фимиама курили кровяную колбасу или старую кожу, вместо просфоры ели жирные колбасы...

Традиции античных Сатурналий имели продолжение и на территории средневековой Восточно-римской империи.[129] По сообщению Вальсамона (XII в.), на Рождество и Крещение клирики Св. Софии надевали маски и, изображая из себя солдат, монахов, зверей, устраивали процессии в церкви. Другие клирики переодевались в возниц и забавляли зрителей.[130]

В сообщении Вальсамона не говорится о выборе псевдоепископа. Такие случаи в Византии не засвидетельствованы, хотя нечто подобное происходило и там. В «Житии Стефана Нового» (PG 100, col. 1148 C) рассказывается, как Константин V обласкал втершегося к нему в доверие монаха-расстригу, сделав его участником «гнусных процессий», и присвоил ему наименование «папы веселия» (τῆς χαρᾶς παπᾶν).[131] Во втором случае речь идет о лжеэпархе. Во время игрищ, устроенных императором Алексеем III Ангелом во Влахернах по поводу свадьбы его дочери Анны с Феодором Ласкарисом, некий евнух изображал из себя эпарха Константинополя.[132]

Поскольку, как мы полагаем, действия императора и его шутовской компании так или иначе связаны с ритуалами «перевернутых отношений», заслуживает внимания еще один эпизод, рассказанный Продолжателем Феофана, Константином Багрянородным и повторенный Продолжателем Георгия и Симеоном Логофетом.

Всеми силами злоумышляя против своего соправителя Василия, царь выбрал «одного из их гнусной компании (имеются в виду опять-таки мимы. — *Я. Л.*), ничтожного скопца и забулдыгу», гребца царской триеры Василикина,[133] облачил его в царские одежды и вывел к синклиту, вопрошая, не следует ли ему сделать этого Василикина царем. Эта выходка царя эпатировала собравшихся, которые «остолбенели, пораженные затмением и безумным безрассудством царя». Царица же Евдокия горько посетовала на унижение Михаилом достоинства царской власти. Перед нами опять-таки эпизод из области «перевернутых отношений»: возведение на престол шута. Естественная параллель в данном случае: выборы шутовского короля на рождественских увеселениях в средневековой Европе («бобовый король»).

Типологически сходные обычаи зафиксированы почти во всех регионах мира.[134]

Каким похожим бы ни казалось поведение Михаила и его шутовской компании на ситуации ритуальных и полуритуальных праздненств, какими разительными ни представлялись бы этнографические параллели, они могут объяснить лишь форму действий византийского царя. Пытаясь хоть как-то проникнуть в их суть, мы вновь обратимся к аналогиям, на этот раз из русской истории.

Хорошо известно, что на Руси существовали так называемые «царские скоморохи», генетическая связь которых с византийскими мимами вполне вероятна.[135] Лучшим их временем было время Ивана Грозного, который любил тешиться вместе с ними, вызывая нападки и раздражение современников. Однако увлечение скоморошьими забавами — не единственное основание для аналогии с этим русским царем. Как известно, удалившись с опричниками в Александровскую слободу, царь Иван организовал своеобразный шутовской опричный монастырь, в котором три сотни опричников составили братию, а сам царь принял звание игумена, сочинил общежительный устав, лазил на колокольню звонить к заутрене, пел на клиросе, а потом председательствовал на пьяном застолье «чернецов».[136]

Еще больше совпадающих деталей с проделками компании лжепатриарха Грила в образе действия знаменитого всешутейшего собора Петра I. Приведем описание этого «собора», сокращая рассказ В. О. Ключевского (выбор «источника» достаточно произволен). Собор «состоял под председательством наибольшего шута, носившего титул князя-папы или всешумнейшего и всешутейшего патриарха Московского, Кокуйского и всея Яузы. При нем был конклав двенадцати кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов... Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав... Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которого было славить Бахуса питием непомерным, был свой порядок пьянодействия... свои облачения, молитвословия и песнопения, были даже всешутейшие матери-архиерейши и игуменьи. Как в древней Церкви спрашивали крещаемого “веруеши ли?”, новопринимаемому члену задавали вопрос “пиеши ли?”... Бывало, на святках компании человек в двести в Москве или Петербурге на нескольких десятках саней на всю ночь до утра пустятся по городу “славить”; во главе процессии шутовской патриарх в своем облачении, с жезлом и в жестяной митре; за ним сломя голову скачут сани, битком набитые его сослужителями,

с песнями и свистом. Или, бывало, на первой неделе Великого поста его всешутейство со своим собором устроит покаянную процессию: в назидание верующим выедут на ослах и волах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами, в вывороченных полушубках. Раз на масленице 1699 г. после одного пышного придворного обеда царь устроил служение Бахусу; патриарх, князь-папа Никита Зотов... пил и благословлял преклонявших перед ним колени гостей».[137] Сходство в описании компаний Грила и Никиты Зотова настолько велико, что, кажется, лишь отдельные элементы географического и этнографического характера (сани зимой, вывернутые полушубки и т. п.) отличают одно от другого. Впрочем, не дадим себя увлечь тождеству деталей, иногда оно возникает и случайно, гораздо важней попытаться понять суть подобного рода действа. Но прежде обратим внимание на другое «совпадение». Как уже говорилось, Михаил III как бы имитировал избрание нового царя Василикина. Точно такие же представления устраивали Иван Грозный и Петр I. Первый из них назначил лжецарем Симеона Бекбулатовича, «правившего» в течение двух лет, подписывавшего правительственные указы и принимавшего знаки почтения от самого царя Ивана. Второй определил на такую же роль князя Ф. Ю. Ромодановского, которого именовал «Вашим пресветлым царским величеством», а себя называл Петрушкой Алексеевым.

Об однотипности поведения (в том числе и шутовского) и сопоставимости фигур Ивана Грозного и Петра I в недавнее время писали А. М. Панченко и Б. А. Успенский.[138] (Не случайно, должно быть, своего героя-диктатора создатели знаменитого фильма «Покаяние» также представили зловещим фигляром.) Видимо, в этот ряд можно поставить и византийского царя Михаила III. «Поставить в ряд», однако, вовсе не означает объяснить. Не претендуя на какие-либо категорические обобщения, укажем на «типологическое» сходство основных биографических фактов и нрава трех царей, которое, возможно, и определяет столь похожие их действия и реакции. Все трое остались сиротами или полусиротами и еще детьми получили царское достоинство, все трое испытали деспотизм и оказались игрушками в руках соперничавших между собой придворных партий, были свидетелями кровавых и драматических событий, вокруг них разыгрывавшихся. Все трое рано повзрослели и рано получили единодержавную власть. Все трое предавались пороку пьянства, отличались жестокостью и переменчивостью, всем троим, наконец, в высшей степени была свойственна эксцентричность поведения.

Стремление царей к эпатажу, к эксцентричности, низменному комизму вряд ли имеет одну причину, в нем соединялись и элементарная пьяная удаль, и издевательство над привычными институтами (именно так воспринимали это «ортодоксальные» критики самодержцев), и утверждение неограниченного своего величия (вплоть до отказа от этого величия), и, наконец, поиски коррелята к высокому, своеобразная компенсация сверхсерьезного и сверхвысокого комическим и низменным. Не станем конкретизировать эти положения. Любое уточнение привело бы нас в очень мало изученную и почти нам незнакомую область психологии власти.

Рассуждая о Михаиле III, мы сознательно «забывали» о том, что речь в сущности шла не о реальном императоре, а о литературном его изображении. По прошествии одиннадцати веков не так-то легко отличить действительные черты исторического героя от их художественной интерпретации. Хотя можно, основываясь на свидетельствах параллельных источников, предположить, что «низменность» поведения до некоторой степени действительно была свойственна этому императору, однако подчеркивание и концентрация «стихии низа» в его образе относится уже к области литературной.

Какими бы ни были приемы изображения Василия I и его антипода Михаила III, образы их обрисованы в пределах принципа Schwarz-weiß-malerei («черно-белого изображения»), свойственного «классической» византийской литературе. Однако у Продолжателя Феофана можно обнаружить признаки и иных методов подхода к историческому герою, гораздо более необычных для византийских писателей.

В первой книге, посвященной Льву V, дважды появляется эпизодический герой Иоанн Эксавулий, и оба раза этот персонаж наделяется одной аналогичной характеристикой: Эксавулий — «муж искусный в познании природы и нрава людского» (с. 11). Это свойство, дважды подчеркиваемое и, вероятно, весьма ценимое писателем, неотъемлемо и от его художественного метода.

«Познание природы и нрава», несомненно, новое свойство византийской литературы, как это часто бывает, заметно проявляется в деталях и небольших эпизодах. В отличие от своих предшественников анонимный автор нередко фиксирует у своих героев, даже эпизодических, частное, моментальное, «акцидентное». Он замечает, например, как изменился в лице при дурном известии Вардан (с. 8), какую странную позу принял представший перед Феофилом придворный шут Дендрис (с. 43) и так далее. Нередко эти наблюдения касаются душевных движений и состояний персонажа. Мятежник Фома Славянин при дурном известии сначала взволновался и обеспокоился,

но потом пришел в себя. Кесарь Варда обуреваем был жаждой царской власти, смирить которую разумом был не в состоянии. Узнав о мятеже, Михаил Рангаве «был потрясен душой, но умом не поколеблен». Не станем продолжать ссылки. Для воспитанного на античной, а тем более на новой литературе читателя они, по-видимому, не говорят ни о чем. Стоит, однако, вспомнить, что в предшествующей хронистике с ее крайне обобщенными и скудными эпитетами персонажей, искусственно прилагаемыми к ним соматопсихограммами, с однозначностью отношений качество-действие («полюбил, как красивую»!), ничего подобного не существовало. Удобней, однако, показать этот новый стиль изображения персонажей не на эпизодических героях, а на главных, оставшихся пока вне поля нашего зрения: Льве V, Михаиле II и Феофиле.

Все три героя проходят у Продолжателя Феофана с безусловным знаком минус. Все трое — иконоборцы, враги истинной ортодоксии и потому по всем канонам византийского мышления должны быть заклеймлены, опозорены, прокляты. Все полагающиеся проклятия по их адресу произнесены. Однако структура этих образов едва ли сводится к простому поношению.

Ради логики изложения начнем с Михаила II. Михаил II Аморийский — наиболее «черный» из упомянутых персонажей. Уже в предыдущем разделе, посвященном Льву V, в котором появляется эпизодическая фигура Михаила, он попутно охарактеризован как «болтливый, с дерзким языком» (с. 19) и далее уже в начале второй книги «бесстрашным и кровожадным» (с. 22). Но более или менее развернутая характеристика Михаила Аморийского начинается дальше (с. 23 сл.). Воспитанный в ложном вероучении иудеев и афинган, он был предан своей ереси и, войдя в зрелый возраст, не мог избавиться от «невежества и грубости» (ἀμαθία καὶ ἀγροικία). К словесным наукам он питал совершеннейшее отвращение и, находясь на царском троне, отличался знанием и любовью к вещам, достойным разве что простого крестьянина. Два качества: невежество и грубость — с одной стороны, еретические заблуждения и проистекающее отсюда нечестие (ἀσέβεια) — с другой, ставятся между собой во взаимосвязь, становятся лейтмотивом образа и определяют все поведение героя. Михаил жестоко преследует всех оставшихся верными иконопочитанию, чудовищно надругается над верой, вместе с тем презирает эллинскую науку, а «божественной» пренебрегает настолько, что даже запрещает ей обучать из-за страха, что кто-нибудь «с быстрым взором и искусной речью» посрамит его в его невежестве, ведь Михаил «настолько был слаб в складывании письменных знаков и чтении слогов, что скорее можно было прочесть целую книгу, чем он медлительным умом разберет буквы собственного имени» (с. 25). Будучи свойственны ему изначально, невежество и нечестие только возрастают со временем и постепенно достигают своего апогея. Декларировавший в начале правления веротерпимость Михаил решения своего в жизнь не провел, обрушил жестокие репрессии на христиан, заслужив от автора традиционное для императоров-еретиков определение: «зверь дикий» (θὴρ ἄγριος). В это время доходит Михаил до предела нечестия.

Еще один штрих в образе Михаила заслуживает внимания — неоднократно отмечаемая автором шепелявость речи царя (именно за это качество и получил Михаил прозвище «Травл» — шепелявый). Признак этот служит своего рода внешней маркировкой персонажа, любопытно, однако, что в одном случае этот физический недостаток прямо связывается с внутренней ущербностью героя. «Михаила, — пишет аноним, — все ненавидели и потому, что был он причастен ереси афинган, и потому, что отличался робостью, и потому, что речь у него хромала, а более всего потому, что не менее речи хромала у него душа» (с. 26).

При всей традиционности предъявленных Михаилу обвинений его образ обладает (пусть в едва намеченном виде) определенной внутренней структурой. Свойства персонажа — не накладываемые извне (вспомним соматопсихограммы Малалы!), а находящиеся в определенной системе качества, определяющие к тому же действия и поступки героя.[139]

Более сложную структуру представляют образы Льва V и Феофила. Уже первые характеристики Льва, тогда еще не успевшего занять царский престол, удивляют своей неоднозначностью. Лев воинствен, кровожаден, обрел славу храбреца, он устрашающ видом, огромен ростом и в то же время изыскан речью (с. 7). Вознесясь из низменного состояния до знатного положения, он проявил неблагодарность к своему благодетелю, впрочем, как отмечает автор, выказал мужество в борьбе с арабами (с. 9). В дальнейшем, однако, в войне нового царя Михаила Рангаве с болгарами Лев, «не умеющий мыслить честно и здраво» и обуреваемый властью, предает царя и в результате захватывает власть, хотя существует и другая версия, которая, как указывает писатель, представляет Льва в гораздо лучшем свете (с. 11). Как видно, фигура Льва, представленная еще до получения власти, как бы балансирует между плюсом и минусом, ее свойства поочередно попадают в сферу притяжения положительного и отрицательного полюсов. Та же неоднозначность сохраняется,

а контрасты между одобрением и осуждением постепенно еще усиливаются в рассказе о Льве после воцарения. Описывая преступный акт узурпации власти, Продолжатель Феофана, несмотря на явное осуждение, тем не менее сообщает о колебаниях Льва, раздумывающего захватывать ему или не захватывать царский престол. Впрочем, автор остается в сомнениях: то ли новый император ломал комедию, то ли вправду задумался над последствиями своих действий (с. 11). Эта неуверенность в мотивах поведения Льва здесь, как и в других случаях, еще более подчеркивает двойственность оценки героя. Толчком для полного раскрытия низменных свойств натуры Льва служит причина внешнего порядка: Лев одолевает в войне болгар и «эта победа прибавила ему дерзости и наглости и возбудила свойственную ему жестокость». Он без разбору карает виновных и невиновных и по заслугам вызывает к себе всеобщую ненависть (с. 15).

Второй толчок для «ухудшения» Льва — тоже внешнего свойства: это лжепрорицание монаха Симватия, требующего от царя уничтожения иконопочитания. Наш автор уже не стесняется здесь в употреблении эпитов, первый иконоборческий император представляется теперь «воистину образом демонским, рабом невежества, тени безгласнее» (с. 16) (инвектива развивается crescendo, и автор как бы «забывает», что сам же отмечал у своего героя в числе прочих такое свойство, как изысканность речи). Такое «противоречие» не должно нас удивлять: законы византийской инвективы позволяют применять любые средства, приписывать объекту нападок любые пороки, нисколько не соотнося их с реальностью. Оказывается даже, что нечестие Льва было предопределено с самого начала. Когда впервые патриарх возлагал корону на голову нового патриарха, он ощутил рукой не мягкие волосы, а тернии и колючки (с. 17).

Любопытно, однако, что, дойдя до своего пика, инвектива явно теряет прежний накал и повествование переходит в другую тональность. Приведем с сокращениями пассаж, касающийся государственной деятельности Льва: «Как никто другой более честолюбием, принялся Лев за государственные дела: словно оса, никогда не расстающаяся со своим жалом, он сам упражнял свое воинство, во многих местах Фракии и Македонии собственными стараниями возвел от основания города и объезжал земли, дабы вселить ужас и страх во врагов. Потому-то, как рассказывают, и сказал после его кончины святой Никифор, что не только злодея, но и радетеля общего блага потерял город в его лице... Сам он был выше сребролюбия и потому из всех предпочитал людей неподкупных и отличал всех по доблести, а не богатству. Он хотел прослыть любителем правосудия, однако на деле им не был, впрочем, не был ему чужд, и сам восседал в Лавсиаке, и многие судебные дела рассматривал самолично... Однако всем этим хотел подольститься к народу и как бы покупал его расположение» (с. 17).

Вся характеристика построена на «диалектических» переходах. Да и появляется она вслед за более чем жестким и безусловным осуждением Льва. Не случайно в ней приведены слова патриарха Никифора, называющего Льва «не только злодеем, но и радетелем». Маятник оценок действительно колеблется в ней между «злодеем», и «радетелем», причем каждая последующая фраза ограничивает, уточняет, а то и отрицает значение предыдущей. Неожидан и ее вывод: все старания Льва вообще не что иное, как простое желание подольститься к народу, своеобразное лицемерие. Такая характеристика персонажа необычна в литературе X в., но она явно предвещает великолепные, построенные на тончайших диалектических переливах описания персонажей замечательного писателя следующего века Михаила Пселла.

«Уравновешенная» характеристика, конечно, не спасет Льва от дальнейших суровых обвинений в нечестии и жестокости. Автор-иконодул не мог иначе обойтись с иконоборческим императором. Интересно, однако, что заключительный elogium, подводящий итог всему рассказу, вновь «диалектически уравновешен»: «Лев отличался жестокостью и как ни один из его предшественников — нечестием. И этим опозорил свойственную ему заботу о государственном благе, силу рук и храбрость» (с. 21).

Уже из этой заключительной характеристики нетрудно увидеть, что главные «организующие» черты образа Льва — жестокость и нечестие — не отличаются от характеристик другого иконоборца Михаила II, однако структура образа Льва много сложней и многогранней. Отмечая разнородность характеристики Льва, исследователи предполагали даже, что в распоряжении автора были различные источники, в том числе вполне благожелательные ко Льву и, возможно, исходящие из иконоборческих кругов (последние, естественно, до нас не дошли, как не дошло до нас ни одно произведение писателя-иконоборца). Определенное подтверждение этому предположению имеется и в самом тексте Продолжателя Феофана. Вспомним, рассказывая о сражении византийцев с болгарами, в котором трагическую роль сыграло предательство Льва, анонимный писатель замечает: «...но есть и такие (авторы. — *Я. Л.*), которые приписывают спасение войска и мужество в бою Льву, в то время как замыслили

зло и покинули боевые порядки якобы не воины Льва, а царские отряды» (с. 11).

Но даже если это и так, даже если наш писатель пользовался разноречивыми источниками, вряд ли «противоречия» фигуры Льва следует непременно объяснять как следствие метода «ножниц и клея» в его работе, продукт механического соединения взаимоисключающих данных. Непомерная подозрительность современных ученых, их стремление (отнюдь не во всех случаях безосновательное!) видеть в византийских писателях лишь бездушных компиляторов уже не раз заставляло исследователей проходить мимо значительных художественных явлений византийской словесности. То, что сочетание в образе противоречивых черт — не результат механического склеивания, а новая для византийской литературы структура, подтверждается и анализом другого персонажа «Хронографии» — императора Феофила.

Как ни в каком другом, в разделе о Феофиле исторический материал сконцентрирован вокруг героя. Исторические эпизоды и сообщения группируются вокруг фигуры главного персонажа и своеобразным образом «подбираются» для создания его характеристики.[140]

Уже первые описания Феофила создают впечатление некоторой авторской неуверенности и двойственности в отношении к герою. «Феофил пожелал прослыть страстным приверженцем правосудия и неусыпным стражем гражданских законов. На самом же деле он только притворялся, стремясь уберечь себя от заговорщиков...» Демонстрировать это утверждение должен первый эпизод, рассказанный Продолжателем Феофана. Собрав во дворце всех способствовавших в свое время приходу к власти его отца Михаила и низвержению императора Льва V, он, «словно сокрыв в потемках звериный облик своей души, спокойным и ласковым голосом» обратился к собравшимся с речью, целью которой было выявить бывших заговорщиков. Поверившие обманным речам Феофила, они выступили вперед, и царь предал их власти закона. «Феофил, — продолжал автор, — возможно, заслуживает похвалы за соблюдение законов, но уж вряд ли кто припишет ему кротость и мягкость души» (с. 40).

Итак, оценив строгое исполнение законов лицемерным императором, Продолжатель Феофана тут же осуждает его за жестокость, однако (и это интересно) считает нужным для смягчения впечатления сообщить, что к этому поступку Феофил «добавил нечто достохвальное и хорошее»: изгнал мачеху Евфросинью и заставил ее вернуться в монастырь, поскольку счел ее брак с Михаилом «противозаконным».

Далее, продолжая характеристику в благожелательном духе и как бы «забыв», что справедливость Феофила — не более как лицемерие, Продолжатель Феофана прибавляет: «В дальнейшем он пристрастился к делам правосудия и всем дурным людям был страшен, а хорошим — удивителен. Вторым — потому что ненавидел зло и отличался справедливостью, первым — из-за своей суровости и непреклонности» (с. 41). Однако выдерживать характеристику в том же духе автор отказывается, меняет тональность и вновь к меду прибавляет деготь: «Но и сам Феофил не остался незапятнан злом... держался полученной от отца мерзкой ереси иконоборцев. Ею морочил он свой благочестивый и святой народ, обрек его всевозможной порче... Из-за этого не удалось ему совершить соответствующих подвигов во время войн, но он постоянно терпел поражения...» (там же).

После этого замечания Продолжатель Феофана переходит к серии эпизодов, долженствующих рассказать о справедливости Феофила и его заботах о благоустроении государственных дел. Длинный перечень его благородных деяний кончается восторженной оценкой на самой высокой ноте: «В подобных делах являл себя Феофил великолепным и удивительным». Уже успевший привыкнуть к методу изображения Феофила читатель не спешит радоваться благостным оценкам, ожидает нового резкого перехода к другой тональности, и этот переход действительно не заставляет себя ждать уже в той же фразе: «...что же касается нас, благоверных почитателей святых божественных икон, какое там! Словно жестокий варвар старался он перещеголять всех, в этом деле отличившихся» (с. 46). Новая серия эпизодов призвана проиллюстрировать ересь и «зверство и безумие тирана» — «жестокого из жесточайших» и «мерзейшего из мерзких» царя Феофила.

Впрочем, вновь дойдя до высочайшей ноты, Продолжатель Феофана (уже в какой раз!) вновь меняет тональность и повествует и о необыкновенной любви Феофила к церковному пению, и о его воинской доблести (с. 50, 51), а предсмертная речь царя, отличающаяся сдержанными благородством и изяществом, вызывает слезы умиления у присутствующих и вполне сопоставима с аналогичными речами героев античной историографии (с. 62).

Как видно, непрерывно раскачивающийся маятник оценок Феофила имеет еще большую амплитуду колебаний, чем в случае со Львом V. Противоречивость характеристик иногда находится на грани несовместимости разных черт персонажа, будто даже разрушая цельность образа. Вряд ли, однако, следует вообще подходить к персонажу средневековой хроники с критериями, выработанными

современным литературоведением для позднейшей литературы. Не исключено, что и здесь Продолжатель Феофана, а вернее, автор *ОИ, пользовался разными, в том числе и иконоборческими источниками с диаметрально противоположным освещением фигуры императора. Сути дела это не меняет. Рисуя образ Феофила, автор создает непростую и внутренне противоречивую структуру — противостоящую примитивным схемам предшествующей хроники.

* * *

Мы закончили краткое рассмотрение ранней византийской хронистики, охарактеризовав «Хронографию» Продолжателя Феофана. Настало время попытаться ответить на вопрос, поставленный в заголовке статьи. К. Крумбахер, весьма склонный распределять литературные произведения по формальным признакам, уверенно относит Продолжателя Феофана к числу хронистов. Уже в наши дни автор византийского раздела в уже цитированном выше солидном «Лексиконе средних веков» П. Шрайнер исключает «Хронографию» из поля своего внимания, молчаливо относя ее к «полноценным историям». П. Александер и Р. Дженкинс говорят о первых четырех книгах этого сочинения как о биографиях плутарховского типа, пятую же называют энкомиастическим жизнеописанием.[141]

Вопрос о том, к какому жанру отнести «Хронографию» Продолжателя Феофана, обречен на полную зависимость от субъективных оценок, если мы останемся в кругу традиционных представлений и магии устойчивых терминов.

«Хроники» и «истории», утверждали мы, развивались в качестве параллельных, самостоятельных и редко смешиваемых жанров лишь до начала VII в. После этого «истории» исчезли вовсе и возродились лишь в X в., хроники же продолжали свое существование до конца Византийской империи и даже писались позже.

Ученые обычно склонны объяснять новое появление «историй», в том числе и историй «биографического типа», в X в. оживлением заглохшей было античной традиции. Упомянутая только что статья Р. Дженкинса так и называется: «Классическая основа писателей после Феофана». Для доказательства своего тезиса ученый обращается к испытанному приему — розыскам и конечному обнаружению конкретных образцов, на которые ориентировались и которым подражали авторы. Для того чтобы проиллюстрировать, насколько распространен этот прием в классической и византийской филологии, напомню, что поколения ученых разыскивали образцы для самого Плутарха, биографии которого, по мнению Р. Дженкинса, послужили основой для жизнеописаний Продолжателя Феофана. Бесполезность этих занятий прекрасно показал С. С. Аверинцев.[142] Нет таких образцов и у Продолжателя Феофана, хотя, без сомнения, и он подвергался значительному античному влиянию.

То, что происходит в сочинении Продолжателя Феофана (главным образом в первых четырех его книгах), — это зарождение новых художественных структур в традиционном жанре византийской хронистики, прежде всего в композиционной структуре и структуре образов. По сути дела, это рождение «истории», так сказать, из чрева «хронистики».

Рождение одного жанра в недрах другого — явление хорошо известное в истории литературы, в историографии в частности. Напомним в этой связи замечательно меткое определение А. С. Пушкиным Н. М. Карамзина, которого поэт назвал «первым нашим историком и последним летописцем». Этот же процесс происходил и в античности, где классическая историография родилась из древней логографии и анналистики.[143]

Историческое повествование Продолжателя Феофана, говорили мы, — не просто история, а своеобразная «“история” на пути к “биографии”». Процесс развития в историографии биографического принципа также вполне закономерен. В той же античности развитие шло от логографии и анналистики к монументальной, концептуальной истории, а от нее к исторической биографии, классиками которой стали Плутарх, Светоний и «Scriptores Historiae Augustae». Обращаясь и к вовсе близким нам примерам, вспомним, какой путь прошла послереволюционная историческая наука (во всяком случае, ее весьма значимая ветвь) от системосозидающих и «безгеройных» трудов ученых школы Покровского до пристального внимания и настойчивых попыток реконструировать личность исторических персонажей у историков наших дней. Не случайно мы переживаем сейчас расцвет жанра исторических биографий.

Чтобы по-настоящему оценить какой-либо процесс, в том числе и литературный, необходимо не только определить его истоки и проследить ход, но и взглянуть на него «с вершины», с точки зрения конечных результатов. В данном случае такое вершиной оказывается «Хронография» великого византийца XI в. Михаила Пселла, сочинение, в котором исторический материал уже фактически растворяется в биографиях и удивительной художественной силы характеристиках исторических персонажей, все повествование которого по сути дела не что иное, как усложненная характеристика героя.[144]

У Михаила Пселла находят максимальное выражение тенденции, отмеченные нами у Продолжателя Феофана.

Похожа ли византийская литература, во всяком случае, византийская историография, на продукт затянувшегося декаданса, на литературу без внутреннего движения и развития, с писателями, отличающимися друг от друга лишь мерой своей образованности?..

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В серии «Литературные памятники» несколько византийских житий святых были опубликованы в кн.: Византийские легенды / Изд. подгот. С. Полякова. Л., 1972.

[2] См., например, с. 177. Автор ссылается на жизнеописание Иоанна Куркуаса в восьми книгах, принадлежавшее некоему Мануилу. Следы использования «биографий» у «Продолжателя Феофана» гипотетически устанавливаются и современными исследователями (см., например: *Karlin-Hayter P.* Études sur les deux histoires du règne de Michel III // Byz. 1971. Vol. 41. P. 452 siuv.).

[3] Оба эти произведения переведены и изданы нами на русском языке. *Анна Комнина.* Алексиада / Вступит. ст., пер., коммент. Я. Любарского. М., 1965; *Михаил Пселл.* Хронография / Пер., ст. и примеч. Я. Любарского. М., 1978. См.: *Alexander P.* Secular Biography at Byzantium // Speculum. 1940. Vol. 15. № 2. P. 194 ff.

[4] Мы имеем в виду такие классические труды, как: *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527–1453). 2. Aufl. München, 1897; *Beck H.-G.* Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich. München, 1959; *Hunger G.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1–2.

[5] *Beck H.-G.* Das literarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständais // Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Stzb., 1974. Bd. 294, Abh. 4.

[6] *Mango C.* Byzantine Literature as a Distorting Mirror // Mango C. Byzantine and its Image. London, 1984.

[7] Наиболее подробно позиция С. С. Аверинцева выражена в его статье: *Аверинцев С.* Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском Средневековье. М., 1986. С. 19 и след.

[8] См. перечисление таких примеров в кн.: *Mango C.* Byzantium. The Empire of New Rome. London, 1980. P. 240.

[9] К примеру, «Роман об Александре» Псевдо-Каллисфена датируется разными учеными от I в. до н. э. до III в. н. э.!

[10] *Krumbacher K.* Geschichte... S. 219 ff.

[11] *Beck H.-G.* Die byzantinische «Mönchschronik» // Beck H.-G. Ideen und Realitäten in Byzanz; Gesammelte Aufsätze. VR. London, 1972. № 16.

[12] *Hunger D.* Die hochsprachliche profane Literatur. Bd. 1. S. 243 ff.

[13] Так полагает, например, Х.-Г. Бек в упомянутой статье «Das literarische Schaffen».

[14] На основании имени, означающем по-сирийски «ритор», делается вывод о сирийском происхождении и профессии писателя. То обстоятельство, что Малала уделяет большое внимание антиохийским событиям, заставляло предполагать в нем жителя Антиохии. То, что в последних разделах труда Малалы на передний план выступают эпизоды, связанные с Константинополем, позволяло думать, что автор «Хронографии» в какой-то период переселился в византийскую столицу.

[15] Примером может служить неоднократно выдвигавшееся утверждение о «монофизитстве» Иоанна Малалы. Ближайшее рассмотрение показало, что эти утверждения базируются скорее на факте сирийского происхождения автора, чем на данных его сочинения.

[16] Более подробно о композиции «Хронографии» Иоанна Малалы говорится в наших статьях: 1) Хронография Иоанна Малалы (проблемы композиции) // Festschrift für Fairy von Lilienfeld. Erlangen, 1982. S. 411 ff.; 2) Замечания о структуре «Хронографии» Иоанна Малалы // Общество и культура на Балканах в средние века. Калинин, 1985.

[17] *Spörl J.* Das mittelalterliche Geschichtsdenken als Forschungsaufgabe / hsgb. W. Lammers // Geschichtsdenken und Geschichsbild im Mittelalter. Darmstadt, 1961. S. 23 ff.

[18] См.: *Bruns I.* Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten. Berlin, 1898.

[19] Подробно о персонажах Иоанна Малалы см. в нашей статье «Исторический герой в “Хронографии” Иоанна Малалы» // Кавказ и Византия. Вып. 6. Ереван, 1988.

[20] По мнению Е. Патцига, первоначально портреты сопутствовали появлению всех персонажей «Хронографии», их исчезновение в ряде случаев — результат переработки первоначального текста (*Patzig E.* Рец. на кн.: *Fürst J.* Untersuchungen... // BZ. 1904. Bd. 13. S. 178).

[21] См.: *Schissel O. v. Fleischenberg.* Die psychoetische Charakteristik in des Porträts der Chronographie des Joannes Malalas // Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. 1909. Bd. 9. S. 428 ff. Статья целиком посвящена «психоэтическим» эпитетам у Малалы.

[22] *Rohde E.* Der griechische Roman und seine Vorläufer. Leipzig, 1876. S. 151. Anm. 1.

[23] Е. Патциг в категоричной форме отвергает все попытки определить источники «портретов» Малалы. «Я вижу портретиста в самом Малале», — заявляет ученый (*Patzig E.* Рец. на кн.: *Barier P. H.* Über die Quellen der ersten vierzehn Bücher des Malalas // BZ. 1901. Bd. 10. S. 608 ff.).

[24] *Krumbacher K.* Geschichte... S. 326.

[25] «Если искусство IV–V вв. можно расценивать как деградацию классического стиля, то для оценки искусства юстиниановской эпохи эти мерки уже не применимы. Где-то около 500 г. происходит перелом в эстетике» (*Mango C.* Byzantium... P. 261).

[26] О сочинениях древних логографов и анналистов мы, как известно, можем судить главным образом из позднейших свидетельств. Приведем лишь один пассаж из трактата Цицерона «Об ораторе» (11, 12, 53–54): «Подобного способа письма (имеются в виду annales maximi. — *Я. Л.*) держались многие; они оставили только лишенные всяких украшений памятки о датах, людях, местах и событиях. Каковы у греков были Ферекид, Гелланик, Акусилай и очень многие другие, таковы наши Катон, Пиктор, Пизон; они не знают, чем украшается речь (эти украшения явились у нас лишь недавно), они хотят лишь быть понятными и единственным достоинством речи считают краткость» (перевод Ф. А. Петровского. Цит. по: *Цицерон.* Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972. С. 140).

[27] Малала, несомненно, опирается на большую и разветвленную традицию позднеантичной языческой и христианской литературы, к сожалению, до нас почти вовсе не дошедшей. Наиболее подробно об этом см.: *Croke B.* The Origins of the Christian World Chronicle // History and Historians in Late Antiquity / Ed. by B. Croke, A. Emmett. Sidney, 1983.

Любопытно отметить, что сам Малала почти каждое утверждение сопровождает ссылками на источник, из которого он заимствует сведения. Эти источники нам неизвестны, в правдивости ссылок есть основания сомневаться, интересна, однако, сама тенденция Малалы «опереться на традицию».

[28] И. Ирмшер справедливо характеризует этот аспект «Хронографии», называя произведение Малалы «народной книгой по содержанию и языку» (*Irmscher J.* Die Monarchie im Geschichtsbild der byzantinischen Chronographie // Prace Historiczne. 1980. Bd. 63. S. 144).

[29] Подробно см.: *Beaucamp J. e. a.* Temps et Histoire. 1. Le prologue de la Chronique pascale // TM. 1979. Vol. 7. P. 223 suiv.

[30] Усиленное внимание к хронологии — характерная черта всей европейской хронистики этого времени. Это дало возможность некоторым исследователям утверждать, что хроники этого периода подчас вообще оказываются «текстовым приложением к теоретическим трактатам по хронологии» (см.: Lexikon des Mittelalters. 1983. Bd. 2. S. v. Chronistik).

[31] Если старые исследователи видели в Георгии Синкелле скорее «холодного компилятора», то современные ученые больше доверяют словам ученика Георгия Феофана, восхищавшегося ученостью и талантом своего учителя (см.: *Huxley G.* On the Erudition of George the Syncellus // Proceedings of the R. Irish Academy. 1981. Vol. 81, № 6; *Adler W.* Time Immemorial. Archaic history and its Sources in Christian Chronography from Julius Africanus to George Syncellus. Washington, 1990).

[32] Подробно см.: *Любарский Я.* Феофан Исповедник и источники его «Хронографии» (К вопросу о методах их освоения) // ВВ. 1984. Т. 45.

[33] В этой связи кажется очень странной гипотеза К. Мэнго, предположившего, что истинным автором «Хронографии» Феофана был Георгий Синкелл. Ср. возражения И. Чичурова: *Чичуров И.* Феофан Исповедник — публикатор, редактор, автор? (в связи со статьей К. Мэнго) // ВВ. 1981. Т. 42. С. 78 и след.

[34] *Чичуров И. С.* Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции (IV в.–начало IX в.) // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1981 г. М., 1983. С. 39.

[35] Там же. С. 137.

[36] О роли «свободной воли» человека у византийских теологов см.: *Beck P.-H.* Vorsehung und Vorherbestimmung in der theologischen Literatur der Byzantiner. Roma,1937. S. 21 ff.

[37] См.: *Kazhdan A., Constable G.* People and Power in Byzantium, an Introduction to Modern Byzantine Studies. Washington, 1982. P. 140 ff.

[38] Мы основываемся в данном случае на двух работах, авторы которых сравнивали обе рукописи: *Boor C. de.* Bericht über eine Studienreise nach Italien, Spanien und England zum Zwecke handschriftlicher Studien über byzantinischen Chronisten. Preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, Philos-hist, Cl. Stzb. Bd. 51. S. 922 ff.; *Nickles N.-G.* The Continuatio Theophanis // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1937. Vol. 68. P. 221 ff. Впрочем, выборочное сличение фотокопий рукописей Vat. gr. 167 с текстом Боннского издания не показало каких-либо разночтений, влияющих на смысл изложения.

[39] Нам не показались убедительными аргументы Х. Сигнеса, приписывающего авторство первых четырех книг также Константину Багрянородному (см.: *Signes J.* Algunas consideraciones sobre la autoria del Theophanes Continuatus // Erytheia. 1989. Vol. 10. P. 17).

[40] Этот весьма сильный аргумент приведен А. П. Кажданом в его статье «Из истории византийской хронографии» (ВВ. 1961. Т. 19).

[41] Scyl. 60.

[42] Приведем здесь лишь некоторые из работ, в которых обсуждается вопрос о роли Феодора Дафнопата в написании и составлении свода: *Сюзюмов М. Я.* Об историческом труде Феодора Дафнопата // Византийское обозрение 2. Юрьев, 1916; *Шестаков С.* К вопросу об авторе продолжения Феофана // Deuxième Congrès International des Études Byzantines, Belgrade, 1927. Compte-rendu. Belgrade, 1929; *Jenkins R. I. H.* The Classical Background of the Scriptores post Theophanem // DOP. 1954. Vol. 8. P. 13 ff. Подробный анализ всех воззрений на эту проблему см. в статье A. Markopoulos (*Markopoulos A.* Théodore Daphnopatés et la Continutiation de Théophane // JÖB. 1985. № 35). По мнению А. Маркопулоса, всякие связи Феодора Дафнопата с Продолжателем Феофана весьма проблематичны.

[43] *Hunger G.* Die hochsprachliche profane Literatur... S. 343.

[44] Это утверждение нуждается в определенном ограничении. Между шестой книгой Продолжателя Феофана и, скажем, «Хронографией» Малалы немалая разница. Однако путь, пройденный византийской историографией от Малалы до Продолжателя Феофана, гораздо нагляднеи при сравнении предыдущей хронистики с первыми пятью книгами нашего автора. Различие здесь носит уже принципиальный характер.

[45] См.: *Treadgold W.* The Macedonian Renaissance // Renaissances before the Renaissance (Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages) / Ed. W. Treadgold. Stanford, 1984.

[46] Нам известно, например, что в доме Фотия существовало нечто вроде «домашней академии» — тесного круга (χόρος) его учеников (см.: *Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin. Paris, 1971. P. 197).

[47] *Lemerle P.* Le premier humanisme...

[48] Большинство этих фактов содержится в шестой книге сочинения. Наиболее подробное исследование о Константине VII и его времени см. в книге А. Тойнби: *Toynbee A.* Constantine Porphyrogenitus and his World. London, 1973. Ученый собрал большой материал, однако его оценки героя книги нередко весьма наивны.

[49] Scyl. 237.

[50] *Ostrogorsky G.* Geschichte des byzantinischen Staates. München, 1963. S. 232.

[51] Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta / Ed. U. Ph. Boissevain. C. de Boor, The Büttner-Wobst. 1903–1910. T. 1–4.

[52] *Constantino Porfirogenito.* De thematibus. Introduzione, testo critico, commento a cura di A. Pertusi. Città del Vaticano,1952.

[53] *Constantine Porphyrohenitus.* De administrando imperii / Ed. Gg. Moravcsik. Washington, 1967. Греческий текст с русским переводом и обширным комментарием см.: *Константин Багрянородный.* Об управлении империей / Пер., текст, коммент. под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., 1989.

[54] Constantinis Porphyrogeniti De Ceremoniis Aulae Byzantinae / Ed. I. Reiske. Bonn, 1829.

[55] В отличие от Продолжателя Феофана, отводящего себе скромную роль «руки» Константина, Генесий в эпиграмме, предшествующей тексту его книги, сообщает об окончании «с великими усердием и трудами» книги, написанной по приказу императора (Gen., 3.3–4). В проэмии к «Книге царей» Генесий сообщает, что «предпринял сей письменный труд, наслышанный (о давних событиях. — *Я. Л.*) от людей, тогда живших и так или иначе сведущих, и от распространенной молвы» (Gen., 3.10–12).

[56] *Hirsch F.* Byzantinische Studien. Leipzig,1876. S. 116 ff.

[57] См.: *Bury J.* The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogenitus. The English Historical Review. 86. 1907.

[58] *Grégoire H.* Manuel et Théophobe // Byz. 1934. Vol. 9. № 1. P. 183, n. 1.

[59] См.: *Barisic F.* 1) Génésios et le Continuateur de Théophane // Byz. 1958. Vol. 28; 2) Les sources de Génésios et du Continuateur de Théophane pour l'histoire du règne de Michel II (820–829) // Byz. 1961. Vol. 31. № 2.

[60] *Lemerle P.* Thomas le Slave // TM. 1965. Vol. 1. P. 264, n. 28.

[61] Хотя позиция А. Грегуара не оставалась неизменной, он в ряде случаев определенно говорит о наличии общего источника (см.: Byz. 1929/30. Vol. 5. № 1. P. 346; Byz. 1932. Vol. 7. № 1. P. 289 suiv.; Byz. 1934. Vol. 9. № 1. P. 185, n. 1).

[62] *Каждан А. П.* Из истории византийской хронографии X в. «Книга царей» и «Жизнеописание Василия» // ВВ. 1962. Т. 21. Точку зрения А. Каждана полностью разделяют издатели Генесия: Iosephi Genesii regum libri quattuor / Rec. A. Lesmueller — Werner et I. Thurn. Berlin, 1978. P. XII.

[63] *Karlin-Hauter P.* Études...

[64] *Каждан А. П.* Из истории... С. 116.

[65] *Каждан А. П.* Рец. на ст.: *P. Lemerle.* Thomas le Slave // ВВ. 1969. Т. 30. С. 279 и след.

[66] Цифры с буквенными обозначениями (4а, 23б и т. д.) использованы не для целых эпизодов, а для их частей, так называемых «подэпизодов». Например, какая-либо война фигурирует в качестве «эпизода», а та или иная военная операция в период этой войны — в качестве «подэпизода». В скобках указаны страницы (до точки) и строки (после точки) сочинения Генесия, прямо не соответствующие каким-либо эпизодам у Продолжателя Феофана. Из экономии места не указываем содержание эпизода и не даем ссылок на произведения и просим читателя положиться на добросовестность автора.

[67] *Barisic F.* Génésios et le Continuateur de Théophane. P. 122.

[68] Родство этих эпизодов подтверждается крохотным, но знаменательным лексическим совпадением: σαπρωση (ThC 151.19 = Gen., 58.16).

[69] Попытку восстановить обе линии хронографии X в. делает Карлин-Хайтер (*Karlin-Hayter Ð.* Études...).

[70] Другие примеры см. в нашей статье: *Liubarskij Ja.* Theophanes Continuatus und Genesios. Das Problem einer gemeinsamen Quelle // Bsl. 1987. 48.1. S. 18.

[71] По утверждению Ф. Гирша (*Hiersch F.* Byzantinische Studien. S. 172), Генесий пользуется сочинениями Георгия Монаха, житиями Никифора и Игнатия. На самом деле в какой-то связи с названными сочинениями находился *ОИ, связи же с ними Генесия (и Продолжателя Феофана) имеют уже вторичный характер.

[72] Чаще всего привлекает «посторонние» сведения и таким образом фактически отходит от *ОИ сам Константин Багрянородный во второй части «Жизнеописания Василия» (начиная с ThC 235.7). Хотя многие эпизоды

явно соответствуют (в том числе и лексически) аналогичным сценам у Генесия, *ОИ уже нельзя считать главным источником «Жизнеописания Василия». Вернее было бы назвать его одним из основных источников рассказа Константина Багрянородного. Вспомним, что в лемме «Жизнеописания Василия» говорится, что произведение это Константин «собрал из разных рассказов» (ἀπὸ διαφορῶν ἀθροίτας διηγημάτων // ThC 211.16–17).

[73] Первая кампания — ThC 112.22 сл.; вторая («на следующий год») — ThC 114.17 сл.; третья («следующей весной» — 116.9 сл.); четвертая («на следующий год») — ThC 122.16 сл.; пятая — ThC 124.6.

[74] Gen., 43.4 сл.; 44.42 сл.

[75] Нас и в данном случае весьма мало интересует вопрос, как все происходило в действительности. Гораздо важнее для наших целей установить, что содержалось в *ОИ. Интересно, однако, отметить, что, согласно арабским источникам, Феофил шесть раз ходил походом на арабов (*Васильев А. А.* Византия и арабы. СПб., 1900. Т. 1. С. 87 и след.). Очевидно, Продолжатель Феофана (и тем более *ОИ) гораздо ближе к истине, нежели Генесий.

[76] *Лихачев Д. С.* Текстология. 2-е изд. Л., 1983. С. 73.

[77] *Любарский Я. Н.* Феофан Исповедник и источники его «Хронографии» // ВВ. 1984. Т. 45. С. 72 и след.

[78] Последнее предположение высказано было в качестве возможности лишь А. П. Кажданом (Из истории... С. 116).

[79] Gen., 20.2–21.46 ≠ ThC 40.6–9 (Лев V);
Gen., 38.68–77 ≠ ThC 83.16–84.9 (Михаил II);
Gen., 52.69–53.9 ≠ ThC 139.6–18 (Феофил);
Gen., 88.66–90.27 ≠ ThC 352.8–14 (Василий I).

[80] Ссылки на соответствующие места Продолжателя Феофана содержатся в подстрочных комментариях издания Генесия.

[81] См.: Gen., 75.23–76.60 = ThC 204.22–206.22 = ThC 235.17–238.10. Все три рассказа восходят к *ОИ, ибо фактические и лексические совпадения встречаются здесь как бы «парами», т. е. одни — в текстах Продолжателя Феофана и Константина Багрянородного, другие — в текстах Константина Багрянородного и Генесия, третьи — в текстах Генесия и Продолжателя Феофана.

[82] 1 версия: Gen., 3.23–4.27 = ThC 15.5–17;
2 версия: Gen., 4.38–30 = ThC 15.18–21.

[83] 1 версия: Gen., 37.16–38.45 = ThC 110.5–111.9;
2 версия: Gen., 38.62–40.14 = ThC 111.10–112.21.

[84] 1 версия: Gen., 25.50–26.83 = ThC 50.18–52.7;
2 версия: Gen., 23.80–24.37 = ThC 52.8–55.11.

О двух версиях рассказа о Фоме см.: *Barišić F.* Две верзиjе у изворима о устанику Томи // ЗРВИ. 1960.6.

[85] Например, две версии рассказа о смерти Феофоба, сообщенные Генесием (Gen., 42.59–70 + Gen., 42.71–43.3), трансформируются у Продолжателя Феофана в одну (ThC 135.16–136.23), соединяющую детали обеих версий.

[86] См.: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество. М., 1978. С. 193 и след.

[87] С. 35 и след. Ср. по этому поводу замечания А. П. Каждана: *Каждан А. П.* Из истории... С. 80 и след.

[88] Сообщение о происхождении Льва (ThC 6.4–8) находит соответствие в заключительной характеристике императора у Генесия (Gen., 21.39–43). История Льва до воцарения (ThC 6.9–11.3) изложена у Генесия в виде отступления (Gen., 6.2–8.58).

[89] Византийцы постоянно смешивали эти жанры, хотя очень любили рассуждать об их принципиальных различиях (см.: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. С. 140).

[90] Схема «идеального» энкомия вычленена в книге Барджеса (*Burgess Th.* Epideictic Literature. Chicago, 1902. P. 289 ff). Здесь она значительно упрощена. Опущен, например, пролог (προοίμιον), которого не может быть в связном историческом повествовании Продолжателя Феофана. Не подразделяются очень близкие разделы ἀνατροφή и παιδεία, не учтен специфически риторический προσφώνησις и т. д. Тем не менее сохранены основные «формообразующие» рубрики Афтония.

[91] Кажущиеся застывшими и неподвижными византийские литературные жанры на самом деле очень динамичны. Даже в пределах одного произведения византийский писатель может свободно переходить от одного жанра к другому в зависимости от изменения содержания и авторских целей. Жанр, таким образом, прикреплен к определенному содержанию. Вот почему изменившееся содержание или авторские цели приводят литературное произведение в «сферу притяжения» иного жанра. Именно поэтому некоторые литературные произведения оказываются столь многожанровыми: жанр «меняется» в пределах одного сочинения. Аналогичные наблюдения над древнерусской литературой сделаны Д. С. Лихачевым (*Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 44).

[92] «Бог же, чей нрав не суров, а великодушен, лишь сверкал мечом, но не разил им» (с. 18).

[93] Только два отдельных сообщения из этой части раздела о Феофиле мелькают у Генесия в «заключительной характеристике» Феофила. Это рассказы о сожжении корабля императрицы (ThC 88.4–89.14 = Gen., 53.90–99) и о сооружении стен (ThC 94.19 = Gen., 53.85–87).

[94] Под первыми тремя рубриками скрываются не один, а несколько эпизодов, объединенных одной темой.

[95] Иногда это хронологическое примыкание никак не выражено, иногда имеются соединительные фразы типа «вскоре», «через некоторое время» и т. п. (см.: Gen., 60.84; 61.89; 61.5; 64.84 и др.).

[96] Можно предположить, что в *ОИ рассказ этот, как и у Продолжателя Феофана, составлял единое целое. Об этом свидетельствует крайне искусственный характер соединения у Генесия второй части эпизода с предыдущим рассказом о победе над карфагенскими арабами (см.: Gen., 85.47). Более склонный к хронологическому построению повествования Генесий и здесь постарался расположить факты во временно́й последовательности.

[97] В первом случае (ThC 265.3) говорится, что Василий, хорошо устроив внутренние дела (τὰ οἴκοι), начал военные походы. Во втором случае (313.21 сл.) сам автор упоминает о необходимости оставить рассказ о военных делах и вернуться к повествованию о том, какие деяния (πράξεις) совершил Василий самолично.

[98] Только однажды в «Жизнеописании Василия» происходит серьезный хронологический «сбой». Во всяком случае, внутри раздела πράξεις Василия примерная временна́я последовательность выдерживается.

[99] П. Александер посвятил целую богатую мыслями и наблюдениями статью доказательству того тезиса, что «Жизнеописание Василия» — это «царское слово» (βασιλικὸς λόγος), написанное по всем правилам античного энкомия. (*Alexander P.* Secular Biography at Byzantium // Speculum. 1940. Vol. 15). Вряд ли можно согласиться с категоричностью такого утверждения.

[100] Наиболее выразительным примером в этом отношении является книга Ф. Лео, оказавшая большое влияние на дальнейшее изучение биографического жанра (*Leo F.* Die griechisch-römische Biographie nach ihrer litterarischen Form. Leipzig, 1901). Столь же выразительную критику концепций немецкого ученого дал С. С. Аверинцев (*Аверинцев С. С.* Плутарх и античная биография. М., 1973. С. 119 и след.).

[101] *Jenkins R. J. H.* The Classical Background of the Scriptores post Theophanem // DOP. 1954. Vol. 8.

[102] Ср.: *Scott R.* The Classical Tradition in Byzantine Historiography // Byzantium and the Classical Tradition. Thirteenth Spring Symposium of Byzantone Studies 1979. Birmingham, 1981.

[103] Сошлемся только на один, но весьма характерный пример (ThC 11.17–12.14). Из причастных оборотов, заключенных в этом одном предложении (структуру фразы в русском переводе сохранить невозможно), мы узнаем: 1) император Никифор ходил походом на «скифов»; 2) император Никифор умер от раны, полученной в сражении; 3) Ставракий был тоже ранен в сражении, но пережил отца на два месяца и восемь дней; 4) Ставракий царствовал вместе с отцом восемь лет и семь месяцев; 5) куропалат Михаил, зять Никифора, после смерти Ставракия захватил власть в октябре пятого индикта. Субъект же этого предложения — герой повествования Лев V, о действиях которого сообщается в глаголах в личной форме.

[104] См.: *Гинзбург Л. Я.* Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 84.

[105] См.: *Kazhdan A., Constable G.* People and Power. P. 96 ff.

[106] *Mathew C.* Byzantine Aesthetics. New York, 1963. P. 94 ff. *Бычков В.* Византийская эстетика. Теоретическая проблема. М., 1978. С. 108 и след.

[107] Наиболее активным «защитником» Михаила был А. Грегуар (см.: *Grégoire H.* Études sur le neuvième siècle // Byz. 1933. Vol. 8. № 2. P. 531 suiv. Ср.: *Vasiliev A.* The Russian Attack on Constantinople. Cambridge, 1946. P. 152 ff.).

[108] Подробно об этом см.: *Kislinger E.* Der junge Basileios I und die Bulgaren // JÖB. 1981. S. 138. Anm. 7.

[109] Помимо этих сочинений о Михаиле III рассказывается также в хрониках «семьи Симеона Логофета», ряд свидетельств которых совпадает с данными упомянутых произведений. Кое-какие сходные данные о Михаиле III содержатся также в «Житии патриарха Игнатия». О причинах этих совпадений, а также возможных общих источниках для «двух групп» византийских хроник см.: *Karlin-Hayter P.* Études... P. 452 suiv.

[110] *Jenkins R.* Constantine VII's Portrait of Michael III // Jenkins R. Studies on Byzantine History of the 9-th and 10-th Centuries. VR. London, 1970.

[111] Характерна в этом смысле статья Г. Хунгера: *Hunger H.* Thukidides bei Johannes Kantakuzenos. Beobachtungen zur Mimesis // JÖB. 1976. 25. S. 181 ff.

[112] Многие эпизоды, связанные с Михаилом, в четвертой и пятой книгах дублируются. Исходя из того, что все они восходят к *ОИ, мы, как правило, пересказываем их по тому тексту, в котором они изложены наиболее подробно.

[113] У Генесия этой истории нет, довольно точно пересказывает ее Псевдо-Симеон (Ps-Sym. 660.17 sq.).

[114] См.: *Reich H.* Der Mimus. Ein Litterar-entwicklungsgechichtlicher Versuch. Berlin, 1903. Bd. 1–2; *Tinnefeld F.* Zum profanen Mimos in Byzanz nach dem Verdikt des Trullanums (691) // Byzantina. 1979. Bd. 6. S. 329 ff.

[115] См.: PG 122, col. 1237. Анонимный автор рассказывает о том, как мимам во время представления в цирке удалось благодаря сочиненной ими и разыгранной сценке подвигнуть императора к восстановлению справедливости и наказанию виновного чиновника (см.: *Cottas V.* Le Théâtre à Byzance. Paris, 1931. P. 44. suiv.; *Tinnefeld F.* Zum profanen Mimos. S. 329 ff.).

[116] Choricii Gazaei opera / Rec. R. Foerster. Lips, 1929. P. 369.

[117] На протяжении трех строк Хорикий называет повара один раз ὀψοποιός, другой — μάγειρος (Choricii Garael opera. P. 364).

[118] См. в словаре Гесихия: Τραπεζοποιός — ... ὁ τῆς πάσης περὶ τὰ συμπόσια παρασκευῆς ἐπιμελούμενος. Именно таково значение слова ξστιάτωρ в византийскую эпоху (Hesychii Alexandrini Lexicom. Ed. M. Schmidt. Jenae, 1867, s. v. τραπεζοποιός).

[119] См.: *Müller A.* Das Bühnenwesen in der Zeit von Konstantin d. Gr. bis Iustinian N. Jbb. Klass. Altertum. 1909. Bd. 23. S. 41 ff.; *Tinnefeld F.* Zum profanen Mimos... S. 329. Anm. 31.

[120] Невозможное с нашей точки зрения предположение высказывает Р. Скотт, полагающий, что упомянутое «подражание Христу и Богу нашему» здесь не что иное, как рудимент первоначальной, «положительной», версии этого эпизода, служившего прославлению Михаила (μίμησις θεοῦ — непременная деталь официального образа византийского императора) (см.: *Scott R. D.* Malalas. The Secret History and Iustinians Propaganda // DOP. 1985. Vol. 39. P. 100). Весь контекст рассказа и характер изображения Михаила III у Продолжателя Феофана исключают такое предположение.

[121] О бане как обиталище демонов см.: *Berger A.* Das Bad in der byzantinischen Zeit. München, 1982. S. 132 ff. Ср. также: *Lumpe A.* Zur Kulturgeschichte des Bades in der byzantinischen Ära // Byzantinische Forschungen. 1979. Bd. 6. Не случайно многие церковные деятели ополчались против бани и особенно против купания в них женщин (*Berger A.* Das Bad in der byzantinischen Zeit. S. 34 ff.).

[122] См.: *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 45; *Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1984. С. 154.

[123] Эпизод содержится у Псевдо-Симеона (Ps.-Sym., 66.2 sq.), Генесия (Gen., 73), в четвертой книге Продолжателя Феофана (ThC 200.15 sq.) и у Константина Багрянородного (ThC 243.3 sq.). Этому последнему мы и следуем в пересказе. Ср. описание в «Житии Игнатия» (PG 105 col. 528), а также 16-й канон постановления Восьмого Вселенского собора 869/870 гг. (*Mansi.* Conciliorum nova et amplissima collectio XVI. Reprodiction in Fac-simile. Paris; Leipzig, 1902). Эпизод также передан у Скилицы, Зонары, Глики. Их сообщения, однако, носят «вторичный» характер и не представляют интереса для наших целей (см.: *Toynbee A.* Constantine Porphyrogenitus... P. 4).

[124] В «Житии Игнатия» в этом контексте говорится о протоспафарии Феофиле. Любопытно, что Никита Пафлагонец характеризует этого Феофила «шутом и мимом» (PG 105.528).

[125] У Продолжателя Феофана в этом случае говорится, что, наполнив священные сосуды перцем и горчицей, они передавали их «желающим вкусить». Деталь эта важна, поскольку прямо содержит намек на таинство святого причастия.

[126] *Reich.* Der Mimus... S. 107.

[127] Из всей огромной литературы по этой проблеме укажем лишь на ставшую классической книгу М. М. Бахтина (*Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле. М., 1965. С. 3. и след.).

[128] См., например, описание праздника дураков: *Herzog J., Hauck A.* Realencyklopädie für Protestantische Theologie und Kirche. Leipzig, 1903. Bd. 13. D. v. Narrenfest.

[129] См. об этой проблеме: *Grawford J. A.* De Bruma et Brumalibus festis // BZ. 1920. Bd. 23, h. 3–4. S. 365 ff.

[130] См.: *Tinnefeld F.* Zum profanen Mimos. S. 339.

[131] См.: *Васильевский В.* Труды. СПб., 1912. Т. 2. Ч. 2. С. 340.

[132] Nicetae Choniatae Historia / Rec. I. A. van Dieten 1975. S. 508, 90–91.

[133] В некоторых хрониках «семьи Симеона Логофета» он носит имя Василискиана.

[134] Классический труд, где рассматривается эта проблема: *Frazer J.* The Golden Bough. A Study in Magic Religion. VI. The Scapegoat. 1914. P. 312 ff. В России также зафиксированы случаи избрания шутовского царя (см.: *Полосин И.* Игра в царя (отголоски Смуты в московском быту XVII в.) //Известия Тверского педагогического института. 1926. Вып. 1.

[135] См.: *Беляев И.* О скоморохах // Временник Императорского московского общества истории и древностей российских. 1854. Кн. 20. С. 69 и след.

[136] См.: *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В.* Смех в Древней Руси. С. 25 и след.

[137] См.: *Ключевский В.* Курс русской истории. Пг., 1918. Ч. 4. С. 48 и след.

[138] *Панченко А. М., Успенский Б. А.* Иван Грозный и Петр Великий: концепция первого монарха // ТОДРЛ. 1983. Т. 37.

[139] Наличие определенной «структуры» ярко проступает при сравнении некоторых образов Продолжателя Феофана с героями житийной литературы. Персонажи житий святых, как правило, отличаются одним качеством — святостью, которая иллюстрируется рядом примеров — эпизодов. Число их можно произвольно увеличить или уменьшить, ничего не меняя в самом образе.

[140] Ярче всего это видно при сравнении с соответствующим рассказом Генесия.

[141] *Alexander P.* Secular Biography...; *Jenkins R.* The Classical Background.

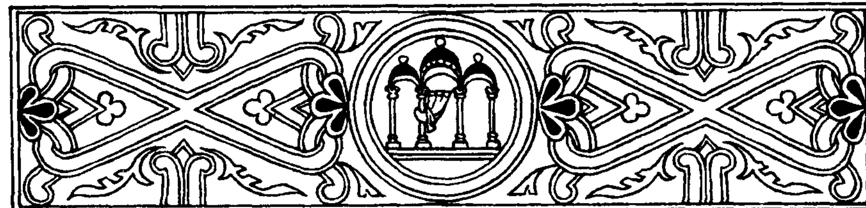
[142] *Аверинцев С. С.* Плутарх и античная биография. М., 1973.

[143] Не исключено, что это явление не ограничивается рамками европейского региона. О сходном в исламской историографии писал Б. Шпулер

(*B. Spuler.* Islamische und abendländische Geschichtsschreibung // Saeculum. 1955. Bd. 6. № 2. S. 130 ff.).

[144] См.: *Любарский Я.* Историограф Михаил Пселл / Михаил Пселл. Хронография. С. 250 и след.





ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОБРАЗАХ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ «ИСТОРИИ» ЛЬВА ДИАКОНА *

Сама мысль исследовать «Историю» Льва Диакона как произведение художественное, а тем более рассуждать о способах построения образов ее героев нуждается в оправдании.

Исследователи, казалось бы, уже давно согласились между собой в том, что «История» Льва — сочинение несамостоятельное,[1] что его автор — скорее компилятор, нежели оригинальный писатель, что в художественной манере он подражает Агафию, пишет стилем «темным, запутанным и напыщенным» [2] и что даже политические взгляды Льва вряд ли достойны серьезного разговора.

Лишь в самые последние годы начался процесс некоторой «реабилитации» византийского автора. М. Я. Сюзюмов, приведший в свое время много аргументов в доказательство зависимости Льва от некоего общего со Скилицей источника, через шесть десятилетий после первого своего исследования в посмертно опубликованной статье очень осторожно говорит о причинах сходства текстов Льва Диакона и Скилицы и рассуждает о мировоззрении историка как вполне самостоятельной системе взглядов.[3] С. А. Иванов обстоятельно аргументирует высказывавшуюся и раньше мысль о том, что Льва не только нельзя зачислять в когорту византийских придворных льстецов, но скорее следует отнести к числу оппозиционных писателей.[4] С этими суждениями нельзя не согласиться. В самом деле, какими бы источниками ни пользовался Лев Диакон (а ими почти всегда пользовались серьезные византийские историки!), трудно оспаривать факт, что Лев

* Статья опубликована в сб.: *Византийские очерки.* М.: Наука, 1991. С. 150–162.

писал о событиях ему современных или весьма близких по времени, многие из которых он наблюдал сам, что ему свойственны их личные оценки и что его «История» — отнюдь не бездушная компиляция, а часто субъективно окрашенное, заинтересованное повествование. Все это ощущается без всякого специального анализа, уже при первом ознакомительном чтении.

Если так, то и проблема образов современников в «Истории» Льва Диакона вовсе не столь надумана и не искусственна, тем более что портреты и характеристики весьма часты на страницах произведения. Проблема эта до сих пор специального внимания не привлекала,[5] лишь П. Карышковский, считавший Льва Диакона «посредственным историком-подражателем», мимоходом заметил об «утомительных повторениях однообразных хвалебных эпитетов, сопровождающих почти всякое упоминание о перечисленных лицах».[6]

На первый взгляд такая неутешительная характеристика кажется вполне оправданной. Краткие описания, которыми почти постоянно сопровождается появление на сцене исторического повествования героев Льва Диакона, имеют явно «служебный» характер: они соответствуют не столько индивидуальности, сколько социальному статусу персонажа. Если персонаж лицо духовное, то прежде всего подчеркивается его святость и аскетизм (см. характеристики патриархов Антония — *Leo Diac.* 164.6 sq., Полиевкта — 32.20 sq., Василия — 163.20 sq.),[7] если речь идет о женщине, она чаще всего красива и целомудренна (117.3; 127.7), если герой — иноплеменник, то он, согласно давно установившемуся в Византии канону, почти всегда наделяется такими свойствами, как варварская дерзость, необузданность, жестокость, «зверство».[8]

В этом смысле метод Льва Диакона достаточно безличен и мало чем отличается от обычно принятого у византийских и не только византийских средневековых авторов, очень слабо или почти не отграничивающих героя от его социальной роли.

Столь малоутешительная констатация, однако, не помешала нам внимательнее присмотреться к характеристикам ряда персонажей сочинения Льва и постараться выяснить, есть ли какая-нибудь логика и внутренний смысл в цепочках эпитетов, пристегнутых к разным действующим лицам.

Для начала анализа мы выбрали наиболее часто встречающийся тип героев, населяющих «Историю» Льва: эпизодические фигуры государственных мужей, воинов и полководцев (эти функции во многих случаях объединяются в одном лице). Список прилагаемых к ним эпитетов действительно оказался уныло однообразным. Лишь

трижды отмечает Лев у героя этого типа ум (ἀγχίνους) (17.18; 94,6; φρενήρης — 18.13), только один раз говорит о его благочестии (θεοφιλὴς καὶ σεβάσμιος) (66.1), во всех остальных случаях эпитеты касаются не интеллектуальной или духовной сферы, а таких свойств, как сила, храбрость, особенность нрава. Сами эпитеты имеют характер родовых определений, лишены индивидуальных оттенков и, так сказать, акциденций. И вместе с тем при сопоставлении отмеченных свойств и эпитетов выясняется одна интересная особенность. Все персонажи упомянутого типа сильны и храбры. Они или именуются отважными и сильными (ἄλκιμος, ῥωμάλεος), или отмечается их сила (ἀλκή, ἴσχυς). Однако на этом вполне понятном для полководца или воина свойстве общность упомянутых персонажей завершается. Что касается остальных качеств, то множество персонажей можно разделить на две группы. Первая из них — это люди «деятельные и энергичные» (δραστήριος, ῥέκτης). С этим основным свойством соединяются такие умственные качества, как «твердый» (σταθηρός) (147.10), «сообразительный» (ἀγχίνους) (17.8; 94.6), «предусмотрительный» (προμηθέστατος) (46.21) и некоторые другие.

Другая группа — это герои, обладатели «горячего нрава» (θερμουργός). Свойство это соединяется с эпитетами уже совершенно иного смысла: «прямодушный» (αὐθέκαστος) (66.4), «порывистый» (ὁρμητίας) (66.23), «легко возбудимый» (εὐρίπιστος) (37.3), «дерзко храбрый» (τολμητίας) (123.5).

Непересекаемость этих двух рядов эпитетов в «Истории» Льва Диакона почти абсолютна. Лишь в одном случае персонаж оказывается одновременно обладателем «горячего нрава» (θερμουργός) и «энергичным» (ῥέκτης). Пример этот, однако, заимствован из характеристики не византийского героя, а русского князя Святослава и потому может не укладываться в общую схему (177.20).

Несовместимость двух рядов эпитетов явно ощущается самим Львом Диаконом. Во всяком случае, характеризуя одного из героев (Мануила) и относя его к персонажам «второго ряда» (он «порывистый» — ὁρμητίας), историк прямо отмечает отсутствие у него «предприимчивости» (δραστήριον) и «опытности» (ἐπήβολον) (66.23).

Иными словами, в сознании Льва Диакона как бы существуют два устойчивых типа воина-государственного мужа, на которые он рубрицирует все многообразие жизненных характеров.

Наше наблюдение не заслуживало бы особого внимания, если бы указанный принцип не распространялся на обрисовку двух основных героев Льва Диакона — Никифора Фоку и Иоанна Цимисхия, о которых речь впереди.

Никифор Фока обычно представляется исследователям «идеальным героем» повествования Льва.[9] Это в общем правильное утверждение нуждается в некоторых уточнениях. Никифор взял власть, «мало заботясь о страшных клятвах, которые он дал патриарху Полиевкту» (41.14). Вряд ли могло нравиться историку и то, как всемогущий император оказался околдованным чарами красавицы-жены Феофано (84.24). Даже в заключительной энкомиастической характеристике Лев осторожно упрекает Никифора за то, что тот слишком неукоснительно требовал добродетели от своих подданных (89.24).[10] Впрочем, последний упрек высказан не от своего имени, а от лица каких-то анонимных критиков (οἱ πολλοί). Вообще этот прием «характеристики со стороны» очень нередок в сочинении Льва. Так, например, Иосиф Вринга (сам герой весьма «отрицательный») именует Никифора ὑπέρμαχον καὶ ἀλάζονα («чванливым и тщеславным» — 38.12). Как бы осторожна ни была эта критика, она явно нарушает округлость и законченность идеального образа.[11]

Первое появление Никифора на страницах «Истории» (еще в качестве магистра и доместика схол императора Романа II) сопровождается краткой и вполне «стерильной» характеристикой, все компоненты которой входят в уже известный нам фонд стандартных эпитетов. Никифор — предприимчив (ῥέκτης), деятелен (δραστήριος), хороший военачальник (ἀγαθὸς τὰ πολεμικά), обладатель несокрушимой силы (τὴν ἴσχυν ἀνυποστάτος).

Эта характеристика «деятельного и энергичного» императора-воина составляет ту непременную основу, на которую отныне накладываются и другие качества, подчас расширяющие спектр свойств, но никак не меняющие ее основного качества. «Энергичность», «деятельность», «предприимчивость», необыкновенная физическая сила, военная выучка императора подчеркивается далее неоднократно, причем эти качества, как и положено для героев «первого типа», соединяются у Никифора с умом и сообразительностью (10.18; 32.17; 44.3).

И лишь одно свойство, заимствованное, видимо, из сферы изображения духовных лиц и не встречавшееся у эпизодических персонажей государственных мужей и воинов, присуще полководцу Никифору Фоке: он чрезвычайно целомудрен и чужд всяческим удовольствиям (σώφρων καὶ μὴ εἴκων ἡδοναῖ) (10.20).

Рубеж в повествовании — захват Фокой императорской власти и превращение доместика схол в царя, отмечен наиболее подробной из всех характеристикой, выдержанной в хорошо известном стиле классических византийских соматопсихограмм.[12]

Приведем ее в переводе М. М. Копыленко. «Цвет лица более приближался к темному, чем к светлому; волосы густые и черные; глаза (также) черные, озабоченные размышлением, прятались под мохнатыми бровями; нос не тонкий и не толстый, слегка крючковатый; борода правильной формы, с редкой сединой по бокам. Стан у него был округлый и плотный, грудь и плечи очень широкие, а мужеством и силой он напоминал прославленного Геракла. Разумом, целомудрием и способностью принимать безошибочные решения он превосходил всех людей, рожденных в его время».

Как и любая соматопсихограмма, это описание не дает и не ставит целью дать даже приблизительный образ императора, а представляет собой каталог признаков, скорее пригодных для протокола опознания личности, нежели для художественного воссоздания облика персонажа. В сознании историка как бы существует анкетного типа схема, пустые ячейки которой заполняются нужными ответами на соответствующие вопросы.

Наличие такой схемы в сознании писателя подтверждается тем, что соматопсихограмма другого главного героя — Иоанна Цимисхия — состоит точно из тех же «анкетных пунктов», что и описание Никифора. Обе соматопсихограммы вводятся одной и той же фразой: τὴν δὲ ἰδέαν τοιόσδε ἦν («видом же был таков»). Далее следует описание, разделенное по следующим пунктам: лицо (ὄψις), волосы (κόμη), глаза (ὀφθαλμοί), нос (ρίς), борода (ὑπήνη), рост (ἡλικία), грудь (στέρνον), сила (ῥώμη, ἀλκή) (см. 96.16 etc).[13] Только последний пункт этих описаний касается внутренних свойств героя. В отношении Никифора Фоки отмечается его «разум, целомудрие и способность принимать безошибочные решения».

Итак, образ Никифора Фоки в основных своих чертах как бы «сформулирован» и «отпечатан» еще до того момента, как он берет в свои руки императорскую власть. Дальнейшее повествование главным образом фиксирует и подчеркивает уже известные читателю свойства этого персонажа. Никифор деятелен и энергичен (52.15; 79.4; 89.15), неодолимо силен (76.17; 89.15), целомудрен и не склонен ни к каким жизненным удовольствиям (49.11; 78.14; 84.8; 89.15). Впрочем, на эту основу накладываются и некоторые новые качества, свойственные уже императорской персоне: Никифор обладает спокойным нравом и неподатлив гневу (ἰσχυρογνώμων ἦν καὶ μὴ εὐείκτως ὀργῇ 'αλισκόμενος) (61.15; 67.22), он прост и скромен и во время похода, как простой воин таскает на себе тяжелые камни (74.13 sq.).

Рассказ о трагической смерти Фоки завершается некрологической характеристикой (так называемый элогиум), где, помимо известных

нам свойств, в энкомиастическом духе отмечается его справедливость судьи, непреклонность законодателя и неутомимость в молитвах и всенощных бдениях (89.15).

Структура характеристики другого главного героя повествования — Иоанна Цимисхия, как и его соматопсихограмма, почти зеркально отражает систему описания Никифора Фоки. Подобно ему, Иоанн появляется и бегло характеризуется на страницах «Истории» еще до восшествия на престол. Точно так же как и в случае с Никифором, рассказ о царствовании Иоанна «опоясывается» описанием его нрава и внешности («соматопсихограмма» в начале и «элогиум» в конце). Однако именно на фоне этой структурной общности четко проступают различия или даже, если угодно, противоположность этих двух персонажей. Конечно, подобно Никифору, Иоанн необыкновенно храбр, физически силен и опытен в военном деле. Все полагающиеся по этому поводу слова и эпитеты на своем месте произнесены Львом Диаконом. Однако уже в первых (еще до «соматопсихограммы»!) характеристиках появляется черта, вовсе не знакомая Никифору Фоке. Иоанн крайне тщеславен и честолюбив (φιλότιμος, φιλόνικος) (37.13), чрезмерно отважен (παραβολώτατος) (37.17; 85.6), весьма дерзок (τολμητίας) (37.13; ср. 59.9; 85.7), обладает горячим нравом (θερμουργός) (85.7). Этот ряд эпитетов не может не вызвать ассоциаций с эпизодическими персонажами «второго типа», о которых говорилось выше.

Именно это свойство (условно говоря «дерзкая смелость») оказывается ведущим и в соматопсихограмме Иоанна Цимисхия, построенной, как упоминалось, по совершенно аналогичному принципу, что и предшествовавшего ему царя Никифора Фоки. Дело не в том, что оба императора резко различаются по своей внешности: русый, белокожий, низкорослый и широкоплечий крепыш Иоанн почти полная противоположность черноволосому, смуглому с сильной внушительной фигурой Никифору. Главное в заключающих соматопсихограммы внутренних свойствах персонажей. Если Никифор «разумен и целомудрен», то Иоанн обладает «дерзкой отвагой» (так лучше всего передать на русский язык греческое τόλμη ὑπερφυή).

Это основное качество нашего героя (свойственное всем эпизодическим персонажам «второго типа»!) вовсе не трактуется автором отрицательно. Лучшее тому доказательство слова о «дерзости рассчитанного мужества» (λελογισμένη ἀνδρείας τόλμη), с которым поверг «самодовольное бахвальство и непомерную гордость россов» Иоанн Цимисхий (159.4). Он не «хуже», а просто «не такой», как Никифор Фока.

«Дерзкая отвага» остается ведущим свойством Иоанна и в описании лет его императорского правления, однако, как и в случае с Никифором Фокой, в этом разделе к его образу добавляются и некоторые новые черты, ни одна из которых не совпадает с характеристиками Никифора.

Прежде всего Иоанн необыкновенно щедр и человеколюбив, подобно пророку (προφητικῶς), расточал он елей своей благотворительности (97.17 etc). Щедрость и человеколюбие — традиционные царские добродетели в устах византийских панегиристов (не ходя далеко за примерами, укажем, что сам Лев Диакон в энкомии Василию II приписывает эти качества хвалимому им царю).[14] Эта тема получает дальнейшее и довольно подробное развитие. Иоанн роздал, по словам Льва Диакона, все свое состояние, половину которого предназначил для больных проказой. Причем последних не только одаривал золотом, но и собственноручно врачевал, несмотря на то что был «изнежен и прекраснолюбив» (ἁβρότατος καὶ φιλοκαλός — 99.13 sq.)

И далее: «Особенно удивляло в Иоанне то, что он, будучи от природы исполнен величия и высокомерия, проявлял благосклонность и снисходительность к подданным и щедро одарял нуждающихся» (127.11 etc., пер. М. М. Копыленко).

Отмеченные черты и поступки не только неожиданны для читателя, они удивляют самого автора, как бы противоречат его общим представлениям о персонаже. Отметим попутно, что подобный стиль изображения нарушает обычную для византийской историографии предшествующего периода прямолинейную связь между свойством героя и его действием («герой такой-то и потому поступил так-то и так-то»). Это прямолинейное сцепление заменяется здесь более сложной противительной связью («хотя герой такой, он поступил так-то и так-то»). Герой в представлении автора не столь однозначен, он может действовать не только согласно свойствам своего характера, но и вопреки им.

Другим качеством Иоанна, не только не встречающимся среди свойств Никифора, но и прямо противоречащим характеристике этого «целомудренного» императора, было его пьянство и любовь ко всяческим земным радостям. После обширного описания Иоанна Лев, пользуясь уже известным нам приемом, сообщает, что Иоанну свойствен был и недостаток (ἐλάττωμα τις ἦν) — «сверх меры напивался и был жаден к телесным удовольствиям» (97.24).

Некрологическая характеристика императора (элогиум) не прибавляет никаких новых черт к его образу и является не только

заключительным описанием Иоанна Цимисхия, но и последними строками всего произведения.

Занимаясь арифметическими подсчетами «положительного» и «отрицательного» у обоих императоров, можно, конечно, вслед за другими исследователями утверждать, что Никифор «более положительный» в «Истории» Льва Диакона, нежели Иоанн. Дело, однако, не в арифметике, главное, что они совершенно разные. Никифор — персонаж деятельный и энергичный, умный и целомудренный (δραστήριος, ῥέκτης, ἀγχίνους, σώφρων), Иоанн дерзко храбрый и горячего нрава (τολμητίας, θερμουργός). На этой основе ткется узор других несовпадающих свойств и в целом создаются образы с кругом присущих им (остережемся пока говорить индивидуальных!) черт.

То, о чем шла речь выше, — своеобразные авторские ремарки и комментарии, сознательные оценки Львом Диаконом своих персонажей. Однако герои и непосредственно действуют на страницах повествования, проявляя свойственные им качества и особенности. Впрочем, для индивидуальных характеристик их действия чаще всего мало что прибавляют. Императоры и другие персонажи в большинстве своем статуарны и репрезентативны, как бы развернуты лицом к зрителю (читателю), выполняют на страницах истории большей частью лишь функции, свойственные им по чину: руководят военными экспедициями, исполняют государственные обязанности, а главное, произносят многочисленные речи, естественно, написанные за них самим историком.[15]

И в то же время некоторые сцены отличаются удивительной образностью и чуть ли не «шекспировским драматизмом». Вот император Никифор проезжает по Константинополю среди разъяренной и возмущающейся им толпы. «Я видел, — замечает Лев, — как величаво Никифор шагом проезжал на коне по городу, невозмутимо снося жестокие оскорбления и соблюдая присутствие духа, как будто не происходило ничего необычайного» (65.9). Еще большим драматизмом, усиленным рядом образных деталей, отличается другая сцена, изображающая убийство императора Никифора. Готовившая покушение на царя императрица Феофано, явилась, как и обычно, вечером в покои Никифора, а потом под выдуманным предлогом отлучается, прося Никифора не запирать дверь, через которую, по ее замыслу, должны проникнуть убийцы. Обманутый император горячо молится у себя в покоях, а в это время вооруженные заговорщики собираются во дворце и ожидают сигнала к действию. Как пишет историк: «Часы показывали уже пятый час ночи, леденящий северный ветер волновал воздушную среду; падал густой снег» (с. 48).

Наконец прибывает главный заговорщик Иоанн Цимисхий, во главе с которым бунтовщики врываются в опочивальню и зверски расправляются с императором (сцена убийства Никифора изображена с образными, запоминающимися деталями).

В этом пассаже как бы происходит «прорыв» в эпически спокойном повествовании и действие необыкновенно насыщается эмоционально. В сферу эмоционального напряжения вовлекается даже природа, что уже и вовсе необычно для византийских писателей, ибо, как правило, она мало их интересует. Природные явления выступают в их сочинениях главным образом в своих крайних проявлениях (землетрясения, наводнения, засухи и т. п.) и являют собой божью волю. В данном случае природа (сильный ветер, густой снег) совсем в духе новой литературы составляют «действующий фон», усугубляющий трагизм ситуации. Возможно, наше сознание, воспитанное на эстетике нового времени, невольно модернизирует литературную ситуацию, однако возможностей для подобной модернизации предшествующая византийская литература не предоставляла, и уже это само по себе весьма знаменательно.

Интересна в этом отношении и другая сцена, героем которой является мятежный Варда Фока. Покинутый своими сторонниками, Варда «глубокой ночью, сломленный бегством сообщников, потерявший сон и охваченный печалью, возносил мольбы Богу, возглашая стих Давида: "Суди, Господи, обижающих меня"» (120.24). Ему слышится голос, запрещающий пение псалма, и охваченный ужасом Фока, поднявшись с ложа, ожидает наступления рассвета. Утром мятежника ожидает новое «видение». Вскочив на коня, Варда вдруг замечает, что его пурпурные сапожки (знак царской власти!) неожиданно оказываются черного цвета. Пораженный Фока расспрашивает своих людей, не надели ли они ему обыкновенную обувь вместо царской, однако слуги советуют ему еще раз внимательно посмотреть на свои сапоги, которые на этот раз действительно оказались пурпурными... Эта сцена в определенном смысле обладает «двойным дном». И голос свыше, и обман зрения, конечно же, для Льва Диакона не что иное, как божественные знамения. И в то же время все это хорошо вписывается в ситуацию (совсем в духе драмы эпохи Возрождения) как болезненные галлюцинации измученного мрачными предчувствиями и бессонницей обреченного мятежника.

Художественная ткань и метод изображения персонажей у Льва Диакона после более или менее внимательного рассмотрения оказываются вовсе не такими элементарными, как представлялось раньше исследователям.

Слабая расчлененность изображения героя и его социальной роли, нормативность изображения, соотнесение изображаемого с некоей существующей в сознании писателя (и в конечном счете в общественном идеале) нормой или мерой,[16] ограниченный набор и обобщенность свойств героя, его «статуарность и репрезентативность» — все это признаки того распространенного в средневековье стиля, который Д. С. Лихачев в применении к русской литературе охарактеризовал как «стиль монументального историзма».[17]

И вместе с тем в рамках этого стиля раскрываются возможности для типизации и даже некоторой индивидуализации образов, возможности почти не реализовывавшиеся в предшествующей византийской историографии, но утвердившиеся в следующем, XI в., начиная с Михаила Пселла.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Утверждения самого Льва о том, что он пишет историю по собственным наблюдениям и со слов очевидцев, были подвергнуты сомнению еще в 1916 г. тогда еще молодым М. Я. Сюзюмовым (*Сюзюмов М. Я.* Об источниках Льва Дьякона и Скилицы // ВО. 1916. Т. 2), показавшим, что Лев пользовался неким не дошедшим до нас источником, впоследствии легшим в основу ряда сообщений и автора XI в. Скилицы. Положения М. Я. Сюзюмова были впоследствии восприняты П. Д. Карышковским (*Карышковский П. Д.* Балканские войны Святослава в византийской исторической литературе // ВВ. 1953. Т. 6), развиты и уточнены А. П. Кажданом (*Каждан А. П.* Из истории византийской хронографии X в.: Источники Льва Диакона и Скилицы для истории третьей четверти X столетия // ВВ. 1961. Т. 20).

[2] *Карышковский П. Д.* Балканские войны... С. 53.

[3] См.: *Сюзюмов М. Я.* Лев Диакон и его время // Лев Диакон. История. М., 1988. Ср. также: *Сюзюмов М. Я.* Мировоззрение Льва Диакона // АДСВ. 1971. Вып. 7. С. 127 и след.

[4] *Иванов С. А.* Полемическая направленность «Истории» Льва Диакона // ВВ. 1982. Т. 43.

[5] Исключение составляет, пожалуй, только фигура русского князя Святослава, портрет которого у Льва Диакона интересовал исследователей главным образом с этнографической точки зрения. См. ниже.

[6] *Карышковский П. Д.* Балканские войны... С. 52.

[7] Льва Диакона цит. по изд.: *Leonis Diaconi Caloensis* Historia libri decem e rec. C. B. Hasii. Bonnae, 1828. (Далее см. ссылки в тексте.)

[8] Наиболее выразительный в этом отношении пассаж — противопоставление византийцев и русских — *Leo Diac.* 141.3 sq., ср. 123.5; 139.5 sq. Исконное зверство и лихорадочное возбуждение варваров противопоставляется спокойной опытности и рассудительности ромеев. Противопоставление это можно генетически возвести еще к «Данаидам» Эсхила.

[9] Согласно наблюдению А. П. Каждана, Никифор Фока — первый император, прославляемый византийцами за его воинскую доблесть. См.: *Kazhdan A., Constable G.* People and Power in Byzantium. Wash., 1982. P. 111.

[10] Завершая «положительную» часть характеристики, Лев Диакон пишет: «Недостатком же его было...» (Ἐλάττωμα δὲ τοῦτο προσῆπτον). Такой способ введения «отрицательной» части еще дважды использован в характеристиках других персонажей. Вновь убеждаемся в однообразии приемов характеристик персонажей Льва Диакона.

[11] А. Каждан полагает, что критика Никифора усиливается к концу повествования об этом императоре (*Каждан А. П.* Из истории... С. 122). На самом деле упреки Фоке более или менее равномерно распределены на всем протяжении рассказа. О критике Никифора Фоки у Льва Диакона Ф. Тиннефельд пишет следующее: «Еще со времени своей юности, а может быть, и из каких-то письменных источников Лев знает о критике императора Фоки его современниками и время от времени ради связности повествования видит необходимость упомянуть их упреки, однако постоянно смягчает их остроту» (*Tinnefeld F.* Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates. München, 1971. S. 115 ff.). Как можно понять из дальнейших рассуждений Тиннефельда, критические замечания Льва Диакона в адрес Никифора Фоки, по его мнению, восходят к так называемому «Источнику А» Иоанна Скилицы. Не вдаваясь здесь в подробную дискуссию, отметим, что видимых оснований, с нашей точки зрения, для такого утверждения нет.

[12] Под соматопсихограммой мы понимаем широко распространенный у ранних византийских хронистов (особенно у Иоанна Малалы) способ описания героя, при котором отдельные внешние и внутренние свойства перечисляются без всякой связи между собой. О соматопсихограммах см. нашу ст.: *Любарский Я. Н.* Герои «Хронографии» Иоанна Малалы // Кавказ и Византия. Вып. 6. Ереван, 1988. (Опубликована также в настоящем издании.)

[13] Приводим с сокращениями текст этой соматопсихограммы в переводе М. М. Копыленко: «Что касается наружности Иоанна, то она была такова. Лицо белое, здорового цвета, волосы белокурые, надо лбом жидкие, глаза голубые, взгляд острый, нос тонкий, соразмерный, борода вверху рыжая и слишком суженная по сторонам, а внизу правильной формы и не подстриженная. Он был малого роста, но с широкой грудью и спиной; в нем таилась гигантская сила, руки обладали ловкостью и непреодолимой мощью; геройская душа его была бесстрашна, непобедима и отличалась поразительной для такого маленького тела отвагой. Он

один без боязни нападал на целый отряд и, перебив множество (врагов), с быстротой птицы возвращался к своему войску, целый и невредимый... Он всех превосходил щедростью и богатством даров: всякий, кто просил у него чего-либо, никогда не уходил обманутым в своих надеждах. Он был человеколюбив и ко всем обращался с открытым сердцем и лаской, расточая, подобно пророку, елей благотворительности... Но недостаток Иоанна состоял в том, что он сверх меры напивался на пирах и был жаден к телесным наслаждениям» (*Лев Диакон.* История. М., 1988. С. 52–53). Примерно из тех же формул и из тех же «разделов», хотя и в несколько ином порядке, состоит и соматопсихограмма князя Святослава (*Leo Diac.* 156.20 sq.). Ее оригинальность (чего стоит только клок волос на гладко выбритой голове!), видимо, связана с «варварским» обликом Святослава. См.: *Ševčenko I.* Sviatoslav in Byzantine and Slavic Miniatures // Slavic Review. 1965. Vol. 24.

[14] См.: *Лев Диакон.* История. С. 95 и след.

[15] Любопытно стремление и умение Льва Диакона проникнуть в строй мыслей своих персонажей, весьма убедительно и убежденно защищающих и обосновывающих в речах и посланиях подчас прямо противоположные взгляды и идеи. Примером этому может служить обмен посланиями между мятежником Вардой Фокой и царским генералом Вардой Склиром (*Leo Diac.* 118.4 sq.). Первый обосновывает свое право покуситься на власть узурпатора на троне Иоанна Цимисхия. Второй не менее убедительно укоряет его за восстание против власти законного императора. Каждый из них прав «по-своему». Несомненно, здесь сказалась риторическая выучка Льва Диакона, особенно в практике составления так называемых «ἠθοποιίαι» — фиктивных речей, которые могли бы произнести герои в той или иной ситуации.

[16] Характерная для Льва Диакона «нормативность» стиля мышления и изображения находит выражение в многочисленных, разбросанных в тексте его «Истории» определениях типа «ὑπὲρ τὸ εἰκός, ὑπὲρ τὸ προσῆκον, παρὰ τὸ μέτριον» («сверх меры», «сверх подобающего» и т. д.). См.: *Leo Diac.* 59.9; 66.4; 84.24 et al. Всякий выход за пределы нормы или меры отмечается и чаще всего осуждается историком.

[17] *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 25 и след.; *Он же.* Великий путь. М., 1987. С. 32 и след.



Военный лагерь студентов филфака ЛГУ, 1950 г.



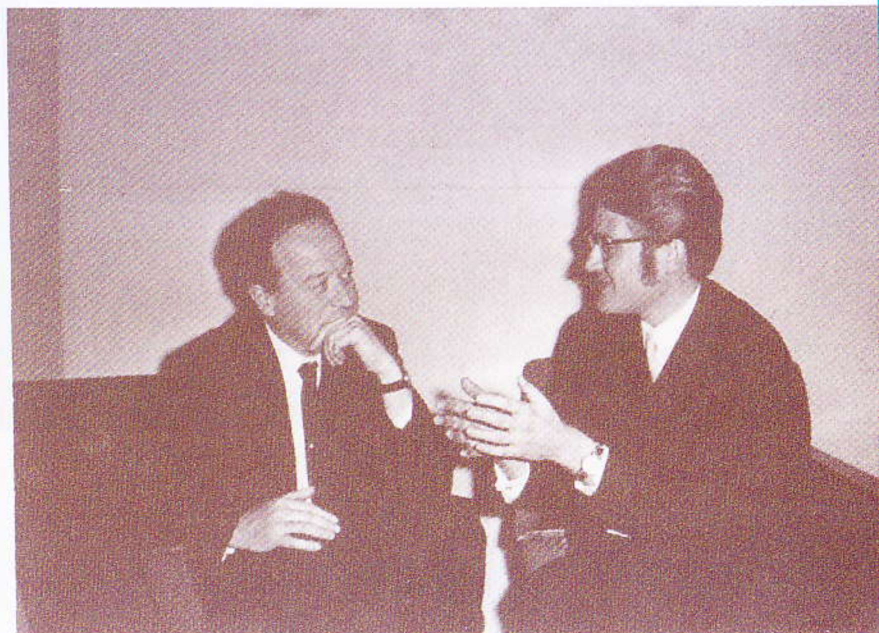
Выпуск классического отделения филфака ЛГУ, 1951 г.
В нижнем ряду слева Я. Любарский, Н. А. Чистякова, Я. М. Боровский, крайний справа И. М. Тронский



Я. Н. Любарский – свидетель на бракосочетании Петера Шрайнера (1972 г.)



Я. Н. Любарский
и А. П. Каждан с сыном,
на теплоходе Сухуми-
Ялта после горного
спуска (1960 г.)



Я. Н. Любарский и П. Шрайнер



Я. Н. Любарский и Афанасий Маркополус



В гостях у Любарских американская античница Элизабет Фишер (справа)

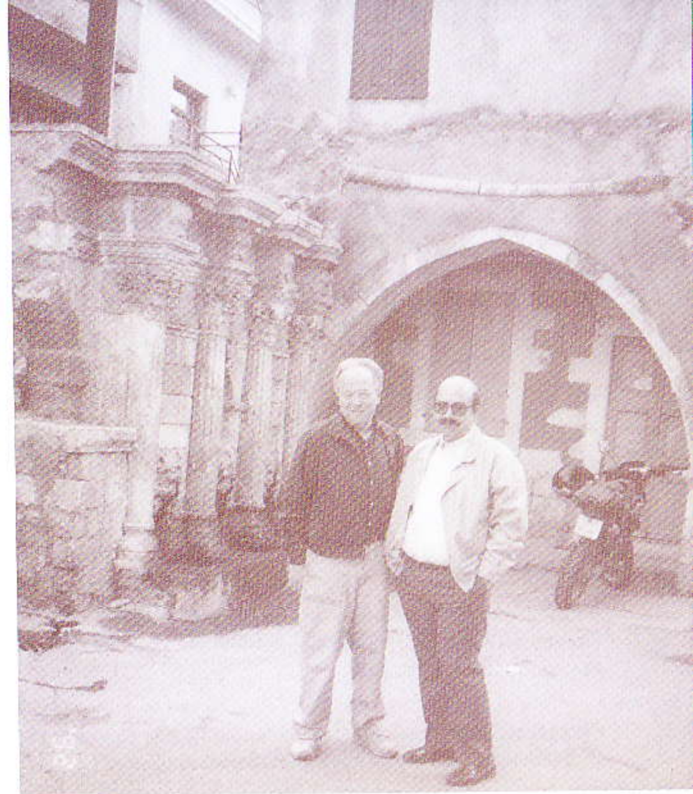


Дамбартон Окс, 1991 г.
Стажеры-исследователи
Я. Н. Любарский и
Г. М. Прохоров



После византиноведческой конференции в Испании, 1990 г. – А. Маркополус (Греция), Аксинья Джурова (Болгария), Я. Н. Любарский, Христа Мальтеса (Греция)

Я. Н. Любарский
и А. Маркополус
(Рефимно, Крит,
1992 г.)





Я. Н. Любарский
и греческая
византинистка
Катерина Асдраха



В византийском кабинете Унивнрситета в Мюнстере (Германия). Слева направо: Райнер Штихель, Я. Любарский, Б. Л. Фонкич, жена Любарского Н. Рудина и искусствовед Т. Толстая

Профессора отделения византийской и новогреческой филологии СПбГУ. Я. Любарский, Фатима Елоева и Карен Юзбашьян





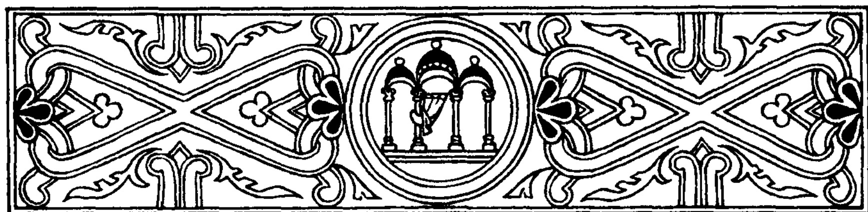
На конференции в Уппсале (Швеция, 1996 г.), справа от Я. Любарского – профессор Леннерт Ридден

Византиноведческая конференция на Алтае (1998 г.) Слева от Я. Любарского В. П. Степаненко (Уральский гос. Университет), справа В. Н. Залесская (Эрмитаж, СПб), Г. Е. Лебедева (СПбГУ) и М. А. Поляковская (Уральский гос. Университет)



Я. Любарский после чтения лекций в Испании (1994 г.)

Я. Любарский и Д. Райнш (Свободный университет, Берлин, 1998 г.)



К БИОГРАФИИ ИОАННА МАВРОПОДА *

Биография Иоанна Мавропода вот уже несколько десятилетий привлекает к себе внимание исследователей.[1] Поэт, ученый, наставник и друг Михаила Пселла, Иоанн занимает одно из первых мест в константинопольской интеллектуальной элите середины XI в. Несмотря на обилие материала, многие факты и хронология жизни этого человека поныне остаются не выясненными. Это особенно относится к 40-м, началу 50-х годов, времени царствования Константина IX Мономаха, весьма значимому для судеб византийской культуры. Этому периоду жизни Мавропода и посвящена настоящая статья.

Наиболее спорным вопросом, от решения которого зависит реконструкция всей биографии Мавропода, является дата его назначения на митрополичью кафедру в Евхаите. Обилие противоречивых точек зрения,[2] основывающихся подчас на произвольной комбинации данных источников, заставляет в первую очередь обратиться к свидетельствам, обладающим большей или меньшей хронологической определенностью:

1. Мавропод является автором императорского указа об основании высшей юридической школы в Константинополе.[3] Время

---

* Статья опубликована в *Byzantinobulgarica*, 4 (1973). P. 41–52. Основные аргументы статьи были признаны исследователями и использованы при критическом издании писем Иоанна Мавропода (*The Letters of Ioannes Mauropus Metropolitan of Euchaita*. Greek text, translation and commentary by A. Karpozilos (Thessalonike, 1990)). Некоторые из моих выводов были «радикализированы» А. П. Кажданом (*Kazhdan A.* Some Problems in the Biography of John Mauropous // JÖB. 93 (1993)); *Idem.* Some Problems in the Biography of John Mauropous II // *Byzantion*, 65 [1995]. P. 362–87. Утверждения А. Каждана вызвали возражения А. Карпозилоса: *Karpozilos A.* The Biography of Joannes Mauropous again // Ἑλληνικά. 44. 1994.

организации школы можно определить приблизительно по сообщению Михаила Атталиата, согласно которому Мономах, «завершив это сражение (имеется в виду сражение с русскими летом 1043 г. — *Я. Л.*), пользовался покоем, с радостью принялся за государственные дела и учредил "мусей юриспруденции"» (μουσεῖον τῆς νομοθετικῆς). Вслед за этим сообщением Атталиат переходит к рассказу о подавлении восстания Льва Торника осенью 1047 г. Таким образом, учреждение университета, по Атталиату (рассказ этого историка в большинстве случаев выдержан строго хронологически), следует датировать временем между 1044–1047 гг.[4]

2. Иоанн в Константинополе в присутствии императора произносит речь в связи с подавлением мятежа Льва Торника. На этот раз дата устанавливается точно — 29 декабря 1047 г.[5]

3. Пселл рассказывает в «Хронографии» о своем постриге. Его причиной было «неожиданное изменение обстоятельств»; под последним надо, безусловно, понимать опалу, в которую попала группа Лихуда–Пселла. Сообщив об этом, Пселл делает отступление и рассказывает о своей дружбе с двумя людьми: «они были родом из других мест, но жили в священном Риме (т. е. Константинополе. — *Я. Л.*) и запечатлели мой образ в глубинах своей души. Смыслом нашего союза стал смысл наших занятий. Они были старше меня — я много моложе...» Получив доступ во дворец, Пселл одного из своих друзей тотчас приблизил к императору, а другого позже, ибо тот не желал сразу явиться к самодержцу. Однако быстро насытившись благами придворной жизни, друзья стали мечтать о монашеской жизни. До времени они не обнаруживали своих намерений, и лишь действия императора, начавшего преследовать тех, кто «взошел на колесницу власти» (имеется в виду в первую очередь Константин Лихуд), заставили их поделиться затаенными мыслями, обменяться клятвами и договориться вместе принять постриг. Один из троицы друзей первым принимает монашество, за ним следует Пселл, о третьем наш автор не сообщает ничего. Первый из упомянутых друзей Пселла — Иоанн Ксифилин, второй — Иоанн Мавропод.[6] Иоанн Ксифилин, как хорошо известно и из других источников, осуществляет свое намерение и уходит в монастырь на г. Олимп. Что же касается Мавропода, то, хотя Пселл и молчит о его дальнейшей судьбе, из приведенного отрывка ясно, что до отставки Лихуда тот находился при дворе и пользовался там немалым влиянием. Это заключение полностью соответствует как первым двум свидетельствам, так и данным панегирика Иоанну, принадлежащего перу того же Пселла: писатель сначала рассказывает о пребывании Мавропода при дворе,

а затем о его деятельности в качестве митрополита (материал в энкомиях Пселла часто расположен в хронологическом порядке).[7]

Приведенные соображения заставляют отказаться от мнения тех исследователей, которые относят назначение Мавропода к раннему времени.[8]

Попытаемся уточнить гипотетически установленное нами время отбытия Мавропода в Евхаиту. В одном из писем Пселла Мавроподу, отправленном в начале пребывания последнего на митрополичьей кафедре,[9] писатель сообщает о своей столичной жизни... «Мы же теперь и вовсе находимся под луной и солнцами (ὑπὸ σελήνην καὶ ἡλίους ἐσμεν), и порядок очень изменился. Наша луна заняла теперь не седьмой, а первый пояс, а под ней находится блистательная и сиятельная чета» (τηλαυγὴς συζυγία). Не вызывает сомнений, что под «солнцами», а также под «блистательной четой» Пселл имеет в виду императора и императрицу (сравнения императора с солнцем обычны для византийских энкомиастов). Но кого Пселл называет «луной»? Е. Фоллиери, вслед за Маасом, полагает, что это — возлюбленная Мономаха Склирина, умершая в 1044 г.[10] Однако, как следует из вышеизложенного, такое отождествление маловероятно по соображениям хронологии. Но существует и другая возможность: ассоциировать «луну», красоту и молодость которой Пселл дальше описывает, с прекрасной аланкой, любовницей Константина Мономаха, ставшей влиятельнейшей фавориткой императора в конце 40-х годов.[11] Это отождествление помогает уточнить не только сроки отправления письма, но и время назначения Мавропода митрополитом. Письмо было написано не позже 1050 г. (года смерти императрицы Зои), но и не намного раньше этого срока (Пселл сообщает о возвышении аланки, происшедшем в конце 40-х годов).

Итак, до конца 40-х годов Мавропод живет в столице, пользуется огромным влиянием при дворе, участвует в организации Константинопольского университета, а где-то около 50-го года в связи с опалой партии Лихуда–Пселла вынужден принять назначение в Евхаитскую митрополию.

Установленная нами схема биографии Мавропода была бы только вероятной гипотезой, если бы она не находила опоры в данных 77 писем евхаитского митрополита, сохранившихся в рукописи его сочинений. Письма Мавропода обычно невысоко ценятся исследователями. Действительно, как и обычно в византийской эпистолографии, немногочисленные факты тонут там в риторических излияниях, исторических намеков почти нет, как нет хронологических указаний и имен адресатов. Невнимание к письмам объяснялось кроме всего

и тем, что не удавалось обнаружить принципа, по которому послания Иоанна расположены в сборнике.[12] Между тем, приведенная схема (установленная, главным образом, на основании свидетельств Пселла без учета данных мавроподовских писем) почти идеально соответствует сведениям, содержащимся в письмах Иоанна, если их последовательность принять за хронологическую.[13]

Поэтому мы рассмотрим письма Иоанна в том порядке, в котором они дошли до нас в рукописи, тем более что это позволит не только восстановить биографические факты, но в какой-то степени и проникнуть в духовную жизнь евхаитского митрополита.

Первые два письма (№№ 100, 101) выдержаны в «лучших традициях» византийской риторической эпистолографии и не содержат оснований для каких-либо выводов. Однако уже № 102 дает в этом отношении определенный материал. Мавропод заверяет своего адресата, видимо, кем-то оклеветанного: он не слышал ни о какой клевете, но в случае необходимости можно рассчитывать на его защиту. Впрочем, Мавропод советует корреспонденту не раздражать больше своего господина, ибо тот пользуется очень большим весом «у нынешних властителей». Письмо явно написано человеком, знающим ситуацию при дворе и ощущающим себя способным вступиться за несправедливо оклеветанного. Вспомним: Мавропод был представлен ко двору не непосредственно вслед за воцарением Константина Мономаха, а через некоторое время, уже после приближения Иоанна Ксифилина.[14] Следовательно, письмо не могло быть написано ранее 1043 г. Ряд последующих писем также написан уверенным в себе человеком: Мавропод ратует за разных людей и рассчитывает, что его просьбы не будут оставлены без внимания (№№ 103, 107). В этот период Иоанн не порывает связей со своей родиной: направляет послание «игемону» Пафлагонии (№ 108),[15] просит о снисходительности по отношению к простодушным пафлагонцам, уличенным в контрабанде (№ 110). Большие письма (№№ 116, 117) дают представление о некоторых аспектах ученых занятий Мавропода в это время...[16]

Пользуясь немалым влиянием при дворе, Мавропод в то же время категорически отказывается от официальных должностей. Какой-то могущественный друг (Константин Лихуд?) предлагает Иоанну должность хартофилака, делая это, видимо, по поручению или с согласия императора и патриарха.[17] Ответное послание Иоанна (одно из лучших по своей литературной форме) представляет собой апологию спокойной жизни вдали от общественных бурь. За серией риторических вопросов звучит искреннее возмущение автора: «Что за слух нежданно дошел до меня? Меня мой добрый товарищ назначает

хартофилаком? Бросает меня в гущу дел и ставит начальствовать? И это меня, который стремится не быть на виду, который, как никто другой, умеет ценить скромную жизнь!» В том, что позиция Мавропода — не поза, или во всяком случае не только поза, нас убеждают характеристики Пселла и многочисленные параллели из стихотворений самого Иоанна.

Однако Мавроподу не удается долго удержаться на позиции защитника «скромной, незаметной жизни». Свидетельство этому два письма Мавропода (№№ 118, 119), адресованные, видимо, одному и тому же лицу, возможно — его учителю или духовному наставнику. Оба письма — защита от обвинений в тщеславии. Мавропод, по словам его хулителя, восхищается «человеческой властью», возлюбил почести, исходящие от людей, он — друг и советник императора и потому стал недоступен для скромных людей (№ 118). В первом письме Иоанн категорически отрицает все обвинения: хотя он нередко бывает с императором, но не извлекает из своего положения никакой пользы, он согласен принять любые обвинения, только не в тщеславии и т. д. Тон второго письма уже несколько иной: Иоанн с гордостью признает, что он пользуется «властью и блестящей репутацией», а в будущем будет обладать еще большим влиянием у императора и патриарха. Что же касается обвинений, то они — результат зависти и недоброжелательства. Любитель уединенных ученых занятий явно не устоял перед соблазнами почестей и положения влиятельного лица при императорском дворце...

Думается, что об этом же свидетельствует и следующее письмо (№ 120). Трудно здесь пробиться сквозь хитросплетения византийской риторики и отделить реальное содержание от условного топоса эпистолографии того времени. Тем не менее, судя по содержанию, письмо было направлено одному из высших духовных лиц, возможно, самому патриарху.[18] Мавропод одевает традиционную маску христианского смирения и тем не менее весьма настойчиво упрекает своего адресата в том, что тот открывает свой лик лишь близким людям из своего окружения, заставляя Мавропода довольствоваться редкими «письмишками». Внимание высокопоставленных особ явно заботит любителя незаметной жизни.

Разобранные выше письма, вероятно, относятся к первым годам царствования Мономаха, датировать их точнее пока не представлялось возможным. Иное дело следующее послание (№ 122), которое, в отличие от прочих писем Мавропода, уже неоднократно привлекало внимание исследователей. Мнение большинства ученых в данном случае едино: письмо адресовано Пселлу[19] и касается одного из

центральных событий культурной жизни Византии XI в. — открытия так называемого Константинопольского университета. Это послание — одно из немногих писем Мавропода, нередко цитируемое исследователями, что избавляет нас от необходимости еще раз анализировать его содержание. Напомним только, что письмо следует датировать временем между 1044–1047 гг.

Одно из следующих писем (№ 125) также поддается более или менее точной датировке. Это обширное послание к Константину Мономаху в связи с подавлением мятежа Льва Торника в конце 1047 г.[20] Хотя в нем нет недостатка в обычных льстивых излияниях по адресу императора, по сути дела, Мавропод поступает весьма дерзко, прося Мономаха о снисхождении к заговорщикам. Сама идея направить послание императору с увещеваниями могла прийти в голову лишь человеку, уверенному в своих силах и достаточно свободомыслящему.[21] Следующие письма (№№ 127–141) представляют собой обычную корреспонденцию образованного и влиятельного византийца. Это деловые или дружеские послания с просьбами оказать покровительство тому или иному человеку или с традиционными изъявлениями любви и преданности. Адресатами трех из них можно предположительно считать Иоанна Ксифилина. Так в письме № 127, явно написанном близкому другу, Мавропод употребляет латинское слово φαμιλία, «поскольку», — как объясняет автор, — речь обращена «к италийцу и почитателю римлян» (πρὸς ἰταλικόν τε καὶ φιλορώμαιον). Эта характеристика сама по себе наводит на мысль о Ксифилине, так как «министр юстиции», знаток и толкователь римского права, естественно, знал латынь, что не так часто встречалось в Византии того времени. Это предположение находит определенное подтверждение в следующем письме (в рукописях Мавропода, как и других византийских авторов, письма одному и тому же адресату нередко помещались рядом), обращенном к человеку по имени Иоанн и содержащем напоминание о «старом обычае наших ученых бесед» (ἔθος ἀρχαῖον ταῖς λογικαῖς ἡμῶν συνουσίαις). Что касается письма № 130, то, даже делая скидку на риторическую гиперболизацию, можно догадаться, что оно было направлено главе византийской юриспруденции.[22]

Время написания этих писем, — видимо, еще относительно благополучный период жизни Мавропода, пребывающего в Константинополе и не лишенного императорских милостей. Хронологически это скорее всего период после 1047 г. и до ссылки в Евхаиту около 1050 г.

Правда, в отдельных посланиях уже в этот период проскальзывают тревожные нотки. Наиболее характерно в этом отношении письмо

№ 133: «Я не выражаю тебе сочувствия в связи с этим твоим изгнанием. Ты удалился, но удалился не от нас, которые всегда рядом с тобой, а от того великого зла, которое окружает нас теперь со всех сторон, от которого нам нет никакой жизни и из-за которого мы сейчас страдаем невыносимо, а в будущем ожидаем еще больших мучений», — пишет Мавропод кому-то из своих корреспондентов.[23]

Поза несчастного и больного — нередкая позиция византийских эпистолографов, даже если они вполне благополучные и здоровые люди. В переписке Мавропода таких мотивов до сих пор не встречалось. Но с этого момента жалобы учащаются.[24] Можно предположить (учитывая время, когда должны были писаться эти письма), что это отголоски начавшихся гонений против кружка Лихуда, Пселла, Ксифилина, Мавропода.[25]

Начиная с № 142 сетования встречаются уже почти в каждом письме и приобретают более конкретный характер. Мавропод пишет о том, что в результате «неожиданной перемены в жизни» он покидает столицу,[26] сообщает, что «произошло то страшное событие, которого он так страшился», что он рукоположен и его ожидает престол и докучливые дела.[27] Интересно в этом отношении письмо № 147: «...Единственное, что осталось мне в утешение, — это свобода — воистину самая дорогая и бесценная вещь, но и ее грозят сейчас забрать у меня, ибо власть принуждает меня подняться на престол и заставляет переменить мою сладостную и спокойную жизнь...» О том же печальном для себя событии извещает Пселл своего адресата и в письме № 149: «...ничего удивительного, что ты удивлен случившимся со мной. Я и сам не верю и недоумеваю по поводу произошедшего. Я рассчитывал на что угодно, только не оказаться свидетелем такой перемены своей судьбы. Ведь я всю свою жизнь (и ты не станешь отрицать этого) старательно избегал подобных вещей. Это, однако, должно послужить мне уроком, что не во всем мы, люди, властны над собой, но следует склонить голову и подчиниться воле управляющего всем провидения, хотя события часто и развиваются вопреки нашим желаниям...» Затем Мавропод, как и обычно в письмах этого периода, жалуется на физическое и душевное недомогание.

Знаменательны те ассоциации, которые вызывают эти письма с некоторыми поэтическими произведениями Мавропода, относящимися к тому же времени. Рассмотренные вместе, они рисуют отчетливый и характерный облик будущего евхаитского митрополита. В трех стихотворениях, два из которых озаглавлены «О себе, к Христу» (№№ 89, 90), а третье обращено к самому себе (№ 91), написанных, видимо, еще в благополучный период жизни в Константинополе,

Мавропод выражает полное довольство судьбой: у него есть пища, крыша и все необходимое, и его нисколько не заботят те блага, из-за которых так хлопочут его современники (№ 89.1–6). Жизнь Мавропода лишена славы (ἄδοξος), но зато свободна, ему никто не рукоплещет, но никто и не завидует, он не получает выгод, но и не знает зла, которое с ними связано. Ему никто не льстит, но и ведь он не должен ни перед кем унижаться (№ 90.5–14) и т. д.

Не обладая чинами и находясь «внизу», Мавропод тем не менее приметен для тех, кто «наверху» (лукавый намек на свое влияние при дворе. — *Я. Л.*). Настоящая слава не в «чинах и тронах», и больше чести тому, кто кажется большим, стоя внизу, чем тому, кто возвышается благодаря высокому месту (№ 91.14–20).

Следующее большое стихотворение (№ 92), также обращенное к самому себе, создано уже непосредственно перед назначением Мавропода на митрополичью кафедру. Чувства автора находятся в смятенном состоянии. Вся его природа восстает против уготованной ему участи. Иоанн умножает и не без искусства варьирует уже знакомые нам доводы против занятия высоких должностей.

Последнее стихотворение из этого цикла было создано уже после назначения и носит характерное название палинодия, т. е. стихотворения с неким обратным смыслом. «Мы не тверды в своих решениях, — пишет Иоанн, — ибо изменчиво слово смертных, или лучше сказать, слово неизменно, но непостоянна природа вещей» (№ 93. 3–6). Основной смысл этого обширного стихотворения: Мавропод вынужден изменить своим убеждениям и занять кафедру, поскольку не в силах человека противиться высшим предначертаниям. Стихи и письма говорят об одном и том же: превыше всех благ ценит Мавропод свою независимость. Но как и в письмах, гордое стремление сохранить свободу сменяется в стихах покорностью велениям промысла.

Как свидетельствуют разобранные выше письма (№№ 142–149), Мавропод, уже получивший назначение на пост евхаитского митрополита, в течение какого-то времени оставался в Константинополе. Следующие послания (№№ 150–173) уже отправлены с места его почетной ссылки. В них, как и всегда, мало конкретных деталей, которые здесь заменяют беспрерывные жалобы, сдобренные всеми доступными Иоанну средствами риторической ламентации. Не успел Мавропод отдохнуть от неприятностей трудной дороги, «как на него обрушились порывы ветра, отовсюду навалились шквалы и ураганы бедствий, разверзлась пучина испытаний и со всех сторон стали грозить беды».[28] Мы, конечно, не можем гадать о характере несчастий, постигших только что назначенного митрополита. Ничего не дает

в этом отношении и туманный намек на «многослезную войну» (πολύδακρυς πόλεμος), которая разразилась в епархии Иоанна.[29]

Трудная ситуация, в которую он попал, особенно угнетает Мавропода еще и потому, что он чувствует себя совершенно неподготовленным и неспособным выдержать треволнения жизни, поскольку до сих пор «жил вдали от этих бурь и штормов» (№ 153).[30]

Лишенные хронологических указаний письма не дают возможности определить, как долго был Мавропод на посту евхаитского митрополита. По мнению большинства исследователей, он оставался на нем до смерти. Скорее всего, однако, Иоанну удалось дождаться вожделенного смещения с должности. Основанием для этого заключения служит одно из последних писем рукописи Мавропода. В первой его части говорится о том, что кто-то обманул ожидания Мавропода и не заехал в Евхаиту. Из второй его части, несмотря на нарочито туманный стиль, можно понять, что место Мавропода (т. е. митрополичью кафедру) занял адресат этого письма, что пафлагонцы (т. е. жители Евхаитской митрополии) одержали какую-то победу над Иоанном, в результате которой произошло это перемещение, и что Мавропод желает своему преемнику всяческих благ.[31]

В заключение остановимся на вопросе о дате смерти Иоанна Мавропода. Большинство исследователей считает, что Иоанн умер вскоре после 1054 г.: после этого времени его имя уже более не упоминается в источниках. Однако отдельные ученые относят смерть митрополита к началу царствования Алексея I Комнина и даже к первым годам XII столетия.[32] Решению этого затянувшегося спора может помочь толкование одного из пассажей эпитафии Пселла Константину Лихуду, до сих пор почти не привлекавшего внимания биографов Мавропода.[33] Описывая силу красноречия своего покровителя, Пселл сравнивает словесные бои Лихуда с ратными подвигами Ахилла. С Пелеевым сыном, — пишет автор эпитафии, — бился Гектор, а с Лихудом сражались «два одинаково доблестных мужа». Далее следует характеристика этих мужей, в которой среди прочего говорится: «Это были оба знаменитых Иоанна (так их звали), равные в речах, но разные в том отношении, что один превосходил другого в искусстве слова, но уступал в философии. Другой же... но о нем я уже говорил. Они были подобны и равны друг другу совершенством своей добродетели. Один из них, достигнув почтенного возраста и большой учености, покинул этот мир в сиянии добродетели, другим же еще наслаждается земная жизнь. Он не только первый в каталоге мудрецов, но и занимает первое место среди архиереев, и Евхаитская митрополия получила его в качестве жителя и, пожалуй, властителя города».

Приведенный пассаж дает основания для нескольких новых датировок. Два знаменитых и ученых Иоанна из кружка Константина Лихуда — это, конечно, Иоанн Ксифилин и Иоанн Мавропод, чьи имена неоднократно встречаются вместе в источниках того времени. Один из Иоаннов (Ксифилин) уже умер (дата его смерти — 1075 г.), другой (Мавропод) еще живет. Из этого следует: 1. Энкомий Лихуду, из которого заимствован этот отрывок, не мог быть написан ранее 1075 г. Составление энкомия — эпитафии через несколько лет после смерти героя (Лихуд умер в 1063 г.) нередко практиковалось в Византии.[34] В этой связи можно высказать и другое осторожное предположение: энкомий был написан после 1081 г. — времени воцарения Алексея I Комнина. Основание этой гипотезе дают неумеренные похвалы, которые Пселл расточает Исааку Комнину в этом произведении (Bibl. gr. IV, p. 407 sq., ср. весьма сдержанную оценку этого императора в «Хронографии»). Последний вопрос, однако, связан со сложной проблемой даты смерти самого Пселла. 2. 1075 (а может быть и 1081 г.) — terminus post quem для смерти Иоанна Мавропода. 3. 1075 (а может быть и 1081 г.) terminus post quem для написания Пселлом энкомия Мавроподу.

Время после оставления поста евхаитского митрополита и до своей смерти Иоанн Мавропод скорее всего провел в монастыре, от вступления в который его так отговаривал Пселл в своем энкомии. Писем от этого времени не сохранилось, возможно потому, что монахам не подобало вести корреспонденцию, как это было, например, в олимпийской обители, куда постригся Иоанн Ксифилин.[35] Возможно, Мавропод вскоре умер.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Dreves G.* Johannes Mauropus. Biographische Studien, Stimmen aus Maria Laach. 26. 1884; *Neumann K.*, рец. на издание: *Lagarde P.* Theologische Litteraturzeitung. 1886. №. 24, 25; *Dräseke J.* Johannes Mauropus // BZ. 2. 1893. *Eustratiades S.* Ἰωάννης ὁ Μαυρόπους, Εναίσιμα, Ἀθῆναι, 1931. *Gudeman.* RE. Hlbd 18, col. 1750 ff.; *Phugias M.* Ἰωάννης Μαυρόπους. Alexandria, 1955 (нам недоступна); *Follieri E.* Giovanni Mauropode metropolita di Euchaita. Otto canoni paracletici a N. S. Gesu Christo. Roma, 1967.

[2] Древес считает, что Иоанн отбыл из Константинополя между 1043 и 1047 гг.; Гудеман, Евстратидис, а в самое последнее время и Э. Фоллиери относят это событие к 1043–1044 гг. Г. Шлюмберже (*Schlumberger G.* L' Épopée Byzantine, III. Paris, 1905. P. 678), В. Фишер (*Fischer W.* Studien zur byzantinischen Geschichte des XI. Jahrhunderts, Progr. Plauen, 1883. S. 20), Дж. Хассей (*Hussey J.* Church and Learning in the Byzantine Empire. London, 1937), Г. Бек (*Beck H. G.* Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich. München, 1959. S. 555) считают, что назначение произошло после 1047 или 1048 г.

[3] Novella constitutio saec. XI medii, ed. A. Salač. Pragae, 1954.

[4] Michaelis Attaliotae historia, rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1953. P. 21. Традиционная дата этого события — 1045 г. не обоснована источниками, см.: Novella constitutio... P. 7. Э. Фоллиери, считающая, что в конце 1043–начале 1044 гг. Мавропода уже не было в Константинополе, вынуждена отнести открытие университета к очень раннему времени — второй половине 1043 г. (*Follieri E.* Op. cit. P. 14).

[5] См.: Iohannis Euchaitarum metropolitae quae in codice Vaticano graeco 676 supersunt, P. de Lagarde edidit. Abhandl. d. hist.-philol. Cl. d. Königl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. Bd. 28,1881 (далее I. Euch.), n. 186. Другая речь Мавропода, также произнесенная в Константинополе (I. Euch., n. 18), вероятно, датируется 23 апреля 1047 г.: см. *Каждан А.* Иоанн Мавропод, печенеги и русские в середине XI в. // Зборник Радова, Византинолошки институт. VIII. I. 1963.

[6] *Psellos.* Chronographie, II. P. 65–66. Основания для отождествления следующие: друг Пселла родом не из Константинополя (Мавропод родился в Пафлагонии), он старше Пселла (Мавропод родился, видимо, в конце X века) и относится к числу ближайших ученых друзей автора. Характерная деталь: друг Пселла вначале не хотел представляться императору. Пселл же вообще нередко упрекает Мавропода за отсутствие честолюбия.

[7] *Sathas C.* Bibliotheca graeca medii aevi. V. 1876. P. 154 sq.

[8] Для обоснования своей точки зрения этим исследователям приходится прибегать к натяжкам. Они или сокращают до минимума период пребывания Мавропода в Евхаите, или допускают, что он приезжал оттуда на какой-то срок в Константинополь, или, наконец, как Фоллиери, до предела сжимают во времени исторические события.

[9] *Psellos.* Scripta minora,I–II, ed. E. Kurtz — F. Drexl. Milano, 1936–1941. II. P. 55.

[10] См.: *Follieri E.* Giovanni Mauropode... P. 12–13. Именно это отождествление и заставляет Э. Фоллиери датировать назначение Мавропода концом 1043—началом 1044 г.

[11] *Psellos.* Chronographie. II. P. 45–46.

[12] О невозможности установить какой-либо принцип в расположении писем в рукописи категорически пишет К. Нейманн (*Neumann.* Рец. S. 597 ff.).

[13] Хронологическое расположение материала в сборнике сочинений Мавропода допускает и Р. Анастаси (*Anastasi R.* Il «Canzoniere» di Giovanni li Euchaita // Siculorum Gymnasium. XXII. 2. 1969. P. 144), чья работа стала мне доступна уже после завершения этой статьи.

[14] См. выше, с. 162.

[15] По мнению Нейманна (*Neumann.* Рец. S. 597), тому же адресату было направлено и следующее письмо (№ 109).

[16] См.: *Neumann.* Рец. S. 597.

[17] I. Euch., № 104. В письме говорится: «Это (доводы для отказа от должности. — *Я. Л.*) я представляю самой власти (πρὸς τὸ κράτος αὐτό, т. е. императору. — *Я. Л.*) и другому владычеству, святому и божественному (πρὸς τὴν ἑτέραν ἀρχήν, τὴν ἱεράν τε καὶ θειοτέραν, т. е. патриарху. — *Я. Л.*)».

[18] На мысль об этом наводят уподобление адресата письма Богу, а также пожелание, содержащееся в конце письма: «Блага тебе самому, а также твоему блестящему *окружению* (ἡ περὶ σὲ καλὴ συνοδία). Συνοδία, вероятно, вм. σύνοδος. По мнению Нейманна, письма 116–120 были направлены одному адресату (*Neumann.* Рец. 597). Мы не видим оснований для такого вывода.

[19] См.: *Fischer.* Studien... S. 13, Anm. 7; *Fuchs Fr.* Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Byzantinisches Archiv. VIII. 1926. S. 30 и др.

[20] События, упоминаемые в письме, ассоциировал с раскрытием заговора Торника еще Нейманн (*Neumann.* Рец. S. 596). Напомним, что о раскрытии заговора Торника Мавропод говорил в своей речи перед императором (I. Euch., n. 186). Еще раз обращаем внимание на хронологическую последовательность в расположении писем: № 122 датируется 1044–1047, № 125 — концом 1047–началом 1048 г.

[21] По мнению Нейманна (*Neumann.* Рец. S. 596), это письмо вызвало гнев императора. Испугавшийся Мавропод якобы направляет Мономаху другое послание (№ 126) с униженными извинениями. Вряд ли Нейманн прав. Это новое письмо начинается с сожаления о человеческих слабостях, одинаково свойственных как Иоанну, так и адресату. Вряд ли Мавропод посмел бы так «на равных» разговаривать с императором. Трудно себе также представить, чтобы простое обращение κύριέ μου (т. е. «мой господин») могло относиться к императору.

[22] «...Благодаря тебе, строгому блюстителю законов, законы царствуют на земле...» — обращается Пселл к своему адресату.

[23] Это письмо явно написано из Константинополя и обращено к человеку, находящемуся в изгнании. Непонятно, почему Н. Скабаланович полагал, что оно было отправлено уже из Евхаиты. *Скабаланович Н.* Византийское государство и церковь в XI в. СПб., 1884. С. XV.

[24] Ср. № 136: «Положение мое тяжко и трудно, я болен телом, а еще больше душой».

[25] Мы не видим оснований вслед за П. Иоанну (*Joannou P.* Psellos et le Monastère Τὰ Ναρσοῦ // BZ. 44. 1951. P. 285, n. 1) считать, что письмо № 146 обращено к Пселлу, сообщившему Мавроподу о своем постриге.

[26] I. Euch., n. 142.

[27] I. Euch., n. 144.

[28] См.: I. Euch., n. 163. Это послание, как и следующие за ним (№№ 164, 165), скорее всего, направлено патриарху Михаилу Кируларию. Как явствует из содержания, оно было послано через 6 месяцев после прибытия в Евхаиту, когда Мавропод «с трудом сумел хоть немного преодолеть бури». Интересно здесь указание на двухмесячный срок, которое занимало в то время путешествие из Константинополя в Евхаиту. Было бы утомительно перечислять все жалобы, которыми заполняет Мавропод послания из своей митрополии. Ср., напр., №№ 153, 155, 160, 166 и др.

[29] См.: I. Euch., n. 159. О каких-то трениях между Мавроподом и жителями Евхаиты и о жалобах на митрополита сообщается и в одном из писем Пселла. См.: *Sathas.* Bibliotheca graeca... V, n. 80.

[30] Среди этих посланий несколько писем, видимо, адресованы Пселлу (№№ 150, 158, 159, 169). Отношения между Мавроподом и Пселлом стали предметом нашего специального исследования: *Любарский Я.* Михаил Пселл. Личность и творчество. М., 1978. С. 40 сл.

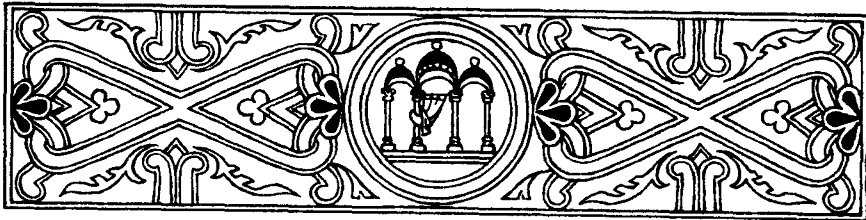
[31] «Ушла от нас сладостная добыча, о наказание! Прошел мимо милый муж, не сказал ни слова, не взглянул, не дал ни поговорить с собой, ни взглянуть на себя. Не знаю, почему он так решил и какой имел к тому повод. А мы давно надеялись принять его не только как друга, но и как архонта, и ждали этого — как тут сказать? — сладостно и с мольбами. Однако, поскольку вместо нас на нашем месте наш (ἐπεὶ ἀνθ᾽ἡμῶν ἐπὶ τὰ ἡμέτερα ὁ ἡμέτερος), мы не вовсе несчастны и не считаем, что дела идут совсем плохо, но, если мы обманулись в первом из желаний (ясно, что из-за клеветы и зависти негодяя), то во втором из благ мы не потерпели разочарования. И это не второе, его следует считать первым! Но пусть воспользуются твоей доблестью пафлагонцы, ставшие отныне счастливыми благодаря тебе. Я считаю их счастливыми, ибо они одержали победу над нами ради тебя (νικήσαντες ἡμᾶς ἐπὶ σοί), и предпочтение отдано было этому новому и вожделенному благу, я имею в виду твою несравненную добродетель и благочестие. Оставайся же подольше, оставайся с ними, и пусть они и в дальнейшем наслаждаются твоим благородным и удивительным владычеством» (I. Euch., n. 174).

[32] Основанием для поздней датировки является, главным образом, содержание некоторых неопубликованных гимнов Мавропода. См.: *Hussey J.* The Canons of John Mauropus // The Journal of Roman Studies. 37. 1947. P. 73. В относительно недавнее время к позднему периоду склонен относить смерть Мавропода С. Евстратидис (Ἰωάννης ὁ Μαυροπούς, σελ. 420). Решительно возражает против этого Г. Бек (*Beck.* Kirche... S. 555).

[33] См.: *Sathas.* Bibliotheca graeca... IV. P. 393–394.

[34] В качестве примера сошлемся на эпитафию того же Пселла Михаилу Кируларию (*Sathas.* Bibliotheca graeca... IV. P. 303 sq.), написанную через несколько лет после смерти последнего.

[35] См. письмо Пселла к Иоанну Ксифилину (*Psellos.* Scripta minora. II. P. 215 sq.).



«КРАТКАЯ ИСТОРИЯ» МИХАИЛА ПСЕЛЛА: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА? *

«Краткая история» Михаила Пселла, обнаруженная в начале века В. Н. Бенешевичем в рукописи монастыря св. Екатерины на Синае и потом надолго «забытая» византинистами,[1] опубликована наконец в критическом издании с предисловием, комментарием и английским переводом голландским исследователем В. Артсом.[2] В синайской рукописи тексту предшествует лемма, недвусмысленно относящая произведение Михаилу Пселлу: «Краткая история царей древнего Рима, а также нового, начиная с Ромула, с опущением царей, которые не совершили ничего примечательного. Составитель же истории — славнейший ипертим Пселл».[3]

Несмотря на столь ясное указание, В. Артс в предисловии к своему изданию поставил под сомнение авторство Пселла и открыл таким образом в византинистике новый «пселловский» вопрос. Д. Райнш, рецензируя издание «Краткой истории», не только разделил сомнения В. Артса, но даже предложил убрать имя Пселла с титула книги.[4] Напротив, «в защиту» Пселла уже успел высказаться К. Снайпс в докладе, прочитанном на Семнадцатой ежегодной конференции византинистов США.[5]

«Возражения» В. Артса против авторства Пселла не кажутся нам серьезными. Их бóльшая часть — argumenta ex silentio и в качестве таковых не нуждаются в опровержении. Кроме того, В. Артс указывает на весьма немногочисленные случаи нехарактерного для

* Опубликовано в сб. «Византийский временник», 55 (1994), 80–84. Расширенный вариант статьи: *Ljubarskij Ja.* Some Notes on the Newly Discovered Historical Work by Psellos. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. *Studies in Honor of Speros Vryonis.* Vol. I. *Hellenic Antiquity and Byzantium* (New Rochelle; New York, 1993), 213–228.

языкового пуриста Пселла «вульгарного» словоупотребления и наличия в «Краткой истории» ряда слов, которые нельзя обнаружить и других его сочинениях. Однако Historia Syntomos дошла до нас только в одной рукописи, и мы не можем не знать точно, что стояло в автографе, во-вторых, сам жанр хроники — «Trivialliteratur», по выражению Г. Хунгера, — допускает более свободное обращение с языком по сравнению с риторически изощренной «Хронографией» или речами.

Что касается слов, отсутствующих в прочих произведениях, то, если бы были произведены соответствующие подсчеты, такая же картина, вероятно, открылась бы и во многих других случаях.

Вряд ли также решающим аргументом может являться то отмеченное В. Артсом обстоятельство, что между «Краткой историей» и «Хронографией» существует определенное расхождение как в выборе фактов, так и в порядке их изложения. Необыкновенно плодовитый писатель и ученый, нередко весьма вольно пересказывающий свои источники, скорее всего, не имел ни времени, ни желания лишний раз заглядывать в собственные сочинения и заботиться об их полном соответствии между собой. Точно так же едва ли могут служить серьезными противопоказаниями против авторства Пселла исторические неточности и ошибки, которые допускает писатель. (В. Артс полагает, что такой эрудит, как Пселл, ошибаться не мог и обязан был даже исправить ошибки в своих источниках!)

И тем не менее сомнения, раз высказанные, побуждают к новому прочтению «Краткой истории» и поиску «следов Пселла» во вновь опубликованном его сочинении. Занятие это вовсе не бесполезное еще и потому, что проблема авторского самовыражения в литературном произведении интересна и актуальна в применении к византийской словесности.[6]

Хотя жанр исторической хроники, к которому относится «Краткая история», быть может, менее других в византийской литературе приспособлен для проявления авторского «я», автор в нескольких случаях не может удержаться от прямого выражения своих суждений. «Как я считаю» (ὡς ἔγω κρίνω), оговаривается писатель, отрицательно отзываясь об императрице Ирине (H. S. 82.72). Раз упомянув Прокла, он полагает необходимым тут же заметить, что считает его вторым философом после Платона (οὗ ἔγω μετὰ γε Πλατῶνα τίθημι — H. S. 52.37). Это явление весьма показательно, ибо приверженность Пселла к неоплатонической философии хорошо известна.

Однако самый важный случай авторского «самораскрытия» в «Краткой истории» следующий: «...я составлю для тебя другую

историю, начиная с Юлия Цезаря, — обещает писатель, — дабы одним из царей ты подражал, а других поражал презрением и насмешкой».[7] Вопрос о том, к кому обращена эта фраза и для кого писатель составлял свою историю, легко можно разрешить, если мы оставим сомнения относительно авторства Пселла. Адресатом сочинения, конечно, должен был быть царственный ученик Пселла — будущий император Михаил VII, которому Пселл посвятил и многие другие дидактические сочинения. Однако самое важное в цитированном пассаже — открытое провозглашение наставительных целей сочинения. То, что эти слова не пустая декларация, доказывается всем содержанием «Краткой истории».

Наиболее надежным способом обнаружить «авторское присутствие» в тексте хронографического — по существу компилятивного — произведения является сравнение его с параллельными источниками.[8] С большой долей вероятности можно утверждать, что пассажи, не находящие аналогов в параллельных текстах, представляют собой собственные добавления писателя и, таким образом, выражают его индивидуальную позицию. Интересно, что в «Краткой истории» такими авторскими добавлениями чаще всего оказываются не изложения событий и эпизодов, а своеобразные комментарии к поступкам или качествам тех или иных императоров. Вот некоторые из примеров. «Царю следует пользоваться глазами и ушами многих людей, только чтобы были они не вероломны и злонравны, а благомысленны и честны» (H. S. 32.55–57). «Каждому царю должна быть свойственна важность, а также строгость и доблестный дух» (H. S. 78.13–13). «...Не ведая, что истинная справедливость занимает среднее место между ее избытком и недостатком... он (император Феофил. — *Я. Л.*) больше должного уделял внимание делам справедливости» (H. S. 86.49–50). Параллельные тексты лишены подобных комментариев, и, можно думать, воспитатель Михаила VII ввел их с назидательными целями.

Приведенные пассажи были декларациями общего характера, и можно только гадать, какие конкретные поводы заставили Пселла включить их в свою компиляцию. Однако цель некоторых других текстовых включений кажется нам очевидной. Прежде всего это относится к главке, посвященной Александру Северу. Этот молодой император «...любил мать больше должного. Он ничего не делал сам по себе, но подчинялся своей властолюбивой матери. Она же была весьма благочестива, но не слишком приспособлена к царскому управлению. Ее желания выходили за рамки должного. Сына, стремившегося к царской власти, она приручала как жеребенка и крепко держала

в руках вожжи, а он подчинялся каждому движению ее руки. Даже если надо было идти в военный поход, она собирала для него войско. Вот почему он потерпел поражение в битве с персами и, вернувшись в столицу, искал утешения на ее груди» (H. S. 26.46–54). Параллельные источники не содержат такого пассажа, и у Пселла должны были быть особые причины включить его в свой текст.

На природу этих причин, кажется нам, бросает свет отрывок из «Хронографии», касающийся отношений его ученика Михаила VII с матерью Евдокией, который мы приводим ниже. «Не стану восхищаться тем, как благоговел перед нею Константин (имеется в виду брат Михаила VII)... но тому, что ей подчинился и препоручил все дела Михаил, давно миновавший детский возраст и вступивший в зрелую пору, обладавший несравненным умом, который уже не раз успел обнаружить, — вот этому мне не найти других примеров и не восславить его, как подобает. И видел я много раз, как Михаил и мог бы говорить при матери, да молчал, будто не мог, и способен был к чему угодно, но от царских дел отстранялся».[9] Панегирист Пселл в «Хронографии» восхищается послушанием Михаила, однако очень возможно и даже вероятно, что в историческом сочинении, предназначенном для наставления своего воспитанника, косвенным образом предупреждает его против излишнего смирения перед матерью.

В этом контексте вряд ли является случайностью и то, что Пселл в отличие от прочих историографов в главке об Ирине и Константине весь свой рассказ посвящает отношениям матери и сына, явно осуждая их вражду, приведшую к трагическому исходу (H. S. 80.60). Весьма знаменательно при этом, что о центральном событии эпохи — восстановления иконопочитания — сообщается мимоходом и даже не в главном предложении, а в причастном обороте, в то время как весь рассказ посвящен исключительно взаимоотношениям царственных матери и сына. Тема эта, видимо, была весьма актуальна для писателя.

Сделанные наблюдения получают определенное подтверждение и при рассмотрении раздела, посвященного Константину VII. Жизненный путь этого императора в некоторых аспектах напоминает судьбу Михаила и, возможно, рассматривался писателем как ее своеобразный аналог. И Михаил и Константин очень рано были провозглашены императорами, оба разделяли власть с матерями и находились под покровительством царских опекунов, оба, наконец, были или, по крайней мере, считались «учеными властителями на троне». Не исключено, что именно эти ассоциации руководили Пселлом, когда он писал о Константине: «Царь Константин получил царскую власть

еще ребенком и потому правил через опекунов. Его наставниками в искусстве властвовать были люди могущественные и ученые, сам патриарх и мать. В результате было совершено много несуразностей и введено немало новшеств, ибо одни из императорских учителей хотели одного, другие — другого» (H. S. 92.56–80). Немного далее писатель добавляет: «Повзрослев, Константин взял на себя все дела и, удалив опекунов, царствовал вместе с матерью» (H. S. 94.97–98). Последнее замечание не вполне исторически справедливо: мать Константина Зоя Карбонопсина уступила власть Роману I в 919/920 г., когда ее сыну было только пятнадцать лет. Пселла, однако, заботит здесь не только верность исторической правде, сколько аналогии с современной ему ситуацией. Важны постоянный интерес писателя к взаимоотношениям царственных матери и сына и те мысли о них, которые он стремится внушить своему ученику.

Возможно, параллелизм между Константином и Михаилом следует продолжить. Как уже говорилось, Константин VII известен в византийской традиции в качестве «ученого императора». Воспитать из Михаила «ученого императора» было главной целью его наставника Пселла. До нас дошло весьма интересное свидетельство того, что современники осуждали философа, который в отчаянной ситуации семидесятых годов XI в. обучал своего царственного ученика... сочинению ямбов и анапестов.[10] В таком контексте приобретает особый и вполне актуальный для Пселла смысл следующая характеристика, которую он дает Константину: «Этот царь также увлекался словесностью. Имеются письма, свидетельствующие о его образованности, речи, демонстрирующие знание правил словесности, а также сочинения, отнюдь не совершенные в отношении искусства красноречия, но использующие все риторические фигуры. Он также заботился о всевозможных размерах и ритмах. Во всяком случае он почтил ямбами свою скончавшуюся жену и создал другие искусные сочинения» (H. S. 94.6–12).

Думается, немного византийцев в XI в. могли на таком «профессиональном уровне» оценить литературную деятельность Константина VII. Учитывая особое внимание Пселла к эстетике литературных произведений и его специальный интерес к ямбической поэзии, появление и этого пассажа в произведении, адресованном Михаилу VII, не следует считать случайностью.[11]

Нашу гипотезу об актуальности ряда сентенций и эпизодов «Краткой истории» может подтвердить и главка, посвященная отцу Константина VII — Льву VI. Подобно своему сыну, он тоже считался в византийской традиции «ученым императором», однако Пселл оказался

единственным из всех византийских историков, который в ущерб всем прочим аспектам деятельности императора счел нужным одну треть всего рассказа посвятить ученым и литературным занятиям Льва (H. S. 88.5–90.19). Согласно писателю, Лев занимался не только философией в общепринятом смысле этого слова (κοινῆς καὶ νενομισμένης), но и философией запретной (ἀπορρητοτέρας) (H. S. 88.5 sg.). Как следует из дальнейшего, Пселл имеет в виду оккультные науки. «Его учителем и наставником в этом, — продолжает историк, — был другой Лев — философ, который благодаря заповедной силе был знаком со всякими гаданиями и волшебством» (H. S. 88.11–90.13). Пселл не совсем прав. Лев Философ не мог быть учителем императора Льва по хронологическим соображениям. Вряд ли также Пселл непосредственно ассоциировал Михаила VII с Львом VI, а себя — с Львом Философом, хотя сам он тоже не был чужд оккультному знанию, но его интерес к философским и научным занятиям императора и отношениям наставника с его царственным учеником безусловен.

Дальнейшее содержание этой главки подтверждает наше предположение. Подобно своему сыну, Лев VI занимался не только философскими и научными сюжетами, но также риторикой, эпистолографией и прочей словесностью. И в данном случае тоже Пселл не может противостоять искушению вынести свое суждение о литературной деятельности своего героя, причем оценивает ее главным образом с эстетической точки зрения. Его произведения были написаны в традиционном стиле (εἰς τὸν ἀρχαίον τυπὸν βιαζομένους), были лишены красоты (κάλλη), им недоставало прелести (χαρίτας), они не были искусно построены и не отличались блеском и правильностью. Его письма, хотя и написанные по правилам, были лишены юмора и не могли увлечь читателей (οὐ μὴν ἱλαρὰς οὐδὲ διατιθείσας εὖ τοὺς ἀναγινώσκοντας) (H. S. 90.13–19). В приведенных строках содержится очень сжатое, но весьма точное выражение не раз декларированных Пселлом воззрений на риторику и литературу.[12]

Субъективизм и ассоциативность ряда пассажей «Краткой истории» кажется нам очевидной, хотя абсолютно точных доказательств в подобных случаях, как правило, существовать не может. Одним из таких примеров является главка о Юлиане Отступнике. Нетрудно заметить, что отношение Пселла к этому императору несравненно более благожелательно, нежели в параллельных источниках. Хотя и «Лев Грамматик», и Кедрин говорят об аскетической жизни Юлиана, ни один из них не упоминает об отношении императора к ученикам. Согласно же Пселлу, Юлиан «...говорил, что философ, по возможности, не должен давать себе никакой передышки, и занимаясь

учениками, и ежечасно будучи погружен в чтение книг, он молил своих богов освободить его от желания спать и стремления к наслаждениям и укрепить в неизменной и постоянной любви к знанию» (H. S. 38.3–6). Было бы нетрудно в данном случае подменить имя Юлиана Отступника на самого Пселла, который неоднократно выражал свою глубокую привязанность к ученым занятиям и ученикам, некоторых из которых сурово порицал за леность.[13]

Заметим, что личность Пселла обнаруживается в «Краткой истории» и другими еще менее «прямыми» путями. Вряд ли можно сомневаться, например, в том, что образ императора, созданный Пселлом в Historia Syntomos — произведении типа Fürstenspiegel, — во многом определяется индивидуальной авторской позицией. Идеальный император, по Пселлу, мудр (σοφός), учен (λογίος), миролюбив (εἰρηνικός), человеколюбив (φιλάνθρωπος) и находится в окружении просвещенных советников — философов. Таким изображен идеальный император и в других произведениях писателя. Особенности представлений Пселла особенно отчетливо проявляются при сравнении с образом императора в «Стратегиконе» Кекавмена, написанном примерно в то же время и, вероятно, адресованном тому же Михаилу VII.[14]

Авторское присутствие в тексте «Краткой истории» можно наверняка выявить и иными путями: анализом языка и даже художественной манеры писателя. Что касается языка, то многочисленные параллели с другими сочинениями Пселла даются в комментарии самого В. Артса, наблюдения же над художественной структурой «Краткой истории» должны быть опубликованы в другой нашей работе. Ограничимся здесь лишь утверждением, что и в этом отношении Historia Syntomos весьма напоминает пселловскую «Хронографию».

Существует ли проблема авторства «Краткой истории»?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Любарский Я.* Михаил Пселл. Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978. С. 175 и след.

[2] *Michaelis Pselli* Historia Syntomos / Editio princeps, recensuit, anglice vertit et commentario instruxit W. J. Aerts. B., 1990. (Далее: H. S.).

[3] H. S. P. 2. Следует отметить, что В. Артс неверно переводит слово ὑπέρτιμος — «почтенный» (honorabie), хотя в этом контексте ὑπέρτιμος, несомненно, титул — ипертим, одним из носителей которого был Михаил Пселл. Этот титул упоминается в лемме других произведений Пселла.

[4] *Reinsch D.* [Рец.] Michaelis Pselli Historia Syntomos //Ἑλληνικὰ. 1990.41.

[5] *Snipes K.* Is the *Historia Syntomos* a Genuine Work of Michael Psellos // Seventeenth Annual Byzantine Conference, November 8–10. Brookline (Mass.), 1991. P. 21.

[6] См.: *Reinsch D.* Autor und Leser in frühbyzantinischen hagiographischen und historiographischen Werken // XVIII Международный конгресс византинистов: Пленарные доклады. М., 1991. С. 400 и след.; *Ljubarskij J.* «Writers' Instrusion» in Early Byzantine Literature // Там же. С. 438 и след.

[7] ἑτέραν δε ὥσπερ ἱστορίαν σοι πραγματεύσομαι ἀπὸ Καίσαρος Ἰουλίου λαβὼν τὴν ἀρχήν, ἔχοις τὰ μὲν μιμεῖσθαι τῶν βασιλέων, τὰ δὲ μωμεῖσθαι τε καὶ βδελύττεσθαι. См.: H. S. 10.61–63. Наш не очень точный перевод — попытка передать игру слов μιμεῖσθαι — μωμεῖσθαι.

[8] Все параллельные источники к «Краткой истории» (главным образом «Лев Грамматик», Кедрин, Зонара) с достаточной полнотой выявлены в комментарии В. Артса. Проблема, откуда Пселл черпал свои сведения, остается пока невыясненной. Текст «Краткой истории» более всего походит на хронику «Льва Грамматика».

[9] *Michaele Psello.* Imperatori di Bizanzio (Cronografia) / Testo critico a curo di S. Impellizeli. 1984. Vol. II. P. 320.

[10] Θ. Τσολάκν. Συνέχεια τῆς Χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτση (Ioannes Scylitzes continuatus). 1965. 171. 6 sq.

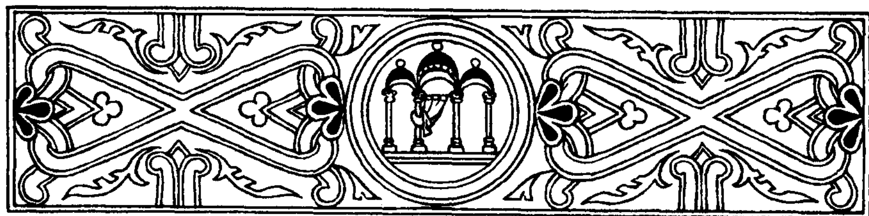
[11] Этот же пассаж мы находим в хронике Иоанна Зонары (*Ioannis Zonarae* Epitome Historiarum / Ed. L. Dindorf. 1871. IV. P. 677.5–13), однако имеются основания полагать, что Зонара непосредственно пользовался текстом «Краткой истории».

[12] О литературных воззрениях Пселла см.: *Любарский Я.* Михаил Пселл... С. 130 и след.

[13] См., например, три речи Пселла в кн.: *M. Psellos.* De operatione daemonum. Ed. F. Boissonade. Nürenberg,1838. P. 140–153.

[14] См.: Советы и рассказы Кекавмена / Подгот. текста, введ., пер. Г. Литаврина. М., 1972. С. 274 и след.





МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН *

Из большого круга проблем, возникающих в связи с темой, обозначенной в заголовке статьи, нами затронут здесь только один вопрос: характер литературного подражания (μίμησις) Назианзину в речах Михаила Пселла.

Григория Назианзина, ритора, Пселл упоминает неоднократно. Какой-то неизвестный нам корреспондент писателя спрашивал Пселла, какие из христианских ораторов писали по законам красноречия и могут ли они соперничать с образцовыми античными риторами. Ответ Пселла вылился в ученый трактат «О стиле Григория Богослова, Василия Великого, Златоуста и Григория Нисского».[1] По мнению автора сочинения, все перечисленные в заголовке писатели вполне способны выдержать сравнение с прославленными античными ораторами. Этот тезис иллюстрируется примером Григория Назианзина, сумевшего соединить в своем творчестве лучшие свойства всех предшествовавших риторов и игравшего для христианства ту же роль, что и Демосфен для античности.

Эта же мысль еще подробней излагается Пселлом в другом трактате, обращенном к некоему Пофосу,[2] просившему написать о «богословском стиле». Лучшим образцом этого стиля для Пселла оказываются речи Назианзина, детально оценивающиеся в сочинении. Система доказательств тезиса о превосходстве Григория над всеми другими риторами в обоих изданных трактатах явно заимствована из позднеантичной риторики (Дионисий Галикарнасский, Гермоген), объявлявшей лучшим оратором Демосфена, поскольку тот вобрал в себя все достоинства других риторов.

* Опубликовано в сб. «Византиноведческие этюды». Тбилиси, 1978. С. 93–97.

Сходство систем доказательств не случайно: Григорий Назианзин, в представлении Пселла, такой же образцовый оратор для христианства, каким Демосфен был для античности.

В какой мере сам Пселл, автор нескольких десятков речей, следовал Григорию? Точный ответ на этот вопрос, в традиционном понимании проблемы, пока вряд ли возможен, ибо подавляющее большинство речей Пселла издано без критического аппарата и содержащиеся в них скрытые цитаты не выделены. Исключение составляет только Похвальное слово Пселла своему учителю и другу евхаитскому митрополиту Иоанну Мавроподу,[3] переводчик которого на итальянский язык Р. Анастази сумел насчитать пятнадцать случаев заимствования, главным образом, из «Эпитафии Василию Кесарийскому» Григория Назианзина.[4] Некоторые из приведенных ученым примеров спорны, но большинство из них сомнений не вызывает, хотя лексические совпадения, как правило, и ограничиваются двумя-тремя словами.

Интерес, однако, представляет не столько сам факт подражания и лексического заимствования, весьма обычный в византийской литературе,[5] сколько его характер и источники. Поклонник пселловского таланта будет, конечно, немало удручен, найдя у Григория прообраз тех мыслей, которые он вправе был бы счесть за выражения искренних чувств самого автора. Так в эпилоге энкомия Мавроподу престарелый писатель с горечью вопрошает: найдется ли такой человек, который составит ему самому похвальное слово (V, p. 167.9 сл.).[6] Такого же рода сетованиями завершается и эпитафия Василию Григория Назианзина.[7] Предположить совпадение невозможно: мысль эта не затеряна в середине, а находится в эпилогах обоих произведений.

Знаменательное соответствие не одной, а уже нескольких последовательных мыслей содержится в не менее «заметной» части речи — в прологе энкомия матери. Образцом в данном случае для Пселла служит вступление к эпитафии сестре Горгонии того же Григория.[8] Уже энергичные зачины произведения одинаковы по тону: «Энкомий матери...» (Τῇ μητρὶ τὸ ἐγκώμιον — V, p. 3.5), — заявляет Пселл, «Хваля сестру...» (Ἀδελφὴν ἐπαινῶν — PG., 35, col. 789), — начинает сочинение Назианзин. В обоих случаях сразу называются хвалимые лица — ближайшие родственники авторов. Более существенные совпадения, однако, следуют дальше. Мы создаем эпитафии чужим людям, так справедливо ли лишать их своих родственников (V, p. 4.1 = PG, 35, col. 792.5 sq.). Если мы почитаем своих родственников при жизни, то тем более следует воздавать им хвалу после смерти

(V, p. 4.6 = PG, 35, col. 792.15 sq.). Речь произносится в присутствии людей, сумеющих проверить истинность слов автора (V, p. 4.18 = PG, 35, col. 790.15). Страх вызывает не то, что автора могут заподозрить во лжи, но, что его искусство будет не в силах воздать должное героине (V, p. 4.22 = PG, 35, col. 790.10 sq.).

Сходство ситуаций (энкомии создаются в честь умерших ближайших родственников) определяет и выбор Пселлом «образца». Писатель примерно сохраняет последовательность мыслей оригинала, но избегает прямых лексических заимствований. Чтобы было ясно, насколько отлично от Григория по словесному оформлению выражает Пселл свои мысли, приведем два параллельных отрывка: οὐ τοίνυν τοῦτον ἐγὼ φοβοῦμαι τὸν φόβον, μή τις ἡμᾶς ὑποπτεύσειε ψεύδεσθαι τὰ πλείω τῶν ἐγκωμίων, ἀλλὰ μὴ πολλοὶ καταγνοῖεν τῆς ἀτελοῦς τῶν λόγων δυνάμεως (V, p. 4.22 sp.).

ὥστε οὐ τοῦτον ἐγὼ φοβοῦμαι τόν φόβον, μή τι τὴν ἀλήθειαν ὑπερδράμωμεν, ἀλλὰ τοὐναντίον, μή τι τῆς ἀληθείας ἐλλείπωμεν, καὶ παρὰ πολὺ τῆς ἀξίας ἐλθόντες, ἐλαττώσωμεν τὴν δόξαν τοῖς ἐγκωμίοις (PG, 35, col. 789.11 sq.).

Только нейтральное οὐ τοῦτον ἐγὼ φοβοῦμαι τὸν φόβον является у Пселла дословным воспроизведением оригинала. Подражание — μίμησις Пселла характеризует вполне уместное использование чувств и мыслей его «образца».

Но не в переработке отдельных пассажей суть «подражания» Пселла.

Оценивая литературные достоинства произведений Григория, Ф. Фаррар пишет, что «речи его слишком расплывчаты и изобилуют отступлениями, слишком преувеличены в своих выражениях и отличаются недостатком систематичности в расположении предметов».[9] Не отличающееся в данном случае большой глубиной суждение английского богослова ценно своей безыскусной передачей впечатления от чтения произведений Назианзина. То, что Фаррар склонен считать недостатком, — на самом деле специфика энкомиев отца церкви. «Расплывчатость», «обилие отступлений», «недостаток систематичности» — это та субъективная стихия, которая входит в христианский панегирик и которая в еще большей степени свойственна ораторским сочинениям Пселла. Если Назианзин только иногда выводит себя в качестве действующего лица,[10] то Пселл делает это постоянно, надолго и часто без нужды отвлекаясь от темы повествования. В некоторых случаях Пселл настолько увлекается самоизображением, что делает себя вторым, почти равноправным героем похвального слова (энкомии Иоанну Ксифилину, Иоанну Мавроподу) и превращает отдельные части своих произведений в лирические воспоминания.

Если Григорий только иногда допускает отступления от рассказа, то композиция некоторых речей Пселла представляет собой причудливую конструкцию, в которой одни экскурсы «по принципу матрешки» заключаются внутрь других (энкомий матери).

Из-за отсутствия четких «опорных пунктов» нелегко доказать зависимость структуры такого рода от композиций речей Григория, но по крайней мере в одном случае такая связь кажется нам очевидной. В эпитафии отцу в двух симметрично расположенных (в начале и перед концом) пассажах Григорий делает большие отступления о матери.[11] В эпитафии матери Пселл примерно в аналогичных местах вставляет длинные рассказы об отце.[12] Сходство темы (эпитафии родителям) предопределяет и некоторый параллелизм в композиции.

Еще труднее доказать зависимость некоторых образов Пселла от героев Григория, интуитивно ощущаемую при чтении произведений. Сама эта трудность, однако, весьма показательна: при формальной компиляции решающим доводом было бы установление простого лексического соответствия. Однако в данном случае речь должна идти не о компиляции, а о сознательной или бессознательной ассоциации, уподоблении автором некоторых своих героев персонажам «образцового предшественника». Укажем на некоторые случаи.

В только что упоминавшемся энкомии матери не только композиция, но и сам образ Феодоты вызывает определенные ассоциации с похвальным словом отцу Григория Назианзина, а именно с фигурой матери Григория — Нонны. Доводами в пользу такого утверждения не могли бы служить ни изображение обеих героинь образцами благочестия, смирения и аскетизма, ни утверждения, что их брак с мужьями — «союз душ посредством плоти» (оба мотива вполне трафаретны), но вот стремление писателей представить своих матерей в виде руководительниц и наставниц благочестия для мужей — деталь несколько более индивидуальная и доказательная, особенно если учесть и некоторое лексическое совпадение в рассуждениях по этому поводу.

Григорий Назианзин пишет о Нонне: Τῷ δὲ οὐ συνεργὸς μόνον ἡ παρὰ Θεοῦ δοθεῖσα (ἧττον γὰρ τοῦτο θαυμαστὸν) ἀλλὰ καὶ ἀρχηγὸς γίνεται ἔργῳ τε καὶ λόγῳ πρὸς τὰ κράτιστα δι᾽ ἑαυτῆς ἄγουσα (Greg. PG. 35, col. 993. 20 sq.).

Пселл сообщает о матери: Τῷ δέ γε ἐμῷ πατρὶ οὐ συνεργὸς μόνον καὶ βοηθὸς ἐτύγχανεν οὖσα κατὰ τὴν θείαν διάταξιν, ἀλλὰ καὶ πρωτουργὸς τῶν καλλίστων καὶ εὑρετής (V, p. 19.14 sq.).

Как уже отмечалось, Р. Анастази установил ряд лексических соответствий между похвальными словами Пселла Мавроподу и Гри-

гория Назианзина Василию Кесарийскому. Почти все лексические соответствия содержатся в характеристиках главных героев. Пселл пишет образ Иоанна Евхаитского «с оглядкой» на фигуру Василия, и лексические соответствия — только внешнее выражение более глубокой общности. И Мавропод, и Василий скромные благочестивые христианские пастыри, в то же время весьма ценящие (очень существенная деталь!) «внешнюю», то есть светскую античную образованность, в которой немало преуспели. Не случайно в обоих произведениях содержатся значительные по объему и аналогичные по содержанию отступления с явной полемической направленностью, где защищается право христианина заниматься светскими науками.[13] Сам стиль отношений между Пселлом и Мавроподом напоминает характер дружбы Григория Назианзина и Василия Великого: в обоих случаях это преданная идеальная φιλία, основой которой прежде всего являются общие ученые интересы.[14]

Все сказанное полностью относится и к фигуре Ксифилина — герою эпитафии Пселла. Сама внешняя канва отношений этих двух пар (Пселл — Ксифилин, Григорий — Василий) в значительной мере совпадает. Григорий и Василий встречаются в Афинах, Пселл и Ксифилин — в Константинополе, там предаются они общим ученым занятиям. Обе дружеские пары расстаются, переписываются, переживают размолвку. Григорий посещает Василия в Понте, Пселл Ксифилина на Олимпе и так далее. То, что такой ассоциации не был чужд и сам Пселл, доказывают два его письма к Ксифилину,[15] где писатель прямо ссылается на отношения Григория и Василия как на образец для их собственного поведения.

Итак, в больших и лучших своих речах Пселл «вступает в соревнование» (конечно, в средневековом и античном смысле выражения) с Григорием Назианзином. До появления специальных исследований нельзя безапелляционно утверждать, но можно предполагать, что в ряде аспектов Пселл по своему мироощущению, главным образом этике, вообще близок раннехристианским отцам церкви, особенно Назианзину. Этика Назианзина–Пселла гораздо более человечна и широка, нежели фанатичные представления современников писателя — Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, Михаила Кирулария.[16] Возможно поэтому, следование Григорию объясняется более глубокими причинами, нежели только обязательное благочестие и литературный usus.

Не византийская ученая компиляция, которой Пселл отдал щедрую дань в своих научных трактатах, а попытка воспроизведения духа оригинала характеризует зависимость писателя от своего «образца».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *M. Psellus.* De operatione daemonum. Ed. Boissonade, Nürenberg, 1838 (Amsterdam, 1964), p. 124 sq.

[2] *Mayer.* Psellos Rede über den rhetorischen Charakter des Gregorios von Nazianz // BZ. 20. 1911; *Levy P.* Michaelis Pselli de Gregorii Theologi charactere iudicium. Leipzig, 1912.

[3] *Sathas C.* Bibliotheca graeca medii aevi, V. Paris, 1876 (далее V). P. 142 sq.

[4] *Psello Michele.* Encomio per Giovanni, piissimo metropolita di Euchaita e protosincello. Introducione, traducione e note di R. Anastasi. Padova, 1968. P. 37.

[5] *Hunger H.* On the Imitation (μίμησις) of Antiquity in Byzantine Literature // DOP. Vol. 23/24. 1970.

[6] Эту же мысль Пселл дважды высказывает в произведениях, посвященных другим своим друзьям: патрикию Иоанну и вестарху Георгию.

[7] Grégoire de Nazianze. Discours funèbres en l'honneur de son frère Césaire et de Basile de Césarée / Éd. F. Boulenger. Paris, 1876 (далее Greg. in Basil.), LXXXII, 4.

[8] PG, 35, col. 789 sq.

[9] *Фаррар Ф. В.* Жизнь и труды святых отцов и учителей церкви. Т. I. Пг, 1902. С. 560.

[10] Greg. in Basil, XIV, 4 sq.

[11] PG, 35, col. 992. 44 sq.

[12] V. p. 19. 14 sq., V. p. 36. 4 sq.

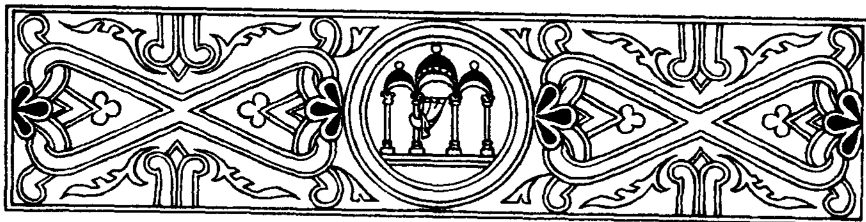
[13] См.: V, p. 152.18 сл. и Greg. in Basil., XI.

[14] См.: *Любарский Я.* Пселл в отношениях с современниками (Иоанн Мавропод, Иоанн Ксифилин, Константин Лихуд) // ПС. 23. 1971. Ср.: *Tinnefeld F.* «Freundschaft» in den Briefen des Michael Psellos // JÖB. 22. 1973.

[15] V, № 24; Michaelis Pselli scripta minora magnam partem adhuc inedita, II. Ed. E. Kurtz, F. Drexl, Milano, 1941, 191.

[16] См.: *Любарский Я.* Пселл в отношениях с современниками (Михаил Пселл и семья Кирулариев) // ВВ. 35. 1973. С. 96 сл.





ПСЕЛЛ В ОТНОШЕНИЯХ С СОВРЕМЕННИКАМИ *
(Опыт характеристики личности)

На протяжении сравнительно недолгой истории изучения личности и творчества Пселла писатель успел заслужить самые противоположные и взаимоисключающие оценки. «Пселл — человек без чести и совести, худшее порождение византинизма», — утверждали одни. «Свободная артистическая натура, лишенная предрассудков, чьи недостатки с лихвой окупаются достоинствами», — оценивали его другие. «Богобоязненный христианин и теолог», — считали третьи. Разнобой в мнениях породил среди части исследователей скептицизм в отношении самой возможности проникнуть в природу «человека-Протея», «личности, лишенной внутреннего ядра», «отливающего разными красками» Пселла.[1]

Априори можно предложить несколько методов изучения личности и мировоззрения выдающегося византийца. В настоящей работе используется только один из них: Пселл рассматривается в многообразных отношениях со своими современниками. Выбор метода не случаен. Именно в связях с окружающими людьми (личных и общественных, первые постоянно переходят во вторые и наоборот) реализует и проявляет вовне человек свою сущность. Исследование такого

* Статья напечатана в сб. «Византийский временник», 37 (1976). Основные ее положения подробно обоснованы в моей книге: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество (М., 1978). Тема статьи развивается далее в *Ljubarskij J.* The Fall of an Intellectual: The Intellectual and Moral Atmosphere in Eleventh-Century Byzantium // S. Vryonis (ed.), *Byzantine Studies: Essays on the Slavic World and the Eleventh Century* (1992). P. 175-182. Научная литература, посвященная Пселлу, появившаяся после опубликования статьи, огромна. Автор надеется привести ее при переиздании своей монографии.

рода, довольно обычное для литератур нового времени, в применении к писателям древним и средневековым почти не проводилось, как видно, из-за скудности материала. Пселл в этом отношении — счастливое исключение, эпистолярное наследие, оставленное им, огромно.

Корреспонденция Пселла давно и активно используется учеными для восстановления биографии писателя, реконструкции различных деталей общественной, частной, религиозной и государственной жизни византийцев XI в. И вместе с тем эти письма и поныне — нераспечатанное богатство: к ним обращаются за частными сведениями, но никогда еще их не рассматривали как единое целое.[2]

Между тем внушительное эпистолографическое собрание (около 500 опубликованных писем),[3] дополненное многочисленными речами, — настоящая «человеческая комедия» Византии XI в. Уже простое перечисление адресатов и героев писем и речей Пселла, сгруппированных по их рангам, должностям, социальному положению и интеллектуальному уровню, могло бы показать грандиозность картины, отразившейся в «малых сочинениях» писателя. Из 12 царствовавших особ, на время правления которых приходилась сознательная жизнь Пселла, адресатами его писем были 8. Из пяти константинопольских патриархов трое (Михаил Кируларий, Константин Лихуд, Иоанн Ксифилин) находились в переписке с писателем. Из высших чиновников государственных приказов и императорского двора получателями писем Пселла были: протасикрит, логофет дрома, протонотарий дрома, «министр» юстиции (ὁ ἐπὶ κρίσεως), «министр» по делам прошений (ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων), логофет геникона, протовестиарий, сакеларий, хранитель императорской чернильницы (ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου), управляющий императорским имуществом (ὁ ἐπὶ τῶν οἰκείακων), великий эконом, ливелисий, остиарий, великий друнгарий и др. Среди адресатов Пселла — носители высших титулов византийской табели о рангах: кесарь, куропалат, протопроэдр, проэдр, магистр, вестарх, вест, патрикий.

Немало писем Пселла шло на периферию империи к провинциальным властителям, духовным и светским. Судьям 16 фем и областей направлял свои послания писатель.[4] Патриарх Антиохии (скорее всего, Эмилиан), митрополиты и епископы Амасии, Кизика, Эфеса, Мелитины, Никомидии, Евхаит, Парнаса получали послания столичного писателя. Двигаясь ниже по иерархической лестнице, следует упомянуть среди корреспондентов игуменов, архимандритов, настоятелей монастырей и т. д. Наконец, на самой нижней ступени этой иерархии находятся бесчисленные монахи, нотарии, безымянные родственники и люди разных состояний (среди них даже музыкант),

которых Пселл за редким исключением даже не удостаивает писем, но которые присутствуют в его корреспонденции в качестве объекта ходатайств и просьб. И только один слой византийского общества представлен относительно бедно в эпистолярном наследии писателя — воинское сословие.[5]

Это эпистолографическое богатство нуждается в освоении, и прежде всего классификации. Последняя может быть произведена по разным принципам, из которых следует выбрать наиболее рациональный. При всем разнообразии положений и функций адресатов классифицировать письма по этому принципу нецелесообразно уже хотя бы потому, что в продолжение переписки, длившейся иногда десятилетия, корреспонденты успевали проделать почти весь cursus honorum, перейти из светского звания в духовное, стать чуть ли не «первыми министрами» и попасть в опалу. Таким образом, письма, направленные одним и тем же лицам, попали бы в разные рубрики. Такая классификация, весьма полезная, например, в исследовании состава господствующего класса Византии XI в., оказалась бы непригодной в работе, предмет которой — личность автора писем.

Можно было бы предположить и иной — литературно-типологический принцип классификации. К XI в. письмо уже давно превратилось в один из жанров риторической прозы. Реальные чувства и мысли эпистолографа укладывались в определенные, восходящие к античности типы или жанры писем.[6]

Такая классификация не представляет трудностей, поскольку подавляющее большинство писем Пселла идеально подходит под какой-либо из 21 типа, предусмотренных еще в трактате Περὶ ἑρμηνείας, приписывавшемся Деметрию Фалерскому и давшем начало большинству позднейших письмовников. Но и такое разделение — универсальное, всеобъемлющее и потому в принципе пригодное для любой эпистолографической системы — могло бы помочь исследованию эволюции жанра, но никак не раскрытию образа эпистолографа. Между тем любая классификация, а она всегда по необходимости относительна и одностороння, обязана быть целесообразной, т. е. соответствующей задачам конкретного исследования.

Однако возможно ли вообще разглядеть авторское «я» византийского писателя за набором риторических клише и выражениями стандартизованных чувств, столь обычных для писем этого периода? Немало исследователей нового времени вынуждены были давать на этот вопрос категорически отрицательный ответ. «К сожалению, по сохранившимся письменным источникам, — пишет Г. Литаврин, — мы можем судить скорее не об объеме чувств и мыслей, а о степени

образованности отдельных представителей византийского, как правило, привилегированного общества...»[7] Между тем уже античная теория эпистолографии не только положительно отвечает на поставленный вопрос, но и настойчиво требует от писателя самовыражения. «Письмо, — замечает автор уже упомянутого трактата, — должно быть самым полным выражением нравственного облика человека (τὸ ἠθικόν), как и диалог. Ведь каждый, кто пишет письмо, дает почти что изображение своей души».[8]

Михаил Пселл полностью примыкает к этой традиции. «Как икона в красках представляет одухотворенный образ прототипа, так твое письмо рисует тебя», — хвалит Пселл куратора (Scr. min., II, p. 185.12–13). Не столько важны красоты стиля, сколько «свидетельства характера пишущего», — обращается писатель к патриарху Антиохиии, видимо, мало искушенному в искусстве риторической эпистолографии (Scr. min., II, p. 117.19–22). Письменная речь, по мнению Пселла, отражает врожденные свойства автора даже лучше, чем речь устная (Bibl. gr., V, pp. 242–243).

Не следует понимать эти откровения буквально. Искушенный во всех риторических тонкостях византийский эпистолограф никогда не позволит себе раскрыться полностью в письме или даже серии писем одному адресату. Следуя универсальному в риторике принципу τὸ πρέπον, он, напротив, приспособит не только слог, но и строй мыслей и чувств к адресату, проявляя тот самый «протеизм», который издавна считался одной из основных добродетелей истинного оратора. По иным письмам можно легче судить о характере их адресата, нежели автора. Тем не менее пределы видоизменения и приспособления византийского эпистолографа не бесконечны. Являясь каждый раз в новом обличье, он не просто меняет маску, а и на деле реализует какую-то частицу своего «я», всякий раз генерализируя и выдавая за облик в целом какую-то из сторон своей личности. Процесс этот, как правило, двусторонний: автор не только «делает себя» под адресата, но и «приспосабливает» к себе его облик. Адресаты — вернее, их образы в его письмах — в какой-то степени оказываются объективацией отдельных черт его характера. Явление это осознается и самим писателем. Так, в одном из писем (Bibl. gr., V, № 176), обращенном сразу к трем лицам и потому представляющем для эпистолографа понятные трудности, Пселл обеспокоен тем, что ему придется приноравливаться сразу к трем разным характерам. Его задача, впрочем, облегчается тем, что сам он, как ему кажется, объединяет свойства всех трех адресатов (ἑκάστῳ ὑμῶν οὕτω διῃρημένων ξυνηρμοσμένος εἰμί. — Bibl. gr., V, p. 453.3–4).

Вникнуть в образы возможно большего числа корреспондентов писателя, проследить отношения, выяснить, где это важно, причины симпатий и антипатий — значит в определенной мере понять внутренний мир Пселла: скрытый в каждом отдельном послании образ эпистолографа должен достаточно отчетливо предстать из всей переписки в целом.

Из приведенных предпосылок вытекает и предложенный нами принцип классификации писем: они разбиваются по адресатам, а сами адресаты, как правило (есть и неизбежные исключения!), группируются не по «формальному» положению в обществе, а по своему «интеллектуально-нравственному» типу. Этот принцип уступает другим в четкости, но весьма удобен для целей настоящей работы: в письмах к каждой из групп адресатов, предполагаем мы, раскрывается какая-то частица души самого Пселла.

* * *

Значительную роль в жизни, судьбе и переписке Пселла играли друзья его юности: Иоанн Мавропод, Иоанн Ксифилин и Константин Лихуд. Духовные лица во второй половине своего жизненного пути, они в молодости составляли кружок придворных интеллектуалов, деятельность которого немало способствовала византийскому просвещению XI в. Глубокую привязанность к Мавроподу и Лихуду, несмотря на временные размолвки, Пселл сохранял до конца дней. Общие интеллектуальные интересы, культ бескорыстной дружбы, глубокое уважение к науке и «слову» — таковы основные отличительные черты этих связей. Члены кружка испытывали чувство интеллектуального превосходства над окружающими, ощущали себя островком в «море невежества» (выражение самого Пселла), и это ощущение делало связи внутри кружка еще более крепкими. Пселл, Мавропод и Лихуд при всей разнице характеров и темпераментов оставались друзьями и единомышленниками на протяжении десятилетий. Напротив, отход Ксифилина от взглядов и представлений юности сделал этих людей к концу жизни почти врагами.[9]

В «море невежества», окружавшем Пселла, были и другие островки. В одном из уже упомянутых писем (Bibl. gr., V, № 176) [10] Пселл объединяет четырех лиц. Трем из них письмо направлено, четвертый только упоминается. Всех четвертых (это протасикрит, ливелисий, ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων и человек по имени Хиросфакт) объединяют тесные связи. Свидетельство этому — как упомянутое послание, так и тот факт, что в одной из рукописей (Cod. Laurent., 5740, f. 71–72) друг за другом следуют четыре письма (Scr. min. II, 146–149), трактующие об одном и том же предмете (просьба помочь некоему человеку из Гордиаса) и адресованные — кроме одного — этим уже знакомым нам по «коллективному» письму лицам. Ливелисия, известного из Bibl. gr., V, № 176, среди получателей писем нет, зато добавляется некий носитель титула ὁ ἐπὶ κανικλείου. Протасикрит назван в этом случае по имени — Аристин. Датировать эти письма трудно,[11] без сомнения только, что их получатели — друзья: послания одним и тем же или связанным друг с другом лицам в рукописи нередко помещаются рядом. Последний аргумент дает основание и для другого заключения. В парижской рукописи следуют друг за другом два близких по содержанию послания, обращенные одно — к вестарху и ὁ ἐπὶ κανικλείου Василию (Bibl. gr., V, № 88), другое — к ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων, Льву Патрскому (Bibl. gr., V, № 89). Вновь носители этих двух титулов оказываются адресатами смежных писем.[12] В этом случае они уже названы по именам. Речь, конечно, идет об уже знакомых нам лицах.

Перечислив и выяснив имена членов кружка, можно попытаться ближе охарактеризовать этих людей.

Х и р о с ф а к т. Не совсем ясно, о каком Хиросфакте должна идти речь. У Пселла упоминаются еще три человека с таким именем: магистр и протонотарий дрома Евстратий [13] и Михаил Хиросфакт с сыном (Scr. min., II, № 243). Не исключено, что имеется в виду и какое-то четвертое лицо.[14] Хиросфакт — ритор (Scr. min., V, p. 455, 16), видимо, учен: его имя писатель вспоминает, беседуя с мудрыми людьми — ἐν ὁμιλίαις σοφῶν (Scr. min., II, p. 173.11), хотя и не считает свой слог достаточно изысканным для эпистолярного общения с Пселлом.

Л и в е л и с и й. Об этом персонаже известно очень мало. В «коллективном» письме Пселл считает основным его достоинством χάρις — «приятность» (Bibl. gr., V, p. 453, 4, 20). Возможно, он идентичен ливелисию по имени Иоанн, которому Пселл посвятил неопубликованное сочинение о значении 24 букв алфавита.[15]

Ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου В а с и л и й.[16] Василия связывает с Пселлом старинная дружба (παλαιὸς σύνδεσμος). Одно из писем направлено было Василию в период, когда тот отправился с какой-то военной экспедицией (Романа Диогена? — Bibl. gr., V, № 28), другое письмо написано в связи с принятием монашества или уходом Василия в монастырь (Scr. min., II, № 103). Наиболее интересное для характеристики этого человека — письмо Scr. min., II, № 146: Василий, говорится там, сладостен своей речью, остер умом, верен в дружбе. Пселл клянется, что не забыл «тех застольных речей и сладостных бесед и игр, которые они вели друг с другом» (p. 172.7–10).

Ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων Лев Патрский. Из писем Bibl gr., V, № 89, 176 можно понять, что и Лев принадлежал к числу интеллектуалов и, по всей видимости, был учеником Пселла. У нас нет достаточно строгих оснований, но вполне вероятно, что Льву было направлено и весьма интересное письмо Bibl. gr., V, № 12, адресованное ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων и тому же ученику Пселла. Пселл ранее, видимо, подшутил над адресатом, намекнув на какие-то изъяны в его внешности; тот, обидевшись, ответил писателю ругательным письмом, порицая характер Пселла. Последний, однако, решил не обострять конфликта и убеждает своего ученика в допустимости безобидных шуток. Любопытно, что в «коллективном» письме прекрасный психолог Пселл считает начальника ведомства прошений человеком замкнутым (его отличительная черта — τὸ ἐπιστράφθαι πρὸς ἑαυτόν. — Bibl. gr., V, p. 4–5), что вполне согласуется с неумением адресата Bibl. gr., V, № 12 понимать шутки.

Протасикрит Аристин. Наибольшее число писем сохранилось к Аристину, переписка с которым длилась долгие годы (Scr. min., II, № 67, 94, 111, 148, 224 и неопубликованное Cod. Paris., 1277, f. 268–269).[17] Аристин — ученик Пселла.[18] У Пселла же впоследствии обучался и его сын (Scr. min., II, № 224). Аристин носил титул вестарха, был по какой-то причине удален из Константинополя и из изгнания обращался к писателю с просьбами о заступничестве перед императором (Scr. min., II, № 67). Между Пселлом и Аристином все время поддерживаются отношения изысканной φιλία, друзья оказывают взаимные услуги и обмениваются письмами, исполненными рафинированной учености и красноречия.

Лица, о которых шла речь, — очень различны по своему характеру (ἦθος). Их несхожесть отмечает сам Пселл в письме, адресованном трем из пяти членов этого дружественного союза: «У каждого из вас собственный тип характера, несходный с другими» (Bibl. gr., V, p. 452. 11–12). Тем не менее, продолжает писатель, эти люди «объединены одним духом» (οἱ διὰ μιᾶς γνώμνς ἑνίσαντες. — Bibl. gr., V, p. 452. 6), и их различие — различие в тождестве (Bibl. gr., V, p. 452.17–18). Общее, что их объединяет, — «согласие и единодушие во всем прекрасном и рвение ко всяческой мудрости и разуму» (p. 452.18–19). Внутри этого кружка, равно как и в отношениях его членов с Пселлом, присутствует тот же комплекс «ученой дружбы», который ранее объединял содружество Пселла, Мавропода, Лихуда и Ксифилина.

Кружок этот, хотя в него входят весьма высокопоставленные чиновники, существовал на несколько более «низком» уровне, нежели первый. Его участники — уже «второе поколение» интеллектуалов. Двое из них — наверняка ученики Пселла. Писатель для них — уже нечто вроде мэтра, наставляющего и иногда журящего более молодых коллег.

Фрагментарность и нарочитая затемненность содержания сохранившихся писем не позволяют с достаточной определенностью говорить о других кружках, но стиль отношений, названных нами «интеллектуальной или ученой дружбой», поддерживается Пселлом с рядом корреспондентов. Среди них — называем лишь некоторых — куропалат Ясит, один из немногих, «уши которого открыты для звука слова» (Bibl. gr., V, p. 437.10),[19] великий эконом, воспитанный в науках (Bibl. gr., V, p. 266.11), остиарий и протонотарий дрома Иоанн, которого с детских лет связывает с Пселлом «согласие и единодушие» (Bibl. gr., V, № 125), поэт Малеси, соученик Пселла Николай Склир, ученик Пофос [20] и др.

Среди второго «пласта» друзей и учеников писателя видное место занимают Константин и Никифор, племянники знаменитого патриарха Михаила Кирулария, с которым Пселл поддерживал длительные тесные связи и интенсивную переписку. Красной нитью в посланиях бывшего наставника проходит мотив особого духовного родства, которое связывает его с воспитанниками. Родство это базируется на «идейных» основаниях: они единомышленники в своей преданности и любви к «науке» (этим словом мы очень неточно передаем античное и византийское понятие λόγος, под которым следует понимать всю систему культуры и образованности того времени с определенным светским оттенком). Вместе с тем в этой части корреспонденции Пселла ярче, чем в других случаях, проявляются и другие черты. Прежде всего это подчеркнутый взаимный интерес к эстетической стороне как житейских, так и духовных ценностей. Во-вторых, почти непременный интимный тон посланий, которые Пселл направляет адресатам. В-третьих, это тот тип отношений, который с некоторой натяжкой можно назвать «эпикурейско-горацианской» дружбой, включающей в себя признание спокойных радостей жизни, интимное товарищество, умение ценить шутку.[21]

О том, что эти новые черты в письмах — не случайность и не просто результат приспособления к адресату риторически образованного автора, свидетельствуют отношения Пселла с известным вельможей, авантюристом и жуиром, братом императора Константина X — кесарем Иоанном Дукой (интенсивная переписка относится к 60-м годам). Значительная часть писем — изысканные риторические безделушки с минимальной информационной нагрузкой. Корреспонденты чрезвычайно ценят эту эпистолографическую связь, Дука даже

коллекционирует письма Пселла. Придерживаясь весьма высокого мнения об образованности друг друга, они особенно внимательны к эстетической стороне «учености» и потому нередко превращают свои послания в эстетическую самоцель. Для их отношений — весьма близких, дружественных — характерна терпимость и готовность простить недостатки, которые им представляются не столько подлежащим непременному осуждению отступлением от торжествующей нормы, сколько слабостью, вызывающей снисходительную улыбку. Отсюда в этих письмах легкая ирония и самоирония, вообще свойственная тому стилю отношений, который мы условно назвали «эпикурейско-горацианской» дружбой.[22]

Каждый новый корреспондент и обращенные к нему послания расширяют в нашем представлении диапазон личности Пселла. Иногда эта роль выпадает на долю не только адресата, но и героя писем писателя. Весьма интересной фигурой в этом смысле является монах Илья, упоминаемый в десяти посланиях. Илья — одна из наиболее колоритных личностей в истории XI в.[23] В доме Пселла этот незнатный и небогатый человек выполняет функции готового ко всем видам услуг полушута, полуслуги. Основное свойство его натуры — низменность. Бренное тело этого обжоры и волокиты постоянно берет верх над не очень сильными духовными порывами. Илья, однако, сложней, чем может показаться с первого взгляда. Склонный к лицедейству монах, скорее всего, сознательно играет роль шута, в которую низменность пристрастий входит как обязательный компонент. Любопытно отношение к монаху писателя. Для его характеристики Пселл находит самые высокие слова, не останавливаясь даже перед тем, чтобы сравнить своего героя с Платоном. Одаренность, житейская опытность, живой нрав, актерский талант делают Илью незаурядной личностью. В фигуре этого человека находит выражение то взаимопроникновение «верха» и «низа», которое было столь характерно для средневекового, в частности византийского, мышления.[24]

То, что человек типа Ильи оказался в сфере притяжения и объектом горячих симпатий утонченного интеллектуала и первого философа империи, может показаться неожиданным. Натура Пселла оказывается шире и многообразней, чем можно заключить даже из его собственных деклараций. Почти болезненное увлечение лицедейством, интерес к изнанке человеческой природы и сфере «низменного» — такие же отличительные черты писателя, как его интеллектуализм или эпикурейские тенденции.

Связи Пселла с современниками — не только притяжения, но и отталкивания. История взаимоотношений писателя с людьми ему враждебными не менее, чем с друзьями, может дать богатый материал для характеристики его личности. Наиболее интересны в этом отношении сочинения, обращенные Пселлом к патриарху Михаилу Кируларию и временщику императрицы Феодоры Льву Параспондилу.

Отношения Пселла и Кирулария — одна из самых драматических страниц византийской истории XI в. В поведении Пселла, который должен был «добить» уже поверженного патриарха и составил для произнесения в синоде в 1058 г. длинную обличительную речь против того, кому раньше льстил, историки видели предательство, сервилизм и моральную растленность. Детальное рассмотрение взаимоотношений этих людей, хотя и не освобождает писателя от тяжких обвинений, тем не менее представляет события в значительно более сложном освещении. Пселл сыграл — вернее, должен был сыграть — зловещую роль в судьбе патриарха отнюдь не только потому, что, будучи человеком «без чести и совести», готов был любой ценой выполнить волю императора Исаака Комнина. На протяжении долгих лет Пселл испытывал к Кируларию чувство раздражения и неприязни, в котором тесно переплетались личные и общественные мотивы. Наиболее яркое выражение чувство это получило в речи (письме?), составленной незадолго до трагической развязки (Bibl. gr., V, № 207), где «ученый, добрый, снисходительный и земной» Пселл противопоставляется «презирающему науки», «жесткому», «суровому и отказавшемуся от всего земного» патриарху.[25]

Перед нами не простая перепалка между философом и священнослужителем, а явное противостояние двух противоположных нравственных типов человека. Четкое разграничение этих двух типов людей прослеживается и во взаимоотношениях Пселла с временщиком императрицы Феодоры Львом Параспондилом. За исключением некоторых деталей Параспондил рисуется теми же красками, что и Кируларий. Так же как и константинопольский патриарх, он суров, замкнут в себе и недоступен всему земному. Отношение Пселла к Параспондилу также чрезвычайно напоминает его отношение к Кируларию: при внешнем почтении и даже восхищении — внутреннее неприятие и отстранение. Люди характера Параспондила, по Пселлу, вообще не имеют права заниматься государственными делами, земные заботы — не их удел.[26]

В отношении к Кируларию и Параспондилу нашла выражение нелюбовь писателя к тому типу людей, которые наиболее полно воплощали в себе аскетическую тенденцию византийской культуры. В связи с этим интересно рассмотреть отношение Пселла к тому

сословию византийского общества, которое по своему положению должно было являться воплощением этих тенденций: монашеству.

Монашеская стихия со всех сторон окружала каждого византийца.[27] Пселл не был в этом отношении исключением. Его отец и мать кончают свои дни в монастыре, друзья его юности еще в молодые годы принимают монашество, двое из них становятся константинопольскими патриархами, третий — митрополитом. На протяжении всей жизни Пселл находится в переписке с высокими духовными сановниками империи.[28] В его письмах все время мелькают имена простых монахов, которым писатель просит своих влиятельных корреспондентов оказать покровительство.[29] Целые монастыри (большей частью принадлежащие ему на правах χαριστίκια) пользуются покровительством писателя. Наконец, уже в возрасте 37 лет сам Пселл становится монахом.

В принципе писатель согласен признать превосходство аскетического образа жизни и монашеской простоты над изысканной интеллектуальной атмосферой, которой он старался окружить себя. «Я не так люблю искусных и мудрых мужей, как бесхитростных стариков вроде тебя: язык у них всегда в согласии с сердцем, речь сдобрена солью, а стиль письма простой, но одухотворенный», — отвечает Пселл некоему олимпийскому монаху. «Нелицемерный монашеский нрав» радует писателя, и он надеется успеть пожить среди удалившихся от суеты людей (Bibl. gr., V, p. 262.13–17). «Молись за меня, чтобы я отрешился от мирской суеты и стал бы жить с вами», — пишет он некоему Пентактену, незадолго до этого принявшему монашество (Scr. min., II, p. 142.8–10).[30] Декларации подобного рода — общее место византийской литературы. Как и всегда в этих случаях, внимание следует обращать не столько на прямой смысл трафаретных высказываний, сколько на тон, которым они делаются. Одно из подобного рода писем направлено двум хиосским монахам Никите и Иоанну (Scr. min., II, № 36). Оба персонажа хорошо известны: это те самые монахи, устраивавшие совместно с некоей Досифеей запретные оргии и прорицавшие будущее, за покровительство которым Пселл сурово порицал патриарха Михаила Кирулария. Обвинительная речь против Кирулария, где повествуется об этом эпизоде, была написана в 1058 г.; в письме Пселл еще относится к Никите и Иоанну со всем почтением, следовательно, оно должно было быть написано до этого времени. В послании писатель представляет себя в виде кающегося грешника: он преисполнен гордыни своим знанием — τοῖς ἀπὸ τῆς γνώσεως ἀγαθοῖς (Scr. min., II, p. 58.20), до глубины души сожалеет о собственной испорченности и вполне признает, что земное знание,

которым он так гордится, не может помочь постижению божественного. Раскание это, однако, скорее идет от ума и абстрактного сознания долга, нежели от сердца; во всяком случае сам писатель признает, что он не страдает от своих «пороков» и не радуется «добродетелям». «Нередко, наедине с собой, — пишет он, — мысленно кладу я на чаши свое достояние. На одну — прегрешения против Бога, на другую — то, что приобрел своим рвением из книг. Сравнив то и другое, я понимаю, что худого у меня больше, чем хорошего, но этим малым я горжусь сильнее, чем огорчаюсь многим» (Scr. min., II, p. 60.3–9). Таким образом, «книжное», земное знание, в преданности которому он как будто раскаялся, искупает для него даже прегрешения против Господа. Такое «раскаяние» похуже любого упорства в «грехе»!

Естественно, что когда писатель сам столкнулся с необходимостью отречения от мира и ухода в монастырь, это решение превратилось для него в большую нравственную проблему. Его колебания нашли выражение не только в переписке с Ксифилином, где сомнения писателя ярко выступают на фоне твердости будущего патриарха. В письме, адресованном какому-то монаху (Scr. min., II, № 170), выражая, как и положено, желание уйти в монахи, Пселл тут же признает, что его отвлекают светские мысли (φιλοκόσμοις ἀνακοπτόμενοι λογισμοῖς. — Scr. min., II, p. 194.7–8), и он находит утешение в эпистолярном общении с адресатом. Неприятие аскетических идеалов Пселл вовсе не считает нужным скрывать и во второй части похвального слова матери, созданного около 1054 г. Восхвалив вначале, как и положено, подвижничество матери, Пселл в конце недвусмысленно заявляет о своей неспособности следовать ее примеру: «Я могу восхищаться и испытывать восторг перед тобой, — обращается он к матери, — но подражать не в состоянии...» (Bibl. gr., V, p. 52.15–16). Заявление это Пселл сделал как раз в тот момент, когда сам должен был вступить на путь спасения души...

Против чрезмерного усердия в исполнении монашеских обетов Пселл считает своим долгом предупредить и других. Когда некий Симеон Кенхри — в прошлом человек в высшей степени светский (Bibl. gr., V, p. 286.30 sq.) — стал монахом, Пселл, выражая естественные восторги по поводу этого события, тем не менее предупреждает его от излишнего усердия (Bibl. gr., V, p. 286.18): «Не избирай безраздельного пути добродетели, а то оступишься». Писатель предлагает Симеону «средний, поистине царский путь», на который он вступил сам (Bibl. gr., V, p. 286.26–27) и который несет с собой многие прелести.[31]

Понятно, что близкие контакты писателя с монахами на Вифинском Олимпе, где он монашествовал в 1056 г., не приносят ничего, кроме взаимного разочарования и недовольства. Любопытное свидетельство этому — обмен ругательными посланиями между Пселлом и монахом монастыря Синкелла Иаковом, имевший место, видимо, сразу после возвращения писателя в Константинополь. Играя на названии горы, где находился монастырь (Олимп), и, по естественной ассоциации, олицетворяя Пселла с Зевсом, автор эпиграммы Иаков утверждает, что Пселл-Зевс покинул Олимп, поскольку там не было его богинь (Bibl. gr., V, p. 177). Намек на женолюбие Пселла, засвидетельствованное в других случаях им самим, достаточно прозрачен.[32] В ответ Пселл разражается длиннейшим посланием, пародирующим церковный канон и в разных видах варьирующим тему пьянства Иакова. Обвинение монахов в грехе пьянства обычно для средневековья. Знаменательна форма инвективы — пародия на канон. Монотонность и бесконечное повторение, которое в состоянии выдержать только византийское ухо, сочетается в этом «каноне» с гиперболами и образами раблезианского типа.[33]

Иаков — не единственный представитель монашеского сословия, который вступил в конфликт с Пселлом в связи со светскими пристрастиями последнего. Длинное ответное послание направил Пселл некоему монаху по имени Феревий (Bibl. gr., V, p. 167), недовольному тем, что писатель проводит время во дворце и общается с царями (Bibl. gr., V, p. 427.10–11). На Феревия обрушивается поток обвинений в пристрастии к играм, флейтисткам, обжорству и пр.

Отношение Пселла к монахам и монашеству достаточно однозначно. Пселл не испытывает никакой принципиальной неприязни к монахам как к сословию (ее, во всяком случае в четко выраженной форме, трудно представить себе в монашеской Византии XI в.), но совершенно очевидно избегает утрирования аскетических тенденций. В этом смысле линия его поведения оказывается удивительно последовательной на протяжении всей жизни. Вспомним, что Пселл — уже старик — горячо отговаривал друга своей юности Мавропода от ухода в монастырь.

Существенные штрихи к образу Пселла могут добавить и послания, не составляющие больших циклов и направленные различным, часто анонимным адресатам, представляющие собой как бы деловую, будничную корреспонденцию высокопоставленного византийского чиновника. Такие письма образуют основную часть эпистолярного наследия и адресовались большей частью высшим столичным должностным лицам и провинциальным администраторам — судьям.[34]

Чаще всего эти послания представляют собой рекомендательные письма, просьбы или, напротив, обещания услуг. Судя по этим письмам, Пселл вольно или невольно находился в центре разветвленной системы связей, которая почти безотказно обеспечивала продвижение в чине, назначение на должность, уклонение от наказания и пр.

Любопытны мотивы, которые выдвигает Пселл, когда он ходатайствует за своих протеже. Автор писем почти никогда не упоминает достоинств рекомендуемого лица, зато постоянно ссылается на его «бедность» или тяжкое положение, скорее пытаясь воздействовать на чувства христианского милосердия у адресата, нежели убедить его в целесообразности оказания протекции. Но христианское милосердие — не единственное чувство, к которому апеллирует писатель. На страницах этой части корреспонденции постоянно встречается уже примелькавшееся понятие φιλία. В данном случае, однако, оно применяется уже не в письмах к интимным друзьям и даже не близким знакомым, а к весьма широкому кругу людей, часто едва известных автору. Вместе с расширением круга лиц, входящих в сферу действия φιλία, необычайно расширяется и само это понятие, которое скорее следует переводить словом «дружелюбие», а не «дружба».[35]

Φιλία предполагает определенный кодекс, основные положения которого сводятся к следующему. Φιλία всемогуща, особенно если она связывает людей разумных и деятельных; у друзей все общее; истинный друг немедля исполняет просьбы; ходатайства за друга и исполнение его просьб — удовольствие, поскольку оно — лучшая возможность проявления дружеских чувств; друг моего друга — мой друг и т. д.

Традиционная античная φιλία, соединяясь с идеями христианского милосердия, переводится в полуделовой переписке в практический план и становится мотивом реальных поступков и действий. Как универсальная личностная связь φιλία оказывается для Пселла своеобразным субститутом государственных отношений и даже приходит в противоречие с правовыми нормами и «справедливостью» (δικαιοσύνη). В связи с этим приходится признать несправедливой или во всяком случае не вполне справедливой точку зрения ряда исследователей, согласно которой Пселл — лишь тип коррумпированного и разложившегося чиновника — «печальное порождение печального времени».[36] Коррупция — всегда нарушение или разложение какой-то устоявшейся системы. Φιλία же, по мотивам которой действовали высокопоставленные византийцы, в том числе Пселл, — сама представляла собой уже сложившуюся систему со своими нравственными ценностями и нормами. То, что, например, для жестоко порицавшего

Пселла русского ученого П. Безобразова, жившего в условиях коррупции бюрократического аппарата царской России, представлялось лишь бесстыдным нарушением законности, для византийского писателя было выполнением определенных требований кодекса φιλία.

Разбирая отношения Пселла с современниками, мы намеренно обошли молчанием одну категорию лиц, с которыми писателя связывали самые тесные узы на всем протяжении его жизни, — византийских императоров. Увлекательная сама по себе тема Пселл — императоры неминуемо привела бы нас к кругу проблем, выходящих за рамки настоящей работы. Кроме того, письма и панегирики писателя василевсам по необходимости превращались в выражение верноподданнической преданности и восхищения, за которыми, как правило, почти до конца скрывалась личность автора. И только для двух византийских самодержцев, как нам кажется, следует сделать исключение, поскольку в отношениях с ними достаточно ярко проступает индивидуальность автора, — Константина X и Михаила VII Дуки. Образы царственного отца и сына (особенно последнего) в «Хронографии» и других произведениях лепятся Пселлом в соответствии с его представлениями об идеальном императоре. Ко второму из них глагол «лепить» может быть применен не только в смысле литературного изображения. Как воспитатель молодого императора Пселл принимал самое непосредственное участие в формировании личности Михаила.

Отцу и сыну одинаково свойственны традиционное царское человеколюбие (φιλανθρωπία), кротость (πραότης), скромность (σωφροσύνη), справедливость (δικαιοσύνη), их отличает необыкновенная любовь к наукам и ученым. Все эти свойства, без сомнения, входят в традиционный набор императорских ἀρεταί, однако в других случаях у Пселла они — равноправные детали в мозаике из добродетелей. В изображении Константина и Михаила они — доминирующие качества. Оба «мирных» и «кротких» василевса противопоставляются «воинственным» самодержцам типа Исаака Комнина и Романа Диогена, чья активная внешняя политика вызывает осторожное неодобрение писателя.

В отношениях Пселла с Дуками как будто встречается та редкая в истории ситуация, когда извечная проблема «поэта и царя» находит положительное решение: писатель не только принят и признан при дворе, но его идеальные представления получают воплощение в политике и в самом облике ученых и «милостивых» императоров. Однако на деле альянс писатель—василевсы был далек от той идиллии, которая царствует в сочинениях Пселла. Атмосфера 60-х

и особенно 70-х годов в Византии — атмосфера кануна краха. Другие современные или жившие несколько позже писатели (Атталиат, Продолжатель Скилицы, Зонара и др.) остро ощущали несовместимость императорских «ученых забав» с Пселлом и обстановки, когда само существование империи находилось под угрозой. В их глазах отношения писателя с царственными Дуками, и особенно Михаилом, приобретали трагически-фарсовый характер «пира во время чумы». Таковыми в какой-то степени они и были. Не знающее границ упоение ученостью и знанием заставили Пселла и его коронованного ученика абстрагироваться от суровой реальности и навлечь на себя презрительное осуждение современников.[37]

Вскоре после отречения Михаила Пселл исчезает с исторической арены. Никаких отчетливых свидетельств о его деятельности после 1078 г. у нас нет.

* * *

Мы проследили отношения Пселла с разными его современниками, как бы «раздробив» образ писателя, в надежде на новый синтез. Настало время подвести итоги.

Письма Пселла пронизаны терминологией и духом φιλία, предстающей на разных уровнях, имеющей ряд градаций. Ее высший уровень — утонченная интеллектуальная дружба, связывающая писателя с Мавроподом, Лихудом, молодым Ксифилином и другими современниками. Ученость составляет основу этих отношений, общие интеллектуальные интересы и общее мироощущение с оттенком эстетизма — ее душу. В некоторых случаях этот тип φιλία приобретает свойства эпикурейско-горацианской дружбы, когда, помимо ученых занятий, партнеров связывает общность жизнеотношения, которое с известной натяжкой можно назвать гедонистическим. Иногда (в отношениях с Иоанном Дукой, например) эпикуреизм даже оттесняет на второй план интеллектуальные связи.

Другой уровень φιλία — широко трактуемые личностные связи между людьми, принадлежащими к господствующему классу, связи, подразумевающие определенные взаимные обязанности партнеров и кодекс поведения. Как уже отмечалось, эта φιλία выступает в некотором роде субститутом официальных государственных связей. И наконец, последняя градация φιλία — вообще доброжелательное отношение к людям, даже едва знакомым.[38] Это уже самый низкий уровень, за которым могут следовать равнодушие и открытая неприязнь.

Для своего бесперебойного функционирования φιλία нуждается в постоянном поддержании и обновлении, и лучшим средством для

этого является обмен письмами, часто в сопровождении подарков. Нарушение в нормальном функционировании этой системы вызывает упреки, раздражение и разочарование корреспондентов. Отсюда обычный в византийской эпистолографии мотив горьких упреков за молчание.[39]

Итак, φιλία — отнюдь не только традиционная топика позднеантичной и византийской эпистолографии, как можно было бы подумать, встречая «дружескую» терминологию в письмах на протяжении добрых полутора десятка веков. Само существование указанной терминологии и топики (во всяком случае для XI в.) объясняется той ролью, которую играет это понятие в идеологии верхушки византийского общества.

Можно утверждать и большее. Понятие φιλία в XI в. имеет и некоторую социальную окраску. Ее культ разделяется отнюдь не всеми прослойками правящего класса. Монашеско-аскетические круги, выразителем идеологии которых в начале XI в. был Симеон Новый Богослов, презирали φιλία, полагая, что она, наряду с ученостью, отвлекает человека от аскезы.[40] Тенденция эта продолжалась и при жизни Пселла. На таких позициях стоял нравственный и интеллектуальный антипод писателя Михаил Кируларий. Эти же идеи усвоил принявший монашество Ксифилин. Интересно, что Михаила Кирулария связывала с Симеоном отнюдь не только идейная преемственность: сподвижник Кирулария Никита Стифат был ближайшим учеником Симеона. Против пренебрежения φιλία Кируларием и Ксифилином Пселл выступал резко и неоднократно. Таким образом, культ φιλία характерен прежде всего для интеллектуальной элиты византийского общества с определенными светскими тенденциями.

Каким же является Пселл в своих многочисленных и многообразных связях с современниками? Сам писатель неоднократно пространно рассуждал о сложности и противоречивости человеческой природы.[41] Вряд ли следует пытаться подвести под однозначные определения и его самого. Речь может идти только об основных, ведущих тенденциях личности, существование которых также им охотно допускалось.

Интеллект Пселла, столь ярко проявившийся в его связях с Мавроподом, Лиходом, молодым Ксифилином и рядом других ученых его друзей, — интеллект человека гуманистического или, вернее, предгуманистического склада. Этот интеллект горд своей избранностью, упоен могуществом и превосходством над окружающими и прямо противостоит склонной к самоуничижению смиренной

христианской учености. Эта «упоенность» нередко выливалась в тщеславие и неприкрытое хвастовство, вызывавшее сильное раздражение у исследователей нового времени.

Помимо традиционного для образованного византийца уважения к знанию мироощущение Пселла, равно как и некоторых его корреспондентов, включает в себя определенный эстетизм и то отношение к жизни, которое мы условно охарактеризовали как эпикурейско-горацианское. Нет нужды объяснять, что и то и другое резко противоречит монашеско-аскетической идеологии. Этот приобретенный еще в юности «идейный субстрат» оказался в натуре Пселла весьма устойчивым и долговременным. Лучшее тому доказательство — эволюция отношений Пселла с Ксифилином: к воздействию монашеской идеологии писатель оказался несравненно более стойким, чем друг его юности. Противоречие между этой стороной натуры писателя и «официальной» нравственной доктриной, которую он обязан был исповедывать, привели к метаниям и непоследовательности поступков Пселла, равно как и к противоречиям в отношениях с людьми.

С «эпикурейством», возможно, связана и другая черта личности Пселла, которую, казалось бы, трудно совместить с представлениями об утонченном философе и человеке элиты, — его влечение к той стороне жизни, которую с ригористических позиций строгой Византии нельзя было не оценить как «низменную». Юноша Пселл, не в силах пропустить празднество, не является на занятия к учителю; уже принявший монашество, в возрасте за сорок, он ищет возможностей посетить веселую свадьбу своего ученика; наконец, уже очень немолодой писатель отличает шута и балагура Илью, находя особое удовольствие в его фиглярстве и непристойных рассказах. Стихия «низа», как это случалось в средневековье, как бы компенсирует метафизическую абстрактность занятий и вольный или невольный аскетизм жизни писателя.

Пселл и его ближайшее окружение жили в определенном нравственном климате с его этическими нормами и категориями. Сострадание, душевная мягкость, прощение человеческих слабостей, нравственная гибкость — таков ряд этических категорий, исповедуемых писателем. Нетрудно видеть, что и он противостоит нравственному ригоризму монашеских кругов. Безусловно, грани между «нравственной гибкостью» и моральной беспринципностью, а то и прямым предательством часто бывают едва различимы, и Пселл, как никто другой, умел их переступать. Достаточно вспомнить поведение Пселла с Романом Диогеном и в определенной мере с Михаилом Кируларием,

чтобы проиллюстрировать это утверждение, хотя мотивы его действий, особенно в последнем случае, много сложней, чем думают некоторые исследователи. Но, даже отвлекаясь от этих исторических трагедий, активным действующим лицом которых не случайно оказался писатель, в своем рядовом, ежедневном поведении, в «бытовой» морали Пселл проявляет себя человеком, постоянно готовым к компромиссам и маневрированию, проявлениям сервилизма. Эти свойства — обратная сторона «нравственной гибкости» — особенно бросаются в глаза при сравнении его с прямым и твердым в своих принципах Мавроподом.

Говоря о «гуманистических» — вернее, «предгуманистических» — чертах личности Пселла, нельзя обойти молчанием и то обстоятельство, что таковыми же по своему типу были и функциональные связи писателя с окружающим миром и людьми. На протяжении почти всей жизни Пселл объединял в себе функции государственного деятеля, философа, ритора. Этот свойственный Ренессансу идеал соединения активной политической, ученой и литературной деятельности не только воплощался на практике, но и активно защищался им в ряде трактатов и писем. В сфере чисто интеллектуальной деятельности Пселл входит в состав ученых кружков, функционирование которых также чрезвычайно характерно для европейского гуманизма. И наконец, отношения Пселла с Дуками («просвещенные монархи» — придворный философ и наставник, образованный bonvivant и авантюрист Иоанн Дука и его ученый и снисходительный друг) — прообраз аналогичных связей, нередко устанавливавшихся в ренессансной Европе. Однако и в данном случае Пселл сумел переступить тот порог, который отделяет высокое от низкого, доблестное от смешного: его научно-литературные занятия с Михаилом VII на борту тонущего корабля империи закономерно вызвали насмешливое презрение современников.

Сделав попытку рассмотреть личность Пселла, мы не обнаружили в ней почти ни одной черты, поддающейся однозначному определению или оценке. Грани его образа нечетки и размыты, одни свойства переходят в другие, и почти ни одно из них нельзя занести только в нравственный «актив» или «пассив» писателя. В этом отношении Пселл мог бы занять достойное место в галерее лучших образов, созданных им в «Хронографии».

Эта усложненность и антиномичность внутреннего мира византийского интеллектуала XI в. сама по себе — знаменательное явление для того периода Византийской истории, которое с достаточными основаниями характеризуют как предгуманизм.[42]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и мировоззрение. Проблемы и итоги изучения // ВВ. 30. 1969. С. 87 сл.

[2] Существуют две попытки общей классификации эпистолярного наследия Пселла. Обе они были, однако, предприняты до появления издания Курца — Дрексля (*Michaelis Psell* scripta minora / Ed. E. Kurtz, F. Drexl (далее — Scr. min.), II. Milano, 1941), содержащего около половины всех известных писем (*Rhodius B.* Beiträge zur Lebensgeschichte und zu den Briefen des Psellos. Progr. Plauen,1892; *Müller K.* Epistolografie Michaela Psella // Listy filologicke. 36. 1909). Как Родиус, так и Мюллер классифицируют послания по положению их адресатов.

[3] Письма Пселла, помимо уже цитированного нами издания Курца—Дрексля, опубликованы: Bibliotheca graeca medii aevi, ed. Sathas (далее — Bibl. gr.), V. Paris, 1876; *Psellos.* De operatione daemonum, ed. J. F. Boissonade. Nürnberg,1838 (далее — De oper. daem., перепечатано — PG, t. 122; *Tafel Th. L. F.* De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica. Berlin, 1839 (перепечатано — PG, t. 122); *Ruelle Ch. E.* Rapports sur une mission littéraire et philologique en Espagne // Archives des missions scientifiques et littéraires. III série. T. 2, а также: BS. 12. 1951. P. 51–52; «Γρηγόριος Παλαμάς», 8, 1924, σ. 279–281 (нам недоступно). Ряд писем Пселла поныне остается в рукописи, см. о них: *Darrouzès J.* Notes d'épistolographie et d'histoire des textes. 2. Les lettres inédites de Michel Psellos // REB. T. 12. 1954; *Canart P.* Nouveaux inédits de Michel Psellos // REB. T. 25. 1967; *Weiß G.* Forschungen zu den noch nicht edierten Schriften des Michael Psellos // Byzantina. 4. 1972.

[4] См.: *Любарский Я. Н.* Пселл и фемные судьи // RESEE. X. 1. 1972. С. 17, прим. 2.

[5] На фоне огромного множества гражданских чиновников можно назвать только единичных лиц воинского сословия, которым Пселл посвящает свои произведения или адресует письма. См., например, монодию некоему Николаю (Scr. min., I, pp. 216–219), письма Катакалону Кекавмену (Scr. min., II, № 30, 41, 59, см. о них: *Литаврин Г. Г.* Три письма Михаила Пселла Катакалону Кекавмену // RESEE. VII. 3. 1969), Далассину (Scr. min., II, № 254) и некоторые другие.

[6] Литература, трактующая о стандартах византийской и особенно античной эпистолографии, очень велика. Из последних работ см.: *Koskenniemi H.* Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. chr. Helsinki, 1956; Античная эпистолография. М., 1967; *Thraede K.* Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik. München, 1970; *Karlsson G.* Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Uppsala, 1962; *Tomadakis N.* Βυζαντινὴ Ἐπιστολογραφία. Ἀθῆναι, 1969–1970. Литературу вопроса см.: *Сметанин В. А.* Эпистолография. Свердловск, 1970.

[7] *Литаврин Г. Г.* Советы и рассказы Кекавмена. М., 1972. С. 61.

[8] Цит. по: Античная эпистолография. С. 7–8.

[9] Подробно отношения Пселла с Мавроподом, Ксифилином и Лихудом рассматриваются нами в статье «Пселл в отношениях с современниками (Иоанн Мавропод, Иоанн Ксифилин, Константин Лихуд)» // ПС. Вып. 23. 1971.

[10] Письмо датируется, скорее всего, весной 1069 г. Написано оно из Кесарии, откуда Пселл собирается возвращаться назад (в Константинополь), в то время как адресаты продолжают «военной дорогой» двигаться вперед. О путешествии в Кесарию и обратно писатель сообщает также в неопубликованном письме к Константину Кируларию (*Weiss G.* Op. cit. S. 30). Речь идет о втором походе Романа Диогена против сельджуков. Император останавливался тогда в Кесарии, и его сопровождал Пселл (*Michael Psellos.* Chronographie // éd. E. Renauld. 2. Paris, 1926–1928. P. 161.13).

[11] Возможно, что terminus post quem для них — 1055 г., время принятия монашества Пселлом. В одном из писем (Bibl. gr., V, № 131), где писатель также ходатайствует за ὁ Γορδιασοῦ, говорится о продуктах, которые ему прислал адресат и которые ему не годны. Не по причине ли монашества? Из самих писем можно понять, что Пселл находится в опале и вдали от императора, в то время как его адресаты пользуются царскими милостями (Scr. min., II, № 146, 148).

[12] В обоих случаях, подписывая письма, Пселл называет себя вестом. Означает ли это, что послания следует датировать временем Константина Мономаха, в конце царствования которого писатель обладал уже следующим чином вестарха?

[13] Bibl. gr., V, № 124 и Cod. Paris. 1277, f. 270–271; *Canart P.* Op. cit. P. 60, № 124.

[14] Вейс (*Weiss G.* Op. cit. S. 30. Anm. 72) идентифицирует этого Хиросфакта с павшим при Манцикерте протасикритом Хиросфактом, упомянутым Атталиатом. Можно пойти и дальше Вейса, отождествив с ним судью Кивериотов, бывшего протонотария дрома, адресата письма Bibl. gr., V, № 171. Характер обрисовки этого лика и стиль его отношений с Пселлом дают, казалось бы, все основания для такого отождествления. Однако из-за отсутствия формальных критериев — единственно решающих в данном случае — воздержимся от подобных утверждений.

[15] *Weiss G.* Op. cit. S. 13. Anm. 9.

[16] Н. Дюэ совершенно произвольно ассоциирует этого Василия с другим корреспондентом Пселла — Василием Малеси (*Duyè N.* Un haut fonctionnaire byzantin du XI siècle: Basile Malésès // REB. XXX. 1972; ср. возражения: BS. 34 (2). 1973. P. 219).

[17] *Canart P.* Op. cit. P. 67. № 13; *Weiss G.* Op. cit. S. 31. Письма с леммой «протасикриту» без указания имени мы не имеем основания однозначно относить к Аристину, поскольку у Пселла упоминается и другой протасикрит — Филарет.

[18] *Weiss G.* Op. cit. S. 31.

[19] Сохранились два письма к Яситу (Bibl. gr., V, № 171; Scr. min., II, № 6). Кроме того, Ясит упоминается в двух неопубликованных письмах: к Константину Кируларию (*Weiss G.* Op. cit. S. 70) и Евстратию Хиросфакту (Ibid. S. 30, Anm. 32; *Canart P.* Op. cit. P. 60); Ясит входил в окружение Евстратия Хиросфакта. Если последний идентичен упомянутому нами выше Хиросфакту, то Ясит также находился в сфере кружка Аристина и его товарищей.

[20] О Пофосе см.: *Levy P.* Michaelis Pselli de Gregorii Theologi charactere iudicium. Lipsiae, 1912. S. 29–35; о Малеси см.: *Duyé N.* Op. cit., ср.: *Любарский Я. Н.* Пселл в отношениях с современниками («Пселл и фемные судьи»). С. 20, 23, 24.

[21] Подробно об отношениях Пселла с братьями Кируллариями см.: *Любарский Я. Н.* Пселл в отношениях с современниками (Пселл и семья Кирулариев) // ВВ. 35. 1974.

[22] Подробно об отношениях с Иоанном Дукой см.: *Любарский Я. Н.* Пселл в отношениях с современниками (Михаил Пселл и Дуки) // ВВ. 34. 1973. С. 83–87.

[23] Подробно см.: *Любарский Я. Н.* Византийский монах XI в. Илья // ADCB. 10. 1974.

[24] См.: *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле. М., 1965. С. 157 сл.; *Каждан А. П.* Византийская культура. М., 1968. С. 162 сл.

[25] Подробно о взаимоотношениях с Кируларием см. наши статьи «Михаил Пселл и Михаил Кируларий» (Klio, 54, 1972), «Пселл в отношениях с современниками (Пселл и семья Кирулариев)».

[26] Подробно об отношениях с Параспондилом см.: *Любарский Я. Н.* Пселл в отношениях с современниками (Михаил Пселл и Лев Параспондил) // ВВ. 34. 1973.

[27] См.: *Charanis P.* The Monk in Byzantine Society // DOP. 25. 1971.

[28] Наибольшее число писем Пселла обращено к антиохийскому патриарху (Scr. min., II, № 82, 134, 135, 138, 139; Bibl. gr., V, №№ 42, 61, 181, а также три неопубликованных письма — см.: *Canart P.* Op. cit. P. 53, №№ 7, 8. S. 60. № 17; *G. Weiss.* Op. cit. S. 33). Имя патриарха (Эмилиан, занимал престол в 70-е годы) указано только в леммах писем, сохранившихся в Эскуриальской рукописи. Все ли письма адресованы этому патриарху, неясно. Показания против такой атрибуции содержатся только в Bibl. gr., V, № 42, относящемся, скорее всего, ко времени Константина Мономаха. Ср.: *Weiss G.* Op. cit. S. 33, Anm. 90. Эмилиана, по нашим предположениям, имеет в виду Пселл и в письме к Пофосу (Bibl. gr., V, p. 498; 7; см.: *Любарский Я. Н.* Пселл и фемные судьи. С. 20–21). Как явствует из Scr. min., II, № 88, послание составлялось писателем уже в немолодом возрасте. Пселла связывали с патриархом дружеские взаимоотношения, он ходатайствует за своих подопечных и в свою очередь предупреждает его о грозящей беде. Имеется в виду, видимо, решение

Михаила VII доставить мятежного патриарха Эмилиана в Константинополь. С этим заданием был послан в Антиохию в 1074 г. Исаак Комнин.

[29] Bibl. gr., V, №№ 31, 140, 158; Scr. min., II, №№ 95, 166, 204, 205 и др.

[30] Тот же мотив встречается в письме и архимандриту Олимпа (Scr. min., II, № 112). Эти письма, скорее всего, были написаны около 1054 г., в период, когда Пселл принял монашество и готовился к переселению в монастырь.

[31] Можно ли делать отсюда вывод, что Пселл писал это письмо будучи монахом, но находясь на царской службе, т. е. после 1056 г.?

[32] Эпиграмма эта переведена М. Л. Гаспаровым в кн.: «Памятники византийской литературы IX–XIV веков». М., 1969. С. 288. Вряд ли нужно предполагать, как это делает автор комментария (Там же. С. 448), что под богинями имеется в виду императрица Феодора и ее свита.

[33] Сочинение в стихах аналогичного типа, исполненное отборных ругательств, направил Пселл и некоему монаху Савваиту (Scr. min., I, p. 220 sq.). Об этом же Савваите см.: Bibl. gr., V, № 35. Временны́е рамки для стихов против Савваита можно установить только очень приблизительно. В период его написания правил император (мужского пола), который «отдал ключи от неба познавшему Христа» (Scr. min., II, pp. 76–77). Из метафоры ясно, что в царствование этого императора был рукоположен патриарх. Таким образом, стихи могли быть написаны в периоды правления: 1) Константина IX Мономаха (рукоположен Михаил Кируларий), 2) Исаака I Комнина (рукоположен Константин Лихуд), 3) Константина X Дуки (рукоположен Иоанн Ксифилин). Первая возможность представляется нам маловероятной, хотя именно на ней настаивает Л. Штернбах («Ein Schmähgedicht des M. Psellos» // Wiener Studien. 25. 1903. S. 11). По мнению ученого, разделившего точку зрения Б. Родиуса, письмо Bibl. gr., V, № 35, в котором также упоминается распря с Савваитом, относится к 1053–1054 гг., так как там речь якобы идет об Элпидии, неудавшемся зяте Пселла, которого тот называет сыном и которого он аттестует адресату в качестве судьи Армениака. Однако υἱός никак нельзя безоговорочно отнести к Элпидию, во-первых, потому, что слово это не обязательно должно в эпистолографии обозначать родство или свойство, во-вторых (если уже стать на точку зрения Родиуса—Штернбаха), таким образом мог быть назван и новый зять Пселла. Не выдерживает критики также атрибуция письма Bibl. gr., V, № 35 Иоанну Мавроподу. Письмо явно обращено к митрополиту Амасии, последний же отнюдь не идентичен митрополиту Евхаит. Характерно, что наиболее резкие сатирические произведения адресуются Пселлом представителям монашеского сословия!

[34] Отношениям Пселла с провинциальными судьями посвящена наша статья «Пселл и фемные судьи».

[35] Несовпадение понятий φίλος и φιλία со значением, соответствующим в новых языках «другу» и «дружбе», давно отмечалось филологами уже для эллинского времени. «Слова φίλος и φιλία употребляются не для обозначения тесной связи, но для характеристики хороших отношений со всевозможными нюансами» (*Koskeniemi H.* Op. cit. S. 116). Слова эти употреблялись даже в отношении деловых партнеров (см.: *Preisigke F.* Wörterbuch der griechischen Papyruskunden. Berlin–Göttingen. Bd. II, s. v.).

[36] Эта точка зрения отчетливо представлена у П. Безобразова (*Безобразов П.* Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890. С. 189 сл.).

[37] Подробно см.: *Любарский Я. Н.* Пселл в отношениях с современниками (Михаил Пселл и Дуки). С. 77–83.

[38] Насколько тонкой и малозначительной бывает связь при такого рода φιλία, показывает письмо Пселла Scr. min., II, № 216. «Не допусти, чтобы задержка с присылкой ἀραβικὸν ξυλάριον (арабской трости?) испортила нашу дружбу», — пишет Пселл своему корреспонденту.

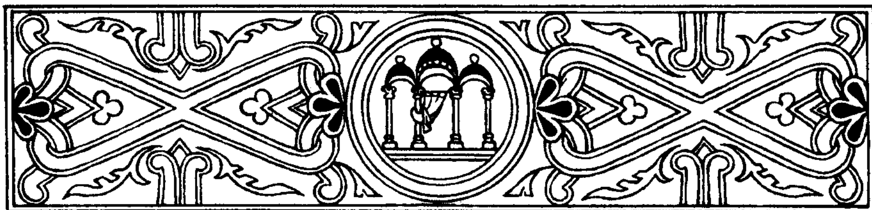
[39] Византийцы умели великолепно пользоваться системой φιλία для достижения своих целей и прекрасно знали, по какому адресу им следует каждый раз обращаться. Пселл нередко служит передаточной инстанцией для просьб и делает это явно небескорыстно, ожидая, видимо, подобных услуг и для себя. В одном случае он в подкрепление своего ходатайства указывает, что его протеже — человек, близкий к императору (Bibl. gr., V, № 133). В письме к патриарху Антиохии (Bibl. gr., V, № 61, лемма не бесспорна) Пселл отмечает, что монах, за которого он просит, обратился именно к нему, поскольку только его ходатайство может иметь успех у адресата.

[40] См.: *Каждан А. П.* Предварительные замечания о мировоззрении византийского мистика X–XI вв. Симеона // BSl. 28. 1967. P. 20 sq. Пренебрежение φιλία Каждан отмечает также и для современника Пселла Кекавмена. С нашей точки зрения, у Кекавмена нет однозначного отношения к проблеме дружбы.

[41] См.: *Любарский Я. Н.* Исторический герой в «Хронографии» Михаила Пселла // ВВ. 33. 1972. С. 94 сл.

[42] Еще К. Дитерих (*Dieterich K.* Byzantinische Charakterköpfe. Leipzig, 1908. S. 79) указывал на сходство личности Пселла с выдающимися деятелями итальянского Ренессанса, в частности с Пьетро Аретино. Как всякие исторические аналогии, эти уподобления могут вызвать немало возражений, тем не менее действительные — существенные и не случайные! — черты сходства нельзя игнорировать.





МИХАИЛ АТТАЛИАТ И МИХАИЛ ПСЕЛЛ
(Опыт короткого сопоставления) *

Сведущий читатель легко поймет, что нижеследующие заметки представляют собой попытку возродить один из самых распространенных жанров старой риторики — синкрисис, в котором античные и византийские филологи сравнивали между собой произведения разных авторов и таким образом старались удачней продемонстрировать особенности каждого. Михаил Пселл тоже отдал дань этой традиции, сопоставляя между собой сочинения различных писателей, в том числе весьма далеких один от другого — Еврипида и Писиды, и при этом весьма неловко отдал предпочтение византийскому стихотворцу.[1]

Для сопоставления самого Михаила Пселла с Михаилом Атталиатом оснований, конечно, несравненно больше. Оба жили примерно в одно и то же время, разница в возрасте составляла не более двенадцати–семнадцати лет,[2] когда они умерли, неизвестно, но после 1080 года достоверных свидетельств их деятельности не сохранилось. Нет следов и их близкого знакомства, хотя оба значительную часть своей жизни провели при дворе и их орбиты не могли не пересекаться.[3] Атталиат Михаила Пселла упоминает,[4] Пселл Атталиата — нет, но знать, видимо, был должен.

Оба Михаила поднялись из низов, но достигли достаточно высокого положения, оба были приближены к императорам и претендовали на роль их советчиков. Но, что самое важное, оба были летописцами своего времени, описывавшими события не с чужих слов и не из чужих книг, а главным образом по собственному впечатлению и по собственному опыту. Они делали это вполне самостоятельно,

* Статья опубликована в сб. «Византия и средневековый Крым» // Античная древность и средние века. Вып. 26 [1992]. С. 92–102.

скорее всего даже не подозревая о стараниях коллеги. Тем более интересно сравнить их исторические опыты. Древние риторы, как правило, сопоставляли стиль произведений, к стилю обратимся и мы, но, понимая его в широком смысле, сравнивать будем образы авторов, приемы композиции и способы характеристики персонажей.[5]

* * *

Мемуарный характер «Хронографии» Пселла отмечают часто, что же касается «Истории» Атталиата, то об этом вспоминают реже,[6] а между тем большинство событий Атталиат, как и его современник Пселл, передает сквозь призму субъективного восприятия. Даже если автор не принимал непосредственного участия в действии, он незримо, а подчас и вполне зримо, присутствовал в повествовании. Речь идет не только о прямых эмоциональных оценках происходящего,[7] но и о появляющихся время от времени сообщениях о местонахождении или даже роде занятий писателя в момент совершения события.[8]

Весьма часто, однако, оба историка принимали в событиях прямое участие и, таким образом, становились равноправными действующими персонами исторической драмы. Роли, отводимые ими себе в рассказе, во многом аналогичны: историки не только выполняют функции советчиков и доверенных лиц императоров, но оказываются при этом чаще всего также и комментаторами их поступков. Сходство позиций, однако, только подчеркивает различие авторских образов.

Атталиат прежде всего старается отметить свои качества храброго воина и знатока военного дела. Он не только сам принимает участие в битвах (Att., 120.19 сл.; 162.20 сл. и другие), но и постоянно дает советы царям и полководцам и сурово критикует их промахи (Att., 172.18 сл.); его советы, как правило, с благодарностью принимаются властителями. Более того, временами Атталиат занимает позицию сурового обличителя не только императора и его полководцев, но и всего народа ромеев. При этом властители изображаются ни к чему не способными и несведущими (Att., 124.23 сл.), а византийцы — народом глупым, трусливым и низким (Att., 112.23 сл.; 113.23 сл.). Писатель считает себя вправе вершить суд над царями и народами и даже принимает образ, близкий к позе «сурового римлянина — обличителя пороков соотечественников». Он и в действительности берет себе за образец древних римлян, прямо утверждая, что те, хотя и язычники, превосходили его христианских современников и в храбрости, и в благочестии.[9]

Собственное поведение Атталиата, как правило, не выходит за рамки нарисованного им образа, во всяком случае, до начала «энко-

миастического» раздела, посвященного Никифору Вотаниату. Историк восхищается воинственным Романом Диогеном, но не склонен прощать ему ни единого промаха и, не колеблясь, бросает ему в лицо слова правды, даже если эта правда противоречит общему убеждению (Att., 128.21 сл.; 136.1 сл.; 152.17 сл.). Напротив, если большинство склонно осуждать Романа, Атталиат старается найти для него оправдания (Att., 151.4 сл.). Как истинное воплощение суровой добродетели историк предан одной истине и независим не только от мнения царя, но и от суждений окружающих. Свою принципиальную вражду ко всякому проявлению приспособления и оппортунизма Атталиат выражал недвусмысленно и четко (Att., 64.22 сл.).

Трудно себе представить что-либо более контрастное образу Атталиата, нежели самоизображение Пселла. Михаил Пселл — не только не воин, но лицо сугубо «цивильное», он не только не «суровый обличитель пороков», но, напротив, человек до предела терпимый, для которого границы между добром и злом, пороком и добродетелью не всегда четко видны и ясно различимы, он не только не ригорист, но своего рода «протей», постоянно меняющийся и приспосабливающийся к обстоятельствам и лицам. Порой начинает казаться, что два историка ведут между собой скрытую полемику о возможности «приспособления к обстоятельствам». Пселл за нее все время ратует, Атталиат с презрением отвергает.[10]

Насколько самоизображения Пселла и Атталиата соответствуют реальностям? Отвечать на подобный вопрос в применении к литературе столь отдаленного прошлого нелегко всегда, тем более это трудно сделать в отношении Пселла, чей «протеизм» достигает подчас той степени, которая делает почти безнадежными все попытки проникновения к «истинной сути» писателя. Что же касается Атталиата, то вряд ли его «автопортрет» в «Истории» — что-либо большее, чем идеализированное литературное самоизображение. Во всяком случае, льстивый панегирик Никифору Вотаниату, заключающий «Историю», очень мало соответствует принимаемому им образу «сурового обличителя нравов» в стиле безупречных героев Древнего Рима.

* * *

«Хронография» Михаила Пселла писалась в два приема. Первая часть, завершавшаяся изложением истории царствования Исаака Комнина, была закончена в 1059–1063 гг., вторая, посвященная Константину и Михаилу Дукам, — уже после 1075 г. Между обеими частями большой стилистический и художественный контраст. Стиль первой части — «спокойный», во второй части — возвышенный

и панегирический. Первая часть «Хронографии» — замечательный художественный памятник, вторая — более или менее заурядный энкомий.

Из разновременно написанных частей состоит, видимо, и «История» Атталиата. Первая заканчивалась изложением событий царствования Михаила VII, содержанием второй были обстоятельства первого года правления Никифора Вотаниата. Контраст между частями столь же велик, как и в «Хронографии» Пселла. Первая из них — деловое изложение событий, вторая — откровенный панегирик Вотаниату.[11]

Текст «Хронографии» Пселла четко разделяется на рассказы об отдельных царствованиях. Отдельные леммы к каждому из них только подчеркивают отъединенность разделов. Поделена на разделы о царствованиях и «История» Михаила Атталиата, однако границы между ними совсем не так отчетливо маркированы, и служат ими чаще всего, как и в старых хрониках, сообщения о числе лет царствования умершего или свергнутого императора (Att., 17.19; 51.17 сл.; 69.14 сл.; 92.10 сл.) и иногда некрологические характеристики героев.

Внутри повествований об отдельных императорах Пселл применяет самые разнообразные приемы композиции, компонуя с их помощью исторический материал вокруг центрального образа. События сцепляются фигурой главного персонажа, которому рассказ как бы «сопереживает» (используем выражение самого Пселла: συμπαθαινόμενος — Ps., 71.20).

Композиционные приемы Михаила Атталиата тоже достаточно разнообразны. Уже отмечалось, что рассказ о Никифоре Вриеннии, написанный по схеме энкомия, почти полностью сохраняет его традиционную риторическую структуру. В прочих разделах исторический материал тоже в определенной мере организован фигурой главного героя, однако зависимость композиции от персонажа совсем не столь непреложна, как у Пселла. Рассказы о Михаиле V, Константине Мономахе, Исааке Комнине и Константине Дуке, например, начинаются с краткой характеристики императоров, но дальше события располагаются хронологически, и героям остается или реагировать на идущие извне импульсы (например, Константин Мономах), или инициировать самим действия и поступки.

Лишь в одном случае свойства героя оказываются организующими для структуры повествования или, во всяком случае, его большой части: речь идет о Константине Дуке, в образе которого Атталиатом четко различаются два противостоящих начала — добродетель и зло (ἀρετὴ καὶ κακία — Att., 76.18). Все случающееся в этом разделе

четко распределяется историком по двум рубрикам: «хорошее» — следствие ἀρετή, «дурное» — κακία императора. Например, умиротворение печенегов — результат ἀρετή (Att., 83.8–9), а неудачные войны в Азии — следствие κακία (Att., 78.7–8, ср. ниже Att., 86.17).

Особый характер в «Истории» Атталиата имеет композиция рассказа о Романе Диогене. Ее своеобразие в том, что Роман все время изображен с близкого расстояния и потому запечатлен (пользуемся кинематографической терминологией) «крупным планом». Впервые Атталиат встречает будущего царя на судебном процессе, где Роман исполняет роль обвиняемого, а Атталиат — одного из судей (Att., 98.16 сл.). Атталиат последовательно участвует в первом, втором и третьем походах Романа на Восток и расстается с ним только после пленения царя при Манцикерте в 1071 г. Все это время «съемочная камера» (продолжаем «кинематографическую» метафору) как бы сопровождает героя, почти не упуская его из вида. Даже когда после манцикертского пленения сохранивший свободу историк покинул императора, «душой» он остался с ним и потому продолжал видеть и изображать события с позиций, с каких они должны были представляться самому Роману. Так, рассказ о важных и судьбоносных событиях в Константинополе, последовавших за поражением и пленением царя, Атталиат вводит словами: «Когда император (Роман Диоген. — *Я. Л.*) находился в Мелисопетрии, до него начали доходить страшные известия...» (Att., 168.4 сл.) и лишь после этого начинает повествовать и о поведении Евдокии, и о низложении Романа, и о провозглашении нового царя. В каком-то смысле и здесь рассказ, подобно пселловскому, «сопереживает» своему герою.

* * *

Искусство характеристики героев, — пожалуй, главное из художественных завоеваний Михаила Пселла. Его персонажи неоднозначны и диалектичны, подвижны, изменчивы и подчас представляют собой сочетание несочетаемых свойств. Именно искусство Пселла рисовать образы более всего и «скрадывает» девятивековое расстояние между византийским писателем и нами.[12]

Образы Михаила Атталиата не так давно стали предметом специального внимания А. П. Каждана. По наблюдениям ученого, весь набор обязательных для императора добродетелей представлен в «Истории» лишь в фигуре Никифора Вотаниата, в то время как другие цари обладают ими только частично, в иных же случаях добродетели заменены на соответствующие пороки.[13] Это утверждение вполне справедливо, хотя для характеристики образов писателя XI века

и недостаточно, поскольку герои Михаила Атталиата уже не механический конгломерат «черт», как у многих прежних историков, а определенные «структуры», в которых связи между элементами столь же важны, как и сами эти элементы.

Характеристики второстепенных персонажей Атталиата мало напоминают пселловские. Этим последним во многих случаях свойственны обостренный диалектизм и внутренняя состязательность, их вторая часть нередко уточняет, ограничивает, а то и противоречит первой. Эпитеты же у Атталиата чаще всего носят самый общий, генерализующий характер, зачастую лишены деталей и индивидуальных оттенков. Вот наугад выбранные примеры: «Муж кровожадный и доблестный» (Att., 18.16, Георгий Маниак), «муж доблестный, особенно в рукопашном бою, и умом никому не уступающий» (полководец-латинянин, Att., 35.13), «муж из числа избранных, священный, исполненный ума и отличный многоопытностью» (Лев Параспондил, Att., 52.1). Однако, при всей своей эпической обобщенности, прикладываемые к персонажам эпитеты, как правило, не безразличны к своему «предмету» и, безусловно, отражают субъективное и реальное отношение Атталиата к носителям отмеченных свойств. Думается, что такой тип определений отражает и характер Атталиата-писателя: последний, в отличие от Пселла, не очень озабочен психологическими нюансами, но зато стремится по-деловому определить своего героя. Такой же «деловой» характер имеют описания и некоторых из главных персонажей, например, Михаила Стратиотика, Исаака Комнина, Константина Дуки. Характеристики этих императоров быстро и почти незаметно переходят в описание их поступков и действий (Att., 52.19; 59.15 сл.; 76.1 сл.).

Несомненно, справедливо утверждение, что исторические персонажи оцениваются Атталиатом, исходя из парадигмы идеального императора, но в то же время у историка есть и своя, собственная его «мера» оценки правителей: «царская щедрость», наличие или отсутствие которой исправно фиксируется у правителей и власть имущих (Att., 11.9 сл.; 471.6 сл.; 66.16 сл. и др.), «щедрость» — главное достоинство «идеального» императора Никифора Вотаниата (Att., 3.12 сл.; 261.13 сл.; 273.6 сл.; 274.2 сл.; 280.5 сл.; 283.8 сл.; 306.12 сл. и другие случаи). Напротив, именно «скупость» оказывается причиной главных неудач императора Константина Дуки (Att., 80.19 сл.; 84.8 сл.; 95.16 сл.).

Уже отмечалось, что в отношении «царской щедрости» Атталиат занимает позицию прямо противоположную Михаилу Пселлу: первый самодержцев за щедрость прославляет, второй чаще их порицает за

излишнюю расточительность. Было высказано предположение, что смысл, вкладывавшийся обоими историками в одно и то же понятие, различен.[14] По нашему мнению, тексты обоих произведений эту гипотезу не подтверждают, но, как бы то ни было, именно «щедрость» оказывается чуть ли не главным критерием для оценки героев Михаилом Атталиатом.

Трудно даже сравнивать полнокровные и диалектичные образы Пселла со схематизированными фигурами Атталиата, тем не менее и у последнего герои в отдельных эпизодах выпадают из традиционного стиля византийской историографии. Так, например, Константин Мономах, вполне ординарно изображенный в разделе, ему посвященном, совсем в ином свете представлен в заключительной «некрологической» характеристике (Att., 46.12–51.19). Человек знатный, отличавшийся щедростью по отношению к подданным и заботящийся о делах воинских, он в то же время был весьма склонен к роскоши и любовным утехам (Att., 47.15 сл.). Царь более всего заботился о сооружении монастыря св. Георгия, был по природе великодушен и исполнен «царственных прелестей» (Att., 48.11 сл.), но таким он оставался лишь в первые годы своего правления, а затем переменился и принялся нещадно обирать налогами своих подданных (Att., 50.12 сл.).

В приведенной «некрологической» характеристике «в миниатюре» содержится многое из того, что можно обнаружить в характеристике Мономаха у Пселла, да и что вообще характерно для искусства именно пселловского живописания: такая же противоречивость и состязательность черт натуры, такое же изменение характера после нескольких лет правления. Разница лишь в том, что у Пселла на «диалектических принципах» построено все жизнеописание Константина Мономаха, а у Михаила Атталиата — лишь заключительная «некрологическая» характеристика.

Атталиату недоступно, конечно, филигранное мастерство Пселла, в образах которого черты положительные незаметно и «диалектично» переходят в отрицательные и наоборот, но тем не менее и наш историк в ряде случаев не склонен рисовать своих героев одной только белой или черной краской. Хороший тому пример уже упомянутый Константин Дука, в фигуре которого сочетаются как ἀρετή, так и κακία.

Особое место среди персонажей Атталиата занимает Роман Диоген. Рассказ о его царствовании начинается с характеристики откровенно энкомиастической: «Помимо прочих своих выдающихся достоинств, был этот муж вида сладчайшего и роста высокого. Он очень

хорошо гляделся и спереди и со спины и воистину источал из себя и благородство и богородство (εὐγενές τι πνέων... καὶ διογενές). С красивыми глазами, красотой сверкающими, цвет кожи он имел не совсем белый, но и не черный, а как бы смешанный... с примесью румянца, и сладость разлита была повсюду, и вид его, как говорит комический поэт, был достоин властителя...» (Att., 99.7 сл.). Характеристика построена сплошь на риторических клише, но удержаться на столь высокой ноте Атталиат долго не может и, хотя похвальные замечания о Романе встречаются и дальше (только при Романе ромеи начали давать отпор врагам — Att., 119.15 сл., Роман хорошо понимал «глупость» ромеев — Att., 113.11 сл. и т. д.), тем не менее Атталиат начинает относиться к своему герою все более критически, и в центр его внимания все чаще начинают попадать не заслуги, а ошибки и промахи Романа (Att., 128.7 сл.; 132.6 сл.; 138.23 сл.; 159.13 сл.; 172.18 сл. и другие случаи). Однако чем больше сгущаются тучи над головой Романа, тем бóльшим сочувствием к нему проникается Атталиат. Тот самый Атталиат, который еще недавно, одинокий в толпе льстецов, набравшись мужества, говорил царю правду в глаза, теперь один из всех оправдывает царя, вызывающего всеобщее порицание (см. выше).

С большим сочувствием описывает Атталиат сцену пленения Романа и не забывает при этом отдать должное личному мужеству императора (Att., 163.13 сл.). С еще большим состраданием описана душераздирающая сцена ослепления Романа (Att., 177.17 сл.), а его кончина изображена и вовсе в тонах житийной литературы: Роман сравнивается с библейским Иовом, он подал для всех удивительный пример мужества, ибо в столь тяжких испытаниях среди ни с чем не сравнимых бед не произнес ни звука хулы или малодушия (Att., 179.15 сл.).

Итак, Атталиат начинает повествование о Романе в тонах энкомиастических, заканчивает чуть ли не в стиле жития, а в середине выражает вполне человеческие чувства к императору, которого и жалеет, и хвалит, и порицает.

* * *

Всякое сравнение предполагает в конечном итоге выводы и заключения. Исторические произведения Михаила Атталиата и Михаила Пселла в художественном отношении оказываются столь же похожими одно на другое, сколь и различными.

Впервые в византийской историографии сочинения приобретают ярко выраженную субъективную окраску. Впервые (не говорим

о раннем периоде) авторы прямо изображают себя действующими лицами и занимают почти равноправное положение среди других геров. Однако характер самоизображения Пселла и Атталиата не только различен, но и прямо противоположен.

В обоих сочинениях используются разнообразнейшие приемы композиции и компоновки исторического материала, причем, если Пселл максимально концентрирует действие вокруг главного героя, подчас растворяя исторический материал в его образе, Атталиат сохраняет объективный характер изложения и соответственно более традиционную, частично обусловленную хронологией композицию.

Искусство обрисовки героев у Михаила Атталиата несравненно более традиционно, нежели у Михаила Пселла, однако и он усвоил некоторые из приемов, столь хорошо представленных в «Хронографии» Пселла.

В каком-то отношении «Истории» Атталиата очень «не повезло». Это сочинение оказалось как бы «в тени» замечательной «Хронографии» Пселла, но, как это нередко случалось в истории литературы, и в шедевре, и в относительно ординарном произведении отразились одни и те же тенденции эпохи. Если бы «Хронография» никогда не была бы написана, ее место в истории литературы уверенно заняла бы «История» Михаила Атталиата.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Psellus Michael.* The Essays on Euripides and George of Pisidia and on Euripides and Heliodorus and Achilles Tatius / Ed. by A. R. Dyck. Wien, 1986.

[2] Атталиат родился, видимо, между 1030 и 1050 годами, см.: *Tsolakis E.* Th. Aus dem Leben des Michael Attaleiates (seine Heimatstadt, sein Geburts- und Todesjahr) // BZ. 1965. Bd. 58. S. 3ff. Дата рождения Пселла — 1018 г., см.: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество. К истории византийского предгуманизма. М., 1978. С. 22.

[3] И Пселл, и Атталиат принимали, например, участие во втором походе Романа Диогена против турок. См.: *Psellos Michael.* Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976–1077) / Texte établit et traduit par E. Renault; T. I–II. P. 1926–1928 (далее Ps.). T. II. P. 160; Michaelis Attaliotae Historia / Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1852 (далее — Att.). P. 124.12 сл.

[4] См.: Att., 21.18. Другие «случаи упоминания» Атталиатом Пселла не вполне достоверны.

[5] Сопоставление социальных, политических и иных взглядов Атталиата и Пселла производилось и раньше, см.: Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI в. / Подготовка текста, введение, перевод и комментарий Г. Г. Литаврина. М., 1972. С. 74 сл.; *Любарский Я. Н.* Византийцы о «двигателях истории» (к проблеме идейных течений XI в.) // Общественное сознание на Балканах и средние века. Калинин, 1982.

[6] См.: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл... С. 186. Об Атталиате, см.: *Kazhdan A.* (in collaboration with *S. Franklin*). Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries. Cambridge, 1984. P. 23–86.

[7] См., например, эмоциональный «прорыв» автора в повествование — Att., 107, 18 сл.

[8] Рассказав, например, об освобождении Романа Диогена из плена, Атталиат прибавляет: «Слухи об этом дошли до меня, когда я находился в Трапезунде, намереваясь продолжить путешествие морем» (Att., 167.3 сл.). В другом случае, рассказывая о восстании Никифора Вриенния, историк добавляет: «Я же в это время находился в Редесто, занимаясь управлением своими имениями» (Att., 244.6 сл.). Эти сведения как бы указывают на «пункт наблюдения» писателя над историческим действом и не позволяют читателю забыть об авторском существовании.

[9] Особенно интересно в этом отношении «обличительное» отступление в «Истории» (Att., 194.1–198.8), нуждающееся в более детальном рассмотрении.

[10] См.: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл... С. 122 сл.

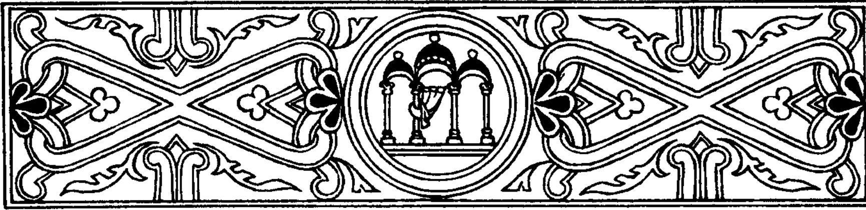
[11] См.: *Любарский Я. Н.* О составе исторического сочинения Михаила Атталиата // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 23. Л., 1991. С. 112–117.

[12] Об образцах Пселла см.: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл... С. 204 и сл., а также известную нам только по названию работу: *Hohti P.* Kaiserportraits in der Chronographia des Michael Psellos // Svenska Kommittev for byzantinska studier. Bulletin. 1986. S. 15–19.

[13] *Kazhdan A.* Studies... P. 38.

[14] *Kazhdan A.* Studies... P. 41. ff.





О СОСТАВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ МИХАИЛА АТТАЛИАТА *

«Истории» Михаила Атталиата (XI в.) предшествует в рукописи [1] Λόγος προσφωνητικός, в котором писатель сообщал о завершении своего труда и посвящал его царю Никифору Вотаниату (1078–1081).[2] Еще в 1970 г. греческий ученый Е. Цолакис отметил некоторые противоречия между двумя этими сочинениями.[3] Суть противоречий заключается в следующем. «Посвятительное слово» было написано после окончания «Истории» (ср. слова Атталиата: δέλτον συντάξας, βιβλον... ἀποτερματίσας — Att., 5, 6, 15–16). Между тем сама «История» явно осталась незавершенной (последняя фраза в сохранившемся тексте: «О последующих событиях слово расскажет в дальнейшем еще яснее» — Att., 322.21–22).[4] Согласно «Посвятительному слову», в истории описаны пороки и добродетели «властвовавших и командовавших» (τῶν ἀρξάντων καὶ ἡγεμονικῶς ὑπαρξάντων — Att., 5.12–13; в обоих случаях употреблены причастия в аористе!) и времена, «близкие к нашим», т. е. уже прошедшие (προσεχῶς τοῖς ἡμετέροις χρόνοις — Att., 5.6–7), в то время как на самом деле «История» завершается подробнейшим рассказом о событиях первого года царствования Вотаниата, одновременных периоду окончания сочинения.

* Статья напечатана в сб. «Вспомогательные исторические дисциплины». Вып. 23 (1991). С. 112–119, издана в переводе на испанский язык: *Ljubarskij Ja.* Sobre la composición de la obra de Miguel Ataliates // Erytheia. 11/12 (1990–1991). Из недавних работ о Михаиле Атталиате следует отметить: *Cresci L. R.* Anticipazione e possibilità: moduli interpretative della Storia di Michele Attaliata // *Storia e traditione culturale a Bisanzio fra XI e XII secolo.* Atti della prima Giornata di studi bizantini sotto il patrocinio della Assoazione Italiana di Studi Bizantini, A cura di Maisano [= ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ. Quaderni, 3]. Napoli, 1993.

Стремясь разрешить эти противоречия, Е. Цолакис выдвинул гипотезу, согласно которой «История» Атталиата существовала в двух редакциях. Первая из них (та самая, которая была преподнесена Атталиатом императору Никифору Вотаниату) заканчивалась рассказом о вступлении на престол царя Никифора и, естественно, была написана в царствование этого императора (1078–1081). Вторая редакция, самим автором не завершенная, является продолжением первой и представляет собой тот текст, который сохранился до нашего времени в парижской рукописи и издан в составе Боннского корпуса. По мнению Е. Цолакиса, вторая редакция создавалась уже в царствование Алексея Комнина, точнее до 1085 г., который греческий ученый принимает за дату смерти Михаила Атталиата.[5]

Хотя статья Е. Цолакиса не ускользнула от внимания ученых,[6] к проблемам, поставленным в ней, больше не возвращались, и традиционная дата завершения всего сочинения (1079/80 г.) без объяснений по-прежнему фигурирует во всех изданиях, в том числе и справочных.[7]

Между тем эта проблема, и в особенности вопрос о дате написания «Истории», носит не только чисто академический характер. Хорошо известно, что оценка социально-политической позиции средневекового историографа нередко целиком зависит от правильного определения времени написания его сочинения. Один из показательных в этом отношении примеров — «История» Льва Диакона. Политическую позицию (по сути дела, оппозицию) писателя, считавшегося долгое время придворным льстецом императоров, сумели по-настоящему оценить только тогда, когда обратили внимание на дату написания «Истории», созданной уже после смерти хвалимых самодержцев. Панегирик умершему царю в авторитарной Византии нередко вполне закономерно превращался в упрек здравствующему властителю.[8] Уже это обстоятельство заставляет еще раз обратиться к выдвинутой Е. Цолакисом гипотезе.

Как бы ни относиться к прочим построениям греческого ученого, он правильно отметил противоречие между «Посвятительным словом» и самой «Историей» и вполне логично предположил наличие двух редакций текста «Истории». Однако Е. Цолакису не удалось заметить, что дошедший до нас в парижской рукописи текст оканчивается заключением, композиционно завершающим произведение, но относящимся только к его последней части. После очередного перечисления добродетелей Никифора Вотаниата Атталиат пишет: «Оказавшись свидетелем и очевидцем этого, я все описал со знанием дела и беспристрастием истины, дабы не осудили меня как

негодного раба, зарывшего талант своего господина, или как человека, скрывшего в сосуде лучезарный факел, чтобы облеченный в ткань истории рассказ (ἐν ἱστορίας ὕφει τυγχάνοντα) сохранил для будущих поколений незабвенную и бессмертную память о превосходных качествах и несравненных делах этого великого царя и побудил к подражанию читателей, увидевших такой божественный образец прекрасных и великих деяний. Вот немногое из того многого, что удивительным образом было совершено до второго года его царствования» (Att., 322.10–21). Мы привели заключительный пассаж «Истории» Михаила Атталиата, опустив только самую последнюю и уже цитированную фразу: «О последующих событиях слово расскажет в дальнейшем еще яснее». Заключительный характер приведенного текста сомнений не вызывает,[9] как, впрочем, не вызывает сомнений и тот факт, что завершал он отнюдь не всю историю целиком, а лишь последнюю ее часть, ту, которая повествовала о первом годе царствования Вотаниата. Учитывая, что, по всей видимости, «первая редакция» «Истории» заканчивалась восшествием на престол Вотаниата, следует думать, что история Вотаниата (вернее, первого года его правления) была предметом отдельного законченного произведения, лишь позже присоединенного к «первой редакции». Автор намеревался продолжить сочинение и дальше, но по каким-то причинам своего намерения не выполнил. В таком соединении готовых произведений в связное историческое повествование для практики византийского летописания нет ничего необычного. Напомним хотя бы уже приведенный пример с Vita Basilii, которая была написана Константином Багрянородным как самостоятельное произведение, а уже потом присоединена к первым четырем книгам «Истории» Продолжателя Феофана.[10]

Выдвинутое предположение сразу влечет за собой два вопроса: что представляло собой в жанровом отношении посвященное Вотаниату произведение и где тот «шов», который соединял его с «первой редакцией» «Истории» Атталиата? Ничего похожего на четкую разграничительную линию между Vita Basilii и первыми четырьмя книгами Продолжателя Феофана у Атталиата нет.[11] Тем не менее предположительное место стыковки двух сочинений установить можно. В конце раздела о Михаиле VII Атталиат крайне недружелюбно характеризует Михаила и его деяния, рассказывает о провозглашении воинами царем Вотаниата, в панегирических тонах описывает нового императора, затем приступает было к повествованию о первых его акциях на царском престоле, однако неожиданно прерывает течение рассказа [12] и начинает необыкновенно длинную похвалу предкам

Вотаниата. Закончив через 25 страниц (мы считаем по боннскому изданию) рассказ о предках Вотаниата, историк вновь возвращается к сообщениям о деяниях нового царя. Это бегло заштрихованный «сбой», весьма необычный для Атталиата, ведущего в остальном рассказ хронологически последовательно, скорее всего и возник в месте соединения двух произведений.

Что касается жанра, то определенные указания на него дает нам сам Атталиат, называющий эту часть своего сочинения энкомием (Att., 223.17; ср. 281.14 и 282.14). На жанр похвального слова (энкомия) четко указывают как композиционные, так и стилистические особенности последнего, посвященного Вотаниату раздела «Истории». Если, как уже отмечалось, предыдущее повествование идет в строго хронологических рамках, начинается, как правило, с сообщения о восшествии на престол того или иного императора и завершается его смертью или низвержением с почти обязательным указанием числа лет правления, то в случае с Вотаниатом рассказу (об этом только что говорилось) предшествует непропорционально длинное и выспренное восхваление его предков, род которого прослеживается на тринадцать столетий вглубь! Такой огромный пассаж, посвященный предкам, едва ли мыслим в рамках истории, но его вполне можно представить, и даже в какой-то степени он обязателен в энкомии.[13] История предков естественным образом возвращает рассказ снова к Вотаниату и взятию им царской власти, что влечет за собой новую восторженную характеристику вступившего на престол царя (Att., 273.19 sq.). Эти описания опять-таки обусловлены жанровыми особенностями похвального слова, в котором каждое достижение героя нового статуса влечет за собой поток новых похвал.[14] Далее, как и положено в энкомии, следуют «деяния» (πράξεις) Вотаниата, построенные, однако, не по хронологически-историческому, а по свойственному эпидейктическому красноречию эйдологическому принципу (деяния героя не перечисляются по порядку сами по себе, а приводятся в качестве иллюстраций тех или иных качеств хвалимого персонажа). Перечисление πράξεις завершается уже цитированным нами заключением.

Вообще повествование в последней части «Истории» гораздо более ориентировано на личность героя, чем рассказы о предшествовавших императорах. Начиная с отмеченного нами «шва», рассказ уже идет «под знаком» мятежника Вотаниата, а не Михаила VII, продолжавшего, кстати, в то время еще царствовать в Константинополе. Любопытно в этом отношении, что даже столь важное для Атталиата сообщение о смерти Михаила VII с указанием числа лет его

царствования не составляет, как в других случаях, самостоятельного эпизода, а содержится в контексте рассказа об успехах сторонников мятежника Вотаниата (Att., 270.19 sq.).

Более того, некоторые данные могут навести на мысль об устном произнесении этого развернутого панегирика Вотаниату, что нельзя исключить уже хотя бы потому, что Атталиат был не только юристом, судьей и историком, но и придворным оратором (помимо упомянутого нами προσφωνητικὸς λόγος Атталиат, по собственному свидетельству, произносил перед императором «Благодарственное слово» — χαριστήριος λόγος — Att., 292.11 sq.). Во-первых, это чудовищные гиперболы, а также риторические вопросы и восклицания, обращенные к самому себе (Att., 273.19; 276.16; 281.7 и др.).[15] Во-вторых, это использование характерного для эпидейктических речей приема, когда автор после перечисления добродетелей и поступков хвалимого персонажа, как бы спохватываясь, заявляет: «Добавлю к речи то, что ускользнуло от моего внимания» (Att., 303.4). В-третьих, это обращение ἀκροατοί — слово, первое и основное значение которого «слушатель», а не «читатель» (Att., 281. 13) в отличие от обычного ἀναγινώσκοντες, употребляемого и самим Атталиатом.

И тем не менее было бы излишне категоричным утверждать, что похвала Вотаниату действительно зачитывалась или была предназначена для устного произнесения. Дело не в том, что в ряде случаев Атталиат обозначает процесс создания произведения как γράφω («писать»), а не λέγω («говорить»), что однажды именует свое сочинение ἱστορία («история», см.: Att., 322.14), хотя и это является определенным контраргументами. Важнее другое. В византийской историографии нередки случаи, когда разделы сочинения, посвященные особо почитаемому герою, приобретают жанровые признаки энкомия. Так случилось с Vita Basilii в составе сочинения Продолжателя Феофана, так случилось с разделами о Константине VIII и Михаиле VII в «Хронографии» Пселла (напомним, сам Пселл очень резко выступал против смешения жанров истории и энкомия).[16] Точно это же могло случиться с ритором Атталиатом, вольно или невольно моделировавшим историческое произведение по энкомиастическому образцу.

И, наконец, последний вопрос, которого необходимо коснуться в рамках настоящей статьи: время составления Атталиатом похвального сочинения Вотаниату. Как уже отмечалось, Е. Цолакис относит написание последней части «Истории» к первым годам царствования Алексея Комнина. Нам такое хронологическое отнесение представляется невозможным по следующим причинам.

1. Трудно вообразить те причины, которые заставили бы Атталиата ограничивать предмет своего сочинения первым годом царствования Вотаниата, если оно писалось уже после смерти царя.

2. Трудно представить себе возможность написания столь восторженного панегирика Вотаниату в царствование Алексея Комнина, сместившего с престола Вотаниата. Такое сочинение должно было бы звучать вполне оппозиционно. Между тем Атталиат характеризует Алексея весьма положительно (Att., 289.3–6).

Единственный серьезный аргумент, который Е. Цолакис приводит в защиту своей датировки, заключается в следующем. Описывая Вотаниата, в том числе характеризуя его внутренние свойства и внешность, Атталиат неоднократно употреблял глаголы в imperfectum'е (Att., 215.21–22; 282.16–17; 319.13–321.8 и др.), что, по мнению греческого ученого, было бы невозможным, если бы Вотаниат оставался среди живых в период создания сочинения.[17] В поисках контраргументов мы обратились к тем (весьма немногочисленным) историческим произведениям византийцев, которые писались еще при жизни их героев. Уже первый встреченный нами пример убедил нас, однако, в возможности подобного использования imperfectum'а. Речь идет о характеристике полководца Велисария (505–565), содержащейся в «Войне с готами» историка VI в. Прокопия (написано до 555 г.).[18]

Наши выводы сводятся к следующему.

1. Текст «Истории» Михаила Атталиата по парижской рукописи представляет собой результат авторской контаминации двух исторических произведений, первое из которых — сочинение, преподнесенное Атталиатом Вотаниату в начале царствования последнего и упомянутое в Λόγος προσφωνητικός, второе — написанное по типу энкомия повествование о первом годе царствования Вотаниата.

2. Серьезных оснований для пересмотра традиционной датировки имеющейся в нашем распоряжении редакции «Истории» Атталиата (1079/1080 г.) не существует.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Текст «Истории» Атталиата сохранился в двух рукописях: парижской XII в. и эскуриальской XIV в. (последняя неполная). О рукописной традиции см.: *Pertusi A.* Per la critica del testo della «storia» de Michele Attaliate // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 1958. 7; *Thurn H.* Textgeschichtliches zu Michael Attaleiates // Byzantinische Zeitschrift. 1964. 57. — Мы

пользуемся текстом Боннского корпуса, изданного по парижской рукописи: Michaelis Attaliotae historia / Opus a W. Bruneto de Presle inventum descriptum correctum rec. I. Bekkerus. Bonn, 1853. — Далее Att.

[2] Полный перевод названия Λόγος προσφωνητικός: «Посвятительное слово царю Вотаниату, произнесенное магистром, вестом и судьей Михаилом Атталиатом».

[3] См.: *Tsolakis E.* Das Geschichtswerk des Michael Attaleiates und die Zeit seiner Abfassung // Byzantina. 1970. 2. S. 251 ff.

[4] Возможность «случайного» обрыва текста исключена. В парижской рукописи на том же листе непосредственно вслед за «Историей» начинается другое произведение. Кроме того, «История» обрывается не на случайном месте, а на смысловом водоразделе. Автор хотел продолжить «Историю», но почему-то не смог или не захотел этого сделать в дальнейшем.

[5] Речь идет уже о другой статье Е. Цолакиса: *Tsolakis E.* Aus dem Leben des Michael Attaleiates (seine Heimatstadt, sein Geburts-und Todesjahr) // Byzantinische Zeitschrift. 1965. 58. S. 9 ff. — К аргументам Цолакиса, касающимся существования двух редакций «Истории», следует добавить следующее. В византийской исторической литературе зафиксированы случаи, когда лемма или даже предисловие исторического труда относятся не ко всему произведению, а только к его части. Наиболее близкие по времени примеры: «История» Продолжателя Феофана и «Хронография» Михаила Пселла.

[6] Ссылки на них см.: *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. S. 382 ff.: *Kazhdan A.* (in collaboration with *S. Franklin*). Studies on Byzantine Literature of the Eleventh Centyry. Cambridge, 1984. P. 24.

[7] См., например, в последнем издании: *Buchwald W., Hohlweg A., Prinz O.* Tusculum-Lexicon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. München, 1982. S. V. Michael Attaleiates. — Способ исчисления этой даты (1079/1080 г.) следующий: terminus post quem — дата последнего упомянутого в «Истории» события (октябрь 1079 г.), terminus ante quem — свержение Вотаниата (апрель 1081 г.).

[8] Последний раз отчетливо указал на это С. Иванов (*Иванов С.* Полемическая направленность «Истории» Льва Диакона // ВВ. 1982. 43. С. 74 и след.).

[9] Приведем для сравнения краткое заключение из Vita Basilii Константина Багрянородного: «Такова история благочестивого царствования славного Василия, насколько она еще не увлечена потоком забвения и не поблекла от времени, и таков его жизненный путь до восшествия на престол. Мною поведано и изложено содержание его жизни в соответствии с моими возможностями и согласно природе истины» (Theophanes Continuatus / Ex rec. Bekkeri, 1838. 352.20 sq.).

[10] Если считать, что автором всех пяти книг Продолжателя Феофана был сам Константин Багрянородный (*Cordoñer Y. Signes.* Algunas consideraciones sobre la autoria del Theophanes Continuatus // Erytheia. 1989. 10. P. 17 sq.), аналогия этих двух случаев окажется полной.

[11] Напомним, что Vita Basilii обладает как самостоятельной леммой, так и самостоятельным предисловием, не устраненными редактором во время «стыковки» произведений.

[12] См.: Att., 216.20: «Однако пусть немного подождет слово о его владычестве» (ἀλλ' ὁ μὲν περὶ τοῦ κράτονς αὐτοῦ λόγος ἀναμεινάτω μικρόν).

[13] Схема похвального слова была относительно стабильной с античных времен, она приводится во многих статьях и книгах.

[14] Об этом см.: *Любарский Я.* Михаил Пселл: Личность и творчество. М., 1978. С. 158 и след.

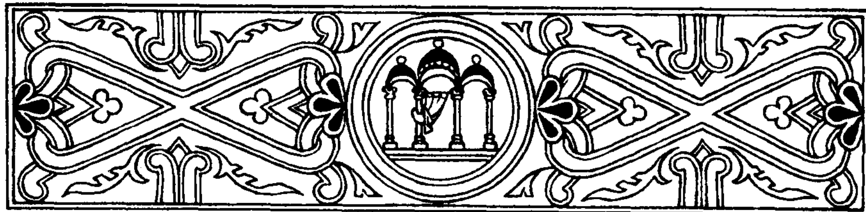
[15] Особенно показателен в этом отношении случай, когда Атталиат в ответ на один из таких риторических вопросов сам же в сугубо разговорной манере отвечает: Οὐκ ἔστι τοῦτο, οὐκ ἔστι («Так нет же, нет!») (Att., 256.24).

[16] *Любарский Я.* Михаил Пселл... С. 139 и след.

[17] *Tsolakis E.* Das Geschichtswerk... S. 260 ff.

[18] См.: Procopius. De bello gotthico III. 1. — Особенно наглядный случай: ἦν δὲ τὸ σῶμα καλός τε καὶ μέγας καὶ εὐπρόσωπος πάντων μάλιστα (речь идет о Велисарии).





ОБ ИСТОЧНИКАХ «АЛЕКСИАДЫ» АННЫ КОМНИНОЙ *

Вопрос об источниках «Алексиады» Анны Комниной никем подробно не разбирался. Е. Остер,[1] Ф. Шаландон [2] и Дж. Баклер [3] ограничиваются указанием на те источники, о которых говорит сама Анна, и отмечают факт использования историографом документального материала. Наша задача — выявить, где это окажется возможным, источники «Алексиады», а в тех случаях, когда эти источники сохранились, сравнить их с текстом «Алексиады» с целью анализа метода работы Анны как историографа.

Как и большинство других средневековых историков, Анна постоянно провозглашает истину основной целью своего труда. Стремление к истине действительно свойственно историографу. Когда речь идет не о характеристике Алексея или близких к нему лиц, Анна стремится к объективности, точности и полноте охвата материала. Анна, как правило, не заполняет домыслами пустóты своей памяти, а при отсутствии точных сведений признается в незнании. Так, историограф не может точно сказать, от какой болезни умер Роберт Гвискар (III, p. 56),[4] не утверждает ничего определенного по поводу того, была ли женщина, оборонявшая город от Исаака Контостефана,

* Опубликовано в сб. «Византийский временник», 25 (1964). Несмотря на большое число работ об Анне, появившихся с момента опубликования настоящей статьи, некоторые из ее аргументов, как мне кажется, не утратили своего значения, поскольку просто-напросто остались неизвестными западным ученым (rossica non leguntur!). Это прежде всего относится к вопросу об общем источнике Анны и Вильгельма Апулийского. Его существование отрицает, например, Дж. Лоуд, см.: *Loud G.* Anna Komnena and her Sources for the Normans of Southern Italy / I. Wood, G. Loud (edd.) // *Church and Chronicle in the Middle Ages, Essays Presented to John Taylor* (London and Rio Grande, 1991). P. 41–58.

сестрой Боэмунда (III, p. 78), затрудняется назвать причину, по которой аль-Афдал отпустил бесплатно латинских пленников (III, p. 55), и т. д.

Нередко Анна приводит несколько версий одних и тех же событий и затрудняется признать какую-либо из них достоверной. Так, историограф в двух вариантах излагает историю появления Лжемихаила, причем оба их считает вполне правдоподобными (I, p. 44–45). Точно так же, по словам писательницы, одни утверждали, что экс-императрица Евдокия хотела выдать за Вотаниата свою дочь Зою, другие — что хотела выйти за него замуж сама (I, p. 108).

Однако наиболее убедительным доказательством стремления Анны быть по возможности точной являются лакуны в тексте «Алексиады». Большинство лакун в «Алексиаде» обнаруживается в тех местах, где следовало бы предполагать дату (II, p. 206.25; III, P. 218.28), географическое наименование (III, p. 14.30; 197.28) или личное имя (II, p. 180.15; III, p. 69.12; 108.31; 165.20). По-видимому, писательница, не зная того или иного названия или даты, оставляла пропуски, которые в дальнейшем не успела или забыла заполнить. Таким образом, Анна, если не в освещении событий, то в передаче фактов, не только на словах, но и на деле стремится к истине. Однако насколько надежны источники, которыми пользуется писательница?

* * *

Еще в античности историографы считали своим долгом повествовать главным образом о событиях, очевидцами которых они сами были. У многих византийских авторов мы также находим заверения в том, что они наблюдали события, которые описывают. Подобные заверения нередко можно встретить и в «Алексиаде». Так, писательница видела и восхищалась Никифором Диогеном, который готовил покушение на Алексея, но, будучи ослеплен, занялся науками и изучил также геометрию (II, p. 185). Сама Анна видела и описываемый ею приют св. Павла, реконструированный Алексеем (III, p. 185). Можно предположить, что уже с начала 90-х годов многие эпизоды восстанавливаются историографом по памяти. Надо учесть, что Анна — не простая современница описываемых событий. Она — императорская дочь, на ее глазах «делается история». Сама Анна пишет о том, что ей «не пришлось жить домоседкой, наслаждаясь тенью и роскошью», что «она в большинстве случаев находилась с отцом и сопутствовала матери» (III, p. 174).

Об источниках своих сведений кое-что сообщает сама Анна. Большей частью писательница говорит об устных рассказах участников

событий. Византийская принцесса, жившая при дворе, Анна находится в родственных связях или во всяком случае близко знакома со всеми сколько-нибудь заметными деятелями своей эпохи, имеет возможность слышать рассказы, передаваемые по свежим следам событий. В «Алексиаде» она неоднократно ссылается на сведения, полученные от ее царственных родителей (I, p. 28; II, p. 100–101; III, p. 115 и др.), от дяди, Георгия Палеолога (III, p. 175), от матери ее первого жениха Константина Марии (I, p. 105) и т. д. Не говорим уже о том, что с ней делился богатыми воспоминаниями Никифор Вриенний, участник многих событий того времени.

Следы этих рассказов подчас нетрудно заметить в «Алексиаде». Так, бросается в глаза, что Анна с большей подробностью и детализацией повествует о событиях, непосредственным участником которых был Георгий Палеолог.[5] Очень подробно рассказывается Анной также о перевороте Комнинов, участие в котором принимали все близкие историографа как по отцовской, так и по материнской линии, и т. д.

Даже в тех случаях, когда Анна не оговаривает, откуда получена ею информация, мы иногда можем с достаточной степенью достоверности назвать источник ее сведений. Например, еще Ф. Шаландон предположил, что о походе крестоносцев через Малую Азию в Сирию и Палестину информацию Анне доставлял полководец Татикий.[6] О том периоде, когда Татикий сопровождал крестоносную армию, сообщения Анны весьма обстоятельны и достоверны. О событиях же, имевших место после того, как Татикий покинул крестоносцев, Анна сообщает бегло и весьма путано.[7] Конечно, не могла Анна не слышать рассказов и Евстафия Камицы, который, бежав из турецкого плена, явился к императрице Ирине, рассказал ей о кампании Алексея, а затем повторил свой рассказ на площади перед народом (III, p. 170–172).

Кроме этих известных полководцев и деятелей эпохи Алексея, Анна ссылается на «тех, кто участвовал в походах вместе с самодержцем и с оказией пересылал нам сведения о событиях войны» (III, p. 175).

До сих пор речь шла о сведениях, полученных Анной еще в молодые годы, в тот период, когда византийская принцесса жила при дворе своего отца. Как свидетельствует сама писательница,[8] основную часть сведений Анна собрала уже при Мануиле, т. е. в тот период, когда она непосредственно приступила к труду историка. Какими же источниками Анна имела возможность пользоваться в это время?

Как известно, «Алексиада» писалась ею в монастыре, куда она была сослана после неудачной попытки отнять власть у царственного брата Иоанна. Сведения об этих годах жизни историографа противоречивы. Сама Анна постоянно жалуется на свое вынужденное одиночество, а согласно некоторым другим источникам она пользовалась определенной свободой и отнюдь не находилась в полной изоляции от мира. Более того, достаточно противоречивы и слова самой Анны. В VII главе XIV книги, где писательница повествует главным образом о себе, Анна пишет: «...До сих пор живут и здравствуют люди, знавшие моего отца; они рассказывают о нем (τὰ κατ' αὐτὸν ἀφηγούμενοι), и от них я почерпнула немало для своей истории» (III, p. 174). В данном случае речь может идти как об устных, так и о письменных рассказах стариков — современников Алексея, ибо глагол ἀφηγέομαι употребляется в значении «рассказывать устно» и «рассказывать письменно» (второе толкование, судя по контексту, менее вероятно). Вскоре Анна сообщает следующее: «Доступ ко мне закрыт даже людям низкого звания, не говоря уже о близких моего отца и о тех, от кого я могла бы узнать то, что им случилось услышать от других. Клянусь душами блаженных самодержцев, вот уже тридцатый год, как я не видела людей моего отца, не встречалась и не беседовала с ними, ибо одни из них умерли, другие (из-за неустойчивого положения вещей) боятся... Что же касается полученных мною исторических сведений, то, свидетель Бог и его Всевышняя Матерь — моя госпожа, я собрала их из простых и совершенно безыскусных сочинений (ξυγγραμμάτων) и от стариков, которые были воинами в то время, когда мой отец взял в свои руки ромейский скипетр, но, встретившись с несчастиями, сменили мирские волнения на мирную монашескую жизнь. Попавшие в мои руки сочинения обладают простым незатейливым слогом, придерживаются истины, написаны без всяких ухищрений и лишены риторический выспренности. Рассказы стариков по своему языку и слогу были такими же, как и эти сочинения...» (III, p. 175–176).

В данном случае Анна уже ясно говорит об источниках двух типов: письменных («простые и совершенно безыскусные сочинения») и устных («рассказы стариков»). Таким образом, в пределах одной главы Анна клянется в том, что не встречается ни с кем, кто бы мог ей рассказать об Алексее, и в то же время ссылается на устные рассказы современников отца. Такое противоречие можно объяснить лишь упорным желанием писательницы занять позу отверженной изгнанницы, ее стремлением представить себя (даже вопреки сообщаемым ею самой фактам) мученицей в глазах читателей.

Можно, следовательно, утверждать, что и в последние годы Анна пользовалась устными сообщениями престарелых сподвижников Алексея.[9]

Кроме рассказов, услышанных от сравнительно широкого круга лиц, Анна иногда использует и слухи, молву (ἡ φήμη), которая всегда возникает вокруг всех сколько-нибудь заметных исторических событий. Однако, к чести для историографа, Анна прибегает к помощи столь ненадежного источника не очень часто, хотя в отдельных случаях писательница сама ссылается на молву. Так, сообщение Анны о том, что первым крестоносцем, отправившимся в поход, был Готфрид Бульонский, основывается на «распространившемся повсюду слухе» (τῆς φήμης διαδραμούσης ἁπανταχοῦ — II, p. 209).[10] Такой же источник имеет и сообщение писательницы о том, что во время осады Диррахия латиняне начали готовить огромную деревянную башню еще до неудачи с другими осадными орудиями (III, p. 97).

В перечисленных выше случаях Анна сама ссылается на молву как на источник своей информации, в ряде других мест сам характер рассказов заставляет предполагать их полулегендарное происхождение. Так, Анна, ни словом не упоминая ни о Клермонском соборе, ни о призывах папы Урбана II, считает главным зачинщиком похода Петра Пустынника. Скорее всего, это результат влияния ее источников — рассказов простых крестоносцев, народных легенд и т. д.: ведь именно Петр был предводителем крестьянской массы в крестоносном движении и самой популярной личностью среди простых крестоносцев. Характерно, что Альберт Аахенский, сведения которого в большинстве случаев основываются на устных рассказах и легендах, сообщает нам ту же версию.[11] Такое же происхождение имеет, видимо, и сообщение Анны о тучах саранчи, предшествовавших приходу крестоносного воинства (II, p. 209).[12] Полулегендарный характер имеет также рассказ Анны о переправе Боэмунда, которого якобы перевезли в Италию под видом мертвеца (III, p. 50–52).

Характерно, что ни о саранче, предварившей пришествие крестоносцев, ни о необычной переправе Боэмунда не говорится ни в одном из западных источников, но оба эти эпизода излагаются в хронике Зонары.[13] Так как у нас нет никаких данных об общем письменном источнике этих двух авторов, остается предположить, что оба они черпали свои сведения в слухах, распространившихся в Византии и неизвестных на Западе. Таковы наши сведения об устных источниках «Алексиады».

* * *

Нами уже приводились слова Анны о том, что она почерпнула немало сведений из «простых и совершенно безыскусных» сочинений стариков — бывших соратников Алексея. Ни одно из подобных произведений до нас не дошло, и можно лишь догадываться, что это были непритязательные сочинения непосредственных участников событий, людей, описывавших то, что они видели собственными глазами («одни описывали одно, другие — другое», — сообщает Анна). В этих записках сообщалось главным образом о военных экспедициях (авторами этих произведений, по словам Анны, были бывшие воины).

Из других историков и хронистов своего времени Анна ссылается, и притом неоднократно, лишь на сочинение своего мужа Никифора Вриенния.[14] Вопрос о соотношении произведений Никифора и Анны не привлекал внимания исследователей из-за своей кажущейся элементарности. Анна не только ссылается на «Записки» Вриенния, но широко ими пользуется, а в некоторых случаях и почти дословно излагает. Даже в тех частях, где «Алексиада» совершенно независима от сочинения Вриенния, между этими произведениями есть немало общего в языке, стиле и характере отношения к изображаемым событиям.[15] Эта общность вполне понятна. Анна расценивает свой труд как продолжение сочинения Вриенния. Анна и Вриенний — муж и жена, люди одного круга, одной культуры, одного уровня образования. Тем не менее на фоне этой общности ярко проступают различия между обоими авторами. Эти различия представляют большой интерес, ибо дают возможность судить о своеобразии Анны как историографа и о методах использования Анной своих источников. Ведь «Записки» Вриенния — почти единственный сохранившийся до наших дней источник, которым широко пользуется писательница.

Более половины I книги «Алексиады» (гл. 2–9) состоит из скомпонованных частей «Записок» Вриенния. Из сочинения мужа Анна заимствует рассказы о борьбе Алексея с взбунтовавшимся норманнским наемником Руселем (Nic. Br., p. 86–93; Anna, I, p. 11–16), о борьбе Алексея с мятежником Вриеннием Старшим (Nic. Br., p. 134–147; Anna, I, p. 17–27) и о подавлении Алексеем мятежника Василаки (Nic. Br., p. 148–156; Anna, I, p. 28–36). В перечисленных местах «Алексиады» нет ни одного факта, который бы не находил соответствия в повествовании Вриенния. Исключение составляет лишь рассказ Анны о попытке уже плененного Вриенния Старшего убить Алексея. Но и в этом случае писательница специально оговаривает,

что слышала эту историю от отца (I, р. 28). Таким образом, произведение мужа является единственным источником этой части «Алексиады». Самой Анне принадлежат лишь «переходы», связывающие между собой отрывки из сочинения Вриенния.

Почти нет никаких различий между Анной и Вриеннием и в оценке и освещении событий и героев. Единственное расхождение между авторами содержится в рассказе о начале восстания Вриенния Старшего. По Никифору, инициатором восстания был не сам Вриенний, а его брат Иоанн (I, р. 108–110), Анна же отдает инициативу восстания самому Никифору (I, р. 17). Свидетельство Анны подтверждается сообщением Михаила Атталиата,[16] писавшего историю по свежим следам событий. Настаивая на том, что восстание начал Иоанн, который заставил брата вопреки его воле поднять мятеж против Вотаниата и вступить в борьбу с молодым Алексеем, Вриенний хочет обелить своего отца (или деда).[17] Анне же уже не было нужды выгораживать мятежника, и она восстанавливает истину.

Как показывает сличение текстов «Алексиады» Анны Комниной и «Записок» Вриенния, Анна почти нигде не переписывает сочинение своего мужа. Исключение составляют лишь речи и послания Алексея, включенные в произведение Никифора. Последние Анна передает почти дословно.[18] Это обстоятельство представляется нам весьма знаменательным: историограф не считает возможным подвергать значительным изменениям подлинные (или кажущиеся ей подлинными) слова своих героев.

Сопоставление текстов дает возможность выявить некоторые характерные ошибки, которые допускает Анна в передаче сочинения своего мужа. Приведем наиболее существенные из них.

1. По утверждению Анны (I, р. 5), «Записки» Вриенния начинаются со времени царствования Романа Диогена. На самом деле сочинение Никифора начинается с рассказа о первых Комнинах: Мануиле и его сыновьях Исааке и Иоанне — отце Алексея.

2. Согласно Никифору (р. 92–93), Алексей, возвращаясь с пленным и мнимо ослепленным Руселем, остановился в доме своего родственника Феодора Докиана. Докиан стал упрекать Алексея в чрезмерно жестоком обращении с Руселем, и в ответ на эти упреки Алексей «чудесным образом» возвратил зрение своему пленнику. Затем Алексей отправился в г. Кастамон, где находился дом его деда. По Анне (I, р. 15), встреча с Докианом и весь эпизод «исцеления» Руселя имели место в «городе деда Алексея», т. е. в Кастамоне.

3. Никифор (I, р. 136) описывает расположение войска Вриенния Старшего перед боем с Алексеем в следующих выражениях: ...

τὸ δὲ μέσον τῆς φάλαγγος αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ Βρυέννιος ἦγεν ἐν ᾧ τὸ τε ἀρχοντικὸν ἐτάττετο ἅπαν καὶ Θρακῶν δὲ καὶ Μακεδόνων καὶ τῆς ἵππου τῶν Θεσσαλῶν ὅσον ἐπίλεκτον. Анна передает это место таким образом: αὐτὸς δ' ὁ Βρυέννιος τὸ μέσον κατεῖχε τῆς φαλαγγὸς ἐκ Μακεδόνων καὶ Θρακῶν συντεταγμένον καὶ τοῦ ἀρχοντικοῦ σύμπαντος ὅσον ἐπίλεκτον (I, р. 20). Вриений говорит о знати (τὸ ἀρχοντκόν) и об отборной части (ὅσον ἐπίλεκτον) фракийцев, македонцев и фессалийской конницы. Анна же сообщает об отборной части (ὅσον ἐπίλεκτον) знати (τοú ἄρχοντικοῦ) фракийцев и македонцев.

4. В этом же эпизоде боя Алексея с Вриеннием, согласно Никифору (I, р. 137), Алексей осмотрел местность, увидел с одной стороны открытую равнину, а с другой стороны много холмов и лощин, так что часть фаланги Вриенния была скрыта, а другая видна. Анна (I, р. 21) передает это место следующим образом: «Тем временем мой отец Алексей осмотрел расположение местности и часть войска поместил в лощинах, а часть — лицом к лицу с войском Вриенния». Ошибка Анны очевидна: у Никифора на две части (спрятанную и стоящую открыто) разделено войско Вриенния, у Анны — Алексея. Далее у Никифора (I, р. 137–138) говорится, что отряд Алексея обрушивается на наступающее войско Вриенния «как бы из засады» (ὥσπερ ἀπὸ ἐνέδρας) и чуть было (μικροῦ δεῖν) не обращает в бегство неприятеля. У Анны отряд Алексея действительно выскакивает из засады и действительно обращает в бегство воинов Вриенния. Видимо, под находившимся в засаде отрядом Алексея Анна подразумевает ту часть ромейского войска, которую, по ее словам, Алексей поместил в лощинах. Но, как мы видели, это плод домыслов или, вернее, ошибки писательницы.

5. В описании схватки Никифора Вриенния Старшего с турками из войска Алексея у Никифора мы читаем (I, р. 144): «Один из них (турок. — *Я. Л.*), обнажив меч, дерзко бросился на Вриенния. Обернувшись, Вриенний ударил его мечом и обрубил ему руку — рука вместе с акинаком пала на землю... Первый турок с отрубленной рукой (ὁ πρῶτος τὴν χεῖρα ὑπ' αὐτοῦ ἐκτμηθείς), соскочив с коня, повис на спине Вриенния». У Анны (I, р. 26) на Вриенния бросается не «первый турок с отрубленной рукой», а «другой турок» (ἅτερος).

6. Согласно Никифору (I, р. 155), послом Алексея к мятежнику Василаки был игумен Ксенофонтова монастыря на горе Афон — некий Симеон. У Анны эту роль исполняет монах Иоаннаки (I, р. 35). Ошибка писательницы вполне понятна: Анна помнит, что послом был монах, а монах Иоаннаки уже упоминался ею ранее в качестве доверенного лица Алексея (I, р. 31–32).

7. Никифор (I, p. 154) называет Мануила племянником (ἀδελφιδοῦς) Василаки, у Анны он фигурирует в качестве брата (ἀδελφός) мятежника (I, p. 34).

Характер приведенных выше расхождений не оставляет сомнений в том, что в данном случае имеет место не сознательное исправление Анной текста Вриенния, а, наоборот, невольное его искажение. Интересно, что в некоторых случаях при лексической близости обоих текстов в «Алексиаде» содержится смысл, отличный от «Записок» Вриенния. Видимо, писательница, хорошо зная сочинение мужа, не переписывала его, а воспроизводила, часто отвлекаясь от текста.

Сличение текстов Анны и Вриенния показывает, что в «Алексиаде» опускается ряд фактических подробностей, содержащихся в «Записках». Так, Анна ничего не говорит о том, что Русель лично являлся к Тутаху с целью заключить союз против турок (Nic. Br., p. 86), не упоминает о приближенных императора, требовавших возвращения Алексея с пленным Руселем в столицу (Nic. Br., p. 91), не сообщает о перебежчике, явившемся к Василаки и посоветовавшем ему напасть ночью на спящего Алексея (Nic. Br., p. 149), и т. д. Эти примеры можно легко продолжить.

Однако, опуская фактические подробности, содержащиеся у Вриенния, Анна не только не сокращает повествования своего мужа, но, напротив, в ряде случаев значительно его расширяет. Это расширение происходит за счет двух тенденций, характерных для историографа: риторизации и драматизации рассказа Вриенния.

Во многих случаях, когда у Вриенния содержится простое упоминание о том или ином факте, в «Алексиаде» мы находим образную картину с явным привкусом риторики. В первую очередь это относится к описаниям боев и сражений. Как правило, Анна придает картинам боев определенную эпическую, «гомеровскую», окраску.[19] Это прежде всего достигается введением в повествование гомеровских цитат и мифологических реминисценций, отсутствующих у Вриенния (I, p. 21, 37) и др.

Вообще в описаниях сражений Анна риторическими средствами как бы вновь воссоздает картины боя, и факты, сообщенные Вриеннием, служат ей лишь отправным пунктом для творческой фантазии. Вот некоторые характерные примеры, которые сознательно заимствуются нами только из одного эпизода — сражения Алексея с Вриеннием Старшим.

Никифор сообщает о расположении войска Вриенния (p. 136): «Центром фаланги командовал сам Вриенний, там находилась вся знать и отборная часть фракийцев, македонян и фессалийских всадников, за левым флангом на расстоянии двух стадий впереди стояло союзное скифское войско».[20] Анна после сообщения о том, из кого состоял центр строя Вриенния, прибавляет: «Все они сидели на фессалийских конях, их железные латы и шлемы на головах сверкали, кони поводили ушами, бряцание щитов и шлемов наводило ужас. Находившийся в середине Вриенний, как Арей или древний гигант, на целый локоть возвышался над всеми, вызывая своим обликом изумление и страх. Вне строя, примерно на расстоянии двух стадий, расположились союзники-скифы, вооруженные по-варварски» (I, p. 20).

Никифор просто рассказывает о том, как турки из войска Алексея завлекли в засаду воинов Вриенния, а затем, повернувшись, бросились на неприятеля (p. 142). В соответствующем месте «Алексиады» содержится следующая картина (I, p. 25–26): «По условному знаку из разных мест, словно рой ос, высыпали находившиеся в засаде всадники. Боевыми кликами, шумом и непрерывной стрельбой из луков они оглушили Вриенния и его воинов и ослепили их дождем падающих отовсюду стрел».

В некоторых случаях Анне удается создать образные и впечатляющие картины боевых эпизодов. Вот характерный пример. Захватив коня Вриенния, Алексей распорядился отправить его вместе с глашатаем к своему обратившемуся в бегство воинству с целью приободрить воинов и заставить их прекратить бегство. Никифор просто сообщает, что уловка Алексея «заставила многих бегущих остановиться, а иных и вернуться» (p. 139–140). Анна же в следующих выражениях описывает эффект, произведенный появлением глашатая с конем: «Это известие заставило собраться отовсюду и вернуться многих рассеявшихся воинов великого доместика схол — моего отца, а других побудило к стойкости. Воины как вкопанные остановились там, где их застал голос глашатая, обратили назад свои взоры и были поражены неожиданным зрелищем. Что за странная это была картина! Головы коней обращены вперед, лица самих всадников повернуты назад, они не двигаются и не хотят повернуть назад, они изумлены и приведены в недоумение всем происходящим» (I, p. 23). Тенденция к риторизации и драматизации рассказа характерна и для всех прочих частей «Алексиады».

С этой тенденцией тесно связано и стремление Анны к характеристике и воссозданию образов исторических персонажей. В тех случаях, когда Никифор ограничивается краткой и беглой характеристикой, Анна подчас дает развернутые и гиперболические описания. Так, начиная рассказ о борьбе Алексея с Василаки, Анна подробно

характеризует последнего (I, p. 29). Никакого соответствия в тексте Вриенния эта характеристика не имеет. Приступая к повествованию о сражении Алексея с Никифором Вриеннием Старшим, Анна прибегает к своему любимому приему: сопоставление обоих противников (I, p. 19). Подобного сопоставления также нет в тексте «Записок» Вриенния.

Сравнение текстов Анны и Никифора позволяет сделать вывод, что Анна, сохраняя, как правило, документальный (или кажущийся ей документальным) материал из своего источника, опускает ряд фактических деталей, не имеющих большого исторического значения, и допускает некоторые мелкие ошибки в изложении фактов. Не будучи слишком внимательной к передаче исторических деталей, Анна всегда стремится к художественному и риторическому воспроизведению данных своего источника. Последняя тенденция находится в явном противоречии с собственными заявлениями Анны о том, что она стремится избегать всяких риторических прикрас.[21]

Сочинение Вриенния — единственное дошедшее до наших дней произведение, из которого на протяжении целого ряда глав черпает свои сведения Анна. Однако в «Алексиаде» содержится сравнительно большой экскурс в прошлое, источники которого поддаются определению. Анализ этого эпизода и его источников представляет определенный интерес, ибо добавляет некоторые детали для характеристики метода Анны-историографа.

Упомянув о храме св. Феклы в Константинополе (I, p. 127), Анна считает своим долгом поведать историю его основания, рассказывает о том, как вожди даков (т. е. венгров) отказались соблюдать мирный договор с ромеями, как об этом стало известно савроматам (т. е. печенегам), которые перешли по льду замерзшего Дуная и напали на Византию, как против печенегов выступил император Исаак Комнин (1057–1059), который заключил мир с западными варварами (т. е. с венграми), а над печенегами одержал победу. На обратном пути, продолжает Анна, у Ловеча войско Исаака постигла буря, во время которой чуть не погиб сам Исаак. Чудом спасшись, он по возвращении в Константинополь основал храм св. Феклы.

Благодаря характерным деталям, сохраненным Анной в этом рассказе, нетрудно заметить контаминацию двух разновременных событий. Переход печенегов по льду Дуная имел место в конце 40-х годов XI в. Это была первая волна печенежского наступления на Византию, когда северные соседи империи под командованием Тираха впервые перешли ее границы.[22] Поход же Исаака Комнина состоялся в 1059 г.[23]

Мы имеем возможность также определить, какими источниками в данном случае пользовалась Анна и что привело писательницу к ошибке. Начиная со слова πρότερον (I, p. 127.22) и до... δεινῶς ἐλήζοντο τὰς παρακειμένας πόλεις καὶ χώρας (I, p. 128.1), текст Анны представляет собой почти буквальное переложение текста Михаила Пселла.[24] После этого Анна сразу же переходит к рассказу о походе Исаака Комнина, а Пселл пускается в длительные рассуждения о вероломстве и коварстве скифского племени [25] и лишь затем обращается к повествованию о походе Исаака и при этом бегло упоминает о буре, постигшей войско возвращающегося императора.[26] Михаил Пселл, современник обоих упомянутых событий, конечно, не мог объединить в один эпизоды разных лет. Рассказ о вторжении печенегов Тираха для Пселла — далекая предыстория похода Исаака Комнина. Однако вольная композиция этого рассказа и отсутствие точных хронологических указаний порождают определенную нечеткость повествования, способную ввести в заблуждение читателя, незнакомого с хронологией событий. Следуя неверно понятому ею Пселлу, Анна заимствует у него эпизод с переходом по льду печенегов Тираха, но в рассказе о походе Исаака отходит от текста «Хронографии», ибо в последней он изложен недостаточно подробно.

С каким же источником контаминирует Анна «Хронографию» Пселла? Как уже отмечалось, рассказ о походе Исаака Комнина и о буре, постигшей его войско, кроме Анны, передают Михаил Атталиат, Продолжатель Скилицы и Зонара. Рассказ Зонары, явно восходящий к Продолжателю Скилицы,[27] не мог служить источником для Анны, ибо он значительно более краток и беден деталями, чем повествование писательницы. Рассказы Михаила Атталиата и Продолжателя Скилицы отнюдь не независимы друг от друга: второй явно восходит к первому.[28] Что же касается текста Анны, то он восходит не непосредственно к Атталиату, а к Продолжателю Скилицы по следующим соображениям.

Во-первых, у Атталиата нигде не говорится об основании храма Феклы, о нем сообщается лишь у Продолжателя Скилицы. Этот факт, как уже отмечалось, дает Анне повод для рассказа. Во-вторых, в тех случаях, когда между Атталиатом и Продолжателем Скилицы встречаются какие-либо расхождения (чаще всего лексического характера), Анна, как правило, примыкает к Продолжателю Скилицы. Вот некоторые примеры: 1) Атталиат называет древнюю Софию, куда прибыл Исаак, Сердикой (p. 67), Продолжатель Скилицы и Анна — Триадицей (Cedr., II, p, 65; Anna, I, p. 128.2–3; 2) Атталиат следующим образом датирует бурю, обрушившуюся на войско Исаака

(p. 67.20–21); Σεπτεμβρίου μηνὸς ἔτι τὸν δρόμον ἐλαύνοντος. У Продолжателя Скилицы (II, p. 646.11–13): Σεπτέμβριος ἦν ἡμέραν ἄγων κδ' καθ' ἣν ἡ τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος Θέκλας ἑορτὴ τελεῖται χριστιανοῖς; у Анны (I, p. 128.23–25): εἰκοστὴν πρὸ τῇ τετάρτῃ τοῦ Σεπτεμβρίου ἄγοντος ἐν ᾗ τῆς μεγαλομάρτυρος Θέκλῆς μνήμν τελεῖται; 3) Атталиат говорит о наступившем затишье (P. 68.4–5): ἀναστολῆς γενομένης. У Продолжателя Скилицы (II, p. 648.18) и Анны (I, p. 129.5): ἀναστολῆς μετρίας γενομένης; 4) Атталиат говорит о дереве, чуть не убившем при своем падении императора (p. 68.11): ῥιζόθεν τμηθεῖσα. У Продолжателя Скилицы (II, p. 646.23) и Анны (I, p. 129.13–14): ῥιζόθεν ἀνασπασθείς.

Таким образом, анализируемый нами отрывок «Алексиады» представляет собой результат контаминации эпизодов, заимствованных у Михаила Пселла и Продолжателя Скилицы. Интересно, что писательница не просто присоединяет друг к другу эпизоды, заимствованные у разных авторов, но старается тесно связать их в один рассказ. Так, уже первая фраза разбираемого отрывка представляет собой не что иное, как контаминацию двух фраз — Пселла и Продолжателя Скилицы. Анна (I, p. 127): ἐπεὶ γὰρ ἅς πάλαι εἶχον οἱ τῶν Δακῶν ἀρχηγέται μετὰ τῶν Ῥωμαίων σπονδὰς τηρεῖν εἰσέτι οὐκ ἤθελον, ἀλλὰ παρασπονδήσαντες διέλυσαν, τούτου δὲ δήλου τοῖς Σαυρομάτοις γεγονότος, οἳ πρὸς τῶν πάλαι Μυσοὶ προσηγορεύοντο, οὐδὲ αὐτοὶ τοῖς ἰδίοις ὁρίοις ἐμμένοντες ἤθελον ἡσυχάζειν, νεμόμενοι πρότερον ὁπόσα ὁ Ἴστρος πρὸς τὴν τῶν Ῥωμαίων διορίζει ἡγεμονίαν, ἀθρόον ἀπαναστάντες πρὸς τὴν ἡμεδαπὴν γῆν μετῳκισθῆσαν. Продолжатель Скилицы (II, p. 645): Τῶν Οὔγγων τὴν πρὸς Ῥωμαίους εἰρήνην διαλυσάντων καὶ τῶν Πατζινάκων δὲ ἐξερπυσάντων τῶν φωλεῶν οἷς ἐνεκρύβησαν, καὶ τὴν παρακειμένην χώραν σινόντων, τὰ πρὸς τὴν ἐκστρατείαν ἐξαρτύσας ὁ βασιλεὺς ἔξεισι πασίρρωμος εἰς Τριάδιτζαν. Пселл (II, п. 125): Исаак... πανστρατιᾷ ἐπὶ τοὺς ἑσπερίους χωρεῖ, οὓς Μυσοὺς μεν ὁ πάλαι χρόνος ὠνόμαζεν, εἶτα δὲ εἰς ὃ λέγονται μετωνομάσθησαν νεμόμενοι δὲ ὁπόσα ὁ Ἴστρος πρὸς τὴν Ῥωμαίων διορίζει ἡγεμονίαν, ἀθρόον τε ἐπανέστησαν καὶ πρὸς τὴν ἡμεδαπὴν γῆν μετῳκίσθησαν.

Нетрудно заметить, что начало фразы (ἐπεὶ... ἡσυχάζειν) представляет собой переложение первой половины приведенного предложения Продолжателя Скилицы, а вторая часть фразы — почти дословное воспроизведение текста Пселла (начиная с νεμόμενοι). Стремление сопоставить и объединить источники приводит историографа к явной ошибке: рассказывая о походе печенегов Тираха конца 40-х годов, Анна упоминает о венграх [имеется в виду венгерский король Андрей (1046–1061)], нарушивших договор с Византией в 1059 г.[29]

Если, пересказывая Вриенния, Анна следовала одному источнику, то в данном случае мы обнаруживаем отчетливое стремление

историографа к объединению и сопоставлению своих источников. Пересказывая Продолжателя Скилицы, так же как и излагая Вриенния, Анна опускает ряд фактических деталей,[30] но за этот счет драматизирует свой рассказ.[31]

Из других византийских авторов в тексте «Алексиады» можно заметить небольшие заимствования из «Истории» Феофилакта Симокатты и из «Догматического всеоружия» современника Анны ученого монаха Евфимия Зигавина. Характеризуя Иоанна Таронита (III, p. 88.5), Анна пользуется теми же выражениями, что и Феофилакт Симокатта при описании квестора императора Тиберия — Иоанна. Возможно, что одинаковые имена героев вызвали у Анны ассоциации с текстом Феофилакта.[32]

Евфимия Зигавина Анна сама упоминает в своем произведении. По ее словам, Алексей велел Зигавину изложить и опровергнуть богомильскую ересь, после того как был осужден глава ереси Василий (III, p. 223). Это сочинение дошло до наших дней,[33] и сравнение его с соответствующими местами «Алексиады» свидетельствует о том, что Анна знала и использовала произведение Евфимия.[34] Однако, как и в большинстве других случаев, Анна не переписывает свой источник, а пересказывает его образно — риторическими средствами.

* * *

Приведенными выше случаями ограничиваются наши сведения о византийских письменных источниках «Алексиады». Однако у исследователей есть еще возможность заглянуть в творческую лабораторию Анны-историографа, но для этой цели «Алексиаду» надо сопоставить уже не с византийским, а с западным памятником.

Уже давно было замечено,[35] что сообщения Анны о походах Роберта Гвискара на Византию 1081–1082 и 1084–1085 гг. удивительным образом напоминают рассказ об этих событиях, содержащийся в известной поэме Вильгельма Апулийского «Деяния Роберта Гвискара».[36] Перечислим последовательно эпизоды, содержащиеся в рассказах обоих авторов.[37]

Вильгельм Апулийский

IV, 6–15: Роберт выдает замуж своих дочерей (1).
IV, 16–43: Встреча папы и Роберта (2).
IV, 44–64: Союз папы с саксонцами, битва при Эльстере (3).
IV, 73–121: Разлучение дочери Роберта Елены с Константином, подвиги Алексея 1078–1081 гг.[38]

IV, 122–141: Роберт собирает войско для борьбы с Алексеем (4).
IV, 142–170: Воцарение Алексея, появление Лжемихаила.[39]
IV, 171–184: Обращение Генриха IV за помощью к Роберту (5).
IV, 185–199: Роберт назначает своим наследником Рожера (6).
IV, 199–207: Переправа Роберта из Гидрунда в Диррахий (7).
IV, 215–217: Григорий Мономахат торопит Роберта с вступлением в Диррахий (8).
IV, 218–226: Кораблекрушение флота Роберта (9).
IV, 226–229: Палеолог является в Диррахий и отправляет Мономахата в Константинополь (10).
IV, 234–243: Историко-мифологический очерк о Диррахии (11).
IV, 243–271: Осада Диррахия Робертом (12).
IV, 272–311: Битва венецианского флота с флотом Роберта (13).
IV, 312–316: Жители островов отказываются платить дань Роберту (14).
IV, 317–448: Алексей выступает к Диррахию, сражение под Диррахием (15).
IV, 449–505: Сдача Диррахия Роберту (16).
IV, 506–523: Действия Рожера в Италии.
IV, 524–527: Роберт оставляет власть Боэмунду и Бриену и возвращается в Италию (17).
IV, 528–570: Действия Роберта в Италии (18).
V, 1–23: Борьба Алексея с Боэмундом у Янины (19).
V, 27–79: Борьба Алексея и Боэмунда за Лариссу (20).
V, 80–105: Прибытие венецианского флота на Корфу и в Диррахий, прибытие византийского флота под командованием Маврика.
V, 106–126: Действия Роберта в Италии.
V, 127–158: Вторичная переправа Роберта (21).
V, 154–204: Битва норманнов с венецианским флотом (22).
V, 205–254: Стоянка флота Роберта на р. Гликис (23).
V, 255–283: Смерть Григория VII.
V, 289–336: Смерть Роберта Гвискара (24).
V, 337–409: Перевоз тела Роберта в Италию, погребение Роберта (25).

Анна Комнина

I, p. 46–47: Роберт выдает замуж своих дочерей (1).
I, p. 47–49: Борьба Генриха IV и Григория VII по вопросу об инвеституре.
I, p. 49: Встреча папы и Роберта (2).
I, p. 50: Союз папы с саксонцами, битва на Эльстере (3).

I, p. 51: Обращение Генриха IV и Григория VII за помощью к Роберту (5).
I, p. 51–52: Роберт собирает войско для борьбы с Алексеем (4).
I, p. 52–53: Роберт назначает наследником Рожера (6).
I, p. 53: Роберт высылает вперед флотилию Боэмунда.
I, p. 53–56: Роберт прибывает в Бриндизи. Возвращение посла Рауля из Константинополя.
I, p. 56–61: История отношений Алексея и Георгия Мономахата. Мономахат боится Алексея и готовит себе убежище (8).[40]
I, p. 138–139: Георгий Мономахат переходит к Бодину и Михаилу, а затем возвращается в Константинополь (10).
I, p. 139: Отплытие флота Роберта из Бриндизи (7).
I, p. 140–141: Кораблекрушение флота Роберта (9).
I, p. 142: Историко-мифологический очерк о Диррахии (11).
I, p. 143–145: Осада Диррахия (12).
I, p. 145–148: Битва венецианцев с флотом Роберта (13).
I, p. 148–149: Вторая битва венецианцев с флотом Роберта.
I, p. 149: Островитяне отказываются платить дань Роберту (14).
I, p. 149–150: Стоянка флота Роберта на р. Гликис (23).
I, p. 150–168: Выступление Алексея из Константинополя в Диррахий, битва под Диррахием (15).
II, p. 7–8: Сдача Диррахия Роберту (16).
II, p. 8–13: Действия Алексея после сдачи Диррахия. Сбор денег для найма союзников, реквизиция церковного имущества, дело Льва Халкидонского, письма Алексея Генриху IV.
II, p. 14–16: Роберт оставляет власть Боэмунду и возвращается в Италию (17).
II, p. 16–17: Действия Роберта в Италии (18).
II, p. 17–22: Борьба Алексея с Боэмундом у Янины (19).
II, p. 22–23: Борьба Алексея с Боэмундом за Лариссу (20).
II, p. 32–40: Осуждение ереси Итала.
II, p. 41–43. Победа Алексея над Бриеном у Кастории.
II, p. 44–45: Расправа Алексея с манихеями.
II, p. 45–48: Разбирательство о реквизии церковного имущества.
II, p. 48–49: Бегство Манихея Травла.
II, p. 50–51: Вторичная переправа Роберта (21).
II, p. 52–53: Битва норманнов с венецианским флотом (22).
II, p. 54–55: Привилегии венецианцам.
II, p. 55–56: Смерть Роберта (24).
II, p. 56–57: Перевоз тела Роберта в Италию и погребение Роберта (25).

Как видим, порядок следования материала в обоих произведениях почти везде одинаков. Только в отдельных случаях последовательность эпизодов у Анны отлична от Вильгельма Апулийского. Как у одного, так и у другого писателя есть оригинальные эпизоды, но, как правило, они касаются или внутренних византийских дел (у Анны), или событий в Италии (у Вильгельма). Повествуя о событиях в Византии, Анна нередко отходит от канвы рассказа Вильгельма, но затем всегда возвращается к тому месту, от которого отклонилась.

Сходство в расположении материала у обоих авторов особенно убедительно проявляется в следующем примере. Вильгельм Апулийский, рассказ которого обычно выдержан в строгой хронологической последовательности, рассказывает о том, как Роберт, оставив во главе войска своего сына Боэмунда, весной 1082 г. вернулся в Италию, где вступил в борьбу с Генрихом IV и подавлял мятеж своих вассалов (V, 524–570). Доведя повествование до 1083 г., Вильгельм возвращается назад и приступает к рассказу о действиях оставленного на Балканах Боэмунда. Точно такое же нарушение хронологической последовательности мы встречаем в соответствующей части «Алексиады» (II, p. 17).

Естественно, что степень подробности эпизодов у обоих авторов различна. То, чему Вильгельм посвящает считанные строки, у Анны нередко занимает несколько страниц текста. Реже наблюдается обратная картина: как правило, Анна излагает события значительно подробней и детальней, нежели Вильгельм.

Между обоими авторами наблюдается также весьма значительное совпадение сообщаемых ими исторических деталей. Не приводя длинного списка этих совпадений, обратим внимание лишь на уже отмеченную Вильмансом одинаковую ошибку, которую допускают как Анна, так и Вильгельм. Рассказывая о встрече Роберта Гвискара и Григория VII летом 1080 г., оба автора полагают, что она имела место в Беневенте (Anna, I, p. 49; Guil Ap., IV, 16–43). На самом же деле встреча в Беневенте состоялась за 7 лет до того, в 1073 г. Встреча же 1080 г. происходила в Кепрано.[41]

Еще более показательными, чем совпадения фактических деталей, являются лексические соответствия текстов Вильгельма и Анны. Эти соответствия наиболее ярко проступают в двух эпизодах: историко-мифологическом экскурсе о Диррахии и сцене осады Диррахия Робертом. Приведем полностью экскурс о Диррахии в изложении того и другого писателя.

Вильгельм (IV, 236–243):

Rex Epirotarum dicier hanc Epidamnum / Pyrrhus praecepit, quia fortia ferre Quiritum / Bella Tarentins sociatus non dubitavit. / Inde frequens bellum varios et passa labores / Evacuata viris fuit ad nihilumque redacta / Destructam spatio post composuere minori / Zetus et Amphion, et praecepere vocari Dirrachium...

Анна (I, p. 142): Ἐν ᾗ βασιλεύς ποτε Ἠπειρώτης Πύρρος Ταραντίνοις ἑνωθεὶς Ῥωμαίοις ἐν Ἀπουλήᾳ καρτερὸν τὸν πόλεμον συνεστήσατο καὶ ἀνδροκτασίας ἐντεῦθεν πολλῆς γεγονυίας, ὡς ἅπαντας ἄρδην ξίφους παρανάλωμα γεγονέναι, ἄοικος πάντη καταλέλειπται. Ἐν ὑστέροις δὲ χρόνοις ὡς Ἕλληνες φασι καὶ αὐτὰ δὴ τὰ ἐν τῇ πόλει γλυπτὰ γράμματα μαρτυροῦσιν, ὑπ' Ἀμφίονος καὶ Ζήθου ἀνοικοδομηθεῖσα εἰς ὅ νῦν ὁρᾶται σχῆμα αὐτίκα καὶ τὴν κλῆσιν μεταμείψασα Δυρράχιον προσηγόρευται.

В приведенном отрывке бросаются в глаза следующие лексические соответствия: Tarentinis societatus — Ταραντίνοις ἑνωθεὶς, Evacuata viris fuit — ἄοικος πάντη καταλέλειπται, Destructam spatio post composuere minori Zetus et Amphion — Ἐν ὑστέροις δὲ χρόνοις... ὑπ' Ἀμφίονος καὶ Ζήθου ἀνοικοδομηθεῖσα.

А вот эпизод осады Диррахия (Guil. Ap., IV, 243–271; Anna, I, p. 143–144). Последовательность рассказа у обоих авторов совпадает, и мы ограничимся пересказом эпизода, отмечая в скобках случаи лексического соответствия.

Осажденные в городе охвачены страхом (Fit pavor obsessae non parvus civibus urbis — Guil. Ap., IV, 244; μεγίστῳ δέει συνείχοντο — Anna, I, p. 143.12). Повсюду расположилась стража (Et vigiles statuunt; custodia fida per urbem ponitur — Guil. Ap., IV, 245–246; Σκοποὺς δι' ὅλου καταστήσας τοῦ τείχους — Anna, I, P. 143.20). О начавшейся осаде сообщают Алексею (...imperio factam ducis obsidionem notificant — Guil. Ap., IV, 246–247; ... διὰ γραμμάτων τὴν τοῦ Ῥομπέρτου ἔφοδον τῷ αὐτοκράτορι ἐδήλον — Anna I, p. 143.23–24), Роберт сооружает огромную деревянную башню, на которой устанавливается камнеметное орудие. Жители города, видя, что лагерь Роберта увеличивается и норманнский вождь не собирается прекращать осады, отправляют к Роберту послов, чтобы выяснить цель прихода норманнов (cur venerit ille requirunt — Guil. Ap., IV, 259; ...κελεύει... ὁ Παλαιολόγος πυθέσθαι ὅτου χάριν παραγέγονεν — Anna, I, p. 144.17–18). Роберт отвечает, что цель его прихода — восстановить на престоле своего зятя Михаила. Диррахийцы требуют показать им мнимого Михаила, которого под музыку, в сопровождении торжественной процессии выводят к стенам города (Cornicinum sonitu circumdatus atque tubarum et plectris, qui se Michaelem finxerat esse, more coronatus deducitur imperiali — Guil. Ap., IV, 264–267; ...μετὰ λαμπρᾶς προπομπῆς παντοίοις ὀργάνοις μουσικοῖς καὶ κυμβάλοις κατατυπούμενον ὑποδεικνύουσιν — Anna, I, p. 144.27–28). Толпа диррахийцев отказывается признать Лжемихаила.

Можно привести и другие примеры лексических соответствий текстов Вильгельма и Анны,[42] однако уже упомянутых случаев достаточно для утверждения, что сходство между обоими авторами не является случайностью. Но какова причина этого сходства? Возможность использования Вильгельмом «Алексиады» исключается по соображениям хронологии.[43] «Деяния Роберта Гвискара» создавались между 1095–1099 гг. Анна также не могла читать Вильгельма, ибо, во-первых, судя по всему, писательница не знала латыни, во-вторых, в «Алексиаде» содержится большое число деталей, отсутствующих в «Деяниях». Остается единственно возможное предположение: Вильгельм и Анна пользовались каким-то общим источником, не дошедшим до наших дней. Одинаковый порядок расположения материала и лексические соответствия свидетельствуют о том, что этот источник был письменным. Благодаря тому, что рассказ Анны, как правило, значительно более подробен, чем повествование Вильгельма, в некоторых случаях удается даже проследить, каким образом итальянский поэт искажает свой источник. Весьма показателен в этом отношении следующий пример. Рассказывая о кораблекрушении флота Роберта, Анна сообщает: море рассеяло на прибрежном песке сумки (βαλάντια) и все другое, что везли с собой моряки (I, p. 141). В следующей фразе Анна пишет, что многие трупы погибших остались непогребенными и в результате поднялось сильное зловоние. У Вильгельма же в соответствующем месте (IV, 222–224) читаем: «Хлеб, размокший от дождя, пропал и, прибитый волнами к берегу, образовал зловонные кучи». Трудно себе представить зловоние, исходящее от размокшего хлеба. Видимо, у Вильгельма имела место своеобразная контаминация двух различных мыслей источника, сохраненных Анной: провизия моряков рассеялась по берегу, зловоние исходит от непогребенных трупов.

Сравнительно подробное изложение аргументов в доказательство существования общего письменного источника потребовалось нам потому, что в научной литературе нет единого мнения о причинах сходства текстов Анны и Вильгельма. Р. Вильманс, посвятивший более столетия назад этому вопросу специальное исследование, настаивает на существовании общего письменного источника;[44] Е. Остер, которому, по-видимому, осталась неизвестной работа Р. Вильманса, говорит об общем устном источнике;[45] К. Крумбахер просто ссылается на Р. Вильманса,[46] Ф. Шаландон осторожно упоминает о письменных или по крайней мере устных рассказах, послуживших источником для обоих авторов.[47] В предисловии к своему изданию поэмы Вильгельма М. Матье вообще отрицает наличие какого бы то ни было общего источника.[48]

Как уже говорилось выше, наличие общего, и притом письменного, источника «Алексиады» и «Деяний Роберта Гвискара» нам представляется безусловным. Пытаясь ответить на вопрос, что это был за источник, Р. Вильманс обращает внимание на слова Анны о некоем латинянине, «который рассказал мне обо всех этих событиях и который, как он сам говорил, был отправлен к Роберту в качестве посла епископом Бари». Латинянин уверял, «что проделал эту кампанию вместе с Робертом» (ὁ ταῦτά μοι διηγούμενος Λατῖνος, ὡς ἔλεγε, πρέσβυς τοῦ ἐπισκόπου Βαρέως πρὸς τὸν Ῥομπέρτον ἀποσταλείς, καὶ ὡς διεβεβαιοῦτο, σὺν τῷ Ῥομπέρτῳ τὴν τοιαύτην διέτριβε πεδιάδα — I, p. 141–142).

Само по себе предположение Р. Вильманса представляется вполне правдоподобным.[49] В то же время следует обратить внимание на ряд соображений, мешающих безоговорочно принять выводы ученого.

1. Анна говорит о латинянине, «рассказавшем мне» (μοι διηγούμενος). Как отмечает Р. Вильманс, глагол διηγέομαι может употребляться как в отношении устного, так и письменного рассказа. Однако местоимение μοι (мне), употребленное писательницей, значительно затрудняет понимание этого глагола в последнем значении.

2. Наблюдения над текстом Вильгельма показывают, что итальянский поэт близок к Анне и в описаниях внутренних византийских дел. Так, например, Вильгельм сводит рассказ о времени правления Никифора Вотаниата (IV, 77–121) к описанию подвигов юного Алексея, которому (злейшему врагу прославляемого им Роберта) дает восторженную характеристику. Интересно, что большое место в этом рассказе занимает повествование о ночном бое Алексея и Василаки (IV, 96–116), о котором подробно повествуется у Вриенния и Анны.[50]

Еще более странным кажется уже отмеченное совпадение в историко-мифологическом экскурсе о Диррахии. Трудно себе представить, чтобы греческий историограф сообщал о Зете и Амфионе, якобы отстроивших Диррахий,[51] на основании слов посланца барийского епископа, тем более что сама Анна ссылается на то, что «так рассказывают эллины (ὧς ῞Ελλενες φασι) и что об этом свидетельствуют имеющиеся в городе высеченные надписи» (... τὰ ἐν τῇ πόλει γλυπτὰ γράμματα μαρτυροῦσιν — I, p. 142).

3. В отдельных случаях существует удивительная близость между рассказами обоих авторов о тех эпизодах, где участвовал Георгий Палеолог, которого Анна называет одним из главных источников своих сведений.[52] Это в первую очередь относится к уже приведенному эпизоду осады Диррахия.[53] Кажется странным, чтобы Анна, имея такой непосредственный источник, как Георгий Палеолог, пользовалась рассказом барийца.

Приведенные аргументы ни в коей мере не подрывают нашего основного тезиса о существовании общего письменного источника. Приведенные аргументы лишь свидетельствуют о том, что вопрос о характере этого источника значительно сложнее, чем это представлялось в свое время Р. Вильмансу и следовавшему за ним К. Крумбахеру.

Можно с достаточной определенностью утверждать, что в воспроизведении событий борьбы Алексея с Робертом Анна не ограничивалась использованием одного источника, общего с Вильгельмом Апулийским. В рассказе Анны нетрудно заметить сведения, полученные от отца, дяди (Георгия Палеолога) и от других лиц. Так, очень мало точек соприкосновения мы находим в рассказах Анны и Вильгельма о выступлении Алексея из Константинополя и о битве под Диррахием (Guil. Ap., IV, 317–445; Anna, I, p. 150–163) или о борьбе Алексея с Боэмундом в 1082–1083 гг. (Guil. Ap., V, 1–79; Anna, II, p. 17–32) и др. У Вильгельма эти события изображены с точки зрения норманна, у Анны — с точки зрения византийца. В одном случае Анна прямо ссылается на Петра Алифу — норманнского рыцаря, в дальнейшем перешедшего на службу к Алексею (I, p. 161). Таким образом, в ряде случаев, где писательница имела возможность воспользоваться более надежными и прямыми сведениями, ее рассказ уклоняется от канвы повествования общего с Вильгельмом источника.[54]

Есть также некоторые основания полагать, что, кроме источника, общего с Вильгельмом, Анна обращалась и к какому-то другому источнику западного происхождения. Об этом свидетельствуют некоторые противоречия в тексте Анны, которых мы не находим у Вильгельма Апулийского. Наиболее показательно в этом отношении следующее. Анна сообщает о том, как ловко Роберт отделался от домогательств германского императора Генриха IV и папы Григория VII, каждый из которых стремился привлечь на свою сторону норманнского вождя (I, p. 51). Анна даже приводит текст издевательского письма, направленного Робертом Григорию, где норманн, ссылаясь на свои планы борьбы с Византией, отказывает папе в его просьбе. Однако вскоре (I, p. 52–53) та же Анна сообщает, что, отплывая из Лонгивардии, Роберт наказывает своему сыну Рожеру, а также Роберту Лорителло оказывать всемерную поддержку папе. Это последнее сообщение содержится также в поэме Вильгельма (IV, 198). Однако у Вильгельма нет никакого противоречия, ибо он ничего не сообщал об обращении папы к Роберту и об отказе последнего.[55] Вообще в этой части «Алексиады» обнаруживается сравнительно большое число противоречий и несоответствий, отсутствующих у Вильгельма.[56] Можно думать, что многие из них являются не отражением противоречий источника, а результатом неудачной контаминации сведений, почерпнутых из разных источников.[57] Пример такой неудачной контаминации из Продолжателя Скилицы и Пселла мы приводили выше.

Как и в других местах своего сочинения, Анна включает в рассказ документальный материал: указ о привилегиях венецианцам[58] и письмо Льва Кефалы Алексею.[59] Если в передаче фактического материала между Анной Комниной и Вильгельмом Апулийским различий сравнительно мало, то в оценке событий византийский историограф и итальянский поэт расходятся кардинально. Вильгельм прославляет своего героя Роберта и весьма благожелательно относится к папе, Анна же не упускает случая опорочить их обоих. В отдельных случаях можно даже наблюдать, как одно и то же место источника дает Анне и Вильгельму повод для создания одинаковых по смыслу, но совершенно различных по освещению эпизодов.

Характерным в этом отношении примером является эпизод приготовления Роберта к походу на Византию. Согласно Вильгельму (IV, 122–131), Роберт, находясь в Салерно, велит войску собираться в Гидрунте. Отовсюду требует он даров и новобранцев. Многие, особенно те, у кого оставались дома жены и дети, не хотели идти на военную службу, и Роберту пришлось прибегать не только к уговорам, но и к угрозам. Вильгельм просто упоминает о факте. Анна же рисует патетическую картину, как властолюбивый и жестокий Роберт, безумствуя наподобие библейского Ирода, призывает на службу и старых и малых, людей, никогда не державших в руках оружия, как по всей стране поднялся ропот и повсюду раздавались причитания женщин, оплакивавших своих родных (I, p. 51–52).[60]

Сопоставление текстов Вильгельма Апулийского и Анны позволяет сделать некоторые дополнительные выводы о методах использования Анной своих источников.[61] Историограф использует общий с Вильгельмом источник в качестве канвы для своего повествования, часто контаминирует его данные с другими сведениями и существенно меняет характер освещения изображаемых событий. Контаминация иногда приводит Анну к ошибкам, однако интересно уже само стремление историографа к сопоставлению и творческой переработке данных других источников.

* * *

В «Алексиаде» содержатся ссылки на большой документальный материал: императорские хрисовулы, договоры, письма и т. д. Некоторые из этих документов цитируются или даже полностью приводятся

историографом. Что касается государственных документов, то это в первую очередь Девольский мирный договор Алексея и Боэмунда 1108 г. (III, p. 125–139), хрисовул Алексея матери Анне Далассине 1081 г. (I, p. 120–122) и указ о привилегиях венецианцам 1082 г. (II, p. 54–55).

Подлинность Девольского договора, самого крупного и интересного документа в «Алексиаде», не вызывает сомнений. О ней свидетельствует хотя бы подробнейшее перечисление — вплоть до самых мелких — географических пунктов, отошедших к Алексею или, напротив, присоединенных к владениям Боэмунда.[62]

Относительно хрисовула Алексея матери [63] сама Анна заявляет, что полностью приводит его текст, «опуская лишь красоты стиля его составителя» (τὰς τοῦ γραφέως μόνον κομψείας περιελοῦσα — I, p. 120.24–25). Подлинность этого документа подтверждается и анализом его формы. Обычный хрисовул X–XII вв. имел довольно строгую форму, состоявшую из начального протокола (включавшего в себя призыв к Св. Троице, титул выдававшего грамоту и обращение к ее читателям), введения (arenga), изложения (narratio), имевшего целью объяснить, какими соображениями руководствовался выдававший при составлении документа, содержащего сведения об учреждении или лице, которому выдается хрисовул, распоряжения (dispositio), где излагается суть документа (обычно по определенной формуле), а также предостережения и угрозы (minatio) по адресу тех, кто осмелится нарушить распоряжения хрисовула, и заключительного протокола (эсхатолога), состоящего из даты (название месяца пишется киноварью и императорской рукой), подписи выдавшего и скрепы должностного лица.[64]

Большинство перечисленных частей мы находим и в хрисовуле, приведенном Анной. В документе отсутствует начальный (так же как и конечный) протокол, он начинается непосредственно с введения, где говорится о том, что «никто не может сравниться с добросердечной и чадолюбивой матерью», которая всегда является надежной защитой в беде, добрым советчиком и т. д. (I, p. 120.28–121.3). Затем в хрисовуле говорится о необыкновенных качествах Анны Далассины, которые и побудили Алексея в трудную минуту обратиться за помощью к матери и вручить ей управление государством (I, p. 121.3–24). Эта часть — типичное «изложение». В следующей части (распоряжении) подробно излагаются случаи, когда приказы Анны Далассины приравниваются к императорским распоряжениям (I, p. 121.24). Хотя в конце хрисовула и нет традиционных угроз, однако там содержится напоминание, что никто не имеет права потребовать отчета или призвать к ответу Анну Далассину «вне зависимости от того, покажутся им ее действия разумными или неразумными» (I, p. 122.5–6).

Если в предыдущих случаях приходилось доказывать подлинность цитированных историографом документов на основании самого текста Анны, то для третьего большого документа, сохраненного писательницей, — указа о привилегиях венецианцам — нет никакой необходимости в доказательствах его подлинности, ибо до нас дошел включенный в более поздние документы латинский перевод хрисовула Алексея, декларирующий эти привилегии.[65]

В отличие от Девольского мирного договора и хрисовула Анне Далассине, Анна не цитирует, а излагает содержание документа.

При сопоставлении нетрудно заметить, что в латинском тексте хрисовула и в изложении Анны встречается немало аналогичных выражений, что порядок перечисления привилегий в обоих случаях почти одинаков. В то же время обращает на себя внимание то обстоятельство, что в изложении Анны опущены почти все подробности: суммы роги, выплачиваемой венецианским должностным лицам, названия мест, где беспошлинно могли торговать венецианские купцы, виды пошлин, от которых они освобождаются, и т. д. Принимая во внимание, что при изложении других документов Анна обычно строго фиксирует все подробности, следует заключить, что историограф передал хрисовул по памяти или же по какому-то беглому, неподробному изложению.[66]

Не может быть сомнения, что опальная, постоянно живущая в монастыре принцесса каким-то образом имела доступ к документам государственного архива. Возможно, последние годы жизни историографа проходили не в слишком строгой изоляции от мира.[67] Может быть, Никифор Вриенний, заготовляя материал для своей истории, снял копии с некоторых архивных документов.[68] Так или иначе эти документы оказались доступны историографу.[69]

Гораздо более сложным представляется нам вопрос о степени достоверности многочисленных писем Алексею и от Алексея, включенных писательницей в свое произведение. До нас не дошло ни одного оригинала приведенных Анной писем, для этого жанра невозможно установить четких формальных критериев и стилистических особенностей, которые помогли бы определить их подлинность. По мнению Дж. Баклер, письма в «Алексиаде» «носят печать лишь одной личности — личности самой писательницы. Анна, видимо, не предполагала, что кто-нибудь сочтет их подлинными».[70]

Тем не менее, несмотря на столь категорическое заявление английской исследовательницы, можно привести некоторые аргументы

в подтверждение подлинности отдельных писем. Обращает на себя внимание, что почти во всех письмах по отношению к императору употребляется почетное обращение ἡ βασιλεία или ἡ ἐξουσία. Такое обращение почти нигде не встречается в авторском тексте «Алексиады», но оно постоянно употребляется в документах, в том числе в цитированных Анной.

Не может быть сомнений (впрочем, это признает и Дж. Баклер), что подлинным является письмо Алексея к Генриху IV с предложением дружбы и союза (I, p. 133–136).[71] Достоверность этого письма подтверждается его витиеватым стилем, обилием торжественных обращений, подробным перечислением даров, отправляемых германскому императору.

Приведем некоторые соображения относительно других писем.

Письмо Боэмунда Алексею 1099 г.[72] В ответ на требование Алексея отдать ему Антиохию Боэмунд отправляет византийскому императору письмо, обвиняя последнего в предательстве. В то время, пишет Боэмунд, как крестоносцы, терпя всевозможные лишения, осаждали Антиохию, полководец Алексея Татикий бросил крестоносное войско среди опасностей и ушел. Справедливо ли, вопрошает норманнский вождь, чтобы после этого Антиохия досталась Алексею? Оценка действий Татикия в письме Боэмунда полностью совпадает с характеристикой поведения византийского полководца в западных источниках, единодушно обвиняющих его в трусливом бегстве.[73] Сама Анна ранее (III, p. 20) утверждала, что Татикий покинул крестоносцев по настоянию Боэмунда. Если бы писательница сама сочиняла текст письма Боэмунда, она не смогла бы допустить такого противоречия.

Письмо сербского жупана Вукана Алексею 1093 г. (II, p. 167). Вукан, опасаясь наступления Алексея, обвиняет ромейских «сатрапов» в нарушении мирного договора, обещает вернуться на родину, не предпринимать никаких враждебных действий и выдать византийскому императору заложников. На подлинности этого письма настаивает сербский исследователь Н. Радойчич,[74] который приводит следующий довод: обычно Анна, так же как и другие византийские писатели того времени, называет сербов далматами, а Далмацию Сербией. В письме же Вукана встречается наименование «Сербия». Этому выводу, казалось бы, противоречат два других примера употребления Анной наименований «сербы» и «Сербия». Этникон «сербы» Анна использует непосредственно перед письмом Вукана (II, p. 167.3), название «Сербия» (наряду с «Далмацией») Анна мимоходом употребляет, перечисляя места, где были рассеяны византийские вой-

ска накануне крестовых походов (III, p. 160.24). Однако в первом случае Анна, видимо, употребляет этникон «сербы» по аналогии с «Сербией» в письме Вукана. Во втором случае Анне для достижения эффекта важно употребить как можно большее число географических названий, и она говорит о Сербии наряду с Далмацией.[75]

Письмо Гуго Вермандуа, младшего брата Филиппа I, Алексею (II, p. 213). Гуго, гордо именующий себя «царь царей и самый великий из живущих под небом» (ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλέων καὶ ὁ μείζων τῶν ὑπ' οὐρανόν), предуведомляет византийского императора о своем приходе и требует устроить ему достойную встречу. Обращают на себя внимание необычные эпитеты, которыми наделяет себя Гуго. Интересно, что в западных источниках Гуго постоянно фигурирует с эпитетом magnus, т. е. великий, который Брейе объяснил как неверно понятое французское mainsne (moins né, т. е. младший сын).[76] Не является ли μείζων Анны аналогом к magnus латинских источников?

Письмо Льва Кефалы Алексею 1083 г. (II, p. 24–25). Осажденный войском Боэмунда в Ларисее, Лев Кефала жалуется на отчаянное положение гарнизона, требует немедленной помощи от Алексея, угрожая императору, что ему не уйти от обвинений в предательстве, если он сразу же не поспешит на помощь. Вызывает сомнение, чтобы Анна сама сочинила и вложила в уста Льва Кефалы столь резкие выражения по адресу боготворимого ею отца.

* * *

Анализ «Алексиады» позволяет сделать вывод, что Анна в подавляющем большинстве случаев имела достаточно надежные и авторитетные источники информации и лишь в редких случаях невольно искажала их данные. Писательница осмысляла и сопоставляла свои источники, часто (хотя и не всегда удачно) комбинировала различные сообщения об одних и тех же событиях. Можно говорить о наличии в «Алексиаде» элементов исторической критики.[77]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Oster E.* Anna Comnena, II. Rastatt, 1870. S. 32 f.

[2] *Chalandon F.* Essai sur le règne d'Alexis I^er Comnène. Paris,1900. P. XI sq.

[3] *Buckler G.* Anna Comnena, a study. Oxford, 1929. P. 229 f.

[4] Все ссылки на «Алексиаду» даются по изданию: *Anne Comnène.* Alexiade, règne de l'empereur Alexis I Comnène,1081–1118. Texte établi et traduit par B. Leib, I–III. Paris, 1937–1945.

[5] См., например, эпизод битвы под Диррахием 1081 г. (I, p. 150 sq.).

[6] *Chalandon F.* Op. cit. P. XVII.

[7] См.: *Любарский Я.* Замечания о хронологии XI книги «Алексиады» Анны Комниной // ВВ. XXIII. 1963. С. 47 и сл.

[8] «...Главным образом я собрала сведения во время правления третьего императора после моего отца» (III, p. 175.8–10).

[9] В тексте «Алексиады» встречается немало ссылок на безымянных очевидцев или участников событий (см. I, p. 104, 106, 130–131; II, p. 62, 183; III, p. 97 и др.).

[10] На самом деле первым западным рыцарем, отправившимся в крестовый поход, был Гуго Вермандуа, не говоря уже о том, что рыцарскому войску предшествовало крестьянское ополчение под водительством Петра Пустынника.

[11] См.: *Sybel H. V.* Geschichte des ersten Kreuzzuges. Leipzig, 1881. S. 98. Anm. 3.

[12] Ср.: *Lemerle P.* Byzance et la croisade // Relazioni del X congresso internazionale di scienze storiche. Roma, 1955. Vol. 3. P. 600.

[13] См.: *Ioannis Zonarae* epitomae historiarum libri XIII–XVIII, ed. Th. Büttner-Wobst. Bonnae, 1897. P. 742, 749–750.

[14] Сочинение Вриенния цитируем по изданию: *Nicephori Bryennii* commentarii, rec. A. Meineke. Bonnae, 1836.

[15] По выражению Дж. Баклер (Op. cit. P. 230), «Алексиада» вполне могла принадлежать перу Вриенния. По мнению английской исследовательницы, «Алексиаду» от «Записок» отличает лишь более трудный и стилизованный язык.

[16] *Michaelis Attaliotae* historia, rec. I. Bekker. Bonn, 1853. P. 242.

[17] Вопрос о том, был Никифор Вриенний Старший отцом или дедом мужа Анны, по-разному решается различными исследователями. См. об этом: *Wittek-De Jongh S.* Le césar Nicéphore Bryennios, L'historien et ses ascendants // Byz. 23. 1953. P. 463–465.

[18] См., например, обращение Алексея к Тутаху с просьбой схватить Руселя (*Anna*, I, p. 11–12 = Nic. Br., p. 86–87) и две речи Алексея перед амасийцами (*Anna*, I, p. 13 = Nic. Br., p. 88; *Anna*, I, p. 14 = Nic. Br., p. 89–90).

[19] Об эпических чертах стиля Анны см.: *Katičić R.* Ἄννα ἡ Κομνηνὴ καὶ ὁ Ομηρος // ΕΕΒΣ. 27. 1957. Р. Катичичу возражал Ф. Дэльгер (BZ. 51. 2. 1958. P. 420). Заметка Ф. Дэльгера вызвала в свою очередь развернутый ответ Р. Катичича (Ἡ ἀρχαιομάθεια καὶ τὸ ἐπικὸν πνεῦμα εἰς τὴν Ἀλεξιάδα τῆς Ἄννας Κομνηνῆς // ΕΕΒΣ. 29. 1959).

[20] Нами уже частично цитировалось это место. См. выше.

[21] Склонный к самоуничижению Вриенний скромно называет свой труд «материалом для истории», в то время как Анна, гордясь своим образованием и талантом, заявляет о том, что вполне способна взять на себя труд историка. Видимо, Анна на самом деле расценивает труд мужа как материал для своего сочинения. Стремление к художественному воспроизведению текста Вриенния лишний раз характеризует Анну как историографа с сильно развитыми светскими тенденциями (см. *Любарский Я.* Мировоззрение Анны Комниной // Уч. зап. Великолукского пед. ин-та. Вып. 24. 1964. С. 169 сл.).

[22] Об этом наступлении печенегов и об их переходе по льду Дуная рассказывается в сочинениях Пселла (*Michel Psellos.* Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976–1077), texte établi et traduit par E. Renauld, II. Paris, 1928. P. 124–125), Скилицы (*Georgius Cedrenus* Ioannis Scylitzae opera ab I. Bekkero suppletus et emendatus. II. Bonn, 1839. P. 545) и Иоанна Мавропода (*Iohannis Euchaitorum* metropolitae quae in codice Vaticano graeco 676 supersunt / ed. P. de Lagarde // Abh. d. hist.-philol. Cl. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. XXVII. 1. 1881, cap. 182). Обычная датировка этого события — 1048 г. Лишь в статье А. П. Каждана (Иоанн Мавропод, печенеги и русские в середине XI в. // ЗРВИ. Кн. VIII. Mélanges G. Ostrogorsky. Белград, 1963. С. 117 сл.) поход Тираха датируется 1046–1047 гг.

[23] О походе Исаака рассказывают Михаил Атталиат (p. 66–68), Продолжатель Скилицы (*Cedr.*, II, p. 645), Зонара (p. 671–672); см. также сообщения Пселла (*Sathas K.* Bibliotheca graeca medii aevi. V. Paris-Venetia, 1876. P. 416 sq.; Michaelis Pselli scripta minora magnam partem adnuc inedita / Ed. E. Kurtz–F. Drexler, II. Milano, 1941. P. 178 sq.; ср.: *Васильевский В.* Византия и печенеги // Труды. I. СПб., 1908. С. 25 сл.).

[24] *Psellos.* Chronogr., II, p. 124–125.

[25] Ibid. P. 125–127.

[26] *Psellos.* Chronogr., II, p. 127.

[27] Как утверждает сам Зонара (p. 673), его сведения о времени Исаака Комнина почерпнуты из сочинений Пселла и Фракисия (т. е. Скилицы). Целый ряд совпадающих деталей неопровержимо свидетельствует о том, что рассказ о походе Исаака Зонара почерпнул в сочинении Продолжателя Скилицы.

[28] *Krumbacher K.* Geschichte... S. 367; *Moravcsik Gy.* Byzantinoturcica. I. Berlin, 1958. S. 340. См. также: *Каждан А. П.* Критические заметки по поводу изданий византийских памятников // ВВ. XVIII. 1961. С. 285 и сл.

[29] См.: *Васильевский В.* Указ. соч. С. 25.

[30] Так, например, Анна ни словом не упоминает о Селте, единственном из печенегов, осмелившимся на бой с Исааком, и т. д.

[31] Ср., например, великолепное описание бури (I, p. 128), отсутствующее во всех прочих источниках.

[32] См.: *Theophylacti Simocattae* historia / Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1887. P. 39. Заимствование из Феофилакта было отмечено Ф. Дэльгером (BZ. 29. 1929. S. 304).

[33] Оно опубликовано Минем (PG, t. 130).

[34] Основываясь на сообщении Зигавина (PG, t. 130, col. 1289–1291), Анна описывает сцену, когда Алексей притворился последователем Василия и хитростью выведал у ересиарха его учение (III, p. 220). Зависимость Анны от Зигавина подтверждается не только общим сходством описаний этой сцены, но и некоторыми лексическими совпадениями.

[35] См.: *Wilken R.* Rerum ab Alexio I, Ioanne, Manuele et Alexio II Comnenis gestarum libri IV. Heidelberg,1811; *Wilmans R.* Über die Quellen der Gesta Roberti Wiscardi des Guillelmus Apuliensis // Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. 10. 1851. Hrsg. von. G. H. Pertz.

[36] Новейшее издание: *Pouille Guillaume de.* La geste de Robert Guiscard / Édition, traduction, commentaire et introduction par M. Mathieu. Palermo, 1961.

[37] Эпизоды, общие для обоих авторов, отмечены нами цифрами в скобках. Номер эпизода соответствует порядку следования его у Вильгельма Апулийского.

[38] Об этих событиях Анна рассказывала ранее (I, p. 9–36).

[39] Об этих событиях Анна подробно рассказывает во II книге «Алексиады».

[40] В конце I книги Анна прерывает рассказ о Роберте и обращается к повествованию о перевороте Комнинов. К Роберту Анна возвращается лишь в конце III книги.

[42] См., например, описание встречи папы и Роберта (*Anna*, I, p. 49; *Guil. Ap.*, IV. 16–43).

[43] См. предисловие М. Матье: *Pouille Guillaume de.* La geste..., 11–13.

[44] *Wilmans R.* Op. cit. S. 93–110.

[45] *Oster E.* Op. cit. S. 36.

[46] *Krumbacher K.* Geschichte... S. 275.

[47] *Chalandon F.* Op. cit. P. XII.

[48] См.: *Pouille Guillaume de.* La geste... P. 38–46. Аргументы М. Матье против общего источника не представляются нам достаточно серьезными. Во-первых, М. Матье голословно отрицает безусловные лексические совпадения между текстами Анны и Вильгельма. Во-вторых, не замечая одинакового порядка следования эпизодов, М. Матье признает сходство лишь трех эпизодов у обоих авторов (историко-мифологический экскурс о Диррахии, появление Лжемихаила под Диррахием и стоянка флота Роберта на р. Гликис). В первом случае, по мнению Матье, в произведениях обоих авторов независимо друг от друга получило отражение местное предание. Последний эпизод, согласно Матье, был рассказан Анне каким-нибудь латинянином, читавшим поэму Вильгельма. Что же касается эпизода появления Лжемихаила под стенами Диррахия, то, как утверждает М. Матье, он не мог быть заимствован из латинского источника, ибо свидетелем этой сцены был Георгий Палеолог — постоянный информатор Анны Комниной (см. выше). Аргументы Матье ни в коем случае не подрывают гипотезы об общем источнике и свидетельствуют лишь о том, что решение вопроса, предложенное Р. Вильмансом (автором общего источника является «бариец»), не может быть признано вполне удовлетворительным.

[49] Мы не останавливаемся здесь на предложенной Р. Вильмансом и поддержанной К. Крумбахером идентификации барийца, упомянутого Анной, с известным Иоанном Барийским. На невозможность такой идентификации указал М. Фуяно (*Fuiano M.* Une fonte dei Gesta Roberti Wiscardi di Puglia, le presunte opera di Giovanni archidiacono, Convivium // Raccolta Nuova. Torino, 1950. № 2. P. 249–271). Работа Фуяно известна нам лишь по ссылкам Матье (*Pouille Guillaume de.* La geste... P. 39).

[50] События этого ночного боя в описании всех трех совпадают, за исключением одной детали: согласно Никифору (p. 152–153) и Анне (I, p. 31), покинувший для виду свой лагерь Алексей напал на Василаки, когда тот занял его палатку. Согласно Вильгельму, Алексей напал на Василаки в его собственном лагере.

[51] Вильгельм и Анна допускают в данном случае странную ошибку: по греческому мифу, Зет и Амфион не отстроили Диррахий, а обнесли стенами город Фивы.

[52] См. выше.

[53] См. выше.

[54] Следует отметить, что мы, конечно, не в состоянии судить, насколько точно следует своему источнику сам Вильгельм.

[55] По словам Вильгельма (IV, 171–180), к Роберту обращался лишь Генрих IV, которому норманн отказал в поддержке, о чем и поставил в известность папу.

[56] Так, Анна сообщает, что Роберт берет с собой в поход Рожера (I, p. 57), и затем утверждает, что Рожер был назначен правителем Лонгивардии и оставлен в Италии (II, p. 14). Плодом ошибки является и сообщение Анны о морском сражении венецианцев с флотом Роберта летом 1082 г. (I, p. 148), о котором не говорится ни в одном другом источнике и которое противоречит хронологии самой Анны. Неверно датирует Анна стоянку флота Роберта на р. Гликис 1082 г. (IV, 31, p. 149–150). Дважды сообщает писательница (в цепи событий 1082 и 1084 гг. — I, p. 148 и II, p. 54–55) о привилегиях Алексея венецианцам, причем оба раза имеет в виду, конечно, один и тот же указ Алексея (см.: *Dölger F.* Regesten. II. № 1076, 1081).

[57] Возможно, из другого источника почерпнула Анна рассказ о посольстве Генриха IV к папе в 1076 г. и о жестоком обращении папы с послами (I, p. 47–48). Этого рассказа нет у Вильгельма, он необходим Анне как обоснование ссоры германского короля с папой, ссоры, заставившей папу искать союза с Робертом.

[58] См. ниже.

[59] См. ниже.

[60] Можно привести много других аналогичных примеров. Так, рассказав о замужестве дочерей Роберта, Вильгельм сообщает о высоком роде и доблести зятьев норманна (IV, 6–15), а Анна пускается в рассуждения о корыстолюбии Роберта, который из всего, в том числе и из брака своих дочерей, стремился извлечь выгоду.

[61] Надо, конечно, иметь в виду, что выводы в данном случае не могут иметь такого безусловного характера, как при сопоставлении текстов Анны и Вриенния, ибо мы не имеем самого источника, которым пользовался историограф.

[62] Подробнее см.: *Любарский Я., Фрейденберг М.* Девольский договор императора Алексея I Комнина с Боэмундом // ВВ. XXI. 1962. С. 260 сл.

[63] Хрисовул опубликован в кн.: *Zachariae C. E.* v. *Lingenthal I.* Jus Graeco-Romanum. III. Leipzig,1857. P. XXIII–XXIV; см.: *Dölger F.* Regesten. II. № 1073.

[64] См.: *Яковенко П.* Исследования в области византийских грамот, грамоты Нового монастыря на острове Хиос. Юрьев, 1917. С. 66 сл.; *Dölger F.* Byzantinische Diplomatik. Ettal.,1956. P. 40–41.

[65] См.: *Tafel Fr., Thomas G.* Urkunden zur alteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig. Wien, 1856. P. 52–53. Документ анализируется в статье: *Соколов Н.* Восточная политика венецианской плутократии в XII в. // Уч. зап. Горьковского гос. ун-та, серия ист.-фил. Вып. XVIII. 1950; *Он же.* Образование венецианской колониальной империи. Саратов, 1963. С. 281 сл.

[66] Обращает на себя внимание, что Анна рассказывает о привилегиях венецианцам в цепи событий 1084 г., в то время как на документе стоит точная дата (май месяц, пятый индикт, 6590 г., т. е. май 1082 г.).

[67] См. выше.

[68] Такое предположение высказывает Е. Остер (Op. cit. S. 38).

[69] Ф. Шаландон утверждает, что Анна должна была также знать соборные постановления о Льве Халкидонском, Итале, Ниле и утерянный акт о реорганизации приюта св. Павла (Op. cit. P. XIV). Сравнение текста «Алексиады» с дошедшими до нас соборными постановлениями не представляет никаких надежных аргументов в подтверждение мысли Ф. Шаландона.

[70] *Buckler G.* Op. cit. P. 235, n. 5.

[71] *Dölger F.* Regesten. II,№ 1077. В отличие от других исследователей (*Meyer G. von Knonau.* Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV und Heinrich V. III. Leipzig, 1900. S. 448–449; *Ohnsorge W.* Das Zweikaiserproblem in früheren Mittelalter. Hildeshein,1947. S. 82 и др.),датирующих это письмо 1081 г., Ф. Дэльгер относит его к 1082 г.

[72] *Dölger F.* Regesten. II. № 1212. Ряд исследователей датирует это письмо 1103 г. Подробно о датировке письма Боэмунда см.: *Любарский Я.* Замечания о хронологии... С. 52.

[73] См.: *Agiles Raimundi de.* Historia francorum (RHC occ. III). VI; Gesta francorum (Histoire anonyme de la I^re croisade, texte établi et traduit par L. Bréhier. Paris,1924),VI, 16; *Alberti Aguensis* liber christianae expeditionis (RHC occ. IV, 1879), III, 88.

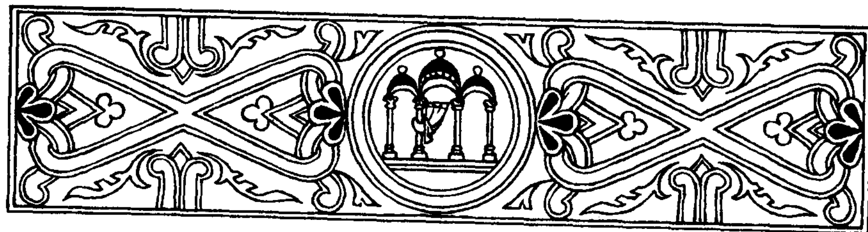
[74] *Радојчи Р.* Вести Ане Комнине о србима // Гласник скопског научног друштва. 1928. № 3. С. 20.

[75] Возможно, под Далмацией Анна понимает прибрежные районы Сербии, а под Сербией — ее внутренние области.

[76] См.: *Bréhier L.* Histoire Anonyme... P. 14, n. 3.

[77] В этом отношении интерес представляют слова самой Анны. Говоря о «безыскусных сочинениях стариков» (см. выше), писательница сообщает: «По ним судила я об истинности своей истории, сравнивала и сопоставляла свое повествование с их рассказами, а их рассказы с тем, что я нередко слышала от своего отца и от дядей с материнской и отцовской стороны. Из всего этого и выросло древо истины» (III, p. 176).





«АЛЕКСИАДА» АННЫ КОМНИНОЙ — ШЕДЕВР ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ? *

Отнюдь не всем читателям нового времени пришлась по вкусу *Алексиада* Анны Комниной. Не кто иной, как Фридрих Шиллер писал, например, о «плохом стиле и дурном вкусе Анны».[1] Не только великий немецкий романтик, но даже некоторые византинисты отказывались видеть в сочинении Анны какую-то ни было оригинальность и художественную ценность.[2]

Однако несмотря на такие вполне авторитетные суждения, труд Анны и поныне оценивается не только как первоклассный исторический источник, но и шедевр средневековой литературы.[3]

Каковы бы ни были суждения о художественных дарованиях писательницы — от негативных до самых восторженных — большинство из них, как правило, основываются на субъективных вкусах, а не на критическом анализе текста. Вряд ли имеет смысл продолжать дальше дискуссию, исходя из предпосылок типа «мне нравится или не нравится *Алексиада*». Гораздо важней попытаться рассмотреть это сочинение в контексте истории византийской литературы или по крайней мере ее историографического жанра.

Каждый, кто знаком с литературой последнего времени, посвященной Анне Комниной, не может не заметить, что в последнее время некоторые исследователи, никакого отношения к литературоведческим проблемам не имеющие, обнаружив «ошибки», «неточности», а то и просто вымысел в *Алексиаде*, отказались от традиционных объяснений типа «историк забыл, ошибся, спутал» и т. п. и начали искать их причины в самóм историческом или, если угодно, художественном методе историографа. (Можно ли делать какое-нибудь различие между тем и другим для эпохи, не знавшей строгого разграничения науки и «литературы», обозначавшей то и другое термином λόγοι и чаще всего именовавшей всех авторов без разбора одним словом συγγραφεύς?) Приведем отдельные примеры. В статье, посвященной богомилам в Константинополе,[4] ее автор задается вопросом, почему Анна рассказывает о расправе Алексея над еретиком Василием в самом конце своего сочинения, в контексте событий 1116–1117 гг., в то время как на самом деле эти события должны были иметь место во всяком случае до 1104 г.[5] Предположить простую забывчивость невозможно: Анне, свидетельнице расправы, было в то время уже около 30 лет, и сместить события более чем на десять лет она не могла! Автор статьи закономерно предполагает, что дело заключается в «структурных потребностях» (structural requirements), иными словами, в художественных задачах, стоявших перед писательницей.

Совершенно аналогичное наблюдение через несколько лет сделал Р. Лилие уже в применении к событиям Первого крестового похода. Многие неточности и хронологические сдвиги в этом разделе сочинения писательницы ученые замечали и раньше и объясняли, как водится, или lapsus memoriae автора, или недостаточностью ее источников, или, наконец, ее семейной, политической и всякой иной ангажированностью, заставлявшей ее сознательно или бессознательно видоизменять факты.[6]

Однако Р. Лилие эти объяснения показались недостаточными. Он предположил, что в ряде случаев для Анны «истина» (что бы мы не понимали под этим словом) и точное изображение реальных событий вообще не имеют большого значения. Частности и подробности отступают в ее сознании на задний план перед главной ее целью: создать драматически напряженное повествование, захватывающий рассказ об истории, поражающий воображение читателей. Вот один из примеров.

В 1096 г. после объявления крестового похода за освобождение гроба Господня отряды крестоносцев в течение нескольких месяцев морем и сушей по пути в Иерусалим прибывали в Византийскую империю. Напуганный множеством воинственных и жадных западных воинов, Алексей стремился как можно скорей препроводить их в Малую Азию и не дать скопиться в Константинополе. Как свидетельствуют западные источники, события эти заняли полгода, Анна

---

* Статья представляет собой расширенный вариант «послесловия» ко второму изданию моего перевода *Алексиады* Анны Комниной: *Анна Комнина*. Алексиада. Перевод с греческого Я. Н. Любарского. СПб., 1997. С. 689–697.

Алексиада цитируется по изданию: *Anne Comnène*. Alexiade // Ed. B. Leib. I–IV (Paris, 1937–1976).

же «укладывает» их в две недели. Причину такого хронологического сдвига Лилие видит не в забывчивости писательницы, которой в 1096 г. было уже тринадцать лет — по византийским понятиям возраст уже не малый — а в ее стремлении максимально драматизировать ситуацию: одно дело, если события растянуты на полгода, другое — если все происходит в короткий срок.[7]

Более того, можно предполагать, что некоторые сцены *Алексиады* вообще являются плодом воображения писательницы. Подозрителен в этом отношении, например, эпизод, имевший якобы место в начале 1097 г. Поверив ложным слухам, полчища крестоносцев устремились тогда на штурм византийской столицы. В ее обороне среди других воинов участвует муж Анны — Никифор Вриенний (*Alexias*, II, p. 224. 9 ff.). Его героическое поведение описывается с нескрываемым восхищением и эпическим размахом. Расположившись на башне городской стены, искуснейший стрелок из лука кесарь Вриенний осыпает врагов стрелами, которые, однако, не поражают вражеских воинов, а летят мимо, но не потому что кесарь промахивался, а потому что уважал святость дня (был четверг Страстной недели). Почему появилась эта совсем необязательная сцена в *Алексиаде*? Вряд ли потому просто, что Вриенний был плохим лучником, и Анна хотела оправдать неметкую стрельбу мужа и одновременно сравнить его с гомеровским Тевкром, Аполлоном, Гераклом и обоими Аяксами. Легко предположить, что этот эпизод служит своеобразным противовесом другой, немного ранее описанной в *Алексиаде* сцене, где латинский священник, вопреки своему сану, сам обливаясь кровью, безжалостно поражает из «варварского лука» цангры ромеев (*Alexias*, II, p. 218. 4 ff.). Контраст нечестивого латинского священнослужителя и богобоязненного, щадящего даже врагов в святой день византийского кесаря вероятней всего был рассчитан на драматический эффект.

Подобного рода трактовки вызывали возражения, нередко серьезные.[8] В принципе, строгими методами ни ту, ни другую позицию обосновать невозможно, однако большое число уже накопленных примеров, кажется, свидетельствуют о том, что чисто исторические задачи в *Алексиаде* действительно часто отступали перед целями художественными. Более чем вероятно, что это утверждение можно распространить и на ряд других византийских исторических произведений.[9]

Изучение художественной природы *Алексиады* важно не только само по себе и интересно не только литературоведу, но и историку, для которого *Алексиада* не более как источник исторических сведений:

одно дело извлекать их из документальной хроники, другое — из литературного памятника.

Таким образом, исследователи, далекие от литературоведческих штудий, обнаруживают у Анны явные «художественные» тенденции, которые никак не сводятся к обычному для византийского историка использованию риторических красот, а скорее приближаются к эстетическим критериям позднейшего времени. Попробуем ближе приглядеться с этой точки зрения к тексту *Алексиады.*

Одно из первых, что может броситься в глаза читателю, уже успевшему познакомиться с другими памятниками византийской словесности, — единство *Алексиады* как произведения литературного. Как это ни покажется странным, многие византийские писатели были начисто лишены чувства гармонии. Они чаще кого бы то ни было выражали на словах свою приверженность к античным идеалам красоты, соразмерности и пропорциональности человеческого тела, архитектурных ансамблей и т. п. и в то же время на деле — особенно в риторических и прочих словесных упражнениях — совершенно игнорировали идеи, прокламированные ими самими. Византийцы могли писать речи, зачтение которых требовало многих часов (слушатели, конечно, не могли воспринять их как единое целое, особенно если их приходилось выслушивать стоя на ногах). В этих лишенных всякой пропорциональности и соразмерности речах отдельные разделы совершенно «не состыковывались» один с другим, по сути дела принадлежали иногда к разным жанрам и различались языком, стилем и даже идеями.

Все сказанное относится также и к произведениям историческим. Византийские хроники, например, постоянно компилировались из сочинений, совершенно различных по композиции и языку, и это нисколько не смущало их редакторов, объединявших эти тексты в рамках одного произведения. Да и многие так называемые «истории» были составлены из вполне разнородных частей. Так, труды непосредственных предшественников Анны — Михаила Пселла и Михаила Атталиата — начинались с вполне «реальной» и в своем роде замечательной истории, а заканчивались довольно ординарными панегириками.[10] Словом, в этом отношении византийцев — естественно, с точки зрения современного вкуса — вполне можно было бы обвинить в отсутствии эстетического чутья.

На этом фоне *Алексиада* выглядит весьма неординарно. Единство этого произведения осуществляется, главным образом, на трех уровнях. Во-первых, это уровень языковой. Вся *Алексиада* написана на своего рода антикварном, искусственном древнегреческом языке

«высокого стиля», на котором изъяснялись очень ученые и, видимо, консервативные по своему языковому сознанию авторы. Правда, согласно наблюдению одной греческой исследовательницы, за формально правильными фразами писательницы иногда скрывались обороты и фразеологизмы, характерные для обыденного языка, однако это уже происходило помимо воли автора, который, если ему случалось употребить какое-нибудь народное слово, считал своим долгом извиниться перед читателем.[11]

Во-вторых, в *Алексиаде* на всем протяжении произведения сохраняется единый и устойчивый образ автора (Михаил Пселл, например, умел изменять его многократно!). [12] Анна предстает перед читателем в виде «дамы печального образа», на долю которой достались одно лишь неутешное горе и скорбь об ушедших любимых ею людях.

Удаленная из дворца, потерявшая родителей и мужа, она превращает скорбь — впрочем, без всякого сомнения, действительно ей испытываемую — в лейтмотив собственного образа. «Дойдя до этого места, я почувствовала, как черная ночь обволакивает мою душу, а мои глаза наполняются потоками слез» (*Alexias,* I, p. 6 ff.)

«Вновь вспоминая этого юношу (Константина Дуку, бывшего жениха Анны. — *Я. Л.*), я печалюсь душой, у меня мешаются мысли и я прерываю рассказ о нем» (*Alexias,* I, p. 43.9).

Не станем обсуждать сейчас, насколько этот образ соответствовал действительности. Есть основание полагать, что Анна не всегда являлась окружающим смиренной, скорбящей и обиженной затворницей. Чего стоит хотя бы картина, нарисованная Никитой Хониатом, когда взбешенная принцесса последними словами поносит своего супруга, неудавшегося и, видимо, струсившего заговорщика. Вряд ли Никита целиком выдумал эту сцену.[13] Однако в самой *Алексиаде* Анна нигде никогда не выходит из созданного ею образа.

В-третьих, это единство главного образа произведения, не встречавшееся ни у одного из византийских историков — непосредственных предшественников Анны. В византийских исторических произведениях, развившихся из хроник в X веке, исторический материал только постепенно начал концентрироваться вокруг главного действующего лица, как правило, императора. *Алексиада* — первое большое историческое сочинение с одним единственным основным действующим лицом.

В-четвертых, и это сейчас для наших целей самое главное — *Алексиада* построена по единому композиционному принципу. Попробуем понять, что этот принцип из себя представляет. Название

труда Анны несомненно содержит в себе сознательный намек на *Илиаду* Гомера. И он действительно весьма напоминает гомеровскую поэму отнюдь не только по названию. Ученые уже давно отмечали наличие в *Алексиаде* многочисленных аллюзий и цитат из *Илиады*.[14] Необычного в этом нет ничего. У Никиты Хониата, например, гомеровские цитаты встречаются еще чаще, чем у Анны. Гомер был альфой и омегой школьного образования в Византии, его стихи запоминали с детства, и, по выражению одного современного исследователя, «мир Илиады и Одиссеи был для византийцев тем мерилом, по которому они соизмеряли настоящее».[15]

Конечно, у византийцев были и другие «мерила», но гомеровские поэмы играли для них исключительную роль. Однако имитация (так очень неточно мы передаем известное понятие *mimesis*) играет в *Алексиаде* особую роль и влияет на самое существо литературного метода Анны. Отец писательницы, главный герой ее исторического сочинения, Алексей Комнин, в той или иной мере выполняет функции гомеровского Ахилла. Безусловно, сходство обоих персонажей вовсе не полное. Напротив, многие черты героя *Алексиады* приписаны автором не Алексею, а другим действующим лицам. Например, знаменитым всеустрашающим криком Ахилла кричит не византийский император, а его злейший враг Роберт Гвискар, и уже непосредственно, открыто с Ахиллом сопоставляется тоже не отец Анны, а ее муж — Никифор Вриенний (*Alexias,* I, p. 38. 11 ff.), сам же Алексей сравнивается несколько раз не с Ахиллом, а с Гераклом и некоторыми другими мифологическими героями. В то же время обоих персонажей объединяет нечто большее, или во всяком случае более значительное для структуры произведений — их композиционная роль. Подобно Ахиллу, классическому эпическому герою, Алексей — не только главный персонаж, но и фигура, объединяющая все эпизоды сочинения. Как бы далеко действие ни отходило от основного сюжета, все равно рано или поздно оно возвращается к Алексею.

Центральная, «объединяющая» роль главного героя не осталась незамеченной учеными, и можно даже встретить утверждения, что *Алексиаду* вообще скорее следует отнести к жанру византийской светской биографии, нежели историографии. Вряд ли эти выводы справедливы. Биография в византийской словесности (будь то некоторые жития святых в агиографии, или в светской литературе панегирические речи — энкомии в честь императоров и вельмож) обладает строго определенной фиксированной схемой: они начинаются с описания происхождения героя, его предков, родителей, места рождения, продолжаются перечислением его деяний и заканчиваются сообщением

о смерти и прославлением (так называемый *elogium*). Ничего подобного в *Алексиаде* нет. Напротив, после обычного вступления (*prooimion*) сразу следует описание героических деяний Алексея: борьба с Руселем, война против Никифора Вриенния и поход против Василаки. Историю Алексея до его восшествия на престол Анна кончает словами: «Таковы были успехи (πλεονεκτήματα) и подвиги (κατορθώματα) Алексея перед тем, как он вступил на престол (*Alexias,* I, p. 36. 16 ff.). Таким образом, задача писательницы, по ее собственным словам, описывать не биографию, а подвиги своего отца. Знаменательно, что Анна, в целом весьма подробно пересказывая в этом разделе «Историю» Никифора, отделывается краткой ссылкой на сочинение мужа тогда, когда упоминает о происхождении Алексея: те, кто желает узнать, откуда был родом Алексей, пусть читают сочинение Никифора (*Alexias,* I, p. 62.1 ff.). Рассказ о происхождении не соответствует избранному историческому жанру!

Да и весь остальной текст *Алексиады* — в композиционной своей основе не что иное, как описание героических деяний ее героя. Его враги и оппоненты непрерывно меняются, в то время как сам Алексей неизменно остается в композиционном центре повествования. И не случайно, заключая произведение, перед самым рассказом о смерти отца Анна пишет: «Это (казнь богомила Василия. — *Я. Л.*) было последним делом и подвигом из всех великих трудов и достижений императора ὕστατον ἔργον καὶ ἆθλον τῶν μακρῶν ἐκείνων πόνων καὶ κατορθωμάτων». Анна еще раз подчеркивает: ее *Алексиада* — череда подвигов и деяний ее отца (ἔργα, ἆθλα, πόνοι, κατορθώματα). Эпический характер такого рода композиции кажется очевидным.

Интересно, что хотя Анна постоянно отмечает активный и деятельный характер Алексея, его роль в *Алексиаде* скорее пассивна. Помещенный в центр повествования, Алексей почти непрерывно оказывается в «оборонительной позиции» — в положении императора, непрерывно защищающегося от всевозможных «напастей», одолевающих его извне и изнутри, будь то полчища врагов, массы еретиков, лжеучителя или, наконец, болезни, истощающие его тело.

Даже в воспоминаниях Анны ее отец Алексей часто представляется ей зрительно в «скульптурных» сценах в виде недвижной фигуры, располагающейся среди наседающих на него со всех сторон и суетящихся врагов. Один из лучших примеров — эпизод из XIV книги, в котором «бесстыдные» франки, в бесконечной череде сменяя друг друга, досаждают ему своими вопросами и болтливыми речами.

Анна пишет: «Это было поистине удивительное зрелище; как кованная из бронзы или каленого железа статуя, еженощно стоял

император с вечера до полуночи, а нередко и до третьих петухов или даже до ярких солнечных лучей. Все остальные, не выдержав усталости, нередко уходили, отдыхали и, недовольные, возвращались вновь. Никто из присутствовавших не мог сохранять неподвижность, все они старались как-нибудь изменить позу: один садился, другой склонял или подпирал голову, третий прислонялся к стене. И лишь один император мужественно выносил этот труд... Графы стояли, только пока они разговаривали, а император все время стоял до первых или вторых петухов» (*Alexias,* III, p. 162. 21 ff.). Любопытно, что большинство новых эпизодов *Алексиады* начинается со стандартного введения типа «Не успел император отряхнуть пыль битвы, как новая беда уже грозила ему с другой стороны...» (см.: *Alexias,* III, p. 67.13–14; p. 183.29 ff.). Вряд ли случайно Анна, уже заключая *Алексиаду,* пишет, что ей была предписана двойная задача: описывать и вместе с тем оплакивать все то, что пришлось претерпеть самодержцу (ξυμπεσόντα τῷ αὐτοκράτορι — с. 426). В этих словах — очень правильная самооценка писателя: вечно скорбящий автор изображает деяния страдающего от бед императора.

Такой «эпический» способ композиции в определенном смысле представляет собой новое явление в византийской историографии. Проблема композиции византийских исторических сочинений — а шире, способов построения исторических текстов — до сих пор почти не привлекала внимания ученых, а между тем это «проблема из проблем» для филологов и историков, ведь именно в способе построения текста главным образом отражаются и мировоззрение автора, и литературные особенности произведения. Этот метод должен в первую очередь учитываться и при любой попытке извлечения из источника исторических фактов.

Византийская историографическая традиция знает несколько способов формирования текста. Самый примитивный из них — простое рядоположение несвязных между собой сообщений, характерное для хронистики. В чистом виде такой способ исторического повествования встречается сравнительно редко. На деле строгая хронологизация повествования все время соревнуется с естественным стремлением каждого автора строить логически связный рассказ (тенденцией к «нарративизации», если пользоваться термином входящей в моду «теории текста»).[16] Позже, уже в X веке, появляется новая тенденция концентрировать события вокруг фигуры исторического персонажа, при этом используются разные средства компоновки текста, впрочем, большей частью сторонние историческому повествованию. Эти средства иногда имеют литературные источники: откровенно

заимствуется, например, схема похвального слова — энкомия (в «Жизнеописании царя Василия», например). В других случаях композиционным каркасом начинает служить расхожая религиозно-идеологическая схема: например, идея греха и воздаяния. Наиболее искусный из византийских литераторов, Михаил Пселл, вообще пользуется весьма изощренным методом: путем словесных и тематических ассоциаций и «зацеплений» как бы имитирует хронологическое движение рассказа, неизменно вращающегося вокруг главного персонажа.

Способ, использованный Анной, оказался совсем другой: как и предшественники, она в значительной мере заимствует его извне, однако обращается к совсем другому источнику — эпосу. Это происходит более чем естественно, поскольку Анна вообще сознательно ориентируется на эпическую традицию.[17]

Ощущение «эпичности» *Алексиады*, помимо ее композиции и многочисленных цитат из Гомера, поддерживается и другими особенностями этого сочинения. Прибавим лишь одну, но, как нам кажется, существенную деталь. Не может не удивить, что писательница, хотя и обрушивает на головы врагов империи — к примеру, латинян — громы и молнии, тем не менее изображает их непобедимыми и могучими воинами и применяет к ним весь набор риторических и литературных средств, используемых при описании Алексея и других «положительных» персонажей совсем в стиле *Илиады* Гомера, где ахейцы и троянцы одинаково сильны и прекрасны. Вот как сопоставляются между собой, например, злейшие враги Алексей и Роберт Гвискар: «Оба мужа обладали даром предвидения, были предусмотрительны, искушены во всех военных хитростях, закалены во всевозможных штурмах, засадах и открытых сражениях, энергичны и храбры в рукопашных схватках; по уму и мужеству они были самыми подходящими друг для друга противниками из всех живущих на земле полководцев» (*Alexias,* II, p. 8.17 ff.). Даже некоторые из «внутренних врагов» и мятежников почти не уступают в уме и мужестве Алексею.

Более того, в *Алексиаде* создается некая условно-возвышенная ситуация, далекая от реальности бытия, переносящая читателя в мир, населенный скорее героями неимоверной силы и отваги и неописуемыми красавицами, нежели земными мужчинами и женщинами. Такой возвышенно-эпический мир создавался, видимо, тоже не без влияния *Илиады.* Ведь даже первые читатели знаменитой древней поэмы могли найти сколько-нибудь реальные описания не в основных сценах, а только в многочисленных распространенных сравнениях, включенных в текст.[18]

Если бы византийские читатели Анны буквально воспринимали все описания, какая-то их часть могла показаться им даже комичной. Приняв эти описания на веру, можно было бы заключить, например, что маленькая Анна играла в детские игры с «самим изображением Эрота» (ее юный жених Константин — *Alexias,* I, p. 104.28), обедала во дворце с «Афиной в человеческом облике» (ее мать Ирина — *Alexias,* I, p. 112.7) и делила ложе с человеком, «подобным Ахиллу, как его изобразил Гомер» (муж Анны, Никифор Вриенний). Однако византийские читатели вряд ли склонны были смеяться, читая *Алексиаду.* Во-первых, они привыкли и не к таким преувеличениям в риторике и литературе, в придворных панегириках, например. Во-вторых, и это, наверное, главное — они наверняка ощущали себя «перенесенными» в иной мир со своими измерениями, сотворенный Анной скорее по эпическим, нежели жизненным меркам. (Последнее вовсе не противоречит тому факту, что в *Алексиаде* содержится множество реальных, жизненных наблюдений; напротив, соседство таких противоположностей придает сочинению Анны особую притягательность!)

Говоря об *Алексиаде,* скорее всего надо вести речь о традиционном для античной и средневековой культуры *мимесисе,* подражании, а подчас и творческом соревновании с древними образцами. *Илиада* для Анны — не объект простого копирования, а арсенал приемов для воссоздания образов и композиции ее произведения. Вряд ли придет кому-нибудь в голову порицать Вергилия за подражание Гомеру. Но чем Анна хуже великого римлянина?

* * *

Было бы, однако, совершенно неправильно пытаться объяснить художественную структуру *Алексиады* подражанием (пускай творческим) *Илиаде.* Произведение Анны, конечно, — сочинение не эпического, а исторического жанра и прочно принадлежит историографической традиции не только классической античности, но и византийского средневековья.[19]

На первый взгляд кажется весьма удивительным и совсем необычным для византийцев то обстоятельство, что наибольшее количество цитат, обнаруживаемых в *Алексиаде,* заимствованы не из Гомера и даже не у Отцов церкви, а у Михаила Пселла — почти современника Анны, которого писательница в детстве, возможно, могла и видеть при императорском дворе.[20] Это тем более удивительно, что пселловская *Хронография,* из которой в основном и делались эти заимствования, сохранилась только в одной рукописи и скорее

всего не очень-то была известна византийским читателям. Надо полагать, что *Хронография* привлекала писательницу не только изяществом стиля, ее фразы не менее, чем цитаты из Гомера и Священного Писания были, видимо, постоянно на устах Анны. Можно даже попытаться предположить, почему именно *Хронография* оказалась любимым произведением писательницы.

Нет сомнений в том, что Анна уже в достаточно раннем возрасте (а в Византии взрослели очень рано!) отличалась определенным «вольнодумством» и позволяла себе тайно от родителей, ее не одобрявших, читать произведения языческих, древних авторов. Бесценное свидетельство об этом сохранилось в *Надгробном слове* Анне, сочиненном Георгием Торником.[21] Ярчайшим памятником либеральной, светской литературы XI века была, конечно, пселловская *Хронография.*

Внимательный читатель не может не обнаружить — при всех огромных различиях между двумя произведениями — определенного влияния, помимо словесного, которое *Хронография* Пселла оказала на *Алексиаду* Анны Комниной. Сходство между обоими сочинениями проявляется прежде всего в уровне авторского вмешательства в текст, о котором уже говорилось выше. Византийская историография постепенно переходила от безличной фиксации исторических событий к одухотворенному авторским присутствием личному рассказу об истории: кроме Пселла, из историков XI века я упомянул уже здесь Михаила Атталиата.[22] Анна, несомненно, примыкает именно к этой тенденции.

Второй весьма ощутимой тенденцией развития византийской историографии была возрастающая роль в повествовании исторических персонажей, постепенно превращавшихся из безликих статистов ранних хроник в литературные образы «с кровью и плотью». Своей кульминации этот процесс достиг в творчестве Михаила Пселла — непревзойденного в Византии мастера психологического портрета.[23] (Последнее утверждение, несомненно, вызовет протест многих историков и литературоведов, считающих психологическое изображение персонажей прерогативой литературы нового времени. Разубедиться в этом мнении нетрудно, стоит только внимательно прочесть *Хронографию* Пселла.) Несомненно, Анна тоже продолжает эту традицию, и некоторые из созданных ею образов исторических персонажей кажутся весьма жизненными. В каком-то отношении справедливы даже слова исследователя, бесхитростно восхищавшегося мастерством византийской принцессы и писавшего, что Анна «обладает способностью воссоздать характеры и вдохнуть новую жизнь в бескровные

тени прошлого».[24] Тем не менее проблема «характеров» в *Алексиаде* не столь проста. Появление противоречивых и «диалектических» образов, о которых писалось ранее,[25] нельзя себе представить без воздействия Пселла, или во всяком случае художественной тенденции, им представляемой. Однако в принципе «условный эпический мир» *Алексиады* вряд ли мог быть населен непостоянными, изменчивыми, неадекватными самим себе героями, как те, что обитают в пселловской *Хронографии.*

Главный герой произведения, Алексей, представлен большей частью фигурой недвижной и неизменной и уже с первых страниц является в *Алексиаде* в полном блеске всех своих добродетелей, дабы в дальнейшем вновь и вновь демонстрировать свои несравненные качества. Сказанное, конечно, не означает, что доблести Алексея все сразу перечислены, но читатель уже с самого начала как бы предуготовляется Анной воспринимать образ ее отца как средоточие всех возможных достоинств.

Единственный «недостаток» Алексея — его малый рост — специально оговаривается писательницей с объяснениями, что он-де не противоречил образу идеального воина и государственного мужа. «Алексей не был слишком высок... Стоя он не производил потрясающего впечатления на окружающих, но когда он, грозно сверкая глазами, сидел на императорском троне, то был подобен молнии: такое всепобеждающее сияние исходило от его лица и от всего тела» (*Alexias,* I, p. 110.24 ff.). Пассаж этот весьма знаменателен; видя очевидное расхождение между действительностью и идеалом (к несчастью, Алексей был весьма низкоросл, и это обстоятельство нельзя было обойти при описании его внешности!), Анна ощущает необходимость как-то объяснить и сгладить это противоречие. Стремление писательницы изображать своего героя в постоянном соотнесении с идеалом здесь весьма наглядно и ощутимо.

Такой стиль изображения, весьма распространенный в средневековой литературе и названный Д. С. Лихачевым «стилем монументального историзма»,[26] несомненно, связан с определенной литературной техникой. Прежде всего это изображение образа как определенной суммы черт, отнюдь не обязательно как-то связанных между собой. Во-вторых, это так называемый «скульптурный» стиль письма (опять же пользуюсь терминологией Д. С. Лихачева) с его тенденцией представлять образы в застывшей фронтальной позе, как бы развернутыми лицом к зрителю. В *Алексиаде* содержится немало «скульптурных» сцен, но, пожалуй, наиболее показательны многочисленные случаи, когда Анна сама сравнивает своих героев со статуями (ἀγάλματα). Анна

была не первой, использовавшей такое сравнение (оно само по себе весьма знаменательно: античные писатели сравнивали статуи с живыми людьми, византийцы поступали наоборот!), но текст *Алексиады* пестрит этими сравнениями.

Но, пожалуй, нигде особенности изображения персонажей *Алексиады* не выступают с такой отчетливостью, как при описании внешности. Развернутых описаний мужских и женских портретов в произведении несколько, каждый из них поражает своей детальностью и выразительностью, однако, если просмотреть их один за другим, то окажется очевидным, что состоят они в основном из одних и тех же деталей, да и построены в целом по одному и тому же принципу. Взор читателя, вслед за авторским, как бы скользит сверху вниз и видит в своем объекте те свойства и качества, которыми тот должен обладать, согласно эстетическим представлениям эпохи и автора. Нормированность внешних характеристик достигает такого уровня, что позволила одному английскому исследователю даже набросать некий сборный женский портрет — некую идеальную парадигму внешности византийской аристократки, главным образом на основании описаний Анны. Приводим этот «парадигматический» портрет.

«...Лицо должно быть преимущественно овальной формы, глаза — выразительны и свидетельствовать о величии и достоинстве, они должны быть светло-голубыми по цвету и посажены достаточно далеко один от другого. Брови должны быть изогнуты, нос — если только он упомянут — почти орлиным, кожа белой и чистой, на щеках должен играть румянец; волосы предпочтительно белокурые или золотистые. Симметрия членов — тела и фигуры — весьма существенны для византийских представлений о красоте. Рост должен быть средним или выше среднего, осанка — прямой».[27]

Нетрудно выяснить генетику портретов этого типа: это известный способ византийской (и не только византийской) риторики, так называемый *eikonismos.* Неоднократно упоминавшийся нами Михаил Пселл пользовался этой техникой не меньше Анны.[28] Однако у мастера психологической характеристики канонический портрет находился в противоречии с изощренным описанием внутреннего мира героя, у Анны то и другое до известного предела находится в соответствии.

Постараюсь пояснить свою мысль. Идеальная внешность византийской аристократки в данном случае не представляет большого интереса сама по себе (характер изображения внешности и византийские представления о ней еще ждут специальных исследований).

Я упомянул о ней, главным образом, потому, что в обрисовке портрета традиционность художественного метода Анны проступает значительно ощутимей. Слов нет, в отдельных сценах персонажи *Алексиады* могут быть изображены по-человечески трогательными и даже наделены реалистическими деталями. В целом, однако, образы *Алексиады* состоят из канонических деталей, и точно так же, как можно искусственно скомпоновать идеальный внешний портрет византийской аристократки, нетрудно построить идеальный образ императора, полководца, государственного мужа и т. п.

* * *

Стараясь определить место *Алексиады* в истории византийской историографии, я обратил внимание на пристрастие писательницы к двум шедеврам мировой литературы, разделенным между собой двумя тысячелетиями: *Илиаде* Гомера и *Хронографии* Пселла. Ни то, ни другое не случайно. Позиция *Хронографии* в истории византийской литературы неоднозначна: высшее достижение светских тенденций X–XI веков, сочинение это появилось как бы раньше своего времени, ибо по своему художественному методу и менталитету автора в ряде отношений ближе к литературе нового времени, нежели средневековья. (Такой феномен известен в истории литературы: вспомним, например, почти современника Пселла — Абеляра!) Ее появление, несомненно, было обусловлено «либеральными тенденциями» XI века. Анна, с детства восхищавшаяся «светской», т. е. античной литературой, большая почитательница Пселла, конечно, не могла избежать влияния его таланта, и *Алексиада* в определенном отношении продолжает художественные традиции *Хронографии.* Однако Анна и дочь своего времени — XII века, века не только просвещения, но и репрессий (я хочу напомнить читателям название известной статьи Роберта Браунинга: «Просвещение и репрессии в XII веке»).[29] Интеллектуальная атмосфера этого века была совсем другой, и писательница уже не могла быть простой продолжательницей «либеральных тенденций». Поэтому *Алексиада* не только продолжение «пселловской линии», но одновременно и ее отрицание, своего рода «классицистическая реакция» на эту линию. И в этом отношении, думается, Анне и сослужила большую службу гомеровская *Илиада,* повлиявшая и на технику композиции, и на характер изображения героев и ставшая в определенной степени мерой и стандартом в изображении исторической реальности.

Как бы то ни было, заголовок этой статьи был бы вполне уместен и без вопросительного знака.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Reinsch D.* Edition und Rezeption byzantinischer Historiker durch deutsche Humanisten. Graeca recentiora in Germania. Wolfenbütteler Forschungen 59 (1994). S. 61–62.

[2] *Antoniades S.* Ἡ Περιγραφὴ στὴν Ἀλεξιάδα. Πῶι ἡ Ἄννα Κομνηνὴ βλέπει καὶ ζωγραφίζει πρόσωπα καὶ χαρακτῆρει Ἑλληνικά 5 (1932). P. 255–256.

[3] *Chrysostomides J.* A Byzantine Historian: Anna Comnena / Morgan D. D. (ed.) // Medieval Historical Writing in the Christian and Islamic Worlds (London, 1982); Cf. *Jurewicz O.* Anna Komnene — Kronprinzessin und Schriftstellerin / Hermann J., Köpstein H., Müller R. (ed.) // Griechenland — Byzanz — Europa, ein Studienband (Berlin, 1985). S. 50 ff. Совсем недавняя работа о литературных достоинствах *Алексиады*: *Reinsch D.* Zur literarischen Leistung der Anna Komnene / Rosenqvist J. O. (ed.) // ΛΕΙΜΩΝ. Studies Presented to Lennart Rydén on his Sixty–Fifth Birthday (Uppsala, 1996).

[4] *Gress-Wright D.* Bogomilism in Constantinople // Byzantion. 47 (1977). P. 165.

[5] *Rigo A.* Il processo del Bogomilo Basilio (1099 ca): una ricosiderati-one // Orientalia Christiana Periodica. 58 (1992), 185–211.

[6] См., например, наблюдения Р. Томаса: *Thomas R.* Anna Comnena's Account of the First Crusade. History and Politics in the Reigns of Alexios I and Manuel Comnenus // Byzantine and Modern Greek Studies. 15 (1991), 269–312.

[7] *Lilie R. J.* Der erste Kreuzzug in der Darstellung Anna Komnenas // Pokila Byzantina. 6 (1987), 49–188.

[8] *Reinch D.* De minimis non curat Anna? Bemerkungen zu Ralph-Iohannes Lilie. Der erste Kreuzzug in der Darstellung Anna Komnenas // JÖB. 39 (1989), 133 ff.

[9] В применении к Михаилу Пселлу я писал об этом в книге: *Любарский Я.* Михаил Пселл: личность и творчество (Л., 1978). С. 243 сл.; То же самое наблюдает А. П. Каждан в Истории Иоанна Кантакузина (*Kazhdan A.* L'Histoire de Cantacuzène en tant qu'oeuvre littéraire // Byzantion. 50 (1980), 279–335). В самое последнее время чешская исследовательница Ружена Досталова опубликовала статью, в которой практически занимается той же проблемой, хотя относит эти «искажения реальности» за счет риторики: *Dostalova R.* Der Einfluss der Rhetorik auf die Objektivität der historischen Information in den Werken byzantinischer Historiker // Bsl. 56,2 (1995) 291–305.

[10] Имеются в виду панегирики Никифору Вотаниату у Атталиата и Константину и Михаилу Дукам у Пселла.

[11] *Ševčenko I.* Levels of Style in Byzantine Prose // JÖB 31 1 (1981); *Aerts W. J.* Anna's Mirror, Attic(istic) or Antiquarian? A Philological Commentary on the First Chapters of Anna Comnena's Introduction to the *Alexiad* // XV-e Congrès international d'études byzantines. Rapports et co-rapports. II. Langue, littérature, philologie (Alhènes, 1976), 3 ff. Наблюдения за «народным подтекстом» некоторых фраз Анны см. в статье: *Antoniades S.* Νεοελληνικὰ στοιχεῖα στὰ επτὰ πρῶτα βιβλία τῆσ «Ἀλεξιάδος». Εισ μνήμην Σπυρίδωνοσ Λάμπρου (Athena, 1935).

[12] См.: *Любарский Я.* Михаил Пселл... С. 117 сл.

[13] Nicetae Choniatae historia / Ed. I. Bekker. — Bonn, 1835. P. 15.

[14] *Buckler G.* Anna Comnena, A Study. London, 1929. P. 197 ff; *Katičič R.* Ἄννα Κομνηνὴ καὶ ὁ Ὅμηροσ, ΕΕΒΣ 27 (1957); *Dyck A. R.* Iliad and Alexiad: Anna Comnena's Homeric Reminiscences // Greek Roman and Byzantine Studies. 27, 1 (1986). В индексе источников к еще неопубликованному изданию текста *Алексиады*, подготовленного профессорами Д. Райншем (Берлин) и А. Камбилисом (Гамбург), отмечено 59 цитат из *Илиады*. Я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить немецких ученых за предоставление мне еще не опубликованного текста. О влиянии *Илиады* на сочинение Анны см. также: *Коптелов Б. В.* Духовное наследие античности в *Алексиаде* Анны Комниной // Классическая филология на современном этапе. М., 1996. С. 160 сл.

[15] *Dyck A. R.* Ilad and Alexind, 113. О распространенности гомеровских поэм в Византии, см.: *Browning R.* Homer in Byzantium // Viator. 6 (1975).

[16] См.: *Ljubarskij Ja.* Concerning the Literary Technique of Theophanes the Confessor // Bsl. 56 (1995). P. 317 ff.

[17] Конечно, обращение к эпической традиции не может объяснить всех особенностей композиции *Алексиады*. Подробней о композиции произведения Анны см. в статье, помещенной в этом сборнике: *Долинин К. А., Любарский Я. Н.* Повествовательные структуры в византийской историографии (к постановке проблемы).

[18] *Зайцев А. И.* Древнегреческий героический эпос и «Илиада» Гомера // Гомер. Илиада. Л., 1990. С. 406 сл.

[19] Зависимость *Алексиады* от традиций античной историографии подробно исследуется в диссертации молодого испанского ученого Е. Роландо, см.: *Rolando E. D.* Las fuentes clásicas de la *Alexiada* de Anna Comnena, (Sevilla 1994). Ср. также: *Rolando E. D.* Anna Comnena y la historiografía del periodo clásico: aproximación a un debate // Erythea. 13 (1992). P. 29–44: Ф. Конка обратил недавно внимание на употребление Анной художественных приемов древних историков, в частности, так называемой рамочной композиции [Ringskomposition] (*Conca F.* Aspetti traditionale nella tecnica di Anna Comnena // Acme Annali della Facolta de Lettere e Filisofia dell' Universita degli Studi di Milano. Vol. 23, fasc I–II (1980).

[20] Шведский ученый С. Линер недавно сравнил тексты *Хронографии* Пселла и *Алексиады* и обнаружил большое число заимствований, причем пселловские выражения и целые фразы часто употреблялись Анной в совсем ином контексте, см.: *Liner St.* Psellus' *Chronographia* and the *Alexias.* Some Textual Parallels // BZ. 76, 1 (1983), 1 ff. Согласно

Index fontium, подготовленному Д. Райншем и А. Камбилисом, Анна цитировала *Хронографию* 81 раз! Возможно также, что Анне было известно *Похвальное слово матери* Михаила Пселла, см.: *Buckler G.* Anna Comnena, A Study (Oxford, 1929). P. 231, n. 7. Пселл также фигурирует в *Алексиаде* в качестве учителя Иоанна Итала.

[21] Ныне эта речь, как и другие произведения Георгия и Деметрия Торников, опубликована полностью, см.: *Georges et Démètrios Tornikes.* Lettres et discours / Darrouzès J. (éd.). Paris, 1970.

[22] Как утверждает Р. Скотт, главное, что отличает византийские исторические произведения от их классических образцов, это как раз уровень авторского вмешательства в текст. См.: *Scott R.* The Classical Tradition in Byzantine Historiography // Byzantine and the Classical Tradition. University of Birmingham. Thirteenth Spring Symposium of Byzantine Studies, 1979 (1981). P. 62. См. об этой проблеме: *Ljubarskij Ja.* «Writers' Intrusion» in Early Byzantine Literature // XVIIIth International Congress of Byzantine Studies, Major Papers. Moskva, 1991. 433 ff.

[23] См.: *Любарский Я.* Михаил Пселл. С. 204 сл. О возрастании роли исторического персонажа в допселловский период см.: *Ljubarskij Ja.* The Man in Byzantine Historiography from Malalas to Psellos // DOP. 46 (1992).

[24] *Chrysostomides J.* A Byzantine Historian: Anna Comnena / D. D. Morgan (ed.) // Medieval Historical Writing in the Christian and Islamic Worlds. London, 1982.

[25] *Анна Комнина.* Алексиада. Вступительная статья, перевод, комментарий Я. Н. Любарского. М., 1965; СПб., 1996. С. 43–44.

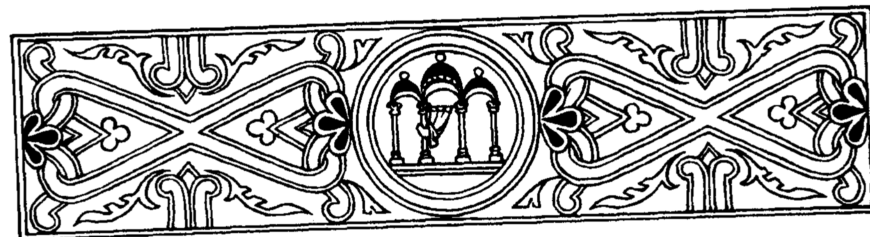
[26] *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X–XVIII веков. Л., 1973. С. 64 сл.

[27] *Garland L.* The Eye od the Beholder: Byzantine Imperial Woman and their Public Image from Zoe Porphyrogenita to Euphrosyne Kamaterissa Doukaina (1028–1203) // Byzantion. 64, 2 (1994). P. 297.

[28] *Любарский Я.* Михаил Пселл... С. 230 сл.

[29] *Browning R.* Enlightment and Repression in Byzantium in the Eleventh and Twelfth Centuries // Past and Present. 1975. P. 69. Английский ученый отмечает либерализм и терпимость XI века в Византии в сравнении с идеологическим ригоризмом следующего двенадцатого столетия. В то время как в XI в. Византия не знала процессов над еретиками, начиная с 1182 г. (суд над Иоанном Италом), обвинения в ереси и язычестве становятся регулярным явлением.





ЕЩЕ ОДИН ИСТОЧНИК «ХРОНИКИ» ИОАННА ЗОНАРЫ *

Писателя XII века Иоанна Зонару по праву считают одним из самых интеллектуальных и самостоятельных в своих воззрениях византийских хронистов. В то же время (и в этом — нередкий парадокс византийской литературы!) его сочинение почти целиком компилятивно и состоит из фрагментов, заимствованных у предшественников. Многие из этих фрагментов давно идентифицированы, однако в ряде случаев исследователи до последнего времени затрудняются назвать источники Зонары, хотя и предполагают, что и в этих пассажах писатель не мог быть самостоятелен. Опубликование в 1990 году «Краткой истории» Михаила Пселла, как кажется, позволяет ответить на некоторые из остававшихся нерешенными вопросы.[1]

Нельзя не заметить, что в разных местах «Хроники» Зонары обнаруживаются пассажи, весьма напоминающие фрагменты из упомянутой «Краткой истории» Михаила Пселла. К их числу, например, относится рассказ о царствовании императора Иовиана и некоторые другие.[2] Однако только в разделах, посвященных истории первых двух третей X в., совпадения, в том числе и текстовые, между «Хроникой» и «Краткой историей» Михаила Пселла приобретают систематический характер. Как заметил еще более ста лет назад Ф. Гирш, Зонара в этой части основывается главным образом на хронике Иоанна Скилицы, однако целый ряд вкраплений в текст до сих пор объяснения не находил.[3] Перечислим эти остававшиеся до последнего времени «бесхозными» пассажи.

* Опубликовано в ΜΟΥΣΕΙΟΝ. *Профессору А. И. Зайцеву ко дню семидесятилетия* (СПб., 1997). С. 271–273. Более подробную аргументацию см.: *Ljubarskij Ja.* Nikephores Phokas in Byzantine Historical Writings. Trace of the Secular Biography in Byzantium // Byzantinoslavica. 54 (1993). P. 245–53.

1. Занятия Льва VI оккультными науками (Zon., IV 42.5–11).

2. Воцарение сыновей Романа I и смерть Романа (Zon., IV. 60.12–14; 61.30–31.

3. Встреча смещенного Романа с сыновьями после их низвержения (Zon., IV 66.11–14).

4. Литературная деятельность Константина VII (Zon., IV 67.5–13).

5. Красота Феофано (Zon., IV 68.27–31).

6. Объяснение прозвища Романа II παιδίον (Zon., IV 72.5–11).

7. Встреча Романа II с Никифором Фокой. Реорганизация армии Никифора (Zon., IV 73.28–74.16).

В свое время Г. Вартенберг предположил, что указанные места, не находившие соответствия в опубликованных к тому времени источниках, представляют собой просто вставки самого византийского хрониста.[4] Ныне все перечисленные пассажи обнаруживаются в составе «Краткой истории».[5] При этом — и это весьма существенно — во всех случаях, кроме четвертого, соответствия отнюдь не ограничиваются содержанием эпизодов, но распространяются и на лексику. Что же касается четвертого пассажа (по нашему перечню), то этот фрагмент был, возможно, заимствован Зонарой не из сочинения Пселла, а у продолжателя Георгия или близкого к нему источника.[6]

Чтобы продемонстрировать лексическое соответствие обоих текстов, приведем лишь один пример:

Иоанн Зонара (Zon., IV 67.5–13): ἦν δὲ ὁ Κωνσταντῖνος τὰ πρὸς θεὸν εὐσεβὴς καὶ λόγοις προσκείμενος, ὡς ἔστι καταμαθεῖν ἐκ συγγραμμάτων αὐτοῦ, ἀλλὰ μένοι καὶ ἐξ ἐπιστολῶν, ἅ κἂν μὴ πρὸς τέχνην ἠκρίβωντο τὴν ρητορικήν, ἀλλά γε σχήμασι ταύτης καί τισιν ἰδέαις ποικίλλονται, ἐδίδου δὲ καὶ ῥυθμοῖς ἑαυτὸν καὶ μέτροις παντοδαποῖς, γνοίῃ δέ τις τοῦτο ἐξ ὧν ἐπὶ θανούσῃ αὐτῷ τῃ κοινωνῷ τοῦ βίου ἐμμέτρως ἐθρήνεσεν.

Михаил Пселл (H. S. 94. 6–12): Προσέκειτο δὲ καὶ λόγοις ὁ βασιλεὺς οὗτος. Ἐπιστολαὶ γοῦν αὐτῷ εὕρηνται παιδείαν ἐμφαίνουσαι καὶ δημηγορίαι λογικὴν ἕξιν ἐπιδεικνύμεναι καὶ συγγράμματά τινα είς μὲν τέχνην οὐχ ἀπεικονισμένα, οὐδὲν δὲ ὅμως σχῆμα ὀκνήσαντα. Καὶ περὶ ρυθμοὺς δὲ ἐσπούδαζε καὶ μέτρα παντοδαπά. Ἀμέλει τοι καὶ θανοῦσαν αὐτοῦ τὴν γυναῖκα ἰαμβείοις ἐκόσμησεν καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐξενηνόχει κομμωτικά.

Следует оговориться, в отдельных случаях информация Зонары и более обширна, и более конкретна, нежели у Пселла. Так, например, рассказывая о занятиях Льва II оккультными науками, Зонара упоминает, что Лев благодаря им сумел получить сведения о своем будущем сыне и наследнике (Zon., IV 42.19–20). Ничего подобного у Пселла нет (H. S. 96.26–47). Рассказывая о Феофано, Пселл говорит

только о низком происхождении царицы (τῶν ἀγενῶν — H. S. 94.5), в то время как сведения Зонары конкретней: Феофано происходила из семьи кабатчика (καπήλων ἐκφῦναι ταύτην φασί — Zon., IV 68.28).

Вряд ли, однако, эти и аналогичные примеры могут служить серьезным возражением против нашего предположения о прямой зависимости хроники Зонары от «Краткой истории» Пселла: как уже отметили исследователи, Зонара великолепно владеет техникой комбинирования сообщений, заимствованных из произведений разных авторов.[7]

Обнаружение нового источника «Хроники» важно не только для исследования текста Зонары. Приведенный материал показывает, что «Краткая история» Пселла, сочинение явно эзотерического характера (написана как учебное пособие для наставления Михаила VII, царственного ученика автора),[8] не осталось неизвестной византийцам. Иоанн Зонара знал «Хронографию» Пселла,[9] читал он, оказывается, и «Краткую историю» великого византийца.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Michaelis Pselli Historia Syntomos / Editio princeps, recensuit, Anglice vertit et commentario instruxit W. J. Aerts. Berolini, 1990 (далее. — *H. S.*). Издатель этого текста выразил сомнения в его принадлежности Пселлу. Однако, с нашей точки зрения, они лишены всякого основания, см.: *Любарский Я.* «Краткая история» Михаила Пселла: существует ли проблема авторства? (См. данный сборник.)

[2] См.: *H. S.* 40. 14–18 = Ioannis Zonarae Epitome historiarum / Ed. L. Dindorf. Bonn, 1871. Vol. IV. P. 216. 28–218. 26 (далее. — Zon.).

[3] *Hirsch F.* Byzantinische Studien. Leipzig, 1876. S. 390.

[4] *Wartenberg G.* Berichtigung einer Angabe des Skylitzes über Nukephoros II Phokas // Byzantinische Zeitschrift. 1895. Bd 4. S. 478.

[5] Приводим соответствия: Zon., IV 42. 5–11 = *H. S.* 88. 5–11; Zon., IV 60. 9–14, 61. 30–31 = *H. S.* 92. 76–94.86; Zon., IV 66. 11–14 = *H. S.* 94. 95–96; Zon., IV 67. 5–13 = *H. S.* 94. 6–12; Zon., IV 68. 27–31 = *H. S.* 27–31 = *H. S.* 94. 3–6; Zon., IV 72. 5–11 = *H. S.* 94. 19–96. 26; Zon., IV 73. 28–74.18 = *H. S.* 96. 26–97.

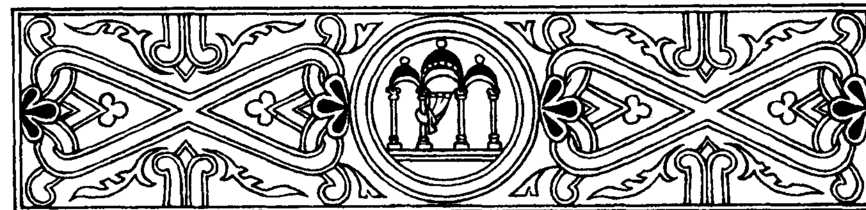
[6] Theophanes Continuatus / Ed. I. Bekkerus. Bonn, 1838. P. 922.14–18.

[7] См.: *Büttner-Wobst Th.* Die Abhängigkeit des Geschichtsschreibers Zonaras von den erhaltenen Quellen / Commentationes Fleckisenienses. Leipzig, 1890. Не исключено, конечно, что какие-то источники сведений Зонары остаются и поныне нам неизвестны. Вполне возможно также использование Зонарой устной традиции.

[8] *Ljubarskij Ja.* Some Notes on the Newly Discovered Historical Work by Psellos // TO ELLENIKON: Studies in Honor of Speros Vryonis. New York, 1993. Vol. 1. P. 214.

[9] См.: *Lapsides O.* Ἡ Χρονογραφία τοῦ Ψελλοῦ πηγὴ τῆς Ἐπιτομῆς τοῦ Ζοναρᾶ. Athen, 1951.





СЮЖЕТНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ХРОНИСТИКЕ

(постановка проблемы) *

Хорошо известна увлеченность византийских хронистов хронологическими проблемами. Сами события часто играли для авторов исторических повествований роль несравненно меньшую, нежели их временна́я привязанность; большинство хронистов не стремились воспроизвести сколько-нибудь цельный рассказ, а только фиксировали отдельные не связанные между собой события, более всего заботились об их месте в хронологической цепи. Хронология не только оказывалась остовом исторических сочинений, но подчас приобретала сакральный и символический смысл. Большинство из приведенных выше утверждений уже успели стать общим местом. Наиболее подробно сравнительно недавно обо всем этом писали четыре французских исследователя в применении к «Пасхальной хронике»,[1] но сформулированные ими положения без труда можно распространить на остальные дошедшие до нас хронографические сочинения.

Наряду с этим в византийских хрониках — и сей факт тоже не остался незамеченным исследователями — нередко встречаются связные и даже обладающие определенным сюжетом рассказы, которые

* Статья напечатана в сб. «Византийские очерки» (М., 1996). С. 39–49. Более подробно некоторые положения статьи представлены в: *Ljubarskij Ja.* George the Monk as a Short-Story Writer // Jahrbuch der Östereichischen Byzantinistik. 44 (1994). P. 255–264; *Ljubarskij Jakov N.* Concerning the Literary Technique of Theophanes the Confessor // Byzantinoslavica, 56. (1995). P. 317–332; *Ljubarskij Ja.* Some Notes on the Newly Discovered Historical Work by Psellos // TO ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. Studies in Honor of Speros Vryonis. Vol I. Hellenic Antiquity and Byzantium (New Rochelle; New York, 1993). P. 213–228.

можно, хотя и достаточно условно, разделить на два типа. Первый из них — это вставные и, чаще всего, откуда-то заимствованные эпизоды, не имеющие или почти не имеющие касательства к основному историческому повествованию. Второй тип представляет собой уже само историческое повествование, но не в виде характерного для хроник примыкания разнородных сообщений, а в форме сюжетно организованного рассказа.

Уже в первой дошедшей до нас византийской хронике Иоанна Малалы содержится несколько эпизодов, заслуживающих характеристики вставной и даже романтической новеллы. Лучший тому пример — знаменитый рассказ о псевдолюбовном треугольнике Феодосия II, его супруги Евдокии и придворного Павлина, позже заимствованный у Малалы другими византийскими писателями.[2]

Традиция «вставной новеллы» продолжается на всем протяжении истории византийской хронистики, но, пожалуй, наиболее представительная в этом отношении фигура — хронист IX века Георгий Монах. Вот некоторые из характерных примеров таких рассказов, включенных в его сочинение.

— Воин, изнасиловавший женщину, вскоре после совершения этого проступка умирает, но, восстав затем из мертвых, повествует об ужасах, виденных и пережитых им в аду (G. M., 678.16–683.2) (1).[3]

— Женщина перед угрозой насилия предпочитает смерть бесчестию. Она обещает насильнику-воину мазь, которая должна обеспечить ему бессмертие. Якобы демонстрируя ее силу, она мажет мазью свою шею и просит воина ударить ее мечом. Женщина умирает, но сохраняет невинность (G. M., 478.6–479.12) (2).

— Насильно удерживаемая в публичном доме молодая девушка умудряется сохранить невинность. Юноша, который сумел вызволить девушку, расплачивается за это жизнью (G. M. 478.6–479.12) (3).

— Стремясь избежать искушения, монах откусывает себе язык (G. M., 480.15–481.11) (4).

— Сын еврея-стеклодува разделил трапезу в церкви с христианскими детьми и был брошен за это отцом в топящуюся печь. Мальчик остался невредим и принял вместе с матерью христианство (G. M., 654.19–656.11) (5).

— Путешествующий по пустыне вместе с группой христиан еврей заболевает и боится умереть некрещеным. За отсутствием воды спутники крестят его песком, и ему благополучно удается добраться до места назначения (G. M., 461.19–463.19 (6).

— Человек, путешествующий с собакой, был убит разбойником. Его тело похоронил другой путник — купец, который взял собаку и привел ее в свою лавку. Собака узнает в одном из посетителей лавки убийцу и лаем указывает на него. Преступник несет наказание (G. M., 765.15–766.11) (7).

— Богатый и больной человек, опасаясь смерти, раздает деньги нищим. Неожиданно выздоровев, он хочет вернуть деньги и по совету друга уверяет всех в церкви, что раздал деньги не он, а его друг. После этого он сразу умирает (G. M., 673.21–675.10) (8).

Хотя в тексте эти и другие подобные эпизоды строго прикреплены к царствованию того или иного императора, даже самый внимательный читатель вряд ли обнаружит в них какую-нибудь связь с хронологически определенной исторической реальностью. В очень большом числе случаев нетрудно выяснить, откуда эти эпизоды были заимствованы; все они без труда поддаются распределению по группам, согласно международно признанной классификации фольклорных и литературных мотивов и сюжетов.

Так, первый из приведенных рассказов относится к весьма широко распространенному сюжету о путешествии в загробное царство;[4] второй, третий и четвертый повествуют о людях, сумевших ценой смерти или увечий сохранить чистоту («сюжет отца Сергия»); пятый — о чудесном избавлении благочестивого человека от опасности; шестой касается чудесной силы крещения; восьмой — наказания, неизбежно постигающего всякого, кто пытается обмануть Господа.

Хотя столь распространенные сюжеты, как правило, нетрудно отыскать во многих жанрах средневековой литературы, лишь в одном из них они встречаются «кучно» и, главное, выполняют ту же функцию, что и у Георгия Монаха. Таким жанром являются известные в средневековье exempla, особенно в большом числе появившиеся в Европе в XIII в., но, без сомнения, существовавшие и много ранее. Сборники exempla, находящиеся как бы на грани belles-lettres, по сути дела не что иное, как собрание поучительных примеров, рекомендуемых для использования церковному проповеднику.[5] Почти все сюжеты вставных новелл Георгия Монаха обнаруживаются в каталоге Ф. Тубаха, учитывающем все опубликованные к моменту его выхода сборники exempla.[6] Знаменательно, что в одном случае (здесь мы имеем в виду приведенный выше рассказ о сыне стеклодува) сюжет не имеет параллелей в византийской литературе, зато очень часто встречается в западных «сборниках примеров».[7]

Совпадают не только сюжеты «новелл» Георгия Монаха и западных exempla, но и их функциональное назначение: и те, и другие

служат нравоучительным целям. Византийский хронист нередко отвлекается от исторической канвы и превращает свое повествование в религиозную и нравственную проповедь, в рамках которой и находят свое законное место благочестивые и нравоучительные «примеры».

Х.-Г. Бек называл Георгия Монаха единственным писателем, чье произведение можно безоговорочно считать монашеской хроникой.[8] Тем более интересно, что автор, который, казалось бы, должен был более всего озаботиться хронологией, вставляет в свое сочинение в большом числе совершенно «вневременные» рассказы общего содержания. Можно сказать и более: в отдельных случаях Георгий демонстрирует подчеркнутое невнимание к хронологии. Один из примеров может легко пояснить высказанную мысль. В рассказе, относящемся к периоду царствования императора Льва Исавра (717–741), Георгий повествует о некоем монахе, за дурное поведение отлученном от церкви папой Григорием. После отлучения монах вскоре умер, а папа, раскаявшись в своем деянии, велел произнести над могилой покойного молитву, снимающую отлучение. После этого Григорий увидел во сне умершего монаха, которого Господь освободил от наказания (G. V., 748.18–749.16). Содержание новеллы, естественно, носит вневременной характер, но определенная «историчность» рассказу все-таки придается упоминанием имени папы Григория. Поскольку повествование относится ко времени правления Льва Исавра, следует предположить, что имеется в виду один из пап, носивших это имя и современных упомянутому византийскому императору: Григорий II (715–731) или Григорий III (731–741). Однако весь эпизод заимствован из «Луга духовного» Иоанна Мосха,[9] скончавшегося в начале VIII века, и, следовательно, упомянутый Григорий мог быть только Григорием I (590–604). Конечно, эта «подмена пап» — не более, чем элементарная ошибка Георгия, но ошибка показательная, поскольку свидетельствует о полном пренебрежении хрониста хронологией.

Было бы, однако, неверно утверждать, что «цельные эпизоды», или «связные рассказы» встречаются у Георгия Монаха и его предшественников только в виде «вставных новелл», индифферентных в историческом и хронологическом смыслах. Зачатки сюжетно оформленного исторического рассказа («второй тип», по нашей квалификации), можно без труда обнаружить и у Малалы, и у Феофана Исповедника, и у многих других хронистов. Начнем с Феофана, ибо он — единственный в Византии историк, строго придерживающийся анналистического, погодного принципа изложения.[10] Поскольку его сочинение принципиально «антисюжетно», появление в его рамках элементов сюжетного рассказа особенно показательно.

«Хронография» компилятора Феофана, в последние годы попавшая в центр внимания многих византинистов, неоднократно сопоставлялась с ее источниками. Исследователи пришли к закономерному выводу, что писатель, перекраивая сочинения своих предшественников, дробил цельные рассказы, распределяя отдельные их эпизоды по годам, и таким образом уничтожал тематическую и сюжетную связь между элементами повествования.[11] Этот процесс весьма наглядно можно проследить, например, сопоставляя текст Феофана с «Бревиарием» патриарха Никифора. Оба произведения восходят к общим источникам, однако у Никифора связные и тематически законченные эпизоды занимают несравненно большее место, чем у Феофана.[12]

И тем не менее у Феофана при внимательном чтении можно обнаружить наличие и другой, прямо противоположной тенденции: стремление к формированию цельных эпизодов и сюжетно оформленных связных рассказов. В статье, специально посвященной «Хронографии» Феофана,[13] я уже отмечал одну из особенностей компилятивного метода хрониста: формировать рассказ с помощью свободного сочетания элементов, заимствованных у предшественников. Надо при этом иметь в виду, что «элементами» равным образом могут служить как реальные исторические факты, события, детали, полностью или частично освобожденные от своей лексической оболочки, так и готовые текстовые блоки, от сегментов фраз до целых абзацев. В обоих случаях старые элементы компонуются в новые логические и смысловые цепочки, включаются в новый контекст, а по сути дела, образуют новый текст, нередко имеющий мало общего с использованными Феофаном источниками.

Знаменательно, что в ряде случаев целью Феофана являлось, по-видимому, формирование рассказов, более подробных и, главное, более законченных, чем у его предшественников. Характерным примером в этом отношении может служить эпизод восстания Ника. Взяв за основу относительно краткий и схематичный рассказ об этом событии Иоанна Малалы, Феофан комбинирует его с сообщениями «Льва Грамматика» и «Пасхальной хроники» и в результате создает достаточно развернутое и композиционно завершенное повествование о событии.[14] Воспользовавшись некоторыми понятиями, часто употребляемыми в теории текста, ставшей весьма популярной в последние десятилетия в лингвистике и литературоведении, можно утверждать, что в «Хронографии» формируются «рассказы», обладающие отличительными признаками и определенной структурой, характерными для récit или narrative (по принятой в теории текста терминологии).

Теория текста, еще не устоявшаяся и не успевшая сформировать свои аксиомы, знает тем не менее несколько определений рассказа (récit), из которых мы воспользуемся лишь наиболее общим и универсальным. Характерным признаком всякого «рассказа» является следующее: он начинается с нарушения равновесия, продолжается определенным действием, или, если угодно, перипетией или интригой, и заканчивается развязкой, иными словами — восстановлением равновесия, но уже как бы на новом уровне.[15]

Множество эпизодов в Феофановой хронике соответствует приведенному определению. Выберем совершенно произвольно один из них, приведенный под 6128 годом. Иоанн Катей, правитель Остроены, обещает арабскому полководцу Иаду платить ему ежегодно сто тысяч номисм за обещание не переходить Евфрата и не вторгаться в пределы империи («нарушение равновесия», завязка). Вернувшись в Эдессу, Иоанн отправляет деньги Иаду. Император узнает о случившемся и обвиняет Иоанна в самостоятельных действиях (действие, развитие сюжета). Император наказывает Иоанна и лишает его должности (развязка, «восстановление равновесия»).[16]

Завязка рассказа в хронике Феофана обычно выражена достаточно отчетливо и определенно. В некоторых случаях византийский хронист помещает развязку перед завязкой, что сразу придает рассказу, становящемуся своего рода объяснением или раскрытием начального утверждения, характер инверсии. «В этом году император Констант был предательским образом убит в бане... причина же убийства заключалась в следующем...» — начинает Феофан повествование о событиях 6160 года и таким образом сообщает в начале о результате каких-то событий и действий, рассказ о которых должен последовать в дальнейшем. Такой рассказ следует в действительности, причем сообщается следующее. После того, как Констант убил брата Феодосия и совершил ряд других преступлений, византийцы начали его ненавидеть (завязка, оказывающаяся после развязки). Испугавшись их ненависти, Констант решил перенести столицу в Рим, но не преуспел в своих планах и шесть лет прожил в Сицилии (само действие), где в конце концов был убит (возвращение к развязке).[17]

Само «действие» у Феофана чаще всего развивается достаточно прямолинейно и просто, хотя в отдельных случаях немного усложняется и даже приобретает характер интриги. Таков, например, рассказ под 6203 годом, где повествуется о военной экспедиции против Херсона Юстиниана II, решившего наказать жителей за их поведение во время его ссылки. В эпизоде фигурирует много лиц и противоборствующих сил, каждое действие которых парируется противоположной стороной.[18]

В отличие от завязки, развязка редко выражается отчетливо в эпизодах Феофана. Это происходит, например, в сообщении под годом 6130, начинающимся с упоминания о военной экспедиции Иада и заканчивающимся утверждением, что таким образом (οὕτω) военачальник захватил всю Месопотамию. Заключительная фраза, усиленная наречием οὕτω, завершает эпизод.[19] Однако в большинстве случаев в применении к Феофану речь должна, скорее, идти не о настоящей развязке, а, скорее, «восстановлении равновесия на новом уровне». Это, по-видимому, типично для многих средневековых хроник; по выражению Г. Уайта, «хронист часто хочет создать рассказ, стремится к повествовательности (aspires to narrativity), но чаще всего не достигает цели и просто кончает рассказ, но не завершает его (does not conclude but simply terminates the story).[20]

Повествовательность («нарративность») присуща хронике Феофана скорее как тенденция, нежели доминирующая реальность, тем не менее она, как бы наложенная на исторический материал, помимо хронологической схемы и идеологических и ментальных клише, придает произведению во многих частях дополнительную структуру и литературную форму, делает текст связным и выстраивает его элементы в причинно-следственные цепочки. Порой создается впечатление, что из двух противоположных тенденций, присущих «Хронографии» Феофана (хронологизации и повествовательности), вторая даже более органична для писателя, нежели первая. Строго хронологическое распределение материала представляется лишь наперед заданной схемой, строгим ограничением, добровольно наложенным на себя историком.

Тенденция к повествовательности тем более характерна для всей последующей хронистики. Несомненно «сюжетными» являются первые пять книг сочинения Продолжателя Феофана, в центр которых попадает образ императора, царствованию которого они посвящены.[21]

Уже упоминавшийся Георгий Монах не только использует в своей хронике вставные новеллы, но подчас и организует основной исторический или кажущийся ему таковым материал своей хроники по принципам récit. Более того, в ряде случаев Георгий проявляет явное пристрастие к композиционно законченным и цельным историческим эпизодам и формирует их, используя и свободно компилируя материал из произведений своих предшественников. Таковы, например, рассказы об Авгаре (G. M., 320.9–322.10), Афинаиде-Евдокии (G. M., 608.10–610.6), споре между апостолом Петром и магом Симоном

(G. M., 364–376.12), поисках учителя для Аркадия и Гонория (G. M., 561.1–574.10), Иоанне Хрисостоме (593.3–604.6), войне между Феодосием и узурпатором Евгением (G. M., 589.1–592.7) и многие другие.

Любопытно разобраться в способах введения повествовательного элемента в сочинении Георгия. Самый простой из приемов формирования текста, им применяемый, — соединение двух или более фрагментов, взятых у разных авторов. Так, История Авгара начинается с фрагмента из «Церковной истории» Евсевия,[22] а заканчивается отрывком из речи против Константина.[23] Но чаще всего способ компиляции Георгия не столь прост. В эпизоде спора апостола Петра с магом Симоном, например, «базовый» текст Иоанна Малалы, составляющий основу эпизода, рассекается и «начиняется» фрагментами, заимствованными из Климента Александрийского, Феодосия Мелитинского, Анастасия Синаита.

Несмотря на историчность (или псевдоисторичность) материала, приведенные эпизоды большей частью весьма свободно связаны с контекстом хроники, обладают достаточно четкой структурой récit и в этом отношении почти полностью идентичны разобранным выше «вставным новеллам» Георгия.

Кульминации процесс формирования сюжетного повествования, несомненно, достиг в XI–XII вв., в период, когда византийская словесность приобретает все более отчетливые черты belles-lettres, а сюжет начинает занимать все более важное место в ряде литературных жанров.[24] Наиболее характерными примерами в этом отношении являются недавно впервые опубликованная «Краткая история» Михаила Пселла и «Хроника» Иоанна Зонары. Мы остановимся на первом из упомянутых произведений, главным образом потому, что оно еще не успело привлечь к себе внимания многих исследователей.[25]

В отличие от знаменитой «Хронографии» исторический материал, используемый Пселлом в «Краткой истории», совершенно неоригинален. Подобно любому рядовому хронисту, Пселл переписывает или, вернее, перерабатывает достаточно скудный набор фактов и сообщений, давно ставший общим местом византийской хронистики. Почти к каждому пассажу в издании «Краткой истории» ее издатель Артс сумел найти параллели в сочинениях других хронистов. Тем интереснее, однако, даже незначительные — на первый взгляд — отличия пселловского текста от сочинений других хронистов. Ограничимся двумя примерами.

Об императоре Зеноне Пселл сообщает следующее: «Император женился на прекрасной Ариадне, однако она не принесла ему счастья, но, напротив, сделала его несчастнейшим из людей. Дело в том, что увидев Анастасия, человека с глазами разного цвета, весьма образованного, благородного и красивого, Ариадна была совершенно им очарована. Зенон же был рабом собственного желудка и пьяницей, напивался до потери рассудка, так что подчас видом своим напоминал труп. И вот как-то в таком состоянии его похоронили заживо. Он протрезвел и начал кричать и стенать, но все было напрасно, и он умер страшной смертью там, где его похоронили» (H. S., 52.22–30).

Приведенный текст, несмотря на свою краткость, явно напоминает рассказ, который было бы не так уж удивительно встретить в сборнике средневековых или даже ренессансных новелл. В нем присутствует не только любовная интрига, но и определенный «аромат» любовной новеллы: Пселл подчеркивает отвратительность облика обманутого мужа и красоту любовников. Почти все детали приведенного эпизода можно легко обнаружить и у других хронистов, но ни у одного из них нет ничего похожего на «любовную новеллу» из «Краткой истории» Пселла. Некоторые хронисты упоминают о страсти Ариадны к Анастасию Дикуру, но смерть Зенона приписывают болезни (дизентерии или эпилепсии), и ни у одного из них любовная интрига не попадает в центр сюжетного повествования.[26] Составив по деталям, заимствованным из разных источников, собственную версию, Пселл создает весьма необычный для традиционной хронистики рассказ.

Расположенность Пселла к любовным историям хорошо известна по «Хронографии». Достаточно вспомнить описание страсти Константина Мономаха к Склирене, которое, по мнению некоторых ученых, весьма напоминает ряд пассажей из любовных романов следующего столетия.[27] Ту же тенденцию можно наблюдать и в Historia syntomos. Любовный треугольник явно присутствует также, например, в эпизоде убийства Никифора Фоки (H. S., 100.34–102.41).

Сюжетность повествования отнюдь не обязательно связана у Пселла с любовной интригой. Приведу сокращенное изложение главки, посвященной императору Маврикию. Маврикий, по словам Пселла, был весьма умен и мужествен, однако оказался несчастлив из-за собственной жадности (H. S., 60.77–62.3). За этим общим утверждением следует такой эпизод. Маврикий выдал взбунтовавшихся против него солдат кагану, но затем раскаялся и попросил кагана освободить солдат. Каган запросил за это большой выкуп, в котором Маврикий ему отказал по своей скупости; в результате каган казнил солдат. Маврикий вскоре раскаялся в содеянном и начал опасаться

божественного возмездия. Явившийся ему во сне Господь спросил императора, когда тот предпочитает понести наказание, во время жизни или после смерти. Маврикий ответил: «Во время жизни», и в результате Бог выдал его узурпатору Фоке, предавшему его и его детей жестокой смерти. Во время экзекуции Маврикий возносил хвалу Господу.

Эта же история рассказывается в нескольких других византийских хрониках: у Феофана Исповедника, Георгия Монаха, Льва Грамматика и других, однако только в Historia syntomos она структурирована по законам рассказа — récit. Прежде всего, упомянутый эпизод почти полностью занимает раздел, посвященный Маврикию: весь материал, не относящийся к непосредственному рассказу, устраняется автором, как не имеющий отношения к сюжету. Во-вторых, исторический материал организован в виде повествования, являющегося иллюстрацией общего положения, декларированного в начале: Маврикия, несмотря на всего его добрые качества, погубила жадность. Иллюстративность эпизодов — характерная особенность многих средневековых возрожденческих новелл, в том числе, например, «Декамерона» Боккаччо, где каждая из новелл задумана как подтверждение некоего заранее заданного тезиса.

Вопрос о развитии сюжетного повествования, а еще шире — формирования belles-lettres в рамках византийской словесности значителен и интересен не только как византиноведческая, но и общая историко-литературная проблема. Как можно было убедиться, даже такой сухой и «нелитературный» жанр, как византийская хронистика, не остался в стороне от этого процесса.[28]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Beaucamp J. et al.* Le prologue de la Chronique paschale // TM. 1979. T. 7. P. 223–301.

[1] *Ioannis Malalae* Chronographia / Ed. L. Dindorf. Bonnae, 1831. P. 356.17–357.20.

[3] Цитируем Георгия по изданию: *Georgios Monachos.* Chronicon / Ed. C. de Boor. Leipzig, 1904. T. I–II. (Далее. — *G. M.*).

[4] *Dräseke J.* Byzantinische Hadesfahrten // Neue Jahrbücher für das klassische Altertum., 1912. Bd. 19; *S. Lampakes.* Οἱ καταβάσεις στὸν κάτω κόσμο στὴ βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ λογοτεχνία. Athen, 1982.

[5] Европейским exempla посвящена солидная научная литература, ссылки на которую читатель найдет в книге А. Я. Гуревича: *Гуревич А. Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.

[6] *Tubach F.* Index exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales. Helsinki, 1969. Подробнее см. в нашей статье: *Ljubarskij Ja.* George the Monk... S. 255–264.

[7] См.: *Tubach F.* Index. № 2041.

[8] *Beck H.-G.* Die byzantinische Mönchschronik // *Idem.* Ideen und Realitäten in Byzanz. L.: VR, 1972. № XVI. S. 193.

[9] PG. T. 87. 3. Col. 3072.

[10] И. С. Чичуров, в связи с этим, называет Феофана «новатором». Такое определение одного из самых больших традиционалистов в византийской литературе хотя и достаточно парадоксально, но в известном смысле справедливо. См.: *Чичуров И. С.* Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографии // Древнейшие государства на территории СССР. М., 1991. С. 137.

[11] Из этого непреложного факта, однако, делались прямо противоположные выводы. Феофан оценивался то как бездушный компилятор, главным орудием которого были «ножницы и клей» (*Proudfoot A. S.* The Sources of Theophanes for the Heracleian Dynasty // Byz. 1974. T. 44. P. 367; *Mango C.* Books in the Byzantine Empire // Byzantine Boock and Bookmen. Wash., 1975. P. 36; *Speck P.* Kaiser Konstantin VI. Die Legimation einer fremden und der Versuch einer eigener Herrschaft. München, 1978. Bd. 1. S. 423 и др.), то как писатель со своей собственной позицией, организующий заимствованный у предшественников материал в соответствии с собственными взглядами и представлениями (*Чичуров И. С.* Место...; *Ferber J.* Theophanes' Account of the Reign of Heralius // Byzantine Papers. Australian Association for Byzantine Studies. Canberra, 1971. Vol. 1. P. 33 ff. и др.).

[12] Характерные примеры можно найти в части «Бревиария» Никифора, описывающей драматические события царствования Юстиниана Ринотмета (*Nikephoros*, Patriarch of Constantinople. Short History / Text., transl., and comment. by C. Mango. Wash. (D. C.), 1990. P. 98–112). На месте связанных и законченных эпизодов Никифора в «Хронографии» Феофана находятся чаще всего отдельные сообщения, рассеянные по разным годам.

[13] *Любарский Я. Н.* Феофан Исповедник и источники его «Хронографии» (К вопросу о методе их освоения) // ВВ. 1984. Т. 45. С. 72–86.

[14] *Theophanus.* Chronographia / Ex. rec. C. de Boor. Lipsiae,1883. P. 1–481. 181. 24–186.2 (Далее. — *Theoph.*). См.: *Любарский Я. Н.* Феофан... С. 84–85.

[15] *Todorov T.* Grammaire du récit // Langage. 1968. T. 12 (Рус. пер. статьи помещен в сборнике: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. С. 450 сл.).

[16] Theoph. 340.1–10.

[17] Ibid. 351.14–352.4.

[18] Ibid. 377.20–381.22.

[19] Ibid. 340.20–26.

[20] *White H.* The Value of Narrativity in the Representation of Reality // W. J. T. Mitchell. On Narrativity. Chicago, 1981. P. 5 ff.

[21] См.: *Продолжатель Феофана.* Жизнеописания византийских царей. Издание подготовил Я. Н. Любарский. СПб., 1992. С. 237 сл.

[22] *Euseb.* Hist. Eccl. 1.13.

[23] PG. T. 100. Col. 461A.

[24] *Roueché Ch.* Byzantine Writers and Readers: Storytelling in the Eleventh Century. The Greek Novel. A. D. 1–1958 / Ed. R. Beaton. L.; N. Y.; Sydney, 1988.

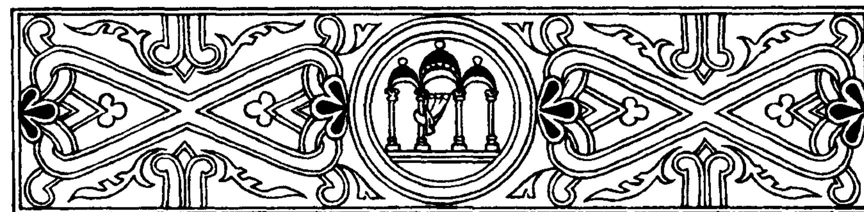
[25] *Michaelis Pselli* Historia Syntomos: Editio princeps / Ed. and transl. W. J. Aerts (CFHB. Vol. 30). B., 1990 (Далее. — *H. S.*).

[26] *G. M.*, 616.5–617.13; *Theoph.*, 135.25–23; *Leonis Grammatical* Chronographia / Ed. I. Bekker. Bonnae, 1842. P. 116; *Georgius Cedrenus* / Ed. I. Bekker. Bonnae, 1838. T. I. 622.20–21; *Ioannis Zonarae* Epitome historiarum / Ed. L. Dindorf. Leipzig, 1868–1875. Bd. IV. 67.5–13.

[27] *Алексидзе А. Д.* Византийская литература XI–XII вв. Тбилиси, 1989. С. 82 сл.

[28] О развитии сюжетного повествования в византийской литературе см. упомянутый сборник: The Greek Novel / Ed. R. Beaton. Ряд наблюдений над сюжетосложением в хронистике сделан О. В. Твороговым в главе «Беллетристические элементы в переводном историческом повествовании XI–XIII вв.» в кн.: Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 141–198. О. В. Творогов даже не ссылается на греческие оригиналы анализируемых им произведений, однако почти все его выводы должны быть отнесены именно к ним.





ВИЗАНТИЙЦЫ О «ДВИГАТЕЛЯХ ИСТОРИИ»
(К проблеме идейных течений XI в.) *

XI в. в Византии — время идейных противостояний и противоборства. Речь идет не о спорах по поводу церковных догматов, немного поутихших после окончательной победы иконопочитания, и не об открытом осуждении еретических учений и еретиков, которое достигло апогея в XII в., а о глубоких внутренних расхождениях по самым кардинальным проблемам бытия, политики, этики, эстетики. Об этих расхождениях исследователи чаще догадываются по намекам писателей, нежели обладают точными сведениями, однако их изучение заслуживает самого пристального внимания, поскольку они — характернейшая черта предгуманистической культуры XI в. Попытки обозначить демаркационные линии идейных расхождений, определить идейные позиции писателей XI в. уже делались, но результаты работы разных исследователей часто оказывались прямо противоположными.[1] Поскольку большинство светских авторов XI в. — историографы, правомерен опыт изучения и сопоставления их позиции и в отношении существеннейшего для любого исторического писателя вопроса о двигательных силах истории.

Позиции византийских историков XI в. непонятны вне контекста развития всей византийской исторической мысли. Типичные средневеково-христианские представления о «двигательных силах» истории

* Статья напечатана в сб. «Общественное сознание на Балканах в средние века». Межвузовский тематический сборник (Калинин, 1982). С. 4–19. Статья представляет собой краткое изложение напечатанной во французском переводе работы *Ja. Ljubarskij.* Homme, Destinée, Providence. La Philosophie greque et sa portée culturelle et historique // Moscou: Progrès, 1985.

приняли полностью завершенную форму у Феофана и безраздельно господствуют в произведениях таких историков, как Георгий Монах и Симеон. «Концепция», разделяемая этими историками, условно может быть названа христианским прагматизмом. Ее суть сводится к следующему. Бог определяет течение земных событий, наказывает людей за грехи, вознаграждает за добродетели. Почти всегда это именно Бог, а не его обезличенные субституты — промысел или провидение. Соотношение высшей силы, Бога и событийного ряда элементарно и однозначно: «вызовы» нарушителей божественного миропорядка влекут за собой быструю или, напротив, несколько замедленную, но неотвратимую реакцию, «ответ» (apophasis — мы употребляем в данном случае используемый византийскими теологами и историками термин) Бога. Божественная воля проявляется, естественно, не только post factum, но и загодя, выражается в виде предсказаний и предзнаменований, чаще необычных природных явлений. В этой картине мира историки, как и подобает ортодоксальным христианским авторам, большое место отводят и свободному человеческому выбору (proairesis). Своими поступками, своим «выбором» человек обеспечивает себе спасение или навлекает гнев Божий. Таким образом, и человек в определенной степени способен влиять на ход событий, ибо то или иное поведение вызывает различную реакцию, «ответ» Бога. Возникающее тут противоречие между идеей детерминированности событий божественной волей и мыслью о человеческой ответственности за свои поступки ни византийские теологи, ни тем более историки решать не пытались.[2]

Концепция «наивного» христианского прагматизма одинаково свойственна любому христианскому автору (и не только средневековому!). Все иные идеи не отменяют ее, а как бы накладываются на эти общераспространенные представления. Эти «новые наслоения» явственно ощущаются уже в первых пяти книгах Продолжателя Феофана, произведении, по времени близком к Георгию Монаху и Симеону. Прежде всего, наряду с Богом и божественной волей у Продолжателя Феофана появляется, а вернее, возрождается почти исчезнувшее было из историографии понятие промысла (pronoia), которое иногда выступает с уточняющими определениями «Божий», «Бога», «высший», а иногда и употребляется самостоятельно. Трудно, а подчас и невозможно провести грань между понятиями Бога и промысла, тем не менее отказ от промысла предшествующей историографии не является случайным. Бог карающий и вознаграждающий, с которым можно было вступить в определенные отношения и милость которого можно было снискать, заключал в себе несравненно

больше личного и близкого простонародному сознанию, нежели обезличенный и абстрагированный промысел. «Наивный» христианский прагматизм в некоторых случаях у Продолжателя Феофана начинает терять свою наивность. Промысел мыслится еще как функция Бога, но уже и как обезличенная трансцендентная сила, определяющая все движение событий истории, как своего рода философско-историческое понятие.

Наряду с этим у Продолжателя Феофана проявляется и другая тенденция, свидетельствующая об усложнении исторической картины, — стремление к причинно-следственному объяснению событий. Если у Феофана, Георгия Монаха и Симеона события, как правило, «рядополагались» и отношения между ними существовали чисто хронологические, то у Продолжателя Феофана исторические факты нередко фигурируют в функциях причин и следствий. Более того, Продолжатель Феофана дважды категорически заявляет о необходимости для любого историка вскрывать причины явлений.[3] Весьма знаменательно, что в качестве причин событий Продолжатель Феофана нередко приводит те или иные свойства исторических героев.

Еще больше, нежели Продолжатель Феофана, отдалился от прямолинейной концепции «наивного» христианского прагматизма Лев Диакон. В его «Истории» еще сильнее, чем у Продолжателя Феофана, обезличенный промысел теснит Бога. При этом промысел становится синонимом абстрагированной высшей направляющей силы. Но и она достаточно далеко отстоит от земных дел, которые, по Льву, — результат действия слепой судьбы-случая Тихи. Широко распространенная у позднеантичных и ранневизантийских авторов, Тиха вновь возрождается у Льва Диакона, чтобы стать олицетворением ненадежности и нестабильности всего земного. Располагаясь где-то между божественным промыслом и событийным рядом, Тиха воплощает в себе то непонятное и иррациональное в движении истории, что уже не может быть сведено к действию промысла и божественной воли. Итак, концепция «наивного» христианского прагматизма, едва успев утвердиться в византийской историографии, начала подвергаться определенной модификации и усложнению под влиянием слабых, но явно ощутимых рационалистических и светских тенденций.

На вторую половину XI в. приходится творчество нескольких писателей, мировоззрение и уровень исторического сознания которых весьма различны.

Иоанна Скилицу[4] К. Крумбахер весьма поспешно назвал одним из самых тупых византийских хронистов.[5] На самом деле, как взгляды Скилицы, так и уровень развития его интеллекта определить нелегко,

поскольку Скилица — не самостоятельный историк, а компилятор, весьма зависимый от своих предшественников, и разные части его «Истории», опирающиеся на различные источники, кажутся написанными разными авторами. В то же время компилятивный характер произведения Скилицы даже способствует выяснению собственных воззрений историка в тех случаях, когда до нас дошел источник его текста: сопоставляя оба произведения, исследователь бывает в состоянии определить настроения и взгляды самого компилятора.

Это возможно уже потому, что Скилицу очень трудно назвать бездушным переписчиком, каким был, например, Кедрин в отношении того же Скилицы, просто-напросто включивший сочинения последнего в свою «Историю». Текст оригинала подвергается у Скилицы определенным изменениям. Каким именно? Постараемся показать это на отрывке из «Истории» Скилицы, представляющем собой переложение пятой книги Продолжателя Феофана, так называемой Vita Basilii Константина Багрянородного. Во-первых, можно отметить стремление Скилицы избежать повторений, встречающихся в оригинале, а в некоторых случаях даже придать рассказу логическую стройность. Так, Скилица опускает рассказ об убийстве кесаря Варды на том основании, что об этом эпизоде уже рассказывалось ранее (Скил., 128.34). Продолжатель Феофана, сообщив о провозглашении царем Василия, замечает, что настало время рассказать о его предшественнике Михаиле, и повествует далее о плохом правлении и беспутной жизни прежнего царя. Скилица же, сообщив о радости подданных в связи с восшествием на престол Василия, объясняет ее дурным правлением его предшественника (Скил., 130.86). Элементарная сочинительная связь заменяется подчинительной. Во-вторых, Скилица значительно упрощает текст, опуская выспренные энкомиастические характеристики героев (опущена характеристика младенца Василия — Скил., 199.76, ср.: Прод. Феоф., 220.1 сл.; опущены рассуждения о ревностной деятельности царя Василия — Скил., 132.40, ср.: Прод. Феоф., 257.14), заменяя во многих местах сложные конструкции и изысканную лексику на более элементарные, отказываясь от библейской образности и т. п.

В-третьих, Скилица последовательно выкидывает из своего источника все общие рассуждения и «философствования», предпочитая всегда придерживаться фактографического принципа (так опущены, например, рассуждения Продолжателя Феофана о больших и малых городах — Прод. Феоф., 221.6 сл.; о пользе учения в военном и всяком другом деле — 265.16 сл. и др.). Исчезли из сочинения Скилицы и столь важные для характеристики исторического сознания Продолжателя Феофана рассуждения о необходимости для историка вскрывать причины исторических явлений (Прод. Феоф., 21.19 сл.; 167.18 сл.). Значительно сокращая источник, Скилица тем не менее редко делает это за счет реальных эпизодов, которыми так богата Vita Basilii. Более того, можно предположить наличие у Скилицы определенного «вкуса» к такого рода сценам, его способность заново пережить, домыслить их и даже добавить отдельные детали, поэтические сравнения и т. п.[6]

Итак, Скилицу трудно причислить к холодным и бездушным византийским компиляторам. Во-первых, определенная тенденция проявляется и в переложении тех частей оригинала, которые как-то свидетельствуют о представлениях автора о «двигателях истории». Уже говорилось о том, что у Скилицы «выпадают» оба рассуждения Продолжателя Феофана о необходимости для историка вскрывать причины явлений. Видимо, причинно-следственные связи мало интересуют хрониста XI в. Во-вторых, у Скилицы значительно ослаблен провиденциальный характер «Жизнеописания Василия». Основная мысль Константина заключается в том, что промысел избрал Василия своим орудием и последовательно ведет его к царству для спасения пришедшего в упадок государства. Скилица тоже восторженно описывает Василия, сохраняет почти все места оригинала, где говорится о божьей помощи и покровительстве Василию, но исключает или чем-либо заменяет все упоминания промысла. Полностью отсутствуют упоминания промысла, содержащиеся у Константина Багрянородного (Прод. Феоф., 222.25; 238.11; 257.15). В одном случае понятие промысел получает у Скилицы уточняющее определение — «Бог» (Прод. Феоф., 234.22 = Скил., 127.14), т. е. употребляется не абсолютно, а как функция Бога, в другом случае вместо промысла говорится о «знаке Божьем» (Прод. Феоф., 219.3 = Скил., 119.74), в третьем «Божий промысел» заменяется «Божьим вдохновением» (Прод. Феоф. 164.4 = Скил., 91.75). Характерно, что один раз у Скилицы промысел упоминается там, где о нем ничего не говорится в оригинале, но в этом случае это понятие заменило неприемлемое для благочестивого автора представление о роке (pepromenon, см.: Прод. Феоф., 232.23 = Скил., 126.73). Характерная замена! В сознании Скилицы существует понятие промысла, как чего-то неотвратимо господствующего над человеческой жизнью (недаром именно оно заменило «рок» оригинала), но в объяснении реальной истории Скилица предпочитает не прибегать к нему, обходясь Богом, божественной волей и т. п. Можно думать, что концепция, именовавшаяся нами «наивным» христианским прагматизмом, больше свойственна

Скилице, чем Продолжателю Феофана, книгу которого он переделывал. «Регресс» в философско-исторической концепции Скилицы особенно ощутим при сравнении с современным ему Михаилом Пселлом.

Великий эрудит, глубокий философ, талантливый писатель, Михаил Пселл — фигура для Византии необыкновенная. Как философ, он гораздо глубже продумывает и гораздо более четко, чем другие византийские историки, выражает те суждения, которые приводятся у него ad hoc и по конкретному поводу.[7] Как и подобает благочестивому христианскому автору (каковым Пселл непременно хочет казаться), распоряжение всеми земными делами историк приписывает промыслу, правда, несколько ограничивая сферу его проявления: «Я привык возводить все значительные события к воле божественного промысла и, более того, ставлю в зависимость от него вообще все происходящее...» (Пс. Хрон., 71.18 сл.) и т. д.

Вместе с тем процесс абстрактизации и «философизации» представлений о провидении достигает у Пселла высшей точки. «События развиваются не по нашей воле, но выше нас существует некое могущественное начало, которое направляет нашу жизнь куда захочет, порой по гладкой дороге, а порой к бурям и разладам», — пишет Пселл (Пс. Хрон., 1, 152.2 сл.). Трансцендентная сила, управляющая миром, представляется здесь не в виде персонифицированного Бога (Theos), Божества (Theion) и даже не в виде промысла (pronoia), а в максимальном обезличенном понятии «начала» (arche).

Вместе с тем в «Хронографии» обнаруживается и иной причинно-следственный ряд, к которому божественный промысел не имеет отношения. «У меня есть обыкновение всякое дело, имеет оно видимость доброго или кажется иным, не только рассматривать само по себе, но исследовать его причины и возможные результаты» (1, 138.6 сл.). Эти слова из «Хронографии» — не пустая декларация. У Пселла действительно обостренное внимание к причинной зависимости событий, что нередко сказывается даже в композиции его сочинения (см.: Пс. Хрон., 1, 140.6 сл. 11, 14.6 сл.).

Историк гордится тем, что в состоянии обнаружить не только явные и всем видимые причины, но и вскрыть истоки событий, незаметные для поверхностного наблюдателя. Пселл пишет, что императрица Зоя была необыкновенно щедра, и «царская власть тогда, казалось, обрела величие и еще большее достоинство». Но «все происходящее и высочайший взлет на самом деле оказались началом упадка и унижения государства». «Многим кажется, — продолжает историк несколькими строками ниже, — что окружающие нас народы

только теперь вдруг... вторглись в ромейские пределы, но, как мне представляется, дом рушится тогда, когда гниют крепящие его балки. Хотя большинство людей и не распознало начала зла, оно коренится в событиях того времени: из туч, которые тогда собрались, ныне хлынул проливной дождь» (I, 121.12 сл.). Конечно, Пселл обнаруживает причины, следствия которых уже отчетливо проявились, тем не менее умение увидеть приметы разложения в самом расцвете — несомненная заслуга средневекового историка. В этом отношении Пселл (не в смысле традиционного средневекового подражания — «мимесиса», а по существу) продолжает линию Фукидида с его стремлением к вскрытию причинной исторической связи.

Итак, два причинно-следственных ряда (в одном все зависит от провидения, в другом — от естественных причин) как бы параллельно существуют в «Хронографии», пересекаясь лишь в редких случаях, когда историк ощущает необходимость объяснить возникающее противоречие. Так, Пселл приписывает себе в «Хронографии» речь, в которой упрекает Константина IX Мономаха, полагающегося на божественный промысел и потому отказывающегося принимать меры по охране своей персоны: «Никто из них (Пселл говорит об архитекторах, кормчих и воинах. — *Я. Л.*), делая свое дело, не отказывается от упования на Бога, но первый возводит строения сообразно правилам, другой кормилом направляет судно, а из людей военных каждый носит щит, вооружен мечом, на голову надевает шлем, а остальное тело покрывает панцирем» (11, 34.27 сл.). Объяснение это вполне укладывается в рамки средневекового христианского мировоззрения, никогда не требовавшего от человека бездействия и полного подчинения божественному промыслу, хотя в принципе и предпочитавшего деятельной жизни созерцательную. Его появление на страницах «Хронографии» весьма характерно для Пселла, стремившегося к соединению деятельности философской и государственной, жизни созерцательной и практической.

В объяснении мотивов деятельности людей, причин и источников событий Пселл явно тяготеет к тенденции, которую можно определить как прагматизм, уже без прибавления эпитетов «христианский» и тем более «наивный». Очень показательны в этом отношении рассуждения Пселла о том, как разные люди встречают обрушившиеся на них бедствия. «Одни люди, — пишет историк, — беспокоятся по любому пустяковому поводу, страшатся беды и не могут прийти в себя даже тогда, когда она миновала. Другие — простоватые — не умеют различить начало грядущих бед, не пытаются устранить их причин, но предаются безобидным удовольствиям. Третьи (это лучший род

душ) не склоняются перед несчастиями и черпают силы не в материальной опоре, а «уповая на мужество ума и высший суд». «Такого, однако, — продолжает Пселл, — мне не пришлось видеть в людях моего поколения — для нас уже и то хорошо, когда человек как-то умеет предвидеть беду, старается устранить ее причины, а если уже она пришла, защищается» (Пс. Хрон., 11, 13.8 сл.). Итак, человек в представлении Пселла оказывается весьма активным действующим фактором.

И наконец, еще об одном небольшом замечании, почти оговорке Пселла. Собираясь рассказать об ужасной и вероломной расправе с императором Романом Диогеном, Пселл пишет: «... с этого места оно (повествование Пселла. — *Я. Л.*) замедляет ход и отказывается рассказать о событиях, которые не должны были произойти, но которые (я позволю себе употребить те же слова) обязательно должны были произойти. Не должны — по благочестию и отвращению ко всякому злу, должны — по состоянию дел и обстоятельствам» (Пс. Хрон., 11, 171.22 сл.). Не промысел, не людское благочестие, а «состояние дел и обстоятельства» определяют здесь развитие событий. Пселл стоит на грани признания прагматической истории!

Прагматизм Пселла сближает его с другим писателем XI в., с которым Пселл ни по социальной среде, ни по уровню образования и интеллекта, ни по политическим взглядам, по-видимому, не имеет ничего общего. Речь идет об авторе «Стратегикона» Кекавмене.[8] Кекавмен, несомненно, весьма благочестив. Упоминаниями о Боге и божьей помощи пестрит текст его сочинения: «Никогда не покупайте должности посредством взяток, а просите ее у Бога...», «Нет власти не от Бога» (Кек., 238.7 сл.), «Полагайся не на воздаяние людское, а на Божественное» (Кек., 120.31 сл.), «Совершить что-либо можно лишь при Божьем содействии» (Кек., 137.30; 148.1), «Непрерывные поступки людей вызывают непосредственный гнев Божий» — все это примеры элементарного благочестия «среднего византийца».[9] В то же время о промысле и других абстрактизированных синонимичных понятиях у Кекавмена вовсе нет речи. И вместе с тем автор сборника житейских советов, своего рода византийский Гесиод, Кекавмен остро ощущает противоречие между мыслью о подчиненности всего земного божественной воле и реальным значением и ценностью человеческой деятельности. Стремление примирить непримиримое иногда проявляется у Кекавмена в рядоположении факторов божественных и человеческих («Если же ты благодаря совершенству своих добродетелей, или благодаря рвению, или по божьему соизволению окажешься на большой высоте...» — Кек., 124.8 сл.; «Пусть сила твоя будет не в деньгах, а в уме и еще более в Боге» — Кек., 236.15). Иногда оно выливается в рассуждения о необходимости человеческой активности, несмотря или даже вопреки предопределенности всего сущего («Но и ты сам делай свое дело, будь усерден и не падай духом. Однако если ты чего и достигнешь, то это всецело дар Божий, ибо без Бога невозможно охотиться и на воробья». — Кек., 142.6 сл.; ср. аналогичную мысль: Кек., 290.6 сл.).

Более того, человек, по Кекавмену, полностью несет ответственность за свои поступки, хотя его действия (в том числе и неправые) заранее предначертаны. «Почему Пилат был тяжко осужден? — апеллирует к авторитету Библии Кекавмен. — Потому что способный отпустить Господа, не сделал этого, хотя и предопределено было случившееся» (Кек., 120.12 сл.). Прагматизм заставляет и утонченного философа Пселла, и вполне, видимо, ординарного стратига Кекавмена искать решение исконному в христианстве противоречию между предопределенностью и свободой человеческого выбора и настаивать на необходимости активной деятельности человека.

Позиция современника Пселла и Кекавмена Михаила Атталиата представляется весьма консервативной. «Случайность», Тиха, играющая столь большую и самостоятельную роль у Льва Диакона, является для Атталиата чем-то вроде вульгарного эквивалента божественного промысла.[10] И сам промысел весьма редко встречается в тексте «Истории», вновь уступая место более персонифицированным Богу, Божеству, божественному суду, божественной помощи.

Более того, основное содержание концепции «наивного» христианского прагматизма — идея божественного гнева — вновь восстанавливается в правах у Атталиата. Вот отдельные примеры. С тех пор, как Никифорица ввел монополию на хлебную торговлю, кончилось благополучие городов и великий гнев божий постиг ромейскую землю (Аттал., 202.8 сл.). Когда Роман Диоген жестоко наказывает одного воина, Атталиат пророчит ему божий гнев, и прорицание в дальнейшем оправдывается (Аттал., 153.13 сл.). Как результат дурного управления империей Никифорицей, божий гнев постигает восточные земли (Аттал., 183.3).

Если прегрешения почти автоматически влекут за собой гнев божий, то, напротив, добрые поступки и хорошее поведение людей отнюдь не обязательно должны немедленно вознаграждаться. Когда стремления человека направлены ко благу, Бог помогает ему и его начинаниям (см.: Аттал., 52.8 сл.; 224.22 сл.; 239.13 сл.; 261.8 сл.), однако никакой «автоматической» связи между тем и другим нет, ибо «если не сочувствует и не судит Бог, не вызовет высшей помощи

ни дело честное, ни мысль боголюбивая, напрасно и бесцельно все человеческое» (Аттал., 248.15 сл.). Что, собственно, нужно сделать, по мнению Атталиата, для получения божьей помощи или награды, следует из другого пассажа, относящегося к разделу о времени Константина Дуки. Отметив, что при этом царе Империя переживала как беды, так и удачи и что первые приписываются обычно порокам, а вторые — добродетелям монархов, Атталиат заявляет, что несчастия действительно являются следствием человеческих грехов, а вот все хорошее — результат божественного вмешательства, поскольку «все хорошее свыше». Человек при этом вовсе не пассивен, однако единственный способ обретения для него помощи божией — молитва (Аттал., 86.14 сл.). Божьим гневом склонен Атталиат объяснить все неудачи Ромейской империи. С досадой и удивлением вопрошает историк, почему цари, зная историю и наблюдая, сколь легко высокая участь по вполне ясным причинам превращается в низкую, не обращают на это никакого внимания и не стремятся выяснить причины бедствий, подстерегающих Ромейскую державу. Одна из этих причин — божий гнев, обрушивающийся за человеческие прегрешения, другие имеют вполне земную природу и являются следствием неправильных, как мы бы сейчас сказали, неадекватных решений (bouleumaton anoikeion tois pragmasin). Без всякого боголюбивого совета, не умилостивив Бога, пускаются цари в военные предприятия и терпят поражения, не осознавая, что это результат божьего гнева. Совсем иначе поступали лишенные христианской благодати, которые во всяком поражении усматривали гнев богов и расследовали его причины. Нынешние же ромеи не обращают на это никакого внимания, цари и полководцы под предлогом пользы народу совершают богопротивные дела и потому навлекают на себя гнев божий (Аттал., 194.1 сл.).

По всей видимости, Атталиат возвращается к той концепции «наивного» христианского прагматизма, от которой уже начала было отходить предшествующая историография. И вместе с тем настойчивость, эмфатичность деклараций Атталиата, его стремление обосновать и уточнить свою точку зрения (вспомним, многие из прежних хронистов почти не рассуждали на подобные темы, их «философия истории» как бы оставалась за кулисами событий!) наводит на мысль не столько о бесхитростной религиозности, сколько о полемически отстаиваемой идейной позиции.

Об умозрительности этой концепции Атталиата свидетельствует и то обстоятельство, что не в декларациях, где он связан наперед заданной схемой, а в реальном объяснении исторических событий

Атталиат, подобно Пселлу, столь же часто ссылается на вполне земные причины, как и на божественное вмешательство. Даже в только что приведенном пассаже божий гнев в качестве источника человеческих бедствий упомянут наряду с «неадекватными» решениями людей. Правда, дальнейшего развития этот мотив здесь не получает. Нетрудно привести и другие аналогичные примеры. «Не ошибется тот, — пишет историк, — кто припишет исход событий дурным или хорошим полководцам» (Аттал., 108.4 сл.). «Вотаниат, — сочувственно сообщает Атталиат, — залогом своей победы считал как божественную волю, так и собственный ум и храбрость» (Аттал., 287.15 сл.).[11]

Такого рода нарочитая, умозрительная позиция могла, скорее всего, возникнуть как отталкивание, противостояние каким-то иным точкам зрения. И хотя сам Атталиат никого по имени не называет, можно думать, что точкой отталкивания для него была концепция, аналогичная пселловской.

Произведение Атталиата послужило источником истории так называемого Продолжателя Скилицы, автора, о котором нам решительно ничего не известно.[12] Компилятивный характер труда, сохранность оригинала, как и в случае со Скилицей, помогают в определенной мере выяснить настроение и мировоззрение писателя. «Христианский прагматизм», возведенный интеллектуальным Атталиатом до уровня сознательно занятой и, вероятно, полемически отстаиваемой позиции, вновь обретает у Продолжателя Скилицы свою «наивность». Сокращая обычно свой источник, Продолжатель Скилицы в то же время старательно сохраняет все упоминания о Боге и божьей воле и даже сам вставляет от себя замечания такого рода или расширяет и уточняет имеющиеся. Атталиат рассказывает, например, об Исааке Комнине, велевшем на монетах изображать себя с мечом в руке. Продолжатель Скилицы благочестиво осуждает при этом императора за то, что тот «все приписывал не Богу, а собственной силе и военному опыту» (Прод. Скил., 103.2 сл.). Говоря о разгроме болгар и печенегов, он добавляет тривиальное, но отсутствующее у Атталиата замечание о том, что все это дело божие (Прод. Скил., 85.24 сл.). Рассказывая о падении дерева, чуть не убившего Исаака Комнина, Атталиат ограничивается лишь указанием, что это было дурным знаком, а Продолжатель Скилицы добавляет, что случай сей не только мрачный предвестник будущего, но и наказание за прошлое (Прод. Скил., 107.24 сл.). Многочисленность и систематичность подобных примеров — свидетельство определенной тенденции, вернее, умонастроения, гораздо более похожего на «наивный»

христианский прагматизм предшествующих хронистов, нежели на позиции современников Продолжателя Скилицы — Пселла и даже Атталиата. Не исключено, что это наблюдение — лишний аргумент в пользу тождества Скилицы и его продолжателя.

Христианская концепция «двигателей истории» при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не такой единой и монолитной, как это кажется с первого взгляда. В XI в. мы встречаемся с традиционным для византийской и вообще средневековой историографии «наивным» христианским прагматизмом (Скилица, Продолжатель Скилицы), с весьма сложными для этого времени историческими представлениями, предвещающими гуманистические идеи будущего (Пселл) и, наконец, с реакцией на эти «слишком радикальные» для XI в. тенденции (Атталиат). Различия и даже нюансы в возрениях отдельных историографов — показатель разницы не только в их интеллектуальном уровне, но и в позициях, которые они занимали в идейном противоборстве своего времени. Изучение этого противоборства — дело будущего.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Подробнее всего сопоставление взглядов писателей XI в. произведено Г. Г. Литавриным. (Советы и рассказы Кекавмена / Подготовка текста, введение, перевод Г. Г. Литаврина. М., 1972 [далее: Кек.]).

[2] См.: *Beck H.-G.* Vorsehung und Vorherbestimmung in der theologischen Literatur der Byzantiner. Roma, 1937. S. 21.

[3] *Theophanes Continuatus, Iohannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus* / Ed. I. Bekkerus. Bonn, 1838.

[4] Сочинение Иоанна Скилицы цитируется по: *Ioannis Scylitzae.* Synopsis historiarum, rec. I, Thurn. Berlin; New York, 1973.

[5] *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur. 2. Aufl. München, 1897. S. 336.

[6] Приведем только отдельные примеры. В сцене прощания Омуртага с плененными ромеями у Константина Багрянородного говорится о том, что младенец Василий поразил Омуртага и вызвал ярость его телохранителей (Прод. Феоф., 217.17 сл.). Скилица, домысливая сцену, объясняет, что воины Омуртага были раздражены тем, что такому юноше, как Василий, позволяют вернуться домой (Скил., 118.45). В эпизоде сооружения шалаша для младенца Василия Константин Багрянородный пишет, что родители построили шалаш, чтобы уберечь сына от солнечного жара (Прод. Феоф., 218.10 сл.). Скилица добавляет, что сделали они это для того, чтобы Василий мог безмятежно спать и ему ничего не мешало извне (Скил., 118.57). Приведенные примеры, несомненно, «мелочи». Вряд ли, однако, ими можно пренебрегать при анализе работы Скилицы с его источником.

[7] *Psellos M.* Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976–1077). Texte établit et traduit par E. Renauld, I–II. Paris, 1926–1928. T. II. P. 109. (Далее. — Пс. Хрон.).

[8] См.: Кек., с. 97. Цитаты из Кекавмена приводятся далее в переводе Г. Г. Литаврина.

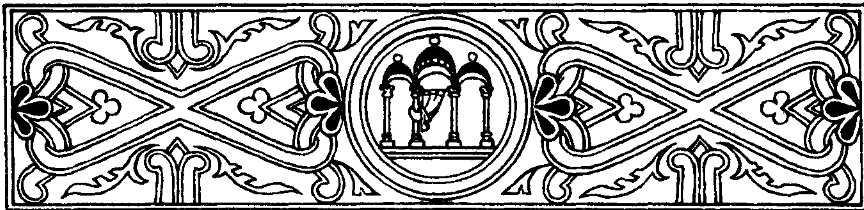
[9] Так определяет Кекавмена П. Лемерль (*Lemerle P. P.* Prolégomènes à une édition critique et commentée des «Conseils et Récits de Kékaumènos». Bruxelles, 1960. P. 95).

[10] *Michaelis Attaliotae* historia, rec. I, Bekkerus, Bonn, 1853.

[11] На внимание Атталиата к каузальным связям (aitiai) обратил внимание Г. Хунгер (*Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. I. S. 383).

[12] Не исключена возможность, что Продолжатель Скилицы и сам Скилица — одно лицо. Эту точку зрения в последние годы поддерживал Е. Цолакис в предисловии к изданию: *Tzolaki E.* Synecheia tes Chronographias tou Ioannou Skylitze. Thessalonike, 1968. (Далее. — Прод. Скил.), 82 сл. Ср.: *H. Hunger.* Die hochsprachliche... S. 392).





NEW TRENDS IN THE STUDY OF BYZANTINE HISTORIOGRAPHY *

In the course of every intellectual endeavor, it is advisable sometimes to stop and look down the road we have traveled and try to imagine what lies ahead. The present paper is not book review, still less an attempt to praise or criticize the books and articles written about Byzantine historiography in recent years; my task is merely to try to isolate significant trends in Byzantine studies. Some years ago I published an article with a similar title in *Klio*,[1] but the similarity of titles does not necessarily mean similarity in content.

Much work has been done in recent years in the study of Byzantine historiography. When the first volume of *Corpus Fontium Historiae Byzantinae* appeared in 1967, most scholars thought it would take a century to replace the famous Bonn Corpus. Now, however, the end of the enterprise is around the corner. Over the last decades many works have appeared dealing with the personalities of historians and the peculiarities of their writings, not to mention the treatment of these compositions as historical sources. Of great importance is the fact that some scholars learned not only to draw factual evidence from historical works, but also to extract from them «indirect» information — the sort of information medieval writers did not realize they possessed![2] But this is of relatively little interest for our purposes. Historiography will be regarded here chiefly as a phenomenon of cultural history and as a literary genre.

Some of the current issues in Byzantine historiography are rather old and traditional; others have appeared recently. We shall begin with the first ones, specifically the problem of the classical tradition in historiography.

* Опубликовано в *Dumbarton Oaks Papers*, 47 (1993), 131–38.

The constant application of the well-tried methods of classical philology and especially *Quellenforschung* to the historical writings of the Byzantines revealed already in the nineteenth century the close dependence of Byzantine writers on their ancient Greek forerunners. Since classical background was being discovered almost everywhere (far more in histories than in chronicles), detecting ancient models in any work became a goal of sorts and most scholars came to the conclusion that Byzantine historiography is a direct continuation of the classical one. It is not difficult to find dozens of such assertions, but I need refer only to the article by G. Moravcsik with the significant title, «Klassizismus in der byzantinischen Geschichtsschreibung».[3] Moravcsik's main conclusion is that Byzantine historiography is a «geradelinige Fortsetzung der antiken». The search for a classical background even led some scholars to reconstruct lost or imaginary pieces of literature as presupposed models for extant Byzantine historiographical compositions. Such was the case, for instance, with R. Jenkins, who saw in the Continuator of Theophanes' story of Michael III an imitation of Plutarch's lost biography of Nero.[4]

As often happens, after the trend reached its climax opposing viewpoints appeared and some scholars tried to verify, limit, and/or reject the extremes of the theory. So, four years after the publication of Moravcsik's article, H. Hunger successfully demonstrated that the dependence of Byzantine historical writings on classical patterns by no means prevented them from being trustworthy historical sources.[5] Supporting this statement, Hunger showed that historical events narrated by Byzantine authors in terms and phrases and even with details borrowed from antiquity really took place because they were recorded by other writers. In a more recent paper devoted to John Kantakouzenos,[6] Hunger goes still further, asserting that the similarity between Kantakouzenos and Thucydides (his model) was limited to the language, and that imitation of classical models was for the Byzantines merely a sort of «intellektuelle Gesellschaftsspiel».

So Byzantine historical writings regained their trustworthiness, but the problem of the «imitation of antiquity» remained because Byzantine historiography was not merely a collection of pieces of evidence, but a cultural phenomenon in need of explanation. This task is much more difficult, and most scholars have failed to comprehend why the world outlook, mentality, and literary methods of Byzantine historians imitating their classical predecessors had in reality very little in common with those of their models (I do not mean, of course, such obvious things as the difference between Christian and pagan concepts).

This fact is really much easier to appreciate by instinct than to comprehend intellectually, and not many scholars have tried to do it. Among them I would like to mention only one, partly because the title of his paper corresponds to that of Moravcsik mentioned above: the Australian scholar R. Scott and his paper «The Classical Tradition in Byzantine Historiography».[7] In contrast to the Hungarian Byzantinist, Scott argued that classical historiography ceased to exist in the sixth century and was never restored in the Byzantine period. Unlike Hunger, Scott was not concerned with verifying the historical events narrated by Byzantine writers, but tried to demonstrate the differences between Byzantine authors with respect to their approaches to narration and their methods and concepts of history. Scott chose as an example Anna Comnena, arguing that the distinctive feature of the *Alexiad* — as well as of many other Byzantine historical works — is the extent of the author's intrusion in the narration, the «personal concern» of the writer, her focus on the individual and family, and the use of historiography as individual and dynastic propaganda. There is no space here to discuss the correctness of this statement; what is of interest and importance is a goal of the scholar himself, that is, the goal of seeking out the special characteristics of Byzantine historiography.

No doubt this problem cannot be solved without linking it to the issue of continuity and discontinuity in Byzantine culture, the two main modern views on which are represented by A. Kazhdan and G. Weiss.[8]

Another problem to be discussed is genre of historiography. F. Winkelmann, in a paper written in his younger years, divided historiography into four subgenres: histories, chronicles, church histories, and hagiographical works.[9] Hagiographical works must be excluded from the list because they form a special and separate literary genre; church history (to the study of which Winkelmann himself contributed much) existed mainly at the very beginning of the Byzantine era. But histories and chronicles — which I have discussed elsewhere [10] — are the subgenres I intend to briefly address here.

For K. Krumbacher, histories and chronicles were two separate branches of historiography, each with its own independent origin and with little interconnection to the other. Histories were supposed to have been written by educated authors in a classical manner and read by a tiny layer of classically educated persons, while chronicles were supposedly composed by unpretentious monks in simple style and intended to be read by a simple sort of people.

This notion remained unchallengen until the 1960s, when H.-G. Beck in a brilliant paper showed that this view was speculative and without

basis in the material.[11] Beck's arguments appeared to be incontrovertible, but the reaction of scholars was strange, to say the least. Some apparently took no notice of it at all; some approved it but nevertheless continued to divide historiography into two distinct branches. They appreciated Beck's view, but in their research continued to pursue the old route. So there has evolved a rather paradoxical situation: almost all the scholars have admitted in theory that historiography was a unity, but in practice cannot help separating in into histories and chronicles.[12]

In my opinion this situation has its roots not exclusively in the minds of scholars, but in reality itself. As I have tried to demonstrate in my papers mentioned above, the interconnection of these two subgenres is not static and unchangeable, but rather dialectical and dependent upon the historical period. Histories and chronicles existed in parallel only at the very beginning of Byzantine history until the so-called Dark Ages. After that histories disappeared but chronicles remained and began developing «in the direction of histories», and already in the tenth century some of them took the form of histories. Thus the great historical works of the eleventh, twelfth, and subsequent centuries were not mere repetitions or reconstructions of classical pieces of historiography (although direct influence cannot be excluded), but were the result of the evolution of Byzantine historiography itself. I do not know whether my suggestions are correct, but I am sure that both subgenres must be regarded not only in their existence as separate enitities but in their controversial interconnection as well.

Such are the traditional problems concerning Byzantine historiography as they have been treated up to now. A few words about relatively modern issues. Since the 1960s some works have been published dealing with the world outlook and ideology of Byzantine authors, mostly from scholars with Marxist backgrounds or at least a Marxist education. (This can be easily understood because of the interest of Marxists in ideological problems.) Among these I would like to mention only the works by A. Kazhdan and G. Litavrin, because the both used the very productive method that can be designated as comparative analysis. It consists of the juxtaposition of the views of different writers and the comparison of their attitudes toward certain subjects. Such a method gives us a chance to define the peculiarities and originality of the historians — not often taken into consideration by modern scholars. Kazhdan used this method in reference to the composition of Michael Attaleiates, Litavrin in reference to Cecaumenos.[13]

Special note should be taken of the rather few works on the Byzantine philosophy of history. This topic, common enough in European

medieval studies, has been very rarely discussed by Byzantinists. The reason is clear: the Byzantines did not have figures such as Augustine or Otto von Freisingen, for instance, and their views on history are supposed to be homogeneous and scarcely differentiated. This statement was questioned with regard to late historiography a quarter of a century ago by C. Turner, who argued that in the last centuries of Byzantium there existed three different directions in the philosophy of history: the traditional (Sphrantzes, Doukas), the radical (Chalcocondyles, Critobulos, Plethon), and the middle-of-the-road (Manuel II, Scholarios). The main point of Turner's paper is the changeability and diversity of these approaches to history.[14] Unfortunately, his line of research was hardly pursued by scholars; I can refer only to the paper of X. Khvostova, likewise devoted to the late period, but using the modern methods of statistical analysis, and two papers of my own.[15]

But the most significant trend in modern studies of historiography is, in my opinion, the gradual transition from pure *Quellenforschung* to the contextual (if I may call it this) investigation of Byzantine historical writings. This sort of investigation has resulted in the reevaluation of many pieces of historiography.

Here Byzantine chronicles provide the best example. No genre of Byzantine literature has ever been maligned and ridiculed as has that of chronicles. Their authors have been deemed dull and uneducated, their content banal and full of commonplaces, their style unskilled and feeble. Such a notion persisted until the present day, and even Hunger, despite his acute understanding of Byzantine literature, did not hesitate in his *Die hochsprachliche Profane Literatur der Byzantiner* to call chronicles «Trivialliteratur». But it has been precisely these chronicles that have been reevaluated the most during the last decades.

The impulse for this reevaluation came, as so often happens, from Western medieval scholars. One of them already some decades ago argued that even the most trivial of the chronicles was in some aspects superior to the histories written by the most educated authors.[16] The main reason for such a pradoxical assertion was that any universal chronicler was supposed to be able to review the whole course of events of world history, while the historian could see only a small part. Moreover, instead of the cyclical scheme of historical development supposedly typical of classical historians, Christian chroniclers seemed to insist on the progressive advance of History from a fixed starting point to a final goal. I am not quite sure that this overestimation of chronicles was correct, but the humiliation to which this branch of historiography was subjected came to an end.

Although an acute Byzantine scholar, H. Gelzer, admitted early the importance of chronicles,[17] the proper investigation of the genre began not so long ago. Only two papers (besides the chapter in Hunger's *Profane Literatur*) can pretend to have a theoretical approach to the subject. There is, first of all, the great article by five French authors published in *Travaux et Memoirs*.[18] Strictly speaking, the authors deal with the *Chronicon Paschale*, but in reality they are concerned with chronography as a whole and especially stress the importance of chronography for the content, composition, literary form, and formation of the subgenre. The second article is by C. Mango, which is full of original — if debatable — thoughts worthy of special discussion.[19]

Much more numerous and significant are studies of single works of chronography. Much has been written in recent years, for instance, about John Malalas — one of the most «despised» chroniclers of early Byzantium. The focus on Malalas reached its climax after the publication of *Studies in John Malals*, a large volume written by Australian Byzantinists [20] (who some years ago published the translation of his *Chronography* into English with a long commentary).[21] Strictly speaking, the volume comprises a collection of different essays, but in fact is a thorough study of the Byzantine writer. Some chapters are rather traditional in content (e. g., «Malalas' Sources», «The Language of Malalas»), but the titles of the others presuppose a more modern approach («Malalas' World View», «Malalas and his Contemporaries», etc.). And in some of the cases this presupposition really turned out to be the case. The main goal of the authors was to put the *Chronography* by Malalas in different «contexts»: that of the genre (B. Croke assumes that a lot of other works very similar to the *Chronography* existed), contemporary literature (Scott argues the similarity of Malalas in many ways to such different writers as Procopius, Romanos Melodos, and others), Byzantine ideology (E. Jeffreys tries to present the world view of Malalas in the framework of Byzantine mentality), and so on. The validity of each of these viewpoints must be evaluated separately, but what is significant is the general trend of many of these papers, which not only put Malalas' work «in different contexts», but likewise stress the originality of the writer. To cite one of the authors: «Although Malalas' approach to his subject fits easily into contemporary context, he was nevertheless pursuing his own line with his own set of facts and interpretations».

Most of what I have just said about the study of Malalas concerns certain other chronicles as well. George Syncellos, for instance, was considered by J. J. Scaliger as dull and stupid; even Gelzer was sure of

his «Denkunfähigkeit». Until not very long ago the only work worth mentioning on the subject of George Syncellos was that of R. Laqueur in the *Real-Encyclopädie* of Pauly-Wissowa, but in the late seventies and eighties we have seen a sort of explosion of interest in Syncellos. G. Huxley,[22] for example, claimed to reevaluate Syncellos' personality and praised his erudition. Some years later W. Adler went even further. In his recent book [23] he noted Syncellos' erudition and argued that, though he adapted and reshaped material from earlier works, Syncellos did not imitate, and in reality refuted their authors. Thus Syncellos in Adler's opinion turned out to be not only a learned but also an original writer.

Something similar happened to Theophanes the Confessor, who for a long time had been dismissed by scholars as a superficial compiler. But I. Čičurov, investigating just unoriginal parts of Theophanes' *Chronography*, managed to show the means Theophanes used to express his own attitudes and approaches.[24] The historian writing «on the edge of anonymity» turned out to be personality with his own world outlook. In parallel with and after Čičurov's work other papers appeared in line with his opinion,[25]and P. Speck seems to have been the last scholar to assert that Theophanes' *Chronography* in its compiled part consists of disparate quotations not very carefully connected to one another.[26]

The «rehabilitation» of the chronicle of George the Monk is found in an article by D. Afinogenov.[27] Even such a trivial chronographer (or rather copyist) as George Cedrenos has been recently deemed a renovator of historiographical tradition.[28] The tendency of scholars is evident.

The use of the method I have called here «contextual investigation» and the process of reevaluating works of historiography can be observed not only in the field of chronography. Two examples will suffice to support this statement. The first is Averil Cameron's book on Procopius.[29] Strange as it may seem, this book is the first monograph about Procopius written in this century. His writings, according to Cameron, have not been properly assessed because of the habit of modern philologists to regard the work of medieval writers exclusively with respect to genres. Procopius, the creator of the historical composition the *Wars*, the pamphlet the *Secret History*, and the rhetorical discourse *About Buildings*, had never been explored as an entity. His profile as a writer was separated into three distinct parts. So the authors of the *Wars*, *About Buildings*, and the *Secret History* seemed to be three different individuals. Overcoming this tradition, Cameron set out to evaluate Procopius' literary legacy as a «unified system» existing in the «contemporary context» of Byzantium of the sixth century (the word «context» has become fashionable nowadays among Byzantinists). She states:

«The three works must be taken both singly and together and made to reveal their inner coherence and the principles on which they are constructed».[30]

The second example is the paper by Kazhdan on John Kantakouzenos.[31] His paper is remarkable in that he approaches the *History* by Kantakouzenos as a book of fiction. According to Kazhdan the writer's intrusion in the text, a process begun by Psellos, reached a peak in the work by Kantakouzenos. The writer became a sort of pivot uniting the historical material in the work. The reader, says Kazhdan, can find in the *History* a «spirit of tragedy», the «heroic spirit of the defeat», and so on. Such notions and vocabulary are much more common in literary criticism than in historical studies, but are we able to appreciate a historical work properly unless we take into account the artistic methods of its author?

It should be stressed that the problem of interconnection of fiction and history writing is now vividly discussed by scholars from the viewpoint of so-called theory of narrativity. In their opinion the only and not very important difference between the two is that the first deals with imaginary, the second with real events. The theory of narrativity is now being applied to medieval and even Byzantine historiography.[32] Its application can be, in my opinion, of great use when nothing or very little is known about the authors of texts as well as about the circumstances of their creation and when traditional *Quellenforschung* does not bring sufficient results (chronography is the best example).

To sum up, I have mentioned certain books and papers which reflect, to my mind, modern trends in the approach to Byzantine historiography. To some extent they reflect new trends in Byzantine studies in general. To be sure I do not mean to imply that all the ideas expressed in the studies mentioned here are entirely persuasive and well founded, or that they are as «modern» as are, for instance, researches in the field of Western medieval or even ancient historiography. My only task has been to stress the new trends in this field, and I am quite sure of the future importance of these new approaches to Byzantine historical writings.

NOTES

[1] *Ljubarskij Ja.* «Neue Tendenzen in der Erforschung der byzantinischen Historiographie» // *Klio.* 69.2 (1987), 560–566.

[2] *Kazhdan A.* and *Constable G.* People and Power in Byzantium (Washington, D. C. 1982).

[3] *Moravcsik Gy.* Klassizismus in der byzantinischen Geschichtsschreibung // *Polychronion, Festschrift F. Dölger* (Heidelberg, 1966), 366–377.

[4] *Jenkins R.* «The Classical Background of the Scriptores post Theophanem» // DOP. 8 (1954), 11–30.

[5] *Hunger H.* On the Imitation (ΜΙΜΗΣΙΣ) of Antiquity in Byzantine Literature // DOP. 23/24 (1970), 15–38.

[6] *Hunger H.* Thukydides bei Johannes Kantakuzenos. Beobachtungen zur Mimesis // JÖB. 25 (1976), 181–193.

[7] *Scott R.* The Classical Tradition in Byzantine Historiography, *Byzantium and the Classical Tradition*, University of Birmingham, Thirteenth Spring Symposium of Byzantine Studies 1979 (Birmingham, 1981), 61–74.

[8] *Kazhdan–Constable.* People and Power. 117–139; *Weiss G.* Antike und Byzanz. Die Kontinuität der Gesellschaftsstruktur // HZ. 224 (1977), 529–560.

[9] *Winkelmann F.* Geschichtsschreibung in Byzanz // *Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock.* 18 (1969), 475–481.

[10] See: *Ljubarskij.* Neue Tendenzen; *Idem.* Ob evolutsii vizantijskoj istoriografii, *Literatura i iskusstvo v sisteme kultury* (Moscow, 1988), 39–44; *Idem.* Sočinenije prodolžatelja Feofana, chronika, istorija, Žizneopisanija?in *Prodolžatel Feofana, Žizneopisanija vizantijskich zarej* (Moscow,1992), 203.

[11] *Beck H.-G.* Die byzantinische 'Mönchschronik' // *Ideen und Realitäten in Byzanz*. London, 1972. 188–197.

[12] Not to cite many works, see for instance: *Jeffrey M. J.* The Attitudes of Byzantine Chroniclers towards Ancient History // *Byzantion.* 49 (1979), 199 ff; *The Chronicle of Theophanes. An English Translation of anni mundi 6095–6305 (A. D. 602–813),* with Introduction and Notes by H. Turtledove (Philadelphia, 1982), x–xi; *Snipes K.* The Chronographia of Michael Psellos and the Textual Tradition and Transmission of the Byzantine Historians of the Eleventh and Twelfth Centuries // *ZRVI. 27/28* (1989), 45 ff.

[13] *Kazhdan A.* and *Franklin S.* Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries (Cambridge–Paris, 1984), 123 ff; *Sovety i rasskazy Kekavmena*, ed. G. Litavrin (Moscow, 1972), 62 ff.

[14] *Turner C.* Pages from Late Byzantine Philosophy of History // *BZ.* 57.2 (1964), 346–373.

[15] *Khvostova X.* Filosofia istorii Grigory i Pachimera i sovremennaja informatika // *Viz Vrem.* 46 (1986), 146–156; *Ljubarskij Ja.* Homme, destinée, providence // in *La Philosophie grecque et sa portée culturelle et historique* / ed. A. Garzya. Moscow, 1985. 229–269; *Idem.* Vizantijcy o dvigateljach istorii // *Obščestvennoe soznanije na Balkanach v srednie veka* (Kalinin, 1982), 4–19.

[16] *Spörl J.* Das mittelalterliche Geschichtsdenken als Forschungsaufgabe // *Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter* / ed. W. Lammers. Darmstadt, 1961. 23 ff.

[17] *H. Gelzer.* Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie. Leipzig,1898. 97.

[18] *Beaucamp J. et al.* Le prologue de la Chronique pascale // *TM. 7* (1979), 223–301.

[19] *C. Mango.* The Tradition of Byzantine Chronography // *Harvard Ukrainian Studies.* 12/13 (1988–89), 360–372.

[20] *Jeffreys E.* with *B. Croke* and *R. Scott.* Studies in Malalas. Sydney, 1990.

[21] *The Chronicle of John Malalas* / ed. E. Jeffreys, M. Jeffreys and R. Scott. Sydney, 1986.

[22] *Huxley G. L.* «On the Erudition of George the Synkellos // *Proceedings of the Royal Irisch Academy,* 81 C, no. 6 (1981), 207–217.

[23] *Adler W.* Time Immemorial: Archaic History and its Sources in Christian Chronography from Julius Africanus to George Syncellus. Washington, D. C., 1990.

[24] *Čičurov I.* Mesto 'Chronografii' Feofana v rannevizantijskoj istoriografičeskoj tradicii (IV-nač. IXv.) // *Drevnejšije gosudarstva na territorii SSSR.* Moscow,1981, 5–148.

[25] See: *Rochow I.* Malalas bei Theophanes // *Klio.* 65.2 (1983), 459–474, and the literature mentioned in the artocle; *Idem.* Zwei Neuerscheinungen zur Chronik des Theophanes // *Klio.* 67.2 (1985), 646–654.

[26] *Speck P.* Kaiser Konstantin VI. Die Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft. Quellenkritische Darstellung von 25 Jahren byzantinischer Geschichte nach dem ersten Ikonoklasmus, I (Munich, 1978), 389 ff.

[27] *Afinogenov D.* Kompozicija chroniki Georgija Amartola // *VizVrem.* 52 (1991), 102–112.

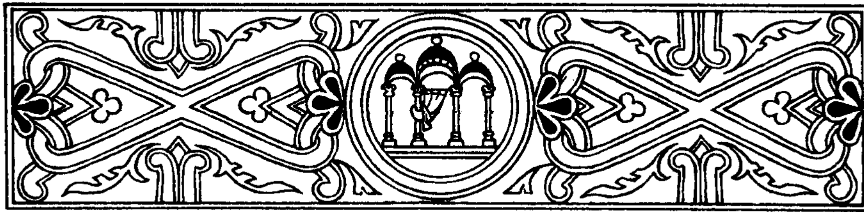
[28] *Maisano R.* Note su Giorgio Cedreno e la tradicione storiografica bizantina // *RSBS.* 3 (1983), 227.

[29] *Cameron Av.* Procopius and the Sixth Century (Berkeley—Los Angeles, 1985).

[30] Ibid. 262.

[31] *Kazhdan A.* L'Histoire de Cantacuzène en tant qu'oeuvre littéraire // *Byzantion.* 50 (1980), 279 ff.

[32] *White H.* The Value of Narrativity in the Representation of Reality // *On Narrativity* / Ed. W. Mitchell (Chicago, 1981), 1–23. For attempts at the practical application of this method, see in *History as Text*, ed. A. Cameron (Duckworth, 1989). See also *Haldon J.* Jargon; vs. 'the Facts'? Byzantine History-Writing and Contemporary Debates // *BMGS.* 9 (1984–1985), 117 ff.



MAN IN BYZANTINE HISTORIOGRAPHY FROM JOHN MALALAS TO MICHAEL PSELLOS *

The problem of «man in literature» has been a topic of lively discussion by scholars in our century,[1] but Alexander Kazhdan was the first to treat it using Byzantine material.[2] The topic itself interested him only as part of a much larger problem, namely, that of «homo byzantinus» — a notion introduced by Kazhdan and since then popular among Byzantinists.[3] Kazhdan not only delineated the problem, but also tried to find ways of solving it. The author of this paper, who actively collaborated with Kazhdan in the latter's pre-emigrant years and considers himself his pupil in certain aspects, has also studied this problem basing his research mainly on the writings of Michael Psellos.[4]

I used to share the opinion that the figure of Psellos was unique in Byzantine literature and that the peculiar place he occupied was largely due to his outstanding ability to penetrate human psychology and to depict his characters. Indeed, in the *Chronography* Psellos proved that he was able to use such methods of portrayal as would hardly be expected of a medieval writer and is more typical of modern men of letters. Because of this ability, Psellos has been compared by modern scholars to Shakespeare and Dostoyevsky. I then tried to find in the literature before Psellos authors, and especially historiographers, who could be regarded as his predecessors, but I came to the conclusion that the brilliant descriptions of personages in the *Chronography* were exclusively due to the personal talent of the writer and had no parallels in contemporary literature. I still admire the talent of Psellos, but a close reading of Byzantine historical authors made me think that Psellos' personal abilities were not the only thing to be taken into account in judging the level of his skill. I hope to demonstrate that, for all his

* Статья напечатана в *Dumbarton Oaks Papers*, 46 (1992), 177–186.

skill, Psellos stood at the apex of a long process of evolution in Byzantine historiography. The problem is too complex to be treated comprehensively in one paper. Here it can only be outlined, not solved.

In order to sketch the evolution of the art of depicting characters in Byzantine historiography, it seems reasonable to turn to the very beginning of the genre, to the *Chronography* of John Malalas. The reason why he is regarded here as the originator of Byzantine historiography is as follows. Since K. Krumbacher a distinction has consistently been made between two strands in Byzantine historiography: chronicles and histories. According to Krumbacher, these strands differ in every detail, from the figures of the author and reader to the style and language of historiography.[5] Most scholars adopted this theory, although it soon became obvious that many works could not be classed with either strand or, vice versa, could be related equally to both of them. As early as twenty years ago, H.-G. Beck tried to undermine the theory of separate «subgenres» of historiography going their own way through the thousand years of Byzantine history.[6] Some scholars shared this view, others rejected it, still others took an intermediate position.[7]

There is no need to pile up further arguments in support of any of these points of view. In my opinion the problem in general cannot be solved once and for all; it demands a historical approach. As I have tried to show elsewhere, chronicles and histories developed independently and were really separate genres only in the first period of Byzantine history, down to the beginning of the tenth century.[8] For instance, the histories of Procopius, Agathias, and Theophylactus Simocatta belonged to the subgenre of historiography, while in the same period the works of John Malalas, John of Antioch, and the *Chronicon Paschale* formed a chronographical line. The crucial distinction is to be sought not in literary qualities or peculiarities of language, nor even in the different social status of their authors and readers. They were different because they belonged to different stages in the development of the genre. While historians maintained and continued (rather than restored!) the classical tradition, with its artistic skill and the moral and mental values of antiquity, writers of chronicles, reflecting quite another mentality, rejected the achievements of classical literature and returned to the initial point: in broad outline, to the stage of Greek logography and Roman annalistics. From this point of view chronicles and histories are not different subgenres, but different stages in the evolution of historiography. (Making such a statement, one should not forget that the first chronicles appeared already in antiquity and some of them were quite sophisticated. The history of literature is much more complicated than

the schemes we try to put on it.) Malalas' work is the first specimen of a chronicle created on Byzantine soil [9] and we begin our discussion with it. There is another reason why Malalas' *Chronography* is worth analyzing here. Unique as it seems, it was in reality only one link in the long chain of many similar works unfortunately now lost.[10]

Classical historiography knew many methods of depicting historical characters. Most of these methods proved absolutely useless for Malalas and the chroniclers who were his contemporaries. There were many reasons for it, but first and foremost it was a change in approach to man and his role in history. In contrast to antiquity, the human being was considered much more dependent on divine authority, devoid of influence on the course of events.[11] It is not the hero who is placed at the center of the narrative, but events, and not the events themselves but their chronological order and the sacral meaning contained in it.[12] This is the main reason why the hero, who had previously been the compositional center of the story, now moved to the background and became the formal subject of the action. This is the reason why his feelings, emotions, and qualities became less interesting to writers. The range of the hero's emotions was very limited, and one can easily draw up an inventory of his or her feelings. Most often Malalas' heroes «become vexed» (ἀγανακτεῖν) or «irritated» (ὀργίζειν) or «fall in love». These words are constantly repeated, and one may even get an impression that Malalas' characters can have no other emotions. It should be noted that the connection between a feeling and the action that results from it is presented as instantaneous and immediate. As soon as the hero gets vexed, for example, an action follows: he kills or beats his enemy or does something without reflection or any other form of delay. This connection between emotions and deeds is typical of folklore and of archaic forms of literature, and in this respect Malalas' book represents an archaic stage of literature.

The same holds for the inventory of epithets applied to active personages. Some of them occur once or twice; two or three can be found constantly, but all are very simple and generalizing and invariate in nature. Almost all men in Malalas are wise (σοφός), while women are beautiful (εὐπρεπής). A connection exists between the qualities of heroes and their deeds and actions, but this connection is also instantaneous and immediate, and, moreover, as a rule is expressed by the same construction with ὡς. For instance, somebody falls in love with a girl because she is beautiful (ὡς εὐπρεπῆ), or somebody is revered because he is wise (ὡς σοφός), and so on. Here again one can speak of folklore or an archaic type of literature.

The scant, colorless descriptions of active figures are at first sight in stark contrast to the many detailed descriptions applied in Malalas' work to some mythological and historical personages. These descriptions, rightly called *somatopsychogrammata,*[13] are of a peculiar nature and different from the characterization of heroes in modern literature. First of all, they seem to be indispensable in the *Chronography* and their absence in some cases from the only extant manuscript can be easily explained by the transformation of the original text.[14] Second, the place of *somatopsychogrammata* in the narrative is always fixed. Almost invariably they follow the first mention of the hero and are introduced in the same way by ἦν δε. Third, *Somatopsychogrammata* are formulaic in nature and are organized as certain structural entities. The order of epithets within them is also strictly fixed. They almost always begin with, so to speak, «external» epithets concerning the outward appearance of the hero, then the ethical epithets follow. In its turn, the order of external attributes does not vary: height, stature, color of hair, eyes, and so on, with very little deviation. The very choice of epithets is limited, and they can easily be brought together into some kind of inventory. For instance, the hero's height is characterized as μακρός (23 times), κονδοειδής (20), διμοιριαῖος (16), εὐμήκης (6), μέγας (5), εὐῆλιξ (4). As to his chest, the hero can be εὔσθητος (10 times) or εὐθώραξ (4).[15]

Fourth, all the epithets in *somatopsychogrammata* are placed on the same level without any sign of hierarchical order. No single one of them can be considered as a distinctive feature or as the character's main quality. Fifth, the epithets themselves are absolutely neutral, with no trace of emotional coloring. Sixth (last but not least), all the attributes in *somatopsychogrammata* are absolutely unconnected with one another — a construction called asyndetic.

To the mind of modern readers these characterizations seem at least tasteless, and nineteenthcentury scholars spoke of them with derision;[16] J. Fürst, for instance, called them «Polizeiliche Signalement» (police description),[17] and they really are much more like an identification card for a criminal or missing person than a literary description of character. The *somatopsychogrammata* seem truly funny if they are considered to be a reflection of reality, but in fact they have nothing to do with reality. The same attributes, often in the same order, are applied to different personages having nothing in common with each other. For instance, who could be less alike than Odysseus and St. Paul? Yet in Malalas' work almost the same epithets in almost the same sequence are applied to both.[18]

If *somatopsychogrammata* had nothing to do with reality, some questions arise: what was the reason for employing them and what was their origin? Many scholars tried to answer these questions. Some saw their archetype in the description of persons in the business papyri of Egypt,[19] some referred to «eikonismoi» widespread in rhetorical literature,[20] others tried to combine these different points of view.[21] In any case, outward similarity was taken to be a decisive argument for genetic dependence. In my opinion, the problem of the origin and essence of *somatopsychogrammata* has to be discussed on a broader and more solid basis.

First of all, *somatopsychogrammata* can be found not only in Malalas' work but also in many other works of Byzantine literature, especially in historiography and rhetoric. They occur in the compositions of the so-called «Scriptor Incertus de Leone Armenio», Pseudo-Symeon, Leo the Deacon, etc.; in the form «eikonismos» they remained in rhetorical speeches to the end of the Byzantine Empire. Moreover, *somatopsychogrammata* were an almost indispensable ingredient in the historical compositions of other nations in the Middle Ages. They are constantly present in western medieval chronicles;[22] one can find them in Russian chronicles mostly in the form of obituary notices.[23] Their «forerunners» can easily be found in historical and rhetorical works of late antiquity.[24] As a whole, *somatopsychogrammata* were a dominant way of describing characters in the historiography of more than ten centuries. In spite of differences between epochs and nations, they sometimes reveal an astonishing likeness of content and structure. This likeness is especially impressive in the coincidence of details. For instance, most *somatopsychogrammata* are introduced by the same formula: ἦν δε (Greek), *erat enim, fuit autem* (Latin), *бе же* (Russian). Partly these correspondences can be accounted for by their common origin, but the long life and stability of the *somatopsychogrammata* demand another explanation.

It has already been observed that every artistic device in a piece of literature does not exist separately but is connected with, and even demands, other corresponding devices.[25] One can also argue that *somatopsychogrammata* were not isolated phenomena in the method of medieval historical writings in general or of Malalas in particular. As has already been pointed out, the main feature of the *somatopsychogrammata* was their totally asyndetic character (epithets equal in value juxtaposed with no sign of hierarchical dependence or connection). Such a juxtaposition was not only proper to the elements of a heros' characterization, but was, rather, a distinctive, general feature of early medieval historiography (if not literature as a whole). I have discussed the correspondence between *somatopsychogrammata* and other elements of Malalas' *Chronography* elsewhere.[26] It can be seen most clearly in the composition and language of early medieval works of historiography. Chronicles of the early Middle Ages were composed of separate entries dealing with events totally isolated from their milieu. These entries were juxtaposed the way the details of a portrait are accumulated in *somatopsychogrammata*. Most phrases in chronicles are paratactic, that is, they are composed of equivalent sentences connected with the conjunctions καὶ, *et*, и, and so on, according to the language of the chronicle,[27] and thus juxtaposed to each other in the same manner. *Parataxis* is the right word to describe this main peculiarity of the style (in the broad sense of the word) of early medieval literature.[28] There can be no doubt that *parataxis*, as opposed to *hypotaxis*, is not only the most common principle of the organization of text in chronicles but a reflection of a certain mode of thinking in the early Middle Ages. That is the reason why *somatopsychogrammata* (and, in any case, their method of depicting characters) endured so long in Byzantine historiography. For early chronicles to reject the use of *somatopsychogrammata* and the asyndetic, paratactic method of presentation of characters in general would have meant rejecting their own nature.

It would be tempting to analyze from this point of view the fragments of the *Chronography* of Malalas' contemporary John of Antioch. These fragments contain minute descriptions of some emperors, and some are composed exclusively of facts and anecdotes intended to characterize the rulers.[29] Facts and anecdotes are combined here in the same asyndetic way as the isolated elements of *somatopsychogrammata* and thus retain the paratactic principle of construction. Unfortunately, such analaysis is hardly possible before solving many textual problems, first and foremost the question of the priority of the so-called «Constantinian» or «Salmasian» fragments.[30]

The literary production of the next two centuries is too scanty to judge the processes going on in historiography, but the beginning of the ninth century produced three prominent historiographers at once: George Synkellos, Theophanes the Confessor, and Nikephoros the Patriarch. The *Chronography* of George Synkellos has been underestimated for a long time and only quite recently has become a subject of investigation.[31]

George's *Chronography* is in many aspects much more cultivated and sophisticated a work than that of John Malalas, but his way of portraying characters does not differ much from John's method. George's text lacks *somatopsychogrammata* but contains a number of epithets

applied to its heroes. These epithets are probably much more numerous and various than those of John Malalas, but they are of the same abstract and generalized nature and are also devoid of connection with each other as in the work of the earliest Byzantine chroniclers. The same can be said of the feelings and connections between the emotions and deeds of the characters. The author is very busy with chronological calculations and with confronting the different versions of historical events given by different writers; he pays little attention to the qualities and peculiarities of the partici pants in events,which are,as a rule,marginal to the narrative.

The style of depicting characters of Georges' pupil and continuator, Theophanes the Confessor, differs slightly from that of his master, but some problems arise and need to be discussed futher. The first of them has been examined in detail by I Čičurov.[32] By the time of Theophanes the notion of the perfect type of emperor had already been formed in Byzantine literature. This notion was not abstract, but was embodied in the concrete historical figure of the first Byzantine basileus, Constantine the Great. By Theophanes' day, in the works of Byzantine writers the image of Constantine the Great had already become a sort of paradigm or standard according to which all rulers were to be judged and described. All their qualities came to be regarded as corresponding or not corresponding to the catalogue of virtues embodied in Constantine. The presence of a corresponding virtue was considered as positive, its lack as negative.

This method of representing historical figures was applied not only to emperors, but also to virtually every class of personages (clergy, warriors, women, etc.); they all had their «perfect model», a set of certain virtues obligatory in this kind of person. This method, typical of medieval literature, is labeled differently by different scholars. D. Lihačev prefers the name «literary etiquette»;[33] W. Ginsberg defines it as «literary typology».[34] In essence, they mean the same thing. This mode was unknown to Malalas and his contemporaries and, as far as we know, was for the first time introduced into Byzantine historiography by Theophanes the Confessor. Being a reflection of the medieval mode of thinking in general it was repeated (or imitated?) in autocratic states of modern times. For instance, there existed in the Soviet Union a sort of counterpart to Constantine the Great in the person of Lenin, who very soon after his death was turned into a legendary and imaginary person embodying all possible virtues. The presence or lack of a definite set of virtues supposedly possessed by Lenin became a criterion for evaluating persons in life, literature, and art.

This innovation is not the only one found in Theophanes' *Chronography*. In order to outline the next one it is necessary to take as an example some historical persons depicted by the writer. For this purpose I have chosen Emperor Nikephoros I (802–811) and Empress Irene (797–802) for the reason that the part of the *Chronography*, in which they are active, is the original creation of Theophanes and not based on written sources. The mode of depicting characters is here genuine rather than borrowed from his predecessors.[35]

Nikephoros is presented by Theophanes as an absolutely negative person in all aspects, opposite to the image of the ideal emperor. Theophanes called him παραλογιστής (fallacious, Theoph., 479.3),[36] παρανομώτατος (lawless, 480.22), θρασυδειλός (braggart, 490.11), περιφάγος (voracious, 488.1), and so on. The emperor is godless, cruel, hypocritical, and cowardly. No trait of his is positive, and black is the only color used to depict him. Following the custom of Byzantine writers, the hero is linked to biblical and mythological persons. In this case these are Phalaris, Achaab, and Pharaoh. The accumulation of negative features of different sorts is typical of the paratactic method of characterization described above, but in the case of Nikephoros there appears a phenomenon previously unknown in chronicles. Among the distinctive traits of Nikephoros, one feature is evidently repeated much more often than the others and, in a sense, dominates them: avarice (φιλαργυρία). It is avarice that Theophanes mentions first of all as the vice of Nikephoros (470.30). The same vice is not forgotten in the final characterization of the emperor (491.29 ff.). Since avarice is the main cause of the ten crimes committed by Nikephoros (487.20 ff.), it is the defect for which he is constantly accused in the *Chronography* — not only during his life but also after his death (477.30 ff, 478.21 ff, 480.3, 483.1, 485.21, 487.20, 489.21 ff, 490.23, 492.15 ff, 493.34, 494.11, 498.9, etc.).

There is no doubt that avarice and cupidity were truly characteristics of the historical Nikephoros (in any case writers independent of Theophanes ascribe this quality to him).[37] But the main thing to be stressed here is not that the emperor's avarice was indisputable but that the hero of a historical narrative is now characterized by a dominant feature.

The next character to be discussed here, Irene, was the immediate predecessor of Nikephoros on the imperial throne. At first sight she seems to present a real contrast to the godless scoundrel Nikephoros. Her accession to power was proclaimed as a revelation of God's desire to dissipate impiety (454.16). Her overthrow was considered a disaster for the whole state (477.8 ff). But in reality Theophanes' attitude to Irene

is not so simple. After relating some events of her reign, the author refers to the devil, who, constantly envying piety, provoked a quarrel between the mother (Irene) and the son (Constantine). The next pages, relating the story of their struggle, are apparently hostile to Irene. The epithet εὐσεβής (pious), applied to her earlier, disappears entirely from the text, and the historiographer not only fails to conceal all evil deeds committed by Irene (including the blinding of her own son) but even stresses her initiative in these crimes (469.23 ff, 472.18 ff). As the reader becomes accustomed to this new attitude toward Irene, the authors' approach suddenly changes again and Irene, after her enthronement as autocratic ruler, recovers her lost attribute εὐσεβής (474.16, 475.28, 476.5, 479.5, etc), merits praise as σοφὴ καὶ θεοφιλής (wise and God-loving, 477.32), and, moreover, begins to be depicted in a real hagiographical manner.[38]

The contradictions in Irene's personality have been noted by scholars and quite correctly explained as Theophanes' different attitude to different aspects of her activity: nothing can be more natural than to praise the empress for the restoration of icons and to blame her for blinding her son.[39]

Neverteless, Irene's image is of interest from the point of view of literary history. First of all, Irene is not unique in Theophanes' work. Some examples of similar contradictions have been observed by Čičurov.[40] In reality, one can see here not only a contradiction between characterization and deeds but also between the deeds themselves. «Positive» and «negative» deeds are juxtaposed without further explanation.

Such juxtaposition seems characteristic not only of Byzantine but also of other literature of the early Middle Ages. As Ginsberg points out, «because medieval literature was modelled on the style of the Bible it would not demand precise correlation between qualities of characters or events in the narrative».[41] One may question the decisive influence of biblical style on medieval literature, but the lack of correlation between qualities of character, deeds, or events is obvious. The same phenomenon in Old Russian chronicles has been observed by I. Eremin.[42] A typical example is Jaroslav the Wise in «Povest Vremennih Let» (the *Primary Chronicle*). Some historical persons in the chronicle do not remain the same, but are constantly transformed from one episode to the next. In each they are depicted through different methods and styles (epic, hagiographical, chronographical, etc.) and their character and behavior alter accordingly. A coward can become brave, a scoundrel can become saintly, and so on. Afterwards they can persist in the new state or return to the previous one. Unlike his English colleague, Eremin sees the explanation not in the Bible but in the fragmentary character of the chronicle and in the lack of coherent narration typical of archaic forms of literature. Irrespective of the causes suggested by scholars, the identity of the phenomenon itself, as observed in Byzantine, western medieval, and Old Russian literature, can hardly be questioned.[43] Equally there can be no doubt that this phenomenon is related to the asyndetic and paratactic character of early historiography.

It would be of interest to survey the feelings and emotions proper to the characters of the last «original» part of the *Chronography*. In the last fifty pages of de Boor's edition, Theophanes' heroes show fear (φοβέω, πτοέω, καταπλαγής, 11 times) or they grieve (λυπέομαι, 9 times). Other emotions are mentioned only once or twice. It is remarkable that the «positive» Irene is mainly presented as λυπουμένη (grieving, 457.12, 469.19), while the behavior of the «negative» Nikephoros constantly provokes laughter (480.26, 483.20, 485.23). Seriousness, even grief, was considered indicative of a «good» state of mind, while gaiety indicated a «bad» one (Jesus Christ never smiles!).

The next specimen of historiography that is of concern for our purpose is the composition of an anonymous author usually called *Scriptor Incertus de Leone Armenio*.[44] Preserved in fragments, this chronicle was created at the end of the ninth century, that is, more than half a century after the work of Theophanes.[45] It should be noted that what mainly distinguishes this work from previous ones is the author's intention not only to inform, but also to impress his reader. As is usual in the early Middle Ages, this aim could be achieved only by rhetorical means and the text assumes a strong rhetorical flavor. This is achieved not only through the many speeches put into the mouths of historical persons and the constant employment of rhetorical figures, but through impressive and emotive episodes inserted into the text.[46]

A certain rhetorical flavor is proper even to the *somatopsychogrammata* found in this composition. The largest and most interesting of them is that of Nikephoros I: «This man was short, large, potbellied, hairy, with prominent lips, big face, completely gray beard and stout body. He was very prudent, wicked, sharp (especially in fiscal affairs), penurious, and extremely fond of money — this was the reason for his ruin» (ed. Grégoire, p. 425).[47] Manifestly, this characterization is not a set of juxtaposed, neutral atributes but in some ways a real portrait painted by a hostile hand.[48]

A certain rhetorical flavor can also be seen in the mode of presenting the feelings and emotions of heroes. In essence these emotions are not much more varied than they were before, but sometimes they are

aggravated and exaggerated by rhetorical means. Here is the description of the desperate Nikephoros: «He could not understand anything around him, his mental facilities were in disorder, he behaved like an insane man, was out of his mind, and became confused because of everything» (ed. Grégoire, p. 423). The accumulation of analogous epithets and verbs depicts very vividly Nikephoros' state of mind. Rhetoric had always concerned itself with human nature (remember the ἠθοποιΐαι): its intrusion into historiography contributed much to the abilities of the authors to represent their characters.

Like some figures of Theophanes, the heroes of the *Scriptor Incertus* have their distinctive features, the best example being Leo V, who is eight times called a «liar» and an «ever-changing person» (χαμαιλέων, see the *Scr. Inc.,* 341.5, 356.8, 356.14, 357,1, 358,1, 358.16, 359.16, 360.13). To sum up, a certain progress can be traced in the mode of depicting characters in Byzantine historiography of the eighth to ninth centuries; it nevertheless belongs to the system that I call «paratactic».

The first real changes can be seen only in the next century, namely, in the historical composition usually called the «Continuation of Theophanes». This work (an immediate continuation of the *Chronography* of Theophanes the Confessor) has been underestimated by modern scholars, who saw it mainly as a source of historical material rather than a work of aesthetic value. The only exception was R. Jenkins, who regarded the Continuation of Theophanes as a turning point in the progress of Byzantine historiography [49] and stressed its artistic value. Unfortunately Jenkins did not put forward many arguments in favor of his position, and scholars after him have paid little attention to it. The following remarks are intended to outline the problem. The modern scholar accustomed to analyzing early medieval chronicles cannot help notice that some features of the continuation of Theophanes (I mean, first and foremost, the first four books) [50] did not totally fit the historiographical system of the period. The points of distinction are especially evident if the work is compared with contemporary historiography (George the Monk, Pseudo-Symeon, Genesios). First of all, this affects the way historical material is arranged. The work of the Continuator of Theophanes is divided into separate books and, in contrast to Theophanes, each of the first five books describes the reign of a particular emperor. This must not be regarded as an unusual phenomenon, because almost all historiographers after Theophanes rejected his analistic way of arranging material and returned to the principles of *Kaisergeschichte.* But there is a great difference between George the

Monk, Pseudo-Symeon, Genesios, etc., on the one hand and the Continuator of Theophanes on the other. While George the Monk and others used emperors' names as mere marks (a kind of eponymoi) for separate parts of the narrative, the narrative itself remained a juxtaposition of events of different sorts in the old manner. The Continuator of Theophanes truly concentrates the action around the main hero, moving from the periphery toward the center of the story. This becomes especially clear after comparing the stories by the Continuator with corresponding parts of the «Book of Kings» by Genesios. Both texts have a common source, treated by the authors in quite different ways: Genesios used mainly the old method of juxtaposing events, while the Continuator rearranged the material in a new way.[51] Previously absolutely dominant, the paratactic principle of composition begins to yield to a hypotactic construction. A similar development may be observed in the language of the work. Only linguistic research can prove statistically the process of replacement of paratactic sentences by hypotactic ones, but such a trend can be established even without special analyses.

It must be pointed out that a sort of «hypotactic» principle becomes apparent ever in the manner of thinking itself: from time to time — and unusual for the historiographers of the period — the Continuator stresses the necessity for the author to reveal the causal connections between events.[52]

The same can be observed in the methods of depicting historical figures.[53] In the first book of the Continuator we twice come across a person named John Hexabule (Theoph. Cont., 17.1 ff., 34.13 ff).[54] In both cases the man is described as «skilled in the recognition of the nature and disposition of people». Although this capacity was rare at the time, it was not alien to the author of the work. In contrast to his predecessors, the anonymous writer tends to pay special attention to the peculiar, momentary traits of his characters. He is able to notice for instance, how the face of the Armenian Vardan changed on hearing bad news (8.8 ff), a strange pose assumed by the court jester Dendris (92.14 ff), and so on. He accurately marks the movement of souls and the reactions of the heroes. The rebel Thomas the Slav receiving a bad message becomes upset at first but then calms down (65.14 ff); Michael Rangabe, hearing about the rebellion, was shaken in his soul, but remained firm of mind (17.24). In such statements there is nothing unusual to the modern reader, but they were really new in tenth-century Byzantium. It is better to demonstrate this «new style» of depicting characters with examples from among the principal heroes of the work.

I leave aside two of the five emperors described in the first five books of the Continuator (Michael III and Basil I) because they are depicted by the «old» method of *Schwarzweissmalerei*, although these figures are also of concern for our purpose.[55]

Michael II is one of the most negative persons in the *Chronography*. His negative and fatal role is predicted at the very beginning of the work (19.5 ff). At one of his first appearances he is called a «chatterer and insolent» (34.3–4) and then «bloodthirsty and intrepid» (41.24), but detailed description then follows: brought up by Jews and Athinganoi, he was devoted to his heresy and as he grew up he could not shed his ignorance and roughness (ἀγροικία καὶ ἀμαθία, 43.6). He hated learning and, though a king, knew and liked only things proper to a simple peasant (43.17 ff). Both qualities, ignorance and roughness and, as their result, impiety (ἀσέβεια), became from that point on distinctive features of the hero and determine his behavior. Michael persecutes iconophiles, insults the faith, despises Hellenic reasoning, neglects divine knowledge; he was so ignorant that he could hardly recognize the letters of his own name (49.12 ff).

All these qualities peculiar to him from the very beginning gradually intensify and reach their climax in the middle of the narrative where Michael earns the name of «wild beast» (θὴρ ἄγριος). One peculiarity of Michael II has still to be pointed out. Six times during the short narration the emperor's lisp is mentioned (his nickname τραυλός means lisping). Curiously enough, this external trait is linked to his essence: his soul is as lisping as his speech (52.20–21).

Not all the «negative» persons of the *Chronography* are painted in black. Much more complex are the figures of Leo V and Theophilos. From the very beginning of the story the characterization of Leo is rather diverse. He is bellicose, bloodthirsty, famous for his courage; he is ugly, huge, but at the same time refined in his speech (6.10 ff)! Raised to the heights of power from a low condition, he displayed ingratitude to his former benefactor, but at the same time showed courage fighting the Arabs (10.20 ff). Afterwards, being incapable of thinking honestly and reasonably, Leo was seized by ambitions for power, betrayed the emperor, and became the basileus himself. As can be seen, Leo's figure before his usurpation is balanced between plus and minus, and this ambiguity persists throughout the story. Leo is blamed for seizing power, which is only natural, but the author spares no efforts to show Leo's hesitations prior to his decision to seize power. The writer himself is not sure whether the usurper is sincere in his hesitations or merely pretending to delay (16.15 ff). This ambivalence in the appreciation of

the hero and the motives for his behavior stress the ambivalence of his character. External circumstances helped him reveal totally the mean qualities of his nature. Leo gained a victory over the Bulgarians, and «this victory added much to his insolence and impudence and stimulated the cruelty that characterized him» (25.20 ff).

The next impulse for the «deterioration» of Leo's character was also external in nature: this was the pseudo-prediction of the monk Symbatios who demanded that the emperor put a stop to icon worship. Now the author blames Leo as a demonic image, the slave of ignorance, as silent as a shadow, and so on (27.3 ff). The Continuator of Theophanes seems to have forgotten that some pages before he had praised Leo's refined speech!

Interestingly, however, as soon as the invective has reached its climax, it loses its vigor and the narrative, all of a sudden, begins to sound different. It might seem that after such invective, praises of Leo are unlikely to be found, but this is exactly what happens. According to the author, this «scoundrel» was very preoccupied with the affairs of the state and spared no efforts in dealing with them. He concerned himself with legal matters, etc. (30.6 ff.). Here, too, the writer uses the entire palette to depict his hero as a statesman. According to one of the characters in the work, after Leo's death the state lost not only a cruel person but also a zealot for the common good. Curiously enough, the final, necrological characterization of Leo is also ambiguous: impiety and cruelty were typical of him, and they compromised his concern for the wellbeing of the state, which was also typical of him (40.4 ff.).

The peculiarities of the description of Leo become still more apparent in the next story concerning Theophilos. Already the first episodes give the impression of a certain ambivalence in the evaluation of the hero. «He wanted to have a reputation as a defender of justice and laws, but in reality he feigned with the aim of protecting himself from conspirators» (85.1 ff.). In order to demonstrate this statement the writer narrates a story of provocation, arranged by Theophilos with the aim of finding and punishing the former conspirators against his father. «Theophilos is likely to be worthy of praise for his devotion to the law, but gentleness and soft-heartedness are hardly the qualities to be ascribed to him» (86.6 ff), concludes the author.

Having condemned Leo for his deeds and lack of soft-heartedness, the writer is eager to play down the impression and quite unexpectedly adds that Leo acted well by expelling his stepmother from the capital, because her marriage to Michael had been considered illegal (86.8–9). Continuing the positive evaluation of Leo, the Continuator pretends to

forget his own idea that the love of justice was for the emperor a sort of hypocrisy and praises him for his conduct at trials. «For good people he was astonishing, for bad ones awful — this was because he hated evil and loved justice, was severe and inflexible», writes the author (86.19 ff.). After this there follows a long passage on his good deeds, concluding with an exalted appreciation: «In such deeds was Leo marvelous and astonishing» (99.4 ff). At this point one would expect new praises, but the tone changes abruptly in the same phrase: «... regarding the iconophiles, alas, as a savage barbarian he did his best to exceed everybody in cruelty. ...» A new set of episodes illustrate the brutality of «the most cruel of the cruel», «the most loathsome of loathsome men», Theophilos.

Once again the reproaches of Theophilos reach a new climax and at the same moment the tone of the narrative changes abruptly and there follow stories about the emperor's devotion to the church, about his singing, and about his feats of valor in war. His last speech before his death, noble and refined, provokes tears in his listeners and is to be compared to the analogous speeches of heroes of classical historiography.

The way of painting historical figures (in particular Leo V and Theophilos) employed by the Continuator of Theophanes is contradictory in its essence and would have seemed strange if we had not met a similar phenomenon in the *Chronography* of Theophanes the Confessor. Positive and negative deeds and traits are mixed in the characters, the pendulum of evaluation constantly swings between the absolute positive and absolute negative. As usual, this led some scholars to assume that the sources used by the author differed in their attitude to Leo and Theophilos; they even believed that the Continuator of Theophanes might have employed some iconoclastic sources prasing the emperors and that he mechanically combined information of different sorts.[56] As a rule, this kind of supposition is questionable and has no real foundation. More probably, there were not different sources but rather different methods of image construction. But these methods do not coincide in all details with those used by Theophanes the Confessor; on the contrary, the difference between the two is very significant. Theophanes did not try to combine different, sometimes even opposing features of his heroes but simply juxtaposed them (typical of the «paratactic system» mentioned above), while the Continuator of Theophanes wanted, as it were, to bring them into relation. There appears here for the first time in Byzantine historiography a sort of image structure. Though still unbalanced, this image structure presents a kind of construction with internal ties and connections between elements, in contrast to the

somatopsychogrammata in which the elements (personal traits) are juxtaposed in an order dictated by a scheme imposed from without.

A good example is provided by the first chapters of the story of Theophilos, in which the combination of different qualities of the hero and their «transition» from one to another are obviously expressed by different hypotactic, adversarial, and other conjunctions very rarely used by the early historiographers. The distinction in artistic methods appears also on the linguistic level. One can say that parataxis is gradually being replaced by hypotaxis, that is, one mode of thinking by another.

Such was the level of presenting characters in Byzantine historiography reached by the end of the tenth century. The progress made by historical writers since Malalas is evident.[57] This progress can be observed clearly enough because we are able to see its final result — I mean the *Chronography* of Michael Psellos. It is this historical work in which «hypotactic» principles of delineating historical figures begin to dominate and characters at last obtain some kind of structure. (This is the reason why, when reading Psellos' *Chronography*, we sometimes lose the sense of the distance of nine centuries that divide us from the medieval writer). The distinction between the Continuator of Theophanes and Psellos was still great, but it could no longer be considered an unbridgeable gulf. The task of building such a bridge could be done only by a great author, an artist like Michael Psellos.

NOTES

[1] See the main works dealing with the problem in antique and medieval literature in: *Winkelmann F.* Überlegungen zu Problemen des frühbyzantinischen Menschenbildes // *Klio* 65 (1983), 441 note 3, 442 note 4.

[2] *Kazhdan A.* Der Mensch in der byzantinischen Literaturgeschichte // JÖB 28 (1979) 1–21; *Kazhdan A.* and *Epstein A.* Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. Berkeley, 1985. 197 ff.

[3] *Kazhdan A.* and *Constable G.* People and Power in Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies (Washington, D. C., 1982). This book was considered by many reviewers as «very ptovocative». *Winkelmann F.* Überlegungen, 442 note 4, noted that A. Kazhdan left many questions unanswered. But this is inevitable and not a matter of reproach, in a pioneering study of this kind.

[4] *Ljubarskij J.* Istoričeskij geroj 'Hronografii' Mihaila Psella // *VizVrem* 34 (1972), 92–114; *Idem.* Mihail Psell. Ličnost i tvorčestvo. K istorii vizantijskogo predgumanizma (Moscow, 1978).

[5] *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur (Munich, 1897), 219 ff.

[6] *Beck H. G.* Zur byzantinischen Mönchschronik. *Idem.* Ideen und Realitaeten in Byzanz (London, 1972), XVI.

[7] Some modern works concerning the problem: *Tapkova-Zaimova V.* Die byzantinische Chronographie. Wesen und Tendenzen // *Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus* 8 (Berlin, 1984), 52 ff. *Ferber J.* Theophanes' Account of the Reign of Heraclius // *Byzantine Papers. Proceedings of the First Australian Byzantine Studies Conference* (Canberra, 1981), 32 ff.

[8] *Ljubarskij J.* «Problema evolucii vizantjskoj istoriografii», in *Literatura i iskusstvo v sistemje culturi* (Moscow, 1988), 39. *Idem.* Neue Tendenzen in der Erforschung der byzantinischen Historiographie // *Klio.* 69 (1987), 560–566.

[9] We do not touch here many debatable questions relating to the *Chronography* of Malalas. In spite of the lack of a critical edition, the study of Malalas' work has been intensified in the last decade mostly thanks to the efforts of a number of Australian Byzantinists; see E. Jeffreys et al., *Studies in John Malalas* // Byzantina Australiensia 6 (Sydney, 1990).

[10] See: *Croke B.* «The Early Development of Byzantine Chronicles», in Jeffreys et al., *Studies,* 28.

[11] See references to the literature in F. Winkelmann, «Überlegungen», 447 note 21.

[12] *Beaucamp J.* et al. Temps et histoire. 1. Le prologue de la Chronique Pascale // *TM. 7* (1979), 273 ff.

[13] See: *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I (Munich, 1978), 322.

[14] See: *Patzig E.*, review of J. Fürst. «Untersuchungen» (below note 17), *BZ* 13 (1904), 178.

[15] For the inventory of epithets in chronological order, see: *Jeffreys E. and M.* «Portraits», in Jeffreys et al., *Studies,* 232–240; cf.: *Ljubarskij J.* «Geroi 'Chronografii' Ioanna Malaly», in *Kavkaz i Vizantija,* 6 (Erevan, 1988).

[16] *Rohde E.* Der griechische Roman und seine Vorläufer (Leipzig, 1986), 151 note 1.

[17] *Fürst J.* Untersuchungen zur Ephemeris des Dyktys von Kreta // *Philologus.* 61 (1902), 375 ff.

[18] See: *Patzig*, rev. of Fürst, «Untersuchungen», 179. Malalas' text is edited in *Ioannis Malalae chronographia,* Bonn ed. (1831).

[19] *Fürst.* «Untersuchungen», 375.

[20] See: *Misener G.* Iconistic Portraits // *CPh.* 19 (1924), 97–123.

[21] See: *Jeffreys E.* and *M.* «Portraits» (above, note 15).

[22] See: *Vogt H.* Die literarische Personendarstellung des frühen Mittelalters (Leipzig; Berlin, 1932, repr. 1972).

[23] See: *Rybakov B.* Russkie letopisi i avtor Slova o Polku Igoreve. (Moscow, 1972), 364 ff.

[24] *Evans E. C.* Roman Descriptions of Personal Appearance // HSCPh. 46 (1936), 43–84.

[25] See: *Žirmunskij V.* «Zadači poetiki», in idem, *Teorija literatury, poetika, stilistica* (Leningrad, 1977), 34.

[26] *Ljubarskij J.* «'Chronografija' Ioanna Malaly: Problemy kompozicii», in *Festschrift für Fairy von Lilienfeld* (Erlangen, 1982), 422.

[27] It would be of interest to trace the gradual substitution of paratactic constructions by hypotactic ones in medieval historiography.

[28] Parataxis in the early Middle Ages «ceased to be an element of style, it remained an ingrained unit of organisation and presentation of both characters and plots» (*Ginsberg W.* The Cast of Characters: The Representation of Personality in Ancient and Medieval Literature [Toronto, 1983], 89).

[29] One can refer, for instance, to the text of the fragment concerning Augustus; see Ioannes Antiochenus fr. 78 // *FHG,* IV (Paris, 1851), 568.

[30] See: *Krumbacher.* Geschichte, 335 ff; *Hunger.* Byzantinische profane Literatur, 327; *F. R. Walton.* A Neglected Historical Text // *Historia.* 14 (1965), 236 ff.

[31] See the article by J. Laqueur in *RE* 2. R., Bd. 4, s. v. Synkellos, 1388–1410.

[32] *Čičurov I.* Mesto 'Chronografii' Feofana v rannevizantijskoj istoriografičeskoj tradicii // *Drevnejšie gosudarstva na territorii SSSR* (Moscow, 1981), 79 f.

[33] *Lihačev D.* Čelovek v literature Drevnej Rusi (Moscow, 1970), passim.

[34] *Ginsberg.* Cast of Characters, 72 ff.

[35] I cannot agree with the statement of P. Speck, who supposes that even the last part of the *Chronography* was based on different written sources; see: *Speck P.* Kaiser Konstantin VI: Die Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigener Herrschaft (Munich, 1978), 389 ff.

[36] *Theophanis Chronographia,* ed. C. de Boor (Leipzig, 1883).

[37] See: *Čičurov.* «Mesto 'Chronografii' Feofana», 129.

[38] One can even observe a change in the style of the narration: see especially Irene's speech after her overthrow (478.4 ff).

[39] See: *Beck.* «Zur byzantinischen Mönchschronik», 194.

[40] See «Mesto 'Chronografii' Feofana», 120 ff. A striking contradiction can be seen in the above-mentioned story of Michael II, who is characterized as intrepid (ἄφοβος, 52.24) and then some pages later as cowardly and weak (εἰς ἀνανδρίαν καὶ μαλακίαν διαβεβόητο, 52.21).

[41] *Ginsberg.* Cast of Characters, 96.

[42] *Eremin I.* Literatura Drevnej Rusi (etudy i charakteristiki) (Moscow, 1966), 43 f.

[43] It is remarkable that many scholars, noticing the lack of correlation between the qualities of persons in chronicles, did not see the real reason

for the phenomenon and supposed in each case the contamination of different contradictory sources (e. g., Šachmatov for Russian chronicles). In the case of Irene, such an explanation was proposed by P. Speck (see above, note 35).

[44] There are two fragments of this chronicle: (1) «Scriptor incertus de Leone Armenio», in *Leonis Grammatici Chronographia,* Bonn ed. (1857), 355 ff; (2) *Grégoire H.* Un nouveau fragment du 'Scriptor incertus de Leone Armenio' // *Byzantion.* 12 (1936), 421 ff.

[45] Some scholars believe this work to have been written by a contemporary of the events, i. e., about 820–840, but in my opinion the arguments of Tomič are sufficient to date it after 864; see: *Tomič L.* Fragmenti jednog istoriskog spisa IX veka // *ZRVI.* 21.1 (1952), 78 ff.

[46] See, for instance, the story of the flight of the Byzantines after the lost battle of 811. During the flight the soldiers have to cross the river. Many horsemen enter it and drown with their horses. Their corpses form a sort of bridge, and the enemy crosses the river over it. The Byzantines, thinking that they had already been saved, unexpectedly see the enemy at their backs (ed. Grégoire, p. 424).

[47] I do not agree with Grégoire that these *somatopsychogrammata* are an argument for considering the whole work as a continuation of Malalas' *Chronography.*

[48] We have already noted that love of money was a true quality of Nikephoros.

[49] *Jenkins R.* The Classical Background of the *Scriptores post Theophanem* // *DOP.* 8 (1954), 13 ff.

[50] I will not discuss here the problems of the work's authorship. It is obvious, however, that the sixth book did not belong to it originally.

[51] See: *Ljubarskij J.* Theophanes Continuatus und Genesios: Das Problem der gemeinsamen Quelle // *BSl* 48.1 (1987), 21 ff. For details on the composition of the Continuation of Theophanes, see: *Idem.* Nabljudjenija nad kompozitsiej 'Chronografii' Prodolžatelja Feofana // *VizVrem.* 49 (1988), 70–99.

[52] See: *Kazhdan A.* Iz istorii vizantijskoj chronografii X veka // *VizVrem.* 21 (1962), 95–117.

[53] *Ljubarskij J.* Homme, Destinée, Providence // *La philosophie grecque et sa portée culturelle et historique* (Moscow,1986).

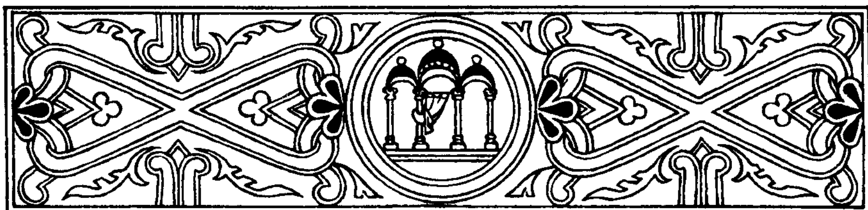
[54] *Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus,* Bonn ed., (1838).

[55] Describing Basil I, Constantine Porphyrogenitus (he is supposed to be the author of the fifth book) used the methods of encomium, originally alien to historiography (*Alexander P.* Secular Biography at Byzantium // *Speculum.* 15 [1940], 194–209). For Michael III see: *Ljubarskij J.* Der Kaiser als Mime // *JÖB* 37 (1987), 39–50.

[56] See, e. g., *Barišić F.* Les sources de Génésios et du Continuateur de Théophane pour l'histoire du règne de Michel II (820–829) // *Byzantion.* 31 (1961), 263.

[57] There can be no doubt that the growing interest in individuals, their appearance, qualities, emotions, and feelings is a distinctive feature of the epoch, shared in the 10th century by other genres of literature and art as well. See: *Tinnefeld F.* «Hagiographie und Humanismus: Die Darstellung menschlicher Empfindungen in den Viten des Metaphrastes», *17th International Byzantine Congress. Abstracts of Short Papers* (Washington, D. C., 1986), 351–353. I do not touch here on the problem of the extent to which this growing interest is connected with the classical tradition and the so-called «Macedonian Renaissance».





«WRITERS' INTRUSION» IN EARLY BYZANTINE LITERATURE *

The topic of this meeting is «Byzantine Secular and Religious Literature: the Author and the Reader». Deliberately or not, this title reflects the general trend of the humanities which now concentrate on individuality. This tendency has long been typical of western democracies; today it is becoming more and more pronounced in the societies ridding of despotism.

The significance of this problem becomes obvious when we turn to Byzantium where the personality was under the dual pressure of secular and clerical authorities, and writers' activities were fettered by rhetorical clichés. Alexander Kazhdan has recently touched upon this problem; one chapter in his 1982 book is entitled «Man in Byzantine Literature».[1] Kazhdan discerns three aspects of the problem under review, viz, the author, the character and the reader. The second aspect has been omitted from the discussion here; my paper is devoted to the author, more particularly, to the author's self-expression in Byzantine literature. It should be stressed that some scholars may not admit even the existence of this problem. According to them, in Byzantine literature, deeply rooted in Classical Antiquity and early Christian tradition, individual qualities were dissipated in more generalized and normalized aspects, so that this literature, by its very nature, could not be a means of self-expression.[2]

Although this point of view has been seriously criticized, the idea that Byzantine literature was impersonal persists, remaining an element of «mass consciousness» among the students of Byzantine literature.

* Статья представляет собой доклад, опубликованный в сб. «XVIII международный конгресс византинистов. Пленарные доклады». (М. 1991), 433–456.

In this paper, in which the problem can only be outlined but not solved, I shall abstain from a discussion of whether this point of view is correct or not, but I cannon help pointing out two circumstances that justify the «self-expression approach». First, the existence of clichés, including the cliché of the author's image is as natural in Byzantine literature as the overcoming of them. Secondly, the analysis of the problem of self-expression in artistic systems based on ideologically-oriented stereotypes is no less promising than a similar study into «free» literatures.

It is common knowledge that Classical Antiquity knew a complicated and well-developed form of self-expression. By the end of Antiquity, in the Christian period already, the genre of literary autobiography had appeared. I mean St. Augustine's Confession in the West and Libanius' «autobiography» and Gregory of Nazianzos' autobiographical poems in the East. In either case, however, there appeared no autobiography that would be characterized by definite generic traits or constant stylistic and compositional features. On the contrary, the genre, instead of acquiring a well-defined literary form, had disappeared, not to reappear in European literature until eight or nine centuries later (Abelard and Guibert of Nogent in Western Europe and Blemmydes and Michael I Palaeologus in Byzantium).[3] It should be noted that the appearance, disappearance and reappearance of autobiography in the Latin West and Greek East took place at about the same time. It may follow, therefore, that the three events were a result of a natural process that manifested itself similarly in different branches of European literature.[4]

It is hardly necessary, however, to reduce the problem of selfexpression to autobiography.[5] The personality of an author can reveal itself clearly enough in almost any of the known literary genres. Moreover, in Byzantine literature, the formation of this category was taking place in the period that knew no autobiography as such. It is just this period that I am concerned with in this paper.

Every discussion must be based on certain premises. According to the aim of the present investigation, with regard to the previous studies of this kind it seems reasonable to assume the following criteria for «measuring the writer's intrusion in the text mostly of the historical writings (which are the main object of this paper):

1) Immediate self-presentation of the author, who becomes one of the acting persons of composition or at least a witness commenting on the action. Obviously enough this can be made possible only by narrating the contemporary events;

2) direct commenting on the events and persons, as a rule deviating from the objectivity of the narrative;

3) emotional evaluation of events and persons by using emotionally colored epithets and adverbs (without deviating from the objectivity of the narrative);

4) references of different kind to the sources of the author's knowledge. These references prevent the historical material from becoming impersonal common good and demonstrate the author's interest in the trustfullness of the narrative.

It is necessary to resist the temptation to apply these criteria in each case and try, with their help, to establisch the «coefficient of author's intrusion» in a piece of literature. Their importance is not absolute and in some cases they can assume even an opposite meaning. For instance, frequent references to the sources tend to conceal the writer'a personality (instead of revealing it), «emotionally-colored epithets» instead of expressing the author's attitude (positive or negative) to the person or event, tend to be dependant on the tradition of the genre and thus produce an opposite effect. Nevertheless their use can be helpful and add a flavour of objectivity to the analysis.

The «Dark Ages» of the Byzantine civilization were marked by the decline of individuality in literature. I. S. Čičurov has recently described this phenomenon in historiography in his book devoted to Theophanes the Confessor.[6] According to Čičurov, Theophanes' style is close to that of anonymous writings, and his rejection of creative ambitions is similar to the explicit denial of originality that we find in John of Damascus and St. Theodore of Studios (cf. John's well-known statement, «I will say nothing of my own!»). Dr. Čičurov's legitimate conclusion requires some elaboration and correction.

Disappearance or, at least, decline of individuality of the author is datable to a period much earlier than turn of the eighth century. This tendency is obvious already in the chronicler John Malalas, whose name is the only thing we know about this author. As early as the end of the last century, E. Patzig, one of the first serious students of Malalas, paid attention to the chronicler's style, unexciting and objective, which practically admits no evaluation of the events described.[7] In most instances where one could expect eulogy or damnation from the Christian Malalas, one finds a dull fixation of facts, uninfluenced by emotion.[8] This *sine ira et studio* style could easily be accounted for by the impassiveness of the chronicler who knew neither anger nor compassion.[9]

Yet, the problem is much more complicated. Applying to the Malalas' work the above mentioned criteria of the author's intrusion one

receives absolutly negative results in all points but the fourth (references to the sources). Just on the contrary, Malalas combines the above mentioned estrangement from the narrative with numerous references to the authors from whom he borrows, or pretends to have borrowed his historical data. This learned (or rather pseudo-learned) pedantry is probably homage to antique tradition. Scholars agree that Malalas had never seen a lot of chronicles and other works he constantly referred to. These references are an attempt to confirm the authority of his information and, in a sense, to conceal himself behind his predecessors. In reality, however, Malalas' *Chronography* is in no way linked to Antiquity. On the contrary, the *Chronography* is the earliest extant work purely medieval in nature. Like early-Christian basilicas, it is made from fragments of antique buildings, but it does not reveal even a fraction of the spirit of Antiquity. In my opinion, this work is a product of the barbarization of culture, though one cannot possibly establish the actual forces underlying the process of this barbarization in Byzantium which had experienced no barbarian invasion.[10] To call the *Chronographia* a «popular book» [11] was not altogether incorrect, for, though its author was a man of some learning, his book is fraught with folklore-like traits. Among them are an extensive use of formulas, naive rationalization of the legend, barefaced modification of tradition and, last but not least, the author's estrangement from the narrative typical of early epic texts.

Unique as it seems, Malalas' wotk was in reality only one link in the long chain of many similar writings unfortunately mostly lost by now [12] and the conclusions made in regard to it can be extended to the whole series of early Byzantine chronicles.

The literary production of the next two centuries is too scanty to judge about the processes going on in historiography, but the beginning of the 9th century brought up at once three prominent historiographers: George Syncellos, Theophanes the Confessor and Nicephoros the Patriarch. As to Theophanes the Confessor I have already referred to I. Čičurov who quite correctly argued that Theophanes' writings were on the edge of anonymity, while his individual authorship was expressed partly uncosciously by the mode of selecting and combining the historical material of his predecessors. By doing this Theophanes did not pay attention to the reletiveness of the value of the historical versions he borrowed. On the contrary, he pretended, as it were, to be writing the historical truth itself and therefore did not need to make any references to his sources, which is one of the main causes of his «anonymity». Curiously enough, the elder contemporary, predecessor and teacher of Theophanes, George Syncellos on the contrary seemed to be quite uncertain

of the reliability of the sources and historical versions he was referring to. The form of his *Chronography* is not quite clear to modern scholars and some of them even think that his work was not completed and partly consists of the excerpts of different sources not yet brought together. Not seldom George Syncellos retold the same historical event two or even three times in different versions and the juxtaposed excerpts can be taken for «preparatory material» for future history, but the regularity of such juxtaposition, as well as constant accumulating of different versions make one look for a different explanation. George Syncellos does not seem to have been satisfied with any version and the accumulation of them is a result of his anxious and even nervous striving to find the truth.

In his emotional evaluation of the events and persons and immediate comment on the texts, George Syncellos does not differ much from Theophanes, but in his permanent search for truth, contrasting to Theophanes' firm confidence of his infallibility one can clearly see the personality of the author different from that of his pupil.

This contrast alone seems to be sufficient to reject Mango's view that George himself wrote the *Chronography* usually attributed to Theophanes.[13]

It should also be noted that George Syncellos' and John Malalas' «interest in the sources» were of different and even opposite nature: the latter «made comouflage» while the former sought for truth.

Although the third chronicle of the beginning of the ninth century, the *Breviarium* of Patriarch Nicephoros cannot be called an anonymous work, C. Mango was absolutely justified in considering its style as devoid of emotion and judgement [14] (cf. the third point of our criterial). In my opinion, however, Mango's statement cannot be understood literally. Not seldom Nicephoros (as well as George Syncellos and Theophanes the Confessor) is trying to evaluate the deeds and qualities of his heroes. But as a rule, this evaluation is not of an individual, but of a generic nature; every orthodox Byzantine would have said almost the same. This assertion confirms the idea already expressed, that emotional approach in some cases cannot reveal the individuality, sometimes it even conceals author'a personality. The same is to be said about many Byzantine historical writers of the period under review, cf., e. g. H. G. Beck's characterization of George the Monk, in no way emotionless writer: «Nichts erlaubt uns, ihn seiner Anonymität zu entreißen. Wir vermögen ihn weder geographisch noch sozial zu plazieren. Ihn interessiert die Geschichte seiner Zeit nur als Geschichte freundlicher oder feindlicher Einstellungen zur «Orthodoxie», wie er sie versteht, zu den Belangen des

Mönchstums und der Hierarchie». Here, too, the approach of George the Monk is not of an individual but of generic nature.

It is not fortuitous that the decline of anonymity coincides with the end of the Byzantine «Dark Ages» and the beginning of the period which P. Lemerle called the epoch of Encyclopaedism.[15] The individuality of the author began to reveal itself simultaneously in several genres: epistolography (e. g. Photios' works, including the *Bibliotheke* which is, in fact, one very comperehensive letter), hagiography and historiography.

Until the tenth century, the intrusion of authors into the texts of historiographic works had been sporadic and, more or less, haphazard. Joseph Genesios and the author of the first four books of the Continuator of Theophanes were, in fact, anonyms. Nothing is known of them (including their names!); both are in the shadow, as it were, of the chief personage of tenth century cultural history, Constantine Porphyrogenitus. Nonetheless, the Continuator of Theophanes, for instance, twice expresses his conviction, absolutely conscious and unusual in the tenth century, that the historian must explore the causes of events (see Theophanes Continuatus. Ed. by I. Bekker, Bonn, 1828, pp. 21.19f. 167.18f.). His lamentations of the Byzantines' misfortunes and the consequences of these (i. e. the loss of Crete, see Theoph. Cont., p. 81.13 f.) are personal rather than stereotypical. This made one modern historian even think that this statement and, therefore, the four books of the Continuator of Theophanes belong to Constantine Porphyrogenitus.[16]

As a form of the aithor's intrusion should also be regarded the Continuator of Theophanes' habit to give two or even more versions of the same event borrowed from different written or oral sources. Remarkable enough, in some cases the Continuator clearly gives preference to one of them. One can see here the beginning of something like a «criticism of sources». It is worth noting that the same different versions were given by Genesios as well, whose «Book of Kings» had a common source with the Continuation of Theophanes. This peculiarity was proper to the three works at once: Continuation of Theophanes, Book of Kings by Genesios and their «common source»![17]

In evaluating the degree of the author's intrusion in historiography it was possible up to now to apply all the above mentioned criteria except the first one (self-presentation of the writer). No author appeared on the stage as an acting person. The earliest examples of the «self-presentation» of such kind date from the 10th century; worthy of a note in this connection is, first and foremost, the *Capture of Thessalonica* by John Kameniates, a work of utmost personal character. But

just this «utmost personal character» quite unusual for the beginning of the 10th century was one of the reasons that made A. Kazhdan challenge the authentity of the composition. Although A. Kazhdan has found serious arguments against the authentity, the problem is far from being solved and just that prevents me from discussing the *Capture of Thessalonica*.[18]

The first composition with the acting author is the *History* by Leo the Deacon. Leo the Deacon was the first author who had lost the air of anonymity and whose biography can be reconstructed more or less precisely on the basis of his own writings. Firstly too we can apply «with positive result» all our «criteria» to his *History*. But the part the author was playing in the historical action was still very little, he was an eyewitness rather than an immediate participant in the performance.[19]

A real thriving of creative self-consciousness in historiography took place in the eleventh and twelfth centuries. Analyzing Anna Commena's works, Roger Scott even comes to the conclusion that it was the intrusion of the author into a narrarive that distunguished Byzantine writings which imitate those of Classical Antiquity from antique works proper.[20] In the eleventh century there appeared works that could tentatively be determined as memoirs. Besides Michael Psellos' *Chronography*, which one cannot help mentioning in this context, memoir traits can be found in the second part of the *History* by Michael Attaleiates, where the author acts as a personage in his own right. It will not be a mistake to say that in the eleventh century literary works ceased to be impersonal, the idea of authorship having been revived by that time.

However, before describing this new situation in some detail, one thing must be clarified. Both historians of Byzantium and literary scholars have paid much attention to the author's intrusions into a text. They used these intrusions almost exclusivly as an instrument of biographic reconstruction. To some extent they had the right to do so, but it is necessary to keep in mind that the author depicting himself in his work is not identical with a «biographic author». The problem of the principles of selfdepiction has recently come to the fore in literary theory which now concentrates on the relationship between the «biographic author» and the depiction of himself in a work of literature.[21] This problem, which is not of theoretical importance exclusively,[22] has practically never arisen in connection with Byzantine literature where its significance is beyond any doubt. Suffice it to mention the «pauper poet» in the poems ascribed to Ptochoprodromos or stylized hagiographers we find throughout hagiographic literature.[23]

There are no studies devoted specifically to this problem, but, as has been pointed out, there is rather popular opinion, that «distorting mirror» of Byzantine literature stylized the real features of the author, making them unrecognizable. To check up this statement, let us compare the two eleventh-century historiographers, already mentioned, Michael Psellos and Michael Attaleiates. This comparison is absolutely justified, for the two histotians describe one and the same period and both of them occupied high positions, i. e. they were participants, rather than mere spectators, of the events they described. For the role they played in the structure of their texts, Psellos and Attaleiates have much in common. Both are not only the subjects but also the objects of the narrative; neither is inclined to diminish his role in the events; on the contrary, they exaggerate it.

This affinity, however, only emphacizes differences in the nature of self-expression between the two. (It should be noted that this category is the only thing that interests us here, but not the difference in their world outlook or social ideals, which have been compared more than once).[24]

I have written elsewhere about Psellos as he appears in his *Chronography*.[25] It is hardly possible to depict his character in a few words. Here, suffice it to say, that he strove to play, and sometimes did play the role of an enlightened philosopher, the emperors' advisor. He thought himself to be superior to them and silently mocked many of them while outwardly indulging royal whims; for this he has deserved a reputation of the greatest eleventh century opportunist.

Michael Attaleiates, as we see him in his *History*, is antipodal to Psellos in all respects. Attaleiates depicts himself as a bold warrior and a military expert (cf. Psellos' letter where he says self-ironically that he does not know how to mount a horse). As a military judge, Attaleiates is not only a participant in battles (Attal., pp. 120.19ff; 162.20ff), but also the kings' and military leaders' advisor and an expert critic of their faults (Attal., 172.18ff), his advice, as a rule, being accepted with gratitude (Attal., p. 172.18ff). Moreover, at times he assumes even a pose of a denouncer, censuring Byzantine emperors and military leaders, on the one hand, and the entire Byzantine people, on the other! The emperors and military leaders are depicted as inapt, incompetent and profane (Attal., p. 114.23 ff.), while the Byzantines are stupid, cowardly and low people (Attal., pp. 112.23 f; 113.23 f.). The author, who thinks of himself as having a right to censure the kings and people, resembles, to some extent, the austere Roman with his innate virtues, chastiser of his contemporaries' evils. It is probably no coincidence in

this context, that as an example which Byzantine emperors should follow, Attaleiates describes Roman emperors and military leaders who, though pagans, exceeded the historian's contemporaries in valor and piety.[26]

Attaleiates' description of his own behavior is concordant with this image. He shows exceptional independence. He admires Romanos Diogenes, but does not forgive him a single flaw; nor does he hesitate to tell the emperor the plain truth even if it is not flattering or deviates from other peoples' opinions (Attal., p. 128.21ff; cf. pp. 136.4ff; 152.17ff). It is necessary to stress that Attaleiates' attitude to any manifestation of opportunism (so typical of Psellos) is critical and hostile (Attal., p. 64.22). The two authors are different; but not exclusively as personalities (that would be natural); they are different literary characters which resulted from the methods of self-presentation they employed.

There are other examples of authors' self-portrayal, e. g. Anna Comnena in the *Alexiad*. I. Hussey pointed out that Anna Comnena's personality dominates this work as does the personality of Psellos in the *Chronography*.[27] There is hardly another Byzantine historical work characterized by such unity of the author's attitudes as the *Alexiad*. This unity is created as a result of the mourning expressed every now and then by the aged princess who, in exile in the solitude of a convent, recalls the events of her youth and the two people who were nearest to her and who are no longer living, her father and husband.[28]

The self-depictions of eleventh- and twelfth-century Byzantine authors were varied; all of them differed greatly from the humble chronicler of the previous centuries, who, aware of his insignificance, relies solely on the Almighty.

It would be tempting to determine the «degree of stylization», i. e. the correlation between the prototype and the image of the author in a work of literature. Unfortunately, this task is not an easy one, not only because of the lack of historical data, but also because every «image» exists only in the reflection and perception (often various) of the author's contemporaries. Nonetheless, there is every reason to believe that the real traits of the three historians (Psellos, Attaleiates and Anna Comnena) are represented in a considerably stylized form and their images, though they are not pure «masks», are literary characters similar to other characters of their works. This is attested by a number of facts.

The emperors' advisor Psellos, as we see him, for example, in the *Chronography*, is characterized much less variously than the character

that emerges from Psellos' entire oeuvre. The «valiant Roman» of Attaleiates is not concordant with the obsequious panegyric to the emperor Nikephoros Botaneiates, which completes the *History*, while the «lady of sad countenance», Anna Comnena has little in common with the furious woman blaming her husband for cowardness and timidity in the plot they had organized (cf. the episode reported by Niketas Chroniates, see *History* (ed. by. I. Bekker, Bonn 1835, p. 15.15 ff).

* * *

So far, for the sake of convenience, I traced the evolution of the author's *ego* on the basis of Byzantine historiography only. The reason is clear: the method of the author's representation in a literary work depends, to a great extent, upon the genre to which the work belongs.

It is impossible to embrace all the genres in one paper. Therefore I shall limit myself to one other type of Byzantine literature, viz, epistolography, because the individuality of the author reveals itself in it most fully and many-sidedly (even in Antiquity theoreticians of rhetoric demanded that letters contain the maximum of self-expression of their authors).

Today'd scholars, however, prefer to look at this problem from a different point of view, focusing on finding and systematizing clichés in Byzantine letters.[29]

G. G. Litavrin, for example, complains that «letters allow us to judge about their authors education, rather than their feelings and thoughts».[30] According to H. Hunger, Byzantine letters were to provide a desired image or an ideal unattainable in plain reality, rather than a realistic depiction of an epistolographer.[31] In the chapter devoted to epistolography, Hunger, instead of distributing his material chronologically, gives a general survey, implying, as it were, that during its one thousand year history Byzantine epistolography underwent no changes at all. In the notion of today's Byzantinists, the representation (somewhat averaged) of a Byzantine epistolographer should be as follows. It is a person for whom the most important thing is friendship, therefore he suffers when he does not hear from his friends and is happy when he receives a letter; he is constantly sick and in grief; he is always seeking sympathy and protection, though, at times, he himself may support his correspondents (these are only the best known clichés of Byzantine epistolography).

Generally speaking, a certain epistolographic mask exists not only on the literary level, but also in every-day life.[32] It is important, however, to determine the relation between the «mask» and the «face» of

the Byzantine epistolographer, as well as the degree of the latters's absorbtion by the former. For the solution of these and similar problems, the method of comparison, already applied in this paper, can be used.

As has been said, the epistolographer Psellos as a character, is much richer than the emperors' learned advisor of the *Chronography*. In his letters to people of different social position and of different mentality, Psellos adjusted his style, and to some extent, himself, to his correspondents, thus revealing a fraction of his *ego* in each letter. I have mentioned elsewhere the complex and contradictory character of the epistolographer Psellos, combining almost humanistic devotion to learning and the *logos* wih the *flair* for the inferior and the comic aspect, obscenity with the cult of friendship, and moral flexibility and tolerance with unscrupulousness, etc.[33]

Psellos of these letters differs greatly from the contemporary epistolographer John Mauropous, Psellos' teacher, friend and correspondant.[34] John Mauropous' letters can be divided into two distinctive groups, viz. the letters written in Constantinople and those from the honorary exile in Euchaita.[35] In the letters of the first group Mauropous is very similar to Psellos (which undoubtedly results from the close spiritual ties with his disciple, in addition to epistolo raphic cliché), though he is more straightforward, firm in his principles, and modest. A different Mauropous emerges in the letters of the second group: offended by both the Constantinopolitan rulers and his friends who turned him out, his feelings hurt, he is complaining of ailments and misfortunes.

Do these epistolographic characters coincide with the prototypes? Affinity is almost doubtless in the case of Psellos, for such a many-sided «mask» cannot possibly exist. In a sense, one could speak of several masks, but a combination of masks practically makes up a character.

In the case of Mauropous we have a rare combination of selfrepresentation (Mauropous in his letters) and a description of him. The comparison of the two images may give a picture which is more or less true. The two representations seem to view the same object at different angles; they do not contradict one another, but add, as it were, the three-dimensional quality to the picture.[36]

It would be naive, however, to regard epistolographic representations only as a product of realistic selfdepiction. The role of literary tradition here is obvious. Let us consider, for instance, the pathetic Mauropous. It is not necessary to repeat all the complaints which he «pours» on his correspondents (see especially №№ 155, 166). The modern reader, however, who knows, from other sources, the true circumstances,

may think that these lamentations are groundless. True, Mauropous had to leave Constantinople, but an episcopate in Euchaita made his exile an honorary one. The reason of the lamentations, therefore, was not only the fact that he took his exile to heart, but probably also the tradition of Byzantine epistolography that had created a kind of a model «letter from exile» and the literary character, exile epistolographer, as stable personage. (There may be real reasons that, to some extent, account for the appearance of both: letters are mainly written by people whose feelings are hurt and who are separated from their correspondents). There were many epistolographers of this type. One of them, Alexander of Nicaea, was Mauropus' near predecessor (10th c.), but unlike Mauropous, he was a real exile and sufferer.[37]

In spite of the differences between the two epistolographers, their letters are somewhat similar in tone: both are concentrated on their misfortunes; both believe that they were betrayed by their friends; they complain about diseases and ask for help. It is remarkable, that, being in a *nec plus ultra* place, focusing on their sufferings, they totally ignore ethnography or any other aspect of the world around them. No doubt, in both cases, under the conventional wording, one can find circumstances of real life, but it is obvious that the two authors make use of a proper «epistolographic situation» or, in other words, they try on one and the same disguise which only partially coincides with their real appearance.

The same applies, to some extent, even to Michael Psellos who, in a greater degree than others, was able to overcome the stereotype. Nonetheless, the Psellos of his letters is comparable with some of his predecessors, e. g. Leo of Synada, identified by some with Leo the Deacon.[38] Thus, Darrouzes characterizes Leo as follows: «Les lettres respirent la bonne humeur et même un certain humour assez rare parmi ses concitoyens;.. Il donne l'impression d'un bon vivant mais son ironie peut atteindre jusqu'à la férocité…».[39]

There is some affinity between the epistolographic images of even so dissimilar persons as Michael Psellos and Nicholas Mystikos,[40] though this affinity may, to some extent, result from «generic traits» typical of Byzantine «intellectuals».

From Late Antiquity on, several books of model letters were in use, each of them dividing letters into group according to their subject matter. H. Hunger has recently suggested the division of all Byzantine letters according to their «aim and origin».[41]

It is not impossible that, in some cases, another division could be most appropriate, namely, a division based on the epistolographic image of the author. I have not enough space here, but it would not be difficult

to demonstrate, that both in epistolography and in historiography in the period under review, the traditional and conventional elements in an author's self-representation were diminishing, while the original and personal traits were increasing.

* * *

In this short paper I could only briefly outline some very important points connected with the problem of authorship in Byzantine literature. The significance of this problem follows from the fact that in a literary work the author appears in two manifestations: on the one hand, he is a character in his own right, like other similar characters,[42] and, on the other, he is a kind of a «supercharacter» whose vision determines the picture reflected in his work. Yet, the problem itself is only a part of a larger problem concerned with the development of individuality in literature.

One paradox should be pointed out in this connection. According to modern scholars individuality has been discovered in many literatures and many periods; Classical Antiquity, Hellenistic, Late medieval period and, naturally, the Renaissance, sentimentalism, and nineteenth-century critical realism. According to L. Batkin, individuality is even still to be discovered in the future.[43] One may think that during the many centuries of the history of culture individuality appeared and disappeared only to reappear and be rediscovered again.

The situation seems to be paradoxical, but in reality there is nothing unnatural in it. There were periods when authors were interested in individuality and strove to express themselves, and periods characterized by a tendency towards the levelling of individuality, devoid of self-expression, and substitution of individual traits by those of a group, guild, or religion etc. Furthermore, each discovery of individuality was, in fact, a discovery in an individual of some new aspects unknown to previous stages of a literature. A kind of discovery of individuality took place in the Byzantine literature of the period in question.

The process of authorship development certainly was not confined to historiography and epistolography[44] or to the period discussed in this paper. As has been pointed out, by the thirteenth century the genre of autobiography had been formed, which, by definition, contributes to the development of self-expression. Curiously enough, however, it was in later autobiographies that traditionalism and stereotype began to dominate over originality and individuality.[45] But the history of Byzantine literature knows a good many surprising and paradoxical situations.

NOTES

[1] *Kazhdan A.* People and Power in Byzantium, Washington, 1982; «Der Mensch in der byzantinischen Literatur» // JÖB, 1982, Bd. 32.2.

[2] This idea has recently been expressed in its most explicit form in C. Mango's works. According to C. Mango, in the opinion of the learned Byzantine author, reality was like «ritualized ballet with the participants in antique theatrical costumes» (see: *Mango C.* «Discontinuity with the Classical Past», in C. Mango, Byzantium and its Image, London, 1984, p. 50). He also believes that Byzantine literature as a whole is but «a distorting mirror» of reality («Byzantine Literature as a Distorting Mirror», ibid., p. 3ff). In fact, S. S. Averintsev has put forward the same idea (see: *Аверинцев С.* Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры. Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986. С. 16 сл.). He asserts that in most Byzantine literary works one can find neither the individuality of the author nor even any mark of the time when the work was created. For my objections, see: *Любарский Я.* Проблема эволюции византийской историографии. В кн.: Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 35 сл.

[3] For a detailed study of autobiography see *Misch G.*, Geschichte der Autobiographie, 4 vols., 1949–1969; for Byzantine autobiography *Irmscher J.* «Geschichte der Autobiographien in der byzantinischen Literatur», Studia Byzantina, XX, 1973. Bibliography is given in «Lexicon des Mittelalters», I (München-Zürich, 1977), col. 1268.

[4] As H. Hunger has pointed out rightly, «A gap between early Byzantine autobiography of Libanius and Gregory of Nazianos' autobiographic poems, on the one hand, and thirteenth- and fourteenth century works, on the other,cannot be explained by a bad state of manuscri pt tradition» (*Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I, München, 1978. S. 166).

[5] «Autobiography did not develop from literary tradition. On the contrary, some of the works of this genre should be regarded as an expression and reflection of a slow and discontinious process of the development and establishment of personality» («Lexikon des Mittelalters», I, col. 1263).

[6] *Чичуров И. С.* Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографии традиции (IV–начало IX в.). Древнейшие государства на территории СССР. М., 1983. С. 20 сл.

[7] See: *Patzig E.* «Der angebliche Monophysitismus des Malalas», BZ. 1898. Bd. 7. S. 115 ff.

[8] For details see: *Любарский Я. Н.* Герои «Хронографии» Иоанна Малалы // Кавказ и Византия. Вып. 6. Ереван, 1988.

[9] Differently thinks B. Croke, who writes that Malalas' work «retains the clear stamp of its author» (*Croke B.* Malals, the Man and his Work, p. 20). I cannot find any foundation for such suggestion.

[10] The problem is very complicated and requires a detailed study. My thesis is contrary to H.-G. Beck's assertion that Byzantine culture did not know the archaic period (*Beck H.-G.* «Das literarische Schaffen der Byzantiner», Osterr. Akad. d. Wissensch., Philos. — hist. Kl. Stzbr 294. Bd. 4 Abh., 1974. S. 8). For details see my «Problems of Evolution», quoted above. It is remarkable that S. Averintsev is inclined to regard works of Nonnos of Panopolis as the result of barbarization of Byzantine literature. He compares Nonnos' enygmatic style with old Norse poetry fraught with kennings. See: *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 141 сл.

[11] «So ist das Werk ein geschichtliches Volksbuch im genauen Sinne des Wortes» (*Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 1897. S. 326).

[12] *Croke B.* The early Development of Byzantine Chronicles. P. 28.

[13] См.: *Чичуров И.* Феофан Исповедник — публикатор, редактор, автор? (в связи со статьей К. Манго) // Византийский временник. 42. 1981. С. 85 сл.; *Любарский Я.* Феофан Исповедник и источники его «Хронографии» (к вопросу о методах их освоения // Византийский Временник, 45. 1984. С. 86).

[14] *Mango C.* «The Breviarium of the Patriarch Nicephorus». Hommage à Andre N. Stratos. Vol. II. Athenes, 1986. P. 549 suiv.

[15] *Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin. Paris, 1971.

[16] See: *Signes J.* Algunas consideraciones sobre la autoria del Theophanes Continuatus // Erytheia, № 10.1, 1989.

[17] See: *Ljubarskij Ja.* Theophanes Continuatus und Genesius. Das Problem einer gemeinsamen Quelle // Byzantinoslavica XLYIII, 1. S. 23 ff.

[18] See: *Kazhdan A.* «Some Questions Adressed to the Scholars who believe in the Authenticity of Kameniates' Capture of Thessalonica'» // BZ. 1978. Bd. 71.2.

[19] See: *Сюзюмов М. Я.* Лев Диакон и его время. In: *Лев Диакон.* История. М., 1988.

[20] See *Scott R.* The Classical Tradition in Byzantine Historiography, in: Byzantium and the Classical Tradition. University of Birmingham. Thirteenth Spring Symposium of Byzantine Studies, 1979, 1981. P. 62.

[21] This problem has recently been elaborated in detail by B. Korman (see: «Проблема автора в художественной литературе». Воронеж. 1967–1974, I–IV, Ижевск 1974–1983) though he seems to have overestimated its significance. Besides, he has practically reduced the idea of the author to a set of peculiarities of style (in the broad sence of the word).

[22] For instance, to establisch the author of «Quiet Flows the Don» (Sholokhov vs. the little-known Kryukov) Roy Medvedev compared the reconstructed image with the potential «biographic» authors, Kryukov and Sholokhov, and came to the conclusion which was not in favor of the latter (see: *Медведев Р.* Кто написал «Тихий Дон»? Paris, 1979).

[23] One example will suffice. The anonymous author of the Life of Niphon pretended to be a contemporary of the saint who lived during the reign of Constantine I though in reality the life was written much later (see: *Ryden L.* New Forms... p. 549).

[24] See: Советы и рассказы Кекавмена. Подготовка текста, введение, перевод и комментарий Г. Г. Литаврина. М., 1972. С. 74 сл. *Kazhdan A.* Studies..., p. 23 ff.

[25] *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество. М., 1978.

[26] I mean Attaleiates' comprehensive «denouncing» digression (Attal., p. 194.1–198.8) which requires a special study.

[27] *Hussey I. M.* Church and Learning in the Byzantine State (867–1185), London, 1937. P. 109.

[28] See: *Анна Комнина.* Алексиада. Вступ. ст., пер., комм. Я. Любарского. М., 1965. С. 40 сл.

[29] See: *Karlson G.* Idéologie et ceremonial dans l'épistolographie byzantine. Uppsala 1972. Νικολάου Β. Τωμαδάκη Βυζαντινὴ ἐπιστολογραφία Ἀθῆναι, 1969.

[30] Советы и рассказы... С. 61.

[31] *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur. S. 214.

[32] An illustration of this, on the lowest level, can be fouud in a story by A. Čekhov. An illiterate peasant woman wants to send a letter to her son and tell him about her life and local news. She dictates it to a lettered man from the same village who creates an epistolographis monster overladen with pretentious phraseology which contains no information either about the village life or the mother.

[33] *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл... С. 117 сл.

[34] The Letters of Ioannes Mauropous Metropolitan of Euchaita. Greek Text, Translation, and Commentary by Apostolos Karpozilos. Thessalonike, 1990.

[35] See: *Любарский Я. Н.* К биографии Иоанна Мавропода // Byzantinobulgarica. IV, 1973.

[36] See: *Любарский Я. Н.* Review of Ά. Καρπόζηλος. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἰωάννου Μαυρόποδος, Ἰωάννινα. 1979. In: Византийский временник 43, 1982.

[37] See: *Darrouzès J.* Épistoliers byzantins du X[e] siècle. Paris, 1960. P. 67 suiv.

[38] The Correspondence of Leo Metropolitan of Synada and Syncellus. Greek Text, Translation and Commentary by M. P. Winson. Washington, 1985.

[39] *Darrouzès J.* Épistoliers... P. 41.

[40] See: *Любарский Я. Н.* Замечания о Николае Мистике в связи с изданием его сочинений // Византийский временник. 47. 1987.

[41] *Hunger H.* Die hochsprachliche... S. 203.

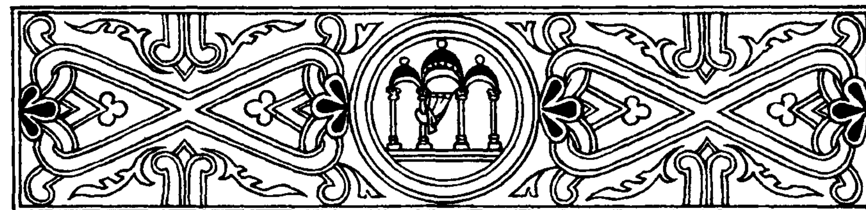
[42] See: *Warren W. L.* «Biography and the Medieval Historian» Medieval Historical Writing in the Christian and Islamic Worlds, 1982, p. 8.

[43] *Баткин Л. М.* Итальянское возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.

[44] Similar processes may have taken place even in traditional hagiography. Remarkable in this connection is A. P. Kazhdan's observation concerning the Life of St. Auxentios by Michael Psellos. In this work, quite traditional in form, Psellos has depicted his closest friends and himself! (see: *Kazhdan A.* Hagiographical Notes // Byzantion, 56, 1986).

[s] *Beck H.-G.* Das byzantinische Jahrtausend. München, 1979. S. 133 ff., *Munitz J.* Self-Canonization: the Partial Account of Nikephoros Blemmydes // The Byzantine Saint. University of Birmingham. Fourteenth Spring Symposium of Byzantine Studies. 1981. P. 169 ff.





ПРИЛОЖЕНИЕ

Долинин К. А., Любарский Я. Н.

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ *
(к постановке проблемы)

Сотрудничество двух соавторов настоящей статьи может на первый взгляд показаться странным. Первый из них — специалист в области стилистики и интерпретации текста современной литературы — не чужд постструктуралистским методам анализа литературных произведений. Второй занят изучением главным образом средневековой греческой литературы и использует большей частью вполне традиционные методики. Тем более странной может показаться попытка применить к памятникам византийской литературы некоторые из приемов новейшей лингвистики и литературоведения.

В обоснование нашей попытки приведем два соображения. Не подлежит сомнению, что постструктуралистское литературоведение теснейшим образом сопряжено с так называемой постмодернистской литературой и представляет собой попытку в первую очередь осмыслить и обосновать ее специфику. Тем не менее, как и всякая литературная теория, она «отбрасывает свет» и на литературу предшествующих веков. Так, например, романтическая поэтика, как известно, помогла лучше осознать специфику литературы классицизма.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 97-06-80080. Опубликована в сборнике статей памяти Иосифа Моисеевича Тронского: «Классические языки и индоевропейское языкознание». СПб., 1998. С. 213–227.

В недрах самой структуралистской и постструктуралистской поэтики, в частности русской структурно-семиотической школы (Ю. М. Лотман, Б. Ф. Успенский) и современной западной нарратологии (Ц. Тодоров, К. Бремон, Ж. Женнетт, Дж. Принс, С. Чэтмен, ранний Барт и т. д.), был выработан и обоснован ряд фундаментальных категорий, приложимых, видимо, к любой литературе и позволяющих судить о любом тексте независимо от наших знаний об авторе, эпохе, обстоятельствах создания произведения и т. п. В этой связи применение нарратологических методик к византийским текстам приобретает особое значение. Ведь наши сведения об авторах, времени их жизни, а тем более о деталях, связанных с созданием их сочинений, часто иллюзорны, а иногда и попросту равны нулю. Таким образом то, что для ученого-нарратолога, занимающегося современной литературой, является исследовательским приемом (мы имеем в виду «отвлечение» от автора),[1] оказывается для византиниста суровой необходимостью. Следует отметить, что мысль о приложении нарратологических категорий к византийской словесности уже звучала в науке. Об излишне эзотерическом и позитивистском характере византийских штудий писали Дж. Холдон и М. Маллет. Они оба пытались применить некоторые из нарратологических приемов в исследовании византийских текстов.[2]

Может, конечно, возникнуть возражение, что нарратологические категории были разработаны в первую очередь для анализа текстов, излагающих вымышленные события (fiction), в то время как мы пытаемся применить их к историческим произведениям. Однако любой текст дискретен, линеен и конечен, а любая действительность, как реальная, так и виртуальная, объемна, непрерывна и теоретически и практически неисчерпаема. Отсюда необходимость отбора и аранжировки, каковые зависят от интерпретации материала, неизбежно субъективной и продиктованной контекстом жанра и эпохи. Различие между романом и историографией в конечном счете лишь в том, что воображаемая действительность, т. е. фабула романа, конструируется самим автором, что дает ему дополнительную степень свободы, тогда как материал, с которым имеет дело историк, в значительной мере от него не зависит.[3]

С точки зрения нарратологии, в византийских исторических сочинениях можно выявить два противостоящих один другому типа композиционного построения текстов. Назовем их временны́м и логическим (причинно-следственным) (см. [Тодоров, 1975, 79–80]). Временно́й, или хроникальный тип построения характеризуется тем, что события излагаются по мере возможности в строго хронологическом

порядке, без последовательной установки на их объединение на синтагматической оси высказываний. Почти единственная или, вернее, господствующая связь между сообщаемыми фактами — это их одновременность или временна́я последовательность, которая находит свое выражение либо в традиционных летописных формулах типа «в том же году», «вскоре после», либо остается имплицитной. Во втором типе композиции, напротив, логические и причинно-следственные связи играют решающую роль.

Византинисты давно заметили это различие и пытались его истолковать в терминах и понятиях классической филологической науки. Еще «отец византиноведения» и первый автор истории византийской литературы К. Крумбахер разделил всю византийскую историческую литературу на два жанра: «хроники» и «истории», которые, по его мнению, были различны по всем параметрам. «Хроники» писались малообразованными монахами и были обращены к непритязательной аудитории; «истории» создавались хорошо образованными светскими писателями и адресовались к не менее образованному читателю; «хроники» описывали всю историю человечества от сотворения мира, «истории» — главным образом события, близкие к периоду жизни автора; «хроники» представляли собой создание византийского времени и были родом средневекового кича, «истории», напротив, продолжали линию античного историописания и так далее [Krumbacher, 1897, 219ff.]. Подвергнутая основательной критике в шестидесятые годы [Beck, 1972], эта теория, однако, осталась практически незыблемой и в большей или меньшей степени разделяется всеми исследователями византийской историографии. Здесь не место обсуждать этот феномен,[4] попробуем разобраться в различии между двумя историческими жанрами с точки зрения теории текста.

Итак, для хроник характерен чисто временной порядок изложения событий, что фактически снимает вопрос о членении текста на блоки, более крупные, чем сообщение об отдельном событии. Единственно возможным принципом структурирования текста оказывается в этом случае абсолютная хронология: текст членится по годам («Хроника» Феофана Исповедника) или по периодам царствования императоров (сочинения Георгия Монаха, Симеона Логофета и многих других, обычно именуемые византинистами Kaiserchronik).

Построенное по такой схеме повествование, очевидно, даже не подпадает под определение текста, бытующее в современной лингвистике, согласно которому текст — это «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность» (Лингвистический энцик-

лопедический словарь, с. 507). Применительно к «чистой» хронике о связности можно говорить лишь с большой натяжкой; цельности же такой текст как будто вовсе лишен, если понимать под цельностью наличие некоего единого замысла, «концепта» текста, «единство коммуникативной интенции говорящего... и иерархию планов (программ) речевого высказывания» [Леонтьев, 1976, 47].

Последний вывод, однако, не бесспорен. Если «иерархии планов (программ) речевого высказывания» в хроникальном повествовании действительно нет, то единый замысел или концепт в нем можно обнаружить. Как уже было не раз отмечено (см., например, [Лихачев, 1979, 259]), хронист выстраивает свой текст в хронологической последовательности не потому, что он не умеет выявить тематические и причинно-следственные связи между событиями, а потому, что такой тип хронологического построения соответствует определенному замыслу и определенной идеологии, согласно которой мир и история — творение божие; все в руке Бога и пути его неисповедимы. Прагматическую связь фактов хронист стремится не замечать, так как для него важнее их общая зависимость от божественной воли.

Напротив, логический (причинно-следственный) тип композиционного построения, свойственный так называемым «историям», характеризуется наличием тематической и логической связи между минимальными единицами событийного ряда — динамическими и статистическими мотивами, по Б. Томашевскому [Томашевский, 1925], т. е. событиями, состояниями, или, иначе, в терминологии Ц. Тодорова, «повествовательными предложениями» (термин «предложение» не имеет здесь лингвистического смысла и означает единицу событийного ряда, стоящего за фрагментом текста, описывающего одно событие или одну ситуацию, который может быть представлен на поверхностно-синтаксическом уровне блоком из нескольких предложений, сверхфразовым единством или «прозаической строфой» [Солганик, 1973].

В повествовании логического типа события как бы теряют свою самостоятельность и, вместе с состояниями, образуют некие тематические единства, которые можно назвать эпизодами (ср. [Тодоров, 1975]). Можно утверждать, что повествовательные предложения, входящие в один эпизод, выстраиваются в некую хронологическую последовательность, где каждое событие Сn вызывает изменение предыдущего состояния Сn−1 и трансформацию его в последующее состояния Сn + 1. Наличие такого рода отношений между его компонентами придает эпизоду то свойство, которое мы называем семантической связностью.

Разные исследователи по-разному определяли состав эпизода и число его компонентов.[5] Все ученые, однако, сходятся на том, что полный эпизод начинается с описания устойчивой ситуации, которая нарушается действием некоей силы, вызывающей состояние неравновесия. Благодаря действию противоположной силы нарушенное равновесие восстанавливается и возникает ситуация, подобная, хотя и не полностью равная, исходной. Именно такой логический тип композиционного построения и сопутствующее ему членение текста на эпизоды, в противоположность хроникам, характерны для византийских историй.

Согласно К. Крумбахеру и его последователям, хроники и истории в византийской словесности существовали параллельно, почти не смешиваясь между собой. Несколько лет тому назад один из авторов настоящей статьи предпринял попытку показать, что истории как бы появились «из чрева хронистики» в результате процесса литературного развития, или, иными словами, логическое повествование и эпизодическая структура развились в недрах повествования хронологического [Любарский, 1988]. Не повторяя уже сделанных выводов, отметим, что, во-первых, отдельные вставные эпизоды с чисто «новеллистической» структурой встречаются в византийской хронистике с самого момента ее зарождения, во-вторых, сами хронисты в ряде случаев имеют тенденцию к логическому построению рассказа и формированию эпизодов, как правило, однако, остающихся без завершения [Любарский, 1995].

Факт более позднего (X–XI века) появления «историй» в византийской литературе вовсе не свидетельствует о более позднем происхождении эпизодической структуры текста. Напротив, принцип построения повествования «по эпизодам», а самих эпизодов — по «ядерным структурам» представляет собой универсальную схему не только коммуникации событий, но и их восприятия и переживания человеком, основанную на глубинных и всеобщих закономерностях человеческого поведения и мировосприятия (ср. [Долинин, 1985]). Если сопоставлять эпизодическую и чисто хронологическую композицию повествования, именно последнюю надо признать маркированным членом оппозиции: именно она является продуктом культуры, канонизированной особенностью хронографического жанра и обусловлена определенной идеологией. Несмотря на свою «исконность», эпизодическая структура была вытеснена из историографии и возрождена лишь в X–XI веках.

Здесь не место обсуждать, по каким причинам логическая и эпизодическая структура восторжествовала в византийском историо-

писании после X в. Совершенно очевидно, что существенную, если не решающую, роль сыграли в этом «проторенессансные» тенденции и определенная секуляризация сознания византийцев этого времени.[6] Наша задача — попытаться охарактеризовать исторические произведения этого времени с точки зрения нарратологических принципов.

В логическом повествовании, построенном, как правило, по эпизодическому принципу, эпизоды складываются — или не складываются — в более сложные образования, так сказать, суперэпизоды; последние, в свою очередь, могут входить в образования еще более сложной структуры; в пределе весь текст предстает как сверхсложный эпизод, построенный по иерархическому принципу. Применительно к художественному повествованию на этой основе выделяют два типа фабульного построения: «ступенчатый» («цепной») и «кольцевой» [Томашевский, 1925]. Цепная фабула строится как последовательность относительно независимых одна от другой новелл, связанных, главным образом, личностью героя, и легко допускает как сокращения, так и добавление новых эпизодов. Противостоящая ей конструкция, характеризующаяся иерархичностью построения, вложенностью одних эпизодов в другие и в силу этого не допускающая механического добавления или упразднения каких-то фабульных блоков, в принципе подвергается свертыванию (в процессе анализа, естественно) в единый «мегаэпизод». Такая композиционная структура характерна для малых эпических жанров, а также для драмы.

Очевидно, что историческое повествование не может быть построено как новелла Мопассана или О'Генри, тем не менее мера связности повествования, способы «крепления» текста, тенденция к большей или меньшей его иерархичности могут рассматриваться как весьма существенные характеристики.

Одним из писателей, преобразовавших «хронику» в «историю», был Михаил Пселл. Формально его «Хронография» принадлежит к жанру «хроник», хотя фактически это настоящая «история» [Любарский, 1978, 185 сл.]. Каждая глава сочинения Пселла посвящена определенному императору, который оказывается уже не простой временной пометой, как в «хрониках», а предметом биографического повествования. Сам Пселл — один из самых интеллектуальных византийских писателей — в значительной мере осознавал особенности своего творческого метода. В его представлении любой человек — существо противоречивое, изменчивое и непостоянное, и задачу свою он видел в том, чтобы эту противоречивость и изменчивость изобразить. История Константина IX завершается Пселлом такой сентенцией: «Рассказ об этом императоре как будто противоречит сам себе, он изменяется и преобразуется вместе с Константином, он построен по законам правды, а не риторики, уподобляется и как бы сопереживает герою» [Psello II, 1984, 152]. Эти слова удивительны по степени постижения собственной литературной манеры, и кажется, что они вышли из-под пера современного литературного критика, а не средневекового писателя.

Возникает проблема: какие же скрепы — при отсутствии хронологического примыкания событий — используются Пселлом для построения логически связного текста? Но прежде всего постараемся ответить на вопрос, были ли в распоряжении Пселла какие-то традиционные средства для построения биографического текста, использовавшиеся византийскими писателями до него. Если отвлечься от агиографических текстов с их цепочкой произвольно примыкающих один к другому эпизодов, а также от светских жизнеописаний, видимо, существовавших, но до нас не дошедших, по биографическому принципу строились в Византии похвальные речи — энкомии и их антиподы — порицания (псогосы). Их характерной особенностью была строгая фиксированная форма, усвоенная каждым образованным византийцем еще на школьных уроках риторики. В какой-то степени этот риторический шаблон можно сравнить с развернутыми анкетами советских времен, где каждому предлагалось заполнить пустые ячейки с ответом на поставленный вопрос: фамилия, имя, год рождения, национальность и т. п. В византийском риторическом варианте это были: место рождения, предки, родители, учеба, воспитание, деяния и т. п. (каждый из перечисленных пунктов подлежал восхвалению в энкомии и порицанию в псогосе). Конечно, наиболее выдающиеся риторы умудрялись создавать значительные произведения даже внутри этой жесткой схемы; тем не менее наперед заданная конструкция панегирика, несомненно, сковывала творческие возможности писателей. Пселл, равно как и некоторые историографы до него, тоже прибегал к этой схеме, когда должен был описывать правление современных ему царей, коих, разумеется, подобало превозносить в панегирическом стиле. Многие элементы традиционного панегирика использованы Пселлом в разделах его «Хронографии», посвященных Константину и Михаилу Дукам. Однако основная и художественно наиболее интересная часть его «Хронографии» выдержана в совершенно ином регистре.

Прежде всего несомненна ярко выраженная эпизодическая структура повествования Пселла. Связь между отдельными эпизодами имеет иерархический, хотя и весьма своеобразный характер. По сути дела,

все эпизоды подчинены единой задаче — характеристике неоднозначной и меняющейся фигуры главного героя — императора. Поэтому они (или, вернее, изложенные в них факты) занимают в тексте не то место, которое им полагалось бы согласно реальной исторической последовательности, а то, которое соответствовало художественным задачам автора. Последнее, естественно, нарушало реальную историческую перспективу и вызывало многочисленные нарекания со стороны новых исследователей, желавших в первую очередь использовать «Хронографию» в качестве источника прагматической истории.

Такой принцип аранжировки материала естественным образом приходил в противоречие с законами хронологического жанра, в рамках которого формально писалась «Хронография». Весьма любопытно наблюдать, каким образом Пселл старается примирить непримиримое: хронологическое следование и иерархическую структуру. Отдельные эпизоды «сцеплены» у него между собой по принципу тематической или даже словесной ассоциации, которая, по сути дела, имитирует хронологическое движение: эпизоды «зацеплены» один за другой таким образом, что последний из них логически заканчивает всю цепь сообщением о смерти императора. Многочисленные примеры этого уже приведены в книге Любарского [1978, 185 сл.]. В качестве иллюстрации сошлемся здесь только на один весьма показательный случай. Характеризуя как обычно своего героя, в данном случае Константина VIII, и желая, видимо, завершить повествование, Пселл вспоминает об увлечении Константина игрой в кости, после чего следует фраза, которую лучше всего передать на русский язык образом, заимствованным из области игры не в кости, а в карты: «И вот его, ставящего на карту державу, таким образом постигла смерть» [Psello I, 28, 22].

Второй способ, каким Пселл обеспечивает связность своего повествования, еще более поразителен для этого времени (XI век!). В некоторых случаях свободные переходы от одних эпизодов к другим открыто декларируются автором в виде метатекстовых высказываний [Вежбицка, 1978]. Автор эксплицитно уведомляет читателя, о чем он собирается ему рассказать. Замечательный пример этого содержится в разделе, посвященном Константину Мономаху. Так, начав рассказ о Зое — законной жене легкомысленного императора Константина, — Пселл замечает: «Расскажу о ней подробней, пока царь блаженствует со своей севастой» [Psello I, 148. 27], (имеется в виду любовница Константина Склирина, об открытой и шокирующей связи с которой писатель только что рассказывал). Следующий

затем рассказ о Зое заканчивается словами: «Доведя до этого места повествование о царице, снова вернемся к севасте и самодержцу, если угодно, разбудим их, разъединим и Константина прибережем для дальнейшего рассказа, а жизнь Склирины завершим уже здесь» [Psello I, 150.12].

Такие авторские отступления, в которых писатель не только сообщает о своих намерениях, но и как бы вторгается в описываемое пространство, — явление достаточно частое в европейской литературе, начиная с XVIII века. В «Тристраме Шенди» Стерн постоянно в ироническом ключе комментирует собственное повествование. Этот прием заимствует у него Дидро в «Жаке-фаталисте». Весьма распространен такой прием и в русской литературе. Фраза И. С. Тургенева в «Отцах и детях»: «Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом», — представляет собой разительную аналогию к только что цитированному пассажу из раздела о Константине Мономахе в «Хронографии» Пселла.

Такого рода отступления парадоксально сближают, как бы соединяют в одно два стоящих за текстом пространства: то, в котором располагаются автор и читатель (пространство литературной коммуникации), и то, в котором живут и действуют герои (фабульное пространство). В европейской литературе нового времени такого рода отступления обнажают условность, подчеркивают зависимость рассказываемой истории от авторской воли и тем самым выводят автора на авансцену повествования, придают ему личностные черты. Метатекстовые высказывания у Пселла, конечно, не ставят под сомнение реальность персонажа и рассказываемых событий, но сообщают рассказчику небывалую до того индивидуальность и наделяют его властью если не над событиями, то над повествованием о них. Фигура историка сближается с фигурой романиста, историография превращается в художественную литературу, вернее в то, что мы сегодня именуем художественной литературой.

Никогда после XI века византийская историография не достигала такого художественного уровня, как в «Хронографии» Пселла. Тем не менее традиции великого византийца явственно ощущаются в светской греческой литературе до самого конца Восточной Римской империи. Под огромным влиянием Пселла находилась, в частности, принцесса Анна Комнина, знаменитый историограф XII в. Согласно произведенным недавно подсчетам [Linèr, 1983], число скрытых цитат из Пселла в тексте «Алексиады» явно превосходит количество ссылок на отцов церкви и классических писателей. Факт этот

уникален в истории византийской литературы: пселловская «Хронография» была явно «на устах» Анны. Влияние Пселла, однако, вовсе не ограничивалось текстуальными заимствованиями. Рассматривая текст Анны, можно обнаружить присутствие тех же повествовательных приемов, что и в «Хронографии» Пселла. Прежде всего это удивительная свобода обращения с собственным рассказом и отсюда наличие большого числа метатекстовых включений. «Давайте оставим Роберта (имеется в виду норманнский правитель Роберт Гвискар. — *К. Д., Я. Л.*) там, куда его привел мой рассказ, и обратимся к деяниям Алексея», — замечает Анна, к примеру, в конце первой книги «Алексиады» [Anna I, 61.8].

Стремление к свободной связи между эпизодами приводит подчас писательницу к использованию весьма изощренных приемов. Рассказывая, например, о действиях Роберта Гвискара в Италии, Анна упоминает о прибытии из Греции сына Роберта — Боэмунда, «на лице которого можно было прочесть печальное известие о понесенном им поражении» [Anna II, 17.10–12]. Дальнейший рассказ о борьбе Боэмунда с византийцами в Греции представляет собой как бы объяснение «печального известия», запечатлевшегося на его лице. Этот прием, которого вполне можно было бы ожидать от современного новеллиста, был, видимо, хорошо осознан Анной. Во всяком случае, через несколько страниц, в конце эпизода, писательница вновь обращается к «печальному известию на лице Боэмунда» (τὴν δεινὴν ἐκείνην ἀγγελίαν ἐπὶ τοῦ προσώπου φέροντα — [Anna, II, 50.13–14]).

Подобно Пселлу, нередко пользуется Анна также и свободными ассоциативными связями. Рассказав, например, о заговоре Михаила Анемада, которого в конце концов осудили и заключили в тюрьму, писательница неожиданно начинает рассказ о другом эпизоде — восстании Григория Таронита и делает это с помощью следующего перехода: «Михаила еще не освободили из-под стражи, как в тюрьму доставили Григория» [Anna I, 75.9–9]. Последняя фраза дает основание ввести эпизод восстания Григория Таронита.

Вряд ли есть необходимость перечислять многочисленные возможности, которыми Анна пользуется для аранжировки своего рассказа: в арсенале писательницы весьма разнообразные средства, от временны́х формул хроникального типа «через несколько дней», «вскоре» и тому подобных, до изощренных приемов, описанных выше. Вряд ли, однако, даже самое тщательное описание отдельных приемов может дать представление о своеобразии композиционного построения столь необычного для своего времени художественного создания, как «Алексиада».

Под пером Анны впервые в истории византийской литературы возникло грандиозное произведение, охватывающее огромный и разнородный исторический материал, концентрирующийся вокруг фигуры главного персонажа — отца писательницы, императора Алексея I. Впервые в истории византийской литературы историк, поставивший своей задачей восхваление героя (а именно такая цель стоит перед Анной), несмотря на собственные многочисленные декларации о стремлении написать объективную историю, не прибегает для построения своего произведения к испытанной риторической схеме энкомия, а создает свою композиционную конструкцию. Попробуем, хотя бы в самых общих чертах, ответить на вопрос, что она собой представляет.

Как уже отмечалось,[7] «Алексиада» отличается удивительным для византийской литературы единством. В каком-то смысле ее построение похоже на композицию «Илиады», которой Анна подражает и во многих других отношениях [Buckler, 1929, 197; Dyck, 1986]. Не случайно сочинение Анны именовали как «биографическим эпосом», так и «эпической биографией».[8]

Однако на самом деле структура «Алексиады» значительно сложней и «иерархичней» и вовсе не сводится к «цепной фабуле», состоящей из последовательных описаний деяний императора. Весь текст «Алексиады» довольно четко делится на эпизоды разной длины, некоторые из которых, по сути дела, превращаются в настоящие мегаэпизоды и даже становятся «сквозными темами» произведения. Таковы, например, борьба Алексея с норманнами, нашествия «скифов», война с турками, искоренение еретиков и т. п. Анна именует такие мегаэпизоды λόγοι — словом полисемантичным, означающим как литературное произведение в целом, так и «рассказ», «эпизод» и т. п. Некоторые из мегаэпизодов не излагаются Анной сразу целиком, но разделены на части, перемежаются с другими эпизодами и сценами. В нескольких случаях Анна использует принцип «матрешки», помещая эпизоды один внутри другого.[9] При желании, видимо, можно было бы составить графическую схему построения «Алексиады», которая вряд ли оказалась бы простой.

В целом составленная по эпизодическому принципу, композиция «Алексиады» вписывается в рамки иерархических структур, описанных уже упомянутыми нами современными исследователями. Интерес, однако, представляет главным образом не то общее, что характеризует любые «эпизодические» тексты, а специфическое в них, отражающее своеобразие менталитета и художественной манеры автора. Думается, что показателен в этом отношении и пример «Алексиады».

Подавляющее число мегаэпизодов или просто эпизодов «Алексиады» начинается с утверждения о некоей опасности, нависшей над империей, православной верой или самим императором. Роберта Гвискара Анна характеризует как «зло и неизлечимую болезнь» (κακὸν καὶ ἀνίατον νόσημα — [Anna I, 37.1–2]). Скифское нашествие определяется как самое «страшное и большое» (δεινοτέραν καὶ μείζονα ἔφοδον — [Anna II, 81.19]). Еретик Нил обрушился на церковь «подобно некоему потоку зла» (ὥσπερ τὶς ρεῦμα κακίας — [Anna II, 187.1]). Бунтовщики Анемады — «новая беда, ополчившаяся на императора» [Anna III, 218.29]. Богомилы — «огромная туча еретиков» (μέγιτον νέφος αἱρετικῶν — [Anna III, 218.29]) и так далее.

Как можно видеть, в качестве «провокаторов» опасности для империи или для веры в каждом случае выступают самые разные лица или силы. Единственное, что их объединяет — все они действуют как бы извне, в географическом (соседние народы — враги империи) или идеологическом (заговорщики, еретики) смысле, бросают вызов императору и нарушают существующий порядок вещей. В терминах нарратологии сила, нарушающая устойчивое положение вещей («второе повествовательное предложение», по Ц. Тодорову), всегда имеет у Анны «внешний характер».

В отличие от многочисленности внешних врагов существующего положения, в роли реставратора нарушенного спокойствия — нередко уже на новом уровне — каждый раз выступает в «Алексиаде» один и тот же человек — сам император Алексей, оказывающийся, таким образом, во всех случаях единственной движущей силой в «четвертом повествовательном предложении» (по тому же Ц. Тодорову).

Не вызывает сомнений, что подобное единообразное построение эпизодов и мегаэпизодов имеет под собой определенную идеологическую подоплеку. Анна — писательница с ярко выраженным универсалистским и этатистским сознанием. Все народы, жившие в былых пределах Римского государства, представлялись ей мятежными рабами империи и нарушителями знаменитой византийской *taxis*, не говоря уже о настоящих завоевателях типа норманнов, крестоносцев и других.[10] Равным образом нарушителями *taxis* оказывались «тираны», претендовавшие на императорский трон, или еретики, посягавшие на православную веру, живым воплощением которой был сам император, первейшая задача которого и заключалась в поддержании «исконного» порядка — *taxis*.

«Идеологическая подоплека» нарративной структуры «Алексиады» ярко проступает в сравнении с другими историографическими произведениями близкого времени. Для сравнения обратимся

к сочинению Иоанна Киннама — историографа и в известных пределах панегириста внука Алексея I, Мануила. В сочинении Киннама в принципе можно обнаружить почти все приемы аранжировки текста, которые мы встречали у Анны: от элементарного временно́го следования эпизодов до метатекстовых включений и свободного переноса действия. Подобно Анне, Киннам четко делит свое повествование на отдельные эпизоды, отмечая их начало и конец специальными словесными формулами.

Тем не менее внешнее сходство только оттеняет внутреннее различие между писателями. Эпизоды у Киннама, как правило, следуют один за другим в строгой временной последовательности. Это хронологическое следование парадоксальным образом сочетается у Киннама с полным пренебрежением к абсолютной хронологии. В его «Истории», впрочем, как и в пселловской «Хронографии», можно встретить сколько угодно формул типа «через некоторое время», «вскоре» и тому подобных, но практически нельзя найти ни одной «абсолютной» даты. Уже это обстоятельство существенно отличает «Историю» от «Алексиады». Автор последней весьма щепетилен в отношении точной хронологии и нередко даже оставляет лакуны в тех местах рукописи, где должна стоять точная дата. Анна, видимо, хотела навести справки, но не успела или не смогла этого сделать.

Можно предположительно говорить о причинах такого разного отношения двух писателей к хронологии. Анна стремилась как бы найти место отцу — восстановителю величия Византии — и его героическим деяниям в рамках всемирной истории. Что касается Иоанна Киннама, цели и намерения у него, видимо, были совершенно иными. Киннам рисует своего героя — императора Мануила I — персонажем «рыцарского типа». По стилю изображения Мануил весьма напоминает Дигениса Акрита.[11] Возможно, поэтому время для Киннама — не более, чем «пространство», в котором действует его главный герой.

Как бы то ни было, эпизоды у Киннама следуют один за другим в хронологической последовательности, причем связь между ними большей частью грамматически унифицирована. Наиболее частой моделью связи между эпизодами оказывается конструкция μέν-δέ-γάρ, где μέν относится к предыдущему эпизоду, δέ — к тому, о котором автор собирается начать рассказ, а γάρ вводит рассказ о предыстории события. Приведем только один пример, чтобы разъяснить нашу мысль.

Киннам завершает повествование о венгерской кампании 1161 года рассказом о взаимоотношениях двух сыновей короля Гезы (эпизод μέν по нашей классификации). После этого историк обращается

к сербской кампании Мануила (эпизод δέ), однако, прежде чем приступить к изложению событий, объясняет причину, по которой Мануил должен был отправиться в Филиппополь: восстание Примислава (эпизод или в других случаях «повествовательное предложение», рассказывающее о предыстории, вводимое γάρ). В греческом тексте эта конструкция μέν-δέ-γάρ представлена следующим образом: Τὰ μέν οὖν ἐπὶ τοῖν αὐταδελφοῖν τοῦτοιν ἐνταῦθα πέρας ἔσχε. βασιλεὺς δέ ἐπι τὴν Μακεδονικὴν ἐχώρει πόλιν Φιλίππου τὰ πρὸς τῇ Σερβικῇ καταστησόμενος πράγματα. ὁ γάρ τοι Πριμισθλάβος... [Kinnamos, 203.22–204.2].

«Таким образом закончилась история с братьями. Царь же отправился в македонский город Филиппополь, чтобы уладить сербские дела. Дело в том, что Примислав...» В русском переводе μέν не передается вовсе, δέ — с помощью частицы «же», γάρ — словами «дело в том, что». Логически рассуждая, можно, конечно, утверждать, что перед нами слегка инвертированная обычная конструкция эпизода, где «предыстория γάρ» — не что иное, как второе «повествовательное предложение», т. е. сила, нарушающая устойчивое положение вещей, в то время как весь эпизод начинается с четвертого «повествовательного предложения» — описания силы, «восстанавливающей нарушенную ситуацию». Формально такое рассуждение было бы справедливо, однако частота и относительная регулярность появления этой инвертированной конструкции у Киннама наводит на другие размышления.

Дело в том, что актантом «четвертого повествовательного предложения» у Киннама, как и у Анны, постоянно выступает сам император. Регулярно начиная эпизод (в отличие от Анны!) с описания его действия, Киннам как бы подчеркивает активность императора Мануила, роль которого, в противоположность Алексею I, отнюдь не ограничивается функциями реставратора существующей ситуации. В отличие от героя Анны, Мануил сам эту ситуацию постоянно нарушает, а предыстория, вводимая союзом γάρ, как правило, объясняет лишь мотивы активных действий Мануила.

Мы бы назвали упомянутую конструкцию с μέν-δέ-γάρ базовой для Киннама. Естественно, она может сокращаться или модифицироваться. Например, Киннам нередко опускает «предысторию», и в этом случае γάρ вовсе отсутствует. Иногда «предыстория» излагается в предложении, стоящем в genitivus absolutus, и так далее. Однако суть дела от этого меняется мало. В большинстве случаев силой, «нарушающей равновесие», оказывается сам император Мануил.

Итак, повествовательные эпизодические структуры Анны и Киннама, при всей их внешней схожести, весьма различны, и в их различии, думается нам, проявилась разница в менталитете и художественных задачах обоих авторов. Показать зависимость повествовательной структуры от менталитета и художественных задач одного и другого как раз и явилось нашей главной целью.

В настоящей статье мы затронули лишь некоторые аспекты структуры средневековых текстов, которые могут быть выявлены и описаны с помощью категорий современной нарратологии. Надо полагать, что не все выводы, сформулированные нами, покажутся бесспорными. Надеемся, однако, что нам удалось продемонстрировать главное — принципиальную возможность и плодотворность использования идей и методов современной поэтики для изучения литературы давно прошедших веков.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вежбицка А.* Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978.

2. *Долинин К. А.* Интерпретация текста. М., 1985.

3. *Леонтьев А. А.* Признаки связности и цельности текста // Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976.

4. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

5. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.

6. *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл, личность и творчество. М., 1978.

7. *Любарский Я. Н.* Проблема эволюции византийской историографии // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.

8. *Любарский Я. Н.* Сюжетное повествование в византийской хронистике // Византийские очерки. М., 1995.

9. *Солганик Г. Я.* Синтаксическая стилистика. М., 1973.

10. *Тодоров Ц.* Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.

11. *Томашевский Б. В.* Теория литературы. Л., 1925.

12. *Agapitos P.* Narrative structure in the Byzantine Vernacular Romances. A Textual and Literary Study of Kallimachos, Belthrandros and Libistos. München, 1991.

13. *Anna:* Comnène Anne, *Alexiade*, I–III / Ed. B. Leib. Paris, 1937–1945.

14. *Barthes R.* The Death of the Author, Image, Music, Text / Trans. and ed. S. Heath, London; New York, 1977.

15. *Beck H. G.* Zur byzantinischen «Mönchschronik» // Beck H. G. Ideen und Realitäten in Byzanz. VR. XY. London, 1972.

16. *Buckler G.* Anna Comnena, a Study. London, 1929.

17. *Howard-Johnston J.* Anna Komnene and the Alexiad, Alexios I Komnenos. Papers I // BBTT. 4.1, 260–301. 1966.

18. *Conca F.* Tecnica storiografica di Anna Comnena // *Acme.* 23.
19. *Dyck A. R.* Iliad and Alexiad: Anna Comnena's Homeric Reminiscences // Greek, Roman and Byzantine Studies. 27, 1, 1986.
20. *Haldon J.* 'Jargon' vs. 'the Facts'? Byzantine History-Writing and Contemporary Debates // *BMGS.* 9, 1984–1985. 95–132.
21. *Kinnamos*: Ioannis Cinnami // *Epitome* / rec A. Meineke. Bonn, 1836.
22. *Kazhdan A. P., Epstein A. M.* Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. Berkey; Los Angeles; London, 1985.
23. *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527–1453), 2. Aufl. Vol. I (1897).
24. *Linur St.* Psellus' *Chronographia* and the *Alexias*, Some Textual Parallels // *BZ.* 71. 1983. 1ff.
25. *Ljubarskij Ja.* Why is the *Alexiad* a Masterpiece of Byzantine Literature? // ΑΕΙΜΩΝ. Uppsala, 1996.
26. *Mullet M.* Dancing with Deconstructionists in the Gardens of the Muses: New Literary History vs // *BMGS.* 1990. 14.
27. *Prince G.* Narratology. The Form and Functioning of Narrative. Berlin; New York; Amsterdam, 1982.
28. *Psello:* Michele Psello, Imperatori di Bisanzio (Chronografia), I–II, 1984.
29. *Ricoeur P:* Récit fictif — récit historique; *D. Tiffeneau* (éd.) // *La narrativité.* Paris, 1980.
30. *White H.* The Value of Narrativity in the Representation of Reality // *Critical Inquiry.* 1980. 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Напомним название одной из работ Р. Барта: «Смерть автора» [Barhtes, 1977].

[2] См.: [Mullet, 1990; Haldon, 1984/85]. Следует также отметить в этой связи исследование П. Агапитоса, касающееся нарративных структур в византийских романах на народном языке [Agapitos, 1991]. Характерно, что применение новых методов к исследованию византийской литературы начинается с памятников, более или менее соответствующих современному понятию о художественной литературе.

[3] Следует отметить, что идея об отсутствии принципиальной разницы между историографией и художественной литературой неоднократно уже высказывалась в последние годы: как историк, так и писатель представляют события (будь то реальные или вымышленные) в форме «нарратива», см. [Ricoeur, 1980, 251–269; White, 1980] и упомянутую там литературу.

[4] Подробней об этой проблеме см. [Любарский, 1988].

[5] Ц. Тодоров, например, говорит о пяти «повествовательных предложениях», входящих в эпизод [Тодоров, 1975, 88], Дж. Принс предлагает трехчастную схему [Prince, 1982], именуемую им «ядерной структурой» (kernal structure).

[6] Подробней см. об этом [Kazhdan, Epstein, 1985].

[7] См. [Ljubarskij, 1996]. Наша точка зрения совершенно противоположна недавно высказанному воззрению Дж. Говарда-Джонсона, согласно которому «Алексиада» не представляет собой единого целого. «Рассказ, в ней содержащийся, несмотря на классический язык, гораздо ближе к хроникам, нежели к историям в собственном смысле слова. Он плохо построен и неуравновешен композиционно» [Howard-Jonston, 1996, 300].

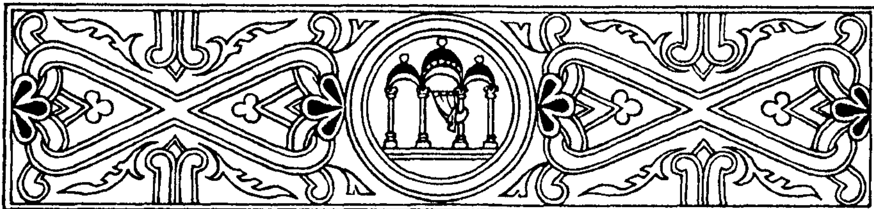
[8] Все необходимые сноски см. в [Ljubarski, 1996].

[9] Так, например, два эпизода («Алексей перед судом» [Anna II, 42.24 sq.] и [Anna II, 48.15–30]) заключены в большой эпизод борьбы с манихеями [Anna II, 43.28–50.2], который в свою очередь представляет собой часть мегаэпизода о борьбе с норманнами. О «кольцевой» композиции в «Алексиаде» см. [Conca, 1980].

[10] Характерным в этом отношении являются слова Анны незадолго до конца «Алексиады»: «...во время правления моего отца происходило множество бед и неурядиц. В один и тот же момент ополчились на него скиф с севера, кельт с запада, исмаилит с востока; не говорю уже об опасностях, подстерегавших его на море, о варварах, господствовавших на море, и о бесчисленных пиратских кораблях, построенных гневом сарацин или воздвигнутых корыстолюбием ветонов и их недоброжелательством к Ромейской державе. Все они с вожделением смотрели на Ромейскую империю. Ведь по своей природе империя — владычица других народов, поэтому ее рабы враждебны к ней... и при первом удобном случае нападают на нее» [Anna III, 173.2 sq.].

[11] Подробней эту мысль один из авторов собирается обосновать в специальной статье.





To the memory of Alexander Kazhdan

«QUELLENFORSCHUNG» AND/OR LITERARY CRITICISM*

NARRATIVE STRUCTURES IN BYZANTINE HISTORICAL WRITINGS

In 1991, shortly before the 18th International Congress of Byzantine Studies in Moscow, I published a sort of *Forschungsbericht* concerned with the study of Byzantine literature (Liubarskii 1991). While admitting the great achievements of Byzantine philology in editing, re-editing, translating and commenting on the texts, I stressed the deficiency of today's approach to Byzantine authors and argued that only a few scholars had tried to re-evaluate the traditional (mostly negative) views about Byzantine literature and that fewer still had tried to apply contemporary methods to its study. In the seven years that have passed since that publication, the situation has changed a little. The best way to demonstrate this is to compare the key-words in the books and articles by the Byzantinists of former years with those of the last decade: it will then be seen that notions such as *tradition*, *imitation* (*mimesis*), *stagnation*, *continuity*, *stability*, and the like, are now being supplemented by change, transformation, innovation, originality, etc., less typical of earlier Byzantine studies[1].

It would hardly be correct to speak of a volte-face in the evaluation of Byzantine literature, but the first signs of this have manifested themselves in recent years. Alexander Kazhdan has done much to prove that Byzantium was able not only to transform its institutions, habits and values but also to innovate in its literature[2]. According to Paul Magdalino the «imitation of ancient models and use of cliches were not proof that an author had nothing to say». Quite the contrary, «Topoi might actually serve to underline the importance of what was said, by giving it the stamp of universal truth and finding a place for it in the hierarchy of political, religious and literary orthodoxy»[3]. Roderick Beaton remarks rather cautiously that «the Byzantine writers of the twelfth century were making advances in a similar direction to that taken by their contemporaries in the west — a direction that was to lead, in the fullness of time,

* Статья открывает дискуссию на страницах журнала «Symbolae Osloenses», Oslo, 1998, vol. 73, p. 5–22. Дискуссия по статье — p. 22–60, ответ автора — p. 60–65.

to the creation of the complex cultural institution that we know today as literature» (see Littlewood 1995, 89). The line of similar assertions can be continued.

All this seems to be in distinct opposition to the harsh verdicts that for many years have been passed on Byzantine literature. The latter culminated in Cyril Mango's Oxford inaugural lecture, «Byzantine Literature as a Distorting Mirror» (Mango 1975) — a short work that deserves a long life in Byzantine scholarship, thanks to its aphoristic and rather provocative statements, even though, time and again, they have been contested by modern «re-evaluators». There is nothing unusual in this re-evaluation. The same happened recently in the study of medieval Russian literature which in many aspects depended on Byzantine literature and was, in many ways, inferior to it (I hope my Russian colleagues and Slavists generally will forgive me). Recently, this process has gone beyond the realm of good intentions and was beginning to materialize in Alexander Kazhdan and Lee Sherry's *History of Byzantine Literature*. The sudden death in May 1997 of Kazhdan, who shortly before had completed the second volume of this six-volume project[4], dashed our hope of having a real history of the literature of Byzantium (rather than of its *Schrifttum*). The leitmotif of the unpublished work is the idea that Byzantine literature changed and developed according to the authors' individualities rather than relied on the genre's cliches. Unfortunately there is little prospect that, in the immediate future, some scholar will venture to conclude Kazhdan's great initiative.

It is surprising, however, how quickly, after centuries-long complaints about the boredom of Byzantine writings, some scholars of the last decade (Kazhdan is not alone) discovered extraordinary expressive and effective details and even episodes, as well as vivid descriptions of characters. According to those scholars, their number constantly increased in the works of the Byzantine *literati* over the centuries[5]. There is even a temptation now to present the history of Byzantine literature as a direct line of development toward some sort of «realism».

But the process does not seem to have been as linear as is supposed. In hagiographical works, for instance, one can even observe an opposite trend. Thus in the 10th century Metaphrastes' works, which, for the most part, have little to do with reality, replaced the earlier Lives of Saints, which were so rich in details of everyday life. This process went still further in the 11th and 12th centuries, producing *vitae* almost totally devoid of the atmosphere of reality. Entertaining plots, typical of some earlier works, disappeared and «vivid details» were replaced by clichés. The Russian scholar Sofia Poliakova has even suggested that this process must be regarded as the final stage in the formation of the hagiographical genre, i.e. its liberation from the «inconvenient but very strong influence of sensual classical literature, alien to Byzantines» (Poliakova 1972, 272).

How can one explain these paradoxes? Did the increasing number of contacts with reality in Byzantine literature work as a process of accumulation of «flaws» or «interferences» which, having reached a «critical mass», since the 11th — 12th

centuries could produce some literary masterpieces and in the end new aesthetic criteria and a kind of fiction? Or maybe this process was similar to language evolution, where the accumulation of grammatical mistakes in colloquial speech might have changed the literary norm? There is little hope of finding real arguments either for or against this idea.

The quest for precise arguments has always been a problem in literary criticism and given impulse to the application of various theories and methods, which are commonly regarded as more accurate and efficient; but Byzantine studies, a legitimate heir of Classical philology, has been affected by contemporary approaches to an even lesser degree than the latter. Even highly influential trends in 20th century humanities such as Freudian and Marxist theories or those of the Annales school have found very few supporters among byzantinists, at least in the field of literary research: the conservatism of several great authorities was enough to protect Byzantine studies from outside influence. In the last decades of the 20th century, however, another «danger» appeared. I am referring to structuralist and post-structuralist theories, whose adherents have permeated the humanities, at times demonstrating truly neophytes' aggressiveness. This «danger» was recognized over ten years ago by John Haldon, who was in no way alarmed by it. On the contrary, he regretted the excessively esoteric and positivistic character of Byzantine studies (Haldon 1984–85).

It may not be a coincidence that in the same journal John Haldon's position was very soon supported by Margaret Mullett, who, pointing out some rare exceptions, stressed that «the study of Byzantine literature has (at least in the west) failed to take advantage of any advances made in other literatures» (Mullett 1990, 265 f.). What she meant was chiefly the application of post-structuralist ideas, particularly the theory of narrativity fashionable among literary critics[6]. To be sure, we have enough reasons for hoping that byzantinists will not instantly abandon their traditional «positivistic» assumptions and hastily apply to medieval Greek authors the ideas of Genette's or Barthes' followers. It would have been a real tragedy for Byzantine studies, where so many texts have not been published properly and so many historical questions remain unanswered! Nevertheless, some of these ideas («intentions» would perhaps be a more appropriate word in this case) can and, I am convinced, should be used in studying Byzantine literature.

Among «post-structuralist» methods the theory of narrativity is really the most efficient and useful instrument in philological studies. It is not my purpose to analyse the theory in detail. The advocates of narrativity tend to overestimate its possibilities. For one of its «founding fathers», the narrative (the main object of investigation!) «is simply like life itself... international, transhistorical, transcultural» (Barthes 1977a, 97). Hence, the methods used by the adherents of this theory are often considered to be global, universal, international, if not omnipotent. These pretensions are likely to have been exaggerated. Some evidence of this is to be found in the great discrepancy between loud-mouthed declarations

of the theoreticians and the poor results achieved by the application of these methods in the analysis of concrete literary compositions. Some of these works even convey the impression that their authors live and move in an imaginary world of conventional and artificial notions of their own invention, which, to be sure, stand in some relation to each other and can be deduced one from the other, but have little to do with the literary compositions analysed.

What I have said, however, in no way signals a refusal to apply any of the principles of this theory to the study of Byzantine texts. On the contrary, Byzantine, and possibly medieval literature in general, is extraordinarily suited to this kind of analysis. The cornerstone of the theory (perhaps it would be better to speak of a method or approach) is that every text, as a set of narratives, must be regarded as a «given» without taking into account either its author or the time and circumstances of its creation. «The author is dead» is a pithy saying of narrativists originating from the title of an article by their recognized authority Roland Barthes (1977b, 142–48). But what seems to be a sort of methodological device or mental assumption for pure «narrativists» turns out to be the reality and necessity for byzantinists or medievalists. This is not because all «their authors» physically died many centuries ago, but because they are in practice «dead» for scholars who, in many cases, know neither the name of the writer, nor the time when he lived, not to mention the circumstances in which the work was created. Even when scholars think they know all this, the knowledge sometimes proves to be illusive and imaginary, based only on conjectures or false assumptions because Byzantine writers really tend to distort the reality and their own image as well.

But this is not the only argument in favour of the application of that theory. In contrast to modern times, no literary schools existed in the Middle Ages; and only the texts can give us a base for joining/dividing them into definite groups, i.e. attributing them to a certain place in the history of literature, or, to put it differently, creating a systematic literary history. So the text itself (as a given), if only philologically correct, often remains the only reliable object for study. Thus, paradoxically enough, the principles of the old traditional philology come near to those of modern or even modernist theory. The same principles, however, are realized by quite different methods. I will try to demonstrate this using as examples some Byzantine historical writers of the 6th–12th centuries.

It is quite normal that scholars have always regarded Byzantine historical writings primarily as a source of information. Furthermore, it is normal to check the reliability of this information and to determine its sources, i.e. the works the historiographers used as sources. On the other hand, while evaluating historiography as a cultural and literary phenomenon, scholars have also been looking for the classical models that were supposedly imitated by the Byzantine writers. In both cases the final goal of the research seems to have been the same, namely finding the sources, either classical or medieval. This trend has been so strong that

from time to time phantom sources were even invented if real ones could not be found. Furthermore, hypercriticism among modern scholars has resulted in the rejection of the authorship of some Byzantine writers. A significant example is Cyril Mango's idea that the real author of Theophanes Confessor's *Chronography* was George Synkellos[7]. In its extreme form this approach has manifested itself in James Howard-Johnston's assertion that Anna Komnena's *Alexiad* was in reality mainly the work of her husband Nikephoros Bryennios (Howard-Johnston 1996).

The tendency to destroy and/or neglect the author's individuality has reached its peak in recent publications by Paul Speck mainly devoted to one of the greatest compilers in Byzantine literature, Theophanes the Confessor, and his contemporary, Patriarch Nikephoros (Speck 1981; 1988; 1994a). Hundreds of pages filled with a thorough and detailed analysis of the texts are permeated by the idea that the existing text of Theophanes is no more than an accidental gathering of different *Einzelblätter*, *Randnotizen*, and *Zettel* combined by the simple method of «scissors and paste». The bulk of this material, a sort of *Dossier*, brought by George Synkellos from his alleged oriental journey and supplemented in Constantinople, in some way or other was divided, distributed among some persons, exchanged, partly lost, or even drowned, partly found again and finally used in some works, including the *Chronography* of the «so-called» Theophanes. The relations between the main *dramatis personae* of this exciting story and the texts attributed to them: George Synkellos, Anastasius Bibliothecarius, Patriarch Nikephoros and two Theophanes (one in quotation marks, the other without) are rather complicated and cannot be defined precisely.

As a matter of fact, the problem of common sources does exist. The enigma of a common material used by different authors, or of literary «doublets» like Genesios and Theophanes Continuatus, needs to be clarified[8]. But is the alleged medieval «writing material» and the fate of its parts a sufficient explanation? This is hardly the question to be discussed here. I have mentioned the *Dossier* theory because it is the extreme instance of the *Quellenrausch* in contemporary Byzantine studies; it also tends to be applied to other writers. Professor Speck's publications contain a lot of valuable observations and assertions. What I cannot agree with is his and his followers' striving at all costs to disintegrate the works of Byzantine writers and deprive them of authors.

Paradoxically enough, the approach mentioned seems to be in accordance with the theories of modern «narrativists» with whom the German scholar certainly has nothing in common. Both totally neglect the *author*, although in quite different ways: for «narrativists» the author is dead, for Paul Speck's followers he never existed at all. Also different, if not opposite, are the conclusions drawn by both sides from this «tragic disappearance» of the author: adherents of the *Dossier* theory claim it is necessary to partition and vivisect the literary text, while «narrativists» insist on studying it as a whole.

One remark is necessary before we continue our outline of Byzantine historiography. There is no clear distinction between history and fiction. This statement, though paradoxical at first sight, has become fairly common in recent times. It is believed that writers represent events both «real» (in history) and «imaginary» (in fiction) in the form of a narrative. Thus historical events, disconnected in reality, are structured by the historian who imposes certain narrative schemes upon them. The writer of fiction, on the other hand, converts the raw material of real life into the fictitious plot of his work (Ricoeur 1980, 251–269; White 1980 and the literature mentioned there).

It is a well-known fact that Karl Krumbacher divided Byzantine historiography into histories and chronicles. The division into two subgenres was recognized by modern scholars until Hans-Georg Beck in 1965 published his famous article «Die byzantinische "Mönchschronik"», arguing that there was no real difference between the two (Beck 1972, XVI). Although widely accepted in theory, Beck's assertions remained totally neglected in practice. Modern byzantinists continue, probably for the sake of convenience, to split historiography in two in their studies. It is not the proper place here to discuss the problem in detail. Suffice it to say that, in my view, in the earlier period there existed *chronicles* but no real Byzantine *histories* (Prokopios, Agathias, Theophylaktos Simokatta belong to the late Classical tradition and, strictly speaking, cannot be considered Byzantine historians). The latter did not begin to develop «out of the chronicles' womb» until the 10[th] century, and thus the difference between histories and chronicles seems to be one of stage rather than of genre (cf. Liubarskii 1988).

Krumbacher and his followers pointed out some criteria distinguishing chronicles from histories. Besides their origin, these are the social status of the writers, the audience of their works, the tendency of the chroniclers, in contrast to historians, who describe contemporary events, to begin their narrative from the creation of the world, etc. To some extent, these criteria really do work; but the development of historiography from primitive chronicles into literary histories was primarily the modification of the narrative structure. The early chronicles from John Malalas to George the Monk had very strict chronological frameworks; all the historical events were ordered according to the chronological principle, and time itself appears to have played the role of narrative structure. This does not mean that all the authors really adhered strictly to chronology. As a matter of fact, their approach to it varied greatly. While in the *Paschal Chronicle*, for instance, sacral meaning was attributed to time (Beaucaump et al. 1979), George the Monk practically ignored real chronology (Ljubarskij 1994, 259 ff). The authors used time and chronology mainly as a principle to organize historical material. Therefore all the chroniclers used a wide range of temporal formulas of different kinds. One can assert that the narrative structures of early Byzantine chronography were of formulaic character (cf. Liubarskii 1982).

To some extent, the formulaic character of Byzantine historiography was preserved until the very end of Byzantium (formulas of the chronographical type can be found in the works of many historical writers even in the late period). At the same time, within the chronographical tradition there appeared episodes that can be characterized as specimens of more or less completed narratives which are totally indifferent to chronology. Some of them were insertions having little to do with real historical events and constituting short stories of a kind, others turned out to be the result of «structuring» the amorphous historical material itself (Liubarskii 19953). In terms of the theory of narrativity one can observe the appearance of a *kernel narrative*, i.e. of *triadic structures*, already in earlier chronicles (cf. Prince 1982). Nevertheless, time and temporal formulas remained the main means of organizing events in the framework of a historical work.

Other much more sophisticated narrative structures began to supplant the temporal formulas as early as the 10th century. They could be either indigenous to historiography or borrowed from other literary genres; some were purely narrative in nature, others ideological; some were expressed in lexico-grammatical constructions, others had no linguistic character. As a rule, Byzantine authors employed not a definite type but a set of different narrative structures in the framework of a single piece of historiography and used them to realize their immediate intentions. Some examples will clarify what I mean.

One of the most frequent *topoi* of Byzantine historiographers concerned the distinction between *historia* and *enkomion*. Nevertheless, each time a Byzantine writer had to describe in his work an ideal emperor (for the most part either the ruling emperor or one of his ancestors) he instantly forgot his own assertions and not only exalted him to the skies like an ordinary panegyrist, but also used for this purpose the fixed scheme of the *enkomion*. Such was the case, for instance, with *Vita Basilii* by Constantine Porphyrogennetos, Michael Attaliates' description of Nikephoros Bryennios, Michael Psellos' descriptions of Constantine and Michael Doukai, etc. The «laudatory parts» of these historical writings contrast sharply with the rest of each work, first of all, with reference to the narrative structures used by the authors. Instead of the devices employed earlier, they began structuring the text according to the laws of panegyrics acquired from school rhetoric. The fixed scheme of the laudatory orations can clearly be seen in the respective parts of the historical writings mentioned above. The narrative structures were borrowed from the other genre in order to realize the author's purposes[9].

Another narrative structure, although not specific for historiography either, seems to be of quite a different type: its origin can be found in the field of common ideologemes rather than in rhetorical schemes. I mean the Christian idea of Providence or that of guilt and retribution. The following example, I hope, will clarify the statement. It is well-known that Theophanes Continuatus and Genesios (whoever might be meant under this name) used the same common source. Nevertheless, the methods they developed, i.e. the narrative structures they employed, seem to be different. While Genesios adhered to the chronographical method of presenting the material, Theophanes Continuatus appears to be much more skilful in structuring it. In some of his chapters, the idea of Providence has been used to unite various events. According to Theophanes Continuatus the fate of the iconoclastic emperors Leo V and Michael II was predestined. They were to die because of their impiety and iconoclasm. Their death is predicted, but it does not follow immediately. Between their guilt («challenge») and retribution («response»), the prediction and its fulfilment, there passed a long period of time full of tragic events and grim omens. All this creates a tense and dramatic plot, quite different from Genesios' text which consists of juxtaposed episodes. The idea of Providence is by itself quite traditional in Byzantine literature; in the work of Theophanes Continuatus it functions as a sort of narrative structure that binds together the various episodes in the two books by the Byzantine historian. Theophanes Continuatus' intention seems to have been to demonstrate the fatal consequences of the iconoclastic heresy; therefore the stories he told were mostly moralizing, and accordingly the narrative structure he used served the purpose of moral admonition (for details see Liubarskii 1992, 235 ff.).

The brilliant writer Michael Psellos who lived a century later and in different historical circumstances had different literary and historical goals; the narrative structure he used seems to have been of a distinct type. Much more than his predecessors, Psellos appears to be in full possession of his narrative (λόγος), treating it quite freely and passing from one point to another at will. He could interrupt his narrative and then resume it in the proper place or even return to the beginning of the episode. Moreover, he not only treated his *logos* freely, but constantly deemed it his duty to inform the reader what he was going to do with it: to turn back, to skip ahead, to interrupt it, etc. Sometimes his narrative looks so loose and unrestrained by traditional schemes that its author can be likened to the producer of a historical drama, grouping the events arbitrarily. An example taken from the chapter about Constantine Monomachos will elucidate this assertion. At the beginning of the story about Zoe, the legitimate spouse of the frivolous Constantine, the writer remarks, «With regard to Zoe's other peculiarities — I must speak of her at rather greater length, *while the emperor is still taking his ease with his Sebaste* [Psellos means the young Constantine's mistress Sclerena whose liaison has been related a little above] — there is not much that I can commend» (Chronogr. 6.; Impellizzeri 1984, I, 310; Sewter 1966, 187). The following narrative about Zoe takes place, so to speak, while the emperor is «relaxing» with his mistress and is concluded in following way, «...let us return once more to the Sebaste and Constantine. *Perhaps it may be the reader's wish* (εἰ δοκεῖ) that we rouse them from their slumbers, and separate them» (*Chronogr.* 6.68.1–5; Impellizzeri 1984, I, 314; Sewter 1966, 189). Here the artist's free will governs and directs the narrative.

In spite of this there exist ties that hold the whole narrative together and can therefore be regarded as narrative structures, though they are less easily discerned than those mentioned above. Their first task is to unite the various events around the main characters in each chapter. Psellos' characters are as a rule changing and contradictory; and it is the changes in their temper, mentality or disposition that constitutes the pivotal point in the story about each emperor. The author himself, the most intellectual among the Byzantine writers, is aware of the peculiarity of his style. The story of Constantine IX is completed as follows (end of Book VI):

> His history appears to be somewhat inconsistent, on account of his moodiness: the changes in himself and the various phases of his character are reflected in my record of his reign. It is a true record, not a rhetorical exercise — a sympathetic picture of the emperor as he really was[10].

These words belong not to the modern literary critic, but to Psellos himself! But what are these barely perceptible ties that make it possible to move the narrative from one point to the next and to combine its separate elements into integral units with the emperors at the centre? For the most part, they are mental and verbal associations to which such an accomplished rhetorician as Psellos must have been accustomed from his schooldays. These associations helped to join one event to the other, to link each element of the narrative to the one preceding. The real chronology was of no concern for Psellos, only the «chronology of character» really interested him; and it is precisely the mental and verbal associations that played the role of narrative structure and produced an illusion or imitation of chronological movement. There is much to be said about the great Psellos and his methods of constructing a narrative. I have discussed the problem in more detail in my book (Liubarskii 1978, 185–203).

As is evident, my main concern is to show that the narrative structures used by historians were not chosen by the authors at random, but in order to realize their ideological and literary intentions in the text. In order to present this idea more clearly I will analyse, from this point of view, the works by two other historiographers in a little more detail.

The *Alexiad* by Anna Komnena is largely dependent on Psellos' *Chronography*. Remarkably enough, Anna cites her recent predecessor much more often than the Fathers of the Church or Classical writers (Linnér 1983). Psellos' text must really have been «on Anna's lips». The dependence is not based exclusively on the similarity of wording, however. To some extent, one can agree with Ruth Macrides' assertion that «...Although Anna and Psellos had such different subjects, these two authors ... are more like each other than they are like other Byzantine historians» (Macrides 1996, 211). Notwithstanding, the difference between the two works seems to be even greater.

For the first time in the history of Byzantine literature a huge historiographic construction was created, based on a great amount of diverse material with only one figure at its centre, the emperor Alexios. The figure of Anna's father dominates the entire work and at first sight seems to be the only link between many episodes related in the work. Strictly speaking, the *Alexiad* is a long series of Alexios' deeds; in a sense its composition was influenced by the *Iliad*, which Anna consciously imitated in many other respects as well. It is no coincidence that modern scholars call the *Alexiad* «epic biography» or «biographical epic»[11]. Although impressionistic, these names are very well suited to the genre of Anna's work. For the first time in the history of Byzantine literature an historian whose real task was to praise the emperor, unlike her predecessors, did not use the scheme of *enkomion* but created a new artistic framework based on the ancient epic and wrote a work of extraordinary unity and uniformity.

To be sure, «epic composition» is not sufficient to keep the rich and heterogeneous material of the *Alexiad* together. There are many other narrative structures which perform this task. I will sketch here only the general lines of the composition of the *Alexiad*; I confess that this short analysis has been partly provoked by James Howard-Johnston's assertion that «the *Alexiad* is not a seamless whole ... The story which it presents, for all its classicising gloss, is closer to that of a chronicle than of a history properly speaking. It is ill-framed and unbalanced» (Howard-Johnston 1996, 300). Is the assertion of this British scholar correct?

After the traditional *prooimion* the work begins with the description of Alexios' heroic deeds before his ascent to the throne (the struggle with Roussel, the war against Nikephoros Bryennios and the campaign against Nikephoros Basilakios). The end of the section is marked by Anna's conclusion: «Such, then, were the successes (πλεονεκτήματα) and achievements (κατορθώματα) of Alexios before he ascended the throne» (Leib 1937–45, I, 36.16–18). After that there follows a chain of episodes of different length, some of which are real *megaepisodes* or even general themes of the work (for instance the struggle against the Normans, the «Scythian» invasion, the war against Turks, contentions with heretics, etc.). Anna calls all of them *logoi* — a word that had several meanings, viz. a work of literature, narrative, episode, etc. In creating new terms the Byzantine *literati* proved to be much less refined than their modern colleagues. These *megaepisodes* form the bulk of the *Alexiad* which ends with the scene of Alexios' death. Some *megaepisodes* are not told as a whole at once but are divided into sections by other episodes, scenes (or rather «event-units» in terms of modern theories)[12]. Some of these are constructed according to a *matreshka* scheme, several nested dolls[13]. It would not be easy, but surely possible, to make a scheme of the *Alexiad* which would reveal a complicated and curious system of connections and interconnections of various elements in the work.

Significantly, most of the *megaepisodes* and episodes in the *Alexiad* begin with the statement of some danger that threatens the Byzantine state, the orthodox faith or Alexios as an emperor personally. With regard to Robert Guiscard Anna tells us: «It was Fate which introduced into it from outside certain foreign pretenders — an evil hard to combat, an incurable disease» (κακὸν καὶ ἀνίατον νόσημα, Leib 1937–45, I, 37.1–2); the Scythian intrusion is described as a «more terrible and greater invasion» (δεινοτέραν καὶ μείζονα ... ἔφοδον, Leib 1937–45, II, 81.19); Neilos descended on the church «like some evil flood» (ὥσπερ τι ῥεῦμα κακίας, Leib 1937–45, II, 187.1). Pseudo-Diogenes is likened to the «next storm» (ἕτερος χειμών, Leib 1937–45, II, 190.9); the rebellious Anemades are «fresh troubles (κυκεὼν ... ἄλλος ... κακῶν) that had been stirred up against the emperor» (Leib 1937–45, III, 67.13); and the Bogomils «an extraordinary cloud of heretics» (μέγιστον νέφος ... αἱρετικῶν, Leib 1937–45, III, 218.29), and so on.

As can be seen, those who constitute this danger are different: the Normans, «Scythians», Turks, crusaders, rebels, heretics, etc.; but there is one thing that unites them all: they are acting "from outside", either in a geographical (external enemies) or «ideological» sense (political dissidents, heretics), and challenge the existing order, while the aim of the emperor is always the same, namely to react and put the situation right. Each episode is usually concluded by the restoration of the «right» order, sometimes on a new level. That is why, as I have tried to demonstrate recently (Ljubarskij 1996), Alexios' role as a restorer, attributed to him in the *Alexiad*, is to some extent passive, despite the hectic activity he sometimes shows.

This sort of composition and use of narrative structures had some ideological background. Anna's mentality was totally universalist. Utterly unrealistically she fancied the state inherited by her father still existed within the bounds of the old Eastern Roman Empire. Therefore, in Anna's mind the peoples who lived within the boundaries of the former empire were rebellious slaves[14]. These — not to mention the real invaders such as the nomads from the North or the crusaders — she considered «disturbers of the order», the famous Byzantine *taxis*. In the same way, in Anna's eyes all who were believed to encroach on the imperial throne or to deviate from what was considered to be orthodoxy, whose defender and vivid embodiment was Alexios himself, were «disturbers of the order». It is evident that the «disturber» had to be punished at once, and the situation restored by the emperor.

This general scheme of the *Alexiad* is supported by various compositional devices which I prefer to call narrative structures. Some of them are traditional. Like an ordinary chronicler Anna can simply juxtapose events without any obvious conjunction or use a temporal transitional formula of the type «some days later», «soon after» and the like (Leib 1937–45, II, 157.21; 162.10; III, 159.17; 176.24 etc.). Not infrequently one can find in the *Alexiad men-de* link phrases, where the *men* sentence refers to the former episode, the *de* sentence to the following one, and so on[15]. Many of Anna's narrative structures are rather effective, even refined. It cannot be excluded that some of them were used under the influence of Anna's greatest literary authority, Michael Psellos. Like him, Anna seems to be in full possession of her narrative (λόγος), which she forms and transforms as she wishes. In some cases the «free will» of the author becomes the only means of conjunction of the episodes or event-units. «Let us then leave Robert at the point where the story (λόγος) has brought him, and now consider the acts of Alexios», writes Anna at the end of the first book of the *Alexiad* (Leib 1937–45, I, 61.8). This and some similar phrases remind one very much of the «playwright-skill» of Psellos mentioned above. Like her great predecessor, Anna uses at times free association as a way of connecting episodes. Having told, for instance, the story about the complot of Michael Anemas, who had been condemned and cast into prison, Anna transfers her narrative to another episode, the revolt of Gregorios Taronites. She does this as follows: «Michael had not yet been liberated from prison before the prison received Gregory» (Leib 1937–45, I, 75.8–9). The mention of prison (the so-called Anemas prison) becomes the link connecting two different stories.

In one episode in Anna's work narrative structure becomes a real artistic device. When telling the story of Robert Guiscard in Italy, Anna mentions the arrival of his son Bohemond, who came from Greece, and writes that «one could plainly read in his face the news of the defeat inflicted on him» (... τὴν ἀγγελίαν ... ἥττης ἐπὶ τοῦ προσώπου φέρων, Leib 1937–45, II, 17.10–12). As an explanation for this «news of the defeat in Bohemond's face» there follows a story of Bohemond's military operations against Byzantium and his final defeat. Such a device, which one might well expect from a modern novelist, was consciously used and probably appreciated by the writer herself: some pages later, at the end of the episode, Anna again refers to the «terrible news in Bohemond's face», seen by his father Robert (τὴν δεινὴν ἐκείνην ἀγγελίαν ἐπὶ τοῦ προσώπου φέροντα, Leib 1937–45, II, 50.13–14). These diverse narrative structures as well as the general epic design of the *Alexiad* fit very well with Anna's intentions as an historical writer.

In some respects, the composition of the *Epitome* by John Kinnamos does not differ greatly from that of the *Alexiad*. Like Psellos and Anna, Kinnamos seems to be in full possession of his narrative (λόγος), treating it quite freely and without any restrictions. The examples are too numerous to be referred to. Like his predecessors Kinnamos divides the narrative into separate episodes, marking their inception and/or conclusion with special formulas. But under the formal resemblance one can discern an essential difference between the *Epitome* and the *Alexiad*.

In Kinnamos' work the event-units are mostly related in strictly chronological sequence, which, paradoxically, is combined with a total disregard for precise, or better «absolute», chronological dates. As in the *Chronography* by Psellos, one can find in the *Epitome* some mentions of the year's seasons and months, some «relative» indications of the type «some days later/earlier», «after some time» and

so on, but not a single mention of an absolute date[16]. The difference from the *Alexiad* is rather striking. Anna was concerned with precise dating: there were many *lacunae* in her text that were deliberately left to be filled in later with chronological dates, after she had made historical inquiries. It is possible to explain the difference by reference to the discrepancy in die two authors' historical approaches. While Anna tried to place her hero, a restorer of the grandeur of the Byzantine empire, and his deeds in the rramework of world history, Kinnamos represented a chivalrous hero of the Digenis Akrites type. Time for Kinnamos was no more than a space in which his main character was acting. Despising precise dating, Kinnamos maintains the strict chronological order of the narrative; and his method of connecting the separate event-units is, for the most part, grammatical unification. His most common model of connection is the *men-de-gar* construction, where *men* refers to the first event-unit, *de* to the second one, and *gar* to the «prehistory» of the latter. The following example will clarify the construction.

Kinnamos concludes his account of Hungarian affairs in 1161 with the story of the relations between two sons of the Hungarian king Géza (the first, *men* event-unit). After that, the writer turns to the Serbian affairs of the emperor, who proceeded to Philippopolis (the second, *de* event-unit), but before going into detail, he explains the reasons for Manuel's departure to Philippopolis — the revolt of Primislav, etc. (*gar* prehistory). In the Greek version this *men-de-gar* construction runs as follows:

Τὰ μὲν οὖν ἐπὶ τοῖν αὐταδελφοῖν τούτοιν ἐνταῦθα πέρα˝ ἔσχε. βασιλεὺς δὲ ἐπὶ τὴν Μακεδονικὴν ἐχώρει πόλιν Φιλίππου τὰ πρὸς τῇ Σερβικῇ καταστησόμενος πράγματα. ὁ γὰρ τοι Πριμίσθλαβος...

So regarding the two brothers [sons of Géza], matters had a conclusion. The emperor proceeded to Philippopolis, a Macedonian city, to settle matters in Serbia. For Primislav...[17]

Such a connection makes it possible to maintain the narration on the same chronological level and at the same time to explain to the reader the sources and the origin of the event without losing logical sequence. I would define this construction, which is in its essence both logical and grammatical as well as narrative, as the basic structure of Kinnamos' work. It may be used either in full or in abridged form. The shortened form is adopted if the following (second) episode (event-unit) lacks any prehistory: in this case, the writer does not use *gar*. On the other hand, if both episodes have the same subject, *men* can be omitted. Likewise, in some rather rare cases, the «prehistory» of the second event-unit can be introduced by a different grammatical construction, such as genitive absolute or a subordinate clause.

Besides that, in order to link episodes in a chronological order Kinnamos also uses some other, mostly very simple, narrative devices such as phrases like «a little later» or «at this time something as follows happened» and so on. One cannot expect from a writer complete monotony in his ways of expression! Some of the episodes in the *Epitome* contain long digressions but in most cases these passages too can be reduced to the basic narrative structure described above (Meineke 1836, 232.3–235.1) This basic structure is predominant throughout his work. The writer employs it even when the temporal difference between the events mentioned in the same sentence is considerable, sometimes more than four years (Meineke 1836, 9.9–12). This method of linking separate episodes and event-units in a seamless historical fabric may seem unusual to the modern reader; thus, the continuity of Kinnamos' narrative has not been preserved in the English translation by Ch. Brand who has divided most of the Greek sentences with the *men-de* structure into two parts referring the first of them (with *men*) to the previous and the second part (with *de*) to the following paragraph. Even August Meineke in the Bonnet Corpus time and again apportions two parts of the same sentence to different chapters of the text.

As can be seen, the composition of the *Epitome* is much simpler than that of the *Alexiad*. The distinguishing point of the *men-de-gar* construction discussed above is that the subject of the second (*de*) sentence is, as a rule, the emperor himself: John II in the first book, Manuel I in the rest of the *Epitome*. This fact is of great significance: the emperor himself, mostly Manuel, proves to be a disturber of the situation, and unlike the *Alexiad* the disturbance here follows not «from outside» but «from within». In contrast to Alexios, the main characters of the *Epitome*, especially Manuel, are active, as must have been the daring, reckless, bold, bloodthirsty Digenis Akrites type of hero[18]. The historical approach and imperial ideal of Kinnamos differs very much from that of Anna. The difference is to some extent reflected in the authors' choice of narrative structures. Their analysis, I hope, may provide a clue to the internal meaning of Kinnamos' text as well.

The process of writing a history of literature or of its genres is first and foremost the systematization of a huge number of texts produced by writers during centuries. The greatest concern for those daring enough to undertake such an enterprise is the principles to be used for systematization. Those employed in modern Byzantine scholarship were introduced mainly by Karl Krumbacher more than hundred years ago. They are primarily the genre characteristics, the religious or secular tendency of the writers and the idiom they used (classical or vernacular Greek). As a result we have some incomparable reference books (by Karl Krumbacher [1897], Hans-Georg Beck [1959, 1971], and Herbert Hunger [1978]) — but no history of Byzantine literature (cf. van Dieten 1980). Recently some other criteria for classifying Byzantine literary works have been proposed: levels of style for prose (Ševčenko 1981; cf. Hunger I978b) and the ideological foundations of authors for historiog-

raphy Loungis 1983). To be sure, each of them can be employed to some extent. The analysis of narrative structures, in combination with other methods, seems to be very promising as well in the study of Byzantine literature. Among other things, it can help us to overcome «the madness of genre» (cf. Mullett 1992) that impends over every student of Byzantine literature. As has been demonstrated, narrative structures are a universal phenomenon; moreover, they are practically unrestricted by the limits of the genre. As for *Quellenforschung*, it will remain for ever in the focus of Byzantine studies; but it should not become a *Quellenrausch* or replace literary criticism. The traditional positivistic and the «modern» approach to the history of literature must not be set in opposition to one another[19].

Notes

[1] Suffice it to cite only some of the books published recently: Kazhdan and Epstein 1985; Magdalino 1991; Littlewood 1995.

[2] Cf. his last work on the subject, «Innovation in Byzantium», in Littlewood 1995, 1–14.

[3] Magdalino 1991, VIII, 328. Cf. his remark about mimesis, which «becomes an evocative technique, like the use of ancient spoils in a medieval building».

[4] Vol. I will appear in print in 1998 (Athens).

[5] In addition to Kazhdan, I refer to the recent works by Rydén (1993) and Magdalino (1987). It is of significance that Christian Høgel published (in 1997) a bibliographical survey specially devoted to literary aspects of Greek Byzantine hagiography. It is a great pity, however, that he has not taken into account numerous relevant works in Russian (e.g., Shestakov 1910, Loparev 1914, Poliakova 1972). Is it not Russia that produced the school of formalists, Propp, Bakhtin, and Lotman, now so frequently referred to in the west? Are their compatriots not worth mentioning? Is ignorance of the language a sufficient excuse for such a negligence?

[6] It is worth noting that some attempts to apply the theory of narrativity to Byzantine literature have recently been made with reference to the romances, i.e. texts which can be defined as a kind of fiction, cf. Beaton [1989] 1996, 117–134, and Agapitos 1991. This line of research can be traced back to the works from the 1970s by Tomas Hägg (cf. Hägg 1971; 1983).

[7] Mango 1978; for the discussion of Cyril Mango's assertion see Ševčenko 1992, 287.

[8] Cf. Signes Codoñer (1995) and my review in *BZ* 90 (1997).

[9] I have written about this phenomenon in some of my works, cf. Liubarskii 1992, 244 (about the Continuator of Theophanes); Liubarskii 1978, 185 ff. (about Psellos); Ljubarskij 1990–91, 49–54 (about Attaliates).

[10] *Chronogr.* 6.; Impellizzeri 1984, II, 152; Sewter 1966, 260.

[11] Some scholars have already pointed out this fact; for all necessary references see my article, Ljubarskij 1996, n. II.

[12] For the sake of clarity it is necessary to establish a hierarchy, though very tentative, of the concepts I have used here. By «event-unit» I mean the simplest element of the narrative, as a rule containing a single event. A number of event-units, bound together in one way or other, constitutes an «episode». A series of episodes connected mainly by a common topic is called a «megaepisode».

[13] The *matreshka*-composition may be exemplified by the two event-units («Alexios before the church trial», Leib 1937–45, II, 45.24, and «the senators' conspiracy against Alexios», Leib 1937–45, II. 48.15–30) inserted into the episode about the Manichaeans (Leib 1937–45, II, 43.28–50.2), which in its turn is part of the *megaepisode* about the Normans. Cf. Conca 1981.

[14] «Certain it is that in my father's reign great disorders and wave on wave of confusion united to afflict our affairs. For the Scyths from the north and Kelts from the west and Ismaelites from the east were simultaneously in turmoil; there were perils, too, from the sea, not to mention the barbarians who dominated it or the countless pirate vessels launched by wrathful Saracens and sent to battle by ambitious Vetones. The latter regarded the Roman Empire with hostile eyes and all men look upon it with envy. The Romans lording it over other peoples, are naturally hated by their subjects. Whenever they find an opportunity, all of them, by land or sea, flock from all quarters to attack us» (Leib 1937–45, III, 173.2–I4, Sewter 1969).

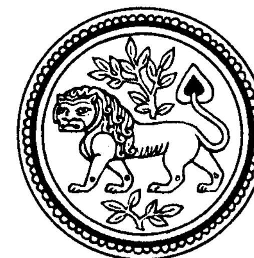
[15] This is mostly the case if the former episode has a sort of conclusion. I will refer only *exempli gratia* to Leib 1937–45, II, 79.11; 164.23; 230.20; III, 23.18; 59.3; 187.1–2.

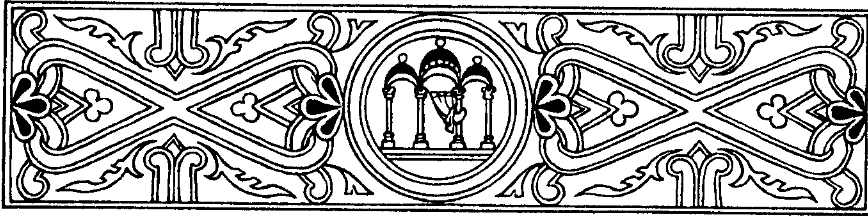
[16] The only «precise» date in the Epitome is «on twenty-fifth of the month Apellaios, which people who speak Latin call December» without specification of the year (Meineke 1836, 110.22–211.1).

[17] Meineke 1836, 203.22–204.2, translated by Ch. Brand (1976,155).

[18] It should be noted that the narrative structure of the *Epitome* as well as the image of its main character, Manuel I, are not absolutely identical throughout the work. The older Manuel becomes, the more new details his portrayal acquires. In the same way, the narrative structure of the work changes a little. In the second half of the *Epitome* one comes across episodes and event-units dealing not with the emperor himself but with purely historical matters. Accordingly, the way the episodes are linked becomes a little different.

[19] The interrelation between traditional and modern approaches to literary texts is vividly discussed by western medievalists, who prove, as usual, a little more «progressive» than their byzantinist colleagues. A whole issue of *Speculum* (65:1, 1990), for instance, is dedicates to this problem.





JOHN KINNAMOS AS A WRITER*

John Kinnamos has had no lucky fortune in the history of Byzantine literature, being in the shadow of his outstanding elder contemporary Niketas Choniates. Compared to the latter, Kinnamos seemed to be an ordinary bombastic panegyrist of the emperor Manuel. Charles Brand argues for instance that «While Anna Komnena and Niketas Choniates are "exceptional individuals, Kinnamos is very much an ordinary Byzantine bureaucrat"»[1]. Jacqueline Rosenblum evaluates Kinnamos' literary technique as a mere imitation of Prokopios[2]. Herbert Hunger defines Kinnamos' style as monotonous although he mentions its change in book 5[3].

These assertions appear only partially correct. One can find some very vivid episodes, very felicitous characteristics and impressive metaphors or similes in his History. It will suffice to refer only to three of these. During the siege of Zeugmion by the Byzantines in 1165 "a wretched old woman ... standing atop the walls, threw down filth; indecently pulling up her garments and turning around, she displayed her rear to the Romans' army; while singing some endless babble, she thought to bind the Romans with diabolical spell. But one of the soldiers loosed an arrow at her and hit the wretch, just where nature placed the channel which conveys excrement". After the capture of the city the woman was found with an arrow driven through her fundament[4]. Kinnamos was at the siege and is likely to have rendered one of the soldiers' gross stories.

Kinnamos appears to be much more refined in the second passage I will refer to, as he showed his disgust with the vulgarity of the crowd. His description of the Venetians is as follows: «The nation is corrupt in character, jesting and rude (βωμολόχον ... καὶ ἀνελεύθερον) more than any other, because it is filled with sailor's vulgarity (ἀπειποκαλίας μεστὸν ναυτικῆς)» (Kinn., p. 280. 23–4). To be sure: Psellos' words in the Chronography about the emperor's vulgarity (ἀπειροκαλία βασιλικῆ)[5] are much more impressive, nevertheless Kinnamos' characterization is also very effective.

Describing the wall of the jail from which Andronikos Komnenos managed to escape, Kinnamos writes that it «projected enough above the water that, when raved by the wind, [the sea] often beats against it by moist palms [νοτεραῖς παλάμαις] (p. 234.1–2; the translation is mine. Ch. Brand renders the last two words much more neutrally: «watery violence». — *Ja. L.*). The metaphor is not bad even from the point of view of modern refined tastes!

But felicitous episodes or impressive descriptions and metaphors are not the main point in the evaluation of writers, since we can come across these even in the works of the less talented among them. Of far greater importance is to try to define the real place of the author in the evolution of Byzantine historical writing. Kinnamos expressed the aims and purpuses of his work clearly and explicitly: he was going «to overlook the narration of all the other things ... and set forth exclusivly the deeds (ἔργα) of two emperors»[6]. At the end of the book Kinnamos used a verb of the same root to summarize his narrative: «Such were what had hitherto been achieved (εἴργαστο in the original. — *Ja. L.*) by emperor Manuel on either continent» (Kinn., p. 291.8–9). So the emperor's deeds (*res gestae*) are the main concern of our writer.

It should be noted that similar declarations had been made not long before by an immediate predecessor of Kinnamos, the panegyrist of Manuel's grandfather Alexios, Anna Komnena, whose main concern was really to describe and praise her father's feats[7]. Therefore it may be more reasonable to compare Kinnamos to Anna rather than to his contemporary Choniates (as is commonly clone), the more so since Kinnamos must have known the *Alexiad*[8] and could not have avoided its influence.

In the center of the narration in both works are emperors who, in the first instance, functioned as brave warriors. But the resemblance between the two emperors is limited to this. According to Anna, Alexios is not only brave and couragious, but also a very prudent and efficient military leader. This quality was stressed already at the very beginning of her work. A young general, not yet an emperor, he is confronted by his adversary, the old and experienced Nikephoros Bryennios: neither was inferior to the other in bravery, skill or physical strength, but unlike Nikephoros Alexios «put his trust in the strength of his own ingenuity and in his art as a general (τῆς τέχνης ἰσχὺν καὶ τὰς στρατηγικὰς μηχανάς)»[9]. Having ascended to the throne, Alexios considered it necessary to take every measure immediately to gather and strengthen the army, and his actions are described by the writer in detail (Anna I, p. 131.4ff.). For the young Alexios, the art of ruling the empire was a «kind of supreme philosophy», the «art of arts» (ὑπερτάτη φιλοσοφία, τέχνη τεχνῶν) [Anna I, p. 114.21–22] and he himself was presented as an embodiment of all possible virtues (Anna I, p. 110.18.17–111.17).

We see nothing similar in the *Epitome*[10] of Kinnamos. Like Alexios, Manuel appears in Kinnamos' work as a youth before his ascent to power, but in a quite different guise than his prudent grandfather. Not a single trace of Alexios' prudence and political wisdom can be seen in his reckless grandson especially in the first books of the *Epitome*. During the military expedition of John Komnenos against the Turks, Manuel, not yet eighteen, without his father's knowledge fell

* Статья опубликована в Byzantinische Archiv, Band 19, Miscelanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag. München–Leipzig, 2000, s. 164–173.

upon the enemy's midst and revived the waned courage of the soldiers. John was reasonably angry but, astonished in his heart, he also admired his son (Kinn., p. 21.14–22.3).

From this point on, the personal and, I would say, youthful prowess becomes the main, if not the only, distinguishing trait of Manuel in Kinnamos' work. Although Kinnamos admits speculatively that «strategy is an art and one who practices it must be supple and cunning» and that it is better to «achieve success by cunning (ἐπινοίᾳ) than by force (χειρί)» [Kinn., p. 169.2ff.], he mentions only once in passing and in a rather standardized expression that Manuel was «very acute in finding what was needed and very clever in inferring what was to be done» (Kinn., p. 43.3–5). Elsewhere he demonstrates Manuel's capacity of using the military list (cf. Kinn., p. 106.2–14)[11].

However, these episodes are exceptions rather than the norm. Αὐτουργία and αὐτοχειρία are true keywords describing Manuel in the *Epitome* (Kinn., p. 47.6; p. 54.7; p. 191.17; p. 198.12 etc.)[12]. Only in the sixth book, towards the end of the work, Manuel suddenly appears as a human being possesing some other qualities besides those of a warrior. Kinnamos asserts that the emperor «surpassed everyone who lived in our times by acuteness of his mind and the breadth of his intellect» (Kinn., p. 253.7–9); he was of moderate temper (Kinn., p. 254.14); his «diction was pure and style simple» and he liked to discuss the works of Aristoteles with Kinnamos (Kinn., p. 290.16–291.7); he proved not only bold, but also a good strategist (Kinn., p. 270.6–8) who took care of the inhabitants of Constantinople and manifested his abilities as legislator (Kinn., p. 274.23–278.5). As a matter of fact, Manuel, as depicted by Kinnamos, was not exclusively a bold and reckless warrior. Nonetheless the reader does not learn about his non-military qualities and achievements until later, towards the end of the story where the emperor is depicted as a man well advanced in year[13]. The author seems to suddenly recollect that he had forgotten to mention the full list of obligatory virtues of the emperor and performs his duty at the end of his work.

There can be no doubt that Manuel's manner of depiction is different from that of Alexios, although both had been influenced by the same process of the «militarization» of the emperor's ideal of the 12th century[14]. It cannot be excluded that the opposition of two types of the emperor's courage was discussed by Byzantines in the 12th century. However that may be, the 15th book of the Alexiad contains a long digression explaining what Anna means by Alexios' ἀνδρεία. In rather passionate words, she insists on distinguishing between courage (θάρσος) and foolhardiness (θράσος), and stresses that «the prime virtue of a general is the ability to win without incurring danger» (Anna III, p. 195.9–97.5). One can not resist the temptation to see here a direct opposition of Alexios to John and Manuel Komnenoi who the princess disliked very much. In contrast to Alexios' θάρσος, θράσος was just the main trait of Manuel as depicted by Kinnamos and some other authors.

In my recent article about the literary values of the *Alexiad* I argued that Alexios was to some extent modelled by Anna after the heros of the ancient epic, probably Achilles[15]. Is it possible to trace some «literary roots» for Manuel's image as well? I shall try to do this by returning to the style of the emperor's representation used by Kinnamos and stress its main features.

As stated above, Manuel performed his first feat already in his youth. In addition to the one mentioned, Kinnamos recalls — half-blaming, half-praising Manuel's audacity (θράσος) — that already «at eleven he often captured many barbarians by his own hand» (Kinn., p. 99.20–21).

Manuel's audacity is in some way related in the *Epitome* to his wife's attitude to him. Maybe it is not by accident that immediately after the above mentioned «reproach», there follows an assertion that Manuel's German wife (Bertha-Irene) once said in the senate that «she drew her descent from a great and warlike race, but out of all of them she had never heard of anyone [but her husband. — *Ja. L.*] who boasted so many feats in a single year» (Kinn., p. 99.21–100.3). In 1146, during an expedition against Ikonion, the young emperor desired to achieve himself something in battle (αὐτοργῆσαι) at any price. The motivation given to this desire by the author is as follows. Manuel was impelled by his youth and had not long before wedded a wife (Kinn., p. 47.6–10). Kinnamos tends to link such behaviour with the custom of the Latins who did not miss any chance to appear noble in the eyes of their young wives. It should be noted that Manuel did not prove as gentle later on, when he went to a village to relax while Bertha-Irene was dying in the capital. Nor did he stay at home a little later while his daughter was struggling against her fatal illness (Kinn., p. 202.1ff.). Anyway, Manuel's wife Bertha-Irene does play a certain role in the motivation of his prowess.

As stated above, Manuel's reckless prowess has been manifested many times in the *Epitome*. Despicting Manuel's deeds Kinnamos uses even such a word as τόλμη (241.17) which had usually an inferior connotation in Byzantine historical writings, describing barbarians and rebels rather than emperors. Time and again his associates tried to preclude Manuel from risky enterprises but were not always able to stop him (p. 242.1–2 a. o.). Not only his people, but also Manuel himself seem hardly capable to hold him in check (p. 116.23). His vigour, height and stature are incomparable (p. 205.13ff.) and he always turns up to be the first to save the situation with his own hands and labours: either to prevent the ship from drowning (p. 221.18ff.) or to find some way in the snow-drift (p. 196.3ff.) or to cross the Danube in a small boat (240.16–20) or something else. His mere appearance, even his name alone terrify the enemies, he is blood-thirsty and always ready to kill almost any number of enemies at once or even with one blow, a thunderbolt to the enemies who puts to flight many thousands of «armed and armoured men» (p. 192.5–7). If the enemy lingers to join the battle he tries to provoke it, and while the rest of his warriors are terribly seared he does not hesitate to fall intrepidly

upon the enemy's midst (p. 240.17). His audacity (θράσος) is defined as miraculous (literally «superhuman», δαιμόνιος: (p. 99.18; p. 108.8; p. 240.4) etc.

Besides fighting Manuel's only favorite pursuit was hunting and he used every moment free from battles for it (p. 93.8–9; p. 189.2ff.). One of the hunting episodes is especially remarkable. Once, while hunting in the region of Damatris, the emperor met a monstrous beast, a sort of mixture of a lion and a leopard, «terrible in valour, courageous in frigthfulness». All the attendants of the emperor fled, but he drew his sword immediately and brought the blow down on the beast's forehead (pp. 266.22–267.12). This episode has also been referred to by one of the court rhetors, Michael Anchialos[16]. There can be little doubt that the story had some roots in reality and in any case was circulating at the court.

Where did this style of depicting Manuel originate from? Magdalino has recently analysed Manuel's image in the literary writings of the 12th century basing mainly on the rich encomiastic literature (about 70 encomia!) of the period[17]. Like Kinnamos the encomiasts stress Manuel's personal ambitions and courage but, according to their custom, they praise the emperor for all the necessary virtues the emperor had to possess since the prescriptions of Menander began to be applied in the practice of the late Roman and Byzantine rhetorics. Even the so-called *Manganeios Prodromos*, who admired Manuel's vigor and bravery much more than the orthers, did point out that «though very young Manuel was patient and wise, a new Solomon in dealing with the crusading kings»[18]. In the same way Michael Italikos adressing Manuel in panegyric of 1143 writes in full concordance with the rules of the *enkomion*: «your body is young, but your intellect is grey, your cheeks have not yet faded but you show the mighty reason»[19]. Manuel's image in Kinnamos' work, in any case in the first five books, is much more monotonous and one-sided: he is an ambitious, reckless and bold warrior in the first instance.

Some of the emperor's heroic deeds are equally ascribed to Manuel both in the work of Kinnamos and in the works of court encomiasts. It is easy to suppose that there existed a sort of *Gemeingut*, i.e. a bulk of stories and tales concerning the emperor which circulated in the palace and around Constantinople, stories which were certainly well-known to every high- or even middle-rank person in the city. There is also direct evidence that Kinnamos listened to orations pronounced by the court rhetoricians and pretended to be disgusted by their flattering. The passage is worth citing in full: «...these things (emperor's feats. — *Ja. L.*) seemed unbelievable, just as even the deeds of Phokas and Tzimiskes, who were not very ancient emperors, [are] not [credible], or if there are some others who had renown for valor comparable to them ... Therefore, whenever I dwelt at the imperial court and heard such deeds of the emperor lauded (τὰ τηλίκα τῶν ἔργων ἀποθειαζόντων ἀκήκοα τῷ βασιλεῖ), turned from the assebly, dizzied (ἰλλιγγιῶν τοῦ συλλόγου ἀπεπήδων). For my character is naturally unsuited to flattery...» (Kinn., p. 192.7–15)[20].

Commenting on Kinnamos' passage where Manuel kills a fantastic animal, Magdalino remarks that Digenes Akrites would have been proud to encounter such a fearsome leopard[21]. References to Digenes as a possible inspiration for the Comnenian imperial ideal are not rare in Magdalino's book, and even earlier publications brougt some[22] and I do not regard this confrontation (especially that of Manuel and Digenes) as accidental or as a purely rhetorical figure on the part of the modern scholar. This statement seems to be much more valid if one keeps in mind Manuel in Kinnamos' representation. The resemblance of these two characters is really striking. Anybody who would reread the Byzantine epic recently would notice this immediately. But what is the cause of such a resemblance?

It cannot be excluded that an epic which must have existed in one form or another as early as the beginning of the 12th century and seems to have been known in the society[23] influenced Kinnamos' style of representation. Another argument in favor of this assertion is a passage from the poem 4 by Ptochoprodromos who praised Manuel as «new Akrites» (τὸν νέον τὸν 'Ακρίτην)[24].

The connections between the Byzantine epos and historiography have been observed here not for the first time but in contrast to the previous works[25] I have tried to make accent not on the dependence of epic on historiography but *vice versa*. On the other hand, it would be perhaps reasonable to remain a little more cautious and to assume that both works, viz. *Digenes Akrites* and *Epitome*, were the products of the same «chivalresque» and «epic» atmosphere of the Byzantine court and aristocratic circles in the twelfth century.

Whether Manuel's image was influenced by Digenes Akrites or not, both have been constructed according to similar literary schemes. This does not mean however that Manuel could not be in reality a distinguished warrior, ambitious and very brave personally. But he might have built his own image and his own behaviour in accordance with the chivalresque and epic ideals of his time. People are often in the habit to shape their lives on ideological and literary patterns[26].

I have compared in some points the main heroes of the *Epitome* and of the *Alexiad*, now I would like to continue the comparison with respect to the composition of both works. In a sense, their structures do not differ considerably from each other. Like Anna, Kinnamos seems to have had full control of his narrative (λόγος), treating it quite freely and passing from one point to another at his own will. Both authors may stop their narrative in order to continue it at its proper place or break it and return to the beginning of the event. Moreover, they not only treat their *logoi* freely, but also consider it their duty to inform the reader what they are going to do with it: to return back, to skip ahead, to break etc. The examples (especially in the *Epitome*!) are too numerous to be referred to. Since Psellos' time and even earlier, this «free treatment of the narration» had become a tradition in Byzantine literature, maintained probably by the rhetoric where such usage of the *logos* was common since the antiquity. Sometimes Kinnamos, like Anna and be-

fore her Psellos, managed to create a rather complicated type of composition with episodes connected with each other by feeble associative links (for instance the episode of the Andronikos' flight from jail [Kinn., 232.8ff.]).

At the same time, both authors, like some others before them, divide the narrative into separate episodes, marking their inception and/or conclusion with special formulas like «So matter went in regard to the west» (east, north, south etc. indifferently, cf. Kinn., 237.7. — *Ja. L.*). But under the formal resemblance, one can see an essential difference between the *Epitome* and the *Alexiad*. Let us begin with Anna Komnena's work. Almost every episode there is inaugurated by the action of the emperor provoked by the disturbance of an existing situation. There can be different kinds of provocatives: Normans, «Scythians», Turks, crusaders, rebellions, heretics, etc. There is only one thing that unites all these: the provocatives come «from without», either in a geographical (external enemies) or in an «ideological» sense (political dissidents, heretics); they challenge the existing order, while the aim of the emperor is to react and to set right the situation. Every episode is usually concluded by the restoration of the «correct» order, sometimes on a new level. That is why, as I have tried to assert recently, the role of Alexios as a restorer in the *Alexiad* used to be passive[27].

This sort of composition had some ideological background. Anna's mentality was totally universalist. In utter discrepancy to reality she fancied the state inherited by her father was in the limits of the old Eastern Roman Empire. The peoples, who dwelt in the boundaries of the former empire, were all not «submissive» enough, not to speak about the real invaders, such as the nomads from the North or the crusaders. These were considered by her as «disturbers of the order (τ ά ξις)». Likewise in Anna's eyes, «disturbers of the order» were all who were believed to encroach on the imperial throne or to deviate from what was considered to be orthodoxy whose defendor and embodiment was Alexios himself. The «disturber» had to be immediately punished and the situation restored by the emperor. Thus the composition of the *Alexiad* seems to provide a clue to the intended meaning of the work.

The case of the Epitome is different. There the episodes are related mostly in strict chronological sequence which is paradoxically combined with total negligence of the precise or, rather, «absolute» chronology. Like Psellos' *Chronography*, the *Epitome* mentions seasons and months; it contains some «relative» indications of the type «in some days after» or «after/before some time» but not a single mention of an absolute date[28]. The difference to the *Alexiad* is striking. Anna was concerned with a precise dating: her text has a lot of *lacunae* deliberately left in order to be filled in later with chronological data supplied by historical inquiries. The difference may be accounted for by discrepancy in the two authors' historical approaches. While Anna tried to place her hero, restorator of the grandeur of the Byzantine empire, and his deeds in the framework of the world history, Kinnamos represented a chivalresque hero of the «Digenes Akrites type». For the latter time is but the space where his main character was acting.

But the main difference between the two works is the structure of their episodes. As in Anna's case, each episode begins with the disturbance of the existing situation but contrary to the *Alexiad*, the disturbance comes «from within» rather than «without», and it is the emperor himself (Manuel I or John II) who features as a disturber. In contrast to Alexios, the main characters of the *Epitome*, especially Manuel, are as active as must have been the daring, reckless, bold, blood-thirsty «Digenis Akrites type» heroes, who as a rule prove to be the initiators of the disturbance of equilibrium. In a recent article, I tried to show that this peculiarity of Kinnamos' work can be demonstrated in terms of grammatical structures[29]. In contrast to Anna, practically each episode of Kinnamos' work (especially in the first five books where Manuel is still young and brave) begins with the emperor's action, which is explained and commend upon only afterwards, for the most part in construction with the preposition γάρ or with a *genitivus absolutus*. This can be schematically represented as follows.

The emperor moved against barbarians ... The reason is that the barbarians had attacked Byzantium ... (Kinnamos).

The barbarians attacked Byzantium ... the emperor, having heared about their attack moved against the barbarians ... (Anna).

On the first sight, the difference is insignificant. But in my opinion, it reflects the peculiarities of each author: while Anna's hero is «passive», Kinnamos depicts an ambitious and reckless emperor for whom the outer circumstances are merely a secondary explanation of his activity. However, it should be noted that the composition mode of the Epitome, as well as the image of its main character Manuel I, does not seem to remain completely unchanged throughout the work. The older Manuel becomes in the Epitome, the more new details acquires his represantation. Likewise the composition of the work changes a little. In the second half of the *Epitome* come across episodes dealing with pure historical matters rather than with the emperor himself. Accordingly, the mode of conjunction of the episodes becomes different.

The former Byzantine historians, if they were in need of praising their heroes, could not help using the scheme of *enkomion* although almost all of them pretended to be severe opponents of the mixture of the laws of history and panegyric. So did Konstantinos Porphyrogenitos praising Basil I, so did Psellos in reference to Konstantinos and Michael Doukas, in the same way acted Attaleiates extolling the virtues of Nikephoros Botaneiates. Anna Komnene was the first who did not directly borrow the encomiastic rules but, in order to praise her father, applied some ancient epic clichés to the historic narrative. Nor did Kinnamos follow directly the panegyric patterns. Nevertheless, some remnants can be traced in the text of both authors.

However modest, Kinnamos' *Epitome* like Anna's and Niketa's works can and must be evaluated as a great achievement of Byzantine historiography of the 12th century.

Notes

[1] Ch. Brand, Deeds of John and Manuel Comnenus by John Kinnamos, New York, 1976, p. 2. Cf. R. Maisano, Il rinnovamento della traditione storiografica bizantina nel XII secolo // Storia e traditione culturale a Bisanzia fra XI e XII secolo, ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ, Quaderni 3. Atti della prima Giornata di studi bizantini (Napoli, 14–15 febbrario 1992) a cura di R. Maisano, pp. 123–27.

[2] J. Rosenblum, Jean Kinnamos. Chronique, Paris, 1972, p. 9. Michael Bihikov asserts that Kinnamos' style is an imitation not only of Prokopios, but of Thucidides as well (M. Bibikov, Vizantijskij istorik Ioann Kinnam o Rusi i narodach Vostočnoj Evropy, Moscow 1997, p. 31). However, according to the author of a very solid book concerning Kinnamos' language (F. Hörmann, Beiträge zur Syntax des Johannes Kinnamos, München, 1938, p. 158) «Eine ausgesprochene imitatio eines klassischen Autors konnte nicht festgestellt werden. Es sind zwar eine ganze Reihe von direkten Berührungen mit antiken Autoren, besonders mit Prokop, zu verzeichnen».

[3] H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, Bd. I, Münich, 1978. S.412.

[4] Ioannes Cinnamus, Epitome rerum ab Ioanne et Manuele Comnenis gestarum, ed. A. Meineke, Bonn, 1838, p. 246.2–10. All the quotations in English are given from Ch. Brand. Deeds.

[5] Psellos refers it to the empress Zoe (Michele Psello, Imperatori di Bisanzio (Cronografia), Testo critico a cura di S. Impellizzeri, II, Vicenza 1984, p. 104.

[6] Kinn., p. 4.10–3. Kinnamos means John II and Manuel I.

[7] Cf. Ja. Ljubarskij, Why ist the Alexiad a Masterpiece of Byzantine Literatur // ΛΕΙΜΩΝ. Studies Presented to Lennard Rydén, Uppsala, 1996, p. 132. repr. Gouma-Peterson (ed.). Anna Komnene and Her Times. NY, 169–185.

[8] Cf. Kinn., p. 4.16–21: «We ... need not again set forth. ... how he (i.e. Alexios I. — Ja. L.) managed the Roman public affairs, all that has been, as I think, sufficiently described by those who recorded his deeds...». Kinnamos surely means under «those who described his deeds» Anna.

[9] Anna Comnena, Alexiad, ed. B. Leib (Paris, 1937–1945; repr. 1967), 3 vols.; I. p. 19.14–29. Most citations are given in the translation of E. R. A. Sewter (London, 1969).

[10] I retain here the conventional title of Kinnamos' work (Epitome) although in reality it refers only to its first book.

[11] It is worth noting that, contrary to Alexios who according to his daughter did not scruple to use any tricks to achieve his goal, Manuel, as depicted by Kinnamos, preferred «to win by war rather than by list» (Kinn., p. 182.9–11).

[12] Kinnamos stresses the difference between the capacities of generals αὐτουργῆσαι [i.e. to struggle by their own hands] and στρατηγῆσαι [i.e. to command armies] (p. 108.22–23).

[13] A similar observation has been made by P. Magdalino on the later court orations, devoted to Manuel: «Turning to the actual portrayal of the emperor in the later orations one notices that the imperial image has taken on a decidedly "peace-time" aspect. The emperor is now to be seen sitting in state, surrounded by supplicant and admirers...» (P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos [1143–1180], Cambridge 1993, p. 465).

[14] A. Kazhdan, A. Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries, Berkeley 1985, p. 110ff.

[15] Ljubarskij, Why is the Alexiad, p. 131.

[16] R. Browning, A New Source on the Byzantine-Hungarian Relations in the Twelfth Century, Balkan Studies 2 (1968), p. 198.

[17] P. Magdalino, The Empire, p. 413ff.

[18] Cf. Magdalino, The Empire, p. 447.

[19] P. Gautier, Michel Italikos, Lettres et discours, Paris 1972, p. 276.20; P. Lamma asserts that the reason (φρόνησις) was the main Manuel's virtue in the eyes of Michael Anchialos. — P. Lamma, Manuele Comneno nel panegirico di Michele Italico (codice 2412 della Biblioteca Universitaria di Bologna) // P. Lamma, Oriente e occidente nell' alto medioevo. Studi storici sulla due civiltà, Padova 1968, p. 371.

[20] One can draw from the passage also a second conclusion: Kinnamos was seemingly acquainted with the History of Leo the Deacon who had described the deeds of Nikephoros II Phokas and John I Tzismiskes.

[21] P. Magdalino, The Empire, p. 469.

[22] For instance P. Skoulatos, Les personnages byzantins de l'Alexiade. Analyse prosopographique et synthèse (Louvain, 1980), p. 325. Skoulatos refers not to Manuel but to Alexios Komnenos.

[23] There is no need to make referènces. As far as I know no specialist denies it now. About the possible impact of Digenes Akrites on «the conscious and deliberate innovations of the Byzantine court» see R. Beaton, Epic and Romance in the Twelfth Century, in: A. R. Littlewood, Originality in Byzantine Literature, Art and Music, Oxford 1995, 81–91, p. 85.

[24] H. Eideneier (ed.), Ptochoprodromos (= Neograeca medii aevi V), Cologne 1991, IV, 545.

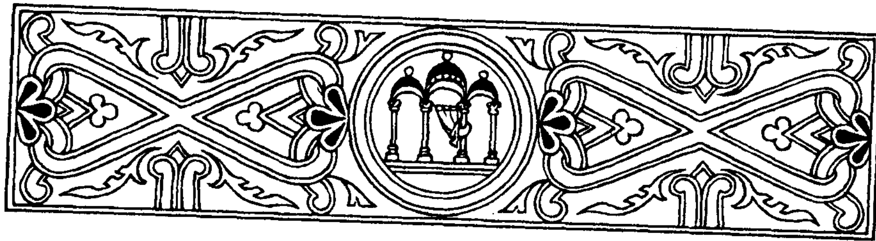
[25] Cf. for instance A. Markopoulos. Ο Διγενής Ακρίτης και η Βυζαντινή χρονογραφία. Μια προσέγγιση. Αριάδνη 5 (1989) 165–171; see about more general problem of interrelation of Digenes Akrites and the Byzantine literature of the 12th century P. Magdalino, Digenes Akrites and Byzantine Literature: The Twelfth-Century Background to the Grottaferrata Version, R. Beaton, D. Ricks, Digenes Akrites, New Approaches to Byzantine Heroic Poetry 1993, pp. 1–14.

[26] «It is clear from the most recent scholarship that Manuel's ambitions were far more limited than the rhetoric (I would add. and Kinnamos. — Ja. L.) generated at his court». I have cited P. Stephenson. Manuel I Comnenus, the Hungarian crown and the «feudal subjection» of Hungary, Byzantinoslavica 57 (1996) p. 33. If so, the «literary origin» of Manuel's image becomes clear.

[27] J. Ljubarskij, Why is the Alexiad, p. 131–132.

[28] The only «precise» date in the Epitome is «on twenty-fifth of the month Apellaios, which people who speak Latin call December» without specification of the year (Kinn., p. 210.22–211.1).

[29] J. Ljubarskij, Quellenforschung and/or Literary Criticism. Narrative Structures in Byzantine Historical Writings // Symbolae Osloenses, 73 (1998), p. 19–20.



МИХАИЛ ПСЕЛЛ В ВИЗАНТИНИСТИКЕ ПОСЛЕДНЕГО ДВАДЦАТИЛЕТИЯ*

Эта статья — не Forschungsbericht. Она имеет две цели: послужить для читателя своего рода кратким путеводителем в становящейся все более обширной литературе о Михаиле Пселле и, во-вторых, попытаться определить главную тенденцию в изучении этого едва ли не самого талантливого писателя Византии. При этом некоторые аспекты (философские, теологические, естественно-научные сочинения Пселла, «халдейская премудрость» и т. п.) остались вне моего внимания. Главный предмет статьи: личность и литературное творчество Пселла. «Последнее двадцатилетие», о котором говорится в заголовке, выбрано не случайно. Немногим более двадцати лет назад вышла моя книга о Михаиле Пселле, где я — не мне судить, плохо или хорошо — пытался подвести итоги изучения творчества великого византийца (Я. Любарский 1978). Коротко рассказать о том, что случилось за истекшие годы в этой области византиноведения — задача этой работы, посвященной юбилею большого знатока и любителя византийской словесности, моего друга Бориса Фонкича.

I

Интерес к фигуре Михаила Пселла за истекшее двадцатилетие успел приобрести вполне «устойчивый» характер — судя по аннотациям в «*Byzantinische Zeitschrift*», в заголовках не менее 10–12 работ ежегодно фигурирует имя этого писателя. Пора, видимо, говорить о зарождении специальной отрасли византийских штудий, которую можно было бы назвать «пселловедением» (по аналоги с «шекспироведением», «пушкиноведением» и т. д.). Не случайно исследователи заговорили о настоятельной необходимости издать полное собрание сочинений Пселла с учетом всех его рукописей, всех публикаций и всех работ, ему посвященных (P. Moore 1985; ср. *BZ*. 70 1977. S. 293). Не только на словах, но и на деле эти проекты начали осуществляться быстрее, чем можно было ожидать. За истекшие годы издано много новых

* Статья опубликована в // «Moscovia». Проблемы византийской и новогреческой филологии. К 60-летию Б. Л. Фонкича. М., Индрик, 2001, с. 259–274.

произведений, остававшихся до той поры в рукописях, вновь опубликовано по всем правилам современной эдиционной техники немалое число сочинений, которые прежде были изданы небрежно или без полного учета рукописной традиции, и т. д. Особая заслуга в переиздании «малых» и не очень «малых» произведений принадлежит «Bibliotheca Teubneriana», в выпусках которой пселловские тексты подбираются по жанровому принципу (Я. Любарский 1997; подавляющее большинство новых изданий перечислено в начале публикуемой здесь библиографии). Немалое число произведений Пселла появилось в переводах на европейские языки. Таким образом, творческое наследие необыкновенно плодовитого Пселла стало значительно доступней исследователям и любителям его творчества. О состоянии издания сочинений Пселла см. J. Schamp 1997.

II

Монографического исследования биографии Пселла еще не появилось, хотя биография личности такого масштаба, как Михаил Пселл, безусловно заслуживает изучения и выяснения во всех деталях. Несмотря на относительное обилие материала, дискуссионными остаются самые ключевые вопросы пселловской биографии. Если дата его рождения (1018 г.) сомнений не вызывает, то время смерти указывается часто по-разному в популярных и даже научных статьях. Только отсутствием интереса к современной научной литературе можно объяснить предлагаемую для этого события без всяких объяснений бывшую некогда общепринятой дату 1078 г. (см.. например, Михаил Пселл 1998. С. 15; A. Sideras 1994. P. 111). Напротив, большинство современных исследователей склоняются к более поздней датировке смерти Пселла и отвергают идентификацию «Михаила из Никомидии», упомянутого у Атталиата, с Михаилом Пселлом (См. P. Lemerle 1977.2. P. 262, n. 8; Eva de Vries-van der Velden 1997. P. 307, n. 95)[1].«Оксфордский словарь по византинистике» осторожно датирует смерть Пселла «после 1081 г.» (*The Oxford Dictionary of Byzantium*. Vol. 3. P. 1754). Наиболее подробно на деталях жизни и карьеры Пселла останавливается П. Лемерль, особое внимание уделяющий «профессорской» деятельности Пселла (P. Lemerle 1977), а в самые последние годы — голландская исследовательница Ева де Вриз-ван дер Велден. Можно предположить, что публикуемые ею ныне материалы представляют собой предварительные очерки будущего полного жизнеописания Пселла (Eva de Vries-van der Velden 1996; Eva de Vries-van der Velden 1996–2; Eva de Vries-van der Velden 1997).

Как пример стиля работы исследовательницы приведу ее последнюю статью, посвященную столь часто дискутировавшейся проблеме взаимоотношений Пселла с Романом Диогеном. Гвоздем этой работы является ни-

кем прежде не высказывавшееся предположение, что Пселл сам принимал участие в третьем, трагически закончившемся поражением при Манцикерте, походе Романа Диогена. В основе доказательств лежит предложенная еще в 1929 г. Рено поправка к тексту «Хронографии». Последний вставил в пселловскую фразу якобы выпавшее в рукописи отрицание «οὐ»[2]. По мысли Рено, фразу надо понимать так: «То, что не избежало моего внимания, укрылось от него (Романа Диогена)». Поскольку речь идет о событиях, непосредственно предшествовавших битве при Манцикерте, надо в этом случае предположить, что Пселл находился в войске императора. Исходя из этой предпосылки, исследовательница толкует и ряд других свидетельств и, в частности, утверждает, что письмо без адресата (Bibliotheca graeca medii aevi. Vol. 5. Ed. C. Sathas. Athenai-Paris, 1876. N. 186) было написано Пселлом из действующей армии во время последней кампании Романа. Между тем, трудно отделаться от впечатления, что пассажи «Хронографии», где говорится о поражении войска Романа Диогена (особенно сообщающие о прибытии вестников катастрофы в Константинополь и волнениях, с этим связанных), написаны отнюдь не с позиций человека, только что пережившего сокрушительное поражение от турок, а скорее с точки зрения писателя, находившегося в этот момент в городе.

Как в этой, так и в двух других статьях исследовательницы скрупулезность и почти исчерпывающе широкий охват материала сочетаются с непреклонной убежденностью в справедливости сделанных ею выводов. Как хорошо известно, события многовековой давности, о которых сохранились отрывочные и противоречивые свидетельства, только в редких случаях поддаются однозначной реконструкции. Как бы то ни было, вне зависимости от убедительности конечных результатов, пересмотр биографических свидетельств и вовлечение в научный оборот новых данных, предпринятые голландской исследовательницей, расширили наши знания о биографии Пселла.

Не исключено, что подробная биография Пселла не написана, в частности, и по той причине, что до сих пор нет сводного комментированного издания переписки писателя (около 530 писем!), представляющей собой богатейший источник для реконструкции жизненного пути их автора. Подобное издание — важнейший desideratum в изучении пселловского наследия! Впрочем, подготовительные шаги уже делаются. Если двадцать лет назад несколько десятков посланий Пселла еще оставались в рукописи, то ныне почти все они уже опубликованы (А. Зайцев, Я. Любарский 1978; A. Karpozilos 1980; M. Agati 1980; K. Snipes 1981; P. Gautier 1982; E. Maltese 1988 [последняя публикация в значительной мере дублирует другие издания]). Можно надеяться, что полный корпус пселловских писем появится в недалеком будущем (E. Papaioannou 1998).

Продолжаются дискуссии о содержании и датировке уже напечатанных писем, содержание которых подчас нарочито затемнено слишком хорошо образованным в риторике автором. В качестве примера можно привести разгоревшуюся недавно дискуссию о карьере и датах жизни друга и учителя Пселла Иоанна Мавропода, состоявшего в активной переписке со своим учеником. Предложенная мною реконструкция биографии Мавропода была принята несколькими исследователями, в том числе автором монографии о Мавроподе А. Карпозилосом (A. Karpozilos 1982). Позже А. П. Каждан значительно «радикализировал» мои утверждения и предложил ряд новых достаточно смелых датировок. Так, по утверждению ученого, Мавропода назначил на митрополичью кафедру Евхаит не Константин IX Мономах, а Константин X Дука в 60-х годах XI в. Эта гипотеза заставила А. П. Каждана пересмотреть хронологию эпистолярного наследия Мавропода и Пселла (A. Kazhdan 1993). Новые датировки А. П. Каждана не вызвали сочувствия у А. Карпозилоса (A. Karpozilos 1994). Кто бы ни оказался прав в развернувшемся споре, от его исхода зависят наши представления не только о жизни Мавропода, но и Пселла.

Помимо упомянутых, реконструкции биографии Пселла и его переписке посвящены следующие работы: R. Anastasi 1978–2; R. Anastasi 1988; G. Dennis 1988 и некоторые другие.

III

Проблеме, занимавшей исследователей прошлых лет и касающейся нравственного лица и гражданского поведения Пселла, в последнее двадцатилетие уделялось внимания значительно меньше. Впрочем, редкий исследователь удерживался от искушения мимоходом упрекнуть Пселла в моральной ущербности или пресмыкательстве перед самодержцами и могущественными современниками (см., например, G. Dennis 1994). Не избежал этого соблазна и я, стараясь объяснить своеобразие «малокорректного» поведения Пселла той моральной атмосферой, которая возникает в любом обществе авторитарного типа, почти независимо от конкретной эпохи (J. Ljubarskij 1992). Пожалуй, наиболее непримиримым к Пселлу остался в новое время польский исследователь О. Юревич, сам, кстати, имеющий опыт жизни при тоталитарном режиме. Пселл, по его словам, — доверенное лицо императоров, наушник (а порою и больше) их супруг, всего достигший своей старательностью и бесстыдством. Ситуация при дворе сформировала в нем такие качества, как сервилизм, льстивость, подхалимство, бессовестность, хитрость и беспринципность. Все это напоминает, если не превосходит, характеристики П. В. Безобразова более чем столетней давности (O. Jurewicz 1984. S. 315, 318). В целом, однако, стремление «понять» явно превалирует у современных ученых над желанием «осудить» Пселла.

Как и прежде, исследователи не перестают выражать изумление, сколь быстро способен был Пселл менять свои убеждения и пристрастия, как скоро льстивые похвалы тем или иным людям могли сменяться в его сочинениях «гневными», а подчас и фантастическими осуждениями. Подыскивая объяснения и оправдания, ученые нередко ссылаются на житейские обстоятельства или прагматические соображения, которые могли заставить выдающегося писателя давать свободу столь «низменным» сторонам своей натуры. Характерный пример в этом отношении — одна из работ Р. Анастази, пытающегося как-то согласовать знаменитую обвинительную речь против Михаила Кирулария, где Пселл выступает в роли «византийского Вышинского», с благостной эпитафией тому же патриарху (R. Anastasi 1976). Подобные «бытовые» объяснения могут безусловно оказаться справедливыми в каких-то отдельных случаях, хотя то свойство Пселла, которое нередко именуется «протеизмом», — явление более общего и принципиального характера, еще ожидающее своего толкования.

IV

По-прежнему разнообразны оценки места Пселла в истории византийской общественной мысли. Как всегда, они в значительной мере зависят от собственных взглядов и позиции исследователей. Представление о Пселле — в первую очередь, благочестивом христианине, как и прежде, свойственно, главным образом, ученым из церковных кругов. Однако фигура выдающегося писателя настолько выходила из рамок строгих православных предписаний, что подобные однозначные определения встречаются редко, хотя никто из исследователей еще не выразил сомнений в глубокой религиозности Пселла (D. Gemitti 1983; Gemitti 1984; Михаил Пселл 1998).

Давая двадцать лет назад своей книге подзаголовок «К истории византийского предгуманизма», я испытывал немалые сомнения, понимая, сколь опасно применять такие понятия, как гуманизм или Ренессанс (даже с осторожной приставкой «пред») к цивилизации, никогда их не пережившей. Однако за прошедшие двадцать лет оба эти понятия в представлении исследователей настолько срослись с фигурой Пселла, что даже авторы общих монографий используют их в применении к писателю уже без всяких оговорок. М. Англод, например, полагает, что основным объектом интереса Пселла был человек, и именно это оказалось «основой пселловского гуманизма» (M. Angold 1984).

Схожие оценки можно найти в нашей отечественной «Культуре Византии», где почти текстуальные совпадения с моими характеристиками часты и весьма для меня лестны («Культура Византии» 1989. С. 104 сл.). Ныне Пселл уже не только возводится в ранг предшественника Ренессанса (в том числе и западного!) (см. C. G. Nearchos 1981. P. 135; C. G. Nearchos 1982. P. 226), но без обиняков причисляется к «выдающимся гуманистам и свободомыслящим людям своего времени» (D. Gemitti 1983; U. Criscuolo 1981) и даже именуется «одним из наиболее значительных интеллектуальных лидеров Средневековья» (M. J. Kyriakis 1977. P. 185).

Как и раньше, исследователей весьма занимает проблема «Пселл и античность». И здесь ученые отмечают парадоксальность позиции Пселла, который неоднократно декларировал «утилитарное» отношение к древности (христианин может брать из античности лишь то, что согласуется с православным учением) и в тоже время отличался едва ли не ренессансной любовью к наследию древних. Знаменательно в этом отношении появление в журнале «Theologia» двух статей одного и того же автора — Д. Дакураса, первая из которых носит название «Критика Пселлом древних греков и греческой религии» (D. Dakouras 1977), вторая — «Реабилитация древнегреческих штудий в XI в. и Михаил Пселл» (D. Dakouras 1978). Интересные рассуждения по этому поводу принадлежат У. Крискуоло в связи с анализируемой им «Эпитафией Лихуду» (U. Criscuolo 1982. P. 214 sq.).

V

Пселл — писатель и ритор, равно как историк и теоретик литературы (а Пселл выступал и в этом качестве!), привлекал в последние годы больше внимания, чем раньше. Причина — начавшийся процесс «переоценки» византийской словесности, постепенное признание за ней самостоятельной художественной ценности (см. J. Ljubarskij 1998).

Мои рассуждения двадцатилетней давности об определенной самостоятельности эстетической и литературной позиции Пселла были в какой-то степени анахронизмом в контексте византиноведческой науки того времени и плохо вписывались в распространенные представления об унылом и традиционном однообразии византийских «теоретиков» риторики и литературы (см. Я. Любарский 1978. С. 130 сл.).

Сама предпринятая мною попытка определить литературно-эстетическую позицию Михаила Пселла и особенно противопоставить ее взглядам и мнениям его современников вызвала решительные возражения С. С. Аверинцева (С. Аверинцев 1986. С. 1 сл.; перепечатано в С. Аверинцев 1996. С. 255 сл.). С. С. Аверинцев, правда, не столько оспаривал мои аргументы, сколько защищал свою общую (впрочем, не им одним исповедываемую) концепцию, согласно которой во взглядах и теориях византийцев не присутствовало никакого индивидуального начала или тем более каких бы то ни было четко выраженных индивидуальных воззрений. Естественно, в таком случае в Византии не могло возникнуть и «ситуации спора» как следствия развития идей,

художественных методов и т. п. Поскольку мои расхождения со взглядами С. С. Аверинцева на византийскую словесность, как оказалось, носили общий и принципиальный характер, я счел возможным вступить в полемику с ним (Я. Любарский 1988).

Наиболее значимой из работ о литературно-эстетических воззрениях Пселла явилась книга А. Дейка (A. Dyck 1986), опубликовавшего два теоретических трактата писателя. А. Дейк придерживается достаточно высокого мнения о литературно-критической проницательности Пселла. Укажу лишь один пример из числа приведенных этим исследователем. Замечания Пселла о Прометее Прикованном (в трактате о Еврипиде и Писиде. — *Я. Л.*) предвосхищают оценку этой пьесы современным исследователем Марком Гриффитом (A. Dyck 1983. P. 18–194; A. Dyck 1986. P. 59–60). К сожалению, исследование Миловановича, вышедшее через год после издания моей книги, осталось мне неизвестным (Č. Milovanovič 1979).

На весьма нестандартную мысль Пселла обратил внимание Ч. Чемберлен, проанализировавший четыре энкомия Пселла Константину Мономаху и сопоставивший литературную технику Пселла с теоретическими высказываниями писателя (Ch. Chamberlain 1986). Пселл, который, по наблюдению Ч. Чемберлена, вообще весьма свободен в использовании предписаний риторической теории, со свойственными ему диалектизмом и тонкостью утверждает, что, преступая каноны искусства (τοὺς τέχνης κανόνας), он на самом деле оказывается более искусным (τεχνικώτερος).

Несомненно, подбирая высказывания подобного рода, современный исследователь подвергает себя грозной опасности впасть в грех модернизации, однако нельзя не признать, что к подобному «греху» постоянно подталкивает сам византийский писатель.

VI

Как известно, областью преимущественных занятий Михаила Пселла было красноречие. Риторика, исследовавшаяся прежде, главным образом, как источник исторических сведений и оцениваемая с точки зрения соответствия школьной норме, стала в последние годы все больше интересовать ученых как самостоятельный культурный феномен. Хотя история византийской риторики еще не написана (поверхностная книга Дж. Кеннеди — не в счет [G. Kennedy 1980]), начинают появляться работы, так или иначе систематизирующие материал византийского красноречия (все сохранившиеся эпитафии учтены, например, в работе А. Сидераса: A. Sideras 1994). В России возрождение интереса к византийской риторике инициировано С. С. Аверинцевым, опубликовавшим в последние годы ряд общих статей и специальных исследований (собраны вместе в С. С. Аверинцев 1996).

Естественно, изменилась ситуация и в отношении риторических сочинений Пселла. Большинство произведений, остававшихся в рукописи, ныне уже опубликовано. Переизданы с учетом чтения нескольких рукописей ряд речей, изданных прежде только по одному списку. Не мог не измениться и сам подход к речам Пселла, которые все чаще оцениваются как оригинальные литературные памятники. Именно с таких позиций рассматривают риторические сочинения Пселла, например, У. Крискуоло (U. Criacuolo 1982) и Дж. Вергари, подвергший литературоведческому анализу одну из самых интересных речей Пселла — Эпитафию матери (G. Vergari 1987–2).

Привожу некоторые из исследований о пселловской риторике (помимо упомянутых), появившиеся в рассматриваемый период: S. Spadaro 1977/78; A. Sideras 1981; Č. Milovanovič 1984; G. Vergari 1987; E. Fischer 1993.

VII

Изучение пселловской «Хронографии» в последние годы стимулировалось, главным образом, публикацией «Historia syntomos», а также вновь найденного текста последней части «Хронографии» из Codex Sinaiticus 1117 (W. A. Aerts 1980/81). «Краткая история» была опубликована в 1990 г. (Michaelis Pselli 1990), причем сам издатель склонен отрицать принадлежность этого произведения Пселлу. В. Артса поддержал Д. Райнш (D. Reinsch 1990). Мне эти сомнения показались лишенными каких бы то ни было оснований (см. J. Ljubarskij 1993; Я. Любарский 1994). Был уверен в принадлежности «Краткой истории» Пселлу и К. Снайпс (K. Snipes 1991. P. 12).

Находка нового текста части «Хронографии», известной до того времени только по одной рукописи, позволила поднять текстологические проблемы, связанные с «Хронографией», уже на новой основе, а также возобновить дискуссию о времени написания этого произведения. Чтения Синайской рукописи были учтены в итальянском издании «Хронографии» 1984г. (Psello Michele 1984). В свою очередь, подготовка и публикация этого издания инициировали появление ряда новых исследований (S. Ronchey 1985; S. Ronchey 1988; J.-L. Van-Dieten 1989; U. Albini 1988; U. Albini 1989; K. Snipes 1989; A. Karpozilos 1988; A. Dyck 1994).

Признанием художественных достоинств и исторической значимости «Хронографии» безусловно является публикация переводов этого сочинения на новые языки: за истекшее двадцатилетие «Хронография» издавалась, помимо уже упомянутого итальянского перевода, дважды (в разных переводах!) по-новогречески, она вышла по-польски и по-шведски. Вряд ли на долю какого-нибудь другого византийского сочинения выпал подобный «издательский успех» в новое время! В то же время исследований, посвященных «Хронографии» как художественному феномену, практически нет.

Исследователи чаще всего ограничивались констатацией художественных достоинств и уникального характера сочинения Пселла, но редко затрудняли себя более детальными рассуждениями о природе этого произведения. Некоторое исключение представляет П. Карелос, исследующий способ, каким историограф включал в свое сочинение цитаты и реминисценции из античных авторов, и отмечающий уникальную образованность писателя и его владение языком. Ученый утверждает, что у Пселла — автора «Хронографии» не было предшественников и не нашлось продолжателей в византийской литературе (P. Carelos 1991). Литературным реминисценциям в «Хронографии» посвящена статья St. Linnér 1981.

Признает уникальность Пселла в «Хронографии» и Р. Макридис, хотя и заканчивает свои рассуждения достаточно парадоксальным образом: «Да, Пселл изменил тот метод, которым писалась история, однако сделал это, как я полагаю, разрушительным способом» (R. Macrides 1996. P. 215).

Насколько действительно «неожиданным» было появление пселловской «Хронографии» в византийской литературе? Вопрос этот необычайно интересен, особенно в связи с проблемой преемственности в среднегреческой словесности (если его, конечно, рассматривать не в традиционном аспекте филиации текстов, а в более широком историко-литературном контексте). Занимаясь все эти годы проблемами допселловской историографии, я, хотя и не отказался от мысли о совершенно особом месте «Хронографии» в ряду византийских исторических сочинений, тем не менее склонен рассматривать ныне произведение Пселла как итог и логическое завершение многовекового пути, пройденного жанром византийского историописания (J. Ljubarskij 1992).

VIII

Годы, истекшие после первой публикации книги, конечно, не решили множества проблем, связанных с личностью и творчеством Пселла. Пселл и сейчас остается для современного читателя, в том числе и автора этих строк, не менее загадочным, чем двадцать лет назад. Однако эта «загадочность» кажется теперь несколько иной, чем раньше. Постепенно отходят на второй план столь волновавшие прежних ученых вопросы типа, насколько «морально ущербен» и «нравственно неполноценен» был писатель, как мог восхвалять и чернить одних и тех же людей и т. п.

После многочисленных работ о самых различных аспектах деятельности Пселла все явственнее проступают нестандартность и масштабы этой необыкновенной личности, особенно на фоне Византии XI в. Естественно, встает вопрос о том, как Пселлу удалось — во всяком случае в лучших из своих созданий — подняться над уровнем мироощущения и сознания своей эпохи и оказаться столь «созвучным» последующим временам. Иными словами, как удалось ему выйти за рамки клише, определенных временем, и — если говорить опять же о лучших из его литературных произведений — преодолеть максимально суровый в Средневековье «диктат жанра» (напомню в этой связи название одной из статей М. Маллет: «Безумие жанра» [M. Mullet 1992]).

Попробуем развить эту мысль немного подробнее. Не знаю, случайность это или нет, но в последние годы увеличилось число работ, авторы которых показывают Пселла, творящего не столько по законам того или иного жанра, сколько вопреки им, Пселла — талантливого независимо от литературных, общественных и прочих ограничений, которым он должен был следовать. Как уже отмечалось, итальянский исследователь У. Крискуоло подчеркивал оригинальность Пселла в таком устоявшемся и «школьном» жанре, как риторика (U. Criscuolo 1982). Дж. Вергари усматривал в некоторых эпизодах «Эпитафии матери» истинную «трагедию в прозе» с особой драматической структурой (G. Vergari 1987–2). А. Дейк счел достаточно оригинальными литературно-эстетические оценки Пселла (A. Dyck 1983, 318–19, ср. A. Dyck 1986 passim). А. Литтлвуд стремится показать, сколь творчески Пселл трактует известные античные мотивы. При этом ученый пользуется такими непривычными для византиниста понятиями, как «оригинальность» и даже «художественность» (artistry) (A. Littlewood 1981). М. Кириакис отмечает «хорошую внутреннюю организацию и литературный стиль, философские рассуждения, тонкие наблюдения и характеристики личности» даже в таком явно «не художественном» сочинении, как обвинительная речь против Элпидия Кенхри (M. Kyriakis 1976–1977. P. 66 ff.).

Приведенные примеры можно легко продолжить. Некоторые ученые склонны приписывать Пселлу достижения даже в тех областях, в которых ранее он считался заведомо тривиальным, например теологии и философии (D. Gemitti 1983). Примечательно, что все упомянутые суждения относятся не к «Хронографии», давно признанной художественным шедевром византийской литературы, а к произведениям других жанров.

Приведенные оценки могут быть справедливы или оказаться преувеличенными. Однако в трех случаях, уже отмеченных исследователями, «приоритет» и «необыкновенность» Пселла нам кажутся почти бесспорными.

Так, интереснейшее наблюдение над пселловским «Житием Авксентия» принадлежит А. П. Каждану (A. Kazhdan 1983). Ученый считает, что в традиционный сюжет жития Пселл вводит элементы, не имеющие ничего общего с событиями жизни святого, но явно отражающие реальность пселловского окружения. Главные персонажи Жития, как доказывает А. П. Каждан, на самом деле не что иное, как «проекция» образов ближайших друзей Пселла, а его собственные черты в той или иной степени воплощены в образе главного героя — Авксентия.

Трудно себе представить более «революционное» преобразование жанровых условностей житийной литературы, чем то, которое совершил Пселл, изображая себя и своих друзей в рамках традиционного жития. То, что Пселл (и, пожалуй, никто, кроме него в византийской словесности!) был способен на такое «нововведение», убеждает нас и второй пример, о котором речь ниже.

Уже упоминавшаяся «Краткая история», принадлежащая, по нашему глубокому убеждению, перу Пселла, относится к жанру так называемых хроник, не отличающихся, как правило, большой оригинальностью и небезосновательно названных Г. Хунгером Trivialliteratur. Однако пселловская «Краткая история» заслуживает такой характеристики меньше всего. Как я старался показать (см. J. Ljubarskij 1993; Я. Любарский 1994), обычно безличная у других авторов хроника приобретает у Пселла яркий отпечаток личности ее автора, некоторые же из «статей» хроники, посвященных царствованию отдельных императоров, превращаются в законченные новеллы, порой даже любовного содержания! На такое «преобразование жанра» был способен, пожалуй, тоже только один Пселл!

Третий пример не менее выразителен. Р. Браунинг и А. Катлер ставят в относительно недавней работе вопрос о том, каким образом воспринимал Пселл иконы (R. Browning, A. Cutler 1992). Материалом для анализа ученым служат шесть писем Пселла. Четыре из них достаточно традиционны и тривиальны, зато два остальных могут поразить воображение любого читателя. Содержание первого из них (Michaelis Pselli Scripta minora magnam partem adhuc inedita. Vol. 2. Ed. E. Kurtz, F. Drexl. Milano, 1941. N 129) можно назвать скандальным: Пселл сознается в том, что... ворует иконы. Если же его начинают подозревать, всё клятвенно отрицает. Конечно, не исключена мысль, что склонный к театральности Пселл «играет» и здесь, хотя такая «игра» сама по себе весьма знаменательна. Однако скорее всего речь идет все-таки о реальности. Я далек от мысли защищать воровство в любом виде и не только в церквах, но сколько нужно было иметь христианскому ученому, писателю, государственному мужу внутренней свободы, если воздержаться от более жестких определений, чтобы хвастаться воровством в храмах! Тем не менее, самое любопытное следует дальше. Оказывается, оправданием этого воровства является его, Пселла, «любовь к этим прекрасным картинам, свидетельствующим об искусстве художника».

Эта же мысль содержится и в другом письме Пселла (там же, N 194), в котором писатель объявляет себя «весьма ревностным созерцателем икон». Одна из них поразила его своей неописуемой красотой и, подобно молнии, парализовала его чувства. Не может быть сомнений, Пселл воспринимает иконы — во всяком случае в упомянутых примерах — не как средство постижения божественного, а чисто эстетически. До сих пор такого от византийцев еще никто не ожидал!

Авторы статьи Р. Браунинг и А. Катлер, по-видимому, сами были удивлены выводами, которые им пришлось сделать. «Не исключено, — пишут они, — что те идеи, которые мы обнаружили, имеют большее значение для наших представлений о Византии» «(It may be that the ideas we have singled out should be moved closer to the center of our thinking about Byzantium)», — неуверенно заключают они свою статью. Это без сомнения так. Но наследие какого писателя, кроме Пселла, могло столь кардинально изменить наши представления о менталитете византийцев в XI в.? Весьма любопытно, что выводы Р. Браунинга и А. Катлера в самое последнее время нашли подтверждение в работах других исследователей. Упомянутая уже Е. де Вриз-ван дер Вельден подчеркивает необыкновенную эстетическую восприимчивость Пселла, который четко разделяет религиозное содержание и художественную ценность восхищавших его икон (E. De Vries-van der Velden 1997–2). Ту же мысль, но уже на материале восприятия Пселлом светского искусства, развивает и Х. Ангелиди в статье, посвященной описанию Пселлом статуи спящего Эрота (Ch. Angelidi 1998). Совпадение концепций разных ученых, выработанных самостоятельно, конечно, не может быть совпадением.

Все сказанное не снимает наших прежних утверждений: Пселл умел быть (или казаться?) вполне тривиальным. Но разве потомки не судят писателей прошлого по их высшим достижениям и в творчестве и в мысли? «Диктат жанра», так хорошо известный любому исследователю средневековой литературы, преодолевался мощью пселловского таланта. Пожалуй, этот вывод, следующий из тех новых исследований, которые появились за последние двадцать лет о Михаиле Пселле, наиболее интересен.

Библиография[3]

Издания и переводы источников

1. А. Зайцев, Я. Любарский 1978: Два письма Михаила Пселла // *BS*, 39 1.

2. Пселл Михаил 1978: Михаил Пселл. *Хронография*. Перевод, статья и примечания Я. Н. Любарского. М.

3. Пселл Михаил 1998: Богословские сочинения // Пер. с греческого, предисл. и примеч. архим. Амвросия (Погодина). СПб.

4. V. A. Aerts 1980/81: Un témoin inconnu de la Chronographie de Psellos // *BS* 41.

5. M. Agati 1980: Tre epistole di Michele Psello // *SG* 33 909–916.

6. A. Dyck (ed.) 1986: Michael Psellus. *The Essays on Euripides and George of Pisidia and on Heliodorous and Achilles Tatius*. Wien.

7. P. Gautier 1977: Michel Psellos et la rhétorique de Longin // *Prometheus* 3 193.

8. P. Gautier 1978: Monodies inédites de Michel Psellos // *REB* 36.

9. P. Gautier 1980: *Basilikoi logoi* inédits de Michel Psellos // *Quaderni del SG* VIII. *SFB* 103–157.
10. P. Gautier 1980-2: Collections inconnues ou peu connues de textes pselliens // *Rivista di Studi Bizantini e Slavi. Miscellanea Agostino Pertusi* I.
11. P. Gautier 1982: Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà éditées // *REB* 44.
12. P. Gautier 1991: Un discours inédit de Michel Psellos sur la crucifixion // *REB* 49 5–66.
13. D. Geromiti 1984: Omelia di Psello sull' Annunziazione // *Studi e ricerce sull' oriente cristiano* 7,2. Roma.
14. Ioannis Mauropodis 1990: *Ioannis Mauropodis Euchaitorum metropolitae epistulae*, ed. A Karpozilos. Thessalonike.
15. Karpozelos 1980: Δύο ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ // *Dodone* 9 299–310.
16. E. Maltese 1988: Epistole inedite di Michele Psello III // *SIFC* S. 3, vol. 6,1.
17. Michaelis Pselli 1990: *Historia Syntomos: Editio princeps*, ed. and transl. J. Aerts, CFHB, vol. 30. Berlin.
18. Psello Michele 1983: Orazione in memoria di Constantino Lichudi, a cura di U. Criscuolo. Messina.
19. Psello Michele 1984: *Imperatori di Bisanzio (Cronografia)*. Introduzione di D. Del Corno, testo critico a cura di S. Impellizzeri, commento di U. Criscuolo, traduzione di S. Ronchey, I–II.
20. Psello Michele 1990: *Autobiografia. Encomia per la madre*. traduzione e commentario a cura di U. Criscuolo. Napoli.
21. Psellus Michael 1985: *Oratorio minora*, ed. A. R. Littlewood. Leipzig.
22. Psellus Michael 1989: *Theologica*. vol. 1, ed. P. Gautier. Leipzig.
23. Psellus Michael 1989–2: *Philosophica minora*. vol. 2, ed. D. J. O'Meara. Leipzig.
24. Psellus Michael 1992: *Philosophica minora*. vol. 1, ed. J. M. Duffy. Stuttgart-Leipzig.
25. Psellus Michael 1992–2: *Poemata*, rec. L. G. Westerink. Stuttgart-Leipzig.
26. Psellus Michael 1994: *Orationes panegyricae*, ed. G. T. Dennis. Stuttgart-Leipzig.
27. Psellus Michael 1994–2: *Orationes forenses et acta*, ed. G. T. Dennis. Stuttgart-Leipzig.
28. Psellus Michael 1994–3: *Orationes hagiographicae*, ed. E. A. Fisher. Stuttgart-Leipzig.
29. K. Snipes 1 98 1 . A Letter of Michael Psellos to Constantine the Neview of Michael Cerullarios // *GRBS* 22.
30. M. D. Spadaro 1975: La monodie Εἰς τὴν Ἁγίας Σοφίας σύμπτωσιν attributa a Psello // *SG* 28.

Литература

31. С. С. Аверинцев 1986: Византийская риторика. Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры // *Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье*. Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М.
32. С. С. Аверинцев 1996: Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.
33. Культура Византии 1989: *Вторая половина* VII–XII в. М.
34. Я. Любарский 1978: Михаил Пселл. К проблеме византийского предгуманизма. М.
35. Я. Любарский 1988: Проблема эволюции византийской историографии // *Литература и искусство в системе культуры*. М.
36. Я. Любарский 1992: Михаил Пселл и Михаил Атталиат // Византия и средневековый Крым. *АДСВ* 26.
37. Я. Любарский 1994: «Краткая история» Михаила Пселла: существует ли проблема авторства? // *ВВ* 55 (80).
38. Я. Любарский 1997: Михаил Пселл в «Bibliotheca Teubneriana» // *ВВ*, 57 (82).
39. W. J. Aerts 1 980/81: Un témoin inconnu de la Chronographie de Psellos // *BS* 41.
40. M. L. Agati. 1991: Michele VII Parapinace e la Cronographia di Psellos // *Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata* n.s. 45.
41. U. Albini 1984: Chiòsae a Psello // *SIFC* III S. 2.
42. U. Albini 1985: Andronico Duca, maestro nel disegno? // *SIFC* III, S. 3.
43. U. Albini 1988: L'impazienza di Constantino IX Monomacho // *SIFC* III, S. 6.
44. U. Albini 1989: Artifici del diplomatico Psello // SIFC III S.7 1989.
45. R. Anastasi 1975 : Sugli scritti giuridici di Psello // *SG* 28.
46. R. Anastasi 1976: Sulla tradizione manoscritta delle opere di Psello // *Quaderni del SG* II, *SFB* 2.
47. R. Anastasi 1978: Sulla Cronographia di Psello // *SG* 31.2.
48. R. Anastasi 1978–2 : Sui caristicii di Psello // *SG* 31.2.
49. R. Anastasi 1988: Michele Psello al metropolita di Euchaita (Epist. 34 pp. 53–56 K.-D.) // *SFB* 4.
50. Ch. Angelidi 1998: Μιχαηλ Ψελλός: η ματιά του φιλοτέχνου // Σύμμεικτα 12.
51. M. Angold 1984: *The Byzantine Empire 1025–1204. A Political History*. New York.
52. R. Browning, A. Cutler 1992: In the Margins of Byzantium? Some Icons in Michael Psellos // *BMGS* 16.
53. P. Carelos 1991: Die Autoren der zweiten Sophistik und die Χρονογραφία des Michael Psellos // *JÖB* 41.

54. Ch. Chamberlain 1986: The Theory and Practice of the Imperial Panegyric in Michael Psellus. The Tension between History and Rhetorics // *Byz*. 56.

55. L. Cresci 1987: Note esègetiche a Michele Psello e Michele Attaliate // *Civiltà class. e crist*. 8 209–217.

56. U. Criscuolo 1981: Tardoantico e umanesimo Bizantino: Michele Psello // Κοινωνία 5.

57. U. Criscuolo 1982: Pselliana // *SIFC* n.s. 54, 1–2.

58. U. Criscuolo 1982–2: Osservazioni sugli scritti retorici di Michele Psello // *JÖB* 32/3.

59. D. Dakouras 1977: Michael Psellos' Kritik an den alten Griechen und den griechischen Kult // *Theologia*, 48.

60. D. Dakouras 1978: Die Rehabilitation der griechischen Studien im XI. Jahrhundert und Michael Psellos // *Theologia*, 48.

61. G. Dennis 1988: The Byzantines as Revealed in their Letters // *Gonimos. Neoplatonic and Byzantine Studies Presented to Leenert G. Westerink at* 75. Buffalo, New York.

62. G. Dennis 1994: A Rhetorician Practices Law: Michel Psellos // *Law and Society in Byzantium 9–12 Centuries*. Dumbarton Oaks.

63. J.-L. van Dieten 1985: Textkritisches zu Psellos: Chronographie II 167.16 ff Renauld // *Byzantina* 13.

64. A. Dyck 1983: On Michael Psellos' = Composition of Euripides and George of Pisidia // *Ninth Annual Byzantine Studies Conference. Abstracts of Papers* 18–19.

65. A. Dyck 1994: Psellus tragicus: Observations on Chronographia 5.2 ff. // *Presence of Byzantium. Studies Presented to Milton V. Anastos in Honor of his Eighty-Fifth Birthday*. Amsterdam.

66. E. Fischer 1993: Michael Psellos on the Rhetoric and the Life of St Auxentius // *BMGS* 17.

67. E. Fisher 1994: Ekphrasis in Michael Psellos «Sermon on the Crucification» // *BS* 55.

68. D. Gemitti 1983: Aspetti del pensiero religioso di Michelle Psello con presentazione di C. Capizzi // *Studi e ricerche sull'Oriente cristiano*, VI. 2. Roma.

69. H. Hunger 1978: *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner* I–II München.

70. H. Hunger 1984: Die Antithese // ЗРВИ 23.

71. O. Jurewicz 1984: Die «Chronographie» des Psellos als Quelle zur byzantinischen Kultur im Ausgang des 10. Jh. // *Eos*, 72.

72. A. Kambylis 1994: Michael Psellos' Schrift über Euripides und Pisides. Probleme der Textrekonstruktion // *JÖB* 44.

73. A. Karpozelos 1982: Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ βίου καὶ τοῦ 'Ιωάννη Μαυρόποδος. Ioannina.

74. A. Karpozelos 1988: Varia philologica // *JÖB* 38.

75. A. Karpozilos 1994: The Biography of Ioannes Mauropous again // TO ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 44.

76. A. P. Kazhdan and A. V. Epstein 1995: *Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries*. Berkley and Los Angeles.

77. A. Kazhdan 1983: Hagiographical Notes // *Byz*. 53.

78. A. Kazhdan 1993: Some Problems in the Biography of John Mauropous // *JÖB*, 43.

79. G. Kennedy 1980: *Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times*, Chapel Hill.

80. M. J. Kyriakis 1976–1977: Medieval European Society as Seen in Two Eleventh-Century Texts of Michael Psellos // *Byzantine Studies* / Études Byzantines 3,2; 4,1; 4,2.

81. J. Lefort 1976: Rhétorique et politique // *TM*, 6.

82. P. Lemerle 1977: Le gouvernement des philosophes, l'enseignement, les écoles, la culture// Idem. *Cinq études sur le XI siècle byzantin*. Paris.

83. P. Lemerle 1977–2. Byzance au tournant de son destin // Idem. *Cinq études sur le XI siècle byzantin*. Paris.

84. St. Linnér 1981: Literary Echoes in Psellos' Chronographia // *Byz*. 51.

85. A. Littlewood 1976: An Icon of the Soul: the Byzantine Letter // *Visible Language*.

86. A. Littlewood 1981: The Midwifery of Michael Psellos: an Example of Byzantine Literary Originality // *Byzantium and the Classical Tradition*. Ed. M. Mullett, R. Scott. Birmingham.

87. J. Ljubarskij 1991: Writers' Intrusion in Early Byzantine Literature // 18th Int. Byz. Congress. Major Papers. Moscow.

88. J. Ljubarskij 1992: The Fall of an Intellectual. The Intellectual and Moral Atmosphere in Eleventh-Century Byzantium // *Byzantine Studies. Essays on the Slavic World and the Eleventh Century*. Ed. by Speros Vryonis.

89. J. Ljubarskij 1992–2: Man in Byzantine Historiography // *DOP*, 46.

90. J. Ljubarskij 1993: Some Notes on the Newly Discovered Historical Work by Psellos // TO ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, Studies in Honor of Speros Vryonis, V.I. New Rochelle-New York.

91. J. Ljubarskij 1995: Miguel Ataliates y Miguel Pselo (Ensayo de una breve comparación) // *Erytheia*, 16.

92. J. Ljubarskij 1998: *Quellenforschung* and/or Literary Criticism. Narrative Structures in Byzantine Historical Writings // *Symbolae Osloenses* 73.

93. R. Macrides s.d.: The Historians in the History // ΦΙΛΕΛΛΗΝ. Studies in Honour of Robert Browning, ed. by C. Constantinides, N. Panagiotakes, E. Jeffreys, A. Angelou. Venice.

94. E. V. Maltese 1992: Michele Psello commentatore di Nazianzo: note per una

lettura dei Theologica // *Gregorio Nazianzeno e escritore*, a cura di C. Morechini, G. Monestina. Bologna.

95. E. V. Maltese 1993: I theologica di Psello e la cultura filosofica a Bisanzio fra XI e XII secolo // *Storia e tradizione culturale a Bisanzo fra XI e XII secolo. Atti della prima giornata di studi bizantini* [= ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ quaderni 3] Napoli.

96. Č. Milovanovič 1979: Mihajlo Psel kao knjizevni Teoreticar, diss. Belgrade.

97. Č. Milovanovič 1984: Psel i Grigorije, Nona i Teodota // PHDB, 23.

98. P. Moore 1985: The Works of Michael Psellus, their Manuscripts and Bibliography // *Eleventh Annual Byzantine Studies Conference*. Abstracts of Papers. Toronto.

99. M. Mullet 1992: The Madness of Genre // *DOP*, 46.

100. C. G. Nearchos 1981: The 11th-Century Philosophical Revival // *Byzantium and the Classical Tradition*. Ed. M. Mullett, R. Scott. Birmingham.

101. C. G. Nearchos 1982: John Patricios: Michael Psellos in Praise of his Student and Friend // *Byzantina*, 11.

102. The Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 3 (1991).

103. E. N. Papaioannou 1998: Das Briefcorpus des Michael Psellos. Vorarbeiten zu einer kritischen Ausgabe des Michael Psellos // *JÖB*, 48.

104. N. Radošević 1998: Писма владарима Јована Мавропода и Михаила Псела // ЗРВИ, 37.

105. S. Ronchey 1985: Indagini ermeneutiche e critico-testuali sulla *Cronografia* di Psello // Istituto storico italiano per il medio evo. *Studi storici*. fasc. 152, Roma.

106. S. Ronchey 1988: Ancora sulla *Cronografia* di Psello // *Bullettino dell' Istituto Storico per il medio Evo e Archivio Muratoriano*. 94.

107. J. Schamp 1997: Michel Psellos à la fin du XX-e siècle: état des éditions // *L'Antiquité classique* 66, 1997.

108. A. Sideras 1981: Die Zugehörigkeit eines umstrittenen Monodiefragments von Psellos und sein unbekannter Adressat // *BZ*, 74.

109. A. Sideras 1994: Die byzantinischen Grabreden. Prosopographie, Datierung, Überlieferung. 142 Epitaphien und Monodien aus dem byzantinischen Jahrtausend // *Wiener byzantinische Studien* 19.

110. K. Snipes 1977: A Newly Discovered Historical Work of Michael Psellos // *3rd Annual Byzantine Studies Conference*, Abstracts, New York.

111. K. Snipes 1982: A Newly Discovered History of Roman Emperors by Michael Psellos // *Akten d. XVI. Internationaler Byzantinistenkongresses // JÖB*, 32/2.

112. K. Snipes 1989: The Chronographia of Michael Psellos and the Textual Tradition and Transmission of the Eleventh and Twelfth Centuries // ЗРВИ, 27/28.

113. K. Snipes 1991: Notes on Parisinus graecus 1712 // *JÖB*, 41.

114. K. Snipes 1991–2: Is the *Historia Syntomos* a Genuine Work of Michael Psellos // *Seventeenth Annual Byzantine Conference*, November 8–10. Brookline (Mass.).

115. M. D. Spadaro 1975: Note su Sclerena // *SG*, 28,2.

116. M. D. Spadaro 1977/78: Un inedito di Psello dal cod. Paris. gr. 1182 // Ἑλληνικά 30,1.

117. F. Tinnefeld 1989: Michael I Kerullarios, Patriarch von Konstantinopel // *JÖB*, 39.

118. Eva de Vries-van der Velden 1996: Psellos et son gendre // BF, 23.

119. Eva de Vries-van der Velden 1996–2: La lune de Psellos // *BS* 57.

120. Eva de Vries-van der Velden 1997: Psellos, Romain IV Diogénès et Mantzikert // *BS*, 68.

121. Eva de Vries-van der Velden 1997–2: «Bezielde schilderkunst». Michael Psellos (1018–ca. 1080/90) en de religieuzte Kunst van zijn tijd // Het Christelijk Oosten 49.

122. G. Vergari 1987: Michele Psello e la tipologia femminile cristiana // *SG*, 40.

123. G. Vergari 1987–2: Per una reeditione dell «Epitafio per la madre» di Michele Psello // *Orpheus*, VIII.2.

124. G. Vergari. Macro- e micro-Ipotesi in un'Orazione di Michele Psello // *BF*, 15.

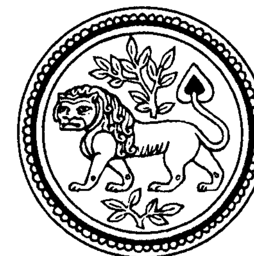
125. G. Weiss 1977: Die Leichenrede des Michael Psellos auf den Abt Nikolaos von Kloster der schönen Quelle // *Byz.*, 9

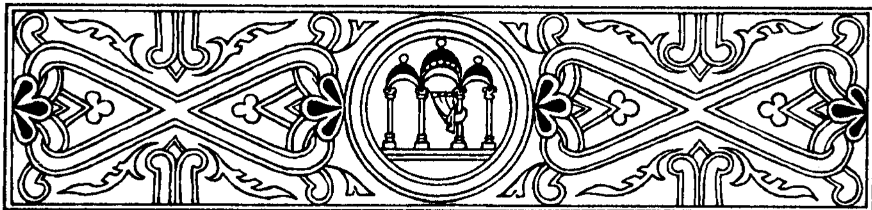
Примечания

[1] См. об этой проблеме Я. Любарский 1978. С. 32–33.

[2] Ὁ δέ με <οὐ> διέλαθεν, ἔλαθεν τοῦ?ον. Поправка была отвергнута Сикутрисом (*BZ*, 29 [1929]. P. 47) и в моем переводе «Хронографии» (Пселл Михаил 1978. С. 182), но принята Импеллиццери в итальянском издании сочинения Пселла (Psello Michele 1984. Vol. 2. P. 339).

[3] В Библиографию включено большинство из оказавшихся мне доступными работ последнего двадцатилетия, посвященных личности и литературному творчеству Михаила Пселла.





MICHAEL PSELLOS IN THE HISTORY OF BYZANTINE LITERATURE: SOME MODERN APPROACHES*

One can see nowadays a certain change in the approach to many Byzantine writers and to the history of Byzantine literature generally. The very title of our conference is the best evidence of it. My goal now is to show how this shift became apparent in the modern literature about Psellos, whom I consider to be the greatest writer in the history of Byzantine literature, in any case in Byzantine historiography.

Two remarks are to be made beforehand. Any history of literature (art, culture, etc.) and any portrait of an individual author or a description of a literary phenomenon is necessarily a kind of construction imposed on real material and strongly dependent on our views, tastes and the methods we use. That is why the framework in which we place the history of literature or literary phenomena can only partly be identical to reality. The main concerns for the scholars writing a history of literature are not separate literary phenomena, but their mutual interrelations. The type of connections we establish reflects inevitably not only the real relationship, tat also the mode of our thinking as well.

The books concerning the history of Byzantine literature are not numerous but the layout of them differs greatly Cram that of cannon standards of modern handbooks devoted to other literatures. From Karl Krumbacher on, all Byzantine students have tried to keep the unbiased attitude to the pieces of literature they study, and for that reason they do not distinguish *belles-lettres* from any other kind of *Schriftum* (geographical, military, medical treatises, etc.). Secondly, they usually refrain from establishing any relations between separate pieces of literature; writers prefer not to speak about genres of literature. What I mean is ideological, mental and artistic connections, rather than filiation of texts, textual borrowings, etc. As a result, Byzantine literature is regarded as a conglomerate genre, as a conglomerate of separate works. I will remind you van Dieten's words, who characterised H. Hunger's depiction of Byzantine literature as *Literatur ohne Geschichte*. I would say that this is a unique phenomenon in the humanities—a literature with 1000-years of history which lacks

* Статья опубликована в Actes de Colloque International Philologique «Pour une "nouvelle"» histoire de la littérature byzantiné (Nicosie, 2001), Paris, École des Hautes Études en Sciences sociales, 2002.

any history. This paradox has explicitly been formulated by Sergey Averintzev. According to him, Byzantine literature did not develop at all and only "realized the potential it had possessed from the very beginning"[1].

The most evident break from this long tradition was the recent book on the Byzantine literature of the early period by the late Alexander Kazhdan, who unfortunately had no chance to bring to an end his grandiose project[2]. I do not mean that the book is an innovation in literary theory, but it places the Byzantine *Schrifttum* in the system of European literatures and applies to it some well-known methods of historical poetics. This is a great merit of its author. There is no necessity to repeat the main principles of Kazhdan's approach—they are explicitly formulated in the preface to the book by the author himself and it is hardly possible now to study the works of Byzantine writers without taking these statements into consideration. At the same time, I would say that Byzantine studies and especially literary criticism in the past two decades have "moved" towards the historical poetics. It can be seen in many cases. I will show it by using as an example the works on Psellos, whom I consider to be the most talented and extravagant of Byzantine writers. It should be stressed that my paper is in no way a *Forschungsbericht*. Putting aside some very serious works on Psellos, I consider only those publications appearing in the past two decades that are characterized by the new and modern approaches.

The number of works devoted to Psellos has increased considerably. According to the bibliographical section of *Byzantinische Zeitschrift* not less than 10–12 works on Psellos are published every year, showing the increasing interest in the great writer and even the emergence of a special discipline vis-a-vis Psellos-studies like Shakespeare- or Goethe-studies, etc. It would have been hardly believable twenty years ago that so many *editiones principes* and such a great amount of new critical editions would appear in such a short period of time[3].

As the main desideratum remains the publication of the corpus of Psellos' letters (530 in all) but their edition has already been announced[4]. Only the publication of all the letters can help to outline Psellos' life and career. Nevertheless some scholars before the new publication of letters tried to trace Psellos' life. A most detailed description of biographical events is given by P. Lemerle who dwells on Psellos' "professorship"[5] whereas some other scholars suggest bold and in some cases even fantastic reconstructions and re-evaluations of the episodes of Psellos' career (I mean first and foremost the research of de Vries-van der Velden). One can suppose that the detailed essays by the Dutch scholar are but preliminary sketches to a full life-description of the Byzantine writer[6].

It is worth noting that modern scholars pay less attention than their predecessors to Psellos' moralities while this problem was the central one in the 19th and the first half of the 20th centuries. In the opinions of our predecessors, Psellos turned to be a pious Christian, traitor and flatterer at the imperial court, a giant of Renaissance standing over any ordinary norms at the same time[7]. These different

and incompatible attitudes had one thing in common—they all lacked historicity and as a rule were dependent on the social positions of their authors rather than on unbiased analysis of facts. Secular scholars tended to regard Psellos as an open-minded and unscrupulous person, while Christian scholars considered him as a pious Christian.

Even now some scholars blame[8], while others praise Psellos, but the main interest has shifted and is now concentrated on the problems of Psellos' position in the cultural and mental evolution of Byzantium. More than 20 years ago when I published my book on Psellos for the first time, I gave it the subtitle "To the Problems of Byzantine Prehumanism"[9]. I did it not without a kind of reservation and doubt. Had I the right to write about the prehumanism in application to a civilization that had known no humanism or Renaissance?

Modern scholars have proved to be much more risky and bold than I was. For many of them Psellos' humanism is an axiom. I can refer to M. Angold who stressed Psellos' interest in the human being, which is a typical humanistic trait[10], or to D. Gemitti who views Psellos as a humanist and liberal-minded person[11]. M. Kiriakis even calls Psellos "one of the most prominent intellectual leaders of the medieval age"[12]. Scholars often assert that Psellos' attitude to the Classical world is like that of Western humanists. The great Byzantine was not only a great erudite trying to reconcile ancient wisdom with the Christian dogma, but also an admirer of Classical antiquity.

Such assertions are of great interest and importance. I would say that they all have a certain theoretical background. Byzantine literature is regarded not as an unchangeable and immovable phenomenon equal to itself for more than a thousand years, but as a developing organism going through the same stages as the Western culture and literature (it should remind you that according to P. Lemerle there were five "humanisms" in Byzantium, but five humanisms are the same as none). The approach outlined above implies that Byzantine culture is a part of European civilization rather than an isolated island of orthodoxy or a stronghold of oriental mentality (to put it more cautiously, there were different trends in Byzantine civilization some of which seemed to be concordant with those in the West). I would say that this modern approach is of special importance for Russia in the post-Communism period. The new wave of fundamental orthodoxy (a kind of substitute for fundamental Marxism) is trying to base itself upon the Byzantine tradition.

I have already mentioned that the three authors of the main reference-books on Byzantine literature divided it into some genres and dealt with them separately. This principle was probably justified because of the phenomenon called by M. Mullet "madness of genre"[13], i.e. the genre's laws and models suppressing the creativity of individual writers. At first sight this principle seems to be justified in the application to Psellos' works as well. Psellos as a writer, historian, philosopher, etc. looks differently in his works and treatises belonging to different genres (by the way, *poikilia, i.e.* internal and principal variety, diversity of the writer or human being was recognized by Psellos and some others in Byzantium). Moreover Psellos was considered as a great artist in his *Chronography* and at the same time as banal and trivial in rhetorical speeches, theological and hagiographical works, philosophical treatises, etc.

The *Chronography* is being studied and evaluated now as ever. The number of translations of this work into modern languages appeared in recent time (five to my knowledge!) is itself the best indicator of appreciation of this work by modem scholars and readers. The new Italian edition of the *Chronography* provoked the appearance of some special studies[14], but only some of them are concerned with the artistic value of the work[15].

Nowadays the majority of the scholars do not oppose *Chronography*, "the masterpiece of literature», to the «ordinary» works in other genres.

Some examples will suffice to illustrate this process of re-evaluation. D. Gemitti for instance considers Psellos as original philosopher and theologian (until recently the writer was evaluated as a dull imitator in this field)[16]. But it is more interesting for our purpose to see how modern scholars approach Psellos' works which can be regarded as artistic ones, first of all as pieces of rhetorics. More than twenty years ago I tried to evaluate some of Psellos' speeches (*enkomia, epitaphia, monodies*) as pieces of art. It seemed strange and unusual then. Nowadays such an approach has become widespread. Italian scholars for instance (U. Criscuolo and G. Vergari) independently analyzed Psellos' epitaph on his mother and stressed the originality of this *oratio*[17]. Other speeches by Psellos have been analysed by M. Spadaro[18], A. Sideras[19], E. Fisher[20] and Č. Milovanovič[21], who all came to similar conclusions. To be sure, I do not pretend to have been a prophet, but I worked in line with the general trend.

Re-evaluation of Psellos' works on the theory of rhetorics in modern times is even more indicative. Besides some minor treatises on rhetorics and some judgements on rhetorics in other compositions there are two *synkriseis* (between Euripides and Pisides and between Heliodorus and Achilles Tatius) that deal with this problem and have been recently re-edited and studied anew by A. Dyck[22]. I would say that according to our modern view these two works belong to literary criticism rather than to theory of rhetorics. Old scholars did not pay much attention to these treatises considering them as banal and imitative. Andrew Dyck came to a different conclusion. He ascribes to Psellos a keen critical vision of literature, as well as certain aesthetic feelings. He asserts, for instance, that Psellos' evaluation of Aeshylos is like some modern scholars' approach to the ancient poet. The assertion is very indicative — Psellos really is a writer who was before his time in many aspects of his oeuvre and personality.

A. Dyck is not the only modern scholar who tends to see in Psellos an original literary critic. In my opinion, the most interesting remarks on this score belong to

Ch. Chamberlan who analyzed four *enkomia* by Psellos and compared their technique with theoretical judgements on rhetories by the Byzantine writer[23]. Psellos uses rules of rhetorics very freely. Moreover Psellos asserts that the more the rhetor transgresses the rules of art (τοὺς τέχνης κανόνας) the more artistic (τεχνικότερος) he becomes. This assertion has been made not by modern or even modernist critic but by a medieval *literatus*!

I can refer to many other modern scholars trying to exaggerate Psellos' achievements in the areas where he has been traditionally regarded as a banal imitator. We must be cautious in this respect—scholars, like the rest of people, tend to exalt the merits of their heroes. But the amount of these re-evaluations is too conspicuous to be neglected. The most remarkable thing is that in all the cases mentioned above Psellos has been represented as a person or writer who cannot remain within the boundaries of a tradition, in other words, within the boundaries of a definite genre. In the opinion of many modern scholars Psellos transgresses in a sense the rules and laws he had to keep, according to K. Krumbacher, H. Hunger and many others.

I would not like to multiply the examples bat I cannot help citing three instances borrowed from modern studies, including one of my own. The first one concerns Psellos' activity as a hagiographer. Psellos is known as the author of the *Vita of St. Auxentios* which was written by him supposedly in a monastery in order to please the monks who were hostile to him. This work is in no way a masterpiece of literature and nobody tries to assert this. But in his recent article, A. Kazhdan proves very convincingly that the *Vita* mirrors not the circumstances of Byzantium in 5th century where Auxentios lived but the reality contemporary to Psellos. Moreover, according to A. Kazhdan, the main character of the *Life*, Auxentios, is a kind of reproduction of Psellos himself, while the secondary characters mirror Psellos' friends Constantine Lichudes and John Xiphilinos[24]. Kazhdan's conclusions seem to be paradoxical but they are true. Psellos turns out to be the first (and maybe the only) hagiographer in Byzantium who was much more interested in his own affairs than in describing the Saint. I would call this innovation in hagiography revolutionary.

The second example is from my own research. About two decades ago the so-called *Historia Syntomos* by Psellos was found, or better to say re-opened[25]. This work, despite its title, belongs evidently to the genre of chronicles in contrast to *Chronography* which (again in contradiction to its *lemma*) belongs to histories.

H. Hunger has rightly called Byzantine chronicles *Trivialliteratur*. Many of them were primitive enough, even dull. As a rule, all of them were impersonal. On the contrary, as I tried to show, Psellos managed to transform his chronicle into an utmostly personal work where he tried to express his own views. (*Historia Syntomos* is a kind of a history text-book for Psellos' pupil, the future emperor Michael III). This chronicle is not only instructive, but also artistic. Some entries in it were made as a kind of novel sometimes with love in its centre[26].

The third example seems to be the most indicative. In the recent time, three articles have appeared dealing with the problem of Psellos' perception of art. Unfortunately, the latest of these by Eva de Vries-van der Velden[27] has remained unavailable to me, but according to the annotation in *Byzantinische Zeitschrift* the Dutch scholar asserts that "Psellos discusses icon in a highly personal manner. He shows unusual aesthetic sensibility and a keen perceptive mind, distinguishing between religious content and pictural qualities in a unique way. Psellos' view on religious art were definitely not appreciated (or even understood) by his environment"[28]. I believe that Eva de Vries-van der Velden knew the article by R. Browing and A. Cutler on the same subject published some years earlier. The two authors are a little more cautious than the Dutch scholar, nevertheless their conclusions are almost the same. Psellos approaches the icons aesthetically and considers them as pieces of art rather than religious objects[29]. In one of his letters he even wrote that he had stolen the icons he liked most from churches. Nobody can approve stealing from churches or from elsewhere. I am not sure that Psellos did steal icons really but his boasting is very indicative. R. Browing and R. Cutler seem to have been surprised by the ideas they discovered themselves in Psellos' letters. "It may be that the ideas we singled out should be moved closer to the centre of our thinking about Byzantium", they conclude. This is certainly so, especially in application to Psellos.

The third work that goes in line with those mentioned above is the recent article by Christine Angelidi who analyzed a small Psellos' *ekphrasis* on the statue (bas-relief?) of the sleeping Cupid[30]. Angelidi concludes that Psellos treats and explains the object of his description not allegorically (as it was common in Byzantium) but from an aesthetic point of view.

It is hardly a coincidence that in recent time four scholars have come to similar conclusions independently. It is the new trend in the study of Psellos — and I would say a new approach to Byzantine literature and culture in general — which are regarded now not as totally imitative and avoid of aesthetic vividness.

Taking works dedicated to Psellos' oeuvre as an example I have tried to show that the modern scholars have been gradually moving from mere cataloguing literary works and exclusively historical and philological research towards the methods typical of historical poetics.

It has become clear now that Psellos is not only one of historiographers, rhetors, philosophers, etc. but a great writer, one of the "giants of pre-Renaissance" and, as I would call him, the head of cultural and literary movement in Byzantium of the 11th century. But the problem of cultural movements and schools in Byzantium (if there were any) is very complicated and worth of special study. Unfortunately the late A. Kazhdan could not continue his History and include Psellos' works in it. But I am sure that Psellos' oeuvre presents the best chance to re-evaluate traditional approach to Byzantine literature.

Notes

[1] S. Averinzev, "Shkolnaja norma literaturnogo tvorchestva v sostave vizantijskoj kultury", in Problemy literaturnoj teorii v Vizantii i latinskom Srednevekovje, Moskva 1986, 19ff. Reprinted in S. Averinzev, Ritorika i istoki jevropejskoj literaturnoj tradizii, Moskva, 1996.

[2] A. Kazhdan in collaboration with L. F. Sherry and Chr. Angelidi, History of Byzantine Literature (650–850), Institute for Byzantine Research, Research Series, 2, Athens 1999. Alexander Kazhdan planned six volumes.

[3] I will refer only to the main publications of Psellos' works: Historia Syntomos, editio princeps, ed. and transl. J. Aerts, CFHB, vol. 30, Berlin 1990; Imperatori di Bisanzio (Chronografia). Introduzione di D. Del Corno, testo critico a cura di S. Impellizzeri, commento di U. Criscuolo, traduzione di S. Ronchey, I–II, 1984; Oratorio minora, ed. A. R. Littlewood, Leipzig 1985; Theologica, vol. 1, ed. P. Gautier, Leipzig 1989; Philosophica minora, vol. 2, ed. D. J. O'Meara, Leipzig 1989; Philosophica minora, vol. 1, ed. J. M. Duffy, Stuttgart–Leipzig 1992; Poemata, rec. L. G. Westerink, Stuttgart–Leipzig 1992; Orationes panegyricae, ed. G. T. Dennis, Stuttgart–Leipzig 1994; Orationes forenses at acta, ed. G. T. Dennis, Stuttgart–Leipzig 1994; Orationes hagiographicae, ed. E. A. Fisher, Stuttgart–Leipzig 1994.

[4] E. N. Papaioannou, "Das Briefcorpus des Michael Psellos. Vorarbeiten zu einer kririschen Neuedition", JÖB 48 (1998).

[5] P. Lemerle, "Le gouvernement des philosophes, l'enseignement, les écoles, la culture", in: Cinq études sur le XIe siecle byzantin, Paris 1977.

[6] Cf. Eva de Vries-van der Velden, "Psellos et son gendre", BF 23 (1996); idem, "La lune de Psellos", BS 57 (1996); idem, "Psellos, Romain IV Diogenes et Mantzikert", BS 68 (1997).

[7] I tried to summarize the scholarly views on Psellos until the eighties in my book, J. Ljubarskij, Michael Psell. Lichnost i tvorchestvo. K probleme vizantijskogo predgumanizma, Moskva 1978, p. 3–20.

[8] The most hostility to Psellos was shown in recent time by Polish scholar O. Jurewicz, who stressed such traits of Psellos' character as servilism, flattery, fawing, dishonesty, cunning, unscrupulousness, etc. See O. Jurewicz, "Die 'Chronographie' des Psellos als Quelle zur byzantinischen Kultur im Ausgang des 10. Jh.", Eos 72 (1984). I too could not resist temptation of blaming Psellos, explaining the roots of Psellos' unscrupulous behaviour by reference to the moral atmosphere common to all totalitarian type societies, cf. J. Ljubarskij, "The Fall of an Intellectual. The Intellectual and Moral Atmosphere in Eleventh-century Byzantium", in: Speros Vryonis (ed.), Essays on the Slavic World and the Eleventh Century, Byzantine Studies, 1992.

[9] See above, note 7.

[10] M. Angold, The Byzantine Empire 1025–1204. A Political History, New York 1984.

[11] D. Gemitti, Aspetti del pensiero religioso di Michelle Psello con presentazione di C. Capizzi, studi e ricerce sull'Oriente cristiano, VI, 2, Roma 1983; cf. U. Criscuolo, "Tardoantico e umanesimo Bizantino: Michele Psello", Κοινωνία 5 (1981); C. G. Nearchos, "The 11th-Century Philosophical Revival", in M. E. Mullett and R. Scott (eds.), Byzantium and the Classical Tradition, Birmingham 1981; C. G. Nearchos, "John Patricios: Michael Psellos in Praise of his Student and friend", Byzantium 11 (1982).

[12] M. J. Kyriakis, "Medieval European Society as Seen in Two Eleventh-Century Texts of Michael Psellos", Byzantine Studies/Etudes Byzantines 4 (1977), p. 185.

[13] M. E. Mullett, "The Madness of genre", DOP 46 (1992).

[14] Among them S. Ronchey, Indagini ermeneutiche e critico-testuali sulla Cronografia di Psello, Istituto storico italiano per il medio evo, Studi storici, fasc. 152, Roma 1985; idem, "Ancora sulla Cronografia di Psello", Bulletino dell'Istituto Storico per il medio Evo e Archivio Muratoriano 94 (1988); U. Albini, Chiose a Psello, SIFC III, S. 2, 1984; idem, Andronico Duca, maestro nel desegno? SIFC III S. 3, 1985; idem, L'impazienza di Constantino IX Monomacho, SIFC III, S. 6, 1988; K. Snipes, "The Chronographia of Michael Psellos and the Textual Tradition and Transmission of the Eleventh and Twelfth centuries", ΗΠΒΘ 27/28 (1989); A. Dyck, "Psellus tragicus: Observations on Chronografia", 5.2 ff., in Presence of Byzantium. Studies presented to Milton V. Anastos in Honor of his Eighty-Fifth Birthday, Amsterdam 1994.

[15] I can refer only to the rather traditional papers of P. Carelos who tried to establish the ways of employing the quotations used in the Chronography [P. Carelos, "Die Autoren der zweiten Sophistik und die ЧспнпгсбцЯб des Michael Psellos", JÖB 41 (1991)] and of St. Linnér devoted also to literary reminiscences in this work [St. Linnér, "Literary Echoes in Psellos' Chronografia", Byz. 51 (1981)].

[16] D. Gemitti, Aspetti del pensiero religioso di Michelle Psello con presentazione di C. Capizzi, Studi e ricerce sull'Oriente cristiano, VI, 2, Roma 1983.

[17] U. Criscuolo, "Osservazioni sugli scritti retorici di Michele Psello", JÖB 32/3 (1982); G. Vergari, "Per una reeditione dell' "Epitafio per la madre" di Michele Psello", Orpheus, VIII 2 (1987); G. Vergari, "Macro- e micro-Ipotesi in un'Orazione di Michele Psello", BF 15.

[18] M. D. Spadaro, "Un inedito di Psello dal cod. Paris. gr. 1182", Ελληνικά 30,1, (1977/78).

[19] A. Sideras, "Die Zugehörigkeit eines umstrittenen Monodiefragments von Psellos und sein unbekannter Adressat", BZ 74 (1981).

[20] E. Fischer, "Michael Psellos on the Rhetoric and the Life of St Auxentius", BMGS 17 (1993).

[21] 21. Č. Milovanovič, "Psel i Grigorije, Nona i Teodota", ЗРВИ 23 (1994).

[22] A. Dyck (ed.), Michael Psellus. The Essays on Euripides and George of Pisidia and on Heliodorous and Achilles Tatius, Wien 1986.

[23] Ch. Chamberlain, "The Theory and Practice of the Imperial Panegyric in Michael Psellus. The Tension between History and Rhetorics", Byz. 56 (1986).

[24] A. Kazhdan, "Hagiographical Notes", Byz. 53 (1983), reprinted in A. Kazhdan, Authors and Texts in Byzantium, Variorum Reprints 1993.

[25] See note 3. The publisher of the Historia syntomos does not want to see in this oeuvre a genuine work of Psellos. I rejected Aert's suggestions (J. Ljubarskij, "Kratkaja istorija' Michaella Psella. Sushchestvujet li problema avtorstva?", BB 55 (80), 1994). The late K. Snipes shared my view, see K. Snipes, "A Newly Discovered Historical Work of Michael Psellos", in 3rd Annual Byzantine Studies Conference, Abstracts, New York 1977.

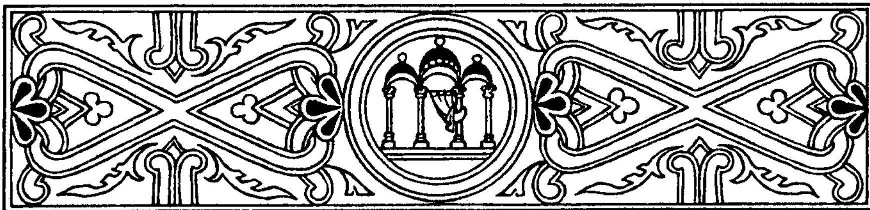
[26] See J. Ljubarskij, "Some Notes on the Newly Discovered Historical Work by Psellos, TO ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ", in Studies in Honor of Speros Vryonis, V. 1, New Rochelle-New York 1993.

[27] Eva de Vries-van der Velden, "Bezielde schilderkunst'. Michael Psellos (1018-ca. 1080/90) en de religieuze kunst van zijn tijd", Het Christelijk Oosten 49 (1997).

[28] BZ 92 (1999), S. 192.

[29] R. Browing, A. Cutler, "In the Margins of Byzantium? Some Icons in Michael Psellos", BMGS 16 (1992).

[30] Chr. Angelidi, ὁΜιχαὴλ Ψελλός: η ματιά του φιλότεχνοὐ, Σύμμεικτα 12 (1998).



И ВНОВЬ О ХОНИАТЕ И КИННАМЕ*

Заголовок этой заметки должен напомнить читателю название статьи А. П. Каждана, опубликованной уже сорок лет назад[1], о которой немного ниже.

Проблема соотношения текстов двух историков XII в., писавших об одном и том же времени и живших примерно в одну и ту же эпоху (Хониат был младше Киннама лет на двадцать), неоднократно обсуждалась в новое время. Разброс мнений оказался достаточно велик: одни говорили о зависимости Хониата от появившегося несколькими десятилетиями ранее труда Киннама, другие настаивали на полной самостоятельности обоих текстов. Лишь два исследователя XX в. — В. Греку и, особенно, А. Каждан — дали себе труд последовательно сравнить сообщения и форму рассказов обоих авторов и пришли к единодушному выводу, что Хониат зависим от Киннама[2]. Разница в их суждениях заключалась в том, что, по В. Греку, который отмечал лишь языковые сходства, заимствования Хониата у Киннама обнаруживаются в разделах его «Истории», посвященных царствованиям как Иоанна II, так и Мануила I Комнинов (книги I–IX), в то время как, согласно А. Каждану, исследовавшему не столько языковые совпадения, сколько тождество и различия в композиции, влияние Киннама можно наблюдать только в первой книге Хониата (о царствовании Иоанна Комнина).

Вывод А. Каждана звучит достаточно определенно: «Тождество плана повествования в обоих хрониках имеет место в I книге, посвященной правлению Иоанна II Комнина, и практически исчезает после рассказа о его смерти. В дальнейшем мы можем наблюдать лишь случайные совпадения. Независимость обоих историков в рассказе о царствовании Мануила I особенно подчеркивает сходство повествования в I книге»[3].

Не оспаривая этого вывода по существу, позволим себе усомниться лишь в одной частности: действительно ли случайны совпадения в повествовании обоих историков о Мануиле?

Отмечая совпадения между двумя авторами, В. Греку приводит всего четыре примера из текста самих произведений (остальные заимствованы из проэмиев). Из этих четырех примеров два относятся именно к царствованию Мануила![4]

Сам А. П. Каждан отмечает некоторое сходство в изложении нескольких эпизодов у обоих историков, которое, как уже говорилось, он счел случай-

* Статья опубликована в АДСВ, вып. 33, Екатеринбург, 2002, с. 123–127.

ным[5]. В новом итальянском издании «Истории» Хониата Р. Маизано тоже отметил в своем комментарии несколько показавшихся ему сходных пассажей. Так Хониат описывает противозаконную связь любвеобильного Андроника (будущего императора Андроника I) с Филиппой в выражениях, сходных с теми, которые употребляет Киннам в отношении Андроника и Феодоры (Chon., 140; Cinn., 250.17 sq.)[6].

К этому числу прибавим и другое наблюдение. Рассказывая об осаде войском Мануила Сирмия в 1165 г., Хониат пишет, что венгры осыпали византийцев злой бранью со стен города, однако осаждающие воздержались от брани как от оружия позорного и бабского (ὡς ἀγεννοῦς ὅπλου καὶ γυναικείου) и решили дело силой оружия (Chon., 133.64–134.72). В этом пассаже особенно интересен для наших целей эпитет γυναικεῖος («бабский»), которым определяется брань и сквернословие защитников крепости. Дело в том, что в аналогичном эпизоде у Киннама повествуется о некоей женщине, которая, стоя на стене Сирмия, бесстыдно задрала юбку, обнажила свой зад перед осаждающими и при этом «несла какую-то нескончаемую ахинею (ἀπέραντον βαττολογίαν)». Один из воинов послал стрелу и убил насмешницу, труп которой потом обнаружили византийцы (Cinn., 246.2–10). Не является ли эпитет γυναικεῖος своеобразной «репликой» рассказа Киннама?

Однако, пожалуй, самым ярким из примеров сходства обоих текстов является эпизод бегства Андроника из тюрьмы, относящийся тоже к 1165 г. Изложу этот эпизод, используя исключительно сообщения и детали, совпадающие у обоих авторов:

1. Андроник делает на воске отпечатки ключей от своей камеры (κηρῷ τὰς κλεῖδας μεταλαβὼν — Cinn., 233.3; κηρῷ ἐκμάξασθαι ταύτας — Chon., 129. 36).

2. Восковые отпечатки Андроник передает на волю сыну, который изготовляет по ним новые ключи и отсылает их обратно в тюрьму Андронику.

3. Вечером Андроник покидает камеру и прячется в отдаленном нехоженом углу тюремного двора, поросшем высокой травой (ἔνθα ἅτε ὀλίγα πατουμένου τοῦ χώρου βοτάναι τινὲς αὐτόματοι φυόμεναι ἐπὶ πλεῖστον ἀνέτρεχον μῆκος — Cinn., 233. 8–10; χόρτος ἀμφιλαφὴς περί που τὰ ἄβατα μέρη τῶν ἀνακτόρων φυεὶς καὶ εἰς ὕψος ἀναδραμὼν — Chon., 129.48–49).

4. Переждав некоторое время (по Киннаму до поздней ночи, по Хониату — три дня), Андроник поднимается на стену, выходящую к морю, где уже стоит наготове лодка.

5. Андроник уже готов сесть в лодку, как его задерживают стражники, постоянно дежурящие на стенах. Андроник сочиняет легенду для стражников и подкупает их (способ подкупа различен).

6. Явившись домой, Андроник избавляется от кандалов.

7. Андроник покидает Константинополь и отправляется за город, где его уже ожидают приготовленные для него лошади. Андроник бежит в Галицию.

В передаче этого эпизода немало отличающихся нюансов, повествование Хониата несравненно более красочно и богато деталями, тем не менее, как видно, полностью или почти полностью совпадающих у обоих авторов элементов оказалось вполне достаточно, чтобы составить полный и последовательный рассказ о бегстве Андроника.

Одна частность кажется особенно показательной. Согласно Киннаму, Андроник, готовый спуститься в поджидавшую его лодку, поднимается на стену, которая «была не высока, но настолько возвышалась над морем, что оно, вздымаемое ветром, часто било по ней своими влажными ладонями» (Cinn., 233.23–234.2). У Хониата в соответствующем месте читаем: «лодка находилась у берега и выступов, которые делили морскую стену города и разбивали удары волн» (Chon., 129.53–54)[7].

В обоих случаях отмечается одна совершенно необязательная деталь: морские волны, омывающие городскую стену.

Очень похоже, что у того и другого авторов содержится какая-то реплика из некоего общего (с риторическими претензиями (?), вспомним «влажные ладони» у Киннама) письменного источника. Впрочем, первоисточником всего рассказа в целом мог быть только сам Андроник Комнин.

Пожалуй, все приведенные примеры сходства (кроме последнего!) действительно, вслед за А. П. Кажданом можно было бы объяснить простым случайным совпадением. Но не слишком ли много этих «совпадений»? Не кроется ли за «случайностями» еще нам неизвестная «закономерность»?

Примечания

[1] *Каждан А. П.* Еще раз о Киннаме и Никите Хониате // BS. 1963. Vol. 24. С. 4–31.

[2] *Grecu V.* Nicétas Choniatès a-t-il connu l'histoire de Jean Cinnamos // REB. 1950. T. 7; *Каждан А. П.* Еще раз о Киннаме... С. 4 сл.

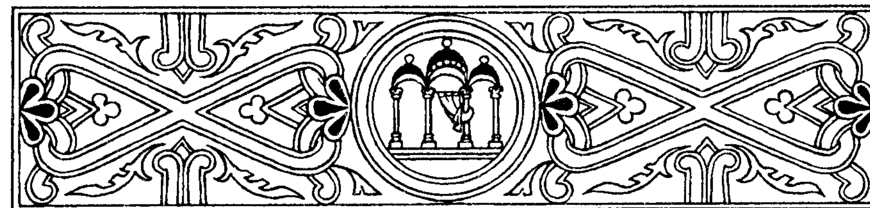
[3] *Каждан А. П.* Еще раз о Киннаме... С. 28.

[4] *Grecu V.* Nicétas Choniatès... P. 200–201.

[5] *Каждан А. П.* Еще раз о Киннаме... С. 23 сл.

[6] Niceta Coniata. Grandezza e catastrofe di Bisanzio / Intr. di A. Kazhdan, testo critico e commento a cura di R. Maisano, 1994. P. 609.

[7] «... περὶ τὰς ἀκτὰς σαλεῦον καὶ τοὺς προβλῆτας, οἳ τὸ πάραλον τεῖχος τῆς πόλεως διειλήφασι, τὰς τῶν κυμάτων ἀποθραύοντες ἐμβολάς». Под «выступами» (προβλῆτας) понимаются, быть может, контрфорсы стены. Наше понимание этого места отличается от итальянского перевода А. Понтани, которая под προβλῆτας понимает «прибрежные камни». См.: Niceta Coniata. I. 295. Ф. Граблер переводит «расположенные перед стеной волнорезы (Wogenbrecher)». Магулинас — «волнорезы (breakwaters), расположенные на определенном расстоянии один от другого перед морскими стенами города». См.: *Magoulinas J. H.* City of Byzantium. Annals of Niketas Choniates. Detroit, 1984. P. 72. Προβλής у древних авторов начиная с Гомера, нередко употреблялся при описании городских стен. См. напр.: Илиада, 12.259. В Суде προβλῆς дается как синоним ἔπαλξις (зубец, бруствер).



АЛЕКСАНДР КАЖДАН — ИСТОРИК ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

В Греции на английском скоро должны выйти из печати два тома (из шести задуманных) «Истории византийской литературы», написанных Александром Петровичем Кажданом.

Если бы начинающему византинисту, их автору, в начале пятидесятых годов сказали, что последним в его жизни капитальным трудом будет многотомная «История византийской литературы», вряд ли он смог бы серьезно отнестись к подобному прорицанию. Как и почти всех советских медиевистов той поры, его более всего занимали проблемы развития феодализма, история города, аграрные отношения и похожая на это тематика.

Однако на деле весь путь Александра Каждана в науке оказался восхождением «снизу вверх», если так позволительно охарактеризовать постепенный переход от тематики социально-экономической (впрочем, А. П. Каждан никогда от нее полностью и не отворачивался) к темам более «возвышенным»: идеологии византийского общества, менталитету византийцев, их мироощущению и, наконец, материи самой «тонкой» — их художественному и в первую очередь литературному творчеству.

Первая работа, посвященная византийскому литератору, была опубликована в 1958 г. и касалась социальных и политических взглядов Фотия[1]. Ничего необычного в интересе историка социальных отношений к воззрениям византийского писателя на этот предмет, конечно, не было. Впрочем, не было ничего необычного и в самой работе. Как и полагалось в то время, А. П. Каждан старался определить, взгляды каких социальных слоев выражает Фотий. Социальные воззрения византийских litterati не перестанут интересовать А. П. Каждана и позже, и через девять лет после работы о Фотии в «Византинославике» появится большая статья о Симеоне Новом Богослове[2], тоже трактующая проблемы его мировоззрения. Однако эта работа уже во многих отношениях примечательна и демонстрирует некоторые из исследовательских приемов, характерных для более «позднего Каждана». Мировоззрение средневекового мистика и писателя занимает Александра Петровича не столько само по себе, сколько в сравнении и противопоставлении со

* Опубликовано в кн. «Мир Александра Каждана». СПб.: Алетейя, 2003, с. 281–291.

взглядами его современников: Кекавмена, Пселла и других. Именно в результате последовательного сопоставления воззрений писателей и мыслителей, произведенного автором статьи, «ноосфера» византийцев перестает казаться унылой и монохромной, как ее часто рисовали предшественники ученого, а напротив, оказывается весьма разнообразной и напряженной, наполненной исканиями и противоборством. Этой тенденции «сопоставительного изучения» А. П. Каждан остался верен и во многих последующих своих работах. В таком стиле Александр Петрович пишет о Михаиле Атталиате[3], но особенно интересным, на наш взгляд, оказывается его большое исследование, посвященное двум византийским риторам рубежа XII–XIII вв. — Никифору Хрисовергу и Николаю Месариту[4].

Если до этой статьи А. П. Каждан отмечал различие в общественно-политических и социальных воззрениях исследуемых им авторов и старался так или иначе объяснить их разницей в позициях и интересах тех или иных слоев и прослоек общества, ими представляемых, то ничего подобного в упомянутой статье уже нет. Более того, А. П. Каждан неоднократно подчеркивает, что в социальной позиции обоих авторов вообще нет никой разницы: и тот и другой — типичные представители византийской аристократической элиты, их общественно-политические воззрения почти не отличаются друг от друга. И тем не менее созданные ими произведения, в том числе и написанные по одному и тому же поводу, совершенно различны: для Хрисоверга реальный мир — не более чем средство иллюстрации некоей абстрактной Идеи, в то время как мир Месарита «чувственно воспринимаемый, радует его теми неожиданными поворотами, в которых открываются наблюдателю вещи и самые будничные предметы...». Мысль о том, что своеобразие средневекового писателя зависит не только от причин внешнего свойства, но и от его творческой индивидуальности и художественной манеры, мысль одинаково еретическая в то время, как это ни странно, и для ортодоксального марксизма, и для классического византиноведения, с тех пор становится едва ли не ведущей в работах А. П. Каждана на литературные сюжеты. Видимо, исследователь сам хорошо понимал нестандартность своего подхода. Отсюда скрытая полемичность тона этой статьи. Уже в предисловии А. П. Каждан пишет о «проблеме, на которую еще не обращали должного внимания,... проблеме многообразия византийской литературы и, если ставить вопрос шире, многообразия византийского мировосприятия» (с. 94). В дальнейшем метод «сравнения», генетически восходящий к знаменитому античному и византийскому «синкрисису», распространяется А. П. Кажданом и на разноязычных писателей[5].

Отныне «столбовая дорога» в чисто литературоведческую тематику оказалась открытой для исследователя. Впрочем, к литературоведческой проблематике А. П. Каждан уже давно подходил и с другой стороны. У Александра Каждана не было филологического образования: он овладевал древне- и среднегреческими языками, постоянно и систематически читая тексты византийских писателей. Тем не менее, постоянно пользуясь нарративными текстами, Александр Каждан испытывал совершенно естественную потребность в их источниковедческом анализе. Уже первые его работы такого типа вскоре стали весьма известны, а многие из них постоянно цитируются и поныне. Это в первую очередь относится к серии статей о византийской хронистике, рукописная традиция и соотношение версий которых крайне запутанны[6].

К этому разряду работ можно отнести и исследование об Иоанне Киннаме и Никите Хониате, опубликованное в 1963 г. (кстати, имя Никиты Хониата, столь значимое для ученого в дальнейшем, впервые появляется в заглавии этого исследования А. П. Каждана!)[7]. Конечно, упомянутые статьи — прежде всего исследования источниковедческие, однако, как известно, когда принципы классической Quellenforschung начинают применяться к нарративным памятникам, литературоведческие критерии оказываются нередко просто необходимы для исследователя. Именно такое сочетание источниковедческих и литературоведческих методов можно обнаружить уже в этих работах А. П. Каждана.

Как бы то ни было, процесс превращения «чистого» историка А. П. Каждана в культуролога и литературоведа в конце шестидесятых годов стал, как ныне говорят, необратим (напомним еще раз, ученый никогда не прекращал чисто исторических исследований!). Все большее число работ А. П. Каждана — едва ли не самого продуктивного ученого среди византиноведов — оказывается посвященными творчеству византийских писателей. Одна из них — статья о риторе XII в. Григории Антиохе[8] — основательнейшее исследование, выдержанное в лучших традициях классической византинистики, основано в значительной мере на неопубликованных материалах, восстанавливает канву жизни ритора, рукописную традицию его сочинений и содержит все другое, что положено включать в такого рода исследования. Единственным отличием от других работ подобного типа является ее последняя часть, где ученый старается дать литературную характеристику византийского ритора. Приведу короткую цитату из заключительной части статьи.

«Антиох, хотя и оставался в рамках средневековой системы видения мира, индивидуальностью восприятия нарушал традиционные принципы византийской риторики. Но вот что примечательно: он делал это крайне нечасто и главным образом в переписке с Евстафием Солунским. Евстафий — один из крупнейших писателей XII столетия, язвительный памфлетист и чуткий наблюдатель, и, обращаясь к нему, Антиох — невольно или сознательно — начинал перенимать манеру корреспондента». В цитированном нами пассаже, взятом из заключения статьи, содержится, во-первых,

интересное наблюдение над способностью византийского корреспондента «применяться» к своему адресату, во-вторых, утверждение, что традиционно «клишированное» восприятие действительности, свойственное Антиоху, не более чем сознательная «дань времени» и, в-третьих, высочайшая оценка современника Григория, Евстафия Солунского. Слова А. П. Каждана давали, наконец, все основание надеяться на появление исследования о Евстафии Солунском. Оно и действительно не замедлило появиться в трех последовательных номерах «Византийского Временника»[9]. По сути дела, три статьи вместе представляют собой солидную монографию об одном из самых даровитых византийских писателей.

Как и в предыдущей статье о Григории Антиохе, А. П. Каждан начинает с реконструкции биографии Евстафия, продолжает анализом его социальных воззрений, этических представлений и идей об историческом развитии и завершает изложение главкой об эстетических принципах Евстафия. Собственно, эта последняя и представляет для наших целей главный интерес. А. П. Каждану удалось в этой статье то, что редко удавалось до него другим исследователям: он не только понял, но и эстетически пережил текст Евстафия. Напомним, поколения ученых до того времени (да и немалое число и ныне) вообще отказывали византийской словесности в какой бы то ни было эстетической значимости. Но что составило основной предмет «эстетического переживания» автора статьи? Вовсе не то, что, с точки зрения византийцев, да и самого Евстафия Солунского, должно было служить сутью и содержанием словесного творчества, т. е. абстрактно-обобщенное изображение, долженствующее увести читателя или слушателя из реального мира в «чистую» сферу духа. Как раз напротив, А. П. Каждан подчеркивает и даже любуется в сочинениях Евстафия конкретными, «чувственными» деталями, которые как бы контрабандой попали в его сочинения и не дают читателям полностью погрузиться в «чистую сферу духа». А таких деталей действительно немало у Евстафия. Вот некоторые, наиболее впечатляющие из тех, что отмечены А. П. Кажданом. В захваченной латинянами Фессалонике собаки лают на греков, но, виляя хвостами, жмутся к сапогам латинских завоевателей... Сам Евстафий, не выдержав как-то ночью возни мышей в своем доме, поднялся с ложа и со светильником в одной руке, розгой в другой принялся охотиться за нахальными зверьками, но те убежали, и только дрожащий сосуд с вином (он был подвешен на веревке) напоминал о беглецах...

Как уже говорилось, и в этой работе подобные детали в глазах А. П. Каждана — не более чем «исключение из правил», отклонение от обобщенно-спиритуалистического типа изображения реальности. Однако эти система и норма «дают сбой», по мысли ученого, в XI–XII вв., и статья заканчивается весьма значительным и важным выводом: «Византийская литература создала обобщенно-спиритуалистическую систему отражения мира — отражения

в формулах, в обобщенных символах, непременно окрашенных назидательностью, нацеленной на спасение души. XI и XII столетия явились временем ломки этого религиозно-мистического принципа и возрастания интереса к многообразной и пестрой действительности. Евстафию... принадлежит немалая роль в движении тех лет»[10].

Пожалуй, самое важное и принципиальное суждение А. П. Каждана о византийской литературе было произнесено именно в этой работе: XI–XII вв. — переломный этап развития византийской словесности. Этот вывод важен не только сам по себе, но и содержит также другое, еще более общее и принципиальное суждение: византийская литература была не перманентной реализацией изначально заложенных в ней возможностей и непрерывным повторением самой себя, но, подобно любой другой, находилась в постоянном движении и развитии.

А. П. Каждан продолжает литературоведческие занятия и в семидесятых-восьмидесятых годах. В кругу его интересов находятся главным образом два основных литературных жанра: агиография и историография. Об агиографии «поздний Каждан» писал много, что в значительной мере связано с проектом создания «базы данных» по житиям святых, осуществляемом в Дамбартон Оуксе, куда в 1979 г. переехал вынужденный эмигрировать из страны ученый. Одна за другой в разных европейских журналах выходят его «Заметки об агиографии»[11]. Сошлюсь, однако, здесь только на одну из них, пожалуй, наиболее характерную для исследовательского метода А. П. Каждана. Я имею в виду работу о «Житии Авксентия» Пселла, которая явно далеко выходит за рамки Дамбартоновского проекта, главной целью которого было собирание и классификация почерпнутых из житий сведений о реалиях византийского бытия. Согласно наблюдению А. П. Каждана, Пселл вводит в традиционный сюжет «Жития Авксентия» элементы, не имеющие ничего общего с событиями жизни святого, но явно отражающие реальность пселловского окружения. Главные персонажи «Жития», по мысли ученого, на самом деле не что иное, как «проекция» образов ближайших друзей Пселла, а его собственные черты в той или иной степени воплощены в образе главного героя — Авксентия. Трудно себе представить более «революционное» преобразование жанровых условностей житийной литературы, чем то, которое подметил А. Каждан в небольшом и во всем остальном традиционном произведении Пселла.

Не менее интересен ход рассуждений А. П. Каждана и в статье об Иоанне Кантакузине (она была написана по-русски еще в Москве, но публиковалась по-французски во время пребывания в Париже в первый год эмиграции)[12]. Как следует уже из заглавия, Кантакузин интересует ученого исключительно как писатель (попутно заметим, в предыдущих статьях художественный, эстетический анализ, как правило, присутствовал у А. П. Каждана в основном лишь в заключительных частях работ). Ученый отмечает, что сама «История»

— сочинение скорее художественное, нежели историческое. Он утверждает, что образ автора доминирует на всем протяжении повествования. Отмечая присутствующую в произведении «героику поражения», он оперирует при анализе таким понятием, как «трагедийность образов», говорит о противоречии между «уровнем содержания» и «уровнем языка».

Последнее замечание особенно интересно. А. П. Каждан-историк не раз писал о том, что любой нарративный источник в состоянии предоставить современному исследователю много больше информации, чем та, что непосредственно содержится в его сочинении. Для того чтобы извлечь ее, необходимо анализировать язык автора, особенно частотность употребления в его произведении тех или иных слов и терминов, географических названий и т. п. Этот метод оказался для А. П. Каждана особенно полезен при анализе художественной природы произведений. Он был заявлен ученым в статье о Кантакузине, но систематически использован в применении к другому византийскому историку — Никите Хониату.

Никита Хониат — старая «страсть» А. П. Каждана. Первая работа о нем чисто источниковедческого характера, как уже отмечалось, появилась еще в 1963 г. В опубликованной через десять лет популярной книге «Книга и писатель в Византии»[13] самая большая и, пожалуй, интересная ее глава посвящена именно Никите Хониату. Совсем незадолго до эмиграции ученый подготовил большое исследование об этом историке (его неопубликованная рукопись хранится у меня. — *Я. Л.*). По всем признакам, именно изучению «Истории» Никиты Хониата ученый и намеревался в то время посвятить свои основные усилия. Во всяком случае, примерно в те годы он взялся за почти «неподъемный» (по обычным меркам) для одного исследователя труд по составлению полного словаря Никиты (хранится сейчас в составе знаменитой картотеки А. П. Каждана).

Завершающего и обобщающего исследования о Хониате А. П. Каждан так и не создал, но статьи о нем, явно написанные на материале словаря, вскоре стали появляться в разных изданиях[14]. Они весьма разнообразны по содержанию, но объединены одним исследовательским методом и одной мыслью: язык писателя, частотность употребления слов, их контекст и т. п. говорит о писателе много больше, чем он сам сообщает о себе в произведении.

Несомненно, уже в семидесятых годах комплекс основных идей и взглядов А. П. Каждана на византийскую литературу (впрочем, как и на культуру и византийское общество в целом) сформировался. Наступало время подведения итогов и обобщений. Не случайно одной из первых книг Александра Петровича, изданных в Америке, оказалась книга «Исследования по византийской литературе XI и XII веков», написанная в содружестве с С. Фрэнклином[15]. В книге был переработан материал уже публиковавшихся ранее по-русски работ и четко заявлена теоретическая позиция исследователя.

В середине восьмидесятых годов в переписке А. П. Каждана стало мелькать упоминание задуманного им большого труда по истории византийской литературы, того самого, о котором говорилось в начале этой статьи (в письмах ко мне он фигурировал под «кодовым» наименованием GBL — Geschichte der byzantinische Literatur).

Однако приняться за его написание Александр Петрович сразу не смог: в это время он взвалил на себя очередной «неподъемный груз» — первый в истории науки трехтомный «Византийский словарь»[16]. Лишь после его окончания в 1991 г. началась интенсивная работа над «Историей византийской литературы».

Первые два тома (из шести задуманных) объемом примерно в тысячу страниц были готовы уже весной 1997 г. и разосланы ряду видных ученых, приглашенных принять участие в их обсуждении. Мне в тот период посчастливилось быть в Дамбартон Оуксе. Почти каждый вечер после окончания рабочего дня мы гуляли с Александром Петровичем по зеленым улицам Вашингтона и, естественно, много говорили и его труде, и о предстоящем обсуждении. Как это ни покажется странным, Александр Петрович волновался. Обычно внешне невозмутимый и вполне уверенный в себе, он откровенно признавался, что волнуется и даже немного побаивается обсуждения, которое, собственно, и организовано было по его просьбе. Сначала мне это казалось странным, однако недоумение сменилось пониманием, как только я начал читать саму рукопись. Слишком необычными были принципы, легшие в основу этого труда. Хотя для следивших внимательно за работами А. Каждана эти принципы уже не были откровением, тем не менее, сконцентрированные вместе и декларированные в предисловии, они впечатляли не только грандиозностью замысла, но и разрывом с традицией, по который сознательно шел ученый.

А. П. Каждан, отдавая должное грандиозным систематизаторским трудам К. Крумбахера, Г. Бека и Г. Хунгера о византийской литературе, тем не менее выбрал совершенно иные идеи и стиль для написании истории литературы. Расхождения с предшественниками касались прежде всего самого предмета исследования: содержания, вкладываемого в понятие «литература». Для его предшественников литература — это совокупность текстов, дошедших до нас от Византии, независимо от того, можно ли их квалифицировать как «изящную словесность» или они принадлежат, например, к философии, праву или даже математике или астрологии. Напротив, для А. П. Каждана литература — это прежде всего belles-lettres, само существование которой в Византии вообще ставилось под сомнение рядом ученых. Отдавая себе отчет во всей сложной и длинной истории вопроса о различии между «литературой» и «не-литературой» и оставляя решать детали теоретикам изящной словесности, А. П. Каждан предлагает простой (может быть, даже несколько

упрощенный), но в целом относительно надежный способ различения того и другого: в то время как «не-писатель» выражает свою мысль (сейчас бы сказали «концепт») expressis verbis, «писатель» делает это всегда косвенно и непрямо. Постулат этот иллюстрируется на примере, заимствованном из самой византийской литературы. Врач и литератор XI в. Симеон Сиф предупреждает против употребления в пищу грибов, поскольку велика возможность отравиться. Его современник Кекавмен высказывает ту же мысль, тем не менее функции обоих высказываний совершенно различны. В то время как Сиф действительно хочет предупредить своих потенциальных пациентов от использования опасной пищи, слова Кекавмена получают смысл только в контексте его общих мировоззренческих установок: окружающий мир опасен и таит в себе постоянную угрозу для человека. Одна и та же мысль или фраза — а не только сочинение в целом — может быть «литературной» или «не-литературной» в зависимости от контекста, равно как и подтекста, который может в ней быть или отсутствовать. Таким образом, А. П. Каждан рассматривает византийскую словесность «выборочно», при этом концентрирует главное свое внимание на творчестве писателей, пролагающих новые пути и создающих новые формы в литературе. В сущности, ученый применяет к византийской словесности методы, уже давно испытанные в отношении других литератур, но категорически отвергавшиеся византинистами.

Во-вторых, А. П. Каждан категорически отказывается от «каталогизаторского» метода Крумбахера, Бека и Хунгера. Его труд — не систематизация текстов по жанровому признаку, а *история* литературы. В связи с этим главную роль для исследователя должен играть не диктат жанра (madness of genre, по выражению современной английской исследовательницы Маллет), а история смены форм и методов художественного отражения реальности. При этом не знаменитый mimesis, а творческая индивидуальность писателя имеет значение в этом процессе.

Естественно, что предстоящее обсуждение труда, написанного по таким непривычным принципам, должно было вызвать волнение даже у закаленного в дискуссиях автора. Дело, конечно, заключалось не только в декларированных установках. Сам конкретный анализ вполне конкретных произведений оказывался часто по сути дела полемичным, хотя внешне несогласие с прежними исследователями, как правило, ограничивалось традиционными вопросами датировок, авторской принадлежности и т. п. Кроме того, как уже отмечалось, А. П. Каждан не только исследовал литературные тексты, но и старался эстетически пережить их, что, естественно, придавало исследованию определенный субъективный характер и таким образом «открывало фланги» для критики оппонентов.

Чтобы дать читателю представление о методе и характере этого еще не известного русскому читателю труда, приведу только один пример из этой

книги. Вот как анализирует А. П. Каждан «Слово на Благовещенье» патриарха Германа (PG 98: 319–340). Отметив хорошую композиционную организацию этого произведения и ряд других особенностей его формы, А. П. Каждан переходит к тому, что он называет его содержательной стороной. Основная часть «Слова» состоит из двух диалогов — архангела Гавриила и Марии, Марии и Иосифа, которые А. Каждан сопоставляет со стихомифией агонов античной трагедии. Ученый обращает внимание на те средства, которыми автор «рисует характеры» своих героев. Речь Гавриила торжественна и возвышенна; он вполне сознает величие той миссии, которая на него возложена. В то же время речь Марии — свидетельство простоты и невинности, она даже не может сначала понять, что хочет возвестить ей божественный вестник, и собирается прогнать его, полагая «неприличным» его появление в ее жилище. Картина совершенно меняется во втором диалоге. Мария теперь уже исполнена сознания той великой миссии, которая на нее возложена. Ее речь поднимается до уровня высокой риторики и пестрит непростыми метафорами. Напротив, в роли плохо понимающего ситуацию «простака» выступает отец Иосиф. «Оба диалога, — заключает А. Каждан — построены на столкновении двух уровней знания и соответственно двух лексических уровней». Стремление найти везде, где возможно (а в нескольких нечастых случаях, как мне показалось, и где невозможно), «неповторимую особенность», своего рода «изюминку произведения» и строить свой анализ вокруг нее — таков принцип этого неординарного во всех отношениях исследования.

Таких иллюстраций можно подобрать множество, но я не случайно выбрал именно этот пример, так как, во-первых, художественный анализ применяется здесь к проповеди, т. е. произведению жанра, обычно совсем не считающегося «художественным». Во-вторых, речь идет о литературе VIII в., т. е. периода культурного упадка Византии, от которого менее всего можно ожидать каких бы то ни было художественных находок. Далее, А. П. Каждан сопоставляет гомилию Германа с произведениями других писателей, в частности Андрея Критского, с целью показать своеобразие обоих писателей. Делается это без всякой оглядки на жанр. Более того, исследователь нарочито пренебрегает жанровыми границами, всячески показывая, что автор остается самим собой и в гомилии, и в литургической поэзии, и в житии святого.

Последнее весьма знаменательно. Подход к проблеме жанра вообще, как мне представляется, — наиболее полемически заостренный аспект этой книги. Стремясь опровергнуть обычные представления византинистов о скованности и «зажатости» среднегреческих писателей жанровыми законами и границами, А. П. Каждан с явным задором всюду старается подчеркнуть индивидуальность византийских писателей, их открытость веяниям времени и способности к преодолеванию жанровых ограничений. Вообще ориентация

на авторскую индивидуальность весьма характерна для исследовательского метода А. Каждана. В этом отношении он, безусловно, творчески развивал установки «Школы Анналов», приверженцем которой всегда являлся[17].

Вспоминаю в этой связи наш разговор, состоявшийся в Петербурге весной 1994 г. Я говорил об опасностях, которые таят в себе субъективные оценки памятников средневековой литературы, и, в частности, упоминал о новых теориях постструктуралистского толка в литературоведении, претендующих на выработку объективных критериев оценки литературных произведений. Александр Петрович заинтересовался и попросил меня дать ему список основных работ этого направления. Я это сделал и вскоре получил письмо из Вашингтона, написанное в довольно раздраженном тоне, совершенно не характерном для нашей переписки. Александр Петрович прочел книги и статьи из моего списка, остался ими крайне недоволен и даже как бы косвенно упрекал меня за потерянное им время. К этой же теме он не раз возвращался в последующих письмах. Я тоже отнюдь не был безоговорочным сторонником построений «постструктуралистов», но крайне отрицательное к ним отношение А. П. Каждана, как мне кажется, имело особые причины. Постструктуралисты принципиально игнорировали автора художественного сочинения (вспомним заголовок известной работы Р. Барта: «Смерть автора»[18]), в то время как для него самого авторская индивидуальность была определяющей для литературного произведения.

Конечно, Александр Петрович напрасно опасался обсуждения. Он остался им очень доволен не потому только, что услышал похвальные слова в свой адрес, но и по той причине, что счел его для себя полезным и конструктивным.

К великому сожалению, высказанные замечания А. П. Каждан успел учесть только частично, как и не смог закончить задуманный им шеститомный труд. 28 мая 1997 г. Александра Петровича не стало.

Как скоро найдется отважный продолжатель дела А. П. Каждана?

Примечания

[1] *Каждан А. П.* Социальные и политические взгляды Фотия // Ежегодник истории религии и атеизма. 1958. Вып. 2. С. 107–136.

[2] *Каждан А. П.* Предварительные замечания о мировоззрении византийского мистика X–XI вв. Симеона // Byzantinoslavica. 1967. Bd. 28. S. 1–38.

[3] *Каждан А. П.* Социальные воззрения Михаила Атталиата // ЗРВИ. 1976. XVII. С. 1–53.

[4] *Каждан А.* Никифор Хрисоверг и Николай Месарит: Опыт сравнительной характеристики // ВВ. 1969. Вып. 30. С. 94–111.

[5] *Каждан А. П.* Роберт де Клари и Никита Хоннат (Некоторые особенности писательской манеры) // Европа в Средние века: экономика, политика, культура. М.: 1972. С. 294–299.

[6] *Каждан А. П.* Хроника Симеона Логофета // ВВ. 1959. Вып. 15. С. 125–143; *Он же.* Из истории византийской хронографии X в.: 1) О составе так называемой хроники Продолжателя Феофана // ВВ. 1961. Вып. 19. С. 76–96; *Он же.* Из истории византийской хронографии X в. // ВВ. 1961. Вып. 20. С. 106–128.

[7] *Каждан А. П.* Еще раз о Киннаме и Никите Хониате // BS. 1963. Bd. 24. S. 4–31.

[8] *Каждан А. П.* Григорий Антиох: Жизнь и творчество одного чиновника // ВВ. 1965. Вып. 26. С. 77–99.

[9] *Каждан А. П.* Византийский публицист Евстафии Солунский // ВВ. 1967–1969. Вып. 27–29.

[10] *Каждан А. П.* Византийский публицист Евстафий Солунский // ВВ. 1969. Вып. 29. С. 195.

[11] Собраны вместе в: *Kazhdan A.* Authors and Texts in Byzantium // VR. 1993.

[12] *Kazhdan A.* L'Histoire de Cantacuzène en tant qu'oeuvre littéraire // Byz. 1980. Bd. 50. S. 279–335. (Машинописный русский текст хранился у меня и сдан в архив Каждана, хранящийся в Санкт-Петербургском Архиве РАН. — *Я. Л.*)

[13] *Каждан А. П.* Книга и писатель в Византии. М., 1973; в 1983 г. переизд. поитальянски.

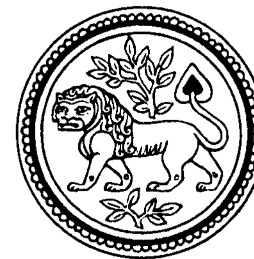
[14] Приведу здесь, например: *Kazhdan A.* Körper in der Geschichtswerk des Niketas Choniates // Fest und Alltag in Byzanz. München, 1990. S. 91–105, 199–201; *Каждан А.* Идея движения в словаре византийского историка Никиты Хониата // Одиссей. М., 1994. С. 95–116.

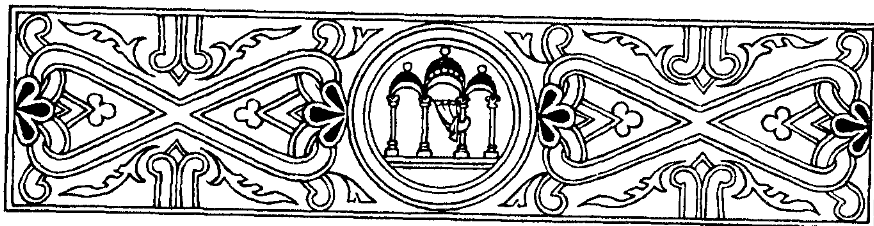
[15] *Kazhdan A., Franklin S.* Studies in Byzantine Literature of the Eleventh and Twelth Centuries. Cambridge, 1984. За несколько лет до этой книги А. П. Каждан публикует также весьма важную обобщающего характера работу о человеке в византийской литературе. См.: *Kazhdan A.* Der Mensch in der byzantinischen Literaturgeschichte // JÖB. 1979. Bd. 28. S. 1–21.

[16] The Oxford Dictionary of Byzantium. N. Y.; Oxford, 1991. Vol. I–III.

[17] См.: *Любарский Я.* Александр Петрович Каждан [предисловие] // Каждан А. П. Византийская культура (X–XII в): 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Алетейя, 1997.

[18] *Barthes R.* The Death of the Author // Image, Music, Text / Transl. and ed. S. Heath. L.; N. Y., 1977.





HOW SHOULD A BYZANTINE TEXT BE READ?*

I begin in good traditional fashion with a *captatio benevolentiae*. The topic of this paper was not invented by me but was suggested by the organizers of the symposium: it puzzled me somewhat and I was, and still am, in doubt whether I am the right person to make proposals about how a Byzantine text should be read, and indeed whether in principle this is a task that can be undertaken at all. Then I began questioning myself: should the works of medieval Greek writers be read differently from any other texts of the world literature? Should texts of different genres be interpreted in the same way? Should the modern reader try to imitate his medieval forerunners in appreciating Byzantine texts or should he approach them in the usual way? And so forth. To tell the truth, I could not find definite answers for some of these questions. Nevertheless I will dare now to suggest some points to bear in mind when reading Byzantine texts, in the hope that they might provoke a discussion which would not be without value for scholars and readers, and which have some relevance in a series of papers considering the role of rhetoric in Byzantium.

It is clear to everyone that the traditional methods of classical philology (by which I mean the correct interpretation and emendation of a text and the extraction of historical information from it) can and must be used by Byzantinists. Moreover, these methods are the *conditio sine qua non* for every serious work in the field of Byzantine studies. But the problem under discussion now is as follows: is there anything peculiar in the works of Byzantine authors that differentiates them from other texts and should make readers deal with them differently? Some scholars tend to answer this question positively, and there is a wide-spread opinion that Byzantine texts are of a special kind. One can see two different approaches to this problem. According to the first, the Byzantine writer was concerned more with demonstrating his (or her) rhetorical skills and imitating ancient authors than with describing historical reality; therefore the historical information to be extracted from their texts is scarce, worthless, and cannot be taken at face value. This approach was theoretically based and most explicitly formulated by two outstanding scholars: C. Mango and S. Averintzev. To summarize this position briefly, Byzantine literature has little

* Статья опубликована в // Rhetoric in Byzantium, ed. by E. Jeffreys. Society for Promotion of Byzantine Studies. Great Britain, Asgathe Publishing Ltd., 2003.

contact with reality and is a kind of «distorting mirror» (I refer here to the title of Cyril Mango's well-known inaugural lecture)[1]. Byzantine writers, influenced by the «school norms» (i.e. an education based on rhetoric, acquired at school) were not able to express their own feelings and thoughts in their compositions[2]; therefore the modem reader can judge how well or how badly a Byzantine writer was educated, but as a rule fails to learn what he really felt and thought.

The other approach to the problem of reading and interpreting Byzantine texts originates from the Byzantines themselves. It is well known that many allegorical and symbolical interpretations of ancient texts were composed in Byzantium. This has enabled some modern scholars to apply this method to the works of the Byzantines themselves. It is well known, as the adepts of this theory assure us, that the surrounding world was for the Byzantines full of signs and symbols, sent by Higher Powers, God, Providence and so on; therefore the presentation of real life was nothing more than the means of revealing or, on the contrary, concealing these signs and symbols. So the main task of the modern scholar is to penetrate beneath the surface and try to understand and explain what was in reality meant by the author.

It is in this connection that I would like to refer to Sofia Poljakova, whose works are very significant because she tried to apply this method to the literary genre which seems to be the least appropriate for this kind of interpretation: I mean the Byzantine erotic romances. The existence of a real erotic literature seemed to her to be hardly possible in pious Byzantium and she tried to see in the actions and earthly feelings of the romances' characters the representation of Divine Love and similar lofty subjects[3].

It may seem strange that the attempt to approach at least some Byzantine texts as pieces of literature is very recent. Its adherents do not wish to separate the works of medieval Greek writers from other literatures but, on the contrary, try to apply to them criteria common to other literatures. In this respect I would refer to Alexander Kazhdan's recent study on Byzantine literature (the first volume of the six planned by him)[4]. I do this, not because he was the first to support this view, but because it is in this book that he formulates the principles most clearly and explicitly. The crucial point of Kazhdan's deliberations is the necessity of dividing Byzantine texts into *Literatur* and *Schrifttum*, perhaps to be translated as «literature» and «writing». In contrast to the latter, literary texts — «literature» — do not reveal their sense *expressis verbis*, but have two or even more levels, and these levels have nothing to do with direct and allegorical senses, postulated by medieval commentators and followed by S. Poljakova and others. Kazhdan has in mind the polysemy inherent in every fiction.

Let me take a specimen of Kazhdan's analytical method. When analysing the Homily on the Annunciation by the Patriarch Germanos I (early eighth century), Kazhdan points to two dialogues which it presents. The first is between God's

messenger Gabriel and the Virgin Mary, the second is between Mary and her husband Joseph. The archangel Gabriel is armed with complete knowledge of future events and their «world-wide significance». Accordingly his speech is lofty and very solemn, and its wording and syntax is extremely rhetorical. By way of contrast, Mary is a simple girl unable to understand either his allusions or his wording. Therefore her vocabulary and syntax is appropriate to her position. «Go away from my town», «I am not accustomed to have social intercourse with a stranger», she says to Gabriel. The second dialogue (that of Mary and Joseph) is similarly structured, but Mary is now aware of her divine mission. Accordingly her speech becomes rhetorical and her vocabulary elevated. On the contrary, Joseph is depicted here as a simple carpenter who cannot understand the sacramental meaning of Mary's words. His speech seems now to be naive and simple like that of Mary in the first dialogue[5].

Those who read and listened to Germanos' Homily must have been well aware of the content of the Annunciation story, and Germanos' aim was surely not to retell it but to impress the audience. The way which the patriarch chose is absolutely artistic: in a sense the «overtones» of his Homily are more important than its main content.

This specimen is very significant since the artistic value does not coincide here with the rhetorical ambitions of the author and in a sense is even in opposition to them. Indeed, it is possible to give many examples of how Byzantine writers transgress the limits of rhetoric and enter the field of fiction. It will suffice here to give two examples, taken from the History of Leo the Deacon, a work which surely cannot be considered a masterpiece of world literature. Thus it is the more noteworthy how great is the role played by the «overtones» in the episodes to be cited. I would like to remind the reader of the famous scene when John Tzimiskes murders Nikephoros Phokas.

The empress Theophano, who was in love with John Tzimiskes, asked her husband Nikephoros not to close the door of his chamber for the night as she might come to him. The conspirators, gathered in Theophano's chamber, left the room awaiting John who was supposed to come from outside. As Leo writes, «it was five o'clock in the morning, the cold north wind caused a movement of air and a storm, thick snow was falling». John and his companions came, entered the palace, and joined the rest of the conspirators. The terrible scene of Nikephoros' murder followed[6]. We cannot regard this episode as an example of rhetorical ornamentation, even less can we treat it allegorically or symbolically. We cannot even be sure that it was really stormy and cold during the night of the murder. 11 is much more probable that the stormy and cold night was necessary so that Leo could stress the tragic context of the events. This is a very rare case where nature has been caught up in the narrative of an event. In short, the passage is a real fiction: the phrases and words say much more than they seem to be saying.

The same can be said about another episode by the same writer. The rebellious Bardas Phokas, deserted by his adherents, is lying sleepless a t night on the eve of his demarche; he prays to God, whispering a psalm. Suddenly he hears a voice, prohibiting him from chanting the psalm. Phokas stands up frightened and waits for the dawn. But in the morning a new vision terrifies him still more. On mounting his horse he notices suddenly that his purple boots (a symbol of imperial power) have become black. Utterly puzzled, Phokas questions his servants, asking if they have changed the boots, but servants ask him to take a look once more a t the boots which turn out to be purple once again[7].

To be sure, both the voice from above and Phokas' distorted vision are instances of the heavenly signs very often employed by Byzantine historiographers, but at the same time they can be seen as the painful hallucinations of a person with a guilty conscience, like that of numerous tragic characters in European Renaissance literature. At any rate this scene is surely ambivalent. As I have noted above, Leo the Deacon's *History* can hardly be thought of as a masterpiece of literature, yet we have found clear instances of polysemy. Indeed, among Byzantine texts in general one can find many cases of even more impressive and «multidimensional» passages.

I would like to give as an example two works of Psellos addressed to the patriarch Michael Keroularios. The first one is considered generally to be a letter but actually seems to be much more like a speech or even a pamphlet rather than an ordinary letter[8]. It is written in the traditional form, of a *synkrisis*, i.e. a comparison between the almighty patriarch and Psellos himself. Generally speaking, the main bulk of the work is an exposition of the contrasts between Keroularios and Psellos. The patriarch is a divine, celestial creature while the nature of the philosopher is terrestrial and low. The patriarch originated from a noble family, while Psellos' origin is humble, and so forth. Psellos seems to extol Keroularios and blame himself. But several times extolling is suddenly transformed into blaming, while blaming turns into praise. Their object meanwhile remain the same. Psellos, for instance, praises the patriarch for his «firm character and steady soul» (τὸ περιὸν τοῦ στασίμου ἤθους καὶ τῆς βεβηκυίας ψυχῆς), but he cannot resist adding «to say nothing of your contempt for education» (ἵνα μὴ λέγω τὸ κατεπεφροντικὸς τῆς παιδεύσεως). Having written this sentence Psellos thought suddenly of its negative sense and wished — sincerely or not — to smooth over the bad impression; therefore he concluded the passage with a short remark: «I say this in order not to censure you but to glorify your steadines»[9].

On the other hand, Psellos' self-humiliation (he is an ordinary human being in contrast to «celestial» Keroularios) cannot be serious at all and, as a matter of fact, it turns very soon into tremendous boasting and huge *hyperbole* for his famous name attracted people from all the parts of the earth: Celts, Arabs, Egyptians, Persians, Ethiopians and so on and so on[10]. But these vainglorious declarations in

their turn are changed into «humble assertions» of the type, «I am a simple and ingenuous person» (ἀρχαίως ἔχω καὶ ἀμαθῶς)[11].

Psellos' letter is evidently full of contradictions which, I suppose, reflect its author's unstable, impulsive, nervous and inconsistent nature. Hatred for the patriarch, mockery and vainglory are all mixed together. In practice, Psellos' letter has several levels and the author is constantly balancing between them.

The opposition between explicit words and implicit meaning is still more obvious in the funerary oration or epitaph devoted to Kerularios[12]. The genre of epitaph is by definition a sort of *laudatio*, and Psellos praises Kerularios in the usual manner of a panegyrist. All the necessary virtues are ascribed to the late patriarch and in this respect his image differs hardly at all from those of other characters in Psellos' laudatory speeches. But high-style wording and emphatic praise may seem suspicious to an attentive reader, particularly if he is aware of the implications of the relations between the writer and patriarch. And indeed, as in his «letter» to Keroularios mentioned above, the negative image of the patriarch, as seen by Psellos, emerges gradually from traditional praising. Trying, for instance, to educate the people, the «pious and virtuous» Keroularios himself looks always gloomy, dark and irritated. As we know well from elsewhere in his writings, all these traits are negative in Psellos' view. In this epitaph one can distinguish two levels, surface and internal. Properly speaking, the epitaph is a specimen of irony in the classical sense of the word: the author states openly precisely the opposite to what he thinks in reality.

With this reference to irony, I have touched on a very important and interesting topic, which has only recently begun to attract the interest of Byzantinsts. Byzantine authors, as a rule solemn, full of dignity and pious, are not normally regarded as ironic. However, recently traces of humour and irony in their works have become evident, at least to some scholars[13]. The problem of irony is of special importance for the aim of this paper because ironic texts are by definition multi-dimensional and ambivalent.

Byzantine authors used many methods to produce an ironic effect. In order to demonstrate one of them I would like to refer to one of the greatest works of Byzantine historiography, the *History* by Niketas Choniates. I have tried to show elsewhere the ironic nature of some passages of Choniates' *History*[14], and will cite here only a short extract of this analysis.

As some scholars have already stressed, in Niketas' work Manuel I is one of the most complex and contradictory characters in Byzantine literature. While John Kinnamos and numerous encomiasts of the twelfth century depicted him as the embodiment of the imperial ideal, a brave and mighty military emperor[15], Manuel in Niketas' *History* appears to be a agglomeration of different qualities which can not be easily combined in one and the same person. Uspensky was inclinded to see here even a symptom of the literary weakness of the work[16]. On the

one hand, Manuel in Choniates' *History* seems to incorporate all possible physical and moral virtues; on the other, sceptical and negative evaluations of Manuel prevail throughout Niketas' text[17]. Even the elevated description of the beauty of the young Manuel and his enthusiastic reception by the citizens[18] is seemingly a kind of preface to the story of his licentiousness[19].

However, there is at the same time, I suggest, a certain unity in Niketas' approach to Manuel. Whether he depicts his character positively or negatively, the historian always underlines Manuel's pretentiousness and affectation. Manuel is certainly brave and even reckless in Choniates' opinion, but in the first instance it is the emperor himself who is absolutely sure that only his personal appearance in the battle can frighten his enemies[20]. Manuel is always concerned about the effect he creates and tries to impress people and magnify himself in any way possible, either by his military courage or by his immense riches. For that last point I have in mind the episode where the emperor displayed all the gifts which he purposed to offer to the sultan and enjoys the impact that this has[21]. Not only does the historian present episodes which demonstrate Manuel's pretentiousness and affectation but he also characterizes him directly as αὐτάρεσκος, i.e. self-pleasing, vainglorious[22], stressing his aspiration for fame (κλέος)[23] and applying to Manuel the participle μεγαλαυχῶν (boasting) while describing his negotiations with the Turkish sultan[24], and so forth. This opposition between great pretension and inner flimsiness sometimes shown by Manuel creates a comic effect. The greatest role in creating it should be attributed to the use of high-style vocabulary, and to the numerous allusions and quotations from the Bible and classical authors (modern philologists would prefer the term intertextuality), which are inserted in the text and stress this contradiction.

The last statement can be illustrated by some indicative episodes. The historian begins the story of the campaign of Manuel in Egypt in 1169 thus:

Manuel, who wanted to campaign in foreign lands, had heard of Egypt's bountiful productivity, how extensive were the fields fertilized by the Nile, the giver of fruit and rich grain, where the plentiful harvest was measured by the cubit. He determined to set his left hand in the sea and his right hand in the rivers, to observe with his keen eyes and take into his hands the coveted blessings of Egypt which had been brought to his attention. These thoughts motivated him to leap over the lands under foot even while these were still deeply troubled, laid waste and put to the torch. Nor had they vanished or been rendered invisible, but, like the Hydra, they continually restored themselves; it was an ill-timed ambition that Manuel should vie with kings whose fame was great and whose domains had extended not only from sea to sea but also from the boundaries of the East to the Pillars of the West[25].

The author's sceptical attitude to the emperor is here evident. It is ill-timed ambition (φιλοδοξία τις ἄκαιρος) that inspires Manuel to his immense military plans and makes him imitate the glorious rulers of the past. But already before

the author explicitly makes it clear for the readers at the end of the passage, Niketas has shown his attitude by employing sublime expressions, high-style words and allusions to the highest authorities. Niketas for instance applies to the Nile the epithets καρποδότης καὶ εὔσταχυς. Neither word has a long history in ancient Greek (καρποδότης as applied to the Nile was used by Gregory of Nazianzos) but the compounds have a certain Homeric resonance. To describe the grandeur of Manuel's military plans Niketas uses the wording from Psalm 88.26 («I will set his left hand also in the sea and his right hand also in the rivers»); Manuel is therefore implicitly likened to David. Two quotations from Psalms in this passage do not prevent the historian from referring to the mythological Hydra. It is just this eclectic mixture that creates a comic effect which is based on the contradiction between Manuel's cosmic pretensions and the paltry motives for his actions.

The use of high-style vocabulary, and in particular Homeric vocabulary[26], with references to mythological and classical examples and even to the Holy Scriptures is a method very frequently employed by Niketas to produce an ironic effect. Let me take one further example. Roger of Sicily conquers Corinth. The reaction of Manuel is described as follows:

These events, reverberating in his ears, distressed Emperor Manuel and much like Homer's Zeus, or like Themistokles, son of Neokles, who was always observed in deep thought and watchful through sleepless nights, he pondered in his heart what must be done; and to those who made inquiries he answered that Miltiades did not win the trophy by sleeping[27].

To be sure, Niketas does not mock openly at Manuel, but four references to Homer and one to Plutarch in a short passage of five lines cannot be understood as aiming at the glorification of the emperor, the more so as the latter is represented here not as a victorious leader but as an emperor who has just learned about the defeat of his army.

If we found such wording in Anna Komnene's *Alexiad*, we would have no doubt: the author is absolutely serious and totally devoid of a sense of humour. The numerous citations from Homer and Bible are used by Anna in a direct way in order to elevate and praise her characters[28]. Anna was a great writer but the text of her *Alexiad* is as it were one-dimensional in contrast to Niketas' *History*, whose text often has two or more levels as I have tried to demonstrate above.

To sum up, it is hardly possible to give any general recommendations on how to read Byzantine texts. Different kinds of texts should be read differently and every approach, as I mentioned above, can be justified. But at the same time it is of importance to stress that at least some pieces of Byzantine literature moved beyond the conventions imposed by the formal, rhetorical elements derived from the process of education. They are to be evaluated as artistic works and should be read as multidimensional texts with overtones, and these overtones can often be the most significant element of the composition.

Notes

1 Reprinted in C. Mango, *Byzantium and its Image* (Aldershot, 1984), II.

2 Cf. S. Averintzev, «Vizantijskaja ritorika. Shkolnaja norma literaturnogo tvorcestva v sostave vizantijskoj kultury», in S. Averintzev, *Ritorika i istoki jevropejskoj literaturnoj tradizii* (Moscow, 1996). At the same time S. Averintzev, like some other scholars recently (e.g. G. Kustas, H. Hunger, P. Magdalino), acknowledges the major role played by rhetoric, which was in a sense a way of thinking and even of living for Byzantine intellectuals.

3 S. Poljakova, *Iz istorii vizantijskogo romana* (Moscow, 1979); cf. J. Ljubarskij, «Der byzantinischer Roman in der Sicht der russischen Byzantinistik», *Der Roman im Byzanz der Komnenenzeit Culletemata*, Bd. 8. (Frankfurt am Main, 2000).

4 A. Kazhdan, *A History of Byzantine Literature (650–850)* (Athens, 1999).

5 Kazhdan, *Byzantine Literature*, 63; cf. the discussion by Mary Cunningham elsewhere in this volume.

6 C. Hase, ed., *Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri decem* (Bonn, 1828), 87.1–90.11.

7 Leo. Diac., 120.24–121.23.

8 The letter has been edited twice: C. Sathas, *MB*, vol. 5 (Paris, 1874), 207 and U. Criscuolo, *Michele Psello, Epistola a Michele Cerulario* (Naples, 1973); my references are to Criscuolo's edition.

9 Criscuolo, *Psello, Epistola*, 25.107–112 (my translation).

10 Criscuolo, *Psello, Epistola*, 25.

11 Criscuolo, *Psello, Epistola*, 27.166.

12 K. Sathas, *MB*, vol. 4, 303–87.

13 Recent works which exemplify this approach include: M. Alexiou, «Literary subversion and the aristocracy in twelfth-century Byzantium: a stylistic analysis of the *Timarion* (ch. 6–10)», *BMGS* 8 (1982–3), 29–46; B. A. Sarri, «Ἡ σάτιρα τῆς ἐξουσίας στὴ συγγραφὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Εὐσταθίου Ἡ ἅλωσις τῆς Θεσσαλονίκης», *Byzantinos Domos* 8–9 (1995–7); I. Grigoriadis, *Linguistic and Literary Studies in the Epitome of John Zonaras* (Thessalonike, 1998), 133–47; A. Kazhdan, «Smejalis' li vizantijzy? (Homo Byzantinus ludens)», *Drugije srednije veka. K 75-letiju A. J. Gureviča* (Moscow and St. Petersburg, 2000).

14 My paper on this subject is to be published in the Proceedings of the Symposium on «Aesthetics in Byzantine Culture» held in Athens in the autumn of 2000.

15 As I tried to show in my recent article (J. Ljubarskij, «John Kinnamos as a writer», ΠΟΛΥΠΕΙΡΟΣ ΝΟΥΣ. *Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag* [= *Byzantinisches Archiv* 19, 2000], 164–73), Manuel in Kinnamos' work was modelled after the epic hero Digenes Akrites. Manuel was represented in a similar way by contemporary encomiasts; cf. P. Magdalino, *The Empire of Manuel I Komnenos, 1143–1180* (Cambridge, 1993), 413–88.

16 F. Uspensky, *Vizantijskij pisatel' Nikita Akominat iz Chon* (St Petersburg, 1874).

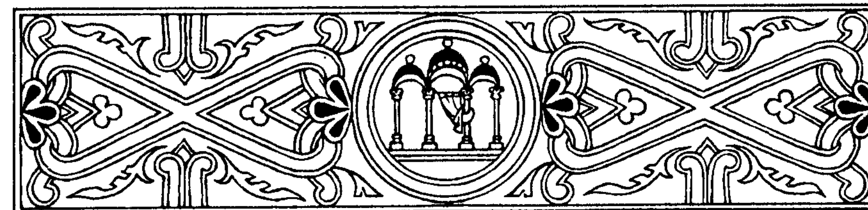
17 Cf. P. Magdalino, «Aspects of twelfth-century Byzantine *Kaisekritik*», Speculum 58 (1983), 326–46.

18 Niketas Choniates (ed. van Dieten), 50.69–52.17.

19 Nik. Chon., 54.64–74.

[20] Nik. Chon., 102.83–85,133.62–64.
[21] Nik. Chon., 120.90.
[22] Nik. Chon., 80.12.
[23] Nik. Chon., 127.70.
[24] Nik. Chon., 179.60.
[25] Nik. Chon., 159.18–160.29; translation: H. J. Magoulias, *O Byzantium, Annals of Niketas Choniates* (Detroit, 1984), 91.
[26] R. Maisano noticed that there are many cases of «totale decontestualizzazione» of Homeric quotations in Choniates' *History* (R. Maisano, «I poemi omerici nell'opera storica di Niceta Coniata», in F. Montanari and S. Pittaluga, edd., *Posthomerica II. Tradizioni omeriche dall'Antichitià al Rinaseimento* [Genoa, 2000], 41–53).
[27] Nik. Chon., 76.1–5.
[28] J. Ljubarskij, «Why is the *Alexiad* a masterpiece of Byzantine literature?», in «*Leimon»: Studies presented to Lennart Rydén* (Uppsala, 1999), 127–42.





BYZANTINE IRONY. THE EXAMPLE OF NIKETAS CHONIATES*

In a previous article, I tried to show that irony as manifested in several Byzantine texts can be compared to classical and medieval Greek authors, and I illustrated this statement by analysing a selection of writings by Michael Psellos[1]. I will, now, turn to the important work of the prominent Byzantine historian of the twelfth century, Niketas Choniates.

The twelfth century can be called the Golden Age of Byzantine humour, the century of the anonymous *Timarion* and of the Ptochoprodromic poems, which are satirical «by definition». Moreover, scholars have recently noticed that we may detect elements of humour and irony even in works that are not labelled as satirical — they primarily refer to the first line of the *Capture of Thessaloniki* by Eustathios of Thessaloniki and to the *Epitome* by John Zonaras[2].

Evidently, the sense of humour is personal: some authors have it, others totally lack it. Anna Komnena, for instance, who was a great admirer and imitator of the very ironic Psellos and borrowed much from him[3], totally avoids the use of irony. As I have already noticed elsewhere[4], some characters and situations described by Anna may seem ironical, even funny, to modern readers, because of the elevated epic tone and the Homeric imagery employed by the writer. As a child, Anna tells us, she had to play with a «picture of Eros» (her fiancé Constantine), to have meals in the palace with «Athena in morning guise» (her mother Irene), and later she had to share her bed with «a man most eminent in all ways, a man like Achilles as depicted by Homer» (her husband Nikephoros Bryennios). Not to mention that her father, undersized, hurrying and unscrupulous, appears constantly in the *Alexiad* acting as a generous and mighty hero. However, Anna's intention was not to make her audience laugh, while composing the *Alexiad*. On the contrary, she was full of serious intentions when describing her characters as epic heroes. John Kinnamos was not ironic either, although some ridiculous scenes (rather rude ones) can be found in his *History*. But I will refer to Kinnamos further down.

In contrast to Anna, her continuator Niketas Choniates is evidently an ironic writer. In the preface to the Italian translation of Niketas, Alexander Kazhdan

* Статья опубликована в Byzantium State and Society. In memory of Nicos Oikonomides. The National Research Fondation, Athens, 2003, eds. Avramea, A. Laïou and E. Chrisos, p. 349–360.

has already remarked this feature[5]. Here, I would like to elaborate these initial remarks.

First of all, Niketas already in the preface of his *History* writes about the evil that is satirised in historiography (κακία... παρ' αὐταῖς κῳμῳδουμένη)[6]. As far as I know, no other Byzantine historian has ever pointed out satire as a task of historiography. It is important to stress that, according to the authors' *Index* of van Dieten's edition, Lucian is cited in the third place (after the Holy Scriptures and Homer). The admirer of the ancient satirical writer would not be deprived of the sense of humour himself!

Indeed, laughter is very often present in Choniates' work. Some of his characters are prone to laughing and making fun of each other. The greatest mocker is Andronikos Komnenos, because he was «fond of reviling as nobody else» (φιλολοίδωρος ν εἴπερ τις ἄλλος). He laughed at Kilich-Arslan (Nik. Chon., 122.49–54), his cousin Manuel (Nik. Chon., 104.29–36) and many others. The emperor Manuel laughed, like the rest of the people, at the Arab who claimed that he would fly over the stadium (Nik. Chon., 120.82–89), and at many other people or occasions. Even the ideal character of the *History*, John Komnenos, could not resist laughing (Nik. Chon., 47.78–79), and the number of similar examples can be easily multiplied. The best way to demonstrate how wide is «the field of ridicule» in Choniates' work is by analysing the vocabulary of ridicule used by the author, a task made easy thanks to the *Thesaurus* of Choniates' language compiled by Alexander Kazhdan (now preserved at the Department of Byzantine and Modern Greek Philology of the University of St. Petersburg). The number and variety of the words used is impressive. Here are the words grouped by themes (the number of occurrences is recorded in brackets).

βωμολόχευμα, βωμολοχία, βωμολόχος, βωμολοχεύομαι, βωμολοχέω [7]
γελωτοποιός, γελοιαστής [2]
κατάγελως, κερτομία, ἐπικερτομέω [8]
κῳμοδέω [4]
ἐκμυκτηρίζω [2]
μῳκάομαι, διαμωκάομαι, καταμωκάομαι, μωκία [10]
μῶμος [3]
καταπαίζω, διαπαίζω, ἐμπαίζω, ἐμπαίκτης [4]
ἀποσκώπτω, ἐπισκώπτω, σκῶμμα, φιλοσκώμμων [14]
τωθάζω [2]
ἐπιχαίρω, ἐπίχαρμα [3]
χλευάζω, διαχλευάζω, χλευασμός [7]
εἰρωνευόμενος [2]

The composition of the word-group designating laughter and humour is indicative. Choniates seems to have been concerned about ridicule and his appreciation of it is very detailed and manifold. There is hardly any other Byzantine writer using so many synonyms or near-synonyms to describe ridicule. Even in the Liddle-Scott dictionary, these words are mostly translated by derivatives of only three English themes: «mock», «scoff» and «jeer». At the same time it seems strange that the verb εἰρωνεύομαι is employed by the ironic Choniates only twice (both times in the form of participle!) and only once in a sense that is not far from the modern notion of irony: Kilich-Arslan remarked to his intimates sarcastically (εἰρωνευόμενος) that «the more injuries he inflicted on the Romans, the more treasures he received from the emperor» (Nik. Chon., 124.19–21)[7].

As a rule, Choniates' «laughter» is not very refined, since it is mostly associated with physical deficiency, ugliness, someone's misfortunes, even tortures or death[8]. Although this kind of «humour» originated from the folk milieu and folklore and is common to all medieval societies[9], in Niketas' *History* it seems dominant — some of his remarks and funny stories appear more subtle and can amuse even modern readers. One of them is well known and is often cited in literature; I refer to the story of John of Poutza: «Mean, stingy, attached to wealth» John sent to a shop to be sold three times their price the fat fishes, which he had received as a bribe (Nik. Chon., 56.46 sq.).

Another story concerns the greatest mocker of Niketa's *History*, namely Andronikos Komnenos. «Against those who reproached Andronikos for his brazen incestuous relations, he defended himself readily with wit (χαριεντιεζόμενος ἀνθυπέφερεν) and quipped that he felt that the subject should emulate his ruler, and that he, Andronikos, came out of the same mould as Manuel. In playful repartee with his cousin Emperor Manuel, he accused him of falling to the same passions and, moreover, stated that Manuel's behaviour was even more reprehensible, since he engaged in intercourse with his brother's daughter, while Andronikos bedded his cousin's child» (Nik. Chon., 104.29–36). The wit consists in the contrast between the apparently «serious» general statement of Andronikos («the subject should emulate his ruler») and the mocking frivolous illustration of this statement (Andronikos' right to bed his cousin's child). In this passage the role of the «ironic person», i.e. εἴρων in terms of classical writers, whose sayings always have double sense, is played by Andronikos.

As I have mentioned elsewhere, several «ironic» passages in Byzantine literature can be analysed in terms of the Aristotelian thesis (shared by his followers) of the opposition between types of εἴρων and ἰλαζών, i.e. braggart. According to Aristotle, *eiron* and *alazon* confront each other as the two vicious extremes that flank the virtue of truth (ἀλήθεια). In contrast to the ἀλαζών, who claims to possess higher qualities than he has, εἴρων makes himself out worse than he actually is (Eth.Nic.1108a 20sq.; 1127a 20). This opposition seems to be of universal importance, especially in the field of comicality. The point is that, as a rule, the behaviour of ἀλαζόνες seems much more ridiculous if viewed by an *eiron*. But the εἴρων must not necessarily be present in the work «personally». Sometimes his

role can be fulfilled partly by the author himself, who functions in this case as a kind of «latent» εἴρων. The author, «latent» εἴρων, evidently depicts his character, *alazon*, seriously but in reality mocks him. This is the case in Niketas' work[10]. One brief funny episode will suffice to illustrate this statement.

Andronikos Komnenos, being in Antioch, began courting Philippa, the cousin of Manuel's I second wife. The emperor, informed about it, tried to destroy Andronikos' plans. So, he sent Constantine Kalamanos, hoping that the latter would marry Philippa. Constantine «bedecked in splendid attire as befits a groom and confident that he would win over the inamorata» entered Antioch, but Philippa «did not give him a second look or deign to address him by name. Instead she berated him for being short, and derided Manuel in front» (Nik. Chon., 140.65–75). Constantine Kalamanos' role and behaviour reminds one very much of Monsieur Jourdin (a kind of ἀλαζών!) in the famous Molière's drama. Despite Niketas' serious tone, the author's ironic attitude (he himself turns into an *eiron*!) is evident.

The passage cited is a brief episode inserted in the *History*, but a similarly ironic approach is characteristic in Choniates depicting some main characters of his work. I would like to demonstrate it by Niketas' attitude towards the emperor Manuel I, the figure occupying almost half of the *History*.

As some scholars already stressed, in Niketas' work Manuel I is one of the most complex and contradictory characters in Byzantine literature. While John Kinnamos and numerous encomiasts of the twelfth century depicted him as the embodiment of the imperial ideal, brave and mighty military emperor[11], in Niketas' *History* Manuel appears as a mixture of diverse qualities, which can not be easily combined in one and the same person. F. Uspenskij tended to see here even the literary weakness of the work[12].

As in the case of other authors, it is hardly possible to explain the numerous contradictions in Choniates by supposing that he combined different sources with different approaches to Manuel. The contradictions, however, are really striking. On the one hand, Manuel in Choniates' *History* seems to be the embodiment of all possible physical and moral virtues. He radiated with grace (χάρις Nik. Chon., 51.75), being at the same time very tall and of heroic stature (Nik. Chon., 222.60); he was bold and reckless, although these qualities are not so much stressed as in Kinnamos' work (Nik. Chon., 134.73 sq.; 177.73 sq. etc.); he was always ready to endure the hardships of the war and was always helping promptly the soldiers, who loved him very much for it (Nik. Chon., 197.14 sq.; cf. 206.57 sq. etc.). According to Niketas Manuel was not only strong and kind, but also wise and tolerant; he was not rancorous, well educated and skilled in rhetoric etc.

On the other hand sceptical and negative evaluations of Manuel prevail in Niketas' *History*[13]. Even the elevated description of the beauty of the young Manuel (Nik. Chon., 50.69 sq.) is apparently a kind of preface to the story of his licentiousness (Nik. Chon., 54.67 sq.). In the *History* the military emperor Manuel

shows even cowardice (Nik. Chon., 182.43 sq.), a trait, which cannot be imagined in Kinnamos' composition. Manuel's misdeeds and mistakes in internal and external policy are underlined constantly. He is held responsible for the pernicious behaviour of John of Poutza (Nik. Chon., 55.21 sq.), he treated meanly his warriors (Nik. Chon., 208.21 sq.), preferred foreigners to his compatriots (Nik. Chon., 204.3 sq.), while at the same time he showed perfidy to the Crusaders (Nik. Chon., 61.70 sq.; 66.82 sq.). As to the Turks, Manuel treated them still worse (Nik. Chon., 179.58 sq.), and even the Sultan proved to be more generous and moral than the Byzantine emperor...

Manuel treated his subjects as a tyrant, being himself afraid of Andronikos (Nik. Chon., 103.13 sq.). His devotion to astrology was shocking (Nik. Chon., 95.29 sq.), and so on. Briefly, the admiration for Manuel is combined in the *History* with real aversion to him and Niketas himself calls his hero παντοῖος, i.e. various.

I am not the first to point out the striking diversity of Manuel's portrait in Niketas' *History*[14]. However, it seems to me, that there is a certain unity in Niketas' approach. When depicting his character either positively or negatively, the historian always underlines Manuel's pretentiousness and affectation. Some examples will suffice.

In Choniates' view, Manuel was certainly brave and even reckless, but what is stressed is that the emperor himself was confident that solely by his physical appearance in the battle he can frighten his enemies (Nik. Chon., 102.83 sq.; 133.62 sq.). Manuel was always concerned about the impression he made and tried to impress the people and exalt himself in every possible way, either by his military courage or by his immense riches (as for the last point I refer to the episode in which the emperor displayed all the gifts, which he intended to offer to the Sultan enjoying the impression he made, Nik. Chon., 120.90). Being well versed in rhetoric, Manuel took pleasure in theological discussions, but as Niketas asserts, it would have been much better if the emperor did not insist so much in his views as he often misinterpreted the doctrine of the Church (Nik. Chon., 210.72).

Choniates not only stresses the episodes where Manuel shows himself as pretentious but he also characterises him directly αὐτάρεσκος i.e. self-pleasing, vainglorious (Nik. Chon., 80.12). Furthermore, he stresses his aspiration for fame (κλέος: Nik. Chon., 127.70) and applies to Manuel the participle μεγαλαυχῶν (boasting) in the episode of the negotiations with the Turkish Sultan (Nik. Chon., 179.60) etc. etc.

Moreover, Choniates enriches his narrative with certain fine psychological details, which render the nature of the emperor much better than other declarations. Having been defeated by the Turks, Manuel sent messengers to Constantinople to spread the news. In his letter, Manuel compared himself with Romanos Diogenes, who suffered the same fate... But immediately after that, he the «extols the trea-

tises made with the sultan, boasting that these had been concluded beneath his own banner which had waved in the wind in view of the enemy's front line so that trembling and fear fell upon them» (Nic. Chon., 191.26 sq.). Even after the utter defeat of his army, the emperor could not keep himself from boasting.

There is no doubt that Manuel, irrespective of positive or negative traits attributed to him by the historian, had an evident and steady attitude of boasting as well as a tendency to vainglory[15]. In some aspects, Manuel in Choniates' *History* is depicted as an *alazon*, a human attitude to which I referred above. It is, probably, not by accident in this connection that Manuel compared himself with Romanos Diogenes, who is described by Psellos as *alazon* and braggart[16].

The problem of artistic devices employed by Choniates in the ironic depiction of Manuel is of great interest. The following observations are fragmentary and not exhaustive. Several times Niketas describes the triumphs celebrated by Manuel after his real or imaginary victories. These episodes are important for our purpose. The depiction of the triumph after the victory over the Hungarians in 1167 (Nik. Chon., 157.53–158.81) may be considered as «serious», despite its pompous and extreme high-brow style (when compared to the sober description of the triumph of John II — the «ideal emperor» of Choniates — Nik. Chon., 46.46). However, other descriptions are undoubtedly ironic.

Manuel's actions after the victorious Serbian war in 1150 are described as follows: «And he wrote a letter of good tidings to the inhabitants of the City indicating the recent achievements... Shortly afterwards, when the father of these heroic deeds arrived, a magnificent triumph was awarded him because of these accomplishments, and he was acclaimed by the people and the entire senate; the recipient of the applause and lofty praise, he reviewed the horse races and spectacles» (Nik. Chon., 90.2 –91.8). The English translation does not render the elevated style of the passage. The message of the victory sent by Manuel is called by Niketas εὐαγγέλιον (the connotation of the word is clear!), and Manuel himself appears as πατὴρ τῶν ἀνδραγαθημάτων (father of the heroic deeds). At last, «relaxed by stateliness of applause» (τῶν κρότων ὑψηγορίᾳ διαχυθείς), he turned his attention to horse races and theatres (both cited expressions in Greek are extremely high-styled).

Mentioning another triumph (after the campaign against the Serbs and the Hungarians in 1152), Niketas stresses first of all Manuel's wish to impress the people watching. Decked out in magnificent garments in spite of their state, the newly-captured Hungarians and Serbs enhanced the grandeur of the procession. The emperor provided these adornments so that the victory might appear even more glorious and wondrous to citizens and foreigners alike, for these men, i.e. the captives, were of noble birth and worthy of admiration. He turned this triumphal festival into a marvel, and he presented the prisoners of war not in a single throng but in groups progressing at intervals in order to deceive the spectators and make them think that the captives were more numerous than they really were» (Nik. Chon., 93.67–71).

The solemn procession with Kilich-Arslan in Constantinople, planned by Manuel in 1162, which had to be very pompous and impressive, was destroyed, according to Niketas, by God, who sent a stormy weather (Nic. Chon., 118.38–119.54). The event must have been tragic for Manuel but it could have seemed comic to the audience of Niketas' *History*.

As one can see, the greatest role in creating comic effect should be attributed to the high-styled vocabulary used by Niketas, and to the way he inserts in his text allusions and quotations from the Bible and Classical authors (modern literary scholars would prefer the term intertextuality). The last statement can be illustrated by some very telling episodes.

The historian begins the account of the campaign of Manuel to Egypt in 1169 as follows: «Manuel, who wanted to campaign in foreign lands, had heard of Egypt's bountiful productivity, how extensive were the fields fertilised by the Nile, the giver of fruit and rich grain, where the plentiful harvest was measured by the cubit. He determined to set his left hand in the sea and his right hand in the rivers to observe with his keen eyes and take into his hands the coveted blessings of Egypt which had been brought to his attention. These thoughts motivated him to leap over the lands under foot even while these were still deeply troubled... Nor have they vanished or been rendered invisible, but, like the Hydra, they continually restored themselves; it was an ill-timed ambition that Manuel should vie with kings whose fame was great and whose domains had extended not only from sea to sea but also from the boundaries of the East to the Pillars of the West» (Nik. Chon., 159.18–160.29). Evident is here the author's sceptical attitude towards the emperor. It is an «ill-timed ambition» (φιλοδοξία τις ἄκαιρος) that inspired Manuel to his immense military plans and made him imitate the glorious rulers of the past. But before the author makes it clear to the readers at the end of the passage, Niketas shows his attitude by employing sublime expression, high-styled words and allusions to the «highest authorities» (such as the epithet of the Nile καρποδότης καὶ εὔσταχυς, the reference to mythological Hydra, the two references to the Psalms and etc.), thus creating a comic effect based on contradiction between the cosmic pretensions of Manuel and the low motives of his actions.

Using high-styled, particularly Homeric, vocabulary[17], referring to mythological and Classical examples and even to the Bible Niketas produces an ironic effect[18]. One more example: At the capture of Corinth by Roger of Sicily the reaction of Manuel is described as follows: «These events, reverberating to his ears, distressed the Emperor Manuel and much like Homer's Zeus, or like Themistokles, son of Neokles, who was always observed in deep thought and watchful through sleepless nights, he pondered in his heart what must be done; and to those who used inquiries he answered that Miltiades did not win the trophy by sleeping»

(Nik. Chon., 76.1–5). Niketas does not openly mock Manuel, but four references to Homer and one to Plutarch in a passage of just five lines certainly do not aim to glorify the emperor, the more so as the latter is represented here not as a victorious leader, but as an emperor who just learned about the defeat of his army.

The same observation is valid in other episodes referring to Manuel's reign. The young emperor was eager to capture Cephalenia, whose inhabitants did not want to surrender. So Manuel «carefully considered whether he should attack, since he did not have Mount Ossa to pull down, nor Mount Athos to roll down, nor was he able to pile the mountain on top of one another in order to take the lofty citadel. But these things pertain to an incredible and great deed of mythical origin» (Nik. Chon., 82.60–65). Both allusions to Homer and the whole passage in general surely represent a sort of play.

Using Margaret Alexiou's words one can assert that «a closer reading of the context of the allusions immediately under the text reveals incongruities and contradictions which amount to "parodic hypercoding" of sources rather than mere citations».

Niketas' description of Manuel's military plans often employ rhetorical amplification not only in vocabulary but also in syntax. For instance, Niketas describes Manuel's military expedition against Ikonion in 1176 as follows: «He marched out intent on destroying the Turkish nation, and on taking by storm Ikonion and on her walls, and on holding captive sultan whose neck would trample as a foothold when he prostrated himself» (Nik. Chon., 178.8–12). Piling up the *paricipia futuri* (ἀφανίσων, ἀναρπάσων, ληψόμενος, πατήσων), the historian stresses the immense pretentions of the emperor.

It is clear that we come across the classical method of irony: a kind of *alazon* viewed by the author, who pretends to appreciate seriously the boasting and bragging of his character and thus playing, in a sense, the role of an *eiron*. The irony of Choniates is not always evident and explicit, but surely it can be detected by an attentive reader.

Concluding, I would like to refer to another type of irony used by Choniates, which can be regarded as an «indirect criticism» of Manuel. In the story of Manuel's campaign against the Turks that ended with the defeat at Myriokephalon in 1176, Niketas inserts an episode with the emperor in its centre. Being thirsty after the battle, Manuel asked someone to bring him water from the nearby river. Having tasted the water he refused to drink it, as it was mixed with the blood of the killed Christians. A certain soldier standing nearby (his name remains unknown to the readers), characterised as «reckless and rash» (ἀνὴρ ἰταμὸς καὶ θρασύς), unblushingly commented (ἀνερυθριάστως ἔφησεν): «get along with you, o Emperor, this is certainly not so! This is not the first time: often in the past you have drunk into intoxication from a wholly unmixed bowl of Christian blood, stripping and gleaning your subjects» (Nik. Chon., 186.60–63). It is noteworthy that the emperor took easy (ἱλαρῶς) the blaming of this reviling and slandering person (τὸν κακήγορον ἐκεῖνον καὶ λοίδορον ἄνθρωπον: Nik. Chon., 185.52–186.65). The episode continues. As the Turks stole the money the Byzantines were carrying with them, and coins were scattered upon the earth, Manuel urged his soldiers to seize them. At that moment the same anonymous scoffer began offending shamelessly (διελοιδορεῖτο ἀναιδῶς) the emperor: «That money should have been offered willingly to the Romans earlier, not now, when it can be won only with great difficulty and bloodshed. If he is a man of strength, as he boasts to be, let him meet the gold plundering Turks in battle, and after bravely trashing him, let him restore the loot to the Romans» (Nik. Chon., 186.71–75). This episode seems fictitious: its «artistic character» is evident. At any rate the figure of the anonymous soldier blaming the emperor is surely invented by the author, and the aim of this invention is clear: it is not the shameless soldier but Niketas himself who blames Manuel and he does it not directly but using of a fictitious character. The negative characteristic of the anonymous soldier is the mask of an ironical author[19].

Notes

[1] J. Ljubarskij, «The Byzantine irony — the case of Michael Psellos», in A. Avramea, A. Laïou and E. Chrysos (eds.), Βυζάντιο καὶ κοινωνία. Μνήμη Νίκου Οἰκονομίδη (Athens. 2003), 349–60.

[2] Β. Α. Σαρρή, «Η σάτιρα της εξουσίας στη συγγραφή του αρχιεπισκόπου Ευσταθίου Ἡ ἅλωσις τῆς Θεσσαλονίκης», *Byzantinos domos* 8/9 (1998), 15–29; Il. Grigoriadis, *Linguistic and Literary Studies in the Epitome of John Zonaras* (Thessaloniki, 1998), 133–47.

[3] Cf. St. Linnér, «Psellus' *Chronographia* and the *Alexias*. Some textual parallels», *BZ* 76 (1983), 1–9.

[4] «Why is the 'Alexiad' a masterpiece of Byzantine literature», in J.-O. Rosenqvist (ed.), Leimon. Studies Presented to Lennart Rydén (Uppsala, 1996), 135.

[5] A. Kazhdan, «Introduzione», in *Niceta Coniata. Grandezza e catastrofe di Bisanzio*. vol. 1 (Milan, 1994). It is noteworthy that important remarks about irony in Niketas' *History* have been made by A. Kazhdan in his book on Niketas written in Russian published now.

[6] Niketas Choniates, *Chonike Diegesis*, ed. I. A. van Dieten (CFHB 11/1; Berlin-New York, 1975) (hereafter: Nik. Chon.), 1.9.

[7] Quotation from Choniates' *History* are given from the English translation by J. H. Magoulias, *City of Byzantium. Annals of Niketas Choniates* (Detroit, 1984). In the second case (Nik. Chon., 271.51–4), Andronikos pretends to refuse his proclamation as co-emperor and qualifies the procedure as συνεδρίαν εἰρωνευόμενον. German and Italian translators treat this passage correctly (according to German translation by Grabler: «Andronikos straübte sich heuchlerisch dagegen, neben den Kaiser zu sitzen», and cf. *Niceta Coniata, Grandezza*, vol. 2, 116.62 and 613, note 314). The verb εἰρωνεύομαι seems to be here a synonym of ὑποκρίνομαι (to feign, to pretend). This meaning is well attested already in Classical Antiquity and has little to do with modern irony.

[8] Cf. L. Garland. «And his bald head shone like a full moon... An appreciation of the Byzantine sense of humour as recorded in historical sources of the eleventh and twelfth centuries», *Parergon. Bulletin of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Renaissance Studies* n.s. 8 (1990).

[9] The topic has been much discussed by Russian scholars: cf. for instance M. M. Bakhtin, *Tvorčestvo Fransua Rable* (Moscow, 1965); D. S. Likhacev, A. M. Pancenko and N. V. Pon'rko, *Smekh v drevnej Rusi* (Leningrad, 1984); for an application to Byzantine texts, see J. Ljubarskij, «Der Kaiser als Mime» *JÖB* 37 (1987), 39–50.

[10] For more details about the author as *eiron*, see my paper, cit. above, n. 1.

[11] As I tried to show in a recent paper (J. Ljubarskij, «John Kinnamos as a writer», in C. Scholtz and G. Makris (eds.), Πολύπειρος νοῦς. *Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag* (Munich-Leipzig, 2000), 164–73), Kinnamos modeled Manuel after Digenes Akrites. Encomia of the 12th century represent Manuel in a similar manner: cf. P. Magdalino, *The Empire of Manuel I Komnenos, 1143–1180* (Cambridge, 1993), 413–88.

[12] F. Uspenskij, *Vizantijskij pisatel' Nikita Akominat iz Khon* (Sankt-Peterburg, 1874).

[13] Cf. P. Magdalino, «Aspects of twelfth-century Byzantine Kaisekritik», *Speculum* 58/2 (1983), 326–46.

[14] F. Uspenskij (cit. n. 12, above) noticed it already more than hundred years ago. «Incongruity» in the description of characters is an important feature in Byzantine and other medieval historiography: cf. J. Ljubarskij, «Man in Byzantine historiography from John Malalas to Michael Psellos», *DOP* 46 (1992), 177–86 = *Vizantijskie istoriki i pisateli* (Saint-Petersburg, 1999), 182.

[15] It is probable that vainglory was a real characteristic of Manuel. On this I rely on the evaluations of P. Magdalino, who used sources other than Choniates' *History*: «His policy was hopelessly over-ambitious», «There is something theatrical and overstated about everything he did», «Manuel was a ruler who not only wanted to be impressive, but was conscious of the impressions he was making».

[16] On this, see my article cit. n. 1, above.

[17] R. Maisano, «I poemi omerici nell'opera storica di Niceta Coniata», in F. Montanari and S. Pittaluga (eds.), *Posthomerica II. Tradizioni omeriche dall'Antichità al Rinascimento* (Genova, 2000), 41–53, noticed that there are many instances of «totale decontestualizzazione» of the Homeric quotations in Choniates' *History*.

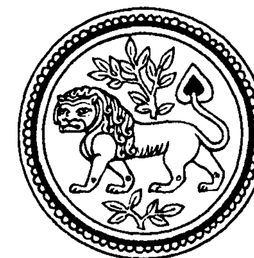
[18] The question of Niketas' «play» with the Bible's quotations is of particular interest. Important remarks on this can be found in the published Kazhdan's book on Niketas. A. Kazhdan argues that the scepticism (in a sense «irony». — *Ja. L.*) of the historian has a twofold origin. First of all it is a «genuine folk play with sacred items», a kind of «folk familiarity with the divine world», characteristic of the medieval culture, where the laughter is often mixed with and can not be separated from religious veneration». Some episodes from the *History* cited by the Russian scholar are very explicit. I refer only to one of them as an example: The Germans without waiting for the command spurred on their horses, hoping to find the Romans searching their food supplies (εὑρεθῆναι τοῖς ζητοῦσιν γλιχόμενοι: Nik. Chon., 409.20–1). The wording of the expression «To find the Romans in search of» is an allusion to the well-known Jesus Christ's words ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε (rendered in English as «seek and ye shall find» Matth.7.7–8; Lk.11.9–10). Used in another context these words get quite different sense — hence the text becomes ambiguous and ironic. A. Kazhdan surely follows here Bachtin's theory concerning the medieval laughter (cit. n. 9, above). However, could a perfectly educated and refined historian be influenced by the folk culture?

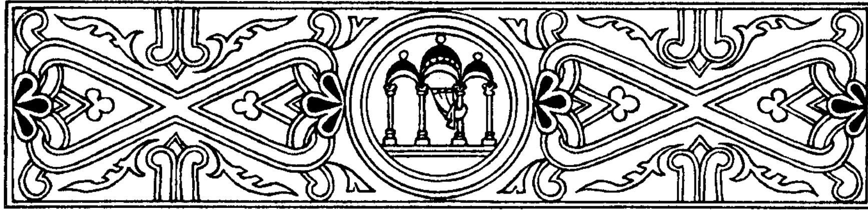
It is also noteworthy that the play with biblical quotations can be found in Byzantine literature already in the early 11[th] century. For instance Christophoros Mytilenaios, ed. E. Kurz (Leipzig, 1903), no. 2, presents a risky play with the biblical citation «Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of Heaven» (Math.18.3.3).

[19] «Indirect criticism» is often used by Choniates. Thus, while praising Manuel, Niketas inserts some very negative remarks concerning the emperor: «The Romans jeered at him for vainly nurturing such inordinate ambitions and setting his eyes upon the ends of the earth, for overstepping by far the bounds fixed by former emperors, and for squandering to no useful purpose the revenues which he collected by his authority, gleaning the tax registers and exhausting the extraordinary taxes». (Nik. Chon., 203.58–64). Farther Niketas disapproves these «insinuations»; in reality he expresses his personal thoughts about Manuel, but he prefers to put his critic in the mouth of the anonymous «Romans».

All this reminds one of modern newspaper practice when denunciations on the first page are intended to make much greater impression on the readers than the refutation on the last. In this respect it is remarkable that the anonymous scoffers blame Manuel for the same vices and bad policy as Niketas does directly elsewhere!

Niketas (Nik. Chon., 159.18–160.29) applies to the Nile epithets that are not directly borrowed from classical Greek, but from Gregory Naziazenus. However, as *composita* they have a certain Homeric taint. To describe the grandeur of Manuel's military plans Niketas uses the wording of the Psalm («I will set his left hand also in the sea and his right hand also in the rivers»: Ps.88.26). Therefore Manuel is implicitly likened to David. Two quotations from the Psalms in the same passage do not prevent the historian from referring to the mythological Hydra. It is just this eclectic mixture that creates a comic effect based on contradictions between the cosmic pretentions of Manuel and the paltry motives of his actions.





ИРОНИЯ У ВИЗАНТИЙЦЕВ: ПРИМЕР МИХАИЛА ПСЕЛЛА*

На протяжении долгих веков в представлении ученых и вообще людей читающих образ Византии большей частью связывался с такими понятиями, как церемониальная торжественность, благочестие, молитвенное исступление и т. п. Для юмора и иронии среди них, естественно, никакого места не оставалось. Конечно, кое-что было известно о мимах и так называемых *gelotopoio*, над шутками и кривляниями которых византийцы потешались все тысячелетие своей истории, а возможно, и в годы турецкого владычества (Reich 1903; Tinnefeld 1974: 329 ff.). Однако церковь постоянно осыпала этих «смехотворцев» проклятиями, на «высокую» культуру они почти никакого влияния не оказывали и всегда оставались маргиналами в византийском обществе.

Представление о непременно серьезной и торжественной Византии стало постепенно меняться только недавно. За два последних десятилетия ученые успели заметить, что мимы и «шуты» пользовались не только народной любовью, но и расположением знати и даже императорского двора и что некоторые ученые и вполне респектабельные византийцы — в том числе и священнослужители — были явно неравнодушны к смешному и шутке. Этот юмор был большей частью груб и даже жесток, предметом осмеяния оказывались физические недостатки, старость, людские беды, а характер шуток и забав был весьма непритязателен и примитивен (Garland 1990). Низовой юмор такого типа хорошо известен почти в любых средневековых обществах, он брал свое начало от ритуала на самых примитивных ступенях развития человечества и, как правило, служил своего рода коррелятом высокой официальной и церемониальной культуры[1].

В то же время некоторые из исследователей обратили внимание на то, что сатирические сочинения время от времени создавались в Византии и в рамках «высокой литературы», что особенно популярны оказались они в «ренессансном» XII в. (Kyriakis 1973), причем явно не были только риторическими упражнениями изысканных интеллектуалов. В них удалось рассмотреть даже элементы тонкого юмора и иронии (см., например: Alexiou 1982/1983).

* Статья опубликована в сб. «Теоретические проблемы языкознания» к 140-летию кафедры общего языкознания филологического факультета СПбГУ, 2004, с. 556–570.

Более того, отдельные ученые — чаще всего мимоходом — стали отмечать наличие юмора и иронии и в тех литературных произведениях, которые ни в коей мере на ранг сатирических претендовать не могли и цели имели совершенно иные. Несколько интересных замечаний об иронии у Никиты Хониата сделал А. П. Каждан в предисловии к итальянскому изданию этого византийского историка (Niceta Coniata 1994)[2]. И уже в самое последнее время, когда задумывалась и писалась эта статья, появились две работы; предметом первой из них является сатира во «Взятии Фессалоники» Евстафия Солунского, а во второй идет речь об иронии в «Хронике» Иоанна Зонары (ни одно из этих сочинений никогда не рассматривалось как сатирическое) (Σαρρῆ 1995–1997; Grigoriadis 1998: 133–147). С точки зрения «традиционалистов», наверное, еще как-то можно было допустить наличие юмористических элементов в сочинениях исторических, но профессор Американского Католического университета Дж. Деннис осмелился недавно написать, что «элементы юмора — пусть не всегда намеренного — присутствуют и в житиях святых» (Dennis 1997).

Иными словами, образ всегда исполненного достоинства и серьезности византийца стал последнее время блекнуть в глазах исследователей, которые теперь даже сами позволяют себе иронизировать над коллегами, столь долго не замечавшими склонности византийцев к шутке, юмору и иронии. «Может быть, Иисус Христос действительно никогда не улыбался, — пишет А. П. Каждан, — но сами византийцы надрывали животы от хохота» (Каждан 2000: 195). «Не исключено, что не византийцы, а византинисты были начисто лишены чувства юмора», — замечает М. Алексиу (Alexiou 1986: 31).

Тем не менее сколько-нибудь систематического исследования, посвященного византийскому юмору, до сих пор не существует. Моя задача в этой статье состоит в том, чтобы рассмотреть некоторые теоретические аспекты, связанные с изучением византийской иронии, и проиллюстрировать сделанные заключения на примере некоторых пассажей из произведений, как мне представляется, одного из самых ироничных писателей византийской словесности — Михаила Пселла (я прекрасно сознаю, как важно при работе над подобной темой самому не утратить драгоценное чувство юмора).

Приступая к исследованию культурного феномена прошлого, следует прежде всего определить исходные позиции. В принципе, существуют две возможности: пытаться применить критерии, выработанные современными теоретиками (ср.: De Jong, Sullivan 1994), или ограничить себя представлениями и идеями, уже сформулированными в античности или средневековье. Проблема эта, видимо, не имеет общего решения, и исследователь волен в каждом случае делать собственный выбор. Что касается изучения иронии,

первый путь кажется вполне приемлемым, тем более что существует немало работ (основанных главным образом на изучении новой литературы), посвященных этой проблеме (см., например: Kierkagaard 1965; Booth 1974), в то время как древних, средневековых западных или византийских трактатов на такую тему до нас не дошло. Тем не менее я выбираю второй путь, поскольку и понятие, и само слово *ирония* (*eironeia*) были широко распространены и в античности, и в средневековье и не раз комментировались философами, риторами и лексикографами. Поэтому некоторые заключения о средневековых представлениях об иронии можно сделать, а применение новых теорий к литературе прошлого всегда несет в себе определенный риск, и к тому же поныне остаются актуальными сказанные много лет назад слова В. Я. Проппа о теориях юмора: «Первый и основной недостаток всех существующих теорий (особенно немецких) — это ужасающий абстракционизм, сплошная отвлеченность. Теории создаются безотносительно какой бы то ни было реальной действительности. В большинстве случаев такие теории действительно представляют собой мертвые философемы, притом изложенные так тяжеловесно, что их иногда просто невозможно понять» (Пропп 1999: 5–6).

Немало было написано об античной иронии (*eironeia*) (Ribbeck 1876; Büchner 1941; Vlastos 1991: 21–44). Как само понятие, так и значение семьи слов этого корня неясной этимологии (εἴρων, εἰρονεύομαι, εἰρονικός и др.), по наблюдениям исследователей, претерпели весьма значительное изменение уже в самой античности. Впервые зафиксированное в явно пейоративном значении в комедии Аристофана (*eiron* 'изворотливый обманщик и болтун') понятие *eironeia* в гораздо более положительном смысле использовалось Аристотелем (см. ниже), а позже оказалось тесно связанным традицией с фигурой Сократа, представленного своего рода воплощением *eironeia*. В конце концов, постепенно трансформируясь, понятие *eironeia* приобретает у Цицерона и Квинтилиана значение, близкое современной 'иронии'.

Такой путь развития семантики *eironeia* прослеживается на первый взгляд достаточно отчетливо, и в то же время, как справедливо отмечали некоторые из исследователей, значения этой семьи слов в одном временном срезе и даже у одного и того же автора могут быть поразительно разнообразными, а подчас и взаимоисключающими. Так, например, древние и средневековые лексикографы и схолиасты толкуют слово *eiron* как 'лицедей' (ὑποκριτής), 'плут' (ἀπατέων), 'насмешник' (μυκτήρ, ὁ πάντα παίζων καὶ διαχλευάζων), 'болтун' (φλύαρος), 'льстец' (κόλαξ), 'лентяй' (ἀργός), 'нахал' (ὑπερηφανής), 'хвастун' (ἀλαζών) и т. д. (Büchner 1941: 339). Разброс значений весьма впечатляющ, и О. Риббек имел все основания более ста лет тому назад охарактеризовать понятие *eironeia* как «proteusartig» (Ribbeck 1876: 40). Пожалуй, наиболее выразительный пример этого «протеизма» — идентификация некоторыми авторами *eiron*'а с другим бытовым и комедийным типом, фигурирующим

под именем *alazon* ('наглец, хвастун'). Дело заключается в том, что Аристотель, давший наиболее детальное описание характера *eiron*'а, строит свои рассуждения на противопоставлении его *alazon*'у. Аристотель предлагает следующую схему: *eiron* и *alazon* противостоят друг другу и представляют собой две противоположные «дурные» крайности (*eironeia* и *alazoneia*), между которыми расположена «положительная» истина (ἀλήθεια). Оба типа — и *eiron*, и *alazon* — выдают себя не за тех, кем на самом деле являются, но если *alazon* претендует на обладание свойствами и качествами, превосходящими те, которыми владеет в реальности, то *eiron* представляет себя худшим, чем он есть в действительности (Eth. Nic. 1108a 20 sq.; 1127a 20). При этом, по словам Аристотеля, *eiron* как тип несравненно более привлекателен, нежели *alazon* (Eth. Nic. 1127b 14).

Имея в виду эти рассуждения Аристотеля, идентификация *eiron*'а и *alazon*'а представляется, безусловно, абсурдной. Но почему же лексикографы тем не менее эту идентификацию производили? Да и каким образом вообще появилось столь большое число значений у понятий *eiron*, *eironeia* и т. п.? Как и в других подобных случаях, необходимо, видимо, выделить некое основное значение — семантический центр интересующей нас лексической группы. Учитывая, что этимология корня *eiron* остается для нас неясной, разумно было бы довериться такому авторитету, как Аристотель, и поставить в центр семантического поля *eironeia* определение этого слова философом: 'притворство в сторону преуменьшения' (προσποίησις... ἐπὶ τὸ ἔλαττον) (Eth. Nic. 1108a 20). В этом случае нетрудно объяснить, как при денотате, всегда остающемся тождественным самому себе, коннотативные значения *eironeia* меняются в зависимости от ситуации и в особенности от цели «притворства» (προσποίησις), намерений говорящего или пишущего, контекста и т. п. Иными словами, в определенных ситуациях «обертоны» понятий и слов *eiron* — *eironeia* могут сдвигаться с периферии в центр и становиться основным их значением. Например, *eiron*, который «притворяется и преуменьшает» с целью подольститься к кому-либо, отождествляется с 'льстецом' (*kolax*); тот, кто делает то же самое для того, чтобы скрыть свои намерения и мысли, становится 'лицемером' или 'лицедеем' (*hyrokrites*). Лицо, прибегающее к «притворству с целью преуменьшения» (*prospoesis*), желая осмеять партнера, превращается в 'насмешника' (μυκτήρ, ὁ πάντα παίζων καὶ διαχλευάζων), а демонстрирующий всеми силами свое превосходство над окружающими — в бахвала и наглеца (*alazon*); (ср.: Büchner 1941: 358). Таким образом, семантическое поле *eiron* — *eironeia* в античности приобретает необыкновенную широту.

Одно обстоятельство необходимо подчеркнуть особо. Упомянутое выше аристотелевское противопоставление *eiron* — *alazon*, *eironeia* — *alazoneia* по сути дела является универсальным, особенно в области комического, притом не только в античности. К сожалению, вторая часть «Поэтики» Аристотеля,

трактовавшая проблемы комического, безвозвратно утеряна. Есть, однако, основания полагать, что философ выделял там три основных комических типа: *bomolochos* ('шут, клоун'), *eiron* и *alazon* два первых типа в представлении Аристотеля были близки один другому и вместе противостояли *alazon*'у[3]. Оппозицию этих двух типов (а то и масок) можно наблюдать как в народных фарсовых представлениях, так и в «высокой» комедии разных народов и разных периодов, начиная с древней аристофановской (например, Стрепсиад в «Облаках»). *Alazones* разного рода (например, трусы, выдающие себя за сильных храбрецов типа milites gloriosi плавтовской комедии, или ученые шарлатаны, притворяющиеся то искусными врачевателями, то астрологами) постоянно противопоставлялись и противопоставляются в комедийном жанре трезвым, «себе на уме» персонажам, скрывающим под маской наивной простоватости здравый смысл, а то и настоящую мудрость, в которых нетрудно распознать продолжателей традиций античных *eirones*. *Eiron* и *alazon* весьма часто выступают оппонентами в комических ситуациях, причем комизм последнего особенно ярко проявляется при столкновении с первым или тогда, когда *alazon* как бы подается через восприятие *eiron*'а.

Последнее утверждение весьма важно и предполагает, что *eiron* вовсе не обязательно должен присутствовать в произведении в качестве отдельного персонажа: его функции с успехом может выполнить сам автор. В этом случае автор, исполняющий роль «потенциального» *eiron*'а, со всей видимой серьезностью относится к своему герою — *alazon*'у, но на самом деле смеется и потешается над ним. Конечно, схема эта представлена в самом общем виде и на практике реализуется весьма разнообразно[4]. Я надеюсь позже показать, как она «работает» у некоторых византийских авторов.

Семантическое поле *eiron* — *eironeia* в византийский период не менее обширно, чем в античный. Византийские словари и энциклопедии (представляющие собой большей частью «компиляции компиляций») — источники весьма ненадежные, тем не менее и они могут послужить основанием для некоторых заключений. Гесихий (V в.) объясняет глагол σαρκάζει как μειδιᾷ, εἴρωνεύεται, καταγελᾷ[5]. Суда (X в.) и «Etymologicum magnum» (XII в.) повторяют аристотелевское противопоставление *eiron* — *alazon* («первый выдает себя за худшего, чем он есть на самом деле, второй притворяется, что он — лучше» (Suidae lexicon 1928: E1 207; Etymologicum magnum 1848: 55.42). Слово εἰρωνεία Суда толкует как χλευὴ ἢ ὑπόκρισις и далее уточняет его значение: μυκτηρισμόν, σαρκασμόν, ἀστεισμόν (Suidae lexicon 1928: Ei 210). «Etymologicum magnum» объясняет εἰρωνεύεσθαι как ψευδολογεῖν, χλευάζειν, ὑποκρίνεσθαι (Etymologicum magnum 1848: 304.18).

Как можно видеть, почти все значения *eiron* — *eironeia*, засвидетельствованные в античности, упомянуты и византийскими лексикографами, причем значения, относящиеся к области комического, явно начинают превалировать.

Аналогичный вывод можно сделать и из анализа употребления слов семьи *eiron* в византийских сочинениях нарративного типа. Естественно, определить значение каждой лексической единицы можно только из контекста, который, к сожалению, не всегда бывает достаточно ясным. Тем не менее, как представляется, можно установить два основных круга значений семьи *eiron* — *eironeia* у писателей XI–XII вв., на которых я и буду главным образом ссылаться.

Eironeia (и слова того же корня) в смысле 'обман' или 'хитрость' встречаются у Константина Багрянородного (Excerpta historica iussu 1903: 205.18)[6], Иоанна Камениаты (Ioannis Cameniatae 1973: 14.9), Анны Комнины (Anne Comnène 1945: 239.13) и у некоторых других, тем не менее в большинстве случаев слова эти служат скорее для выражения круга понятий, связанных с осмеянием, издевательством и т. п. (Константин Багрянородный (Excerpta historica iussu 1906: 20.4)[7], Михаил Атталиат (Michael Attalioate 1852: 286.20), Иоанн Скилица[8], Никифор Григора[9] и др.).

Как бы то ни было, употребление εἰρωνεία в смысле 'издевка', по-видимому, в Византии преобладало, хотя специфическое для античности значение скрытой насмешки-иронии в современном смысле и стало более редким[10]. (Конечно, все наши наблюдения носят предварительный характер, и было бы весьма интересно подробней проследить, в каком значении византийские авторы употребляли семью слов *eiron* — *eironeia*; надо надеяться, что эта задача станет не такой уж и трудной, после того как составители «Thesaurus linguae graecae» учтут больше византийских текстов.)

И лишь один автор этого времени — Михаил Пселл — употребляет, как нам кажется, εἰρωνεία и слова того же корня в более «изысканном» и специфическом смысле. Конечно, и Пселл, подобно другим писателям, использует слово это в «упрощенном» значении 'порицание' и 'насмешка'. Комментируя, например, слова Иисуса Христа, обращенные к Марии Магдалине, «Не прикасайся ко мне» (Ин. 20: 17), Пселл называет их «порицающими и насмешливыми», поскольку Иисус осуждает нетвердый нрав женщины (ἔστιν οὖν ὁ λόγος οἷον ὀνειδιστικός καὶ εἰρωνικὸς, καταμεμφομένου τοῦ κυρίου τὴν ἀνέδραστον γνώμην τῆς γυναικὸς). «Христос порицающий» вполне понятен, но мог ли Пселл приписать «Тому, кто никогда не улыбается», насмешку? Если это так, Пселл, пожалуй, оказался единственным византийцем, способным на это (Michael Psellus 1989: 64.108–110).

Пселлу, безусловно, были известны упомянутые уже рассуждения Аристотеля из «Этики Никомаху» о εἰρωνεία и ἀλαζονεία как о «дурных» крайностях, между которыми находится «хорошая» ἀλήθεια. В энкомии, обращенном к Константину Мономаху, он пишет: «Будучи человеком правдивым (ἀληθεύων), ты (т. е. император Константин. — *Я. Л.*) терпеть не можешь *eiron*'а и *alazon*'а. Они — воплощение дурных качеств (κακίαι), окаймляющих добродетели (ἀρεταί)» (Michael Psellus 1994: 77.523–526)[11].

Лишь в одном известном нам случае Пселл употребляет слово εἰρωνικος в значении, близком к 'скрытный', 'себе на уме', противопоставленном выражению со смыслом 'открытый для всех', 'душа на распашку'[12].

Подобно своим античным предшественникам, Пселл связывает понятие εἰρωνεία с фигурой Сократа: последний «на все вопросы отвечает иронически» (πρὸς πᾶσαν ἐρώτησίν εὐρωνεύετο) (Michael Psellus 1985: 63.43). В другом случае Пселл заявляет, что не хочет быть обвиненным своими друзьями в 'обычной сократовской иронии' (ἡ εἰωθυῖα εἰρωνεία Σωκράτους) (цит. по: Michaelis Pselli 1936–1941: II: 161). Более того (и это, пожалуй, самое интересное), Пселл определенно ассоциирует свое поведение со стилем Сократа. Самый показательный пример в этом отношении — письмо Иоанну Мавроподу (Scr. min. II № 229). Адресат, видимо, был обижен предыдущим посланием своего бывшего ученика (вероятно, какими-то шутками Пселла) и выражает свое удивление: он всегда был 'ироничен' (εἰρωνευσάμενος) в своих письмах к друзьям; как мог Мавропод, характер которого «серьезен и в то же время сократовский, не обыкновенный, но и не исключительно иронический» (σεμνὸς ὁμοῦ καὶ Σωκρατικὸς καὶ οὔτε κοινὸς ἄγαν οὔτε μόνως εἰρωνικὸς), не понять его шуток! Таким образом, сам Пселл утверждает, что стиль его отношений с друзьями имеет иронический характер.

В одном из своих сочинений Пселл даже претендует на то, чтобы играть роль некоего «христианского Сократа». Растолковывая ученикам смысл Псалмов, Пселл говорит, что он, в отличие от Сократа, именуемого Платоном «вдохновенным нимфами» (νυμφόληπτος...ὡς παρὰ Πλάτωνι Σωκράτης), может считаться 'боговдохновенным' (θεόληπτος) (Michaelis Pselli 1936–1941: I, 372). Вряд ли мы слишком удалимся от истины, если предположим, что пселловская *eironeia* не слишком далеко отстоит от современной иронии...

Скорее всего, относительно частое употребление Пселлом понятия *eironeia* — не простая случайность. Расположенность этого византийца к шутке, смешному и вообще всему комическому хорошо засвидетельствована в письмах и других сочинениях. Как утверждает неоднократно сам Пселл, его приверженность к «харитам» (так обычно метафорически обозначаются всяческого рода «прелести», включая риторическую орнаментику и интеллектуальные удовольствия, в том числе взаимное подшучивание и т. п.) столь же велика, как и его преданность «музам» (т. е. философии и прочим «высоким» занятиям). Как уже мне приходилось отмечать (Любарский 1978: 66–69), стиль его отношений с некоторыми из друзей был шутлив и содержал элементы комического. Более того, в их отношениях присутствовали явные признаки игрового поведения: друзья устраивали своего рода «театр на дому», представляли какие-то сцены фарсового характера и нередко разыгрывали друг друга как в переписке, так и личных отношениях. Став старше, Пселл ностальгически вспоминает об этих взаимных шутках[13].

Посмотрим, каким образом ирония — *eironeia* — проявляется в самих пселловских сочинениях разных жанров. Среди многочисленных персонажей, фигурирующих в корреспонденции Пселла, особое место занимает монах Илья, образ которого уже анализировался в двух статьях относительно недавнего времени, что делает излишним подробный разговор о нем в рамках этой работы (Любарский 1973[14]; Dennis 1988).

Позиция этого Ильи (несомненно, реального человека из окружения писателя) не очень четко очерчена в письмах. Он играет роль одновременно слуги, друга и в каком-то смысле даже alter ego своего хозяина.

Подобно самому Пселлу, Илья служит одновременно «музам» и «харитам», он любит 'сладко смеяться' (ἡδὺ γελάσαι) и 'забавляться забавами' (τὰ παικτὰ παῖξαι)[15]. При этом Илья не только «сладко смеется» сам, но и забавляет окружающих, в каком-то отношении принимая на себя роль шута: он умел танцевать и петь песни, прекрасно изображал всех и вся, разыгрывал шутливые сцены (не забудем, что это было любимой забавой и самого Пселла!) и т. п. Илья — любитель рассказывать всякие фривольные истории, в том числе и о веселых заведениях Константинополя. Слушатели, раскрыв рот, внимают его рассказам, впрочем, как замечает Пселл, прелюбодействовал он только на словах (Michaelis Pselli 1936–1941: II, № 97).

Безусловно, Илья, в изображении Пселла, обладает какими-то чертами шута «бомолоха»; не забудем, однако, что 'шутовство' (βωμολοχία) было еще с античных времен не очень четко отделено от более «высокой» *eironeia*, а маски *eiron*'а и *bomolochos*'а имели немало общего уже в древней комедии[16]. В письмах о монахе Илье, не только автор — Пселл, но и его герой — Илья — в определенном смысле выступают в качестве eirones.

С иной ситуацией мы встречаемся в разделе пселловской «Хронографии», посвященной Роману IV Диогену. Историк начинает рассказ с описания 'нрава' (τρόπος) императора, который «не был прямым, но по большей части лукавым и наглым» — так мы весьма несовершенно передаем греческую фразу: οὐ κατευθύνων, τὰ πλείω δὲ εἰρωνικός τε καὶ ἀλαζών. Такое соединение в пределах одной характеристики понятий *eiron* и *alazon* казалось бы удивительным и даже невозможным, если бы мы не наблюдали соединения этих противоположностей уже в античности (см. выше). Более того, в характеристике Романа IV можно усмотреть своего рода реплику аристотелевских рассуждений о том, что *eiron* и *alazon* являются «дурными» крайностями, в середине между которыми находится «прямой», «правдивый» *aletheuon* (κατευθύνων, вероятней всего, в этом контексте — синоним ἀληθεύων). Обе эти «дурные крайности» использованы для отрицательной характеристики императора, объединяющего в себе все пороки.

Тщеславный Роман женится на императрице Евдокии с единственной целью приобрести царскую власть. Какое-то время ему удается держать в тай-

не свои намерения, но очень скоро Роман проявляет свою истинную природу (οἰκείων ἠθῶν) (Chron. VII 10. 17–18). Одержимый желанием править единовластно (αὐταρχεῖν καὶ τὸ κράτος τῶν πραγμάτων ἐχεῖν μονώτατος) (ibid.: 330.8) и неспособный сделать благо для государства, он объявляет о походе против персов (т. е. турок). Его военные приготовления описываются откровенно сатирически: царь облачился с ног до головы в доспехи из дворца (πανοπλίαν ἀπὸ τῶν ἀνακτόρων) и со щитом в левой руке, с копьем, «крепко в составах сколоченным, двадцать два локтя длиною» (Илиада XV.678), выступил против врагов. Результат этой кампании был плачевным: император вернулся в столицу 'по видимости' (τῷ δοκεῖν) с триумфом, но на самом деле добычи никакой не завоевал, и единственным его достижением было то, что он ходил в поход против турок. В цитированном пассаже очевидны две оппозиции, сознательно автором подчеркнутые: 1) между высоким стилем изложения (с используемой гомеровской цитатой) и глупыми претензиями Романа; 2) между видимой «победой» Романа и ничтожными истинными результатами его похода. Тем не менее именно эта кампания стала для Романа поводом для новых амбициозных претензий (πρόφασις... πρώτη τῆς ἀλαζονείας). Вторично в этой главе Роман Диоген выступает как *alazon*! Данное ему определение *eiron*'а оказывается совершенно забытым; более того, роль эта, как кажется, переходит к самому автору.

Второй поход против турок, в восприятии Пселла, — непосредственный результат растущей *alazoneia* императора: «...своих воинов мы потеряли тысячи, вражеских захватили не то двух, не то трех, но все-таки поражения не потерпели, и шум (κρότος) против варваров подняли отчаянный. Хвастовства (κόμπος) и бахвальства (φρύαγμα) от этого еще прибавилось» (Chron. VII.17.3–6). Вновь иронический эффект в этом пассаже проистекает из классического противопоставления «внешнего» и «внутреннего»: необоснованных претензий и хвастовства Романа Диогена и ничтожных результатов его деятельности, с одной стороны, и внешне серьезного и даже подчас хвалебного тона писателя и его критического отношения к своему герою — с другой.

Третья, ставшая для императора трагической кампания императора против турок описана Пселлом аналогичным образом. Роман «дерзает» больше, чем необходимо (θαρρήσας πλέον τοῦ δέοντος) (Chron. VII.19. 8–9).

Его неразумная храбрость (Ὁ δὲ ἀλογίστως παρεκινδύνευε) вызывает насмешки людей, но сам Пселл, по его словам, скорее склонен хвалить, а не порицать императора (Chron. VII. 21). Насколько искренне это утверждение Пселла? На самом ли деле он изменил свое отношение к Роману и принялся хвалить его в то время, как окружающие стали над ним смеяться? Вероятней другое. Перед нами классический прием «иронического» писателя, притворно хвалящего, но на деле осмеивающего своего персонажа. Иными слова-

ми, Пселл вновь начинает исполнять роль классического eiron'а, в то время как его партнер-герой функционирует в качестве alazon'а. В этой последней функции Роман и фигурирует до конца книги, ему посвященной. Попав в трагическую ситуацию, лишенный трона, Роман остается заносчивым (ὑβριοπαθόν) и самоуверенным (αὐθαδέστερος) (Chron. VII.35/8–13).

Не только персонажи произведений Пселла, но и сами произведения в целом могут быть проникнуты духом иронии. Один из лучших примеров — блестящий трактат Пселла, посвященный патриарху Михаилу Кируларию, обычно относимый исследователями к эпистолярному жанру[17]. Его содержание и смысл передать нелегко. Судя по началу, по замыслу автора, этот трактат (или письмо?) — ординарная похвала, адресованная высокопоставленному священнослужителю: уже во второй строке сочинение охарактеризовано как εὐφημία ('похвала'). При этом Кирулария Пселл хвалит «по собственному опыту»[18]. Каждый знает, — пишет Пселл, — что Кируларий — не обыкновенное земное существо, что он был вознесен на небеса, где общался с высшими силами, уподобился им, а затем сошел обратно на землю и стал опять жить как человек (Michele Psello 1973: 21.5–10). Уже эти выспренные похвалы могут внушить подозрение, что Пселл ироничен. Однако современный читатель должен быть осторожен с подобными выводами: гиперболы византийцы подчас употребляли чудовищные, а конец письма и вправду позволяет трактовать его как благонамеренную похвалу. Присмотримся, однако, внимательней к некоторым деталям произведения. Пселл утверждает, что имеет намерение в будущем детально описать жизнь патриарха и с этой целью собирает материал из разных источников и желает украсить свое сочинение всеми словесными изысками в надежде, что даже обитатели самых отдаленных стран смогут насладиться его 'книгой' (δέλτον) (Michele Psello 1973: 31.261–274). Но о какой «книге» идет речь? На первый взгляд, Пселл собирается написать один из тех цветистых энкомиев, которые византийские риторы имели обыкновение посвящать высшим сановникам государства и церкви. Учтем, однако, что сочинение, о котором идет речь, писалось в 1057–1058 гг. — в период, когда отношения между императором Исааком Комнином и патриархом Михаилом Кируларием были очень испорчены, совсем незадолго до падения патриарха и процесса над ним, на котором Пселл должен был выступать в качестве обвинителя. Видимо, упомянутая «книга» — это как раз и есть знаменитая «Речь против Кирулария», написанная в 1058 г. и принесшая Пселлу скандальную славу бесхребетного человека и беспринципного политикана (речь так и не была произнесена из-за смерти обвиняемого, но издана тщеславным автором) (Ljubarskij 1992).

Итак, в период написания «похвалы» Пселл уже собирает материал для тех чудовищных обвинений, которые он собирается предъявить через несколько месяцев патриарху!

Ясно поэтому, что неумеренные похвалы в адрес Кирулария, о которых говорилось выше, никак нельзя принимать за чистую монету, и зародившееся уже в начале чтения подозрение об ироническом характере восторженных излияний вовсе не безосновательно.

И действительно, нетрудно заметить, что Пселл в этом сочинении постоянно балансирует между двумя крайностями. Основную по объему часть составляет демонстрация контраста между Кируларием и самим автором. Патриарх — существо божественное, небесное, а природа Пселла — земная и низменная. Патриарх происходит из знатной семьи, а Пселл — простого происхождения и т. д. Пселл, по всей видимости, превозносит патриарха, но похвалы постепенно, впрочем иногда и достаточно резко, превращаются в свою противоположность и, в конце концов, завершаются язвительными уколами и поношением. Впрочем, и поношение точно так же может неожиданно смениться похвалой...

Пселл, например, хвалит патриарха за его «твердый нрав, непреклонную душу», но не может удержаться, чтобы не добавить: «не говоря уже о презрении к образованию» (τὸ περιὸν τοῦ στασίμου ἤθους καὶ τῆς βεβηκυίας ψυχῆς ἵνα μὴ λέγω τὸ καταπεφροντικὸς τῆς παιδεύδεως). Последнее в устах Пселла уже никак не может быть сочтено похвалой. Однако, написав такое, Пселл неожиданно спохватывается и, желая — то ли искренне, то ли нет — сгладить впечатление от этих слов, заключает пассаж коротким замечанием: «Я говорю это не для осуждения, а чтобы похвалить за твердость» (Michele Psello 1973: 25.107–112).

Да и пселловское «самоуничижение» (он человек земной, в отличие от «небесного» Кирулария), конечно, за чистую монету принять невозможно, и оно действительно весьма скоро обращается в свою противоположность — совершенно безграничное самовосхваление и хвастовство: его слава привлекла к нему людей со всех концов земли, среди них арабов, египтян, персов, эфиопов и т. д. (ibid.: 25). Но эти тщеславные излияния, в свою очередь, заканчиваются «скромным» заявлением, что человек он старомодный и неученый (ἀρχαίως ἔχω καὶ ἀμαθῶς) (ibid.: 27.166). Можно заключить, что и в этом сочинении Пселл одевает на себя маску *eiron*'а, весьма удобную для осмеяния претенциозного патриарха.

Многочисленные «противоречия», помимо всего прочего, отражают, конечно, переменчивую, импульсивную, нервную природу автора этого сочинения, в котором ненависть к патриарху, язвительность и тщеславие Пселла тесно переплетены между собой. Тем не менее ирония — явная доминанта этого трактата (письма?). Число иронических образов и произведений Пселла достаточно велико, и во многих случаях оказывается довольно трудно решить, серьезен или ироничен Пселл[19]. Однако не есть ли сама эта трудность показатель ироничности автора?

* * *

Я старался показать, что понятие *eironeia* было хорошо знакомо Пселлу, причем в смысле, относительно близком современной иронии, и что Пселл сознательно полагал себя «лицом ироничным». Это дало мне возможность причислить некоторые из образов и произведений Пселла к числу иронических и при этом анализировать их в пределах понятий, употреблявшихся в античности и Византии и в то же время близких современным. Можно надеяться поэтому, что Пселл и его просвещенные современники смогли бы понять ход моих рассуждений, получи они вдруг невероятную возможность с ними познакомиться.

Литература

1. Бахтин 1965 — *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле. М: Художественная литература, 1965.

2. Зайцев, Любарский 1978 — *Зайцев А. И.*, *Любарский Я. Н.* Два письма Михаила Пселла // Byzantinoslavica. 1978. 39 (1). С. 24–28.

3. Каждан 2000 — *Каждан А. П.* Смеялись ли византийцы? (Homo Byzantinus ludens) // Другие средние века: К 75-летию А. Я. Гуревича / Сост. И. В. Дубровский. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 185–197.

4. Лихачев, Панченко, Понырко 1984 — *Лихачев Д. С.*, *Панченко А. М.*, *Понырко Н. В.* Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984.

5. Любарский 1974 — *Любарский Я. Н.* Византийский монах XI в. Илья: (по материалам переписки Пселла) // Античная древность и Средние века. Сб. 10 / Редкол.: В. А. Сметанин, Н. А. Бортник, В. Я. Кривоногов. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1973. С. 198–203.

6. Любарский 2001 — *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество: К проблеме византийского предгуманизма. М.: Наука, 1978; 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2001.

7. Пропп 1999 — *Пропп В.* Проблемы комизма и смеха. М.: Лабиринт, 1999.

8. Alexiou 1982/1983 — *Alexiou M.* Literary Subversion and the Aristocracy in Twelfth Byzantium: A Stylistic Analysis of the *Timarion* (ch. 6–10) // Byzantine and Modern Greek Studies. 1982/83. 8. P. 29–45.

9. Alexiou 1986 — *Alexiou M.* The Poverty of Ecriture and the Craft of Writing towards the Reappraisal of the Prodromic Poems // Byzantine and Modern Greek Studies. 1986. Vol. 10. P. 1–40.

10. Anne Comnène 1945 — *Anne Comnène.* Alexiade / Ed. B. Leib. Vol. 3. Paris: Les belles lettres, 1945.

11. Arethae scripta minora 1972 — Arethae scripta minora / Ed. L. Westerink. Leipzig: Teubner Verlaggesellschaft, 1972. Vol. II.

12. Booth 1974 — *Booth W.* The Rhetoric of Irony. Chicago: University of Chicago Press, 1974.

13. Büchner 1941 — *Büchner W.* Über den Begriff der Eironeia // Hermes. 1941. Bd 76. S. 339–358.

14. Cornford 1914 — *Cornford F.* The Origin of Attic Comedy. Cambridge: Edward Arnold, 1914.

15. Criscuolo 1982 — *Criscuolo U.* Pselliana // Studi italiani di filologia classica. 1982. N. S. 54. No 1–2.

16. De Jong, Sullivan 1994 — *De Jong I. G. F., Sullivan J. P.* Modern Critical Theory and the Classical Literature. Leiden: Brill, 1994.

17. Dennis 1988 — *Dennis G. T.* The Byzantines as Revealed in Their Letters // Gonimos: Neoplatonic and Byzantine Studies Presented to Leenert G. Westerink at 75. Buffalo; New York, 1988. P. 155–165.

18. Dennis 1997 — *Dennis G. T.* Were the Byzantines Creative or Merely Imitative? // Conformity and Non-Conformity in Byzantium / Ed. by L. Garland. 1997. (=Byzantinische Forschungen. 24).

19. Etymologicum magnum 1848 — Etymologicum magnum / Ed. T. Gaisford. Oxford: E typographeo academico, 1848.

20. Excerpta historica iussu 1903 — Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta. Excerpta de legationibus / Ed. C. de Boor. Berolini, 1903.

21. Excerpta historica iussu 1906 — Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta. De sententiis / Ed. Ph. Boissevain. Berolini, 1906.

22. Garland 1990 — *Garland L.* «And his Bald Head Shone Like a Full Moon...»: an Appreciation of the Byzantine Sense of Humour as Recorded in Historical Sources of the Eleventh and Twelfth Centuries // Parergon: Bulletin of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Renaissance Studies. Canberra. 1990. N. S. 8. P. 1–31.

23. Grigoriadis 1998 — *Grigoriadis I.* Linguistic and Literary Studies in the Epitome of John Zonaras. Thessaloniki: University of Thessaloniki, 1998.

24. Ioannis Cameniatae 1973 — *Ioannis Cameniatae.* De expugnatione Thessalonicae / Rec. G. Boelig (Corpus fontium historiae byzantinae. Vol. IV). Berolini: De Gruyter, 1973.

25. Kaibel 1899 — *Kaibel G.* Comicorum graecorum fragmenta. [S.1.], 1899.

26. Kierkegaard 1965 — *Kierkegaard S.* The Concept of Irony / Transl. by L. Capel. Bloomington: Harper&Row, 1965.

27. Kyriakis 1973 — *Kyriakis M.* Satire and Slapstick in Seventh and Twelfth Century Byzantium // Byzantina. 1973. 5. S. 289–306.

28. Ljubarskij 1987 — *Ljubarskij J.* Der Kaiser als Mime // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 1987. Bd 37. S. 39–50.

29. Ljubarskij 1992 — *Ljubarskij J.* The Fall of an Intellectual: The Intellectual and Moral Atmosphere in Eleventh-Century Byzantium // Byzantine Studies: Essays on the Slavic World and the Eleventh Century / Ed. by Sp. Vryonis. New Rochelle; New York: Aristide D. Caratzas Publisher, 1992. P. 175–182.

30. Michael Attaliotae 1852 —Michael Attaliotae historia/ Rec. I. Bekkerus. Bonn: impensis ed. Weberi, 1852.

31. Michele Psello 1973 — *Michele Psello.* Epistola a Michele Cerulario / Ed. U. Criscuolo. Napoli: Universita di Napoli, Cattedra di filologia Bizantina, 1973.

32. Michele Psello 1984 — *Michele Psello.* Imperatori di Bisanzio (Cronografia). I–II. Roma: Fondazione Lorenzo Valla, 1984.

33. Michael Psellus 1985 — *Michael Psellus.* Oratioria minora / Ed. A. Littlewood. Leipzig: Teubner Verlaggesellschaft, 1985.

34. Michael Psellus 1989 — *Michael Psellus.* Theologica / Ed. P. Gautier. Leipzig, Teubner Verlaggesellschaft, 1989. Vol. 1.

35. Michael Psellus 1994 — *Michael Psellus.* Orationes panegyricae / Ed. G. T. Dennis. Stuttgart; Leipzig: Teubner Verlaggesellschaft, 1994.

36. Michaelis Pselli 1936–1941 — Michaelis Pselli scripta minora magnam partem adhuc inedita: I–II / Ed. E. Kurtz, F. Drexl. Milano: Vita e pensiero, 1936–1941.

37. Niceta Coniata 1994 — *Niceta Coniata.* Grandezza e catastrofe di Bisanzio. / Introduzione di A. Kazhdan. [S. 1.]: Fondazione Lorenzo Valla, 1994. Vol. 1.

38. Reich 1903 — *Reich H.* Der Mimus. Bd 1–2. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1903.

39. Ribbeck 1876 — *Ribbeck O.* Über den Begriff des *Eiron* // Rheinisches Museum. 1876. Bd 31. S. 24–58.

40. Sathas 1876 — Sathas. Bibliotheca graeca mediae aevi. Paris: Maisonneuve et C-ie, Libraires-editeurs, 1876. Vol. V. N 207.

41. Suidae lexicon 1928 — Suidae lexicon / Ed. A. Adler. Leipzig: Teubner, 1928. Bd I.

42. Theophanes Continuatus 1838 — Theophanes Continuatus / Rec. I. Bekkerus. Bonn: impensis ed. Weberi, 1838.

43. Tinnefeld 1974 — *Tinnefeld F.* Zum Profanen Mimos in Byzanz nach dem Verdikt des Trullanums (691) // Byzantina. 1974. 6. S. 321–344.

44. Vlastos 1991 — *Vlastos G.* Socrates: Ironist and Moral Philosopher. Ithaca; New York: Cornell University Press, 1991.

45. Σαρρῆ 1995–1997 — Σαρρῆ Β. Α 'Η σάτιρα τῆς ἐξουσίας στὴ συγγράφη του ἀρχιεπισκόπου Εὐσταθίου. 'Η ἅλωσις τῆς Θεσσαλονίκης // Byzantinos domos. 1995–1997. T. 8–9. S. 15–29.

Примечания

[1] Из большого числа работ на эту тему сошлюсь только на несколько (Бахтин 1965; Лихачев, Панченко, Понырко 1984; Ljubarskij 1987).

[2] Несколько любопытных замечаний об иронии у Никиты Хониата содержится и в написанной еще в 70-е годы (опубликована посмертно: *А. П. Каждан.* Никита Хониат и его время. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005 [ред.]) книге ученого об этом писателе.

[3] Этот вывод был сделан на основании анализа «Tractatus coislinianus», возможно базирующемся на утерянной части «Поэтики» (ἤθη κωμῳδίας τα τε βωμολόχα καὶ τὰ εἰρωνικὰ καὶ τὰ τῶν ἀλαζόνων (Kaibel 1899: 52; ср.: Cornford 1914: 136 ff.)).

[4] О ничтожестве, приписывающем себе значение, и, наоборот, персонаже значительном, надевающем маску простоты, как источниках смеха, правда, как правило, без ссылок на Аристотеля, уже писали современные теоретики комического. В. Я. Пропп рассматривает это как частный случай частой комической ситуации qui pro quo (Пропп 1999: 144-149).

[5] Hesychius. Sigma 214.1.

[6] Анонимный редактор или переписчик сокращает в этом случае восьмую книгу историка VI в. Менандра Протектора.

[7] Любопытно, что в обоих случаях (см.: Etymologicum magnum 1848: 304.18) реферируется один и тот же пассаж из Менандра Протектора, тем не менее причастие εἰρωνευόμενος, как кажется, употребляется в разных смыслах ('обманывать' и 'насмехаться').

[8] Skyl. Mich. II, 20.61: εἰρωνικῶς καὶ τωθαστικῶς. Этот пассаж из хроники Скилицы весьма любопытен. Скилица в данном случае пересказывает Продолжателя Феофана (Theophanes Continuatus 1838: 83.4). Однако вместо εἰρωνικῶς у «Продолжателя» стоит εἰρηνικῶς (т. е. 'с мирными намерениями') — слово, вполне вписывающееся в контекст рассказа. Может быть, Скилица или его предшественник по ошибке заменил εἰρηνικῶς на εἰρωνικῶς, а для того, чтобы объяснить или усилить значение слова, добавил τωθαστικῶς?

[9] Григора — писатель XIV в., но я ссылаюсь на него здесь, поскольку он больше других использует понятие *eironeia* и почти всегда в значении 'насмешка'.

[10] Имеется немало случаев, когда точное значение слова не может быть выведено из контекста. Никита Пафлагонец, например, в письме, адресованном Арефе, использует глагол κατειρωνεύετο в одном ряду с ἐνεκάλει и προσονείδιζεν (Arethae scripta minora 1972: 169.28–31). Остается неясным, означает он 'порицать' или 'насмехаться'.

[11] Пселл прямо ссылается здесь на «Этику Никомаху» (Eth. Nic. 1108a 21-b13. Ср. выше (с. 559)). В «Хронографии» Пселл пишет: Константин старался завоевать расположение людей «не мудрствованиями или притворством» (οὔτε κατασοφιζόμενος οὔτε εἰρωνευόμενος), но «правдиво» (φιλαληθῶς). Здесь εἰρωνεία тоже, несомненно, противопоставлена ἀλήθεια (Michele Psello 1984: VI.32.4).

[12] Андроник Дука, брат Михаила VII обладает характером (τὸ ἦθος), который охарактеризован следующим образом: οὐ βαθὺ οὐδὲ εἰρωνικὸ?... ἀλλ' ἐκκείμενον ἅπασι (Chron., VII. 14.7).

[13] Письмо опубликовано (Зайцев, Любарский 1978).

[14] См. также: Любарский 1978: 74–79.

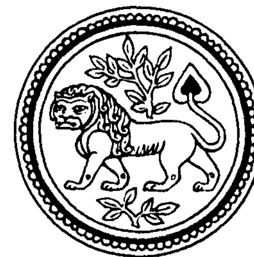
[15] Я пересказываю письмо № 212 (Scr. min. II). Илья здесь по имени не назван, но нет сомнения в том, что речь идет именно о нем; см. (Любарский 1978: 74).

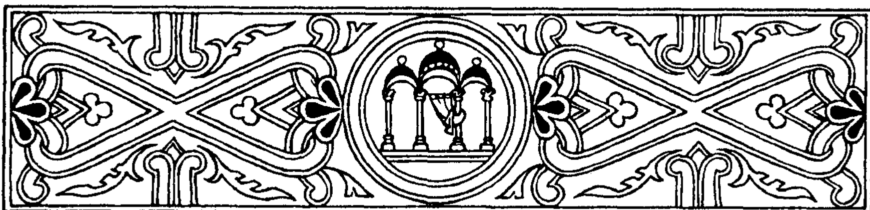
[16] См.: Dennis 1997.

[17] Это произведение было издано дважды (Sathas 1876: V. No 207; Michele Psello 1973). Я цитирую его по последнему упомянутому изданию; ср. (Любарский 1978: 251–252).

[18] οἴκοθεν γὰρ ἔχω τῆς εὐφημίας τὴν ἀφορμήν (p. 21.2–3). Значение οἴκοθεν может быть истолковано по-разному (Michele Psello 1973: 33, n. 1).

[19] У. Крискуоло, например, предполагает, что преувеличенные похвалы Константина X и Михаила VII в «Хронографии» не могли произноситься «всерьез» (Criscuolo 1982). В этом случае, однако, итальянский ученый, как кажется, переоценивает Пселла: мы не знаем, что у последнего было на уме, но хвалить власть имущих он умел не хуже самых записных византийских льстецов.





МАНУИЛ I ГЛАЗАМИ КИННАМА И ХОНИАТА*

П. Магдалино в своей монографии подробно пишет о том, как Мануил I (1143–1180) изображался многочисленными придворными[1]. Материалом же для настоящей статьи послужил образ Мануила у историков XII в. Иоанна Киннама и Никиты Хониата.

Хониат был младше Киннама лет на двадцать и обнародовал свою историю значительно позже Киннама. Вопрос о том, знал ли он труд старшего своего современника, довольно долго дебатировался исследователями, и, согласно мнению А. П. Каждана, занимавшегося этой проблемой с наибольшим тщанием, в главах, посвященных Мануилу, Хониат абсолютно самостоятелен и никак от Киннама не зависит[2]. С этим выводом, несмотря на некоторые оговорки[3], можно согласиться, и, таким образом, проблема, подлежащая обсуждению, сводится к тому, как два разных историка независимо один от другого оценивали и изображали едва ли не главного из своих героев — императора Мануила Комнина.

Мануил в «Истории» Киннама — прежде всего воин.

Уже немало писалось о «милитаризации» образа императора у писателей XII в.[4] Дело, конечно, не только в трансформации императорского идеала в XII в., Мануил и в действительности, подобно всем Комниным, воевал больше и чаще, чем их слабые предшественники после Василия II. Тем не менее характер изображения воинских доблестей Мануила I заслуживает особого внимания. Воинами par exellence изображались и дед Мануила Алексей I (у Никифора Вриенния и Анны Комниной), и его отец Иоанн II (у того же Киннама). Однако Мануил у Киннама мало похож на своих предшественников на троне. Чтобы это стало ясным, коротко сопоставим Мануила в «Истории» Киннама с Алексеем в «Алексиаде»[5]. Сразу оговоримся. Все, о чем пойдет речь ниже, относится главным образом к первым четырем книгам сочинения Киннама: в последних частях его истории стиль изображения главного героя несколько меняется, однако об этом сказано будет позднее.

Алексей у Анны — прежде всего предусмотрительный и мудрый правитель, готовый на все ради блага государства. Всевозможные беды и напасти непрерывно обрушиваются на Византию, и роль Алексея всякий раз сводится к тому, чтобы отвести своими мудрыми и осторожными действиями очередную опасность. Эта «установка» Анны проявляется не только в прямых декларациях писательницы, но в самой художественной ткани, и прежде всего в композиции «Алексиады». Сочинение это разделено на «макроэпизоды», каждый из которых представляет собой рассказ о той или иной беде, которую сумел предотвратить император Алексей. Каждый новый «макроэпизод» повествования нарушает некое относительное равновесие ситуации, при этом инициатором такого «нарушения» всякий раз оказывается оппонент императора, в то время как сам он «нарушенное равновесие» восстанавливает, правда, уже на новом этапе… В этом смысле роль энергичного и предприимчивого Алексея в «Алексиаде» пассивна, в то время как активное начало обычно олицетворено во врагах императора, внешних или внутренних.

Совершенно иначе у Киннама. Мануил — во всяком случае в первых четырех книгах — беспокойный и импульсивный царь, инициирующий события, и каждый новый эпизод, как и в «Алексиаде», начинается с «нарушения равновесия», но уже в результате действий самого протагониста — императора. Иными словами, зачином эпизода у Киннама оказывается не сила, действующая извне, а некая акция самого императора, влекущая за собой череду последующих событий, чаще всего военных операций. Завершается эпизод очередным триумфом царя, как и положено, «восстанавливающим равновесие» на новом уровне. Внимательный читатель, безусловно, заметит, что терминология, используемая здесь для характеристики литературного эпизода («нарушение и восстановление равновесия»), заимствована из современной нарратологии[6], однако основная наша задача — показать, что у Киннама, как и у Анны, художественная ткань произведения, его композиционное построение тесно связано с характером обрисовки главного героя, а в конечном счете с представлением автора об идеальном поведении идеального императора.

Подобно Алексею у Анны Мануил у Киннама упоминается еще до вступления на престол, он так же, как и его дед, мужественен и отважен, но его храбрость совсем другого рода. Алексей предусмотрителен и мудр, его внук — импульсивен и безогляден. Это лучше всего проявляется в часто цитируемом эпизоде, когда Мануил, участвуя в походе Иоанна I против турок, бросается со своими воинами в гущу врагов и поднимает дух приунывших было ромеев (Cinn. 21.14–22.3)[7]. Отец по видимости недоволен безрассудной удалью сына, но в душе восхищен его геройством. Киннам специально подчеркивает молодость отличившегося Мануила и добавляет, что доблесть не может быть связана с каким-либо возрастом (οὐκ οἷς δε παντάπασιν ἀρετὴ περιγράφεσθαι). Впрочем, на самом деле Мануил, во всяком случае по византийским представлениям, не так уж и молод. По словам Киннама, он не достиг к тому моменту восемнадцати лет (ὀκτωκαίδεκα οὔπω γεγονὼς ἔτη), но

* Статья опубликована в ВВ, 2005, 64(89), 99–109.

на самом деле в конце 1139 г., о котором идет речь, его возраст должен был приближаться к двадцати одному году[8]. Видимо, Киннаму очень важно было подчеркнуть молодость героя…

На протяжении всей четвертой книги безоглядная храбрость становится абсолютно доминирующей чертой образа Мануила. Только однажды и мимоходом упоминает Киннам о том, что Мануил, как никто другой, был опытен в стратегическом искусстве (Cinn. 43.3–5), во всех других случаях главными, если не единственными достоинствами Мануила-воина, становятся его сила и доблесть. Ключевыми понятиями при изображении императора оказываются αὐτουργία и αὐτοχειρία, т. е. собственноручные деяния, подвиги императора (Cinn. 47.8; 54.7; 192.3; 198.12). Соратники Мануила нередко пытаются сдержать его дерзкие порывы, но, как правило, оказываются неспособны умерить его боевой пыл (242.1–2). Более того, сам Мануил бывает не в состоянии совладать с собственным воинским духом (116.23) и всегда оказывается первым при необходимости свершить что-либо своими руками и силами: он не дает утонуть судну (221.18 sq.), пролагает войску путь во время снежной бури (196.3 sq.), переправляется через Дунай в маленькой лодчонке (240.16–20) и так далее. Его вид и само имя наводят страх на врагов и обращают их в бегство. Он кровожаден и убивает одним ударом множество неприятелей (192.3–7). Если враг медлит вступить в сражение, Мануил всячески провоцирует его на битву и сам бросается в гущу недругов (240.17). Его дерзкую храбрость (θράσος) Киннам неоднократно именует «сверхчеловеческой» (99.18; 108.8; 240.4).

В этой связи обращает на себя внимание отступление, которое Анна Комнина делает в последней книге «Алексиады». Писательница противопоставляет два вида храбрости, которые условно можно обозначить как «разумную» (θάρσος) и «неразумную» (θράσος) и при этом замечает, что «первейшим достоинством полководца является способность побеждать, не навлекая на себя опасность» (Anna. 467.10–18)[9]. Трудно отделаться от впечатления, что Анна, заканчивавшая исторический труд уже при Мануиле, которого она терпеть не могла, не рассуждает здесь абстрактно, а сознательно противопоставляет безрассудную дерзость (θράσος) племянника разумной храбрости (θάρσος) отца. Характерно, что историк, не колеблясь, применяет в отношении своего героя даже слово τόλμη (дерзость), имеющее нередко у византийских авторов негативную коннотацию и часто относимое к варварам, еретикам и т. п. (Cinn. 241.17).

Единственным увлечением Мануила по Киннаму, помимо войны, являлась охота, на которую он отправлялся, как только случалось у него свободное от сражений время (Cinn. 93.8–9; 189.2 sq.). Один «охотничий» эпизод особенно примечателен. Охотясь в районе Даматриса, Мануил встречает фантастическое существо, «смесь льва и леопарда», чудовищной силы и храбрости. «Спутники императора бросились в бегство, но сам он, выхватив меч, нанес удар по голове зверя» (266.22–267.12). История эта, видимо, была частью «придворного фольклора» о Мануиле, а возможно, даже и имела какую-то реальную основу, во всяком случае ее пересказывает в похожем виде придворный ритор Михаил Анхиал[10].

Вообще стиль изображения Мануила у Киннама и придворных энкомиастов во многом схож: и тот, и другие подчеркивают прежде всего личную отвагу и необыкновенную воинскую доблесть императора. Голос Киннама в значительной мере сливается с хором дворцовых льстецов, прославляющих молодого императора, хотя сам историк и спешит от них отмежеваться[11]. Вместе с тем последние, помимо храбрости, почти никогда не забывают приписать Мануилу все те добродетели, которые уже в Римской империи считались необходимой принадлежностью правителей и входили в обязательный канон, неуклонно соблюдаемый риторами (прежде всего речь идет о необыкновенной мудрости)[12].

Исследователи, занимающиеся византийской литературой, обычно бывают озабочены поисками моделей и клише, которым следуют писатели. Нередко это стремление оказывается вовсе беспредметным, однако в данном случае «модель», как кажется, налицо. Это Дигенис Акрит, герой эпических песен, а возможно, и эпической поэмы, согласно новейшим исследованиям, имевших хождение в Византии уже в начале XII в.[13]

Попробую привести дополнительные аргументы в защиту мысли об эпическом характере образа Мануила и его зависимости от Дигениса Акрита. Как и полагается эпическому герою, Мануил — обладатель чудовищной силы, огромного роста и могучего телосложения (Cinn. 205.13 sq.). О его сверхчеловеческой храбрости и кровожадности говорилось выше. Свои необыкновенные подвиги — тоже в соответствии с эпическим и даже фольклорным каноном — он начинает совершать еще в детстве: «Уже одиннадцатилетним он нередко собственными руками (χερσὶν οἰκείαις) пленял варваров» (99.20–21).

Весьма знаменательно, что проявления доблести Мануила ставятся Киннамом в определенную связь с его отношениями с молодой женой Бертой-Ириной Зульцбахской. На самом деле женолюбивый и не отличающийся чрезмерным целомудрием Мануил не любил свою немецкую супругу, откровенно ею пренебрегал и даже отправился отдыхать в загородное имение, в то время как Берта-Ирина находилась при смерти во дворце в столице (Cinn. 152.3 sq.). Тем не менее именно Берта-Ирина, по словам Киннама, вдохновляла юного Мануила на подвиги. В 1146 г. император во время экспедиции против Икония желал во что бы то ни стало собственными силами отличиться в бою (αὐτουργῆσαι), причем, как утверждает Киннам, возбуждали в нем это желание его юность и недавняя женитьба (47.6–10). Знаменательно в этой связи, что сама Берта-Ирина, по словам историка, заявила в сенате, что

«происходит она из великого и воинственного народа, но никогда не слыхала, чтобы кто-либо, кроме ее мужа, мог похвастаться таким количеством подвигов, совершенных за один год» (99.21–100.3).

Трудно сказать, что больше повлияло здесь на Киннама (или Мануила?): западные идеалы служения даме или преданность супруге эпического Дигениса Акрита.

Не так просто также решить, должна ли речь идти о прямом и непосредственном влиянии византийского эпоса на историографию или об общей «рыцарской атмосфере», одинаково отразившейся в жизни византийского двора, историческом сочинении Иоанна Киннама и эпической поэме «Дигенис Акрит».

Первый ответ представляется самым вероятным, тем более, что сопоставление Мануила с Дигенисом, видимо, «носилось в воздухе» того времени. Во всяком случае, современник Киннама Птохопродром славит императора Мануила как «нового Акрита» (τὸν νέον τὸν ᾿Ακρίτην)[14].

Вполне вероятно, что речь должна идти о своеобразном «текстуальном единстве» (textual community), которое представляло собой высшее сословие византийского общества, где циркулировали первые акритские песни, из которых могли переходить в другие жанры и определенные «нарративные модели». Наличие такого «текстуального единства» констатируется исследователями-медиевистами, например, для рыцарей-крестоносцев XI–XIII вв. Причем, как и в нашем случае, вывод этот делается на основании замеченной общности эпических песен и исторических хроник[15].

Как бы то ни было, Мануил у Киннама — воплощение одной стихии, и в этом смысле он стоит ближе к персонажам ранней византийской историографии, нежели героям Михаила Пселла, непосредственным продолжателем которого был Киннам.

* * *

Совершенно иным представлен Мануил Никитой Хониатом. Образ императора наделен у него множеством качеств, разнообразие и даже несовместимость которых подчас кажутся поразительными. С одной стороны, Мануил у Хониата воплощает все возможные телесные и душевные добродетели. Он прекрасен и «излучает прелесть» (χάρις) (Chon. 51.75)[16], огромного роста и «героического» облика (222.60). Он беззаветно отважен и дерзок (134.73 sq.; 177.73 sq.), хотя, конечно, и не в такой степени как у Киннама. Мануил всегда готов придти на помощь своим воинам, которые всей душой преданы ему за это (197.14 sq.; ср. 206.57 sq.). Мануил не только воинственен и отважен, но прекрасно образован, искусен в риторике и т. п. Список добродетелей Мануила, изображенных Хониатом, можно продолжать долго.

И в тоже время, как это не покажется странным, скептическая, если не сказать негативная, оценка Мануила превалирует в сочинении историка[17]. Даже выспренные описания красоты юного Мануила (Chon. 50.69 sq.) оказываются ничем иным как предисловием к рассказу о его распущенности (54.67 sq.). Хониат, не колеблясь, рассказывает даже о трусости Мануила (82.43 sq.). Ошибки и несообразности во внешней и внутренней политике Мануила подчеркиваются историком постоянно. Мануил ответственен за губительные действия Иоанна Путцийского (55.21 sq.), безобразно обращается со своими воинами (208.21 sq.), предпочитает иностранцев своим соотечественникам (204.3 sq.), и в то же время коварно обходится с крестоносцами (61.70 sq.; 66.82 sq.). Еще более коварно действует он в отношении турок (179.58 sq.), султан которых ведет себя несравненно более благородно, нежели византийский император. Мануил, по словам Хониата, обращается со своими подданными как тиран и в то же время боится своего соперника Андроника (103.13 sq.). Приверженность Мануила к астрологии шокирует окружающих (95.29) etc., etc.

Восхищение Хониата Мануилом парадоксальным образом соседствует с жесткой его критикой, и обстоятельство это не раз вызывало удивление исследователей, привыкших к однолинейности характеристик у византийских историков. Ф. И. Успенский, посвятивший Хониату специальную монографию (кстати, единственную до настоящего времени), полагает даже это признаком художественной слабости, недостатком таланта писателя[18]. Можно, конечно, «списать» эту особенность на счет обычной для средневековой литературы необязательности согласовывать между собой детали образа, однако явление это отмечалось, как правило, у писателей несравненно менее продвинутых, нежели Хониат.

Не пытаясь решить загадку необычной разнородности образа Мануила у Хониата, укажу на одну черту образа императора, одинаково отмечающуюся в его как положительных, так и отрицательных характеристиках и описаниях. Почти во всех случаях Мануил необыкновенно амбициозен и исполнен претензий. Он глубоко убежден в том, что лишь его личное участие может навести страх на врагов и решить исход боя (Chon. 102.83; 133.62 sq.). Мануил постоянно озабочен тем впечатлением, которое производит на окружающих, и старается поразить их своей отвагой, несметным богатством или еще чем-нибудь. Показателен в этом смысле эпизод, когда император раскладывает перед султаном дары, которые намеревается ему преподнести и наслаждается впечатлением, ими производимым (120.90 sq.). Будучи искусным ритором, Мануил любит обсуждать теологические проблемы, но было бы лучше, замечает Никита, если бы Мануил не извращал догмы и был не столь упрям в своих утверждениях (210.72). Историк прямо именует его αὐτάρεσκος (т. е. самодовольным, тщеславным) (80.12), подчеркивает его стремление к славе (κλέος) (127.70), обзывает хвастуном (μεγαλαυχῶν) (179.60) и т. д.

Хониат в своем повествовании о Мануиле приводит множество психологических деталей, которые характеризуют нрав императора много лучше прямых деклараций. Нередко и тут Хониат подчеркивает амбициозность и хвастовство Мануила. Так, потерпев поражение от турок, император отправляет гонцов в Константинополь с сообщением о происшедшем. В письме он сравнивает себя с Романом Диогеном, претерпевшим то же несчастье, что и Роман в битве с турками при Манцикерте. Однако непосредственно после этого император «превозносит мирный договор с султаном», хвастаясь (μεγαλορρημονῶν), что заключил его «под собственным знаменем, которое развевалось на ветру перед строем врагов и наводило на них страх и ужас» (Chon. 191.26 sq.). Мануил не может удержаться от бравады, даже сообщая о собственном поражении...

Амбициозность и бравада во многих частях книг, посвященных этому императору, оказываются лейтмотивом его образа, так что Мануила у Хониата в известном смысле можно определить как тип аладзона, о функционировании которого в византийской литературе я писал в недавней своей статье. Позволю себе повторить ее исходные положения[19]. Впервые фигуру *alazon*'а, комически представленную уже в аристофановском театре, как определенный этический тип, характеризует Аристотель в «Этике Никомаху». Причем *alazon*, как это часто бывает у Аристотеля, определяется через противопоставление другому типу — *eiron*'у (от этого имени произошли *ирония* и все множество понятий, с нею связанных). *Eiron* и *alazon* противостоят друг другу и представляют собой две противоположные «дурные» крайности (*eironeia* и *alazoneia*), в середине между которыми расположена «положительная» истина (ἀλήθεια). Оба типа — и *eiron* и *alazon* — выдают себя не за тех, кем на самом деле являются, но если *alazon* претендует на обладание свойствами и качествами лучше тех, которыми владеет в реальности, то *eiron* представляет себя худшим, чем он есть в действительности (Eth. Nic. 1108a 20 sq.; 1127a 20). При этом, по словам Аристотеля, *eiron* как тип несравненно более привлекателен, нежели *alazon* (Eth. Nic. 1127b 14). Упомянутое выше аристотелевское противопоставление *eiron* — *alazon*, *eironeia* — *alazoneia* по сути дела является универсальным, особенно в области комического, притом не только в античности. Оппозицию этих двух типов (а то и масок) можно наблюдать как в народных фарсовых представлениях, так и в «высокой» комедии разных народов и разных периодов, начиная с древней аристофановской. *Alazones* разного рода (например, трусы, выдающие себя за сильных храбрецов типа *milites gloriosi* плавтовской комедии, или ученые шарлатаны, притворяющиеся то искусными врачевателями, то астрологами) постоянно противопоставлялись и противопоставляются в комедийном жанре трезвым, «себе на уме» персонажам, скрывающим под маской наивной простоватости здравый смысл, а то и настоящую мудрость, в которых не трудно распознать

продолжателей традиций античных *eirones*. *Eiron* и *alazon* весьма часто выступают оппонентами в комических ситуациях, причем комизм образа последнего особенно ярко проявляется при столкновении с первым или когда *alazon* как бы подается через восприятие *eiron*'а.

Последнее утверждение весьма важно и предполагает, что *eiron* вовсе не обязательно должен присутствовать в произведении в качестве отдельного персонажа: его функции с успехом может выполнить сам автор. В этом случае автор, исполняющий роль «потенциального» *eiron*'а, со всей видимой серьезностью относится к своему герою — *alazon*'у, но на самом деле смеется и потешается над ним. Конечно, схема эта представлена в самом общем виде и на практике реализуется весьма разнообразно.

Иными словами, отношения автора и героя могут быть сродни отношениям *alazon*'а и *eiron*'а и имеют в таком случае *иронический* характер. Типом *alazon*'а был в «Хронографии» Михаила Пселла уже упомянутый здесь император Роман Диоген. Именно с ним мы и встречаемся, как кажется, в «Истории» Никиты Хониата. Иронический эффект достигается Никитой Хониатом рядом художественных приемов. Обратим внимание на некоторые из них.

Никита очень любит описывать триумфы, которые Мануил устраивал после своих действительных или мнимых побед. Эти описания весьма знаменательны.

Обращает на себя внимание прежде всего чрезвычайно выспренний характер описаний торжественных процессий, устраиваемых Мануилом при въезде в Константинополь после очередных побед (см., например, описание триумфа 1167 г. — Chon. 157.53–158.81). Эта выспренность особенно явно проступает при сравнении с весьма скромным изображением триумфа Иоанна II Комнина — идеального императора хониатовского сочинения (46.46).

В иных случаях рассказы о триумфах императора имеют откровенно иронический характер. Так Хониат описывает действия Мануила после победоносной войны с сербами в 1150 г. следующим образом: «Он тотчас написал письмо с доброй вестью (γράμμα εὐάγγελον) жителям города, сообщая им о недавних своих подвигах (κατορθώματα). Вестником же был великий доместик. Вскоре появился и сам родитель сих доблестных деяний (ὁ τῶν ἀνδραγαθημάτων πατήρ); он справил триумф в честь своих свершений, был восславлен народом и всем сенатом и, разомлев от витийства восхвалений (τῶν κρότων ὑψηγορίᾳ διαχυθείς), обратился к конным ристаниям и зрелищам» (Chon. 90.2–91.8).

Обилие в коротком пассаже «высоких» слов в сочетании с явной насмешкой в последнем периоде выдает его иронический оттенок. Еще явственнее это проявляется в рассказе о другом триумфе (после победы над сербами и венграми в 1152 г.). Здесь Никита подчеркивает прежде всего стремление

Мануила произвести впечатление на многочисленных зрителей. Мануил обрядил пленников в одежды, много роскошнее тех, что полагались им по чину, дабы зрители решили, что добычей императора стали люди знатные, он «превратил это триумфальное празднество в чудо и вел их не скопом, а разделив на группы, на определенном расстоянии одна от другой, чтобы обмануть зрителей и заставить их поверить, что пленников много больше, чем их было на самом деле» (Chon. 93.63–71).

Торжественная процессия с Килич-Арсланом, которую готовил и хотел с большой помпой устроить Мануил в Константинополе в 1162 г., была, по словам Никиты, сорвана Богом, пославшим в этот день бурю (Chon. 118.38–119.54). Событие это, видимо, воспринималось Мануилом трагически, но должно было казаться забавным читателям Хониата.

Очевидный комический эффект приведенных пассажей создается прежде всего контрастом «возвышенного» тона и лексики и «прозаизмом» содержания (тщеславие Мануила, неудача из-за плохой погоды и т. п.). Этот комический эффект многократно усиливается с помощью обильных цитат из Библии и классических авторов, главным образом Гомера. Утверждение это нетрудно иллюстрировать другими примерами. Хониат начинает описание похода Мануила на Египет в 1169 г. следующим образом: «Он любил походы в дальние страны; он слышал о плодоносном Египте, как приносит урожаи податель плодов и хлебов Нил, отмеряющий локтями богатство. И положил на море руку свою, а на реки — десницу, дабы острым взором узреть блага, о которых слышал ушами и взять их в руки свои. А внушили ему эти планы и заставили перемахнуть через земли… неуместное тщеславие и стремление соревноваться с царями, чья слава и владения протянулись не от моря до моря, а от восточных пределов до западных столпов…» (Chon. 159.18–160.20). Скептическое отношение Хониата к Мануилу здесь очевидно. Expressis verbis историк говорит о неуместном тщеславии (φιλοδοξία τις ἄκαιρος), о его стремлении соревноваться (ἀνθαμιλλᾶσθαι) с прославленными завоевателями древности, о «фантастических планах» (φαντίζεσθαι), внушенных ему этими мыслями. Однако о скепсисе Хониата говорит не только его прямое заявление, но и необычайно «возвышенный» и выспренний, даже по византийским меркам, тон всего этого пассажа, находящийся в прямой оппозиции к примитивности побудительных мотивов действий императора (элементарное тщеславие). Выспренний тон рассказа создают прежде всего использование образованных по «гомеровскому» типу *composita* (Нил характеризуется как καρποδότης καὶ εὔσταχυς), сравнение с мифологической Гидрой, две цитаты из Псалмов и одна из Григория Назианзина (и все это на протяжении только двенадцати строк нового издания!)[20].

Другой пример касается завоевания Коринфа Рожером Сицилийским. «Случившееся (т. е. захват Коринфа Рожером) дошло до ушей самодержца

Мануила и огорчило его, и он, подобно гомеровскому Зевсу, раздумывал, что предпринять, или как Фемистокл, сын Неокла, все время находился в раздумьях и проводил бессонные ночи, а когда его спрашивали, отвечал, что не сон принес трофей Мильтиаду» (Chon. 76.1–5). Здесь нет прямой насмешки над Мануилом, но две ссылки на Гомера и одна на Плутарха на протяжении всего пяти строк нового издания никак не могут быть предназначены для прославления только что потерпевшего поражение императора.

Указанный прием используется Хониатом достаточно часто при изображении Мануила. Юный император, например, хочет покорить Кефалинию, жители которой отнюдь не торопятся сдаваться. И вот Мануил, «не желая понапрасну без всякой пользы губить дни, как в свое время сделал с быками Гелиоса царь Кефалинии Одиссей, сел на военный корабль и стал осматривать по всей окружности остров керкирцев, чтоб решить, где нанести удар, ведь не было у него Оссы, дабы взгромоздить ее, или Афона, чтобы навалить и поставить горы одна на другую и таким образом захватить крепость. Ведь все это истории мифические и неправда» (Chon. 82.60–65). В последнем случае не совсем ясно, имеем мы дело с затаенной иронией или привычным для византийцев выспренним многословием. Первое, конечно, вероятней. Более того, сама эта неясность знаменательна: Хониат не откровенно потешается над Мануилом, а рисует его образ «с ироническим оттенком», характерным для почерка интеллектуального писателя.

Почти не вызывает сомнений: мы имеем дело в данном случае не с классическим способом использования цитат, свойственным византийской словесности, а, говоря словами М. Алексиу, их «пародийным перекодированием» или в других выражениях явлением, которое Р. Маизано, уже в применении к Хониату, назвал «полной деконтекстуализацией» (totale decontestualizzazione) гомеровских цитат[21].

Помимо лексических Хониат пользуется также синтаксическими средствами для придания образу Мануила иронического оттенка. Так, например, Никита описывает военную экспедицию Мануила против Икония в 1176 г. следующим образом: император отправился в поход, дабы уничтожить персидское племя, захватить Иконий, взять в плен султана и, распластав на земле, топтать ногами его шею… (Chon. 178.8–12). Гротескно громоздя одно на другое четыре *participia futuri* (ἀφανίσων… ἀναρπάσων… ληψόμενος… πατήσων), историк подчеркивает неумеренные претензии честолюбивого императора.

И еще один способ иронического изображения Мануила заслуживает быть отмеченным. Историк вкладывает в уста некоего персонажа хулу на императора, подробно излагает обвинения, которые по видимости отвергает. Прием этот внешне напоминает современную журналистскую практику, когда на первой странице периодического издания крупным шрифтом печатает-

ся какой-то скандальный материал, который затем петитом опровергается на последней странице.

В повествование о кампании против турок 1176 г., закончившейся поражением при Мириокефале, Хониат вставляет небольшой эпизод, центральную роль в котором играет Мануил. После битвы испытывающий жажду император просит принести ему воды из реки. Пить однако он отказался, поскольку вода оказалась, по его словам, смешанной с кровью павших христиан. Какой-то не названный по имени оказавшийся рядом воин, охарактеризованный как «муж наглый и дерзкий» (ἀνὴρ ἰταμὸς καὶ θρασύς), без краски стыда заявил (ἀνερυθριάστως ἔφησεν): «Не раз и уже давно напивался ты допьяна кровью подданных, которых мучил и топтал» (Chon. 186.60–63). Эпизод имеет продолжение. Когда турки захватили деньги, которые византийцы везли с собой, и монеты рассыпались по земле, Мануил велел воинам собрать их. В этот момент тот же самый «наглый и дерзкий воин» обрушился с бесстыдной бранью (διελοιδορεῖτο ἀναιδῶς) на самодержца: «Ты бы раньше отдал по собственной воле эти деньги ромеям, а не теперь, когда взять их трудно и едва ли возможно без крови. Если ты на самом деле силен как хвастаешься, сразись с турками — похитителями злата и в храбром бою верни захваченное» (Chon. 186.71–75).

Почти не вызывает сомнения: эпизод «выдуман» Хониатом и несет художественные функции. За «наглыми» высказываниями безымянного воина прячется сам автор, не решающийся на прямое обличение и скрывающийся за иронической маской («ирония — тонкая насмешка, прикрытая внешней учтивостью»)[22].

Почти точно такой же прием используется Хониатом и в другом случае. «Византийцы, — пишет историк, — смеялись над Мануилом, потому что он из тщеславия горел желанием захвата чужих земель и бросал взгляды на края земли, делал это с горячностью и дерзостью и стремился далеко за пределы того, чем ограничивались прежние императоры, и не жалел на это никаких денег» (Chon. 203.62). Дальше Хониат пытается как-то (весьма маловыразительно!) оправдать императора, но слова осуждения, вернее насмешки (χλευασμοί) уже произнесены. Знаменательно при этом, что некие анонимные византийцы смеются как раз над тем, что и составляет почти всегда предмет иронии самого Никиты: тщеславие (τὸ φίλαυτον).

Возможность воссоздать образ исторического персонажа не по одному источнику — всегда удача историка-византиниста, тем более, если речь идет о писателях такого масштаба, как Хониат и Киннам. Фигура исторического героя, изображенная с разных позиций и различными наблюдателями в этом случае приобретает глубину и объемность.

Анализ образов одного и того же персонажа в двух изображениях важен, однако, и для историка литературы. Хониат и Киннам — почти современники. Однако литературные приемы, ими используемые, весьма различны. Писатель «продвинутого» XII в. Киннам, хотя и не рисует, подобно многим средневековым своим предшественникам, условный, пунктирный образ героя, тем не менее создает своего главного персонажа по определенной модели, в роли которой выступает Дигенис Акрит.

У Хониата уже нет никаких моделей. Подобно Пселлу, хотя и значительно менее удачно, он создает не монолитного, а противоречивого неоднозначного героя и, что самое важное, широко пользуется иронией, приемом «многомерным» по самой своей природе.

Примечания

[1] *Magdalino P.* The Empire of Manuel I Komnenos (1143–1180). Cambridge, 1993.

[2] *Каждан А. П.* Еще раз о Киннаме и Никите Хониате // BS. 1963. Vol. 24.

[3] См.: *Любарский Я. Н.* И вновь о Хониате и Киннаме // АДСВ. 2002. Вып. 33.

[4] *Kazhdan A., Epstein A.* Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Century. Berkley, 1985. P. 110 ff.

[5] Более подробно эта тема развита в моей статье: *Ljubarskij J.* John Kinnamos as a Writer // ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ. Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag. München; Leipzig, 2000. S. 165–173.

[6] *Todorov Tz.* Poétique. P., 1973. Ср.: *Ljubarskij J.* Quellenforschung and/or Literary Criticism. Structures in Byzantine Historical Writings // Symbolae Osloenses. 1998. Vol. 73. P. 16 ff.

[7] Цитируем Киннама по изданию: Ioannis Cinnami epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum / Ed. A. Meineke. Bonn, 1936.

[8] Мануил родился в нояборе 1118 г. См.: *Barzos K.* Ἡ γενεαλογία τῶν Κομνηνῶν. Vol. I. Thessaloniki, 1984. Σ. 422.

[9] «Алексиаду» цитирую по изданию: Annae Comnenae Alexias / Rec. D. Reinsch, A. Kambylis. B., 2001. (CFHB, vol. 40). P. 467.9–16.

[10] *Browning S.* A New Source in the Byzantine-Hungarian Relations in the Twelfth Century // Balkan Studies. 1968. 2. P. 198.

[11] Этот пассаж «Истории» весьма любопытен. Рассказывая о невероятных подвигах, которые приписывали Мануилу льстивые ораторы, Киннам заключает: «Все эти россказни казались совершенно неправдоподобными... и поэтому, когда я бывал во дворце и слышал восхваления царских деяний, у меня начинала кружиться голова и я покидал собрание» (Cinn. 192.7–15).

[12] «Манганский Продром», например, пишет, что юный Мануил был терпелив, мудр и вел себя как новый Соломон в отношениях с крестоносными вождями. Михаил Италик, обращаясь к Мануилу, восклицает: «Ты молод телом, но сед умом» (см.: *Magdalino P.* The Empire... P. 413 ff.).

[13] С такой датировкой ныне согласно большинство исследователей. Р. Битон пишет даже о возможном влиянии Дигениса на интеллектуальную ситуацию при византийском дворе в XII в. *Beaton R.* Epic and Romance in the Twelfth Century // *Littlewood A. R.* Originality in Byzantine Literature, Art and Music. Oxf., 1995. P. 85.

[14] Ptochoprodromos (= Neograeca medii aevi, V). Cologne, 1991. IV. 545.

[15] См.: *Лучицкая С. И.* Образ другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов. С. И. Лучицкая ссылается на книгу Б. Стока: *Stock B.* Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretations in the 11th and 12th Centuries. Princeton, 1983.

[16] Никиту Хониата цитирую по: Nicetae Choniatae historia / Rec. van L. A. Dieten. B., 1975. (CFHB, vol. XI/1).

[17] Ср.: *Magdalino P.* Aspects of Twelfth-Century Byzantine Kaiserkritik // Speculum. 1983. 58. 2.

[18] *Успенский Ф.* Византийский писатель Никита Акоминат из Хон. СПб., 1874.

[19] *Ljubarskij Ja. N.* The Byzantine Irony: The Case of Michael Psellos // Byzantium. State and Society. In Memory of N. Oikonomides. Athens, 2003.

[20] Цитаты из Псалмов выделены в издании ван Дитена. Эпитеты Нила, как и почти вся фраза, их содержащая, взяты из речи Григория Назианзина (PG. 36. P. 340.30), где они имеют «отрицательную коннотацию».

[21] *Maisano R.* I poemi omerici nell'opera storica di Niceta Coniata // Posthomerica II. Tradizioni omeriche dall'Antichita al Rinascimento / A cura di F. Montanari, S. Pittaluga. Genova, 2000. Рискованную «игру» с библейскими цитатами у Хониата отмечал А. П. Каждан. См.: «Никита Хониат и его время». СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. — прим. ред.

[22] *Квятковский А.* Поэтический словарь. М., 1966. С. 125.



Список научных публикаций Я. Н. Любарского*

1956

1) Типические образы и их роль в последних комедиях Аристофана // Уч. зап. Великолукского педагогического ин-та. Великие Луки, 1956, с. 227–252.

1957

2) Фольклорная маска и литературный образ в комедиях Аристофана (тезисы) // 1-ая конференция по классической филологии. Программа и тезисы докладов. Лен. гос. университет им. Жданова. Л., 1957, с. 14–15.

1958

3) Роль фольклорной маски в формировании образов комедии Аристофана // Уч. зап. Великолукского пединститута. Великие Луки, 1958, т. 3, с. 534–560.

1959

4) Критский поэт Стефан Сахликис // ВВ, 1959, XVI, с. 65– 81.

5) (рец.) Феофилакт Симокатта. История (Пер. С. Кондратьева). М., 1957 // ВВ, 1959, XVI, с. 244–250.

1960

6) Ο ΚΡΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΧΛΙΚΗΣ // ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ, 1960, с. 308–334 (перевод на греч. № 4).

7) Ознакомление учащихся с античной литературой // Уч. зап. Великолукского пединститута. Великие Луки, 1960, вып. 11, с. 85–91.

1961

8) (рец.) Две византийские хроники X в. М.: Изд-во восточной литературы, 1959 // ВВ, 1961, XIX, с. 307–314 (В соавторстве с А. Я. Сыркиным).

9) (рец.) М. Ю. Герман и др. На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. Л.: Учпедгиз, 1960 // Преподавание истории в школе, 1961, № 4, с. 108–110.

---

* Список научных публикаций Я. Н. Любарского составлен Н. Г. Рудиной.

1962

10) Девольский договор 1108 г. между императором Алексеем Комнином и Боэмундом (публикация, вступ. статья, коммент.) (В соавторстве с М. М. Фрейденбергом) // ВВ, 1962, XXI, с. 260–274.

11) Фольклорные мотивы во «Всадниках» Аристофана (тезисы) // Материалы четвертой научной конференции Великолукского пединститута. Уч. зап. Великолукского пединститута. Великие Луки, 1962, вып. 19, с. 78–79.

12) Лукиан. Жизнеописание Демонакта (перевод) // Лукиан из Самосаты. Избранное. М.: ГИХЛ, 1962, с. 244–256.

1963

13) (рец.) Дигенис Акрит (перевод, статья, коммент. А. Я. Сыркина). М.: АН СССР, 1960 // ВВ, 1963, XXII, с. 321–324.

14) К вопросу о хронологии XI книги «Алексиады» Анны Комниной // ВВ, 1963, XXIII, с. 47–56.

1964

15) Расправа императора Алексея над богомилами (вступ. ст., перевод, коммент.) // Вопросы истории и атеизма, 1964, т. 12, с. 310–319.

16) «Алексиада» Анны Комниной как исторический источник. Автореферат диссертации на соискание уч. степ. канд. исторических наук. М.: Гос. пединститут им. Ленина, 1964, 20 с.

17) Византийско-печенежская война 1085–1091 (тезисы) // 2-ая межвузовская конференция по истории славянских стран (окт. 1964). Великолукский пединститут, 1964, с. 3–4.

18) Мировоззрение Анны Комниной // Уч. зап. Великолукского пединститута. Великие Луки, 1964, вып. 24, с. 152–175

19) Изучение византийской литературы // Вопросы литературы, 1964, № 7, с. 212–217.

20) Об источниках Анны Комниной // ВВ, 1964, XXV, с. 99–120.

21) (рец.) Guillaume de Pouille. Le geste de Robert Guiscar (éd., trad., comment. par M. Matieu). Palermo, 1961 // ВВ, 1964, XXV, с. 266–267.

22) (рец.) P. Gautier. Le discours de Theophylacte de Bulgarie à l'autocrator Alexis 1 Comnène. Revue des études byzantines, 1962, XX // ВВ, 1964, XXV, с. 269–270.

23) (рец.) Менандр. Комедии. Герод. Мимиамбы. М.: Худож. литература, 1964 // Новый мир, 1964, № 11, с. 285–286.

1965

24) Анна Комнина. «Алексиада» (пер. с греческого, вступ. ст., коммент.) М.: Наука, 1965, 687 с.

25) Византийские авторы об искусстве писать историю (тезисы) // 7-я Всесоюзная конференция византинистов в Тбилиси, 1965, с. 104–106.

1966

26) Византийско-печенежская война 1085–1091 на территории Балкан // Славянские исследования. Л.: Лениздат, 1966, с. 3–9.

27) Античное наследие и Михаил Пселл // 3-ая Всесоюзная конференция по вопросам классической филологии. Киевский гос. университет им. Шевченко. Киев, 1966, с. 37.

1967

28) (рец.) А. Сыркин. Поэма о Дигенисе Акрите. М.: Наука, 1964 // ВВ, 1967, 27, с. 337–339.

29) Anna Komnena. "Alexias" // Bibl. class. orient., Berlin, 1967, Hf. 5, S. 263–266 (автореферат № 24).

1968

30) (рец.) Византийская литература в кратком изложении (История Византии, т. 1–3. М.: Наука, 1967) // Вопросы литературы, 1968, № 10, с. 222–226.

31) Die Erforschung der Byzantinischen Literatur // Bibl. Class. Orient., 1968, Hf. 1, S. 34–35 (автореферат № 19).

32) Über die Quellen der „Alexias" der Anna Komnena // Bibl. Class. orient., 1968, Hf. 2, S. 110–111 (автореферат № 20).

1969

33) (рец.) Эпистолярный жанр в античной литературе («Античная эпистолография».М.: Наука // Вопросы литературы, 1969, № 3, с. 216–219.

34) Михаил Пселл. Личность и мировоззрение (Некоторые итоги и проблемы изучения) // ВВ, 1969, 30, с. 73–93.

35) Анна Комнина. «Алексиада» — отрывки (перевод, комментарии) // Памятники византийской литературы IX–XIV веков. М.: Наука, 1969, с. 179–188.

1970

36) (рец.) Живое наследие Византии (А. П. Каждан. Византийская культура X–XII вв. М.: Наука, 1968) // Вопросы литературы, 1970, № 8, с. 237–240.
37) Аммиан Марцеллин. Деяния (перевод, примечания) // Историки Рима. М.: Худож. литература, 1970, с. 403–494.

1971

38) О жанровой и композиционной специфике «Хронографии» Михаила Пселла // ВВ, 1971, 31, с. 23–37.
39) Михаил Пселл в отношениях с современниками (Мавропод, Лихуд, Ксифилин) // Палестинский сборник. Л.: Наука, 1971, вып. 23(86), с. 125–143.
40) (рец.) R.Anastasi. Studi sulla "Chronographia" di Psello. Catania, 1969 // BS, 1971, t. XXXII, fasc. 2, 327–331.

1972

41) Михаил Пселл в отношениях с современниками (Пселл и фемные судьи) // Revue des études sud-est européennes, Bucurest, 1972, X, № 1, p. 17–32.
42) Михаил Пселл и Михаил Кируларий // Klio (Beiträge zur alten Geschichte). Berlin, 1972, № 54, S. 351–360.
43) Исторический герой в «Хронографии» Михаила Пселла // ВВ, 1972, 33, с. 92–114.

1973

44) К биографии Иоанна Мавропода // Byzantinobulgarica, Sofia, 1973, IV, с. 41–51.
45) Михаил Пселл в отношениях с современниками (Пселл и Лев Парасгондил, Пселл и Дуки) // ВВ, 1973, 34, с. 72–87.
46) Михаил Пселл в отношениях с современниками (Пселл и семья Кирулариев) // ВВ, 1973, 35, с. 89–102.
47) (рец.) A. Gadolin. A Theory of History and Society with special reference to the Chronografia of Michael Psellos; 11-th Century Byzantium. Stockholm, Göteborg, Uppsala, 1970 // ВВ, 1973, 35, с. 254–256.
48) Basile Malèses encore une fois. // BS, 1973, t. XXXIV, fasc. 2, p. 219–220 (в соавторстве с А. П. Кажданом).
49) Сообщение на совещании археографов-медиевистов РСФСР // Корпус древних источников по истории народов СССР. М., 1973, с. 56–57.

50) Византийский монах XI в. Илья (по материалам переписки Пселла) // АДСВ, сб. 10. Уральский гос. университет. Свердловск, 1973, с. 198–202.

1974

51) Внешний облик героев Михаила Пселла (К пониманию возможностей византийской историографии) // Византийская литература. М.: Наука, 1974, с. 245–262.

1975

52) Литературно-исторические взгляды Пселла // Античность и Византия. М.: Наука, 1975, с. 114–140.
53) (рец.) G. Weiss. Östromische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos. Miscellanea Byzantina Monacensia, 16. München, 1973, 367 S. // BS, 1975, t. XXXVI, fasc. 2, с. 193–197.

1976

54) Михаил Пселл в отношениях с современниками (опыт характеристики личности) // ВВ, 1976, 37, с. 98–113.

1977

55) Der Brief des Kaisers an Phokas // JÖB, Wien, 1977, Bd. 26, S. 103–107.
56) Михаил Пселл. Личность и литературное творчество (Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук) Лен. гос. университет им. Жданова. Л., 1977, 32 с.

1978

57) Михаил Пселл и Григорий Назианзин // Византиноведческие этюды. Тбилиси, 1978, с. 93–98.
58) Михаил Пселл. «Хронография» (перевод, статья, примечания) (сер. «Памятники исторической мысли»). М.: Наука, 1978, 316 с.
59) Михаил Пселл. Личность и творчество (К истории византийского предгуманизма). М.: Наука, 1978, 262 с.
60) Два письма Михаила Пселла // BS ,1978, XXXIX, fasc. 1, с. 24–28 (в соавторстве с А. И. Зайцевым).

1979

61) (рец.) Рыцарский роман в Византии (А. А. Алексидзе. Мир греческого романа. Тбилиси, 1976) // ВВ, 1979, 40, с. 203–205.

1981

62) Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константина Багрянородного // ВВ, 1981, 42, с. 192–198 (в соавторстве с В. Д. Лихачевой).
63) (рец.) Роман в Византии (С. В. Полякова. Из истории византийского романа. М.: Наука, 1979) // Вопросы литературы, 1981, № 2, с. 296–302.

1982

64) (рец.) В. Д. Лихачева. Искусство Византии IV–XV вв. Л.: Искусство, 1981 // Декоративное искусство, 1982, с. 00.
65) (рец.) А. Καρποζηλοα, Συμβολη στη μελετη του βιου και του // εργου του. Ιωαννη Μαυροποδοα Ιωαννινα, 1979 // ВВ, 1982, 43, с. 262–264.
66) (рец.) P. Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken, tt. 1–111. Wien, 1975–1979 // ВВ, 1982, 43, с. 277–279.
67) (рец.) The Synodicon Vetus. Dumbarton Oaks, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, V. Washington, 1979 // ВВ, 1982, 43, с. 276–277.
68) «Хронография» Иоанна Малалы (проблемы композиции) // Festschrift für Fairy von Lilienfeld. Erlangen, 1982, S. 411–430.
69) Византийцы о двигателях истории (к проблеме идейных течений XI в.) // Общественное сознание на Балканах в Средние века. Межвузовский тематический сборник. Калининский госуниверситет. Калинин, 1982, с. 4–19.

1983

70) (рец.) Warren T.Treadgold. The Nature of the Bibliotheca of Photius. Washington, 1980 // ВВ, 1983, 44, с. 259–262.
71) Михаил Пселл // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983, с. 379.

1984

72) Феофан Исповедник и источники его «Хронографии» (К вопросу о методах их освоения) // ВВ, 1984, 45, с. 72–86.

1985

73) Композиция византийских хроник и их источниковедческий анализ (тезисы) // Актуальные проблемы изучения и издания письменных исторических источников. Академия наук Груз. ССР. Всесоюзная научная сессия 17–19 окт. 1985, г. Батуми. Тбилиси, 1985, с. 71–72.
74) Homme, Destinée, Providence: les avatars des notions antiques dans la philosophie byzantine de l’histoire, IX–XI ss. // La Philosophie grecque et sa portée culturelle et historique. M. : Progrès, 1985, p. 229–269.
75) Замечания о структуре «Хронографии» Иоанна Малалы // Общество и культура на Балканах в Средние века. Калининский госуниверситет. Калинин, 1985, с. 3–15.

1986

76) (рец.) И. С. Чичуров. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции / Древнейшие государства на территории СССР. М., 1983 // ВВ, 1986, 46, с. 213–213.
77) Замечания о Николае Мистике в связи с изданием его сочинений // ВВ, 1986, 47, с. 101–108.
78) (ред.) Византийский сатирический диалог (сер. «Литературные памятники»). Л.: Наука, 1986.
79) (рец.) E. Maguire. Art and Eloquence in Byzantium. Princeton, 1981 // ВВ, 1986, 47, с. 260–261.

1987

80) Neue Tendenzen in der Erforschung der byzantischen Historiographie // Klio. Berlin, 1987, 69–2, S. 560–566.
81) Der Kaiser als mime // JOB, 1987, № 37, S. 39–50.
82) Theophanes Continuatus und Genesios. Das Problem einer gemeinsamen Quelle // BS, 1987, t. XLVII, fasc. 1, S. 12–27.

1988

83) К проблеме мимических представлений в Византии (тезисы) // Проблемы античной культуры. Тезисы докладов Крымской научной конференции. Симферополь, 1988, с. 19.
84) Герои «Хронографии» Иоанна Малалы // Кавказ и Византия, вып. 6. Ереван, 1988, с. 110–119.

85) Проблема эволюции византийской историографии // Литература и искусство в системе культуры. М.: Наука, 1988, с. 39–45.

86) Наблюдения над композицией «Хронографии» Продолжателя Феофана // ВВ, 1988, 49, с. 70–80.

87) (рец.) Georgius Syncellus. Ecloga chronographica. (Ed. A. A. Mosshamer). Leipzig, 1984 // ВВ, 1988, 49, с. 231–232.

1989

88) Царь-мим (К проблеме образа византийского императора Михаила III) // Византия и Русь. Сб. памяти В. Д. Лихачевой. М.: Наука, 1989, с. 56–65.

1990

89) Византийская цивилизация непредубежденным взглядом (три книги А. П. Каждана о Византии) // Вопросы истории, 1990, № 3, с. 174–180.

1991

90) Замечания об образах и художественной природе «Истории» Льва Диакона // Византийские очерки. М.: Наука, 1991, с. 150–162.

91) Замечания о художественном методе Льва Диакона (тезисы) // Византийское искусство и литургия. Новые открытия (Краткие тезисы докладов научной конференции, посв. памяти А. В. Банк.). Гос. Эрмитаж. Л., 1991, с. 25–26.

92) О составе «Истории» Михаила Атталиата // Вспомогательные исторические дисциплины, XXIII. Л.: Наука, 1991, с. 112–118.

93) Современные исследования о византийской литературе. Состояние и перспективы // Византиноведение в СССР. К XVIII Международному конгрессу византинистов. М., 1991, с. 325–349.

94) Writers Intrusion in early Byzantine Literature // XVIII Международный конгресс византинистов. Пленарные доклады. М., 1991, с. 433–456.

95) Sobre la composición de la obra de Miguel Ataliates // Eritheia, 1990–1991, № 11–12, с. 49–54 (перевод на испанский яз. № 91).

96) (рец.) Лев Диакон. «История». Пер. М. М. Копыленко. М.: Наука, 1988 // ВВ, 1991, 52, с. 263–269.

97) Лукиан. Жизнеописание Демонакта (перевод, комментарии) // Лукиан из Самосаты. Избранная проза. М.: Правда, 1991, с. 103–115.

1992

98) Man in Byzantine Historiography: from John Malala to Michael Psellos // Dumbarton Oaks Papers, 1992, № 46 , p. 177–186.

99) The Fall of an Intellectual. The Intellectual and Moral Atmosphere in Eleventh-Century Byzantium // Byzantine Studies. Essays on the Slavic World and the Eleventh Century. Ed. by Speros Vryonis. New York, 1992, p. 175–182.

100) Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей (перевод, статья, комментарии, приложение) (сер. «Литературные памятники») СПб.: Наука, 1992, 347 с.

101) (рец.) Константин Багрянородный. Об управлении империей. М.: Наука, 1991 // Вопросы истории, 1992, № 2–3, с. 182–183.

102) Михаил Атталиат и Михаил Пселл: опыт короткого сопоставления // Византия и средневековый Крым. АДСВ, 1992, Барнаул, вып. 26, с. 92–102.

1993

103) Лев Диакон, Скилица, Пселл и Зонара о Никифоре I (тезисы) // Научные чтения, посвященные столетию со дня рождения проф. М. Я. Сюзюмова 21–21 сент. 1993. Уральский гос. университет. Екатеринбург, 1993, с. 21–22.

104) Византинистика в журнале испанских эллинистов // ВВ, 1993, 54, с. 194–197 (в соавторстве с Н. Г. Рудиной).

105) New Trends in the Study of Byzantine Historiography // Dumbarton Oaks Papers, 1993, № 47, p. 131–138.

106) Some Notes on the Newly Discovered Historical Work by Psellos // ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. Studies in Honour of Speros Vryonis, v. 1. New Rochelle-New York, 1993, p. 213–228.

107) Nikephoros Phokas in Byzantine Historical Writings. Trace of the Secular Biography in Byzantium // BS, 1993, LIV, p. 245–253.

1994

108) «Краткая история» Михаила Пселла. Существует ли проблема авторства? // ВВ, 1994, 55(80), ч. 1, с. 80–84.

109) La bizantinística en una revista de los helenistas españoles // Erytheia, 1994, 15, p. 13–22 (перевод на испанский яз. № 103).

110) Византийская историография как жанр художественной литературы (тезисы) // Российское византиноведение. Тезисы докладов и сообщений на международной конференции, посвященной 100-летию «Византийского временника» и 100-летию Русского археологического института в Константинополе. М., 1994, с. 88–89.

111) George the Monk as a Short-Story Writer // JÖB, Wien, 1994, Bd. 44, S. 255–264.

1995

112) Concerning the Literary Technique of Theophanes the Confessor // BS, 1995, LVI, p. 317–322.

113) Miguel Ataliates y Miguel Pselo (Ensayo de una breve comparacion) // Erytheia, 1995, 16, p. 85–95 (перевод на испанский яз. № 102).

114) Софья Викторовна Полякова (некролог) // ВВ, 1995, 56(81), с. 373–374.

1996

115) Анна Комнина. «Алексиада». СПб.: Алетейя, 1996, 703 с. (переиздание № 24 с дополнениями).

116) «Алексиада» Анны Комниной — шедевр византийской литературы? — расширенный вариант Послесловия ко II изд. «Алексиады» (см. в данном сборнике, с. 262–278).

117) Сюжетное повествование в византийской хронистике (постановка проблемы) // Византийские очерки. Труды российских ученых к XIX Международному конгрессу византинистов. М.: Индрик, 1996, с. 39–49.

118) Why is the "Alexiad" a Masterpiece of Byzantine Literature? // ΛΕΙΜΩΝ. Studies Presented to Lennart Ryden. Uppsala, 1996, p. 128–141.

119) Plot in Byzantine Chronography // Byzantium. Identity, Image, Influence. Abstracts of communications of XIX International Congress of Byzantine Studies. Copenhagen, 1996, s. p.

1997

120) (рец.) Михаил Пселл в «Biblioteca Teubneriana» // ВВ, 1997, 57(82), с. 296–298.

121) (рец.) Juan Signes Codoñer. El periodo del segundo iconoclasmo en Theophanes Continuatus. Analisis y comentario de los tres primeros libros de la cronica. Amsterdam, 1995, 773 p. // BZ, 1997, Bd. 90, Heft 1, S. 162–163.

122) Alexandr Kazhdan (Nachruf) // BZ, 1997, Bd. 90, Heft 2, S. 615–616.

123) Еще один источник «Хроники» Иоанна Зонары // ΜΟΥΣΕΙΟΝ, профессору Александру Иосифовичу Зайцеву ко дню семидесятилетия (сборник статей). Санкт-Петербургский гос. университет, 1997, с. 271–274.

124) Нарративные структуры в византийской исторической литературе (тезисы) // Классические языки и индоевропейское языкознание. Материалы чтений, посв. 100-летию со дня рождения И. М. Тронского. СПб.: РАН, 1997, с. 35–36.

125) Александр Петрович Каждан (некролог) // Вестник древней истории, 1997, т. 39, № 4, с. 216–217.

126) Александр Петрович Каждан (вступ. статья) // А. П. Каждан. Византийская культура (X–XII вв.), изд. второе, испр. и доп. СПб.: Алетейя, 1997, с. 1–8.

127) Образ латинянина в «Алексиаде» Анны Комниной // Иностранцы в Византии. Византийцы за рубежом своего отечества (тезисы докладов конференции. Москва, 23–25 июля 1997 г., Ин-т Всеобщей истории). М.: Индрик, 1997, с. 29.

1998

128) Нарративные структуры в византийских исторических сочинениях (в соавторстве с К. А. Долининым) // Классические языки и индоевропейское языкознание. Сб. статей по материалам чтений, посв. 100-летию со дня рождения И. М. Тронского. СПб.: РАН, 1998, с. 213–227.

129) «Quellenforschung» and/or Literary Criticism. Narrative Structures in Byzantine Historical Writings // Symbolae Osloenses. Oslo, 1998, vol. 73, p. 5–22 (дискуссия по статье — с. 22–60, ответ автора — с. 60–65).

130) Мануил I Комнин и Дигенис Акрит / к вопросу о межжанровых связях в византийской литературе/ (тезисы) // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Материалы чтений, посвященных памяти И. М. Тронского. СПб.: РАН, 1998, с. 52–53.

131) (рец.) Georgius Syncellos, Ecloga chronografica (Ed. A. A. Mosshemer. Bibl. Scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana. Leipzig, 1984) // ВВ, 1998, 49, с. 231–232.

1999

132) Византийские историки и писатели. Сборник статей. СПб.: Алетейя, 1999, 338 с.

133) Комментарий к «Алексиаде» Анны Комниной (англ.) Roma, Fondazione Lorenzo Valla, 17 печ. л. (в печати).

134) (рец.) The Correspondance of Ignatios the Diacon. Text. Translation and commentary by Cyril Mango with collaboration of Stephanos Epthymiadis, Dumbarton Oaks, 1997 // ВВ, 1999, 58 (83), с. 273–274.

135) (рец.) Apostolos Karpozilos Βυζαντινοι ιστορικοι και χρονογραφοι, Τομοσ Α (400–700 αι.). Εκδοσεισ Κανακη. Αθηνα, 1997. 642 σελ. // ВВ, 1999, 58 (83), с. 274–275.

136) (рец.) Герхард Подскальский. Христианство и богословская литература в Киевской Руси. «Византинороссика», XX. СПб., 1996 // BZ, 1999, 92, H. 2, S. 549–550.

2000

137) Der byzantinische Roman in der Sicht der russischen Byzantinistik // Meletemata, Bd. 8: Der Roman im Byzanz der Komnenenzeit. Frankfurt am Main, 2000, S. 19–24.

138) John Kinnamos as a Writer // Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60 Geburtstag. Byzantinisches Archiv, 19. Leipzig, 2000, S. 164–173.

139) (рец.) Genesios. On the Reigns of the Emperors. Translation and Commentary by A. Kaldelis, Canberra, 1998 // BZ, 2000, 93, H. 1, S. 214–215.

140) Why is the Alexiad a Masterpiece of Byzantine Llіterature? // Anna Komnene and her times. (Gouma-Peterson T., ed..) New York, Garland Medieval Publisching, 2000, XIV, Casebooks 29, p. 169–185 (См. № 116, 118).

141) El relato con argumento en las crónicas bizantinas (presentación del problema) // Erytheia , 2000, 21, p. 39–50 (перевод на исп. № 117).

2001

142) (рец.) La Vie d'Étienne le Jeune par Étienne le Diacre. Introduction, édition et traduction par M-F. Auzepy . Birmangham Byzantine and Ottoman Monographs, 3. 1997 // BB, 2001, 60, с. 205–207.

143) (ред.) Житие Андрея Юродивого (вступ. ст., перевод и коммент. Е. В. Желтовой). СПб.: Алетейя, 2001, 284 с.

144) Михаил Пселл. Личность и творчество. К истории византийского предгуманизма (см. № 59). Издание второе, исправленное и дополненное. В приложении обзоры: Риторические сочинения Михаила Пселла. Трактаты Пселла по теории красноречия // Две книги о Михаиле Пселле. СПб.: Алетейя, 2001, с. 187–537.

145) О Павле Владимировиче Безобразове и его книге о Михаиле Пселле // Там же, с. 5–10.

146) (ред.) П. В. Безобразов. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл // Там же, с. 11–182.

147) Михаил Пселл в византинистике последнего двадцатилетия // «Московия». Проблемы византийской и новогреческой филологии. К 60-летию Б. Л. Фонкича. М.: Индрик, 2001, с. 259–274.

2002

148) Michael Psellos in the History of Byzantine Literature: Some Modern Approaches // Pour une "nouvelle" histoire de la littérature byzantine. Actes de colloque international philologique, Nicosie, mai 2001. Paris, École des Hautes Études en Sciences sociales, 2002, p. 107–116.

149) Вместо предисловия // А. П. Каждан. Два дня из жизни Константинополя. СПб.: Алетейя, 2002, с. 5–8.

150) (ред.) А. П. Каждан. История византийской литературы (650–850) под ред. Я. Н. Любарского и Е. И. Ванеевой. СПб.: Алетейя, 2002, 530 с.

151) Об авторе и истории создания этой книги // Там же, с. 6–14.

152) И вновь о Хониате и Киннаме // АДСВ, вып. 33. Екатеринбург, 2002, с. 123–127.

2003

153) How should a Byzantine text be read? // Rhetoric in Byzantium,ed. Elizabeth Jeffreys. Society for the Promotion of Byzantine Studies. Great Britain, Asgathe Publishing Ltd, 2003, p. 117–125.

154) Александр Каждан — историк византийской литературы // Мир Александра Каждана. К 80-летию со дня рождения. СПб.: Алетейя, 2003, с. 281–291.

155) «Мой» Александр Зайцев // Древний мир и мы (альманах), вып. III. СПб.: 2003, с. 211–215.

156) Михаил Пселл. Хронография (перевод, статья «Историограф Михаил Пселл», примеч., с. 5–301, то же № 58) // Михаил Пселл. Хронография. Краткая история. СПб.: Алетейя, 2003

157) (ред.) Михаил Пселл. Краткая история (пер. Д. А. Черноглазова и Д. Р. Абдрахмановой) // Там же, с. 302–396.

158) The Byzantine Irony. The case of Michael Psellos // Byzantium State and Society. In memory of Nikos Oikonomides. The National Research Foundation. Athens, 2003, eds. Avramea, A. Laiou and Ehrisos, p. 349–360.

2004

159) Предисловие // Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году (ред. Я. Н. Любарский, Т. Н. Соболь). СПб.: Алетейя, 2004.

160) Ирония у византийцев: пример Михаила Пселла // Теоретические проблемы языкознания. Сб. статей к 140-летию кафедры общего языкознания филологического ф-та СПб. гос. ун-та, 2004, с. 556–570 (расшир. вариант № 158).

161) Кафедра в послевоенные годы // Cathedra petropolitana. — Philologica clasica, вып. 6. СПб.: 2004, с. 52–57.

162) Byzantine Irony: The example of Niceta Choniates // Bizantium Matures. Inst. for Byzantine Research. International Symposium 13 (ed. By Ch. Angelidi). Athens, 2004, p. 287–298.

163) Михаил Пселл. Личность и творчество. К истории византийского предгуманизма (пер. на греческий яз. № 144). Афины: изд. Е. Канаки, пер. Аргиро, 2004, 422 с.

2005

164) Мануил I глазами Киннама и Хониата // ВВ, 64(89), 2005, с. 99–109.

165) Александр Каждан и Никита Хониат / А. П. Каждан. Никита Хониат и его время. Изд. подг. Я. Н. Любарский, Н. А. Белозерова, Е. Н. Гордеева. Предисл. и редакция Я. Н. Любарского. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005, 580 с. (статья — с. 3–15).

2006

166) Лукиан. Жизнеописание Демонакта (перевод) / Лукиан из Самосаты. Избранная проза. М.: АСТ, 2006 (см. № 12).

2008

167) Византийский роман в свете русской византинистики // Евмафий Макреволит. Повесть об Исминии и Исмине. СПб., Алетейя, 2008, с. 281–287 (перевод с нем. № 137).

168) Шутки Пселла // Труды Гос. Эрмитажа, LXII, СПб.: 2008, с. 562–566.

2009

169) Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей (перевод, статья, указатели). Изд. II-е, испр. и дополн. (см. № 100). СПб.: Алетейя, 2009, 399 стр.

2010

170) «Алексиада» Анны Комниной (перевод, комментарий, статья, указатели). Изд. III-е, испр. и дополн. (см. №№ 24, 115). СПб.: Алетейя, 2010, 683 с.

171) Текущая библиография и краткие аннотации трудов по византийской литературе, публиковавшихся в Советском Союзе и России в 1990–2000 гг. // BZ, Abteilung, 1991–2001.

Редакция методических разработок и сборников учебных заданий по немецкому яз. для студентов Лен. сельскохозяйственного института. Л.: ЛСХИ, 1971–1989, 21 п. л.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Научное издание

Яков Николаевич Любарский

ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОРИКИ И ПИСАТЕЛИ

Сборник статей

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Корректор *И. Е. Иванцова*
Оригинал-макет *Е. Г. Орловский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел. / факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»:
СПб., 9-я Советская, д. 4, офис 304. Тел. (812) 577-48-72
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел продаж*),
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)
www.aletheia.spb.ru

Подписано в печать 04.05.2012. Формат 60×88 1/16. Усл. печ. л. 31,3.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 3205

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12/28